МИХ. СЛОНИМСКИЙ

84Р2
С-48

МИХ. СЛОНИМСКИЙ

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

1

БИБЛИОТЕКА
Инв. №
Харьк. Гос. мед. института
013879

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1958

Иллюстрации художника
Н. В. Лямина

Оформление художника
В. К. Изенберга

М. Л. СЛОНИМСКИЙ

(Очерк творчества)

1

Михаил Леонидович Слонимский, шестидесятилетие которого мы отмечали в 1957 году, начинал свой творческий путь, как и многие советские писатели старшего поколения, с художественного отображения событий и людей первой мировой войны и революции. Подростком, почти мальчиком, ушел будущий писатель добровольцем на фронт — здесь нахлынули на него события, ставшие потом жизненным материалом многих его книг. «Солдатская служба в царской армии была моим университетом. В бесправном положении солдата царской армии, под гнетом неумолимо свирепого строя, я приобретал необходимый жизненный опыт», — говорил потом писатель. Этот опыт очевидца распада старого строя на фронтах и в революционном Петрограде Слонимский пытался воплотить в художественные образы многочисленных, поначалу беспомощных рассказов. Однако чувство жизненной правды в одном из них обратило на автора внимание Максима Горького, в первые годы после революции энергично и упорно объединявшего вокруг себя и воспитывавшего молодых строителей новой литературы. Знакомство с Горьким в 1919 году оказалось решающим событием в выборе жизненного пути, определило, по словам Слонимского, его дальнейшую судьбу. «Алексей Максимович воспитывал и пестовал меня, как многих и многих советских писателей, с первых же моих шагов в литературе, внимательно и справедливо критиковал, когда я путался и ошибался», — так говорит Слонимский о том большом значении, которое имело для него и многих его товарищей общение с Горьким.

В 1922 году вышла в свет первая книга рассказов Слонимского — «Шестой стрелковый», свидетельствовавшая о незаурядном

богатстве жизненных впечатлений и свежем таланте автора. *Странный, колеблющийся, разорванный в клочья мир* предстает перед читателем этой книги. В рассказе «Чертово колесо» офицеры, томящиеся невероятной скукой, полным отсутствием представлений о цели, смысле, причинах войны, начисто опустошившей их сознание, выдумывают развлечение — стремительно вертящиеся *вокруг столба сани, летя на которых вдребезги пьяный* человек на втором круге трезвеет. Участники этой затеи в конце рассказа безумеют и гибнут. Вся образность первой книги Слонимского построена как бы на трезвой и точной записи впечатлений вертящегося в «чертовом колесе» человека: «Тяжкое дыхание *артиллерии широко ударяло в согнутые спины солдат. Синее пламя*, очертив круг по горизонту, клонилось над халупами. Раскалившиеся патроны, забытые в халупах, посылали пули, которые пели и жалили, как пчелы. Из горящих ульев вылетали пчелы, которые пели и жалили, как пули. Желтый дым карабкался над копнами уже собранной ржи. Белым огнем горели оскаленные зубы коней, выносящих из темноты стремительного разведчика или тяжелого артиллериста. Луч прожектора тяжко ложился на песчаные поля. Лучом и пулей бил неприятель в спину русского солдата. А яростная польская ночь дергала с августовского неба звезду за звездой и ярче раздувала земной огонь». В этой путанице деталей есть свой порядок. Главное в этой сложной метафоре — образ огня. Земной огонь раздувают мирные звезды и лучи прожекторов. В их свете нестерпимым огнем пылают зубы коней, а мирные пчелы превращаются в пули. Внутренний смысл метафоры — судьба человека на войне, — все в окружающем мире обрекает его на гибель.

Главная тема книги — тема распада сознания человека, попавшего на войну, но не понимающего ни ее цели, ни ее смысла. На фольварке, который бомбит противник, штабс-капитан Ротченко, поручик Никонов и прапорщик Лосинский пьют вино. Никонов, у которого «одновременно два чувства не умещались в узком черепе», посылает за шоколадом для хозяйки фольварка прапорщика, которому «вся эта дрянь: и война, и георгиевский крест, и цеппелин» по неопытности «представляется необыкновенно значительной». Умному, не пьянеющему Ротченко жалко пылкого, неопытного прапорщика, которому отдан бессмысленный приказ, но «в конце концов, все равно: добывать ли шоколад, брать ли Прасныш — одна чепуха», — думает Ротченко. Позднее, в бою, наблюдая, как умирает бесконечно глупый Никонов, Ротченко «усмехнулся», а на смерть умного и пылкого Лосинского Ротченко реагирует еще

проще: он повел дальше своих солдат, даже «не взглянув на труп прапорщика». Ротченко — не зверь и не сумасшедший (он выжил в бою именно потому, что у него очень ясная голова и он трезво понимает всю механику боя), но он не способен ни радоваться, ни ужасаться, ни любить, ни ненавидеть. Его душу опустошила война, ни цели, ни смысла которой он не видит.

Для художественной идеи «Шестого стрелкового» очень важен контраст между хаотичностью, бессмысленностью, кажущимся безумием распадающегося мира и распадающегося сознания, выраженными сложными импрессионистическими метафорами, и трезвой ясностью мысли, уверенно обобщающей «логику» разрушения. Логика эта своя, особенная, это логика хаоса, но это тем не менее логика. В рассказах цикла «Шестой стрелковый» Слонимский любит противопоставлять людям типа Ротченко, подавленным «логикой» хаоса, людей трезвой, обывательской, косной мысли, полагающих, что хаос, разрушение, распад — только кажущиеся, мнимые, что на самом деле существует отменный порядок, заведенный от века и непреложный, как казенный учебник истории Иловайского.

В рассказе «Поручик Архангельский» гибнет девушка Наташа, гибнут двое людей, которые ее любили. Наташе, осознавшей закономерность смерти в обреченном мире, противопоставлен ее отец, считающий, что в этом мире все протекает вполне нормально. Для него было «все ясно: в таком-то году объявлена война Германии — причины такие-то; в таком-то году было свергнуто царское правительство — причины такие-то. Отец Наташи, преподаватель истории и член городской управы от кадетской партии, заносит в тетрадочку факты, и он уверен, что когда-нибудь издаст учебник, а гимназисты будут ходить по комнате и зубрить». По комнатной философии этого историка, пытающегося лечить свою дочь валерьянкой, никакого реального распада существующего строя нет, есть строго отчеканенная в формально-логических категориях последовательность и целесообразность событий. Этот профессиональный кадетствующий историк не понимает, что именно распад, разрушение, гибель старого общества, именно распад сознания людей старого общества — это-то и есть непреложнейшая логика истории, истории по большому счету, в которой ничего не понять по обывательской логике выкладок учебников Иловайского или Милюкова.

Обывательской логике, согласно которой ничего особенного не происходит и от всех горестей можно излечиться валерьянкой, писатель противопоставляет выразительнейшие картины

реальностей войны, наполненные «...озверением и одичанием, сопровождающими всякую долгую и реакционную войну...», [1] и образы людей, опустошенных и надломленных этим озверением и одичанием.

На этом контрасте строится и самый сильный в художественном плане рассказ всего цикла — «Варшава». Здесь противостоят два человека — кандидат Кроль, ищущий в наступившем хаосе и развале обогащения и спокойного обывательского счастья, и обезумевший от войны, смысл которой ему неясен, корнет Есаульченко. Композиция рассказа построена по тому же принципу сложной импрессионистической метафоры, по которому строятся в этом цикле и первичный образ, и взаимоотношения людей, и логика сюжета. Девушка, на которой предполагал жениться кандидат, изготовивший за сто рублей для корнета медицинскую справку о том, что тот «ранен, контужен и за свои действия не отвечает», уходит с корнетом. Корнет на фронте, в пекле боев, вдруг получает от девушки письмо: она зовет его в Варшаву. Корнет отправляется туда, и теперь выясняется, что он убил девушку еще в первый свой приезд, а сам давным-давно сошел с ума. Корнет гибнет. «Рыжий конь унес его в тяжелые воды. Тогда Мариша взяла за руку корнета Есаульченко — сподобает мне пан офицер за то, что никому не боится. Погубил пана рыжий конь — война. Слазь с коня, станьцуем в это бялое утро бялый мазур. И тьфу — кандидату Кролю», — так завершает повествование о Есаульченко и Кроле рассказчик. Сам сюжет вещи соответствует фантастической, гофмановской логике обезумевшего корнета. Именно потому, что реальная сила мысли и чувства у корнета, пошла за ним вслед навстречу собственной гибели Мариша. С большой художественной силой показан здесь процесс распада, надлома сознания, но отсутствует логика преодоления этого распада.

Выхода из того круга безумных явлений озверения и одичания, который является не только материалом, но и трагической темой всего цикла, Слонимский не видит. В. И. Ленин писал: «Война забивает и надламывает одних, закаляет и просвещает других, — как и всякий кризис в жизни человека или в истории народов». [2] В книге «Шестой стрелковый», пожалуй одной из самых сильных книг Слонимского в художественном отношении, с редкостной выразительностью показано, как война забивает и надламывает людей, и что этот процесс — результат исторического кризиса, а не

---

[1] В. И. Ленин. Сочинения, т. 27, стр. 216.
[2] Там же, т. 23, стр. 10.

частных заблуждений. Но в книге совсем отсутствует показ того, как война «закаляет и просвещает» человека. Ведь те люди, которых «закалила и просветила» первая мировая война, совершили революцию. Распад, разложение старого строя были важным элементом исторического кризиса, но весь-то исторический кризис не исчерпывался этими явлениями — сквозь них пробивалась историческая перспектива, закономерность революции. Война и крушение старого строя изображены в первой книге Слонимского односторонне. Суть этой односторонности — в том, что описываемые явления не пронизаны чувством исторической перспективы. Это было впоследствии осознано и осмыслено самим писателем. «Но я брал подсказанный мне жизнью мотив гибели, ничего ему не противопоставляя. Мною недостаточно выдвигался момент дифференциации. Я не ставил точки над «и»: вот это, мол, гибнет, а это побеждает, рождается вновь», — говорил Слонимский позднее, характеризуя художественную проблематику «Шестого стрелкового».

Но найти воплощение новой жизненной правды не внешнее, формальное, а творческое, то есть в художественно сложившихся образах — характерах людей, чьи судьбы складывались по-новому в связи с победой революции, оказалось нелегко. Первые значительные, этапные произведения советской прозы с огромной поэтической силой изобразили простого трудящегося человека на грани двух миров, в самой сердцевине жесточайшего исторического конфликта, исход которого решался именно поведением простого человека во всех уголках необъятной страны. То, что осталось за рамками сюжетов и тем «Шестого стрелкового» — не всегда осознанная им до конца, но целеустремленная по своему основному направлению деятельность простого человека в утверждении правды революции, в защите ее завоеваний, — было показано в ряде произведений молодой советской прозы, появившихся почти одновременно с «Шестым стрелковым», и ярче всего — в книгах Вс. Иванова и Л. Сейфуллиной. Вместе с тем перед литературой вставала новая задача — показать грандиозную ломку сознания в массах, становившихся на новые исторические пути, показать самый процесс осознания массами решающего смысла революции. Эта задача новой литературы была решена в двух поистине классических созданиях нашей прозы — в «Железном потоке» А. Серафимовича и «Чапаеве» Д. Фурманова.

Далее, ко второй половине 20-х годов, все более и более отчетливо кристаллизовалась новая проблема, вставшая перед литературой. Поворот массы на новые исторические пути, осознание ею решающего жизненного смысла революции надо было показать

во всех деталях, пристально взглянув в лицо человека, через индивидуальные характеры и всю совокупность личных, нравственных проблем, вставших перед простым человеком в революционную эпоху. Грандиозную историческую проблематику надо было как бы повернуть во внутрь человека, показать через подробности его душевного обихода. Непреходящее идейно-художественное значение таких книг, как «Разгром» Фадеева и «Цемент» Гладкова, состоит именно в решении этой задачи.

Как известно, в революцию оказались неизбежно втянутыми не только рабочий класс и трудовое крестьянство, но — в той или иной форме — самые многочисленные социальные группы старой России. Художественная картина развернувшихся событий всемирно-исторического значения была бы неполной, если бы логика действий этих разнородных групп не нашла отображения в литературе. Значение таких больших произведений советской прозы, как, например, «Города и годы» К. Федина, состоит как раз в том, что здесь отразились судьбы многочисленных буржуазных и промежуточных социальных групп в революции, — со всеми вытекающими из основных исторических конфликтов духовными и нравственными противоречиями, характерными для этих групп. Слонимский оказался подготовленным к решению задач именно этого плана.

Путь человека из буржуазно-интеллигентских кругов к революции изображен в его романе «Лавровы» (1925), представляющем собой одно из примечательных явлений советской прозы 20-х годов. В «Лавровых» картина развала старого общественного строя и неотвратимой победы новых социальных и жизненных норм дана через развитие характера среднего человека из буржуазно-интеллигентского слоя, человека, который осознает невозможность для себя сколько-нибудь полноценного человеческого существования в пределах сложившихся в старом мире личных отношений и решительно уходит в революцию. Здесь появляется — особым образом художественно раскрытая — та большая историческая перспектива, которой не было еще в рассказах цикла «Шестой стрелковый». Поэтому роман «Лавровы» не только шаг вперед в художественном развитии Слонимского, но и свидетельство тех глубоких и сложных процессов, которые происходили в советской литературе первой половины 20-х годов.

В начале своей литературной деятельности Слонимский состоял в литературной группировке «Серапионовы братья». Теоретические установки и творческая практика входивших в это объединение писателей отличались крайней противоречивостью. Молодые литераторы стремились и в стихах и в прозе отобразить

новую, революционную действительность во всей ее неприкрашенной, суровой правде, в жесткой непримиримой борьбе противоположных тенденций, в острых конфликтах, порожденных борьбой двух миров. Разоблачением иллюзий старого мира и утверждением правды нового человека революционной эпохи отличались, скажем, стихи Н. Тихонова или «Партизанские повести» Вс. Иванова — писателей, входивших в объединение «Серапионовы братья». Но само представление о революции, о новой действительности и ее людях у молодых литераторов было неясным, расплывчатым. В их деятельности было больше ненависти к старому миру, чем трезвых представлений о законах движения нового общества.

Теоретическая невооруженность и противоречивость художественного мировоззрения молодых писателей открывали возможность воздействия на них со стороны теоретиков старых литературных школ, в особенности со стороны так называемой «формальной школы» в литературоведении. Следовательно, речь идет не просто о влияниях в области формы, в узком смысле слова, но именно о мировоззренческом воздействии, о стремлении придать литературному движению характер «автономности», противопоставить искусство жизни, то есть о стремлении отделить искусство от революционной эпохи. В художественной практике подобное стремление сказывалось не просто в применении сложных романтических форм (отсюда идет следование немецкому романтику Гофману в ряде ранних вещей В. Каверина или в «Варшаве» Мих. Слонимского), но и в односторонности идейного освещения революции и ее героев. Чаще всего это проявлялось в одностороннем показе крушения старого мира как всеобщей гибели, в подчеркнутом одиночестве трагического героя («Большая игра» В. Каверина), иногда — в романтизации подсознательных, биологических мотивов в поведении героя («Тайное тайных» Вс. Иванова или его же пьеса «Блокада»).

Руководившая процессами литературного развития Коммунистическая партия трезво видела противоречивость идейного развития литераторов, входивших в течение 20-х годов в разные литературные группировки. Партия помогала тому, чтобы положительные реалистические тенденции в творчестве писателей одерживали верх над мелкобуржуазными иллюзиями. Партия хотела, чтобы эти иллюзии изживались в практической работе, в процессах идейного воспитания литераторов, в процессах познания новой жизни, ее реальных, а не выдуманных коллизий. Партия призывала к осторожному, вдумчивому, чуткому подходу к беспартийным литераторам и к совместной товарищеской работе литераторов — коммунистов и беспартийных. В известном постановлении

1925 года о литературе выражалась уверенность в том, что лучшие из так называемых «попутчиков», идейно перевооружаясь, творчески развивая здоровые реалистические тенденции в своем творчестве, все глубже постигая новую действительность, пойдут в ногу с революционной эпохой. Большая руководящая и воспитательская работа, проделанная партией, дала свои плоды. В творчестве Слонимского отчетливо видно, к каким глубоким результатам, к какому серьезному обогащению представлений о народной жизни приводит писателя вдумчивое идейное перевооружение.

К «Лавровым» Слонимский шел сложными путями. Не сразу писателем было осознано значение исторической перспективы для художественной концепции произведения о революционной эпохе. Для этого надо было глубже понять закономерности рождения нового общества и вместе с тем многое изменить, развить и углубить в сложившейся уже в первой книге стилистической манере. Для этого нужно было прямо и непосредственно войти в жизнь советского общества на новом этапе его существования, ибо особенности восстановительного периода многое проясняли в особенностях минувшей революционной эпохи.

Обогатить себя конкретным опытом строительства новой жизни было крайне важно для писателя, в предшествующем своем развитии связанного с интеллигентными кругами старого общества, обремененными предрассудками, органичными для этих кругов. Вместе с тем, для того чтобы взглянуть новыми глазами на жизненный материал, казалось бы так законченно уже оформившийся в сознании писателя, чтобы преодолеть свою собственную, отчетливо сложившуюся манеру, надо было на некоторый период отойти в сторону от чисто литературной работы и взглянуть свежими, несколько посторонними глазами на ее достоинства и недостатки. Писатель признавался позднее: «После первой книги у меня был провал в три года, я тогда работал в Донбассе и не был писателем-профессионалом. За эти три года я написал только два-три рассказика... Трехлетний перерыв в литературной работе послужил для меня школой идейного перевоспитания». Именно благодаря этому многое из того, что волновало писателя на первом этапе его творческой работы, было в «Лавровых» решено по-новому, переосмыслено и в идейном и в непосредственно художественном плане.

И на начальных страницах романа и, собственно, на всем его протяжении читатель встречается со знакомым ему по «Шестому стрелковому» (да и по многим книгам тех лет) материалом, но здесь материал этот осмыслен писателем сквозь призму широкой исторической перспективы. Молодой человек из буржуазных кругов,

Борис Лавров, идет добровольцем на войну. Соображения, по которым он совершает этот, оказавшийся решающим для его личной и общественной судьбы поступок, — неясны, туманны, расплывчаты. Больше всего здесь, вероятно, от наивной романтики юности, от желания расширить жизненный кругозор, включиться в большое историческое событие, волнующее весь народ. Все, однако, оказалось совсем не таким, каким представлялось на гимназической скамье, каким изображалось в газетах, в речах думско-кадетских витий. Окопы, грязь, давление непредвиденных мелочей военного быта и, прежде всего, больше всего — отсутствие ясно осознанной цели, смысла империалистической бойни, — все это многообразно преломляется в сознании духовно невооруженного юноши.

Важнее всего на первом этапе духовного созревания молодого человека — резкое несоответствие между тем, как все представлялось в тылу, и реальной сумятицей боев. Борис ранен. Он «знал, что в таких случаях человеку полагается терять сознание: так писалось в книжках и военных корреспонденциях, но он не потерял сознания — и это было ужасно. Он закричал так, как кричит человек, который умирает и ни за что не хочет умереть. Это был такой крик, который даже перешиб страх пулеметчика, гнавшего одноколку в лес... Пулеметчик только через час догадался, что *он совершил очень благородный поступок: спас человеческую жизнь. Он подошел к Борису, лежавшему уже на шинели под деревом в ожидании санитарной двуколки, постоял над Борисом, не зная, что сказать, и наконец, промолвил: «Это я тебя спас».* — «Спасибо», — отвечал Борис. Пулеметчик *отошел, и Борис больше никогда не встречался с ним*». Писатель избегает развернутого, психологически-детализированного описания душевного состояния героя. Предельно скупо, даже суховато-лаконично рисуются его внешние состояния и поступки. Автор как бы смотрит на героя со стороны и его психологию дает через поступок. Он не изображает непрерывного потока сознания героя, а показывает цепь состояний и действий, взаимно перекрещивающихся. Эта манера придает повествованию несколько рационалистический, холодноватый характер, и она же придает ему характер строгой объективности. Борясь с поэтизацией стихийности — как в изображении самих событий, так и в изображении сознания героя, автор не отстраняется от раскрытия логики движения характера, но он хочет видеть героя и окружающий его хаос событий не с точки зрения «хаоса сознания» самого героя. В представлении Бориса все случайно и хаотично, ибо он ведь, в сущности, не знает, каковы были подлинные мотивы поведения пулеметчика — как тогда, когда тот

бросал его в одноколку, так и тогда, когда пулеметчик подходил к нему, для того чтобы сообщить о своем поступке. Описание пулеметчика объясняет состояние Бориса. В свою очередь, состояние Бориса в хаосе событий, не имеющих внутренней цели и смысла, объясняет поведение и характер пулеметчика.

Показывая взаимоотношения Бориса и пулеметчика, каждый из которых действовал согласно своей логике, автор тем самым и случайность в их взаимоотношениях, — а это подчеркнуто фразой о том, что Борис со спасшим его пулеметчиком никогда больше не встречались, — объясняет тем, что в событиях, лишенных подлинно значительного исторического смысла, сам благородный поступок, подвиг становится случайностью. Люди поставлены в такое положение, что их отношения между собой принимают характер случайности. Не столько сознание человека, сколько сама действительность противоречива. Аналитический, холодновато-рационалистический способ повествования является здесь особым типом реалистического осмысления действительности. Тем самым элементы несколько импрессионистической изобразительности, характерной для «Шестого стрелкового», решительно преодолены в «Лавровых».

Не только на фронте, в армии, но и тогда, когда он возвращается в отпуск в предреволюционный Петроград, Борис Лавров проходит школу жизни, школу воспитания личности. Здесь он приобретает новый опыт, заново, с точки зрения рядового солдата, постигая смысл обычной «гражданской» жизни буржуазного общества. Он испытывает всю меру унижений, поругания человеческого достоинства, на которые обречен «рядовой», то есть, как правило, человек социальных низов в кастово организованной армии эксплуататорского общества. Сложная механика опутывающих жизнь и сознание солдата унизительных мелочей (например, запрещение солдатам ездить в трамваях; обязанность рядового открывать дверь офицеру и т. д.), при всей ее специфичности, поразительным образом напоминает в существе своем заурядную мещанскую жизнь нормальной буржуазной семьи. Быт «войны» и быт «мира» определяются, по-видимому, какими-то одними законами, суть которых еще не ясна Борису, но которые все более и более четко вырисовываются перед ним, чем больше он их сопоставляет, живя двойной жизнью бесправного рядового солдата и рядового члена «приличной» петербургской буржуазной семьи, возглавляемой яркой, колоритной фигурой его матери — респектабельной петербургской дамы среднебуржуазного круга — Клары Андреевны. Намечающиеся в смутном еще сознании героя параллели и аналогии между «войной» и «миром» искусно воспроизводятся писателем: «Все

это — спор, скандал, истерика — было издавна знакомо Борису и разъяснить кому-нибудь домашнюю жизнь он так же не сумел бы, как объяснить причины войны. Война представлялась ему тоже малопонятной истерикой, только в несколько большем масштабе, чем у Клары Андреевны».

Между тем за бытовыми и психологическими деталями и мелочами вырисовывается, прорастает нечто большое и грозное — как для русской жизни в целом, так и для личной судьбы героя. Оказывается, вовсе не все, окружающее героя или возникающее в его сознании, — мелко и ничтожно. Совсем не мелок и не ничтожен унтер-офицер Козловский, с которым Борису приходится круглосуточно общаться в казарме Волынского полка. Козловский пережил в войну большую личную драму. В условиях отупляющего сознание повседневного армейского быта, в условиях разваливающегося социального строя драма эта обернулась неожиданными, на первый взгляд, итогами. Унтер-офицер Козловский страшен: это живой мертвец, весь мир представляется ему грандиозной бойней, где каждый только о том и помышляет, как бы ему наиболее утонченным способом отправить на тот свет ближнего своего. Парадоксальность положения в том, что психически больной человек решительно ничем внешне не отличается от заурядного «унтера» и имеет полную и невозбранную возможность применять к своим товарищам по казарме все ухищрения своей фантазии садиста. Искалечивший его социальный строй, по-видимому, настолько прогнил и обезумел, что явно выраженный безумец воспринимается как нечто вполне нормальное.

В условиях социально-несправедливого строя переворачиваются, приобретают обратный смысл и обратное значение обычные нормальные человеческие понятия о долге, честности, чистоте. Храбрость, подвиг на фронте оказывались совсем не такими, какими они рисовались в газетах; реально совершивший подвиг пулеметчик не знал, как ему вести себя со спасенным им человеком. Зато хорошо знал, как следует ему действовать, спрятавшийся во время боя начальник разведки, прапорщик, на которого случайно наткнулся Борис, — он представил свидетеля своей трусости к «георгию», и Борис получил «георгия».

В тылу Борис Лавров в качестве писаря не берет взяток от солдат, стремящихся попасть в отпуск, и обнаруживает позднее, что солдаты больше всего ненавидят как раз честных писарей: «Его честность была в лучшем случае бесполезна, а может быть, даже вредна солдатам: она не оставляла никаких надежд на смягчение казарменной жизни. Борис, понимая это, удивлялся: до чего

неправильно все вокруг, если честность оказывается вредной!» Втянутый в круг общественных отношений строя, ведущего империалистическую войну, Лавров оказывается винтиком бессмысленной, беспощадной машины, безвольным, пассивным объектом, жертвой сложившихся отношений, а не активным деятелем истории. «Он не был виноват. Он попал в эту машину, в которой всякая самая незначительная часть должна рубить и резать, и он не мог поступить иначе».

В условиях тыла, в окружении «нормальной» буржуазной семьи, как и в условиях войны, — повсюду действует одна и та же закономерность взаимоотношений между обществом и человеком. Общество оказывает на него гнетущее, обессиливающее, опустошающее воздействие. Если безвольно, бессильно поддаться этому воздействию — неизбежно превратишься в пустоцвет, в раба мелочей, которые способны поглотить весь смысл человеческого существования. Жизнь станет тогда видимостью, иллюзией, самообманом — реально над тобой будут господствовать подробности буржуазной «прозы жизни». Здесь Слонимский подходит к большой художественной теме, неоднократно разрабатывавшейся Максимом Горьким и наиболее законченное воплощение нашедшей в «Жизни Клима Самгина». Это — тема исторической пассивности, тема мнимого существования человека в условиях развитого буржуазного общества. В сущности, проиграл свою жизнь, обессмыслил ее и опустошил отец Бориса — инженер Лавров, перед которым в юности открывалась большая жизненная перспектива. Но в условиях загнивающего империалистического общества сколько-нибудь полноценное человеческое существование возможно только на путях осознанной или неосознанной борьбы с этим исчерпавшим себя строем. Втянутый было в революционное движение, инженер Лавров оказался человеком слабовольным, бессильным, трусливым, — он позорно удрал с поля жизненной битвы, поддался уговорам жены, Клары Андреевны, и благодаря ее капиталам оказался в стане угнетателей. Он прожил жалкую, пустую, бессмысленную жизнь.

Наиболее ярким образом романа, развивающим эту тему мнимого существования, является именно образ Клары Андреевны. Здесь с беспощадной иронией, нигде не переходящей в гротеск, всегда остающейся в границах жизненно-правдивого психологического реализма, показано, как умело, искусно, с помощью многочисленных, виртуозно разработанных приемов самообмана человек прячется от реальности, от грубых и здоровых конфликтов жизни. Клара Андреевна хочет видеть вещи такими, какими ей приятно их видеть, а не

такими, каковы они на деле Сколько бы раз жизнь ни опрокидывала построенные ею карточные домики — они с цепким упорством возводятся ею вновь. В бесчисленных, тонко подмеченных мелочах, в искусно воссозданных деталях возникает необычайно цельный, отнюдь не шаржированный образ воинствующей мещанки, обывательницы, эгоистки под маской «приличной интеллигентной дамы». Она является несомненной виновницей бессмысленно растраченной жизни мужа; не без ее активного участия пойдет обывательскими путями сын Юрий. А Борису стоит больших трудов преодолеть ее воздействие. И даже позднее, когда он уже целиком порывает со всем буржуазным укладом, ему часто приходится распутывать нелепо расставленные Кларой Андреевной ловушки, долженствующие вернуть его на «нормальные» буржуазные жизненные дороги.

Характер Клары Андреевны, при всей кажущейся его простоте и будничности, доведен до той степени социально-исторической обобщенности, которая граничит с реалистическим символом. Вообще литературе 20-х годов свойственно в ряде случаев изображение социально-исторических конфликтов в предельно сгущенных образных обобщениях, приобретающих характер реалистической символики. Вспомним широкое применение социальной символики или даже аллегории Горьким (сошлемся хотя бы на функцию города Дремова или образа Тихона Вялова в «Деле Артамоновых», на сцену с трубачом или сцену смерти в «Егоре Булычеве»). Горький тут только ярче, острее и в некоторых отношениях последовательнее и глубже применяет тот способ типизации, который широко применялся в разных формах во всем советском искусстве того периода. Слонимский, оставаясь до конца в границах бытового правдоподобия, в ряде сцен и ситуаций, связанных с образом Клары Андреевны, дает такого же рода художественные обобщения.

Муж Клары Андреевны умирает в дни начавшейся революции, а она, со свойственным ей эгоизмом, тешит себя иллюзией (как всегда во всех сколько-нибудь серьезных случаях жизни), что смертельная болезнь мужа — преходящая блажь, которая как-нибудь «образуется». Отношение Клары Андреевны к болезни мужа, естественно, вызывает отвращение и неприязнь к ней читателя, и наибольших размеров эта вполне справедливая читательская эмоция достигает в момент самой смерти. Муж умер на кухне, оттуда слышится крик прислуги, а сидящая за пасьянсом Клара Андреевна продолжает делать вид, что ничего не происходит. «Пораженная не оставляющим никаких сомнений ревом Анисьи, Клара Андреевна тихо встала, не кончив пасьянса, и улыбнулась нарочно. «Ну вот, из-за тарелки так плакать. Ну, разбила тарелку — разве же я убью

за это? Купим другую. — И она крикнула: — Ванечка! Где пенсне?» Пенсне было у нее на носу. «Ванечка! — звала Клара Андреевна. — Ты опять куда-то засунул пенсне?» Ванечка не откликался, а рев Анисьи на кухне рос, ширился и заполнял всю квартиру». Здесь мелочи, детали, подробности, психологические оттенки тонко, убедительно, ненавязчиво, но резко характеризуют индивидуальность героини; они же одновременно дают представление о ней как о личности социальной, исторической, неслучайной в своей эпохе и занимающей в ней определенное место. И поиски пенсне, находящегося на носу, тут, конечно, говорят о стремлении во что бы то ни стало, любой ценой не видеть реальности, ее грубых и непреложных фактов, близоруко, жестоко, тупо отгородиться от подлинной жизни, как бы явна ни была ее горькая правда. Пасьянс, пенсне тут играют ту же роль, что и темные очки Беликова в изображении артиста Н. П. Хмелева в картине «Человек в футляре» или в известных рисунках Кукрыниксов, живописно воплощающих Клима Самгина. Вся эта сцена, данная на фоне первых взрывов начавшейся революции и сопоставленная с этим событием всемирно-исторического значения, становится символическим обобщением мещанской психологии, мещанского типа поведения.

Клара Андреевна и представляемый ею строй, вторгаясь в жизнь Бориса с самого детства, пытаются сформировать его душу. И для спасения себя, как личности, как человеческой индивидуальности, у Бориса нет иного выхода, как вступление в борьбу с тем строем, который его вскормил, с тем кругом социальных явлений, который воспитывает безволие, трусость перед жизнью, стремление отстраниться от нее, пассивность и в конечном счете — тот зоологический эгоизм мещанства, о котором так часто писал и до революции и после нее Горький. Освободиться от всего этого нелегко. Уже втянувшись в революционную борьбу, Борис ловит себя иногда на мысли, что хорошо было бы отстраниться от треволнений и тревог, встать где-нибудь в сторонке в качестве пассивного наблюдателя: «Ему захотелось вдруг... чтобы кто-нибудь другой жил за него... А двигаться, жить, действовать — зачем?» Это просыпаются в нем нормы мышления, нормы поведения, воспитанные мещанско-буржуазной средой, философия жизни Клары Андреевны.

Порыв, толкнувший Бориса пойти добровольцем на войну, вероятно, был неосознанным протестом против обезличивающего воздействия мещанской среды. Восприятие войны как хаотического потока бессмысленных мелочей, конечно, тоже обусловлено отчасти при-

вычными для Бориса навыками мышления. Реальная бессмыслица империалистической бойни имеет свою закономерность — она все отчетливее и отчетливее проступает перед Борисом. Это и есть главная тема книги: осмысление героем закономерностей действительности, своего места в жизни и решительное стремление найти себе новое место в жизненной борьбе. В «Шестом стрелковом» односторонность восприятия краха самодержавной России как всеобщей гибели приводила к тому, что трудно было отделить оценку событий героями от осмысления их автором. В «Лавровых» есть четкий водораздел между автором и героем. Автор видит героя изнутри, но он умеет и возвыситься над ним. Он осознает то, чего еще не в силах до конца осознать сам герой, и показывает его место в исторических обстоятельствах, логику его развития и роста.

В сознании героя зреет представление о перспективе революционного развития страны. Жалуясь знакомому члену Государственной думы, кадету, на беспорядки в армии, Борис в ответ на возражения кадета, сам того не замечая, выпаливает: «Если так будет дальше, то может случиться военный бунт». Индивидуально-психологически для Бориса наиболее существенно даже не осмысление событий, а возможное в них участие. Он не хочет быть рабом и жертвой хаотической цепи мелочей жизни, он хочет стать ее активным участником и строителем. Война и общий кризис строя обостряют это стремление юноши покончить с иллюзорным, пассивным, мнимым существованием.

Но активно участвовать в жизни можно по-разному. У своих знакомых Жилкиных, принадлежащих к революционно настроенным кругам общества, Борис встречает буржуазного литератора — англичанина. На обеде в его честь, в ответ на реплику о неприязни к правоверным националистам, этот англичанин «неожиданно для всех, но не для самого себя (это был обдуманный поступок), хриплым нестерпимым голосом запел национальный гимн». Характерна обстановка, в которой возникает важнейшая психологическая тема романа. Это мелочи быта — званый обед, ножи и вилки — и резкое нарушение этого бытового ритуала — национальный гимн, пропетый фальшивым голосом. Борису кажется, что англичанин дал всем присутствующим оплеуху. Позднее Борису приходит в голову (и совершенно основательно), что именно такие люди, как этот англичанин, ведут войну.

Оказывается, что в хаосе мелочей быта — военного ли, мирного ли — есть своя логика, и от этой логики не спастись иллюзорным, вымышленным отстранением: отстраниться от реальных отношений и реальной борьбы нельзя. Клара Андреевна живет

в мире «театра для себя». Борису казалось, что все люди живут более или менее так, и он потрясен тем, что англичанин рискнул нарушить установленный бытовой порядок. Нарушение это, конечно, мнимое: англичанин, в сущности, устроил театральную выходку; фальшивый характер этой бравады зло подчеркнут писателем, и Борис, с его трезвым умом, конечно, тоже чувствует театральный характер происшедшего, но его восхищает сила воли человека, разыгравшего всю эту сцену. Здесь опять-таки есть резко ощутимая дистанция между героем и автором: герой движется своим путем ко все более и более глубокому осмыслению логики исторических событий, автор внимательно следит за его ростом.

Борису предстоит научиться дифференцированно, по-разному относиться к различным проявлениям силы воли, силы характера, и понять, что возможны разные формы активного участия в жизни. На обеде у Жилкиных англичанину «дает сдачу» большевик Фома Клешнев, человек, который позднее станет для Бориса учителем жизни. Уходя, англичанин замечает, что Клешнев опасный человек и с ним надо бороться. Англичанином руководит здесь осознанная классовая ненависть. Борису же на первых порах не доступны идейные побуждения англичанина и Клешнева, его пленяет сила характера каждого из них. «Он хочет стать вот таким человеком, как англичанин или Фома Клешнев, человеком, который твердо убежден в чем-то и нигде, ни при каких обстоятельствах не уступит этого убеждения... Это — характер, и характер, который подчиняет окружающих и не подчиняется тому, с чем он не согласен. Вот именно такой сильный характер надо иметь человеку — иначе жизнь скучна и ненужна. Надо быть мастером жизни и уметь пользоваться ею и строить ее по-своему». Логика исторических событий такова, что стать настоящим человеком, «мастером жизни», можно только борясь и с нестерпимо фальшивым, своекорыстным миром Клары Адреевны и англичанина.

Писатель внимательно, во всех психологических мелочах и деталях прослеживает путь Бориса Лаврова к этому «мастерству жизни». Активно вмешиваясь в события, содействуя разумному, исторически-закономерному их ходу, перестраивая их, участвуя в ломке старого мира, Борис учится перестраивать и себя. Он учится выдавливать из себя раба старых бытовых, жизненных, социальных отношений. Он примыкает к «солдатскому бунту», о котором говорил на приеме у думского депутата-кадета, и бунт этот оказывается начавшейся революцией. В действиях командира батальона, полковника Херинга, «укрощающего восставших», Борис улавливает силу воли, силу характера, которой еще недавно не

хватало ему самому. Но он улавливает также, что это та же самая сила, которая руководила англичанином, нестерпимо фальшивым голосом певшим национальный гимн. Сила эта сейчас сбросила свою театральную маску, выступила открыто, и Борис осознает, что он ненавидит ее, эту чуждую силу, больше всего на свете. Стреляя в полковника Херинга, Борис отрезает для себя все возможности вернуться в старый, игрушечный, иллюзорный и нечистый мир Клары Андреевны. В новом мире, мире революции, он обретает ту подлинную внутреннюю свободу, достоинство личности, силу характера, которых он искал. Под руководством таких людей, как Фома Клешнев, он учится новому «мастерству жизни».

Фома Клешнев, умный, проницательный, волевой, непреклонно убежденный в правоте тех общественных сил, которые стоят за ним, очень редко выходит на авансцену действия и не является главным героем романа. В общей системе его образов Клешнев как бы служит тем ориентиром, на который равняется Борис Лавров. Но главное внимание автора и читателя сосредоточено не на нем, а именно на людях типа Бориса Лаврова. На этом основании можно было обвинить автора в том, что он «не все показал» в романе, действие которого происходит в Петрограде в дни революции. Отчасти поверив таким упрекам, автор в позднейшей переделке своей книги ввел в нее героев, органически не соответствующих сложившейся системе образов романа (Николай Жуков), и ряд событий великого 1917 года, ранее в романе отсутствовавших. Эти переделки оказались удачными лишь в той мере, в какой они помогли прояснить, уточнить основной идейный замысел романа.

То или иное художественное произведение не может ставить себе целью изобразить всю действительность (такого рода требование к искусству было бы абсурдным) и должно отразить лишь те черты, те ее стороны, которые необходимы для полноты воплощения идейно-художественного замысла данного произведения. Фома Клешнев необходим в романе «Лавровы» в той мере, в какой в романе нужен тип человека, на которого равняются герои, испытывающие в революционную эпоху жизненный, психологический, мировоззренческий перелом — и не больше. В качестве героя первого плана он мог бы стать необходимым для другого замысла, другой книги. Здесь же — своя тема, своя идейная концепция, свой замысел, отражающие важную, существенную для революционной эпохи грань, но, разумеется, не исчерпывающие всех граней, всех особенностей эпохи и не претендующие на это.

Своеобразие «Лавровых» в общем ряду значительных произведений советской прозы 20-х годов определяется прежде всего

особенностью идейной концепции этой вещи, темой, замыслом и их художественным воплощением. Сходный жизненный материал отражен, скажем, в романах К. Федина «Города и годы» и «Братья», отчасти — в «Зависти» Ю. Олеши. В центре романа Федина «Города и годы» стоит интеллигент Андрей Старцев, человек глубокой и сложной культуры — соответственно этому в сюжетных коллизиях романа выступают глубокие философские и нравственные проблемы, специфическое их звучание в революционную эпоху. В центре романа Слонимского — духовно невооруженный молодой человек из мелкобуржуазных кругов, формирующийся именно в революционную эпоху. Борис Лавров как личность чужд какой бы то ни было рефлексии, самоуглубленности, это человек, наделенный завидным душевным здоровьем, обыкновенный, так сказать, даже в чем-то средний, обычный человек. В связи с судьбой героя такого типа едва ли можно поднять какие бы то ни было сложные интеллектуальные проблемы — проблемы взаимоотношений революции и культуры, революции и нравственности и т. д. — как это было, скажем, в романе Федина. В романе Слонимского такого типа проблемы и не поднимаются. Здесь ставятся иные, и, быть может, не менее важные вопросы. Это — роман о путях и перепутьях, о самоопределении обычных, массовидных, так сказать, людей из интеллигентно-мещанских кругов в условиях революционной эпохи. Герой Слонимского рядом с Андреем Старцевым, с этим утонченным интеллигентом, выглядит несколько наивным. Но при всем том Андрея Старцева трудно представить себе восхищенно следующим за Фомой Клешневым, и уже совсем невозможно представить себе этого героя, с его углубленной рефлексией, революционным энтузиастом, с оружием в руках защищающим власть советов, а ведь именно таковым предстает — и совершенно органично, при всех специфических трудностях своего пути — Борис Лавров.

2

В 30-е годы советская проза стремилась к углубленному раскрытию деятельности человека революционной эпохи в его творческом, созидательном, положительном пафосе. В начальном периоде своего развития советская проза изображала решительный поворот в жизни широких масс и людей социально разнородных групп к революции. При этом, естественно, литераторами изображались и передовые, идейно зрелые люди, руководившие массами (Клычков, Левинсон и др.). В дальнейшем литературе предстояло

показать и рядового человека, представителя массы не только в момент поворота, перелома, в его стихийном социальном гневе, но и как разумного, осознанно действующего деятеля истории. Воспитание новой, социалистической личности, формирование сознания рядового человека становится центральной темой советской прозы 30-х годов. Ее по-разному решали на различных участках литературы. По-своему решалась эта задача в романах о людях социалистического труда. По-другому, иначе, она решалась в романах о революционном переломе в деревне, еще иначе — в новых, появившихся уже в 30-е годы произведениях о революции и гражданской войне. У Слонимского эта общая для советской прозы задача обернулась своеобразно, — в стремлении к обогащению и углублению интеллектуального мира героя, перед которым возникают самые сложные мировоззренческие проблемы революционной эпохи. К решению этой проблемы Слонимский шел сложными путями и в 30-е годы добился значительного успеха в «Повести о Левинэ», которой предшествовал ряд произведений, свидетельствовавших о том, что в художественном сознании писателя во многом односторонне преломилась эпоха НЭПа.

Среди этих произведений есть и значительные, своеобразные вещи (рассказ «Черныш», повесть «Средний проспект»), однако они в большинстве случаев отмечены чертами противоречивости, связанной с тем, что, как писателю часто казалось, мутная волна собственничества в мирную эпоху кое-где бьет через край. В художественном плане в книгах Слонимского в ряде случаев возрождается алогический психологизм при раскрытии героя. В рассказе «Черныш», скажем, герои совершают странные, немотивированные непосредственными обстоятельствами их жизни поступки. То, что своеобразно, хотя и односторонне, характеризовало период распада старой государственности и всего дореволюционного жизненного уклада в «Шестом стрелковом», незакономерно возрождается в описаниях мирной жизни новой эпохи. Там, где писатель в острой сюжетной ситуации лицом к лицу сталкивает людей революционного поведения и мышления с людьми, пытающимися действовать по собственническим, стяжательским нормам, он художественно убедительно показывает победу революционной тенденции в жизни (рассказ «Четвертая ставка»). Но там, где он изображает действительность более широко, в ее повседневном бытовом протекании, художественно весомее и колоритнее получаются картины обывательского существования и явственно сквозит боязнь мещанства, представление о его чрезмерной живучести и цепкости.

Особенно любопытна с этой точки зрения повесть «Средний проспект». Жизненный путь молодого василеостровского мещанина Павла Лебедева прослежен в этом произведении с завидной реалистической точностью и достоверностью — от отроческих, приобретенных в семье мадам Лебедевой, владелицы кинотеатра, навыков дармоедства и тунеядства до беспринципного обывательского существования в качестве «советского служащего». Уверенно и зло показан рост хамства, жестокосердия, чванства героя по мере его «жизненных успехов». Из такого вот Павлуши, с его ползучестью и мимикрийными способностями может в конце концов вырасти чинуша, бюрократ довольно больших масштабов. Здесь вносятся любопытные оттенки в развитие темы Клары Андреевны из «Лавровых». Павлуша Лебедев — это мещанин новой эпохи. Он не склонен ни к каким иллюзиям, трезво оценивает самого себя и выдает себя за нечто значительное только в отношениях с другими людьми — для карьеры и благополучного существования. Этот угодливый, беспринципный человек особенно отвратителен и опасен именно оголенностью своих желаний, трезвостью устремлений, безобидностью облика, умением прикинуться в глазах других не тем, что он есть. Но если сатирическая линия этой повести весьма сильна, то ее слабая сторона — в наивно упрощенном, сухом и, по существу, очень нечетком изображении положительных сил, противостоящих колоритно выписанным мещанам Лебедеву, Масютину, Клаве. Меньше всего убеждают в повести образы коммуниста Максима и окружающих его людей. Они не раскрыты изнутри, и в них нет четкой линии поведения, какая была, скажем, у Фомы Клешнева в «Лавровых», поэтому неясна их идейная функция в общей системе образов повести. Повесть, наряду с другими новыми вещами литературной группы, к которой принадлежал Слонимский, не понравилась М. Горькому. «Сухо и тускло», — так он формулировал свои впечатления от этой книги. Совершенно основательно Горький отмечал общий для ряда книг тех лет недостаток — отсутствие у многих авторов сколько-нибудь художественно весомой активной, действенной, противостоящей отрицательным явлениям тенденции. «Позволяют действительности одолевать себя, покорно подчиняются фактам», — писал Горький.

Не следует представлять себе дело так, будто Слонимскому следовало «возвысить», идеализировать положительных героев, что это дало бы более верное решение задачи. Дело в том, что механически-прямолинейное противопоставление борющихся сил не может дать в искусстве сколько-нибудь реального, художественно-плодотворного конфликта по той простой причине, что основывается

на упрощении, схематизации основных противоречий действительности, всегда по самой сути своей диалектически-сложной. В романе «Фома Клешнев» Слонимский подошел к делу подобным упрощенным образом, и это предопределило неудачу книги. В центре этого произведения автор поставил героев, уже знакомых читателю по роману «Лавровы», как бы надеясь на то, что со своими четко сложившимися индивидуально-своеобразными характерами и социальными судьбами эти герои и в новых жизненных обстоятельствах заживут вполне органической для них художественной жизнью и естественным образом вступят в новые конфликты. Расчет оказался ошибочным, потому что нельзя героя, органически связанного с определенным конфликтом, механически ввести в новый по своей внутренней исторической природе конфликт. Старые герои не только не зажили в новой книге новой жизнью, но, потеряв свою прежнюю определенность, характерность, не приобрели других сколько-нибудь убедительных черт и красок личности.

В «Фоме Клешневе» писатель стремился выдвинуть на первый план интеллектуальную проблематику, вопросы, связанные с идейной, мировоззренческой борьбой, характерной для советской действительности в 20-е годы. В романе изображается классовая борьба в науке. Среде научных работников — видному профессору, историку Будному, окруженному учениками и почитателями, — противостоит среда партийных работников во главе с Фомой Клешневым, который предстает на этот раз в качестве деятеля идеологического фронта. Однако подлинно интеллектуального поединка людей разных мировоззрений в романе не получилось: два лагеря механически противопоставлены друг другу, между ними нет никаких точек соприкосновения, они борются, в сущности, не на одном поле битвы. В романе нет общего для всех героев круга проблем, разное решение которых разными героями и могло бы дать художественный эффект реального конфликта.

Все дело в том, что в научной среде, изображенной в романе, нет никакой дифференциации. Есть злобные враги, есть неискренние перебежчики в другой лагерь, но людей, серьезно задумывающихся над своей жизнью и над кругом своим научных идей, в романе нет. Фоме Клешневу не с кем и не над чем реально работать, ему никого и ни в чем реально не надо переубеждать. Он демонстрирует на страницах романа только одно качество — непреклонность. Качество это характеризует скорее личные особенности героя, а конкретная его позиция в идейном конфликте остается неясной, ибо сам этот конфликт подан абстрактно-схематически.

В романе есть партиец Ваня Бушуев, горячий, малообразованный паренек, не понимающий необходимости работы с интеллигенцией в период строительства социализма. У этого паренька живой и ясный характер — не потому, что он «ошибается», наделен неким «недостатком», а потому, что его личные качества и позиция, которую он занимает в борьбе, не противоречат друг другу. А позиция Клешнева неопределенна и двусмысленна, читатель не убежден в ее достоверности. Клешнев резонно объясняет Бушуеву, что Ленин учил совершенно иначе относиться к интеллигенции. Но слова его повисают в воздухе, потому что реальное его отношение к интеллигенции отличается от отношения Бушуева только большей внешней корректностью. На деле позиция Клешнева вполне совпадает с позицией Бушуева, только Клешнев более вежлив и поэтому скучен, ибо неясно — зачем же быть вежливым, если сталкиваешься только с людьми, которых не любишь, которым не веришь, которых не за что ценить и уважать, с которыми, в общем-то, нечего делать. Вежлив ли ты тут или невежлив, к существу дела это ведь никак не относится, хотя, разумеется, лучше быть корректным, если позволяет обстановка. Получается так, что Ваня Бушуев, персонаж второстепенный, является живым человеком, потому что внутренняя его сущность совпадает с его общественной позицией, чего нельзя сказать о главном герое — Фоме Клешневе.

Главный противник Клешнева, профессор Будный — «почтенный ученый», напечатавший в немецком журнале контрреволюционную статью. В романе показана архаичность всего поведения и бытового обихода Будного на фоне бурно развивающейся советской действительности, обреченность всей его псевдоученой, жреческой позиции, всего псевдоакадемического уклада с тонко и грубо льстящими учениками и последователями и полной отчужденностью от реального хода народной жизни. Будный — живой человек, живой характер прежде всего потому, что внешнее здесь вполне связано с внутренним, потому что он показан через свое реальное дело. Отчужденность, удаленность от народной жизни обнаруживается тем, что для этого «ученого» революция вторгается в жизнь абсолютно неожиданно. Историк по специальности, Будный именно в живой, совершающейся у него на глазах истории ничего не понимает. Поэтому он, конечно, ничего не понимает и в прошлой истории человечества. Тут есть внутренняя драма. Чем более импозантно держится профессор, чем больше он выдерживает традиционно-буржуазный «академический» декорум, с тем большей неотвратимостью обнаруживается, что он пусто-

цвет, всю жизнь занимавшийся делом, в котором он ничего не смыслил.

Такие «профессора», как Будный, несомненно были, но были ведь и другие профессора, которым предстояло многое понять благодаря революции. И если бы Слонимский рядом с Будным показал подлинного ученого и борьбу за него Клешнева, тогда роман стал бы несравненно глубже и образ самого Клешнева заиграл бы всеми красками.

В «Фоме Клешневе» нет того главного, что определило успех «Лавровых», — нет подлинной диалектики по-разному поворачивающихся человеческих судеб в великом переломе революции, того, что так рельефно выступало в жизненной истории Бориса Лаврова. Поэтому здесь нет подлинной конфликтности. Есть только уверенный в своей силе, внутренне не раскрытой, Клешнев, спокойно смахивающий с пути революции колоритно нарисованного и ничтожного Будного. Поэтому и не получилось романа о борьбе в науке. Поэтому увял, обесцветился здесь и Борис Лавров. В «Лавровых» Борис шел трудными путями постижения жизни и определения своего места в борьбе. В «Фоме Клешневе» Борис уже ничего реально не постигает, ни с чем на деле не борется. Он борется только с самим собой — но и поводы к этой внутренней борьбе совершенно ничтожны. В итоге — перед нами хлопочет и мечется по неизвестным поводам молодой человек, ничем, кроме приятной наружности, не обладающий. Познание жизни, ее разнородных тенденций, поиски и нахождение новых путей в науке — все это способствовало бы углублению интеллектуального начала в образе Бориса. Но так как борьба Клешнева и Будного носит внешний, мнимый характер, и даже к этой, не очень-то увлекательной, борьбе Борис не имеет никакого отношения, он предстает наиболее бесплотным призраком в романе, и без него изобилующем персонажами, лишенными и тела и духа.

В работе над «Фомой Клешневым» выяснилось прежде всего, что нельзя выносить психологию и идейные искания героя «за скобки» конфликта, за пределы непосредственной сюжетной борьбы персонажей, иначе говоря — отделять внутренний мир героя от его жизненного дела. Сам Слонимский несколько позднее, говоря об основной особенности своей манеры 20-х годов, отмечал, что «динамика действия» и «психологическое объяснение» этого действия у него не совпадали: «Действие развивается, человек что-то делает, а объяснение все откладывается и откладывается и, наконец, находит себе место в тот момент, когда это нужно». Такая манера была уместна и органична там, где речь шла о несколько стихий-

ном, не осознанном самим героем движении в общественной борьбе. Само движение это, разумеется, определялось и обстоятельствами и мерой сознательности самого героя, но герой шел наощупь, вырабатывая мировоззрение, еще не руководясь им до конца. Автор поэтому знал о герое больше, чем сам герой, и это вполне естественно. Несколько стихийное движение героя в определенный момент объяснялось впоследствии с высоты того этапа, которого достигал герой.

Эта манера не оправдала себя в «Фоме Клешневе», зазвучала там как своеобразное литературное кокетство. Получилось это потому, что нельзя действия Фомы Клешнева, коммуниста с выработанным долгими годами борьбы зрелым мировоззрением, отделять от его интеллекта, от его мыслей: ведь мысль, чувство, переживание здесь должны быть слиты с поступками, а действие — выступать как осознанное, когда мысль не только следует за поступком, но и предшествует ему. Действие, дело человека здесь должны были выступить как исторически осознанные, поэтому здесь нельзя было дело отделять от мысли. Кризис неприменимой к новому жизненному материалу манеры обнаруживал необходимость новой манеры.

Ее поиски шли у Слонимского в общем русле исканий советской прозы 30-х годов. Значение творчества Николая Островского и Макаренко для прозы 30-х годов и шире — для советской литературы в целом заключалось, между прочим, в том, что, в развитие горьковской традиции, эти писатели сумели показать неразрывную связь исторического дела человека с его зрелым социалистическим мировоззрением, неразрывную связь между социалистическим воспитанием личности и ее трудовой деятельностью. Осмысление труда, скажем, в советской прозе 30-х годов, как осознанного исторического действия, как социалистического подвига, стало возможно в книгах Малышкина и Крымова только благодаря горьковской традиции, творчески развитой Макаренко и Островским. Роман о революции и гражданской войне в 30-е годы приобрел новое, углубленное звучание опять-таки именно потому, что в нем с огромной силой развита тема осознанного действия. Герои «Хождения по мукам» находят новое мировоззрение и одновременно действенное место в революции и советской жизни. Точно так же и трагедия Григория Мелехова раскрыта одновременно и в ее интеллектуальном и в действенном выражении. Поступок и мысль неразрывны и в том и другом случае. У Виринеи или Морозки (по-своему, — у Бориса Лаврова) дистанция между мыслью и поступком еще велика, а у героев литературы 30-х годов — у Павла Корчагина или руко-

водителя колонии из «Педагогической поэмы» — весь жизненный пафос состоит именно в преодолении, в уничтожении этой дистанции.

Эта новая качественная особенность социалистического реализма вырабатывалась в 30-е годы благодаря коллективным усилиям художников, связанных с материальной и духовной жизнью революционного народа. Советская действительность создавала новый тип героя — человека социалистической сознательности, и он, естественно, отобразился в литературе, в свою очередь содействовавшей своими способами формированию этого человека. Новое раскрытие героя писатели давали на разном жизненном материале. В творчестве Слонимского таким героем осознанного исторического действия явился руководитель Баварской советской республики Евгений Левинэ.

В «Повести о Левинэ» уже нет разрыва между мыслью и поступком героя, что было характерно для «Фомы Клешнева». Левинэ дан в высший момент своего духовного развития и в самом процессе совершения революционного подвига. Повесть построена оригинально, и уже в ее построении писатель как бы полемизирует с самим собой, со своим собственным предшествующим этапом. Если самая суть идейного, интеллектуального столкновения Клешнева и Будного осталась за рамками непосредственной сюжетной борьбы героев и с трудом проступала сквозь бытовые и психологические подробности, составлявшие основу повествования, скрепленного мнимо-детективным сюжетом, то «Повесть о Левинэ» построена совсем по-другому. Здесь за рамки интеллектуального конфликта, составляющего сюжет вещи, вынесены все подробности. Даже краткая и трагическая история Баварской советской республики, преданной социал-демократическими руководителями — реформистами школы Носке и Гофмана, дана лишь в качестве предыстории сюжета, являющегося рассказом о моральной, духовной, идейной победе Левинэ над буржуазными судьями, вынужденными идти на подлог и беззаконие для того, чтобы осудить его на смерть. В повести непосредственно рассказано только о последних днях жизни Левинэ, о его судебном процессе, о его героическом поединке с судьями и о его гибели. Прошлое героя, объясняющее особенности его духовного облика и те специфические душевные и идейные проблемы, которые встали перед ним в момент его последнего трагического поединка с буржуазным обществом в стенах тюрьмы и судебного зала, рассказано в виде особых «наплывов», возникающих по мере развертывания борьбы с судьями и злорадствующим залом, наполненным баварскими мещанами.

Особенность конфликта между Левинэ и судьями заключается в том, что, по прямому смыслу баварского закона, осудить его на смерть за государственную измену нельзя, поскольку он действовал согласно своим убеждениям. Задача судей, следовательно, заключается в том, чтобы доказать, что он действовал вопреки своим убеждениям, что он предал свою собственную доктрину, что он бесчестный человек.

Противопоставляемые пролетарскому революционеру представители вражеского, буржуазного лагеря даны дифференцированно, и дифференциация эта основана не на внешних, мелких, личных или бытовых различиях, а на реальной позиции каждого из них в основном конфликте, что, несомненно, способствует его углублению. Прокурор, председатель суда и конвойный офицер Лерхенфельд открыто ненавидят Левинэ — не только как общественного деятеля, но и как человека. Тут вполне слилось «классовое» и «личное», слилось до того, что, рискуя поставить под угрозу даже защищаемые ими принципы буржуазного строя (озверелая реакция не стесняется в средствах),— эти люди любой ценой добиваются физического уничтожения Левинэ.

Не таков, однако, защитник, буржуазный адвокат, нанятый Розалией Владимировной, матерью Левинэ. Богатая буржуазная дама, властная, уверенная в своих силах, она обращается к самому дорогому адвокату Мюнхена — богачу, аристократу, графу. Тема графа входит существеннейшим, важнейшим элементом в интеллектуальную драму, разыгрывающуюся на суде. Граф берется защищать Левинэ только при одном условии: если из материалов дела он убедится в том, что в поведении Левинэ не было бесчестных мотивов. Свидание с подсудимым убеждает его в том, что перед ним человек фанатической веры в правоту дела, которому он отдал жизнь, и граф употребляет все свои незаурядные способности на то, чтобы спасти жизнь Левинэ. Делает он это не из симпатии к Левинэ и еще в меньшей степени из уважения или пристрастия к политическим убеждениям коммуниста. Граф — последовательный, принципиальный, убежденный сторонник буржуазного строя, и, защищая Левинэ, он преследует свои политические цели: согласно его мысли, буржуазный строй может быть спасен в эпоху величайших исторических потрясений только строгим и неуклонным выполнением буржуазной законности. Любое нарушение законности подвергает опасности этот строй, дискредитирует его в глазах народа. Граф, в сущности, является гораздо более опасным врагом дела революции, дела Левинэ, чем прокурор или лейтенант Лерхенфельд, потому, что это — враг умный, интеллектуально-слож-

ный, стремящийся держать под воздействием своих идей сознание народных масс. Доводам коммунистов граф противопоставляет свои доводы, свои идеи. Самый процесс над Левинэ граф стремится превратить в средство агитации за буржуазные идеи, в демонстрацию торжества справедливости, неподкупности буржуазного закона, буржуазного правопорядка.

Но в критические моменты, в моменты напряженных классовых столкновений — а именно таким обостренным классовым столкновением является и процесс над Левинэ — буржуазный правопорядок прибегает к подтасовкам, к подлогам, к беззаконию. Прокурор, испытывающий к Левинэ зоологическую злобу, трезво понимает, что, придерживаясь прямого смысла закона, нельзя его осудить на смерть. Поэтому, изощрив все свои способности, прокурор находит другую статью, по которой Левинэ, как кажется прокурору, будет раздавлен, унижен, дискредитирован, осужден. Он обвиняет Левинэ в том, что тот в момент разгрома республики скрылся в подполье, оставив своих товарищей и предав их, что он — трусливый человек. Прокурору кажется, что тем самым доказана бесчестность побуждений, руководящих действиями Левинэ.

Для понимания всей совокупности мотивов драмы, развертывающейся на суде и связанной с этими доводами прокурора, чрезвычайно важен образ матери Левинэ, Розалии Владимировны. Девушкой, в нищенствующей мелкобуржуазной семье своих родителей, она мечтала о богатстве и знатности. Благодаря незаурядным личным качествам и беззастенчивой воле ей удалось реализовать свою мечту. Разбогатев, Розалия Владимировна настойчиво стремится реализовать свой жизненный идеал, напоминающий идеал Клары Андреевны из «Лавровых». Всю свою волю, силу ума и характера она направляет на то, чтобы придать созданиям своего мещанского воображения облик полной и несомненной реальности. «Господин Левинэ был итальянским подданным, представителем финляндской хлопчатобумажной фабрики, жил постоянно в Петербурге, а с женой разговаривал обычно по-немецки. Эту путаницу стран и языков Розалия Владимировна объясняла детям кратко и точно: они — немцы, притом их отец происходит из очень аристократического рода». В иллюзорную «красоту» мира социальных привилегий Розалия Владимировна всеми средствами настойчиво пытается ввести своих детей.

Но сын оказывает противодействие матери. Наделенный незаурядным умом и характером, он стремится постичь реальный облик мира, в котором живет, и хочет найти в нем свое независимое место. Однако на первых порах, разрушая мир материнских

иллюзий, он создает свой, не менее иллюзорный. Отвергая мнимый мир своей матери, познав грубую прозу общества, породившего его, молодой Левинэ ищет индивидуалистического героизма, и вначале становится фрондером, дуэлянтом, далее — чем-то вроде лассальянца, а затем, неудовлетворенный всеми этими социальными масками, настойчиво стремясь понять окружающее, он сближается с русскими революционерами и органически для мелкобуржуазного фрондера становится эсером. Возражая одному из своих буржуазных друзей в ответ на перечисление его недостатков, Левинэ говорит: «У меня есть еще один очень крупный и основной недостаток, который вы, профессор, не изволили сейчас отметить, — я очень люблю думать, а занятие это, если увлечься им всерьез и все додумывать до конца, к добру не приводит. Это очень опасное занятие». Логика классовой борьбы, бесстрашная искренность и незаурядный ум Левинэ приводят его к марксизму. «Вся путаница, все мучения и скитания его жизни разрешались понемногу очень просто: он открывал, что революция — это наука, это искусство. Здесь надо быть глубоким и тонким знатоком, а не расшибать лоб об стену». Так Левинэ становится романтиком подлинно революционной мысли и революционного долга.

Прокурор, пытавшийся обвинить Левинэ в трусости, бьет по очень больному месту. Как темпераментный и пылкий романтик революции, Левинэ рвался в бой и в условиях поражения. В той внутренней борьбе, которую он пережил в дни разгрома, разумеется большую роль играло его влечение к личному героизму. В жизненном движении Левинэ есть своя диалектика и своя последовательность. Победили революционный разум и революционный долг. Левинэ ушел в подполье по велению партии, с которым он, как мыслитель, абсолютно согласен, как бы это ни было трудно ему как личности, как человеку. Рабочий Эрнст Биллиг точно формулирует возникающую здесь проблему: «Не скрылся бы он — мы сами заставили бы его скрыться. У нас умных людей мало. Мы бросаться ими не позволим». Таким образом, обвинительная речь прокурора, при всей ее буржуазной ограниченности и предвзятости, построена не на песке, но на реальной и сложной духовной проблеме, которую пришлось решать Левинэ. Окончательное ее решение он дает в своей заключительной речи на суде, составляющей кульминацию всего произведения.

Левинэ не уходит в сторону от реальностей классовой борьбы и интеллектуальных проблем, возникающих при этом, а, напротив, дает их логически-обоснованное и строго научное решение. Разоблачив все попытки обвинения опорочить революцию, представить

ее как злонамеренный заговор кучки политических интриганов, показав ее реальную историческую почву и необходимость и превратив свою речь тем самым в действенное средство политической агитации и политической борьбы, Левинэ разоблачает также и ложь, убожество, ограниченность аргументации прокурора в отношении его, Левинэ, личного поведения. Брошенное ему обвинение в бесчестности, трусости может выглядеть убедительным только в рамках индивидуалистического мышления, которое им самим, Левинэ, давно уже преодолено. Дело революции не есть дело индивидуальной показной героики, которая, как мы знаем, в свое время его увлекала. Теперь, выражая интересы широких масс и защищая эти интересы, он ушел в подполье, ибо это диктовалось ему исторической целесообразностью и революционным долгом. Личное же свое бесстрашие Левинэ доказывает всем своим поведением до суда и на суде, где в конце речи он приглашает прокурора и председателя суда присутствовать при его казни.

Сложность построения конфликта в «Повести о Левинэ» заключается в том, что поведение и аргументация главного героя разрубают все узлы интеллектуальной драмы, в которую втянуты и прокурор, и защитник, и мать подсудимого — Розалия Владимировна. Вместе с тем Левинэ разрешает, как передовой мыслитель, прошедший сложный жизненный путь, также и волновавшие его самого проблемы — проблемы революционной страсти и революционного долга. Фактически врагом Левинэ, зрелого бойца пролетарской революции, является и его мать, — притом опять-таки, как и в случае с адвокатом-графом, врагом более сильным, умным и глубоким, чем примитивный буржуа — прокурор. Несмотря на то, что обвинение в трусости пришлось снять, Левинэ все же осуждают с туманной формулировкой, что де бесчестность доказана всеми действиями обвиняемого. И вот тогда с потрясенной осуждением сына Розалии Владимировны, на протяжении всего его жизненного пути пытавшейся совлечь его с революционного пути в буржуазное болото, на мгновение спадает искусно созданная маска респектабельной буржуазной дамы. Она не может скрыть, что гордится сыном, противопоставляя его трусливой дочери: «Почему ты не подошла к нему? Чего ты боишься? Он бы так не поступил! Он мстил за дедушку, за бабушку, за Минну, за Германа, за всю нашу нищую жизнь! И его убьют! Ты бесчувственный человек! Как ты стала такой? Он бы иначе себя вел!» Левинэ победил и в интеллектуальном поединке с матерью. Но буржуа не перестает быть буржуа, как бы умен он ни был. Оправившись, Розалия Владимировна стремится поскорее скрыть свое поражение и снова

надевает свою маску: «Я ничего этого не говорила, Соня, — промолвила она угрожающе. — Ты ничего не слышала».

И в борьбе с адвокатом, представителем традиционной буржуазной демократии, Левинэ тоже выходит победителем. Он видит закономерность безумия буржуазии и понимает, что в эпоху исторического кризиса буржуазия вынуждена отказаться от тех демократических форм, которые она в свое время отстаивала. Теперь традиционный буржуазный демократ оказывается явлением архаическим, устарелым. Судебный приговор убеждает графа, что Левинэ был прав. Разумеется, подобно Розалии Владимировне, он будет продолжать свою игру — игру в демократию, иллюзорный характер которой обнажил Левинэ.

Используя то ценное, что было в его прежнем писательском опыте, и преодолевая свои недостатки, по-своему решая задачи, возникавшие перед советской литературой, Слонимский сумел показать передового человека современности как человека бесстрашного интеллекта, способного постигнуть и решить сложнейшие проблемы общественных отношений и борьбы классов. Он показан в действии, в живой, реальной жизненной борьбе за утверждение новых форм жизни. Благодаря этому «Повесть о Левинэ» стала *одним из значительных произведений советской прозы 30-х годов.*

3

Рассказы и повести Слонимского второй половины 30-х годов, а затем и произведения военных лет отличаются характерным для всей советской прозы этого периода стремлением изобразить сложившихся, духовно зрелых советских людей в их повседневных делах и трудах. Если, как и прежде, писателя влечет к изображению обыденной жизни, к изображению характеров «обыкновенных», *внешне ничем не примечательных людей, то* вместе с тем его влечет к себе и героика, вторгающаяся в эту «обыкновенную» жизнь «обыкновенного» человека. Контраст между кажущейся «обычностью» человека, его «невидностью» и яркостью его поступка кажется писателю художественно-привлекательным и соответствует его сложившейся художественной манере. Поэтому вполне органично для писателя создание цикла рассказов о пограничниках. Как и прежде, писатель избегает в этом цикле пространных психологических объяснений поведения людей, он повествует об их жизненном пути, вполне обычном, и стремится показать, как геро-

ческий поступок не только не противоречит, но, по-существу, вытекает из этой «обыкновенной» жизни.

В этом ряде произведений наиболее удачна повесть «Андрей Коробицын». Паренек из глухой Вологодской деревни попадает на военную службу в пограничные войска. Здесь происходит окончательное формирование его характера. Армейская школа, воспитание воинской дисциплиной в особых, специфических условиях пограничной службы, является органическим продолжением социального воспитания человека в условиях пореволюционной деревни. Старая, дореволюционная жизнь приучала человека отстраняться от общественных конфликтов. Мать Коробицына, воспитанная этой жизнью, «о чем бы ее ни спросить, все равно она ответит не сразу, а сначала откликнется, выставив вперед ухо: — Эй? — И лицо у ней при этом такое, словно всю жизнь все только и делали, что пугали ее». В новой, советской деревне поначалу тоже пытаются взять верх силы старого — активизируются кулаки Таланцевы, а забитая жизнью мать Коробицына пытается отстраниться и от этой новой борьбы.

Слонимский показывает, что воспитание нового человека есть прежде всего воспитание социальной активности. Становясь хозяином жизни, ответственным за нее, простой человек обретает человеческое достоинство и социальную активность. Андрей Коробицын потому так пунктуален в выполнении требований военной службы на границе, что понимает: здесь ведется в иных формах та же борьба, что и в родной вологодской деревне, за нарушителями границы ему видятся (даже и во сне, что, вероятно, несколько чрезмерно) хорошо ему знакомые и понятные фигуры Таланцевых. Спокойной уверенности, «обычности» советских пограничников противопоставлен авантюризм зарубежных разведчиков — людей, выбитых из нормальной жизненной колеи «нормальными» условиями буржуазного существования. Повесть завершается показом внешне не эффектного, героического подвига Коробицына, даже и «не заметившего», не осознавшего, что он совершил большой, важный для жизни всей страны поступок и стал героем, ибо в этом поступке проявились устойчивые, ставшие для него жизненной «нормой» черты характера и особенности поведения.

В повести о Коробицыне, так же как и в других рассказах этого периода, Слонимский стремится к простоте повествования, не обремененного сложностями чрезмерного психологического анализа, не отягощенного искусственными ухищрениями фабулы; но иногда простота оборачивается здесь упрощенностью, отсутствие психологической сложности подчас граничит с духовным обеднением героя,

ясность социально-исторического рисунка человеческих отношений — с прямолинейностью.

Эта же упрощенность характеров и общего идейно-художественного построения сказывается и в ряде произведений Слонимского, рисующих жизненные отношения советских людей во время войны. Здесь как будто бы все правильно, но все вместе с тем кажется знакомым, известным уже читателю из других многочисленных рассказов и повестей. Свойственная вообще манере писателя суховатость и сдержанность теперь, в повествованиях о военных годах, часто ведет к обеднению эмоционального, психологического, душевного мира изображаемых им героев. Перед Слонимским встала поэтому серьезная, значительная проблема — проблема обогащения характера героя, у которого мысль неразрывна с делом, героическое — с обычным жизненным поведением. Решить эту задачу Слонимский мог только на своем, близком его творческой манере жизненном материале. В отразившей события военных лет повести «Стрела» Слонимский уже нашел многое из того, что наиболее плодотворно сказалось затем в книгах «Инженеры» и «Друзья», составляющих новый этап в идейно-художественном движении писателя.

Необходимость серьезного творческого обогащения для художественного отображения действительности военного времени стояла не только перед Слонимским, но и перед всей нашей литературой в целом. В годы войны наша литература проделала огромную идейную работу, решительно встав со своим специфическим оружием в ряды борющегося народа. Деятельность в эти годы таких литераторов, как Б. Горбатов, И. Эренбург, А. Твардовский, А. Толстой, Н. Тихонов и др., никогда не будет забыта народом. Однако наряду с огромными достижениями литературы, тесно связавшей себя с борьбой народа и возглавившей его партии, в литературном развитии этого периода сказался и целый ряд существенных недостатков. Главнейшим из них было поверхностное, абстрактное представление некоторых литераторов о смысле и значении развертывавшегося грандиозного исторического конфликта. Им казалось, что смысл происходящего исчерпывается борьбой «добра и зла», — при этом ускользал от внимания конкретно-исторический характер борьбы нового общественного строя, созданного революцией, с силами старого мира. Такая трактовка войны особенно отчетливо проявилась в «Русской повести» П. Павленко, «Би хэппи» Ю. Германа, некоторых рассказах Ю. Нагибина и т. д.

Сила лучших произведений советской прозы этого периода — таких, как «Народ бессмертен» В. Гроссмана, «Непокоренные» Б. Горбатова или, позднее, «Молодая гвардия» А. Фадеева — со-

стояла в стремлении постигнуть характер советского человека на войне именно как конкретно-исторический характер, как характер типический для нового, советского общества. Именно на этом пути — на пути углубленного постижения новой советской действительности, новой жизни и порожденных ею характеров людей — находилась и глубокая преемственность с классической литературой (связь с традициями Гоголя в «Непокоренных» Б. Горбатова или с традициями Толстого в «Молодой гвардии» А. Фадеева). Чересчур общее, «общечеловеческое», «абстрактное» истолкование исторического конфликта могло привести и приводило отдельных литераторов к серьезным идейно-творческим ошибкам и просчетам. В известных постановлениях партии о литературе указывалось, что литература должна быть тесно связана с жизнью советского общества, с политикой советского государства, что строительство нового общества должно получать в литературе конкретно-историческое художественное воплощение. Постановления партии оказали решающее воздействие на весь процесс развития нашего искусства.

Слонимский шел в эти годы общими для нашей литературы путями.

В цикле рассказов и очерков о войне он не добился сколько-нибудь существенного успеха прежде всего потому, что он часто подменял здесь подлинное знание жизни, ее новых закономерностей, новых характеров советских людей, развивающихся в связи с общественным движением, схематическими, абстрактными книжными представлениями о действительности. Из всего написанного Слонимским о войне выделяется по своим идейно-художественным особенностям только повесть «Стрела».

Герои «Стрелы» попадают в такую боевую обстановку, которая могла бы выглядеть как неестественная, специально для эффекта выдуманная, но, несмотря на всю присущую ей исключительность, мы ощущаем ее как вполне реальную и достоверную. Люди в этой обстановке не произносят пышных риторических фраз, не выказывают псевдотрагических, псевдоромантических чувств и переживаний, потому что они занимаются в это время своим делом, тем делом, которое еще до войны стало их призванием. Секрет художественного успеха Слонимского в данном случае объясняется просто: он нашел ключ к характерам людей, анализируя их трудовую биографию довоенной поры. Сражаясь с врагом, люди ведут себя так, как это соответствует их сложившимся и развивающимся натурам.

В центре повествования стоят два резко индивидуальных, четко выписанных человеческих характера, особенности которых выявляются в деле, в отношении к труду. Инженер Шерстнев — человек

творчески-импульсивный, горячий, одержимый своим делом, — таким он предстает в своем труде и таким оказывается, естественно, и в личной жизни и в быту. «Новые идеи вторгались в обычную, ежедневную работу Шерстнева как бы внезапно. Всегда казалось ему при этом, что он изобретает нечто гениальное, и всегда, когда работа была завершена, он удивлялся малым результатам своих больших усилий». Речь идет здесь о «вдохновении», сказано все очень просто, но объяснено многое: редко ведь бывает в жизни, чтобы в подлинно творческой работе не было бы внезапных взрывов, особых прояснений, как бы прерывающих повседневную, обычную работу, но на самом деле являющихся ее итогом. И ведь вряд ли в жизни можно сделать что-либо настоящее, подлинное, не будучи уверенным в необыкновенной, предельной важности открываемого.

Совсем иной характер у инженера Билибина: это — организатор, человек ясной мысли, систематизирующей, аналитически освещающей результаты уже выполненной кем-то работы. У автора есть соблазн несколько принизить Билибина в сравнении с Шерстневым, хотя он и стремится объективно подойти к ним обоим. Все же и Билибин хорошо показан в быту, в повседневных особенностях его «внеделового» существования, которое органически связано с его отношением к труду.

Об этих двух характерах можно сказать «оба лучше», ибо каждый нужен на своем месте. Хорошо говорится про взаимоотношения этих людей в начале повести: «Билибин терпеливо сносил все выпады Шерстнева, а Шерстнев, как ни ругал его, а ему первому нес свои новые работы, и как ни раздражался иной раз, но вынужден был принимать его справедливые и всегда доказательные возражения... Билибин был для него точнейшим контрольным аппаратом, совершенно необходимым». И вот, оказывается (и это вполне естественно), что каждый из этих людей ведет себя в военных условиях по-своему. Читателя, узнавшего их в мирном труде, это не удивляет, ему ясно, что именно так и должен поступать в тех или иных условиях Шерстнев, и совсем иначе — Билибин. Характеры, особенно характер Шерстнева, даны в развитии, и опять-таки развитие дано через дело, в органической связи с ним. Мы видим почти осязаемо, как естественно реализуется в военных условиях мучившая Шерстнева еще в довоенную пору идея новой конструкции крана. Рождение и развитие научной технической идеи не дается в повести как нечто независимое от личности человека и от общественно-исторического его существования. Поэтому читатель заинтересованно следит за тем, как все более и более материали-

зуется научная идея, — постепенно реализуются ее отдельные части и, наконец, как итог исканий и отдельных прояснений, вспыхивает решение всей задачи.

Интересно (и это опять-таки весьма закономерно), что Слонимскому удается убедительно показать духовный, человеческий рост женщины, невольно втянутой в этот конфликт между Билибиным и Шерстневым. Леночке, жене Шерстнева, муж поначалу не очень нравится, ибо он совершенно не соответствует ее несколько мещанским представлениям о любимом человеке, о муже, который может дать ей семейное счастье. Леночкиным представлениям о женихе гораздо более соответствует Билибин, и еще долго после замужества ее тянет именно к нему. Это связано с общими ее представлениями о жизни. Она аккуратна на службе, и ей хочется благоустроенной жизни, не омраченной никакими трудностями и поисками. Она даже пытается поучать мужа, как ему следует вести себя в тех или иных обстоятельствах и вообще в жизни.

Серьезное чувство к Шерстневу, глубокая переоценка людей приходят с опытом, с познанием жизни, с нахождением своего собственного места в ней: мы видим, как из аккуратной службистки незаметно получается человек, работающий не за страх, а за совесть, как в серьезных жизненных обстоятельствах Леночка заново рождается. «Ее муж был воплощенным движением, и девчонкой она боялась подчиниться ему, быть увлеченной в некий бурный поток, ее тянуло к покою, а покой был в увесистом, нешатком Билибине. Вот в чем дело, — думала она и не понимала, что могло ей хоть на миг понравиться в Билибине». Слонимский показывает движение личных отношений в связи с общественными трудовыми отношениями людей, и это придает «личной» линии повести художественную убедительность.

Если в ряде рассказов Слонимского предвоенного и военного периода герои представали несколько упрощенными, обедненными, то в «Стреле», на новом жизненном материале, изображая людей научно-технического труда, писатель снова сумел раскрыть то, что его всегда больше всего интересовало: интеллектуальное начало в человеке, в обыкновенном, «среднем» человеке. Писатель показал это начало в поступках, в делах, в труде своих героев, в их личной жизни. Творческая тема, найденная в «Стреле», получила свое дальнейшее, обогащенное развитие в послевоенных произведениях Слонимского — в «Инженерах» и в «Друзьях».

В «Инженерах», как и в других важнейших, узловых для творческого развития писателя произведениях, изображается

процесс действенного, проверяемого всем индивидуальным опытом, познания человеком мира. Это познание есть вместе с тем нахождение человеком своего места в жизни, своей активной позиции. Если в «Лавровых» это познание мира героем имеет непосредственный характер и не выливается в интеллектуальный конфликт, то в «Инженерах» налицо именно интеллектуальная проблематика; мера умственного постижения жизни героем здесь становится и мерой осознанного участия в ней. Так в «Инженерах» развивается опыт произведений 30-х годов. И снова, как в «Стреле», постижение, познание действительности осуществляется героями через непосредственно практическое участие в жизни, в труде.

Инженеру Ланговому удалось спроектировать оригинальный автоматический станок. Он служит на заводе, принадлежащем крупной бельгийской фирме, и поэтому передает ей свое изобретение. Через некоторое время в иностранном журнале появляется статья, в которой всячески расхваливается, рекламируется изобретенный Ланговым станок, но авторство приписывается брату заводчика. Ланговой, человек крутого, вспыльчивого темперамента, совершенно неопытный в практических делах и наивный в социальных вопросах, обращается к своему непосредственному начальству за разъяснениями. Оказывается, заводчик считает все происшедшее вполне нормальным, изобретение Лангового он рассматривает как свою собственность, с которой волен обращаться по своему усмотрению: «Дела по привилегиям, производству, эксплуатации веду я, и веду так, как этого требуют интересы фирмы. Предлагаю вам не вмешиваться в руководство предприятием». Пытаясь отстаивать свое авторство, Ланговой выясняет, что происшедшее ни в какой степени не является случайностью. На страже интересов заводчика стоят все институты буржуазного общества — юстиция, пресса, «общественное мнение».

Адвокат, приятель Лангового, к которому он обращается, оказывается прожженным циником, решительно ничем не отличающимся от тех цивилизованных карманных воришек, которые официально выступают в качестве «хозяев», работодателей Лангового. Трезво учитывая свои выгоды, адвокат помогает заводчику наиболее ловким и безупречным способом обокрасть изобретателя. Зная Лангового, человека глубоко принципиального, честного, высоконравственного, заводчик и адвокат угрожают опорочить его учителя, профессора Кондакова, вступившегося за своего ученика. Припертый к стенке этим наглым шантажом, Ланговой вынужден не только уступить в борьбе за авторство, но и передать фирме усовершенствованную модель своего изобретения.

Вся эта неравная борьба обнаруживает с непреложной ясностью, что труд Лангового, сколь бы сложным он ни был по форме, является трудом социальным, существующим в определенных общественных условиях. Через «трудовой» конфликт обнажается социальная природа общества. Происходит общественное воспитание личности. Из беспечного гуляки, каким был поначалу Лановой, должен вырасти не только серьезный, большой ученый, но и человек зрелой мысли, человек, постигнувший законы мира, в котором он живет.

Еще более глубокий, на первый взгляд кажущийся даже парадоксальным, конфликт развертывается при попытках Лангового применить свои изобретения в России или реализовать их под чужим именем в буржуазной Европе. Выясняется, что русские заводчики не из упрямства или косности отказываются применять изобретения Лангового, а потому, что им это невыгодно. Научно-технические достижения, облегчающие человеческий труд, оказываются невыгодными, нецелесообразными, ибо, как объясняет Лановому инженер-бельгиец, «русский рабочий обходится дешево, и его не стоит заменять машиной». Но оказывается, что и западным рабочим новая машина принесла свои беды: «У нас рабочий получает больше, чем в России, а теперь, при новом станке, число рабочих можно было сократить, работа машины стоит дешевле, чем они. Но это неинтересно», — говорит тот же бельгиец. Разумеется, буржуазному дельцу, заинтересованному только в своем собственном обогащении и обогащении фирмы, неинтересны общественные и человеческие последствия применения достижений науки к производству. Лангового же глубоко волнует открывающаяся перед ним парадоксальность, противоречивость общественного развития: то, что он, стремившийся своими научными изысканиями облегчить жизнь людей, сделать ее более разумной и человеческой, не только является фактически слугой низких и глубоко презираемых им людей, но к тому же еще и делает более трудной, более противоречивой, более тяжелой жизнь тех, кого он на всем опыте своей жизни учится ценить и уважать, — людей труда. Ищущая мысль Лангового, таким образом, оказывается в некотором тупике. Охватить все противоречия жизни он пока что не в силах.

В разговоре со своим институтским товарищем, большевиком Макшеевым, Лановой пытается развить идеи своеобразной технократии. Общественное развитие заходит в тупик. Хозяева жизни не в силах вывести общество из этого тупика — может быть, деятели науки выведут человечество из того парадоксального круга противоречий, в котором оно оказалось? Макшеев относительно

легко разбивает аргументацию Лангового. Он же знает выход и из жизненного тупика и из той идейной путаницы, в плену которой оказалась мысль Лангового: «Судьба науки тоже решится в революции». В голове Лангового эта мысль пока что не укладывается. Многого еще не понимая, он все же на правильном пути: через верно понятые интересы своей специальности, своего труда он стремится постигнуть жизнь общества в целом, и многое в ней он уже постиг. Он на пути к тому, чтобы понять, «что только социализм освободит науку от ее буржуазных пут, от ее порабощения капиталу, от ее рабства перед интересами грязного капиталистического корыстолюбия». [1] Общественный, духовный, человеческий путь героя Слонимский рисует в связи с органическими, повседневными его интересами в области трудовой деятельности

Изображая таким образом духовный и интеллектуальный рост своего героя, автор стоит на плодотворном пути. Ведь инженер или ученый идут к познанию мира особым путем, «исходя из завоеваний и данных соответственной науки». Поэтому «инженер придет к признанию коммунизма *не так*, как пришел подпольщик-пропагандист, литератор, *а через данные своей науки*, что *по-своему* придет к признанию коммунизма агроном, по-своему лесовод и т. д.». [2] Труд научно-технический, как и другие формы труда, находит свое освобождение от связывающих его пут в социалистической революции. Поэтому и решение духовной драмы Лангового появляется только тогда, когда он находит свое место в общенародной борьбе, находит связи с революционным трудовым народом. Этот выход Лангового в народную жизнь, широкие перспективы, открывающиеся благодаря революции перед ним как ученым и человеком, множество новых трудностей и коллизий, появляющихся снова перед ним, — все это стало темой романа «Друзья», в котором мы находим продолжение и развитие художественных идей, составлявших содержание романа «Инженеры».

Главным идейным, духовным противником Лангового в романе «Инженеры» является доцент Белкин. Он представляет собой выразительную фигуру духовного растлителя молодежи, увлекающего ее громкими, но пустыми, прикрывающими низменное содержание фразами. Это — псевдонаучный делец эпохи буржуазного декаданса общественной науки. Но надо сказать, что именно здесь, в образе Белкина, скрыты наиболее слабые, уязвимые стороны идейной концепции романа.

---

[1] В. И. Ленин. Сочинения, т. 27, стр. 375.
[1] Там же, т. 32, стр. 120—121.

Белкин противопоставлен Ланговому, как человек слов человеку дела, как общественный трутень человеку труда. Белкин имеет успех в «высших кругах» общества, которое, как с горечью говорит Ланговой, «превозносит Белкиных и презирает полезную работу». Эти слова вполне соответствуют месту Белкина в основном конфликте романа. Думается, однако, что Слонимский несколько упрощает реальные духовные конфликты эпохи, и это в какой-то мере делает роман беднее, чем он мог бы быть. Дело не в том, что таких Белкиных не было в ту пору — разумеется, они были, и даже были широко распространены, хотя, разумеется, и в эту пору в области общественных наук работали не только Белкины. Дело в том, что Ланговой и Белкин только взаимно презирают друг друга, но нигде и никак не сталкиваются в одной идейной, научной плоскости. Они противостоят друг другу, но не вступают в реальное взаимодействие, в реальную борьбу, прежде всего в области самой науки, в кругу тех интеллектуальных проблем, которые составляют содержание жизни и труда каждого из них.

В связи со статьей Тимирязева об Эйнштейне В. И. Ленин писал: «Надо помнить, что именно из крутой ломки, которую переживает современное естествознание, родятся сплошь да рядом реакционные философские школы и школки, направления и направленьица». [1] (Ланговой, кстати же, работает в области науки, связанной с проблемами новой физики.) Здесь указан реальный, единый, объективный источник, из которого рождаются разные направления современной научной мысли, та единая почва, на которой происходит реальная борьба. Белкин, если пользоваться современной терминологией, попросту говоря халтурщик от науки. Ну, а если бы на его месте был не халтурщик, что тогда? Тогда возникла бы реальная драматическая борьба. Разоблачить и победить халтурщика относительно легко. Слонимский облегчает положение своего главного героя тем, что выводит его противника за пределы реальной научной борьбы. Ланговой и Белкин противостоят друг другу, но не борются. Сила образов графа или Розалии Владимировны в «Повести о Левинэ» была в том, что они боролись с Левинэ на почве одних общественных проблем, давая им разное решение. В образах Лангового и Белкина задана разная проблематика. Но тогда сама борьба уже лишается интеллектуальной проблематики. Ланговой и Белкин, не сталкиваясь друг с другом в научном плане, противостоят друг другу, как лица, как

[1] В. И. Ленин. Сочинения, т. 33, стр. 206.

характеры, как индивидуальности, но не как типы людей труда, научных работников.

Надо отметить также, что научные искания Лангового даются безотносительно к его общественной борьбе, вне развития. Об этих исканиях сообщается чисто информационным образом, к реальной борьбе идей они не имеют непосредственного отношения. Поэтому оттенок недостоверности, модернизации, упрощения проникает и в изображение общественной борьбы Лангового и Кондакова. Особенно этот оттенок заметен в художественном изложении обстоятельств травли и гибели профессора Кондакова. Это и естественно — борьба героев в романе часто выступает как борьба людей «хороших» с «плохими». Тут есть шаг назад по сравнению с «Повестью о Левинэ», где основная конфликтная ситуация меньше всего может быть охарактеризована в таких наивно-психологических категориях, как борьба «хорошего» с «дурным».

Но в двух последних своих романах Слонимский делает и значительный шаг вперед. Здесь достигнута большая реалистическая широта повествования, большая разносторонность в обрисовке людей разных кругов, разных социальных групп, разных общественных позиций. Поэтому изменился и общий тон повествования. Писатель избегает теперь гротесковой обработки бытовых ситуаций, не ломает искусственно сюжетное движение, чтобы достигнуть острой психологической трактовки несколько парадоксальных характеров. Шире стало поле социального зрения, больше объектов вошло в него. В особенности это видно, если рассматривать оба романа в единстве их социально-общественной темы.

Проблемы науки, научно-технического труда в «Друзьях» повернуты несколько иначе, другой стороной, чем в «Инженерах». Если в «Инженерах» главной темой была ограниченность, связанность, скованность людей науки условиями существования буржуазного общества, то в «Друзьях» больше всего разработана другая сторона той же социальной проблемы. Главной темой в «Друзьях» становится тема духовной и культурной обездоленности простых трудящихся людей в старом обществе и преодоления этой обездоленности благодаря революции.

Только в революции получают подлинную свободу для своего интеллектуального творчества люди науки, которых старое общество обрекало на узость исканий, подчиняя омертвляющей власти капитала. В борьбе за новый строй простые люди, трудящиеся не только освобождают науку от связывавших ее пут, но и приобретают для себя право на науку, на культуру. Центральное место в «Друзьях» занимает коллективный образ рабочей молодежи

Выборгской стороны, с оружием в руках завоевывающей себе право на образование, на научное творчество. Если Ланговому революция открывает простор для научных исканий, то Василий Котляков и его товарищи завоевывают не только эту подлинную научную свободу для Лангового, но завоевывают и для себя право проникнуть в ранее для них наглухо закрытые аудитории, где читает Ланговой.

Есть здесь и еще один важный поворот темы: ведь и сама революция, решающая духовную драму как Лангового, так и Котлякова, есть наука, *притом высочайшая из наук*. Эту истину обретают, идя друг другу навстречу, естественные союзники, естественные друзья — Котляков и Ланговой. Только наука революции открывает каждому из этих героев по-настоящему глаза, учит не только подлинному пониманию их положения, их социальной драмы, но и учит тому, как действовать, как эту драму решать: «Голос Ленина бурей шел по стране, по всему миру, как веление судьбы, подчиненной строгому и нерушимому знанию». Решение внутренних драм всех серьезных, интеллектуально-значительных героев романа — *в революционной деятельности*.

Главная художественая удача Слонимского в его последних романах — образы рабочей молодежи Выборгской стороны. Если в произведениях первого периода своей творческой деятельности писатель искал и нашел способы изображения людей, идущих к революции, а во втором периоде он сумел показать интеллектуальную высоту деятеля революции, то теперь он научился изображать революционную деятельность как непосредственную, естественную жизненную потребность духовно-значительного простого трудящегося человека. В этом — то новое художественное качество, которое появилось в творчестве Слонимского. Оно свидетельствует о расширении возможностей его реалистической манеры.

В свое время Горький даже в «Повести о Левинэ» отмечал некоторую эмоциональную бедность, суховатость. Коллективный образ революционной молодежи в «Друзьях» пленяет как раз своей эмоциональной, лирической непосредственностью. Слонимскому удалось, прежде всего, создать выразительную, поэтическую атмосферу рабочего предместья — «Выборгской стороны». Поэзия Выборгской стороны передана в «Друзьях» с той естественностью, которой добивались представители разных жанров нашего искусства (наиболее несомненной удачей в этом плане явилась подлинно классическая «Трилогия о Максиме»). В коллективном образе революционной молодежи, *который создан Слонимским, особенно выделяются* фигуры порывистой, несдержанной и душевно чистой Мани Колес-

никовой и талантливого, угловатого и мило непосредственного «наивного грешника» — Кости Куклина. В эмоционально-лирическом плане решен и лучший эпизод романа, рисующий гибель комиссара Ракова, с песенным рефреном, проходящим через всю сцену — «что были пташечки — в ирей полетели». К сожалению, этой эмоциональной, лирической непосредственности и свежести в образе центрального героя — Котлякова — меньше, чем в других образах-характерах книги.

Опыт пройденного пути с его удачами и неудачами в двух романах о науке ставит теперь перед Слонимским новую большую творческую задачу — соединить реалистическую широту и объемность, составляющие силу его последних книг, с интеллектуальной глубиной и сложностью, с психологической тонкостью его прежних вещей, с эмоционально-лирической непосредственностью, найденной в изображении «Выборгской стороны».

М. Л. Слонимский, являясь одним из зачинателей советской прозы, своим трудом активно участвовал в борьбе литературы за правдивое, глубокое, партийное отражение сложных процессов нашей жизни, вместе со всей литературой переживал и радость достижений и горечь неудач. На разных этапах исторического движения советской литературы перед Слонимским вставали — по-своему преломляясь — те же задачи, что и перед другими ее серьезными деятелями. Слонимский всегда искал индивидуально-своеобразных путей решения этих задач, обращаясь к большим жизненным вопросам, не ставившимся другими писателями, к новому жизненному материалу, к новым проблемам, то есть к своеобразному художественному содержанию. Общественные, нравственные, эстетические проблемы, возникавшие перед писателем в разные периоды его деятельности, подсказывались развитием советской действительности, духовным движением человека нового мира, стремлением способствовать его идейному, нравственному, политическому воспитанию.

Павел Громов.

ПОВЕСТИ
РАССКАЗЫ

ШТАБС-КАПИТАН РОТЧЕНКО

I

Цеппелин повис над Красносельцами. Его желтизна была так же ярка, как синева неба. Три аэроплана летали над местечком, и с земли ясно видны были черные кресты на их крыльях. Зенитные орудия ловили врага; шрапнель рвалась вокруг, пуская в воздух дым и пули. Опустев и потеряв силу, шрапнельные стаканы падали наземь. Они стукались о крыши домов, врезывались в пыльную мостовую, хлопались в реку, залетали и за реку, на фольварк, туда, где пили коньяк штабс-капитан Ротченко, поручик Никонов и прапорщик Лосинский.

Офицеры сидели в саду вокруг большого выкрашенного в зеленую краску стола. Тут же примостилась на табуретке Тереза, девятнадцатилетняя хозяйка фольварка. Ротченке стулом служил ящик: в этом ящике офицеры привезли вино. Ящик был уже пуст: бутылки — на столе.

Ротченко не слушал звона шрапнельных стаканов. Он, близко придвинув к Терезе темное, хотя и чисто выбритое лицо, говорил:

— Не понимаю. Решительно не понимаю, как могли вы рискнуть остаться тут из-за фольварка.

Тереза — совсем маленького роста, но это (когда она стоит) не слишком заметно: на ногах ее — туфли с высокими каблуками. Она — рыжевата. Лицо и руки у нее — полные, розовые. Она, как всегда, ничего не отвечала офицеру. Зачем отвечать? Все равно офицеры вместе со всей армией рано или поздно оставят Польшу, и тогда

Петрик женится на Терезе. А сейчас Петрик — в австрийской армии, в Кракове, врачом.

Впрочем, сейчас она даже не слушала штабс-капитана: она вздрагивала при каждом новом разрыве шрапнели.

Офицер заметил это и досадливо отодвинулся.

— Неужели вы боитесь? Это же такая ерунда!

И он залпом осушил стакан коньяку.

У него на груди — офицерский Георгий, на эфесе шашки анненская лента. Он дважды был ранен: под Гумбиненом и под Праснышем, и твердо знал, что из всей этой затеянной на земле чепухи добра не выйдет. Он снова потянулся к Терезе:

— Послушайте, дорогая...

Поручик Никонов громко захохотал.

Ротченко обернулся к нему. Он опустил левую руку на эфес шашки, правой поправил несуществующий аксельбант (раньше он был полковым адъютантом) и подтянулся весь.

— Вы — что, поручик?

Поручик гоготал, как лошадь. Он оборвал хохот, чтобы проговорить:

— Если цеппелин начнет бросать бомбы, то через полчаса тут чисто будет.

И снова он радостно загоготал. Он радовался всему, что только ни есть на свете: войне, коньяку, цеппелину, Терезе. Череп у него — узкий, и в нем не хватало места для тоски. Поручик подмигнул Ротченке (слушайте, сейчас острить буду!) и обратился к прапорщику:

— Чем это вам не обстрел, господин прапорщик? Настоящий обстрел. И тебе палят, и тебе цеппелин, и тебе руку отчикают, если что. Хо-хо-хо!

И слова полезли из него одно за другим, словно сговорившись совершенно освободить узкий череп от лишнего груза мыслей:

— Он, капитан, обижается — хо-хо! — что с черным темляком ходит. В бою ни разу не был, ноги-руки на месте, ничего не отхлюпано — и черный темляк. О-хо-хо! Спросят: что на войне делал? А у него даже Анны нет. У-ху-ху!

И поручик пришел в совершенный восторг. Он застучал кулаком по столу и, не помня себя от радости, кричал:

— Что, спросят, на войне делал? А он — черный темляк! Ха-ха-ха! Вы только представьте себе это положение! Никакого, никакого, — ну никакого анненского темляка! Нет, вы...

Ротченко перебил сухо:

— Вы пьяны, поручик. На войну идут не для награды. Чему вы тут радуетесь?

Поручик затих. Лицо у него застыло на миг: рот раскрыт, глаза выпучены, брови ушли на лоб. Потом брови опустились, глаза замигали: Никонов не умел оскорбляться. Он заговорил:

— Нет, я про прапорщика ничего плохого не могу сказать. Большой храбрости прапорщик. А что в бою не был — так это ничего. Я тоже до войны в бою не был. Он — мой полуротный. Да я вот вам его покажу. Вот, например...

И он обернулся к прапорщику:

— Принеси сюда для дамы два фунта шоколада. Это не потому, что для моей левой ноги и каприз, а потому, чтоб все увидели храбрость и что тебе на бомбы начхать. Вот. И без денег. Ты жида в лавке по шее стукни — и без денег. Ха-ха!

Он был уже в восторге оттого, что прапорщик стукнет по шее, и торопил:

— Ты скорей иди. Скорей!

Ему так захотелось побить самому, что он даже двинулся было вместе с прапорщиком. Но раздумал и остался. Если военную форму заменить на прапорщике гимназической, то ему можно было бы дать лет шестнадцать, не больше: не мальчишка, но и не взрослый человек. Бороды и усов на лице его не было, но по щекам и подбородку шел пух, в иных местах густой и жесткий уже, как волос. И все на нем было новенькое: гимнастерка, погоны, фуражка. У пояса — аккуратно — наган. Эфес шашки и офицерская кокарда не потускнели еще.

Ротченко скосил на него глаз и спросил мягко:

— Вы — добровольцем?

Прапорщик взял под козырек и отрапортовал:

— Так точно, господин капитан.

Ротченко только сейчас заметил, что стакан перед прапорщиком так и остался наполненным до краев: прапорщик не притронулся к коньяку. Значит, он сидел тут

и уважал боевых офицеров, и вся эта дрянь представляется ему необыкновенно важной и значительной: и война, и георгиевский крест, и цеппелин.

Штабс-капитан проговорил вяло:

— Оставьте, поручик. Зачем напрасно подвергать опасности?

Прапорщик воскликнул пылко:

— Разрешите, господин капитан, исполнить приказание господина поручика.

Ротченко пожал плечами, и прапорщик ушел. В конце концов все равно: добывать ли шоколад, брать ли Прасныш — одна чепуха.

Прапорщик вышел из-за прикрытия деревьев как раз в тот момент, когда германский аэроплан скинул первую бомбу. Земля треснула, воздух зазвенел, черный дым заклубился кверху на месте разрыва. Прапорщик вздрогнул и, кашлянув для храбрости, пустился дальше. Он еще не дошел до реки, когда вторая бомба разорвалась совсем близко от него. Прапорщик лег наземь, прежде чем успел подумать что-либо: тело его действовало уже самостоятельно, без помощи рассудка. Когда звон осколков стих, прапорщик вскочил и побежал к мосту. Тело помнило только одно: назад без шоколада ворочаться нельзя. И тело, не управляемое рассудком, напоролось на крест. Крест торчал у самой дороги. Прапорщик обхватил его обеими руками, как живого человека, и отдышался. Крест был неширок, но все-таки мог защитить от осколков новой бомбы. Прапорщик, чтобы успокоиться, прочел надпись на кресте. На кресте нацарапаны были штыком четыре строки:

О путник! Стой и погляди,
Что здесь написано стихами:
Вчера он был такой, как ты,
Сегодня — бездна между вами.

Прапорщик оторвался от креста и стремглав понесся к мосту. Ночные страхи (а такие случались с прапорщиком в детстве) — ничто в сравнении с тем, что творилось сейчас. Ночные страхи не грозили телу. А тут тело было в опасности: пустой случай мог изувечить его на всю жизнь.

Прапорщик перебежал мост и, задыхаясь, остановился

у стены ближайшего дома. Огромный солдат стоял недалеко и, поглядывая на офицера, усмехнулся.

— Здорово напугался, ваше благородие?

Прапорщик хотел оборвать его по-офицерски, но было явно, что солдат оказался храбрей его и, главное, видел, как он бежал от бомб.

Солдат был без шапки и без пояса: должно быть, нестроевой команды, обозный. Волосы у него были черные и курчавые, как у негра. Брови были густые и тоже черные. Глаза — синие.

— Кто ты такой? — спросил прапорщик.

— Из Пинска, ваше благородие, — отвечал солдат.

Третья бомба упала в самое местечко, на площадь. Солдат не шелохнулся. Прапорщик, чтобы не показать страха, продолжал разговор:

— Должность твоя какая?

— Столяр, — отвечал солдат, пропустив на этот раз «ваше благородие». — Столяром был.

И прибавил недоуменно:

— И за что это народ мучают — никак не пойму. От меня, ваше благородие, как от столяра, пользы значительно побольше, как от солдата. Я и на зверя охотиться не любил, а тут в человека стрелять. Я так думаю: напрасно это выдумали.

Прапорщик не знал, что отвечать. Он не имел права слушать такие речи от солдата. И увидел: по мосту идет вразвалку поручик Никонов.

Прапорщик крикнул тонким тенором:

— Молчать! Ты не смеешь! Отечество — прежде всего!

И пошел к лавкам. Поручик глядел ему вслед, усмехаясь.

— Молодой еще.

Никонов нашел прапорщика у лавок. В руке прапорщик держал плитки шоколада «Фукс-Нукс».

— Ну что, — спросил поручик, — побил жида?

— Побил, — отвечал прапорщик.

— Ну молодец. Идем назад.

Прапорщику стыдно было признаться: он не только не побил торговца, но даже не в силах был даром взять в лавке шоколад. Лавка была пуста (торговец спрятался от бомб в подвал) — и прапорщик оставил на прилавке деньги. Поручик сказал:

— Медленней пойдем. Там уж, наверное, капитан с девочкой делом занялись; я для того и ушел. А капитан на девочек — хо-хо-хо!

И поручик радостно захохотал.

Прапорщик глядел на него с уважением: как спокойно говорил поручик о том, о чем прапорщику и думать стыдно было! И, главное, поручик, видимо, и не думал даже о бомбах и шрапнельных стаканах — так спокойно он шел и смеялся. Страх не находил места в его узком черепе, заполненном бессмысленной радостью. А Ротченко с Терезой ничем, кроме разговора, не занимались. Даже разговор стих. Ротченко глядел на Терезу так, что та отвернулась.

Заботы Терезы о фольварке были непонятны Ротченке. Какой тут фольварк, если все гибнет? И Ротченко усомнился: может быть, его непонимание оттого, что тело его избито и изломано войной? Ведь до войны он думал иначе.

II

Было темно: не оттого, что солнце зашло уже, а оттого, что дым застлал небо и землю. Дым в лесу был желтый и едкий, как удушливый газ. Желтые космы его висели на соснах и плотной завесой ползли поверху, подымаясь к небу. Лес был огромный, и сосны в нем дрожали от корней до верхушек. Земля тоже дрожала: тысячи снарядов рвали ее уже десятый час подряд. Направо и налево от дороги трещали и ломались деревья. А по дороге шел поручик Никонов.

Поручик искал штаб батальона. Но решительно ничего не было в лесу: ни штаба, ни батальона, ни офицеров, ни солдат. Были только дым и грохот. Но поручик знал точно: штаб должен быть. Штаб найдется, потому что у него, поручика Никонова, имеется важное для штаба сообщение.

— Кто идет?

— Командир пятой роты.

Голос Ротченко спросил удивленно:

— Какой бог пронес вас сквозь эту дрянь?

— Не могу знать, господин капитан, — отвечал Никонов, беря под козырек. — Честь имею доложить: рота моя

выбита неприятелем до одного. Оставшиеся сдались. Прапорщик Каверин убит. Прапорщик Лосинский, посланный для связи в четвертую роту, не вернулся.

— Благодарю вас, — отвечал Ротченко. — Значит, все обстоит благополучно?

— Так точно, господин капитан, — согласился Никонов.

Ротченко сказал:

— Остатки полка собираются у Красносельц. Мы сейчас отступаем туда. Из батальона осталось — полюбуйтесь — двадцать один солдат и два офицера, то есть вы да я. Идемте.

И они пошли.

Это был одиннадцатый час дня. Еще утром снялись и ушли в тыл на новые позиции русские батареи, потому что на всю артиллерийскую бригаду было только девять снарядов, да и те старого образца.

Ротченко шел позади солдат, рядом с Никоновым. Они не вышли еще из области огня.

Никонов пошатнулся, схватился за живот и упал. Ротченко нагнулся и повернул тело поручика лицом кверху.

Лицо у поручика сморщилось, как у ребенка, которого купают. Глаза зажмурились крепко, открылись, и поручик заорал.

Ротченко сказал:

— Что вы? Молчите!

Но поручик продолжал орать огромным голосом. Вся радость ушла из его тела, и ее заменил страх. Одновременно два чувства не умещались в узком черепе поручика.

Ротченко отшатнулся и крикнул:

— Молчи! Молчи, сволочь!

Солдаты остановились. Ротченко знал: еще секунда такого рева — и заревут все двадцать один человек.

— Сволочь! — заорал он. — Молчать!

И поручик замолк. Теперь страх ушел из тела поручика.

Ротченко следил, усмехаясь, за превращениями поручика Никонова. Он знал, как умирают люди, и не ужасался. Лицо поручика покрылось потом. Глаза в упор глядели на штабс-капитана. Тот усмехнулся.

— Успокойся. Сейчас все пройдет. Помрешь — Георгия дадим в приказе, и больше ничего. Поручения есть?

— Ведь это мука, — отвечал Никонов. — Ведь это мука, — повторил он. — Ничего не понимаю.

И умер.

Солдаты побежали.

Ротченко пожал плечами и пустился вслед за ними: в конце концов, сейчас действительно не было нужды отступать медленно.

Впереди — окрик:

— Стой! Стой!

Ротченко тоже крикнул:

— Стой!

Впереди, в кучке солдат, стоял прапорщик Лосинский. Он размахивал шашкой и кричал:

— Стой! К немцам прете!

Солдаты остановились и сбились в кучу.

Ротченко спросил прапорщика:

— В чем дело? Это направление дал штаб полка.

Прапорщик, отвечая ему, продолжал кричать во все горло и размахивать шашкой:

— Немцы отрезали! Я привел пулемет и пять солдат! Мы вырвались! Господин капитан!

— Вложите шашку в ножны и молчите целую минуту подряд, — приказал Ротченко.

Прапорщик опешил, вложил шашку в ножны и замолк.

— Так, — сказал Ротченко.

Солдаты глядели на него. Было ясно, что они ждут от него спасения, а он не знал, куда их вести.

— За мной — шагом марш! — скомандовал он и повел солдат вправо от дороги.

Он шел, сохраняя принятое только что направление. Снаряды ложились вокруг, но слух и зрение людей до того притупились, что никто не замечал дыма и грохота.

Но вот за спиной Ротченко раздались крики, и солдаты, толкая его, пронеслись вперед.

— Немцы! — кричали они. — Немцы!

Ротченко заорал:

— Стой! Никаких немцев! Это наши! Стой!

Прапорщик стоял у пулемета. Он топал ногами и тоже орал:

— Стой!

Он ничего не понимал и решил повторять все слова и движения батальонного командира.

— Из пулемета их, — сказал Ротченко. — Валяй!

Прапорщик навел пулемет и опустил руки.

— Не могу, — сказал он, побледнев, и вдруг понял, что его сейчас убьют: он выпал из войны. Он все увидел со стороны: лес, беспомощную кучу солдат, Ротченку и себя, совершенно непричастного к этому непонятному делу. Это было так страшно, и так ясно было, что все равно он умрет, — что, когда пулемет затрещал, направленный рукой Ротченки, прапорщик бросился за солдатами под пули и первый упал лицом в сухие сучья. Он не видел уже, как остановились испуганные солдаты и как Ротченко повел их дальше, не взглянув на труп прапорщика Лосинского.

К ночи командир первого батальона штабс-капитан Ротченко и четырнадцать солдат подошли к фольварку. Тут собрались остатки дивизии.

Фольварк был цел: ни один снаряд не тронул его. Ротченко быстро вошел в дом. Дом был пуст: остатки дивизии переправлялись через Оржиц. Там, за рекой, новые позиции. Ротченко сам не знал, зачем ищет Терезу. Но Терезы не было нигде.

Штабс-капитан вышел в сад, к солдатам, и приказал поджечь фольварк.

Мысли у Ротченки — ясные: все это, что было с ним и со всеми, сделали люди. Создали чепуху и дрянь — и сами же ужасаются. Они никого не имеют права обвинять: ни бога, ни черта. Они сами виноваты.

Прапорщик Лосинский, убитый в бою 30 июня у деревни Единорожец, награжден был Анной 4-й степени за храбрость. Поручику Никонову, убитому в том же бою, дали в приказе георгиевское оружие.

1924

ЧЕРТОВО КОЛЕСО

В низине, влажной и пахучей, присели избушки. Это — деревушка Вышки. И от Вышек, сквозь леса и болота, бревенчатый путь, наскоро кинутый саперами. По этому пути пришли и осели в Вышках на зимний отдых солдаты и офицеры — остатки некогда славного полка. По этому же пути уйдут они, когда придет приказ воевать. Но приказа нет, потому что зимой наступать трудно. Солдаты зарылись в землянках, в поле, а офицеры расселились в деревне. Путь же и зимой ремонтируется.

Из соснового леса, болтая локтями и сбиваясь к луке желтого английского седла, трясся на белой кобыле земгусар из строительного отряда.

У офицерского собрания потянул, распяливая локти, поводья, задрал морду кобыле: «Т-пру»! — как хороший кучер. Грудью лег на толстую шею кобылы, путаясь в стременах, высоко задрал правую ногу и сполз наземь. И, когда сполз, казалось, будто все еще сидит он в седле, нисколько не снизился, — такой он длинный.

Солдаты строителю чести не отдали и не подскочили, чтобы отвести кобылу куда нужно. Строитель оглядывался сердито. Остренькое лицо — строго, а глаза бегают. Хочется прикрикнуть на солдата, да опасно: а вдруг облает в ответ? Что тогда? Погоны-то у строителя, правда, со звездочкой, да не офицерские — узкие и с черным кантом. Видно, что не офицер.

Пока строитель, мигая глазами, боялся кликнуть зевающего у входа в собрание вестового, вышел на уличку офицер — подышать вечерней сыростью.

— А, приехал? Ну, иди-иди — вино есть.

И вестовому:

— Бери кобылу.

Строитель козырнул важно и, поглядывая гордо на вестового (офицер под руку взял), вошел в собрание.

В собрании воздух жаркий, густой и от табачного дыма лохматый. И лампа — как седина в лохмах.

Офицеров в собрании — битком. Кто курит, кто рассказывает похабный анекдот, а подполковник Прилуцкий, командир полка, с прапорщиком Пенчо и еще несколькими склонились над круглым столиком. На столике — на круглой желтой папке — скачки. Картонные жокеи перескакивают на картонных конях с линии на линию к финишу. Кинет офицер кости — сколько очков? — и хватает жокея своего за шею, двигает ближе к финишу. Азарт.

Пенчо поднял голову:

— А, пся крев, пришел? Иди — пришивайся...

Строитель осторожно подходит к столу, глядит будто в сторону, а рука уже зацепила бутылку.

Стакан. Еще стакан. И строитель распрямляет плечи и даже крутит желтые усы. И если бы он сейчас завидел вестового, сказал бы ему обязательно «ты» и, не боясь, выругал бы его даже по-матерному.

Так всегда: когда винная влага подкрепит тело и душу, строитель даже и на офицеров поглядывает гордо. А к ночи, похаживая, говорит:

— А мне чего-то хочется. А мне чего-то хочется.

И, выкидывая важно ноги, выстукивает каблуками высоких и гладких сапог к выходу.

— Адье, господа офицеры!

И знает он: господам офицерам того же хочется, что и ему. А вот не свободны господа офицеры: без приказа из Вышек не уйдут. А он, не офицер, строитель жалкий, — всех офицеров выше. Захотелось ему — на коня, и — фьють!

— Адье, господа офицеры!

И уж ловчее вскакивает он в седло и вскачь несется по полю в лес. Льдинки бьются под быстрыми копытами, дышит лес холодным ветром, солдаты шарахаются и отдают честь.

Хорошо пьяному человеку проскакать на свободе сквозь холод и тьму к теплу, к...

— А мне чего-то хочется, — присвистывает строитель и шпорит кобылу. — А мне чего-то хочется.

И сосны белыми лапами укрывают его фигуру.

А господам офицерам — сидеть в офицерском собрании и пить. И как уедет строитель, так будто безнадежнее смыкается круг: утром и днем — ученье, вечером — вино и азарт.

Прапорщик Пенчо боится пить. Как выпьет, так заснет. И после того трое суток голова ноет и мучает тошнота. Прапорщик Печно и без вина пьян. И без вина не может усидеть на месте: вечно вертится, черный, увертливый, маленький, — и швыряет словами, не договаривая.

— Пришивальщик, черт его... — сказал прапорщик Пенчо, когда уехал строитель, и лег на скамью, лицом в застланный дымом потолок, — и сквозь дым, сквозь пьяный шум глядел в Польшу, в то лето, с которого все пошло: днем — пески, ночью — звезды. И ночью темная громада людей, коней, орудий и обозов медленно, как огромная черепаха, движется на восток. А на востоке, на западе, на севере, на юге, — везде, куда ни оборотить засыпающий взор, — полыхает пламя, жадно облизывая черное небо. И все — пески, звезды и движущаяся сквозь тьму громада — все заколдовано в огненный круг зажженных врагом деревень. И вырывается темная громада из круга.

Давно разомкнут круг, давно вырвался полк, — а вот осело навеки в памяти и мучает и толкает. Куда — неизвестно.

— Скоро в наступление пойдем, — успокаивает подполковник Прилуцкий.

А у самого — рожа красная, шея — жирная, и не цигарка — толстейшая цигарища торчит из черного рогового мундштука.

— Дело ясное. Россия не может никак погибнуть. Россия, братец ты мой, весь мир победит. Как же иначе?

И тут подполковник Прилуцкий пустил из-под жирных усов столько черного дыма, что кажется, будто в пасти у него взорвался шестнадцатидюймовый снаряд. И вся изба на миг колыхнулась в дыму, а прапорщик Пенчо, чихнув, вертит головой.

— Не верю.

— Н-но!

Тут подполковничья грудь ширится под коричневым свитером. Прилуцкий затягивается цигарищей и, выбросив в лицо прапорщику черный клуб дыма, продолжает:

— Но! Дис-цип-лина, брат! Ты с командиром так рассуждать не смей! Я тебя — под арест!

Но прапорщик Пенчо не может усидеть на месте. Немедленно, вот тут, не откладывая, нужно что-то сделать. Чтобы не было больше огненного круга перед глазами. А что сделать — неизвестно.

Есть в Вышках пруд, за избами сразу. Зима покрыла пруд ледяным кругом. И вот в центре вбил прапорщик Пенчо самолично кол. Призвал потом двух солдат, из плотников, и целых три дня удивлялись офицеры: что это прапорщик на пруду мастерит? А через три дня, когда сошлись у пруда, оказалось: хитрая игра. Азартней «шмоньки» и даже скачек. На колу, как на оси, чуть-чуть выше пруда, вращается колесо, от колеса — к берегу, к самому краю пруда — бревно, к бревну прикреплены сани. Двинуть колесо — скрипнет бревно, и полетят сани по кругу скорее скорого. Азарт.

Обновил сани сам прапорщик Пенчо. Солдат медленно кружил в центре колесо, а сани, чуть ото льда не отрываясь, взвизгнули по кругу, по краю пруда — вот-вот взлетят с разбегу на воздух.

На втором круге стали сани. Пенчо вскочил на ноги, совсем не суетливый — и глаза спокойные.

— Хорошая штука!

И подполковнику Прилуцкому:

— Пожалуйте, полковник. Испробуйте.

— Я не авиатор, — отвечал подполковник. — Я — пехотный офицер. Мне летать доктор воспретил.

Но стыдно подполковнику: будто перед всем офицерством струсил. Пустил в последний раз дым из-под усов, сдал мундштук соседу и взгромоздился на сани.

— Валяй!

А сойти с саней не смог: помогли офицеры.

— Чертово колесо, — сказал подполковник, отдышавшись, — будто в атаку прешь, а тебе в рожу из пулемета насквозь. А ну-ка — поглядим: есть ли еще воинский дух у русского офицера? Ложись следующий, по очереди!

Визжали сани по кругу. Крепко, грудью, жались офицеры к саням, чтобы не сорваться с круга. И никто не сорвался. Все выдержали испытание.

— Ладно, — сказал подполковник. — Выпьем сегодня.

В офицерском собрании пили. Пьяные опять пошли к пруду. И оказалось: если пьяного офицера привязать к саням, на втором круге хмель из головы выскочит. Иди и пей дальше. Хорошая игра!

Прапорщик Пенчо тоже пить стал. Теперь, чтобы не заснуть от вина, мог он кружиться на санях. Уже по четыре круга делать мог.

Когда строитель снова замотался по офицерскому собранию, подполковник Прилуцкий подманил его к себе, поставил бутылку коньяку:

— Дуй из горлышка!

Строитель жадно обнял худыми пальцами бутылку, запрокинул голову и полбутылки отхватил разом. Хотел отнять бутылку от горла, да задрожали руки, и вместе с табуретом опрокинулся строитель затылком об пол. И бутылка, выпустив коньяк на лицо, на коричневый с серебряными пуговицами китель, осколками звякнула по полу.

Подполковник Прилуцкий гоготал тяжко, как мортирная батарея:

— Го-го-го! Го-го-го!

А строитель ползал по полу, собирая ноги. Ног у него стало много, не сосчитать: уже до сотни доходят.

— Эй! Пен-чо! — сказал подполковник. — На сани его!

И строитель повис, как мокрое полотенце, на крепкой руке подполковника. Прилуцкий — впереди, за ним — Пенчо, за Пенчо — все офицеры: к пруду.

У пруда подполковник стряхнул строителя с руки.

— Привязывай!

— Господин полковник, не убивайте! Я—бедный строитель... Не нужно... Для вас же на пути работаю...

— Это ты на что намекаешь? — нахмурился подполковник. — Это ты на что намекаешь, что нам еще дальше отступать нужно? А? А впрочем, — прибавил он, — пшел к черту. Катись на кобылке!

Согнувшись, слабый от испуга и трезвый, шагом отъезжал от Вышек на дебелой кобыле строитель. И страшен

был ему белый огромный лес, и белое огромное небо, и безглазая бессмысленная луна.

И пуще всего грустно ему было потому, что не пить ему больше в Вышках с офицерами.

А в Вышках со дня на день пуще пили, а напившись — к пруду: кружиться на санях навстречу морозному ветру.

Однажды хозяин собрания сказал:

— Господа офицеры! Вино кончается. На две недели еще хватит, а дальше — крышка. Сегодня строителя встретил. Он берется купить, ежели поручат. Заявится сюда — условиться.

Подполковник Прилуцкий гаркнул:

— К черту! А вот что: в сутки все вино кончим. Азарт. В скачки пойдем: кто кого перепьет? А кто всех перепьет — тому отпуск устрою. Идет?

С вечера началось. На пруду, у чертова колеса, поставили дневального. И при собрании полувзвод дежурил. Свалится офицер, и волокут его за ноги к пруду, там покрутят на санях — и хмель из головы выйдет. Встанет офицер:

— Спасибо, братцы.

А солдаты:

— Рады стараться, ваш-всокродь!

А офицер опять в собрание пить, но уж не уехать ему в отпуск: вышел из строя. Пьет офицер, пока опять не поволокут его на сани, чтобы выкрутить из тела вино.

Сначала по чинам шло: валились прапорщики, за прапорщиками — подпоручики, за теми — поручики. А дальше — без чина: кто капитан, а кто прапорщик — не разобрать: все одинаково пьяны. И оказалось — крепче всех подполковник Прилуцкий и прапорщик Пенчо. К вечеру второго дня все еще сидели они друг против друга, будто трезвые, и стакан за стаканом гоняли в желудок вино.

Так застал их строитель, робко застрявший в дверях.

— А! Пся крев, иди — пей.

Строитель молча опрокинул два стакана, закусил и провел, распрямившись, пальцем по желтым усам. Выпил еще и заговорил негромко:

— Все ясно. Все правильно. Все хорошо. Если только людей не обижать. Вот я, например... Я на пути работаю. Для вас же, господ офицеров, работаю, и сам я, может быть, тоже офицер.

БИБЛИОТЕКА

И так как прислушивались к нему офицеры, он встал, глазки у него блеснули, и продолжал:

— Все вы тут хорошие люди. А меня обижаете. Зачем? Я — прекрасный человек. Я — замечательный человек. Я, например, стихи пишу и посылаю в газеты. Душа у меня русская, откровенная, а вы говорите — пся крев. С вином ко мне...

Но тут прапорщик Пенчо ткнул его легонько в грудь, и строитель опрокинулся на табурет.

— Молчи!

И когда встал прапорщик Пенчо, не шатался, но по лицу, по слишком четким движениям поняли все: пьян человек, и так пьян, что никогда больше не отрезвеет, хоть десять кругов на санях открути.

— Господа офицеры! — сказал прапорщик Пенчо. — Спасите меня. Я погибаю. Тело мое жаждет покоя, а душа счастья.

И, покачнувшись, прапорщик Пенчо вырыгнул на стол вино.

Подполковник Прилуцкий загоготал радостно:

— Крышка тебе! Не выдержал. Раз такое делаешь, не выдержал: пьян. Я всех перепил! Я! Я в отпуск поеду! Я! Я всех перепил!

Поставил стакан и рукавом опрокинул бутылку. Из горлышка полилось красное вино.

Хозяин собрания подскочил:

— Последняя бутылка, господин подполковник.

— Все равно. Я всех перепил. Я уеду в отпуск. А в отпуске, в столицах-то...

И, оглядев всех, подполковник продолжал, откинувшись на спинку стула и усмехаясь:

— А лучше так. Очередь моя по правилам — первая. Так не уеду я в отпуск. Всех перепил — могу, значит, а не уеду и вас, братцы, не выпущу. Так-то! Война! Айда, братцы, к пруду!

Пенчо схватил строителя за шиворот.

— И этого! И этого! Пусть покружится, пришивальщик!

Единственное, что видел прапорщик Пенчо, — это черный кол посредине пруда. Бесстрашно вступил в неверный круг, подошел к колу.

Офицеры с гиканьем и смехом валили строителя на сани.

— Я сам! — кричал тот. — Я храбрый человек! Я сам!

Он уже лежал на санях, а подполковник Прилуцкий, стоя на пруду, закидывал его снежками.

— Покружишься, пся крев!

И вдруг подполковник Прилуцкий шлепнулся затылком о лед. Что-то тяжко подбило ему ноги. Не понимая, он привстал, опираясь ладонью правой руки об лед, а левой зажимая рану на темени. И тут снова по всему боку — от поясницы до шеи — тяжко хлестнуло бревно и, подкинув, швырнуло тело офицера о лед, под новый удар все быстрее заворачивающего по кругу бревна.

Плясало по льду, подскакивая и мотаясь, тело подполковника Прилуцкого. А прапорщик Пенчо стоял посредине пруда и крутил колесо.

— Крутись, чертово колесо! Круши черепа! Мели кости! Рви мясо! Полосами сдирай кожу! К черту!

Строитель летал по кругу без дыхания, без мысли, костенеющими пальцами уцепившись за сани, прильнув к саням, но на четвертом круге не выдержал: сорвался с саней, взлетел, кувыркаясь, на воздух и только раз успел взвизгнуть. Визг этот далеко слышен был по деревне и в солдатских землянках. И, взвизгнув, строитель шлепнулся с размаху лбом о дерево и прошиб лоб до затылка.

1922

КОПЫТО КОНЯ

Снаряд врылся в землю и вздохнул, чтобы, как кит, вырыгнуть к небу песок и траву, чтобы в черном дыму дрожало раскаленное железо. Земля треснула, и Мацко взлетел на воздух.

В тот момент, когда тело его отделилось от земли, он увидел себя со стороны: вот он, распластав руки, режет воздух; голова втянута в плечи, лицо напряглось, глаза выпучены, подтянутые колени защищают живот.

Мацко перекувырнулся и упал на спину. Пена, дрожа, обрывалась с тяжелой узды испуганного его коня на лицо, на гимнастерку ему и рядом — на желтую сохлую траву. И вот — неба нету, ничего нету, над лицом — поросшее длинным рыжим волосом копыто коня. Копыто медленно опускается и, конечно, размозжит череп.

Мацко зажмурил глаза и закричал так, будто ему помазали кишку йодом. Копыто тяжело опустилось ему на грудь, и Мацко явственно слышал: грудь у него хрустнула, как дерево от мороза.

Конь, перешагнув через его тело, понесся по полю, взрывая копытами землю, шарахаясь от снарядов, останавливаясь, поворачивая то назад, то вправо, то влево и безумея от страха и ярости.

Мацко, боясь дотронуться до разбитой груди, кричал.

Вестовой схватил его, приподнял и кинул в пулеметную одноколку. Возница хлестнул вожжами по дрожащим бокам лошади, и одноколка запрыгала по вспаханному полю.

Офицер кричал вознице:

— Остановись! Сбрось! Не могу!

Но одноколка мчалась сквозь дым и грохот, перескакивала с межи на межу, кренилась и примчала офицера в лес.

И только в лесу Мацко потерял, наконец, сознание. Очнулся на поляне под деревом и простонал:

— Доктора...

Доктор не приходил, и офицер повторил:

— Я, кажется, ясно просил доктора.

Никто не ответил.

На поляне шагал поручик Сущевский, а в стороне врастяжку лежали стрелки. Других офицеров, кроме поручика, Мацко не увидел. Вестового среди стрелков тоже не было; убит, должно быть.

Поручик Сущевский восклицал, шагая:

— Изменники! Подлецы! Сволочи!

Стрелки молчали, и глаза у них дымились злобой, как кручонки махрой.

— Поручик, — сказал Мацко, — я не могу тронуться с места.

— Хотите оставаться с ними? Я ухожу.

— Почему?

— Потому что они изменники и подлецы.

Мацко сцепил зубы и, не выпуская стона, которым наполнилось тело, встал. И когда встал, стон вырвался, но Мацко досадливо спрятал его снова глубоко в сердце.

Все тело стонало: ноги, руки и грудь. Главное — грудь. Там, наверное, ни ребер, ни ключиц — одни осколки. Осколки рвут кожу, углами торчат всюду. Все изломано и перебито. Над головой — голубой осколок неба. Оскольчатые деревья торчат острыми ветвями в воздух, и режут слух острые слова поручика:

— Я ухожу.

Широкую спину уходящего поручика догоняют колючие взгляды стрелков. Мацко вздрогнул: взоры стрелков уже врезываются ему в мясо, рвут.

— Поручик, я с вами.

Сущевский остановился. Он кажется большим, как гора.

— Идемте.

Что гора скажет — то долина слушай. Захочет гора — сольет ручьи по склонам, увлажнит и зазеленит долину. Захочет — сокрушит долину камнем.

— Поручик, помогите, не оставляйте меня.

Одноколка стоит в стороне, уткнулась оглоблями в землю: спит.

— На одноколке бы...

Возница, тот самый, который домчал Мацко в лес, сказал злобно:

— Посмей только... Ишь, нашелся... Наше небось.

По лесу каждый шаг для Мацко — верста. Корни хватают за ноги; пни вырастают из земли; ветви рвут зеленую гимнастерку, желтые штаны, лиловую кожу на лице; воздух меж стволов оплетен паутиной. Все это для того, чтобы Мацко упал.

Мацко не падал.

Только бы не стонать. С каждым стоном из тела уходит сила. Сцепить зубы и двигать ногами вперед, вперед.

Если корень — нужно поднять ногу повыше; если пень — обойти. Какой большой и темный лес! Долго ли идти? Поручик шагал, опустив голову. Обернулся вдруг:

— Хорошо еще, что не убили и оружия не отобрали. Могли и это.

И снова пошел.

Мацко в ответ только улыбнулся, и улыбка, дергая мускулы, долго и мучительно стыла на губах, пока не слетела, наконец, со стоном.

— Вам больно?

Мацко, остановившись, кивнул головой. Поручик стоял перед ним большой и сильный, как гора. Конечно, он сейчас подымет Мацко огромными своими неизломанными руками и понесет.

Поручик Сущевский повернулся и пошел дальше. Мацко постоял, ожидая. Где же руки, которые понесут его? Нет рук.

— П... по...

Поручик исчез меж темных стволов, и тело Мацко от страха задрожало мелкой дрожью. Он заторопился, подымая ногу и перекидывая ее через корень. Зачем столько корней, и пней, и деревьев?

Все цепляется, рвет, душит. И осколки бьются и колют в груди.

Сжав кулаки, Мацко двинулся быстрей. Вот широкая спина Сущевского. Он стоит и ждет, развернув полевую карту.

— Вы не можете скорей? Нам версты три еще до ближайшей деревни. Там наши.

Пока он разглядывал полевую карту, Мацко не двигался, наслаждаясь тем, что он может стоять неподвижно, может быть, даже сесть. Поручик свернул полевую карту. Мацко, чтоб хоть полминуты еще не двигаться, разжал губы и пропустил вопрос:

— А... а как... зовется деревня?

— Батрашкино.

Мацко обдумывал, какой бы еще вопрос задать. Но темные волны бились в голову, шумели в ушах и застилали зрение. И упорный глаз увидел: поручик Сущевский уходит.

— А... тут... нет дороги?

Поручик, обернувшись, бросил:

— По дороге опасно. Разъезды.

Мацко, скрепившись, пробирался вслед за поручиком.

Осколки бьют в грудь — и от них эта дрожь вокруг, и наплывающая тьма, и рожи, усмехающиеся с ветвей.

Рухнула гора, и он, осколок, катится во тьму, туман и боль. Шатается и царапается все вокруг. Быстрей, быстрей — вниз — сквозь тьму, туман и боль.

И все оборвалось вдруг, так неожиданно, что Мацко упал ничком и закричал от страха и оттого еще, что грудь его задребезжала и по телу прошлась тысяча ножей, полосуя его мясо.

Увидел на рукаве гимнастерки темно-красный сок и стих: кровь. Значит, конец.

Но это была черника.

Мацко лежал на поляне.

Поляна обросла кустами крупной черники, и меж гроздьев черной ягоды белели, качаясь от теплого ветра, ромашки.

Поручик Сущевский опустился в траву, и черничный сок брызнул ему на китель и штаны. Он рвал чернику и горстями пихал в рот.

— Нужно идти дальше, — сказал он наконец.

Мацко лежал на животе перед ним.

— Я не могу.

— Вставайте, еще немного.

— Не могу.

— Сделайте над собой усилие.

— Не могу.

И Мацко глядел на поручика в ожидании. Конечно, он сейчас возьмет его на руки и понесет. Сущевский сказал:

— Не могу я вас нести. Я сам еле двигаюсь. Двое суток не жрал.

— Вы... еле...

— А вы что думали? Железный я, что ли?

— Врешь.

— Что врешь?

Нужно объяснить: ведь у поручика тело не изломано. Если он, Мацко, прошел столько, когда у него не грудь, а осколки, когда... Но говорить трудно. Можно только повторять бессмысленно:

— Врешь.

Поручик Сущевский ел чернику, пачкая темно-красным соком губы.

— Встаньте или оставайтесь здесь. Подберут. Я из деревни пришлю.

— Врешь.

— Что врешь?

— Все врешь.

Поручик Сущевский вскипел вдруг:

— Я из-за тебя, сволочь этакая, сколько времени потерял. Разве без тебя так медленно шел бы? Я б давно в деревне кашу жрал.

— Врешь.

— Вот добью тебя, — так...

Поручик Сущевский повернул спину и пошел. Он — не гора: человек. И от него — тьма, туман и боль. Куда увел? Зачем? Оба — и Мацко и Сущевский — люди.

Мацко с трудом повернулся на левый бок и, не спуская глаз с поручика, вытянул из кобуры револьвер. Прицелился, опустил дуло и снова поднял. Дышал он тяжело и трудно.

Поручик Сущевский, пройдя поляну, у опушки, шагах в двенадцати от Мацко, остановился, будто решив что-то.

«Добьет», — подумал Мацко и спустил курок.

Сущевский охнул так, как охает, споткнувшись, полнокровный мужчина. Нога у него зацепилась за ногу, он пошатнулся, но, сжав губы, остался на ногах.

— Сволочь, — хрипнул он.

Струйка крови, смывая черный сок, потянулась из чуть раскрывшихся полных губ по толстому подбородку, к шее, за ворот кителя.

Мацко выстрелил вторично. Поручик Сущевский, качнувшись, упал на колени, руками удержался о землю. Так стоял на четвереньках и дышал громко и хрипло, как простуженная лошадь.

Мацко спускал курок уже разряженного револьвера, целя туда, где ворочалось грузное тело поручика Сущевского, и не мог остановиться.

Потом отбросил револьвер и долго полз по поляне к поручику. Тот лежал ничком, подвернув правую руку под живот. На левой руке, откинутой в раздавленную чернику, рукав зеленого кителя задрался, и на широкой полной кисти золотилась густая и мягкая шерсть.

Мацко склонился над ним. Лицо у Мацко — белое, точно тертое мелом, и на белом еще чернее кажутся проступившие на щеках, подбородке и над верхней, чуть вздернутой к носу губой волосы.

Поручик Сущевский перевернулся на спину так неожиданно, что Мацко вздрогнул, отодвигаясь. Поручик глянул на Мацко и прошелестел толстыми губами что-то неслышное. Он думал, что Мацко понял его слова:

— Сволочь, я для того остановился, чтобы взять тебя на руки и понести, сукин ты сын...

И, подумав это, поручик Сущевский умер.

Мацко от усилий и напряжения уткнулся лицом в живот Сущевскому. Он очнулся в санитарной двуколке. Двуколка стояла на месте.

Он думал, что очнулся впервые после того, как взлетел на воздух, кинутый тяжело дышащим снарядом. Он помнил только поросшее длинным рыжим волосом копыто коня и простонал...

— Доктора...

Холщовые полотна впереди раздвинулись, пропустив с козел обросшее бородой лицо. Вот и вся голова всунулась внутрь, и на фуражке Мацко увидел красную звезду.

Санитар поглядел на Мацко и сказал:

— Ишь, дитё несчастное.

1922

НАЧАЛЬНИК СТАНЦИИ

Мужчина и женщина приближались к станции. У мужчины лицо казалось жестяным: черная пыль осела на его загорелой коже, черной жесткой щетиной обросли щеки и подбородок. Его длинный нос блестел на солнце. Полотняные штаны этого человека приняли цвет чертополоха, холщовая толстовка загрязнилась, пыль покрывала желтые ботинки.

На женщине некогда все было белое: блузка, юбка, чулки, туфли. Теперь все это позеленело, потемнело, изодралось. Кожа на ее лице, на открытой шее и обнаженных до локтей руках загорела до черноты.

Когда серое, как дым, здание станции мелькнуло впереди, сквозь листву деревьев, оба остановились, как будто силы их оставили окончательно. Потом снова двинулись вперед.

Станция была защищена от степного зноя зеленью белых акаций, вязов и кленов. Из сада выскочили два человека. Один — приземистый и смуглый, как француз, — бежал быстро, держа винтовку наперевес, и кричал в восторге:

— Стой! Выпалю! Клянусь честью, выпалю! Стой!

Потное лицо его — в особенности виски и скулы — блестело. Другой человек — длинный и худой — нарочно сокращал бег, чтобы не опередить смуглого. Светлые волосы свисали ему на лоб, брови лезли на глаза, нос тянулся к губам, а усы спустились ниже подбородка. Волосы, брови, нос, усы — все смокло. Голова наклонялась вперед. Винтовку он держал дулом к небу, но винтовка его была страшнее винтовки смуглого: слишком равно-

душны и светлы были узенькие глаза длинного человека, и слишком привычно руки его сжимали винтовку.

— И тут тоже! — воскликнула женщина.

Мужчина сказал угрюмо:

— Зря бежали.

Смуглый ухватил женщину за руку, завращал не по-русски глазами, потом выпустил женщину и толкнул для чего-то мужчину в бок. При этом он чуть не выронил из рук винтовки. Он обернулся к длинному:

— Милеш, веди их на станцию.

Милеш не коснулся пленников. Он только встал позади них, и мужчина с женщиной сразу двинулись вперед, как будто Милеш толкнул их. Смуглый шел впереди крупным шагом, неестественно разворачивая при ходьбе носки. На нем были синие с белым кантом штаны, запущенные в высокие сапоги, и белая рубаха, распахнутая на груди и стянутая у талии широким зеленым поясом. Шея у него была такой же ширины, что и затылок.

Он провел мужчину и женщину через сад в здание станции и остановился у двери, на которой висел плакат: «Посторонним вход воспрещается». Отомкнул ключом замок, отворил дверь, толкнул обоих пленников в комнату, и ключ снова щелкнул в замке.

В комнате, у окна, лицом к двери стоял человек. На ногах его, поверх белых носков, желтые сандалии. Белокурые волосы вились над сдавленным у висков лбом. Глаза у него — серые, губы — розовые.

Мужчина спросил его:

— Вы тоже с поезда?

— Нет. Я — начальник станции.

Оба замолкли.

Женщина беспокойно перевела взгляд с одного на другого. Их спокойствие пугало ее. Наконец она обратилась к начальнику станции:

— Что мы будем делать теперь?

Тот пожал плечами.

— Вот единственное наше оружие.

И он, взяв с кровати свернутую кольцами длинную веревку, кинул ее на пол.

— И вот еще.

Он вынул из кармана и показал два ржавых гвоздя:

— Прямо хоть вешайся.

Женщина побледнела. Возбуждение прошло. Она зашаталась и вдруг опустилась на пол.

Мужчина поморщился:

— Нельзя ли без обмороков!

И, пока начальник станции поднимал его жену, он кратко передал о крушении поезда, о нападении бандитов, об их бегстве.

— Я это предвидел, — отвечал начальник станции. — Они, наверно, и на востоке разобрали путь. Это мой подчиненный, телеграфист, привел сюда шайку. Сегодня ночью они вырезали всех, кто не пошел с ними, а меня заперли пока. Не везет этой станции. Не так давно она была взорвана белыми, и пришлось деревянную надстройку делать, а теперь...

Мужчина оглядел комнату.

— Простите, — перебил он, — но я страшно устал. Должно быть, нас будут убивать или что-нибудь в этом роде, но, право, мне сейчас все равно. Я хочу спать.

Он растянулся на полу и мгновенно захрапел.

Начальник станции имел свои строгие понятия о долге. К обязанностям своим он относился с такой серьезностью, как будто не глухая станция была поручена его попечениям, а целое государство. И теперь он считал, что жизнь этих пассажиров тоже на его ответственности. Он должен их спасти.

Когда женщина открыла глаза, он промолвил:

— Вы не беспокойтесь. Я придумаю что-нибудь.

Дверь отворилась. В комнату вошел Милеш, молча подал ему письмо и удалился, оставив дверь открытой. Начальник станции развернул письмо.

Прочел:

«Уважаемый Николай Леонтьевич, я решил не работать больше на всякую сволочь, кто катается в поездах. Я решил избрать деятельность более подходящую для меня, чем должность телеграфиста захолустной станции. Я встал во главе отряда, и мир услышит обо мне и моих целях. Я не хочу вас убивать. Я хочу, чтобы вы пошли вместе со мной. Вот мое предложение: в зале, в углу, приготовлено моими людьми все, чтобы поджечь станцию. Ждать мне некогда. До восьми часов вечера я предлагаю вам поджечь станцию. Это будет тот поступок,

который обозначит ваше согласие со мной. Кроме того, вы должны отказаться от защиты схваченных вместе с вами мужчины и женщины. Они должны сгореть на станции. До восьми часов вечера вы можете свободно гулять по станции, но при всякой попытке выйти в сад или на платформу вы будете убиты. Вы будете убиты также в том случае, если до восьми часов сегодняшнего вечера не выполните поставленных мною условий. Еще раз заявляю: я не хочу убивать вас. Вы — единственный человек тут, который по-настоящему может понять меня и мои цели. Но если вы не пойдете со мной, моя рука не дрогнет, убивая вас.

С искренним уважением остаюсь в ожидании

Валериан Благодатный».

— Какая ерунда, — пробормотал начальник станции. — Поглядите-ка!

И он бросил письмо женщине.

Та прочла.

Губы ее дрогнули, брови сдвинулись. Она села, спустив ноги с кровати. Локтем левой руки она оперлась о колено и щеку положила на ладонь. Лицо у нее от загара смуглое, как у креолки. Только глаза — желтые, как у лисы, и волосы — цвета лисьей шкурки.

— Что ж вы думаете теперь делать? Вы еще можете спастись, а мы двое так или иначе погибли.

— Что вы! — усмехнулся начальник станции. — Если погибать, то мы погибнем вместе.

Он сунул письмо в карман кителя.

— Но мы еще посмотрим.

И он вышел из комнаты.

Женщина сразу же вскочила, заметалась по комнате, потом кинулась будить мужа.

Тот проснулся и сел на полу, охватив колени руками:

— Что такое? Что случилось?

Женщина зашептала:

— Пока ты спал, он хотел меня... я вовремя открыла глаза. Послушай, я не спала, я притворилась, что сплю, и подслушала разговор. Он вошел в сношения с бандитами. Они решили поджечь станцию и нас убить. То есть в том-то и дело, что не нас, а только тебя. Меня он

силой уведет с собой. Но я тебя спасу. Я ради тебя пойду на все. Только слушайся меня и верь.

— Для меня важно одно, — перебил ее муж, — он бандит?

— Да.

— Ты наверняка это знаешь?

— Ну вот... клянусь... клянусь твоей жизнью, пусть ты меня бросишь, если я вру... Пусть... Неужели даже в такую минуту ты мне не веришь?

— Скажем, что верю.

— Тогда ты должен вот что...

Пока она шептала, начальник станции прошел в залу.

В зале, в углу, брошена солома. На соломе — кипа казенных бумаг. Тут же, на полу, рядом, — коробок спичек. Чиркнуть спичкой — и жизнь спасена.

Начальник станции даже не поглядел в угол.

Он распахнул окно в сад и позвал Благодатного. Из-за деревьев вышел приземистый смуглый человек, тот самый, который схватил женщину и ее спутника.

— Что вам угодно? — спросил он.

— Я на ваши условия не могу согласиться, — сказал начальник станции. — Но все же, может быть, столкуемся.

— Мое слово твердо, — отвечал Благодатный. — Я ни на одну иоту не отступлю от условий. Мое письмо и мои условия — плод зрелых размышлений о жизни человечества. Поджог станции — это отказ от ложного чувства долга. Я нарочно, для искуса, посадил с вами еще двоих моих пленников, и ваш отказ от их защиты — это протест против мещанского, унижающего человека чувства любви. Нужно стать выше маленьких обывательских чувств.

Благодатный выпрямился, чтобы казаться выше, но все же он был маленького роста.

— В таком случае, — сказал начальник станции, — в восемь часов вечера вы можете меня убить.

Он затворил окно и повернул назад. Остановился перед кипой бумаг, сваленных на соломе. Он ничего не мог придумать. Он стоял и тупо глядел на коробку спичек.

Вдруг петля притянула его руки к туловищу. Он дернулся, не понимая, откуда это брошен на него, как на дикую лошадь, аркан. А веревка все крепче вязала тело.

Та самая веревка, которую он сам нашел. Вот и ноги уже не стоят. Начальник станции упал на пол. Он уже видел: это муж той женщины стянул его мертвой петлей, а она стояла рядом и командовала:

— Заткни ему рот!

Начальник станции бился, разрывая узы, но веревка крепка. Мужчина запихивал в рот ему платок.

Начальник станции затих на полу, связанный. Он следил глазами за женщиной. Та взяла коробок спичек с полу, чиркнула и поднесла горящую спичку к соломе. Сухая солома вспыхнула.

Женщина обернулась к мужу:

— Теперь вынеси его!

— Но...

— Не возражай. Ты же видел, что он хотел поджечь станцию, тебя оставить, меня спасти и под предлогом пожара... Нет времени болтать. Неси его!

Благодатный заметил пламя в зале и вышел к крыльцу. Он улыбнулся. Он победил гордеца. Да он и не сомневался в этом. Упорная воля победит все.

И он перестал улыбаться. В сад вышли беглецы с поезда. Мужчина нес на руках связанного начальника станции.

Он опустил беспомощное тело на землю.

Его жена подлетела к телеграфисту:

— Вы начальник?

— Я, — отвечал Благодатный.

— Я сразу поняла это по вашему лицу и... — Она закраснелась слегка. — Он не принял ваших условий, и мы связали его и подожгли станцию.

— Мадам, — отвечал телеграфист, — ваш поступок поражает меня. Вы неожиданно оказались людьми высокого строя мысли и соучастниками моей идеи. Вы пойдете со мной.

— Мы — не герои, — возразила женщина, — мы — маленькие люди. Отпустите нас на свободу.

— Мадам, — сказал телеграфист, — вы выполнили те условия, которых не понял этот жалкий гордец, и моя идея обязывает меня предоставить вам полную свободу действий. Вы и ваш спутник — свободны. Вот вам пропуск.

Он вынул из кармана большой кожаный кошелек,

вытащил оттуда лоскуток зеленой материи и передал женщине.

Та схватила мужа за руку:

— Идем!

Мужчина бормотал, уходя с ней:

— Ничего не понимаю, решительно ничего.

За садом их нагнал мужик с широкой, как у швейцара, бородой. Он встал на их пути и сказал, глядя прямо в глаза женщине:

— Подлюга! Ух, подлюга! Вот ведь какая подлюга! Лиса хитрая!

Та съежилась, сжалась, хватаясь за руку мужа.

Мужик поглядел на нее, сплюнул и пошел назад.

— Что ты сделала? — спросил мужчина, хотя он уже о многом догадался.

Жена отвечала отрывисто:

— Идем! Сейчас поздно рассуждать.

А начальник станции недвижно лежал лицом к закату. В степи предзакатное солнце не слепит глаза. Оно, окрашенное красным вишневым соком, закатывается быстро. Глазом можно следить, как уходит оно в зеленую землю. Быстро снижается солнце. Вот коснулось оно земли. И земля уже режет диск. Ломоть за ломтем режет земля солнце. Вот уже половина только осталась в небе, вот четверть, а вот земля совсем проглотила солнце и облизала край неба красным языком. Дню — конец. Ночь.

Благодатный подошел к бывшему своему начальнику и освободил рот от платка.

— Вы — мой друг, — сказал он, — но мы служим разным идеям. Это не я убью вас, а одна идея убьет другую.

И он вынул револьвер.

— Эту дрянь спрячь, — отвечал начальник станции спокойно, — и развяжи меня.

— Мое слово твердо, — возразил телеграфист. — Но до восьми часов у вас есть время раскаяться.

— Развязывай!

— Ты отказываешься от своей идеи?

— Развязывай!

— Ты — хороший материал для моей идеи возрождения личности и героев, — сказал телеграфист (ему не хотелось убивать этого человека). — Эта идея оплодотворит твою душу.

— Развязывай, — еще раз повторил начальник станции.

Благодатный приказал:

— Милеш, развяжи!

Милеш распутал веревки, стянувшие тело начальника станции. Тот встал, разминаясь.

Милеш вскочил на коня и поскакал туда, где среди поваленных под откос вагонов еще стонали раненые. У станции — сборный пункт. Долго ждать опасно: из городка может прийти карательный отряд. Надо узнать, почему не идут те, что напали на поезд. Надо поторопить их. Длинная фигура Милеша болталась в седле, как винтовка на плече неопытного солдата. Но это кажущееся неумение было энергичнее красивой посадки истого кавалериста.

Дым клубами громоздился вокруг станции и, подымаясь к звездам, терялся в быстро темнеющем воздухе. Пламя шумно полыхало на крыше и в стенах здания, рвалось кверху и в стороны, рассыпалось искрами, и искры тухли. Листья деревьев сохли и свивались. Ближний тополь тлел. Бревна трещали в огне, треск этот похож был на ружейную перестрелку.

Люди из-за деревьев глядели на пожар. Их — немного, человек двадцать. Но в руках у них винтовки, и они сильней тех безоружных, что частью разбежались, частью полегли сегодня ночью. Стреноженные, но не расседланные лошади жевали траву за садом. Конь Благодатного был привязан к дереву отдельно от остальных.

Благодатный шагал по аллее, заложив руки за спину и голову опустив на грудь. Десять шагов к станции, десять шагов от станции. Серого сюртука и треуголки на нем не было, и горящая станция — это не то, что горящая Москва сто восемь лет назад. Но этот пожар — только начало многих пожаров. Может быть, загорится и Москва.

Молодой парень добыл из пламени длинный бамбуковый мундштук с загнутым кверху концом, затушил о землю и подошел к Благодатному.

— Що це таке? — спросил он, улыбаясь добродушно.

Благодатный даже не повернул к нему головы.

Парень обратился к начальнику станции:

— Що це таке?

Начальник станции недвижно стоял, опершись о ствол тонкого ясеня.

Он глянул на парня.

— Это мундштук, — сказал он.

— Що таке мустук? — удивился парень.

— Курить, — объяснил начальник станции и, взяв мундштук, стал вдруг длинно и подробно объяснять, как это курят с таким мундштуком: — Нужно вот этот конец вложить в рот, понимаешь? А сюда вставить папиросу. Мундштуки обычно бывают короткие, такой же длины, как папироса, но мне иногда скучно бывало на станции одному, и вот для развлечения я и завел себе такой длинный мундштук. Это мой мундштук. Лягу, бывало, на кровать и пускаю дым, и мне кажется, что я в Турции и у меня — гарем и фонтаны.

— Що таке Туреция? — спросил парень. — Що таке харем?

— А Турция — это держава, страна такая... да... А мундштук я тебе дарю. Можешь взять. Мундштук этот больше мне не нужен.

Восклицания и крики прервали этот разговор. Милеш вернулся с неожиданным известием: главные силы отряда, ограбив поезд, ушли в степь. У поезда Милеш не нашел никого. По пути он также никого не встретил. Он расспросил одного умирающего пассажира, и тот указал ему на запад: туда ушли люди, которые изранили его. Милеш добил пассажира и прискакал к станции. С главными силами отряда ушла и вся добыча.

Люди бросились к лошадям в степь.

Благодатный, подбежав, крикнул:

— Смирно! Слушать мои приказы!

Но никто не слушал его.

Молодой парень, пробегая, задел его локтем. В руке у парня — мундштук. Благодатный ударил его по щеке. Парень споткнулся, остановился и, повернувшись к Благодатному, взмахнул мундштуком. Благодатный вырвал из рук его мундштук и сломал о колено.

— Я — начальник! — кричал он грозно, не по-русски вращая глазами. — Я приказываю слушать меня!

И он крикнул Милешу, указывая на молодого парня:

— Пли! Стреляй в него!

Винтовка в руках Милеша вскинулась к плечу. Дуло на миг глянуло прямо в лицо молодому парню, и тот, закрыв лицо руками, отшатнулся. Но в следующее мгновение дуло винтовки направилось на Благодатного. Милеш выстрелил, и Благодатный упал, вскрикнув дико. Все французское слетело с него. На земле лежал русский телеграфист. Глаза его не вращались грозно. Глаза его выкатились, как у рыбы, и, не мигая, глядели на Милеша. Струйка крови вытекла из его рта, и, увидев эту кровь, Благодатный закричал и заплакал:

— Я умираю! Спасите меня!

Крик его переходил в хрип.

— Николай Леонтьевич... спасите...

Милеш снова прицелился.

Благодатный вжимался в землю, томясь в смертном страхе.

— Не надо... я ничего больше не буду... не убивайте...

Милеш выстрелил, и Благодатный, дернувшись судорожно, затих. Руки его раскинулись, пальцы вошли в землю.

Милеш поднял винтовку, целясь в начальника станции. Но молодой парень встал на пути. Лицо у него было бледно, он боялся винтовки Милеша, а из горла шла бессвязная, убедительная речь о том, что этого убивать не нужно.

Милеш закинул винтовку на спину и повернулся к уже ожидавшему его отряду. Молодой парень, как и все, вскочил на коня, и отряд унесся во тьму. Топот копыт стих в отдалении.

Начальник станции остался один у пылающего здания. Он отвязал коня Благодатного, вскочил в седло, и конь вынес его в степь.

Красная уродливая луна торчала в небе: не половинка, не четверть, а какие-то три седьмых, да еще отрезанные неровно. Зато небо обсыпано было, как солью, звездами, и это было красиво. Среди звезд не было Южного Креста. Полярная звезда, русская, северная звезда, не оставляла неба. Но все же это небо над степью — южное небо: иссиня-черное и глубокое. И тумана в степи — нет.

Начальник станции въезжал на бугры, на рысях спускался вниз, в карьер летел по ровным местам, минуя

глубокие, поросшие чертополохом балки. И когда в котловине открылся, наконец, город, он почувствовал, что устал так, как будто весь день ходил по песку на ходулях.

Начальником одной из крупных станций юга, уже позабывшего о войне, был человек, отличавшийся щепетильностью и аккуратностью в служебных делах и чрезвычайной осторожностью в обращении с людьми. Он так взглядывал на каждого нового человека, как будто у того карманы были набиты бомбами для разрушения станции.

Когда он был раздражен или недоволен, он всегда начинал выговор так: «Поменьше бы заботились о себе — побольше бы думали о деле!»

Иные уважали и ценили его. Многим он казался просто скучным, исполнительным чинушей.

Он был женат, и всем было известно, что жена влюблена в него и повторяет все его слова и мысли.

Станция была проездная. И с юга и с севера поезда приходили уже переполненные, особенно летом, когда северяне стремились в Крым и на Кавказ и возвращались оттуда обратно. Для тех, кто садился на этой станции, мест оставалось немного. Билеты выдавались только по заявкам исполкома, и начальник станции обычно сам проверял заявки.

Летом длинные очереди выстраивались перед кассами. И те, за кем исполком не бронировал места, иной раз должны были ждать следующего и еще следующего поезда. А поезда ходили только раз в сутки.

Касса открывалась только тогда, когда с соседней станции сообщали, сколько в поезде свободных мест. В летние месяцы случалось, что на весь поезд можно было выдать только два или три билета, — тогда и те, кто имел заявки, не попадали.

Однажды, в один из таких июньских вечеров, оказалось только три места на всю длинную очередь желающих. В таких случаях начальник станции распоряжался о выдаче билетов не только в порядке живой очереди, но и по важности дел, по которым командированы были люди. Но когда поезд подкатил к платформе, оказалось, что мест гораздо больше, что для всех хватит.

К стр. 24

Началась спешка, суетня, толчея.

Начальник станции следил за выдачей билетов, готовя в уме гневный рапорт на своего коллегу, начальника соседней станции, давшего неверные сведения о количестве мест в поезде. Он лично знал и презирал этого добродушного, путаного и почти всегда нетрезвого человека.

Люди, схватив билет, мчались на платформу: поезд стоит всего пять минут.

Наконец все утихло. Касса закрыта. Начальник станции вышел на перрон — отправлять поезд. Все пассажиры уже расселись по вагонам.

Вдруг с площадки одного из вагонов соскочил человек с чемоданом, за ним женщина с саквояжем. Они ринулись к соседнему вагону, но проводник немедленно же захлопнул перед ними дверь.

Начальник станции был достаточно опытен для того, чтобы понять, в чем дело: эти пассажиры второпях попали не в свой вагон, а проводник их вагона пользуется случаем, чтобы не пустить их. Он хочет получить взятку.

Начальник станции издали так обругал проводника, что тот немедленно пустил пассажиров. Сначала вскочила женщина, за ней — мужчина.

Свисток.

Мужчина и женщина обернулись с площадки, чтобы поблагодарить спасителя. И сразу же все трое узнали друг друга.

Уже тогда, когда этот мужчина показывал у кассы командировочный документ (он приезжал сюда из Москвы для какой-то ревизии), лицо его показалось начальнику станции знакомым. Но ему некогда было вспоминать — пассажиры рвались к кассе. Теперь он вспомнил.

Он шагнул к поезду, поднял руку. Но что он может сделать? Как доказать?

Мужчина и женщина вмиг скрылись в темную глубину вагона.

Поезд двинулся.

Начальник станции опустил руку.

1923

ЧЕТВЕРТАЯ СТАВКА

Два приятеля, однополчане, встретились в одном из недавно открывшихся ресторанов Петрограда.

Оба они с трудом узнали друг друга.

Один из них, впрочем, мало изменился. Он не потолстел и не похудел — остался таким же, как и раньше. Только одежда на нем была уже штатская: мятый пиджачок, надетый на белую с расшитым воротом косоворотку, мятые брючки, сунутые в высокие сапоги, на голове — кепка. На его щеках и подбородке светлели золотые кустики волос.

Зато на другом синее пальто сменило военную шинель, мягкая шляпа согнала с каштановых волос военную фуражку. Перстень оказался на безымянном пальце, когда он снял серую замшевую перчатку (он сидел в ресторане в перчатках), чтобы поздороваться с товарищем. Желтые ботинки сверкали на ногах. Все это, впрочем, сидело на нем нескладно, все это было, видимо, непривычно ему, как огни ресторанов и магазинов еще живо помнившему голод и войну Петрограду.

Он улыбался несколько напряженно, во всю ширь своего еще простоватого лица.

Первый, оглядев его, покачал головой.

— Ну и щеголь! Черт возьми! Я и то сомневался — да Васька ли это?

Васька замахал руками.

— Ну вот еще! Отчего и не приодеться! А я тебя тоже не сразу признал. Ужели, думаю, идет это Ленька Бычков?

Бычков присел к столику и заказал обед.

Васька спросил вина. Когда официант поставил перед ним откупоренную бутылку, он рассердился:

— Я вам, кажется, ясно сказал — мадейру, а вы подаете портвейну.

Он и разговаривал теперь по-иному. Совсем не та речь.

— Простите, гражданин, — возразил официант. — Вы заказали портвейн.

— Да брось ты! — вступился Бычков. — Не все ли равно!

Однако же Васька делал еще вид, что сильно переживает разницу в марках вин. Потом, наполнив рюмку, предложил:

— Выпьем за прошлое! Война кончилась, а я вот до сих пор... Карла Корейву помнишь?

Это был старшина команды разведчиков. В день, когда комиссар полка прочел солдатам приказ о мире, Карл Корейва прошел к себе в хату и застрелился. Он не хотел мирной жизни — он умел только воевать.

— Да, — вздохнул Бычков, — не мог, бедняга, понять...

— Не мог понять, — согласился Васька.

И каждый при этом подумал о своем.

— Что делаешь? — спросил Васька.

— Служу, а ты?

— Присматриваюсь.

— Присматриваться-то, видно, выгодней, чем служить.

Васька в ответ самодовольно усмехнулся. Ему неудержимо захотелось похвастаться. Только три дня тому назад закончил он такую сделку, которая набила его бумажник деньгами. Он, как новичок в богатстве, боялся оставлять деньги дома и все их носил с собой.

Бычков принялся за обед, а Васька — за вино.

Наконец он не выдержал. Хлопнул себя по карману.

— Во, брат! Весь наличный капитал тут! Разбогател я, брат.

— Да ну? — равнодушно осведомился приятель.

— Вот тебе и ну. Ей-богу, разбогател.

— Ненадолго.

— Там видно будет.

— Да ты, кажется, сволочью стал?

И Бычков, придвинув тарелку с жарким, прищурился на приятеля.

Тот обиделся.

— Сволочью? Да мне это, может быть, и не важно. Мне деньги эти — тьфу! — не нужны.

Он уже жалел о том, что похвастался. Неопределенный страх перед этим плохо одетым человеком возникал в нем.

— Ой ли?

— Ой ли, — подтвердил обиженно Васька.

И ему показалось, что действительно не в деньгах дело. Оркестр играл что-то ужасно тягучее и трогательное. Воспоминания о походах, о боях, о дружбе одолели Ваську до того, что он вспотел и снял пальто, обнаружив темно-желтый костюм.

— Вот всегда ты такой, — обратился он укоризненно к приятелю. — Нельзя уж и слова сказать.

Бычков молчал, и молчание это было неприятно Ваське.

— Да ты что — не веришь мне? Хочешь, все сегодня истрачу?

Приятель усмехнулся.

— Не истратишь.

— Ах, да?

Васька разгорячился.

— А вот и растрачу!

Прибавил менее уверенно:

— Мои деньги. Захотел — и выбросил.

И он мрачно опорожнил рюмку, налил еще, выпил... Ему вспоминались зеленые огни вражеских ракет, пули, белая лапа прожектора, щупающая черное поле, а в поле, рядом, он и вот этот сидящий перед ним человек. Вот дружба! Теперь уж и морду воротит — забыл, как вместе ползли в траве. А за что?

— Мне эти деньги — тьфу! — не нужны, — повторил он.

Ему ужасно хотелось, чтобы приятель одобрил его, вроде как разрешил ему и дальше так жить.

— Ничего ты не понимаешь во мне, — продолжал он. — Какой раньше я был — такой и есть.

Бычков с некоторым любопытством поглядел на него: Васька явно мучился чем-то.

«Внове ему», — подумал Бычков.

Он нарочно промолчал.

Васька, разгорячая себя вином, все больше волновался, стараясь доказать не столько приятелю, сколько самому себе, что никаких в нем не произошло перемен. Выйдя из ресторана, он потащил приятеля с собой.

— Идем в казино. Увидишь. Все истрачу!

Тот колебался.

Мальчишка с папиросами подскочил к Ваське.

— Есть толстый «Сафо»!

Мальчик выгребал из карманов коробку за коробкой.

— Есть «Дюбек», «Три-А», «Октябрьские», «Кремль»!

В его карманы уложилась бы вся государственная фабрика.

— К черту! — воскликнул Васька. — Идем.

Бычков совсем не хотел длить эту случайную встречу. Ему опять казалось, как и часто в этот переломный год, что зря он воевал, если теперь восстанавливается прежнее. Но некий план, окончательно созревший в мозгу, заставил его усмехнуться и пойти за Васькой. Он с удовольствием воображал предстоящее развлечение.

В ресторанном зале казино он положил Ваське руку на плечо.

— Дай мне твой бумажник.

— Тебе? Ах, вот что! Ты бы сразу сказал. Я одолжу тебе сколько хочешь, и без отдачи. Пожалуйста, без отдачи. И не упрашивай. А я думал — чего это ты молчишь?

Бычков злорадно усмехнулся.

— Ты меня не понял. Я хочу получить твой бумажник со всем, что там есть.

— Однако это слишком!.. У меня там деловые бумаги... и... я не понимаю, почему я обязан...

— Не бойся, — перебил Бычков. — Деловых бумаг глядеть не стану, денег не украду, и взаймы мне не нужно.

— Так зачем же тебе?

— Боишься выпустить бумажник из рук?

Васька протянул ему руку с бумажником так, словно это была не рука, а тугой рычаг. Он ничего не понимал.

Бычков, подойдя к столику, вывернул все содержимое бумажника на белую скатерть. Меж пустым бокалом и пепельницей легла куча бумажек, достаточная для того, чтобы сто человек сытно прожили месяц.

Бычков пересчитал деньги, записал общую сумму и заложил деньги назад в бумажник. Потом возвратил бумажник Ваське и сказал:

— Сменяй валюту.

Васька начинал понимать.

— Ты можешь не согласиться, — продолжал Бычков. — Но ведь ты сам напросился и меня в свидетели затащил.

Васька воскликнул в пафосе:

— Есть такое дело! Все к черту!

И Бычков пошел в залу, где люди дрожали и потели вокруг столиков, выбросив всю силу в глаза, следящие за спокойными пальцами банкомета. А те, чьи глаза видели только спины и затылки стоящих впереди, напрягали слух, ожидая выкрика крупье. Но было тут также много спокойных игроков и бесстрастных наблюдателей.

Васька сменил валюту в разменной кассе.

— Ты бросишь все на макао, — сказал Бычков.

Васька шел за приятелем к столу, держа в руках все свое только что приобретенное благополучие.

Когда Васька кинул на банк свою ставку, крупье не потерял четкости движений и голоса. Он выкликал:

— Большой прием на табло! Еще! Еще! Еще!

И досадливо откидывал мелкие ставки.

— Меньше ста нельзя.

Плохо одетые люди соединяли свои ставки, чтобы получилась сотня. Они перешептывались, с подозрением глядя друг на друга:

— Моих десять, вы не забудьте.

— Моих пять.

— У меня двадцать пять. Двадцать пять моих.

С других столиков и из других комнат, заслышав о крупной ставке, шли игроки и вынимали бумажники.

Крупье кричал:

— Еще на табло! Еще на табло! Большой, а — очень большой прием на табло!

И только это «а — очень» выдало его тайный восторг.

Наконец он сказал хрипло:

— Игра сделана.

И все стихло на миг.

Рыжая барышня в задних рядах шепнула, нарушив безмолвие:

— Так вы не забудьте: моих десять.

И сконфузилась, потому что все услышали ее слова, и долго стояла красная и потная, стараясь придать лицу равнодушное выражение.

Карта за картой открылись три карты банкомета и три карты табло.

Васька сидел за столиком, а позади, облокотившись о спинку его стула, стоял Бычков. Зрение и память изменили Ваське. Он забыл значение карт.

— Банк выиграл, — сказал крупье и придвинул Ваське деньги.

Рыжая барышня проиграла последние десять рублей и отошла от столика.

Бычков склонился к Ваське.

— Та же сумма плюс выигрыш — твоя следующая ставка.

Васька кивнул головой.

Крупье воспрянул:

— Большой прием на табло! Еще! Еще! Еще!

Плохо одетые люди уже не перешептывались, вынимая из потаеннейших карманов зажатые туда деньги и выкидывая их на табло. Бумажники крупных игроков худели, как их лица.

Крупье сказал:

— Игра сделана.

Банкомет раскинул карты: первое табло, второе табло, третье табло, банк. Второе и третье табло не участвуют в игре, если банкомет не держит ответственный банк. Банкомет раскрыл карты: валет, король, туз — одно очко. Несомненно, банк проиграл. Лысый старик, сидевший за первым табло, разом раскрыл свои карты: дама треф, дама червей и валет — ни одного очка: «жир». Банк выиграл.

Бычков сказал Ваське:

— Все прежнее плюс новый выигрыш — твоя третья ставка.

Крупье выкликал:

— Большой прием на табло! Еще на табло! Еще! Еще! Еще!

И наконец:

— Игра сделана.

На зеленое сукно ложились карты: по три на каждое табло и три — на круг. Банкомет раскрыл карты: король бубен, король пик, валет — ни одного очка: «жир». Лысый старик перевернул карты, лежавшие перед ним рубашкой кверху. Дама, король, валет — тоже «жир», en carte. И снова банкомет раздал карты. Раскрыл: тройка, семерка, девятка. У лысого старика на первом табло — девятка, туз, восьмерка. Банк выиграл.

— Банк выиграл, — произнес крупье, и все сгрудившиеся вокруг двинулись на полшага к столику, только на полшага, но от этого произошел такой шум, что все вздрогнули в чрезвычайном испуге, только теперь заметив, как их много тут. Вздрогнули и раздробились, отходя от столика.

Васька даже не протянул руки к деньгам: не мог.

Бычков сказал:

— Его четвертая ставка — снова на круг все, что тут лежит.

— Да, — хрипло подтвердил Васька.

Крупье напрасно выкликал:

— Большой прием на табло! Большой прием на табло!

Никто не пожелал отвечать на четвертую ставку Ваське. Пространство вокруг столика расчищалось. Сидевшие за тремя табло и на швали встали и отошли. У плохо одетых людей не было денег, а богачи были осторожны. Только один политехник, в пенсне, вытянул из жилетного кармана рваную десятку и, сконфузившись, спрятал ее назад.

За столиком остались только Васька, Бычков, банкомет и крупье.

— Ваши деньги, — сказал крупье.

Перед банкометом лежала новая колода, старая — кончилась.

— Ваши деньги! — повторил крупье.

Васька встал, растопырил над столом десять толстых пальцев, схватил деньги, сгреб и рассовал по карманам.

Пошатываясь слегка, он пошел в ресторанную залу и крикнул белокурому скрипачу:

— Военный марш.

Скрипач оборвал дикси на полузвуке, и оркестр заиграл военный марш вдвое громче, чем обыкновенно.

Васька и Бычков сели за столик.

Васька лепетал:

— Это... это... тут тебе по праву часть... некоторая часть... Это ты мне посоветовал... Риск — благородное дело.

Бычков раздраженно молчал. Вместо развлечения оказалось черт знает что. Он почему-то уверен был, что Васька все проиграет сразу.

— Ну тебя к черту! Вот отдай все музыкантам. А?

— Ты с ума сошел? — удивился Васька.

— А что ты сам говорил?

Васька взглянул на часы. Он уже вполне владел собой.

— Ты знаешь? Игра продолжалась только пятнадцать минут. Все это совершилось в пятнадцать минут. А мне кажется, что это черт знает как давно я шел за тобой к столику.

— Отдай деньги и идем, — сказал Бычков.

Васька отвечал раздельно:

— Этих денег я не отдам. Думай, что тебе угодно, — не отдам. Ты не имеешь права приказывать мне. И тебе не дам ни копейки, — прибавил он.

Бычков встал.

— Война не кончена, и твоя игра не кончена, — промолвил он. — До свиданья.

И он пошел прочь.

Васька глядел ему вслед. Он радостно ощупал по карманам в восемь раз увеличившийся капитал.

— Спасибо, — пробормотал он, усмехаясь.

Официант склонился к нему.

— Вам карточку, гражданин?

— Мадеру, — отвечал Васька. — Не портвейн, а мадеру.

А у пустого столика банкомет из любопытства раскинул карты. В банке — два очка, на первом табло — три очка. Четвертая ставка в новой колоде проигрывала.

1923

АНДРЕЙ КОРОБИЦЫН

1

Речушка, поросшая осокой, вьется меж извилистых берегов. Это — Хойка-йоки. Прибрежная трава толста, сочна и пахуча. Луга здесь обильные и цветистые, и хорошо ходят по ним косы. Лесом одеты влажные и сырые низины, лес карабкается и по склонам холма, чтобы вновь сползти вниз, и скрывает лес в недрах своих болотные, ржавые, замерзающие зимой воды. А понизу, вдоль Хойка-йоки, расставлены пограничные столбики.

Хойка-йоки — это граница. Если кто шагнет через нее, — оживет ближайший ольшаник, и винтовка часового, отрезая путь назад, остановит тотчас. Винтовка обращена дулом в тыл, чтобы не залетела случайно пуля на ту сторону. Вьется граница на север и на юг — болотами, лесами, полями.

До лета еще не скоро. Но уже мартовское весеннее солнце греет землю, и мешается снег с водой. Скоро совсем стает снег, взбухнет и разольется все вокруг, ручьи, растекаясь и вновь сливаясь в один гремящий поток, с шумом ринутся по склонам поросшего сосной и елью холма, и начнет веселеть и зеленеть земля.

Из лесу на той стороне вышла молодая женщина в полушубке и высоких сапогах. Голова ее повязана коричневым шерстяным платком. С охапкой хвороста в руках она выдвинулась из-за деревьев, глядя на шагающего по дозорной тропе нашего часового. Каких-нибудь тридцать шагов отделяли ее от него. Глаза женщины горели весельем и любопытством.

Часовой не обернулся к ней. Тем же ровным шагом дошел он до ближайших кустов, исчез за ними и тотчас же присел, затаился. Отсюда он следил за каждым движением неизвестной женщины. Вот она, веселая и оживленная приблизилась к самому берегу, осторожно ступая по рыхлому, мокрому снегу, вглядываясь в том направлении, где скрылся часовой. И казалось — она, как март, греет землю и сердца, круглая, синеглазая, розовощекая. Постояв так у берега, она повернулась и вновь удалилась в лес.

Здесь она бросила ненужную вязанку и быстро двинулась в глубь от границы.

Громадный, плечистый человек в ушастой меховой шапке и тулупе поджидал ее, сидя на широком березовом пне и покуривая папироску. Он спросил кратко:

— Видели?

— Видела, — отвечала женщина и прибавила насмешливо: — Хорошенький, молодой...

Голос у нее был грудной, певучий.

— Заманите, — сказал мужчина, — и будет вам награда. Денег дадим.

Женщина засмеялась, и ямочки на щеках сделали ее еще красивей и моложе.

— А вы правду говорите, что эти — из наших мест, вологодские?

— Так точно. Новички пришли. Этот — вологодский, и еще несколько земляков с ним.

Женщина помолчала, потом улыбка вновь осветила ее лицо. Без слов понятно было, что она согласна.

Часовой опять вышел на дозорную тропу и тут явственно услышал — уже не с той стороны, а с нашей — хруст, словно кто-то наступил на сучок.

— Стой! — тихо, почти шепотом окликнул он. — Кто идет?

Из-за деревьев показался начальник заставы, тонколицый, остроносый, чуть сутулый, в длинной кавалерийской шинели:

— Товарищ начальник заставы, на участке ничего не замечено. На сопредельной стороне ходила к берегу девица, несла хворосту охапку. Часовой Коробицын.

Говорил он так тихо, что на том берегу никак невозможно было услышать. Это был чернобровый парень,

с прямым носом на большом румяном лице. Щеки у него были такие гладкие, словно он и не брился никогда.

Начальник заставы зашагал дальше проверять посты и секреты, то исчезая за деревьями и кустами, то вновь выходя на дозорную тропу. Он уже пять лет, с двадцать второго года, служил на этой границе, и каждая кочка, каждый кустик были знакомы ему.

В эти дни он особенно тщательно проверял участок: у недавно прибывших новичков последнего призыва еще нет достаточного опыта. К их приезду застава по-праздничному разукрасилась, было собрание всех бойцов, увольняемые делились своим опытом, он сам рассказал об успехах и недостатках их работы, демонстрировал диаграммы по всем видам подготовки, увольняемые торжественно передавали новичкам свои винтовки, и, конечно, каждый считал свою винтовку самой лучшей.

Затем старые пограничники повели молодых по участку, знакомя их со всеми тайнами лесов и болот.

Но полностью люди узнаются на практической работе, — так считал начальник заставы. Привычная осторожность удерживала его от поспешных суждений о вновь прибывших бойцах.

Сам он стремился в действиях своих к той точности и четкости, без которых невозможна пограничная работа. Малейшая ошибка в таких делах, как расстановка постов, рассылка обходов, своевременная смена часовых, может повлечь за собой самые скверные последствия — нарушитель воспользуется тотчас же. А участок этот был активный, и всего лишь несколько десятков километров отделяло этот отрезок границы от Ленинграда.

Командиры на учебном пункте оказались правы: граница мало чем разнилась от тех деревенских просторов, из которых прибыло большинство бойцов. Здесь было, правда, поярче и поцветистей, чем в родной деревне Коробицына, но разобраться во всех этих зарослях все же не велика наука для лесного человека, и не так уж трудно соревноваться на стрельбище охотнику, с берданкой ходившему на медведя. Лесные шорохи, болотный плеск, трепетанье птиц — все это стрекотанье и звон с детства живут в крови, и неужели слух не различит в этих привычных шелестах и голосах человечий звук? Неужели зрение ошибется даже в темноте? И все-таки

везде и во всем виделся и слышался вначале нарушитель, особенно в первую ночь. Когда Коробицын впервые вышел ночью в паре с опытным товарищем на пост, все в нем ходуном ходило. То и дело брал он винтовку наизготовку и каждой падающей сосульке шептал:

— Стой!

Собственные шаги он готов был принять за вражеские.

Он так вглядывался во все, что от напряжения у него даже глаза заболели.

— Все кажется, — жаловался он потом.

Земляк его Болгасов — тот прямо потом сознался:

— Трусость была, что упустишь. Птица встряхнулась, а я мечтаю, что человек, — забурился, перевалился через бугор, упал...

Командир отделения Лисиченко особо занимался новичками. Он был не очень складный человек — длинный, с неожиданно широкими плечами, с головой яйцом. Он ходил от поста к посту — от одного новичка к другому, и чуть появлялась рядом его спокойная фигура, стыдно становилось за все свои страхи. Лисиченко давал в пару новичкам опытных пограничников и старался не тревожить страшными рассказами о нарушителях, изо дня в день обучая и воспитывая бойцов. Спокойствие и уверенность придут вместе с полным овладением знаниями. И рассказы его вначале были тихие.

— Был у меня в отделении года два назад боец. Фамилия ему — Плохой, а сам он стал потом хороший, — рассказывал он например. — Раз было: пришел ночью с участка, винтовку поставил и не почистил оружия. Сам заснул. Гляжу — винтовка холодная, грязная. Будить я его не стал, пусть отоспится. Дал почистить другому — Кобзарю по фамилии. А потом вызываю его (когда уж он поспал) и завожу беседу. Сначала про него все спрашиваю — что мешает? нравится ли служба? что трудно дается? ознакомлен ли хорошо с участком? нет ли трусости? А потом: «Винтовку почистил?» И вот — солгал человек. Говорит: «Почистил». Тона я не повышаю, только разоблачил его лживость. «Как тебе, говорю, не стыдно! Ведь государственной важности дело делаем. Не всякому такой почет дается, а ты безопасность границы своевременно не обеспечишь». Надо тут стыд в человеке

вызвать, — самих ведь себя охраной границ обеспечиваем, не бар каких-нибудь. И стал он, хоть по фамилии и Плохой, а по всем показателям хороший боец. Одному доброе слово сказать надо, а на другого и покричать.

Рассказывал он такие истории как бы случайно, невзначай, но они запоминались и действовали.

Сам он был до призыва бригадиром-каменщиком, работал на мартене, а на пограничной службе остался сверхсрочно.

— Опыт у меня образовался, обучать могу, и сам я тут очень полезный человек, — объяснял он спокойно и нехвастливо.

Даже Болгасов, — а он оказался одним из отсталых, — быстро попривык с таким командиром к новой службе и все реже птицу или рысь принимал за человека.

Потом Лисиченко стал рассказывать и о нарушителях:

— Первый раз так задержание было. Послан я был в секрет. Слышу — сучок треснул, трава прошумела. Винтовку взял, а из куста не вышел, жду. Вижу — наискосок фигура мелькнула. «Стой! Кто идет?» Не отвечает. И шороха нету. «Стрелять буду!» А он: «Тише, тише». По голосу не наш. «Руки вверх!» — «Есть, есть». Зашевелилась трава. Выходит небольшой, в болотных сапогах, шапка-кубанка, а сам в пиджаке. «Опущай руки вниз, ложитесь». Дал тревогу. Прибежали тут с собакой. Так он дрожит, умоляет: «Только собаку не применяйте». Очень собак боятся. Сам уж сознается: «Заграница». А то бывает, что заблудился действительно или перебежал от худой жизни. Только наше дело, конечно, всякого на землю ложить, тревожным передать — и на заставу. В штабе ошибки не будет. Врут нарушители много. Заблудился, перебежал, — а сам потом шпион оказывается. Доверия быть не должно. Было и такое, что вышел прямо на бойца один — золотые браслеты, деньги в руках. Сует — «пропусти». Лег он на землю со своими ценностями. Этого у нас не бывает. Это только у них так можно. Потом повели его на заставу.

Эти рассказы тоже очень запоминались. И каждому мечталось поскорей задержать нарушителя. Но зимой нарушители больше любят залив. Там ведутся и шпион-

ские дела и контрабанда. К весне лесная граница оживляется. К весне больше шорохов, и тают болота, и наблюдают тайно с той сопредельной стороны враги за нашими бойцами. Но и зимой, конечно, бывает немало нарушений и задержаний.

2

Коробицын вернулся с поста к трем часам дня. Одежда не вымокла, и в сушилку сдавать было нечего. Коробицын почистился, умылся, фыркая и полоскаясь с большим удовольствием (он мылся всегда шумно и звонко), отошел, отираясь полотенцем, от умывальника, надел гимнастерку, стянул ее туго поясом, обровнял и отправился в столовую.

Повар, человек худощавый и хмурый, с длинными, ниже подбородка спускающимися усами, выдал ему обед. Обед был хорош: борщ, мясо. Хлеб вкусный, ржаной. Чаю Коробицын выпил два стакана.

Вошел веселый боец по фамилии Серый, получивший прозвище «Бирюлькин», тоже вернувшийся только что с наряда.

— Дым-то у тебя на кухне, — сказал он повару. — Противогаз надень.

Физической подготовки повар остерегался и, раскачиваясь на брусьях, обижался и страдал. По остальным видам подготовки шел хорошо, а химической обороной увлекался почему-то особенно. Он так изучил это дело, что даже иной раз обучал новичков, показывая, например, как надо надевать противогаз.

— Не надо торопиться — надо делать быстро, — объяснял он своим хриплым, но громким голосом. — Каждый боец надевает шлем под бороду, натягивает, а фуражку не сбрасывает, а зацепляет пальцами...

И если новичок все-таки сбрасывал фуражку и совал ее между колен, он показывал сам. Однажды он обучал так Болгасова, объяснив, что если закрыть клапан, то человек задохнется. И когда он надел противогаз, Болгасов захохотал и закричал:

— Пробку-то заткни! Пробку заткни!

Повар снял противогаз, поглядел на Болгасова и промолвил:

— И сырой же ты, хлопец!

Но Болгасов, настойчивый в том, что уже однажды развеселило его, повторял свою удачную, как ему казалось, остроту и всякий раз хохотал при этом.

Повар даже не улыбался. Он отвечал на эти насмешки молчаливым презрением.

Коробицын не любил насмешек. Он солидным голосом, который иной раз вдруг появлялся у него, сделал тогда замечание земляку:

— Ты что рот разеваешь? Человек тебе на помощь пришел, а ты — что? Гляди у меня...

Коробицына Болгасов уважал. Он и повара уважал, но отчего же не посмеяться?

Коробицын предвкушал сегодня большое наслаждение. Вчера он изготовил хорошую скворечню из найденной во дворе старой ступицы и готовился прикреплять ее сегодня на самую верхушку самого высокого дерева в саду.

Дом заставы помещался на горушке, в запущенном небольшом саду, который похож был просто на огороженный забором кусок леса. Дом был двухэтажный, некрашеный. Коробицын выбрал сосну у самой ограды (она ему с первых дней нравилась — высокоствольная, стройная, с ветвями, забранными высоко от земли) и сразу после обеда полез на нее. Он сильными, умелыми бросками, вытягиваясь на коленях, быстро взобрался до первых нижних ветвей, пошел все выше и выше, и снег таял на его гимнастерке и штанах. Теперь уже, наверное, придется посушить одежду. Ему самому хотелось петь, как скворец поет. С поста он возвращался каждый раз несколько возбужденный. С каждым новым нарядом он убеждался, что спокойствие и уверенность вселяются в него. Уже нет прежних страхов, участок знаком весь, ухо и глаз не обманывают больше. Хорошо бы только, если б Зина тут была с ним, помощницей на границе. При начальнике заставы вся семья здесь, даже сынок. И жена ходит не барыней, а как простая, — сама, наверное, тоже деревенская. И каждому бойцу поможет, за одеждой следит, моет, чистит заставу, кухню проверяет. Такой женой ему будет и Зина, когда он сдаст на командира. И, посвистывая, он прикреплял скворечню к самой верхушке сосны. Взглядывая вниз, он видел ставший

совсем маленьким садик, фигурки товарищей в нем и деревянную крышу дома.

«Крышу починить надо, — подумал он хозяйственно и решил поставить еще одну лавку у крыльца. — И перильца у крыльца тоже наладить надо — шатаются». Он с удовольствием предвидел много дела здесь. Земляки — Болгасов и Власов — помогут, они его слушаются. Да и другие бойцы возьмутся. Свободных часов немало.

Мартовская радость переполняла его. Он вспомнил девицу с той, сопредельной стороны и поглядел вокруг. Лесами закрыта земля, и хоть похожи они на родные, как везде, дебри, но есть в них вот там, недалеко, черта, словно другой цвет начинается. Там — чужие леса, чужая жизнь... Оттуда ходит враг, но пусть не мечтает повернуть жизнь по-своему. И, посвистывая, Коробицын подергал, крепко ли прибита скворечня.

Начальник заставы, вернувшись с участка, услышал треск над собой и поднял настороженно голову. С ели на ель вдоль ограды с необычайной ловкостью перебирался, цепляясь за ветки, по самым верхушкам какой-то красноармеец. Начальник заставы, несколько пораженный, удивления своего не обнаружил. Он окликнул:

— Кто шалит там?

Красноармеец затих. Потом донесся виноватый голос:

— Коробицын, первого отделения, товарищ начальник заставы.

Тут начальник заставы заметил, что внизу, в сторонке от группы наблюдающих за Коробицыным бойцов, стоит его пятилетний, смуглый, как мать, сынишка. Закинув голову и открыв рот, в страшном напряжении, мальчик неотрывно глядел вверх на молодого красноармейца. Он смотрел с глубочайшим интересом и уважением. На отца он и внимания не обратил, когда тот окликнул его.

Коробицын с такой быстротой спустился наземь, что начальник заставы не удержался и промолвил, качая головой:

— И ловкач же вы!

А мальчик подошел к Коробицыну и спросил:

— Ты что там, наверху, делал?

— Скворцов приваживал, — ответил ему Коробицын.

— А ты как приваживал? — спросил мальчик, с трудом повторяя длинное слово.

Начальник заставы усмехнулся и замечания Коробицыну не сделал, хотя тот был весь мокрый.

Большинство призывников пришло из деревни. Эти парни двадцать седьмого года, преимущественно из бедняков, несли в себе все возможности будущих строителей колхозной жизни.

Сам из рабочих, начальник заставы знал и любил деревню. Его даже Болгасов не смущал. Всякого человека можно научить и воспитать. Он узнал это по себе. Он тоже говорил некогда: «Не генерал я книги читать». А теперь без книг жить не может.

В Коробицыне, неразговорчивом, всегда внимательном на занятиях, спрашивающем обо всем, что было непонятно в книге или газете, он видел обыкновенного хорошего парня, каких много в стране. Молчалив он только бывает, тяжеловат в словах и солиден так иногда, словно большой бородой оброс.

День кончался. В мартовских сумерках у крыльца расположилось несколько свободных от наряда бойцов. Светились огоньки цигарок и папирос. Толпа елей, сосен, берез, темнея, все глубже уходя в ночь, покачивала на ветру своими мохнатыми лапами. Облака в небе таяли и чернели, как снег на земле. Чувство больших и опасных пространств охватывало здесь, на сквозном ветру пограничной заставы.

Слышался голос Бирюлькина:

— Получаю я нечаянно повесточку — в армию призвали. С этого получается, что приступаем мы к охране границы. А я и рад. Я из такой деревни... что ни лето — то горит. Честное мое слово. И собаки оттого все бешеные. На собак у нас с волками охотятся. Приведешь волков из лесу и пойдешь собак травить...

Кто-то даже взвизгнул от удовольствия, что так врет человек. Все засмеялись.

Рассказчик сохранил полное хладнокровие.

— Волки у нас тоже бешеные, — продолжал он. — Раз было, — и по вдруг изменившемуся тону его ясно стало, что сейчас он говорит правду, — паренек один упился, домой не дошел, так и заснул при дороге, и козырек торчит, вроде как нос длинный. Так бешеный волк пробежал, хвать — откусил козырек и дальше. А паренек не проснулся даже. Потом рассказали ему, что случи-

лось, как он козырек потерял, — так заикаться стал. Честное слово.

И Бирюлькин, предвидя, что ему и в этом не поверят, заранее обижался:

— Вот уже это правда! Был бы бог — перекрестился бы, что правда! Бога вот только нету — попы выдумали!

Но про бешеного волка ему поверили:

— Бывает. В Вятской губернии могло случиться.

Завидев Коробицына, к нему подошел Бичугин, ленинградский кожевник:

— Со смены пришел, не спал еще?

— Ночью отосплюсь, — отвечал Коробицын солидно.

— А если тревога будет?

Человек тонкой кости, Бичугин казался таким хрупким, что вот-вот сломится. Но был он мускулистый, ловко прыгал через кобылу, проделывал легко, не хуже Коробицына, сложнейшие упражнения на турнике и брусьях, строевым учением овладел быстро, только на стрельбище отставал от Коробицына. Зато по общим знаниям, по политической подготовке стоял одним из первых, выше Коробицына. Сдружились они еще на учебном пункте, особенно после того, как Коробицын, подумав, подал заявление в комсомол. В этом его поступке немалую роль сыграли и беседы с Бичугиным. Сам Бичугин был коммунист.

В группе бойцов родилась песня. Неизвестно, кто повел первый, кто подтянул, но уже пели все — медленно и заунывно. Песню эту непонятно где подцепил и привез все тот же веселый вятский парень Серый, по прозвищу Бирюлькин. Она, похожая на переделанный, склеенный из разных кусочков романс, понравилась почему-то, привилась и пелась наряду с боевыми песнями.

Бойцы пели:

Когда на тройке быстроногой
Под звук валдайского звонка
Завьешь ты пыль большой дороги,
То вспомни, вспомни про меня...

Песня была любовная, мартовская, и в ней с особенным выражением выпевалось:

Когда завидишь берег Дона,
Останови своих коней.
Я жду прощального поклона
И трепетной слезы твоей...

Коробицыну думалось о Зине.

Познакомился Коробицын с Зиной Копыловой на учебном пункте, — она из ближайшей к пункту деревни.

Это была небольшого роста девушка, круглолицая, со вздернутым слегка носом. В раздражении она двигалась быстро и легко и появлялось у нее много лишних жестов и слов. Раздражалась она часто и охотно, но успокаивалась быстро, и на ее злые слова можно было не обращать внимания, потому что они никогда не имели последствий.

«Я — черствый человек, — говорила она про себя, — но у меня скука по населению». Зина Копылова действительно не любила одиночества. Если же случалось ей оставаться одной, то она тотчас же хваталась за книжку или газету или бежала к подругам.

Зине не исполнилось и восемнадцати лет, когда ее избрали членом сельсовета. Нашлись, конечно, в деревне и такие, которые считали, что девушка в сельсовете — это позор обществу, но понемногу и они примолкли, только называли Зину всегда по имени и отчеству, наотрез отказываясь звать просто Зиной. Они величали Зину так почтительно из уважения к себе, а не к ней.

С красноармейцами с учебного пункта деревня жила в дружбе. Иной раз бойцы помогали и в деревенских работах. Собрались на учебном пункте с разных концов страны разные люди — все одного возраста, одного призыва — и деревенские и городские, с заводов и фабрик. Деревенским особенно нравилась зеленая фуражка, и они вначале смеялись, поглядывая друг на друга. Потом привыкли и носили фуражку уже с важностью.

С Зиной познакомила Коробицына учительница, дававшая бойцам книжки. И вот зачастил к Зине Коробицын.

Когда трудно давалось ему учение, она утешала его: «Я тоже, бывало, сижу на занятиях в школе, ничего не пойму, приду домой, брякнусь и реву».

Была она тоже в комсомоле.

Каждый раз, получая увольнительную записку, он шел к ней. Он шел снежным полем, по которому невозбранно гулял ветер, и уже издали узнавал огонек в ее избе, отличая его от всех других огоньков деревни.

Горько было прощаться с Зиной перед отправкой на границу. Она поплакала, конечно. Но они поженятся, когда он вернется со службы, и вместе будут строить жизнь.

И теперь, подпевая товарищам, думая о том, как женится он на Зине, он путал песню, потому что все просились на язык слова старухи-учительницы о Зине: «И все-то у нее на месте! И все-то у нее мило!»

Стихла песня, и чей-то голос выкрикнул:

— Буденновскую!

Запели Буденновскую.

Звезды открылись в небесной глубине.

Бирюлькин собирался в наряд.

В наряд посылались бойцы не все сразу, гурьбой, — так с той стороны могут заметить, — а парами и в одиночку. Каждому свой час.

Бирюлькин теперь был уже серьезен, хмур, не шутил, инструкцию начальника заставы выслушал внимательно и повторил ее. И вот, сначала шедший впереди парный его, затем и он исчезли во мраке пограничной ночи, слились с влажной и сырой тьмой. Вернутся ли они? Нельзя заранее знать все, что случится на границе. Враг не спит.

Коробицын, вытянувшись на койке, улыбнулся Зине. Никогда он не видел в родной деревне такой ласки, как от нее. И девушки такой не знал там, хотя и гулял с иными, как полагается.

3

Андрей Коробицын знал болотную гать и лисий след лучше грамоты, — за грамотой он бегал всего только год или два в школу, а лесной науке обучался всю свою жизнь с младенческих лет. Вырос он под Куракинской горой, что куполом возвышается над смирной стайкой бревенчатых хат. Взойдешь на гору — и видишь, как редки и разбросаны здесь, в проплешинах лесов и болот, людские жилища.

Суровый край!

Никогда не заезжала сюда, в этот уголок Вологодской губернии, великокняжеская охота. Не мчались, гремя бубенцами, разгульные тройки вологодских пьяных и богобоязненных купцов. Монастыри не отхватывали лучших покосов и пашни, не было и помещичьих усадеб, потому что далека и неудобна куракинская земля. Все это — звонкое и городское — не шло дальше Лисьей горы, здесь селения не следовали одно за другим, и хаты с высоко забранными оконцами, с прирубками и пристройками не теснились одна к другой. Из Куракина долго надо было пробираться древними путями и тропами — на дрогах или на одреце, пешком или верхом, — прежде чем достигнешь деревень и сел, где можно встретить человека не в домотканной, а в фабричной одежде.

Далеко отсюда и до Двины и до Сухоны. Нет озер. Только Вага выплывает из болотистых ручьев, побеждая стоячие воды. А болота здесь обширны и коварны. Трясина вдруг окружает человека, ржавая вода раздвигает мшистые покровы, вязнет нога, и напрасен крик польстившегося на морошку и клюкву, — ответит только эхо да встрепенется птица.

Зимой мерзнут болота. В снежные одежды одеваются необозримые леса, и только стук топора изредка врывается в их ледяную могучую тишину. Ослепительно бело становится вокруг. Сугробы наметает к заборам и хатам. Спит медведь, гоняет зайцев лиса, голодные волки забегают под самые окна. Летом — зелено, но не цветисто, и колюча дорожная пыль. Весна и осень, размывая и заливая все пути, отрезает людей от мира.

Суровый край! Над чахлыми кусками полей, над торфом и глиной, над неприбранной дикой щетиной вековых лесов распростерлось небо, бледно-зеленое, северное, то и дело заплывающее жирным салом идущих с Ледовитого океана облаков. Бывало, мелькнет далеким пожаром, в огненных столбах и пламенных вихрях, северное сияние — редко случалось оно в этих, не полярного севера небесных просторах, но запоминалось надолго.

Жили здесь скудно. Жгли и рубили лес, отвоевывая землю на пахоту. Боролись за овес и лен, за пшеницу и картофель, за ячмень и рожь. Шли на лесные промыслы

по заготовке и сплаву, гнали деготь, охотничали, уходили в города на любые работы, нанимались в пароходные команды. Бабы сбивали к осени масло, готовили на продажу ягоды, солили и сушили грибы.

Лес был здесь хорош, особенно летом, полный шумов и шелестов, щебета и стрекотанья, пахучий, украшенный полянами, обрываемый внезапными просеками. Андрей Коробицын и мальчишкой не пугался вступать в дремучие дебри, в тесноту стволов и сплетение ветвей, туда, где кроны деревьев, сходясь поверху, поселяют вечный сумрак. Родная толпа могучих сосен, берез, осин, колючих елей, распускающих свои раскидистые ветви до самой земли, окружала его здесь. Каждая рябина, каждая ольха имела для него, как человек, свое отличие, свою примету и указывала верный путь. Он знал, как горящей берестой отпугнуть медведя и по деревьям уйти от волка. Коробицын, как, впрочем, и все в Куракине, — лесовик.

В лесу лучше, чем дома.

Дома дымно и гарно. Маленькое оконце, неровно прорубленное, заменяло трубу. Потолок и стены черны от сажи. Была лошаденка, чтобы возить сено да дрова, была даже корова, были куры. Но хлеб надо было добывать чужой. Жучке и коту Филину тоже голодно. Глядя на них, брат Александр говорил, возвращаясь с работы:

— Питаться хитро́.

Брат был на четырнадцать лет старше Андрея.

Когда брата взяли на войну, Андрей бросил школу и пошел подмастерьем к деревенскому сапожнику, старому бобылю и молчальнику. Щетинистый и неласковый, тот так умел при случае закрутить ухо, что никак нельзя было удержать крик. Был он так молчалив, что даже внушал людям некоторый страх. Казалось, уж если он скажет слово, то слово это будет окончательное и все объяснит. Андрей все ждал от него такого слова. Но старый сапожник молчал.

В те годы мать, маленькая, высохшая, остроносая, но по-молодому быстрая, совсем заработалась и оробела. О чем бы ее ни спросить, все равно она ответит не сразу, а сначала откликнется, выставив вперед ухо:

— Эй?

И лицо у нее при этом такое, словно всю жизнь все только и делали, что пугали ее.

Раньше она еще умела укорять. Когда Андрей шестилетним мальчишкой запел по-птичьи на похоронах отца, она промолвила ласково: «Что песенки попеваешь? Ведь отец помер».

Теперь она ни в чем никого не укоряла, и только пуще прежнего била лбом в церкви, в самом белом, в самом веселом строении на всю округу. Она, когда и не нужно, всякому готова поклониться, рукой по-старинному касаясь земли. И молча, темными, как на старинной иконе, глазами провожала она каждого нового калеку, возвращенного войной в деревню.

Здешней жизнью владели Таланцевы. Они издавна вели дела с дальними базарами, скупали здесь, продавали там, заезжали и за Лисью гору, и до Тотьмы, и дальше, богатели и на скудной земле. У них — лучшие пашня и покос, и лошади, и коровы, и тарантас, и красивая, узорами изукрашенная изба, особо из ряду вон поставленная. Урядник и волостной старшина послушны были им, и даже сам становой пристав, если являлся в Куракино, ночевал у них. Для них мир широк, не ограничен Куракинской горой, и лучше не ссориться с ними, лучше уступать во всем, — засудят, засекут, пустят по миру. Мир широк. Огромна родная страна, а люди в ней — как трава примятая. Косило людей всячески и везде — из края в край, и на хорошей и на плохой земле. Война пошла косить тысячами и миллионами. Кому на корм?

Молодого Таланцева отняли от жены и вместе с другими парнями, как равного, забрили в солдаты. Жена выла и причитала, как беднячка, вместе со всеми бабами, и были в этом общем плаче, как в общей беде, мир и согласие. Но здоровая и сильная, как мужик, взятая из богатой, привологодской деревни, она умела не только плакать и любить мужа, но и так по щеке хлопнуть батрачку при случае, что щека вспухала. И в сундуках ее копились богатства, которых она никому не показывала. Была она из богатой семьи, но неграмотна.

— С ухватом у печи да с дойником у коровы грамоты не нужно, — так постановила раз навсегда ее мать, женщина властная и тоже неграмотная, каждый год на масленицу наезжавшая в Куракино к дочери.

Андрей боялся жены Таланцева, как боялся всех, кто хозяином ходил по деревне, и нельзя было прогнать этот страх. И еще больше стал он бояться Таланцевых, когда стало известно, что молодой Таланцев отличился в боях. За два года он выслужил четыре медали и три креста. Он прислал жене свою карточку, и жена всем, кто хотел, показывала изображенного на ней героя: молодой Таланцев стоял навытяжку, руки по швам, как по команде «смирно», в новенькой шинели с фельдфебельскими нашивками на погонах, невысокий, но крепко сбитый, и на груди его каждый мог видеть все четыре медали и три креста. С таким справиться нельзя — он и в могиле счастье найдет. Служил он, как говорили, ординарцем при генерале.

В семнадцатом году деревня Куракино, не веря шедшим из широкого мира слухам, продолжала жить по-старому.

Напуганный куракинский мир боялся новизны. Против каждой смущающей вести он ощетинивался, откидывая новость или по-своему переиначивая ее.

В восемнадцатом году, в самом начале, Александр Коробицын вернулся в Куракино живым и здоровым. Он подарил брату берданку, матери — платок, жене — косынку, детям — гостинцы. Привез он и денег, и была при нем винтовка со штыком. И хоть рассказывал Александр мало и осторожно, предпочитая молчать, но все же с его слов окончательно стало ясно, что царя действительно уже нету, что Манташевскую дачу действительно пожгли и что почтарю, державшему лошадей для великокняжеской охоты, будет худо.

Через Куракино в недальнее Рубцово проскакал прибывший из-за Лисьей горы отряд с комиссаром во главе и усмирил поднятых урядником мужиков. Урядника убили. Куракино в эти дела не вступило. В Куракине выбрали председателем хилого, негодного в солдаты мужика, и старик Таланцев снимал шапку перед сходом и всем обещал выгоду и дружбу.

Братья Коробицыны вместе ходили к Ваге на медведя и вместе строили новую, светлую избу. Затем Александра взяла на войну новая власть.

Молодой Таланцев вернулся в Куракино уже после гражданской войны. Вернулся он на родину незаметно, —

никто не видел, как он явился в деревню. Должно быть, ночью пешком пришел. Стал он совсем непохож на себя — ласковый, добрый и смирный. Выйдя к игравшим в рюхи парням, он первый скинул перед ними военную фуражку, на околыше которой еще светлел след от снятой кокарды, и было в этом жесте нечто столь приятное, не военное, что сразу он внушил доверие, словно жестом этим распрощался раз навсегда со своими медалями и крестами и признал себя мужиком, как все. А когда старуха Коробицына поклонилась ему в пояс, он обнял ее и поцеловал.

В городках он оказался силен, как прежде. В пыли, как в дыму, взлетали чурки, и ребятишки с визгом разбегались, спасаясь от стремительных палок.

На расспросы он отвечал толково.

— За крестьянскую волю в Красной Армии бился, — говорил он. — Деникина и барона Врангеля гнал. Мужику теперь свобода объявлена.

И нельзя было не верить ему.

Был Таланцев хорошо грамотен, грамотней всех в Куракине, и года не прошло, как избрали его председателем волисполкома. Препятствий быть не могло, — человек сражался в Красной Армии. Никто не знал, что в затаенном углу хранит Таланцев никому не показанную карточку. На ней снялся он уже офицером, — он, хоть и мужик, произведен был в деникинской белой армии в первый офицерский чин прапорщика.

Куракинский мир менялся не быстро. Многие боялись Таланцева по-прежнему и не хотели перечить, когда понемногу он стал опять прибирать все дела и выгоды к своим рукам. Становился он все важней и осанистей. Всегда чисто выбритый, плоскоскулый, он однажды на праздник пришел в белых перчатках. Было время: растопырит он обе свои пятерни — и денщик, подскочив, напяливает перчатки на его короткие и толстые пальцы. Может быть, еще и вернется это время, если вести себя с хитростью.

Идя по деревне, он уже держал некоторую дистанцию между собой и другими и строго глядел на каждого из-под своих негустых рыжеватых бровей — скинет или не скинет нахал шапку? Случилось раз даже, что он не сдержался и ударил по скуле мужика, пришед-

шего к нему с жалобой. Бил он больно, умело, по-фельдфебельски. Но поскольку он отсыпал мужику в извинение муки, постольку дело забылось.

Неизвестно откуда родились толки, что сражался Таланцев в офицерской белой армии. Быть может, тут не было знания, а только подозрение. Но толки эти особого ходу не имели. Их побеждали более серьезные разговоры. Говорилось, что за Таланцевым большая сила — не только в Куракине, но и по другим деревням и селам, и за Лисьей горой, и в Тотьме. Говорилось также, что всякому, кто ему друг, он поможет, а тому, кто пойдет против него, несдобровать. Если же спросить, например, старуху мать Коробицына, кем же говорилось все это, то она сразу замкнется, настороженно, как птица, скосит глаза и скажет поспешно и ласково:

— Посторонний народ, посторонний...

А если добиваться с упорством, то она прибавит:

— Такой хорошенькой заходил, с собачкой. А собачка все ладит за колесо хватить, — сынок мой дрова с лесу возил, младшенький сынок, Андрюша, он маленькой, худенькой был и беленькой, а стал большущий, матерой, корпусной, черноватенькой. Ловкой он очень...

И пойдет дальше в этом же роде про что-нибудь совсем не относящееся к делу.

Если же проверить у Андрея, то окажется, что он никакого хорошенького с собачкой и не видел, но о силе Таланцева от матери слышал. Старуха от испуга хитрила, как могла, — с детских лет прутом, палкой и кнутом обернулась к ней жизнь. И давно уже, смирившись, она ни про кого ничего худого не говорила. Все для нее: «Хороший народ, хороший народ».

Старый сапожник молчал, в первую очередь исполняя заказы Таланцева и его друзей, и Андрей уже не ждал от него никаких откровений.

Леса горят здесь нередко. Тогда едкий дым ест глаза прохожему и проезжему. Дымно, гарно становится по дорогам и тропам, как в черной избе. Трескается земля, горит торф, огромные обугленные стволы ложатся, как трупы великанов. Черно и жарко вокруг. Зверь бежит из лесов, птица летит прочь. В такое сухое, богатое пожарами лето побили Таланцева.

Таланцева, героя войны и прапорщика, темным августовским вечером стукнули за околицей поленом по голове. Он сразу упал, на лицо ему кинули тулуп и так избили, что другой, не такой крепкий, помер бы наверняка. Кто бил — неизвестно, не поймали никого. Тайну сохранили до времени свято.

Прапорщик Таланцев, царь и бог здешних мест, остался лежать один на земле, окровавленный, без памяти. На него наткнулся делопроизводитель Фефилов, известный самогонщик и пьяница, ходивший всегда с ножом за голенищем.

Вой жены Таланцева оповестил всю деревню об этом событии. Александр Коробицын откинул солдатскую шинель, под которой лежал вместе с женой на холодной печи, сел, и Андрей не столько увидел, сколько угадал в привычной тьме его знакомую спутанную бороду. Жена его вздохнула, шевельнулась, пробормотала в полусне непонятное, а потом тотчас же вскочила. Заревели ребятишки.

— До схода, значит, порешили, — сказал Александр Коробицын, словно знал, что́ такое случилось в деревне. И была в его голосе всегдашняя уверенная в себе солидность, которую уважал в нем Андрей очень.

Андрей выскочил на крыльцо. Как раз мимо избы мужики несли тело Таланцева. Следом за ними шла и выла жена. Андрей подбежал ближе. Он видел, как старик Таланцев подобрал бессильную руку сына и уложил ее на живот ему. Рука упала; он вновь ее подобрал, и она вновь упала. И в ночной мрак провалилось это шествие. Звенел только женский вой, на который разноголосым хором отвечали собаки.

Ночь, черная, теплая, безлунная, безветренная, обнимала землю. Только вдали, где таланцевская изба, тревожно мигает огонек и слышатся еще оттуда женские вопли. Андрей сидел на крыльце и курил цигарку. Он глядел в ночь, курил, и не было в нем никакой жалости.

Дождливым осенним утром Андрей Коробицын оставил родные места — пришла пора идти в армию.

Прощай, мамаша! Прощай, брат Александр! И Таланцев — тоже прощай! Нету тебе прежней власти!

Вместе со сверстниками-призывниками Андрей гулял,

как полагается, перед отходом. Вместе и пошли с котомками, вещевыми мешками, корзинками.

У Болгасова в руках — гармонь, с ней веселей месить грязь до самой Тотьмы босыми ногами (сапоги — за плечами).

Прощай, нерадостная Куракинская гора! Будет и тебе когда-нибудь счастье!

4

Пекконен был ингерманландец. Сын богатого лабазника, он сражался в Карелии в девятнадцатом году и тогда же обнаружил большие способности разведчика и стойкую ненависть к большевикам. Громадного роста, силач, отличный спортсмен, он не имел пощады к врагу. Ему случалось убивать людей простым ударом огромного своего кулака по черепу, и он ничего плохого не видел в этом. Он имел образование — кончил шестиклассное училище и специальное военное. Работал он с увлечением. Он был не только хорошим разведчиком, но и отличным вербовщиком, — у него был особый нюх на человека, и он имел верных людей в Советской стране.

В двадцать третьем, двадцать четвертом, двадцать пятом, двадцать шестом годах он не раз переходил границу, бывал в Ленинграде и не чувствовал себя одиноким в тылу у большевиков. Купцы, спекулянты, ресторанные растратчики, деревенские кулаки и торговцы, и мало ли еще кто — все эти с ним и за него. Еще хорош спрос на контрабанду, и можно найти помощников в тылу у большевиков. Но из года в год тень ложилась на все это, и это надо было учесть. Надо было учесть всю силу большевиков и вербовать в их учреждениях людей, вербовать, вербовать...

В этом, двадцать седьмом году Пекконен еще ни разу не переходил границы. Он был практический работник и в общеполитических вопросах послушно руководствовался указаниями начальства. Но и в политике ему приходилось разбираться, чтобы правильно выбирать людей, переправлять через советскую границу. Он видел, что граница укреплялась с каждым годом все сильней, люди на границе стали опытнее и злее, и он все чаще терпел неудачи, — одного за другим задерживали его агентов при

переброске через границу. Становилось трудней и трудней прокладывать дорогу крупным работникам, — разведчики слишком часто не возвращались. Расстановка постов все время менялась, и Пекконен напрягал свои способности, чтобы разгадывать диспозиции советских пограничников. Он готовил людей для считавшихся непроходимыми мест, но надо было выяснить, — может быть, эти непроходимые пути уже освоены советскими пограничниками? Он хотел сам двинуться на разведку. Но это было ему запрещено пока. Было сказано, что ему поручается ответственнейшая операция по переброске людей к юбилейным праздникам в Ленинград и что он назначается начальником террористической группы. Сообщение он получил весной. Предстоял серьезнейший экзамен. Доверие начальства взбодрило его.

Пекконен тотчас же все внимание сосредоточил на предстоящей ему труднейшей операции. Он заблаговременно принялся подготовлять ее. Он выбирал людей, обучал их, проверял. Вновь и вновь изучал весь наизусть ему известный участок границы, подолгу, лежа в кустах с биноклем, наблюдал за той стороной, следя за движением часовых, за сменами, ища дыр, в которые можно было бы, хотя бы только рот выставив из болота, проползти. Он пускал в эти дыры агентов, как зонд в рану, испытывая возможность перехода. В себе он был уверен — он-то пройдет! Но как переправить целую группу людей, да еще вооруженных?

Двадцать седьмой год угрожал Советской стране войной. Это был год разрыва с Англией и убийства Войкова, год диверсий и террористических покушений. Враждебные силы всего мира усиленно сговаривались, чтобы раздавить страну большевиков. Но большевики вели народ к пятилеткам. Страна жила накануне решающих побед.

Пограничные заставы и посты были, как всегда, форпостами, сдерживающими ненависть врага, принимающими первые удары. Каждый боец знал и чувствовал, что нарушители, диверсанты, террористы, шпионы несут войну. Каждый подтягивался по всем видам подготовки, и сон на посту стал небывалым явлением. Но суеты не было. Каждый спокойно выполнял свои обязанности, охраняя жизнь и строительство родной страны, работая и отдыхая в полную меру.

На границе был свой быт, но люди границы жили одними чувствами и мыслями с теми, кто шел к пятилеткам в тылу. Врага понимали ясно и ненавидели одинаково. Войны не боялись, но не хотели ее.

О Пекконене знали и комендант, и начальник заставы, и бойцы, как о главном своем враге на этом участке, опытном, сильном, умелом. Знали о Пекконене и по окрестным деревням, и крестьяне сами следили за каждым богатым мужиком, подозревая его в связи с ингерманландцем. Следили вообще за каждым сомнительным человеком, и незнакомцев, появлявшихся в тылу, тоже представляли на заставу, потому что и в тылу еще не разгромлен окончательно враг.

Пекконену приходилось трудно. Ему не удавалось связаться со своими людьми на советской стороне, и он имел далеко не достаточное представление о теперешнем положении на границе. Советские люди работали все лучше и лучше, — Пекконен явственно видел это по своим неудачам. И когда он слушал любовные и боевые песни бойцов, он злобно сжимал кулаки, потому что это ничего не обозначало, — пока они пели, другие сторожили границу. Потом эти будут петь, гулять, а те сторожить. Но Пекконен и не думал унывать. Его, профессионального диверсанта, трудности только возбуждали. Он не сомневался в успехе.

Он жил близ границы в лесной избе, просторной, теплой и светлой. Особых удобств он не любил — разбалуешься. Избу эту он называл, впрочем, дачей. При нем жила огромная овчарка по кличке «Тесу», он любил ее так же, как свой парабеллум, с которым никогда не расставался.

С большим опозданием вернулся, наконец, муж той женщины, которой Пекконен предлагал сманить Коробицына.

— Пять раз пытался — на шестой раз прошел, — объяснил он. — В отличную вьюгу — и то не удалось. Пробрался ночью по ледоходу. Лед ломается под ногой, сколько раз в полынью окунался, был мокрый снег, гадость... Не понимаю, как жив остался... Наш рыбак на берегу подсушил — и сразу я к вам.

Пекконен оставил его с женой и только на следующий день повел с ним подробный разговор.

Они сидели в светлой горнице на плетеных стульях, пили коньяк и беседовали. Особенно ценных сведений агент не привез.

Покончив с деловой информацией, Пекконен спросил:

— А вообще-то жизнь как?

Агент поморщился:

— Бьют торговцев налогами, вой идет. Кооперация, совхозы... Промышленность укрепилась... Все заводы дымят...

Вывода он не делал. Это был невысокий мужчина, темноволосый и темноглазый, с никогда не улыбающимся лицом, и две резкие черты у маленького рта его, как шрамы, стягивали кожу на его щеках. В сером свитере, без пиджака, он сидел, угрюмый и жесткий, и пил коньяк. Он был одним из разведчиков и работал также по контрабанде. В контрабандных делах он опытен. Был он из белых офицеров.

— Ваша жена должна сманить хоть одного часового, — сказал Пекконен.

Агент подумал.

— Пусть попробует, — отвечал он кратко.

— Ведь она — вологодская?

— Оттуда родом. Просила родную еловую ветку привезти ей. Я привез. Скучает. Но через границу я ее не пущу. Сам готов всегда — пожалуйста, а ее лучше не трогайте.

Последние слова он произнес угрожающим тоном.

— Для этого она и не годится, — отвечал Пекконен, усмехнувшись. — Сам не пущу. Каждого человека надо использовать по специальности. Попробую ее красоту. Нужно все шансы разыграть.

Пекконен ушел с биноклем и парабеллумом к границе, а его агент вновь улегся спать — на этот раз без жены, которая готовила обед на кухне.

Странно было думать агенту, что каких-нибудь два дня назад, в этот самый час, он сидел еще в Ленинграде, напряженный, в любой момент готовый к отпору и нападению. Он сидел в комнате, убранной коврами, и дядя, упитанный мужчина в ватном жилете и табачного цвета брюках, с зачесанными к затылку густыми волосами, насмешливо поглядывал на него.

К стр. 81

— Так, значит, как твоя научная командировка? — спрашивал он.

— Окончена, — отвечал племянник.

— Дипломную работу куда поедешь сдавать? — ироническим, естественным, видимо, для него тоном продолжал дядя. — Для этого предстоит еще экспедиция?

— Сегодня.

— Дрожишь, конечно?

Племянник ничего не ответил.

— Болото помогает при таких заболеваниях, — сказал вдруг дядя.

Ему, видимо, понравилось выражаться иносказательно. Было уже ясно, что он догадался.

— Болото сейчас не годится. Зима. Забыли?

— А я думал — лето, — все с той же насмешкой в голосе сказал дядя. — Спасибо, что напомнил, а то я только-только собрался за город по грибы. Хочешь яду для храбрости?

— На дорогу пить не люблю.

— А на что любишь пить? На деньги?

Острота была невыносима. Но всем тоном своим и выражением лица, полного, чисто выбритого, умного, дядя ставил огромную дистанцию между собой и пошлостью своих слов. Потом, тотчас же, он сократил эту дистанцию.

— Мне бы ничего не стоило арестовать тебя, — промолвил он. — Ты мне весьма подозрителен.

Племянник молчал.

Когда он подошел к подъезду широкого коренастого дома, в котором жил дядя, он не знал, чем кончится его риск. Но ему после очередной неудачи некуда было деваться. Дядю он берег на крайний случай, и этот случай пришел. Он знал, что дядя живет холостяком, но все-таки у него могли оказаться гости. Тогда он не назовет себя и уйдет, спросив для отговорки доктора, например, и вежливо извинившись за ошибку. Но дядя оказался один, и горничная, открывшая дверь, разговора слышать не может. Дядя служил инженером на одном из ленинградских заводов. Прежний владелец завода очень любил и ценил его. Большевики тоже, кажется, ценят, но относятся настороженно.

Молчание продолжалось долго.

Племянник соображал уже, как незаметно вынуть револьвер из кармана и наставить на дядю, когда тот сказал:

— Успокойся. Отправляйся в свою экспедицию. Я не знаю, в какой ты был научной командировке. Просто ты явился из провинции, лучше — из Азии, и мне в голову не пришло, кто ты такой на самом деле. И цени: далеко не всякий инженер поступил бы так гуманно, как я, даже и по отношению к племяннику. Времена теперь строгие, и так врываться к человеку, с которым ты много лет не видался, я тебе не рекомендую. Но ты просто обманул меня, поймал на родственных чувствах, и я поверил, что ты — научный работник.

Ночью прошел снег, быстро тающий на ветру.

В городе изобилие снега и зимой не слепит глаза. Снег, задержанный на лету, оседает на крышах и карнизах и только в провалах улиц и площадей ложится под ноги людей, грязно-черные пятна проступают тут сквозь его ослепительную белизну.

В ту ночь, по ломающемуся льду, агент прорвался через границу.

Он даже насморка не получил. Закаленный своей работой, он никогда не болел. Здоровый, привычный к любой опасности, он, может быть, заболел бы только тогда, когда его убрали бы с этой работы. Он был, как и Пекконен, профессионал и дело свое любил. В тех целях, которые он преследовал, он, как и Пекконен, сомнений не знал. В деникинской армии он был незаменим при допросах. Мысль Пекконена относительно его жены не очень понравилась ему. Но если это полезно для дела, — пусть будет совершена эта попытка.

5

Коробицын проснулся и тотчас же вскочил, поспешно хватая и натягивая сапоги, как при тревоге. Ему привиделось, что он задержал Таланцева и ведет его на заставу. Но никакого Таланцева не было. Храпел Козуков, присвистывал Власов, сопел Еремин — все, как Коробицын, с ночной смены. Остальные четыре койки чисто прибраны: их хозяева провели ночь на заставе. И так всегда

во всех комнатах: на одних койках спят, другие прибраны уже. Внизу в полукилометре отсюда, строится новый дом. Там будет еще веселей.

В распахнутые окна обширной, на восемь коек, комнаты старого, в щелях, дома заставы врывались запахи трав, цветов, смолы, птичий гомон, человечьи звонкие голоса. Невозможно спать в такое прелестное утро.

Под окнами знакомый голос Лисиченко внушал кому-то:

— Боец должен и пешим и конником быть всегда ко всему готовым. А для того и газету полезно почитать. В положенный час спи, отдыхай и гуляй, — а газетку все-таки не забудь. В газете про весь мир узнаешь. Слышал, что́ вчера товарищ комендант и товарищ начальник заставы рассказывали про международное положение? Международное положение — оно у нас вот тут, рядышком, оно к нам через границу рвется. При таком основании начинаешь оценивать события горячей. Подымался ты рано, а в ленинский уголок не зайдешь. Силком я тебя не потащу, только каждый гражданин сейчас становится сам интересующимся, решающим свою судьбу.

— А вот, товарищ начальник отделения, хотел я вас спросить про Китай...

— Вот пойдем на беседу, потолкуем, вместе газету прочтем, — отвечал Лисиченко, и голос его стал удаляться. — Мы к грамоте с революцией пришли, загоняли нас в невежество и необразованность, так уж теперь учись и учись, чтоб врагу отпор дать. Большие события идут в мире. Нам все знать надо. Мы — граница. Чужой мир — вот он, рядышком...

Голос стих.

Донеслась команда из второго отделения:

— На пле-чо!

Несколько свободных часов впереди у Коробицына. Можно погулять. Упреков Лисиченко Коробицын на свой счет не отнес: он читал и газеты и книжки и во все любил вдумываться. Погуляет и пойдет в ленинский уголок. Отдых помогает работе.

Граница уже с весны жила в войне — непрестанной и тайной. Враг нападал, выискивая слабые пункты, плохо защищенные места. Враг нападал настойчиво и упрямо, пытаясь прорваться в тыл. Бойцы ожесточались и зака-

лялись в постоянных тревогах и уже бранили всякого, кто пустит остроту, вроде: «Кончу службу — лесником стану, ель от сосны различать научился».

Ежедневное учение приобрело тот практический смысл, который на учебном пункте еще не всем был ясен.

Враг нападал. Советская граница, усиливая охрану, оборонялась.

Коробицын, проходя мимо пирамиды, заметил, что винтовки Бичугина нет. Значит, он на стрельбище или в наряде. А очень хочется погулять с ним вместе.

Среди новичков Бичугин уже имел задержание. Он задержал разведчика, шедшего к первомайским праздникам. Имели задержание и Новиков, и Козуков, и Шорников, и другие. Но у Коробицына, как и у большинства бойцов, задержаний не было. Один только раз, в самую смену, он заметил пришедшую с того берега на наш луг корову и пригнал ее на заставу. Корову передали обратно, совершив все полагающиеся при этом процедуры.

Волновали Коробицына мечты о Зине. Ночью, когда взошла луна, опять выходила к берегу девица, та самая, которая уже несколько раз улыбалась ему с той, не нашей стороны. Она приманивала его и глазами, и пальцами, и шепотом, и он опять рапортовал о ней начальнику заставы. Теперь носила она красный ситцевый сарафан, а голову покрывала косыночкой. От нее жарко становилось, и руки крепче обычного сжимали винтовку, а зрение и слух напрягались.

— Гадюка, — жаловался он товарищам. — Шепчет все, что вологодская...

И написал о ней Зине.

Но совсем не думать о ней не мог.

И сейчас она ворвалась в его отдых.

— Гадюка, — бормотал он, — из родни таланцевой, что ли? Черт ее поймет...

Его потянуло в лес: там мечтается просторней. Он не сразу заметил, что сын начальника заставы побежал за ним.

Мальчик привязался к Коробицыну с той минуты, как увидел его высоко на деревьях. Коробицын беседовал с мальчиком всегда солидно, как с равным себе взрослым человеком. Они гуляли важно и серьезно, как два товарища, и Коробицын обучал мальчика всему, чему обу-

чался сам. Показывал он ему и винтовку, учил разбирать ее, чистить, но на охоту с собой не брал, — тут равенство нарушалось. Мало ли что может случиться на охоте, — это не для маленьких.

Когда Коробицын починял крышу или ограду или вообще выстругивал, выпиливал что-нибудь, мальчик всегда был с ним и выполнял все его поручения с энтузиазмом, крича на весь двор: «Дяде Коробицыну топорик! Дяде Коробицыну... Что тебе нужно, дядя Андрюша? Я забыл!»

Мальчик, чувствуя, что всегдашний спутник его в лесных прогулках не склонен сегодня к длинным разговорам, играл сам с собой и сам с собой разговаривал. Коробицын шел тихо, поглядывая на мальчика, но думал о своем, сдвинув в напряжении свои густые черные брови. Брат Александр, Таланцев, Зина, девица в красном сарафане — все мешалось в его голове. Наконец он присел к дереву, притянул к себе мальчика, чтоб тот не убежал, и сам не заметил, как заснул. И мальчик, склонив голову ему на колени, тоже заснул.

К часу дня жена начальника заставы хватилась, что мальчика нет.

Муж не спал две ночи подряд, совершая очередное обследование участка вместе с комендантом. Истомленный, он прилег вздремнуть. Жена заглянула к нему в комнату, но мальчика там не нашла. Она пошла по всем комнатам общежития, но никто из бойцов не видел мальчика. Повар тоже ничего не мог сказать.

Жена начальника заставы, смуглая, тихая женщина, привыкшая к опасностям пограничной жизни, на этот раз взволновалась. Когда муж долго не возвращался с операции, она успокаивала себя работой. Дел у нее было много. Но куда мог пропасть мальчик? Если он ушел с Коробицыным, то почему же так долго они не возвращаются? Коробицын, как ей рассказывал повар, завтракал в десять часов утра и сразу пошел. Увязался ли с ним мальчик, повар не видел. Но Коробицын так долго с мальчиком никогда не гулял.

И тут ей припомнился случай, рассказанный однажды мужем. Она забыла, где и когда произошло это. Она еще подумала тогда, что муж нарочно пугает ее, чтоб она осторожней была с сыном на границе, внимательней

следила за ним. Муж рассказал такой случай: маленький мальчик купался в пограничной реке в разрешенном месте, и его утянуло течением на ту сторону, за границу. Он стал тонуть, звать на помощь, а наш часовой не знает, что делать: нарушить границу нельзя — конфликт будет немедленный, отношения были с сопредельным государством напряженные. А вражеские часовые с того берега смотрят, как тонет мальчик, смеются, спасать и не думают. Пока наш часовой дал сигнал, поднял тревогу, мальчик утонул. Наверное, это выдумано. Но женщина верила сейчас, что рассказ от начала до конца правдив. Она решила объездить все окрестности в поисках сына и уже пошла седлать коня, когда услышала знакомый звонкий голос.

Сразу явились успокоение и радость.

Сконфуженный Коробицын спустил мальчика с плеч.

— Извиняюсь, Наталья Кирилловна, — говорил он. — Я как в ночной смене был, сразу пошел, ну и заснул...

— Как же так можно! — сказала женщина, забирая сына и улыбкой смягчая строгость своих слов.

Тот отбивался от нее:

— Погоди, мама! Да погоди же!

И настойчиво повторял странные слова:

По лесам несутся скачья,
Птичья по ветвям сидят...

— Это я сочинил! Я!..

В этот день отличился Болгасов. Он был в утренней смене. Нарушитель поднялся перед ним во весь рост и пригрозил:

— За мной еще семнадцать идут!

— А хоть бы и все сто семнадцать! — отвечал Болгасов и уложил нарушителя наземь.

Оружие применять не понадобилось. Болгасов дал тревогу, отправил нарушителя на заставу и остался с товарищами ждать остальных семнадцать.

Начальник заставы благодарил его и объяснил, что своими семнадцатью нарушитель хотел напугать его.

Подвиг свой Болгасов совершил на том самом посту, на котором сменил Коробицына, спустя каких-нибудь полчаса после смены. Коробицыну явно не везло.

Болгасов, впрочем, и до того обнаруживал в лесной науке немалое остроумие. Нашел он раз, например, дырявое ведро и привесил его в проходе меж рядами колючей проволоки, там, где граница отходила от речушки. Не прошло и пяти ночей, как зазвенело в лесу, и подбежавший часовой нашел заграничного человека, лежавшего ничком почти в беспамятстве от страха. Неожиданный звон так напугал его, готового в крайнем напряжении ко всему, кроме этого непонятного колокола, что он упал чуть ли не в обморок.

Болгасов не дрался, но вид имел такой страшный, что нарушитель ложился немедленно. Занимался он с таким упорством, что видно было: готовит себя человек на большие дела.

Слушая о подвиге Болгасова, Коробицын смотрел на земляка с неожиданным для себя уважением. Коробицын привык и в деревне, и на учебном пункте, и здесь, на заставе, к Болгасову относиться покровительственно, поучать его, — он действительно и гораздо грамотней и понятливей своего земляка и товарища. Теперь оказывалось, что Болгасов, хоть и малограмотный, собой готов пожертвовать ради дела охраны границы, не задумываясь. Как не распознал его еще в деревне Коробицын!

Утром к семи часам Коробицын вышел на береговой пост. Утро было сырое, мокрое: ночью прошел дождь. Росистый туман еще не сошел с берегов. Прозрачной дымкой он стлался над высокими, сочными, еще не скошенными травами, медленно поднимаясь кверху и рассеиваясь. И опять встала на том берегу девица в красном сарафане. Рукава ее закатаны чуть ли не до плеч, шея — голая. Непристойная девка. Коробицын глядел мимо нее. Лицо его было неподвижно. Исключив женский голос, он вслушивался в шелесты и шорохи влажного росистого утра. Явственно распознав шуршание, он и виду не подал, что учуял врага. Он даже стал косить глазом на девицу, словно только ею и занят. А когда шорох прошел в тыл, он вдруг повернулся в том направлении, преграждая нарушителю путь обратно, и в голосе его была болгасовская злоба, когда он окликнул:

— Стой! Стрелять буду!

Женщина бросилась в испуге к лесу, — ее бег понял Коробицын, не оборачиваясь к ней.

Через минуту Коробицын сдал Лисиченке бритого человека в косоворотке и высоких мужицких сапогах.

Нарушитель, подняв руки кверху, молча, исподлобья глядел на красноармейца злыми рыжими глазами.

Так Пекконен потерял еще одного разведчика.

А за Коробицыным было отмечено первое задержание, и начальник заставы благодарил его.

6

Коробицын мечтал теперь только о том, что будет. То представлялось ему, как останется он на сверхсрочной, сдаст на командира и, женившись на Зине, будет работать с ней на границе.

То он воображал, как после службы вернется он в Куракино поворачивать жизнь по-новому. Хотелось и того и другого. Но согласится ли Зина ради него оставить свой сельсовет? Может быть, ему жить в ее деревне? И это неплохо. Граница, Куракино, Зинина деревня — все теперь окончательно соединилось в мыслях Коробицына. Везде одна борьба. Коробицын мечтами своими устремлен был в будущее.

К осени Коробицын задержал еще двух разведчиков Пекконена. Он был послан в секрет, в тот пункт, который еще два года назад считался непроходимым. Неопытного человека тут действительно легко могла засосать трясина.

Коробицын, тщательно замаскировавшись, таился среди болотных кочек. Часов в одиннадцать вечера должна была взойти луна. А пока — темно. Вдруг он почуял плеск, но не шелохнулся, выждал и увидел промелькнувший плащ. Плеск был почти неслышный, — легко ступает человек. А потом снова плеснуло, но уже сильней, — значит, идет второй, в тяжелых, должно быть, ботинках. Коробицын пополз за ними, окликнул, испугал, остановил, дал тревогу. И пес Фриц, огромный, злой, страшный, встал уже над нарушителями. Проводником при Фрице был один из старых пограничников — Матюшин.

В один из октябрьских дней Коробицын и Бичугин сидели в тускнеющем саду при заставе на лавке, постав-

ленной Коробицыным, и беседовали, как это часто случалось у них в свободный час.

— Я понимаю, — говорил Коробицын, — что мы худо жили раньше, а теперь нам свобода пришла. Я это понимаю. Только ведь и на той стороне, да и везде по миру люди живут худо. Ведь сами видим: перебегают, жалуются. За что же они терпят? Почему не сговорятся? И им хорошо, и нам помощь. Так я это понимаю.

— А у себя в Куракине ты что понимал? — спросил Бичугин.

— У себя в Куракине я мало понимал, — отвечал Коробицын.

— То-то, что мало. А ты думаешь, они, заграничные, всё должны понимать?

— Нет, — отвечал Коробицын, — они, видно, темные еще.

— Причин тут много есть, — продолжал Бичугин. — Только я тебе скажу, что главное: большевистская партия у них не сильна еще. Тебя из черной избы кто вынул и человеком сделал? Большевики. А меня? Тоже большевики. И вот весь наш народ так, кроме, конечно, враждебных элементов — кулаков там, нэпманов и прочих. Тем пусть все хуже и хуже будет. Мы у себя строим социализм, так? А получается, что это мы не только себе в помощь делаем, а и заграницу обучаем, этим самым мы им на помощь идем. Понятно? Мы им показываем, как надо бороться, что надо делать. А каждый народ волен свою судьбу определить. Нарушителей мы задерживаем, — этим мы свою родину обеспечиваем, мирное строительство наше, но и заграничным беднякам помогаем. Нас бы не было — надежды люди лишились бы. Так?

— Это я понимаю, — отвечал Коробицын. — А вот брат мой Александр — так, я думаю, недопонимает себя.

— А ты ему разъясняй, — предложил Бичугин. — Каждый каждому должен быть в помощь. Землякам своим — Болгасову да Власову — ты помогаешь? Вот и брату помоги.

— Он меня не послушает, — отвечал Андрей. — Он — старшой.

Они помолчали.

Через минуту Коробицын сдал Лисиченке бритого человека в косоворотке и высоких мужицких сапогах.

Нарушитель, подняв руки кверху, молча, исподлобья глядел на красноармейца злыми рыжими глазами.

Так Пекконен потерял еще одного разведчика.

А за Коробицыным было отмечено первое задержание, и начальник заставы благодарил его.

6

Коробицын мечтал теперь только о том, что будет. То представлялось ему, как останется он на сверхсрочной, сдаст на командира и, женившись на Зине, будет работать с ней на границе.

То он воображал, как после службы вернется он в Куракино поворачивать жизнь по-новому. Хотелось и того и другого. Но согласится ли Зина ради него оставить свой сельсовет? Может быть, ему жить в ее деревне? И это неплохо. Граница, Куракино, Зинина деревня — все теперь окончательно соединилось в мыслях Коробицына. Везде одна борьба. Коробицын мечтами своими устремлен был в будущее.

К осени Коробицын задержал еще двух разведчиков Пекконена. Он был послан в секрет, в тот пункт, который еще два года назад считался непроходимым. Неопытного человека тут действительно легко могла засосать трясина.

Коробицын, тщательно замаскировавшись, таился среди болотных кочек. Часов в одиннадцать вечера должна была взойти луна. А пока — темно. Вдруг он почуял плеск, но не шелохнулся, выждал и увидел промелькнувший плащ. Плеск был почти неслышный, — легко ступает человек. А потом снова плеснуло, но уже сильней, — значит, идет второй, в тяжелых, должно быть, ботинках. Коробицын пополз за ними, окликнул, испугал, остановил, дал тревогу. И пес Фриц, огромный, злой, страшный, встал уже над нарушителями. Проводником при Фрице был один из старых пограничников — Матюшин.

В один из октябрьских дней Коробицын и Бичугин сидели в тускнеющем саду при заставе на лавке, постав-

мечной Коробицыным, и беседовали, как это часто случалось у них в свободный час.

— Я понимаю, — говорил Коробицын, — что мы худо жили раньше, а теперь нам свобода пришла. Я это понимаю. Только ведь и на той стороне, да и везде по миру люди живут худо. Ведь сами видим: перебегают, жалуются. За что же они терпят? Почему не сговорятся? И им хорошо, и нам помощь. Так я это понимаю.

— А у себя в Куракине ты что понимал? — спросил Бичугин.

— У себя в Куракине я мало понимал, — отвечал Коробицын.

— То-то, что мало. А ты думаешь, они, заграничные, всё должны понимать?

— Нет, — отвечал Коробицын, — они, видно, темные еще.

— Причин тут много есть, — продолжал Бичугин. — Только я тебе скажу, что главное: большевистская партия у них не сильна еще. Тебя из черной избы кто вынул и человеком сделал? Большевики. А меня? Тоже большевики. И вот весь наш народ так, кроме, конечно, враждебных элементов — кулаков там, нэпманов и прочих. Тем пусть все хуже и хуже будет. Мы у себя строим социализм, так? А получается, что это мы не только себе в помощь делаем, а и заграницу обучаем, этим самым мы им на помощь идем. Понятно? Мы им показываем, как надо бороться, что надо делать. А каждый народ волен свою судьбу определить. Нарушителей мы задерживаем, — этим мы свою родину обеспечиваем, мирное строительство наше, но и заграничным беднякам помогаем. Нас бы не было — надежды люди лишились бы. Так?

— Это я понимаю, — отвечал Коробицын. — А вот брат мой Александр — так, я думаю, недопонимает себя.

— А ты ему разъясняй, — предложил Бичугин. — Каждый каждому должен быть в помощь. Землякам своим — Болгасову да Власову — ты помогаешь? Вот и брату помоги.

— Он меня не послушает, — отвечал Андрей. — Он — старшой.

Они помолчали.

— Да, я тогда в Куракине много недопонимал, это правда, — промолвил Андрей. — Темная у нас деревня, и народ темный. Теперь знаю... Обучился...

И вдруг они услышали отдаленный выстрел.

Тотчас же раздалась команда на тревогу:

— В ружье!

Со всех сторон бросились бойцы к винтовкам, на ходу туго стягивая поясами гимнастерки. Вмиг опустела пирамида.

Коробицын мчался к назначенному ему посту.

Стрельба на том берегу началась неожиданно. На советскую сторону пули не ложились. Стреляли с того берега в тыл сопредельной стороны. Может быть, перебежчиков задержали? Убьют, и трупы перекинут на советский берег.

Стреляли и в тыл той стороны и вдоль реки. Никогда еще не бывало такого.

Перестрелка не прекратилась и к тому времени, как прискакал комендант, низкорослый, с круглым туловищем полнолицый человек, у которого, когда он снимал фуражку, сразу вставали волосы на голове.

Если начальник заставы наизусть знал каждую травку на своем небольшом участке, то комендант держал в своей круглой голове обширный кусок протяжением в несколько десятков километров.

Стрельба не вызвала на берег никого из таившихся в секретах бойцов. Советский берег был тих и спокоен. И тогда выстрелы прекратились.

— На основании практической работы скажу, что это — Пекконен,— промолвил начальник заставы.— Большой наглец.

— Провокация, — кратко отвечал комендант. — Хотели внести замешательство, приманить неумного бойца, опять внимание отвлечь...

— Еще такой момент, что у нас новички, — добавил начальник заставы.

— Расчет на нервность, — отвечал комендант. — После смены я проведу с бойцами беседу.

Они пошли вверх на холм по извилистой тропе. Зеленый, тонконогий, похожий на кузнечика, начальник заставы с трудом применял свой шаг к короткому шагу шедшего впереди коменданта.

— За грибами все лето хотел, — сказал комендант, — да куда тут до грибов! Уж и подосиновики сошли...

— А мои бойцы ходили, — отозвался начальник заставы, — и по грибы и по ягоды. Есть у меня боец Коробицын...

— Знаю, знаю.

— ...вот он любитель грибы и ягоды собирать. Раз полное ведро морошки принес. Всю заставу кормил. Сынишку моего приучил тоже.

Они говорили о мирных делах, но в каждой кровинке их жила настороженность. Разбор операции врага еще предстоял, и они не торопились высказывать окончательные свои соображения и планы по этому поводу. Комендант готовил в уме своем срочный рапорт в штаб отряда. Он задел головой за ветку, фуражка свалилась, и волосы тотчас же дыбом встали на его голове.

Желтые и красные сухие листья шуршали под ногой. Земля оголялась, оголялись кусты и деревья, только ели большими и яркими зелеными пятнами торжествовали в коричневато-золотистой дымке свернувшихся, но еще не опавших листьев, продолжали лето в печальном осеннем лесу.

Вернувшись со смен, бойцы обсуждали событие.

— Это они к юбилейным праздникам готовятся, — говорил Лисиченко, идя с другими на беседу в ленинский уголок. — Мы по-своему, а они по-своему. Теперь бдительность надо хранить — во! К Ленинграду рваться по нашей границе нашей будут. Ложи наземь всякого. Ври не ври, а ты есть нарушитель, раз границу перешел. Это **на помнить надо.**

При первых заморозках Ленинград уже готовился отмечать десятилетие советской власти. Юбилейная сессия ЦИКа созывалась в городе Ленина, в городе, в котором родилась советская власть. Ленинград украшался, строились трибуны, готовилась небывалая иллюминация. Вожди партии и правительства приедут в Ленинград на юбилейные дни. Город жил возбужденно. По заводам и фабрикам повсеместно готовили в подарок стране новые достижения.

Для границы это означало усиление охраны, бессонные ночи, напряжение и зоркость. Каждый, соревнуясь с товарищами, помнил: «Границу — на замок».

Из штаба отряда, из управления наезжали чаще обычного, обследуя, проверяя, инструктируя. Граница жила в войне, непрестанной и тайной.

Диаграмма на стене в ленинском уголке демонстрировала наглядно успехи бойцов. Общие показатели были хорошие.

— А ведь знаешь, — разглядывая диаграмму, сказал Коробицын, — может, на самый опасный пост в самый юбилейный день пошлют?

Бичугин не возразил, — не хотел разочаровывать товарища. Этой чести добивались все, но все-таки, думалось Бичугину, опыта для этого надо иметь больше, чем у Коробицына. По трудным пунктам станут старые пограничники. Молодежь — вряд ли.

Целая сеть тайн раскидывалась по лесам и болотам сверх тех, что уже имелись.

Пекконен понимал, что пришел срок, когда решительными действиями надо выудить у советских пограничников новые тайны охраны тихого советского берега. От этого зависит успех операции, самой ответственной из всех, которые когда-либо поручались ему.

7

Зина писала Коробицыну, что торопиться с решением нет причин. Времени впереди еще много, чтобы обдумать, жить ли им на границе, если Андрей останется на сверхсрочной, или поворачивать жизнь в деревне. Сама же она границы не боится. А любит она его по-прежнему и просит срочно сообщить — любит ли ее по-прежнему и Андрей.

Письмо Коробицын получил к вечеру и ответить решил завтра после смены.

Назавтра, 21 октября, в четыре часа утра он получил инструкцию от начальника заставы — двигаться по границе от 215-го пограничного столба до 213-го и обратно. Он не должен был маскироваться, он должен был идти открыто, демонстрируя спокойствие советской границы, охраняя тайны лесов и болот. Для нарушителей заготовлено достаточно сюрпризов в глубине леса.

Обход Коробицына начинался с полуразрушенного сарая, гнившего на берегу Хойка-йоки. Стог сена желтел невдалеке от этой дырявой постройки.

В желтом сумраке Коробицын шагал по дозорной тропе, не сводя глаз с той стороны, но держа винтовку дулом к тылу. Инеем была подернута земля. Утренняя осенняя свежесть холодила щеки, и несильный ветер гулял по опушке леса, чуть колебля ветви и наземь бросая последние, еще цеплявшиеся за жизнь листья.

В шесть часов начальник заставы проверил Коробицына и остался доволен: Коробицын выполнял задачу добросовестно. Начальнику заставы подумалось, что Коробицын никогда еще не заявлял никаких жалоб. На обычные вопросы перед инструктажем и посылкой в наряд — здоров ли? хорошо ли отдохнул? — он всегда отвечал утвердительно: «Здоров, товарищ начальник заставы. Отдохнул хорошо». И при осмотре оружия все у него всегда оказывалось в порядке. Задержания производил храбро. Но начальник заставы все еще не спешил с окончательным мнением о каждом из бойцов. Окончательных мнений, впрочем, он вообще не любил. Окончательное мнение — точка, конец, а человек развивается живет, изменяется.

Медленно яснело утро. День устанавливался сухой, ясный, и стих ветер. Коробицын ходил дозорным уже шестой час, но ничего подозрительного не увидел и не услышал. Совсем посветлело, когда он, пройдя березу, выступившую из лесу к самому почти берегу, пропустив кусты, приближался, в который уже раз, к черневшему одиноко сараю с тем, чтобы вновь повернуть отсюда обратно.

Вдруг он увидел прямо навстречу ему вставших людей. Один был громадного роста, на голову выше Коробицына, с сумкой через плечо, и в руке его был парабеллум, наставленный прямо на Коробицына. Другой, невысокий, черный, с двумя как бы шрамами на щеках, пошел на Коробицына справа. Третий выскочил слева, из-за сарая. И три дула глядели на Коробицына.

— Сдавайся! — не крикнул, а сказал громадный мужчина, и была в его голосе большая сила. — Сдавайся — или убьем!

Никогда еще не был Коробицын в такой опасности, как сейчас.

Все такое привычное — дырявый сарай, стог сена, Хойка-йоки — вмиг стало чужим, незнакомым, враждебным. Смертоносным воздухом войны пахнуло в лицо Коробицыну, и жарко ему стало в это холодное осеннее утро.

С отчаянной силой сопротивления он вскинул винтовку к плечу, выстрелил, но винтовка шатнулась, потому что сзади его вдруг ударило по ноге. Он не видел, как из-за кустов подобрался к нему сзади четвертый человек, одетый не по-летнему, как стоявший перед Коробицыным не признающий холода Пекконен. Четвертый был в овчинном тулупе и зимней серой кепке.

Коробицын упал на колено и выстрелил еще раз. Три пули впились в его тело, и он упал наземь. Он не чувствовал боли. Необычайное возбуждение захлестывало его. Решалась жизнь. Лежа на земле, не выпуская винтовки из рук, он всхлипнул и с земли прицелился в громадного мужчину, которого сразу же признал вожаком. На остальных, жаливших его, он и не глядел. В ногах было мокро, кровь.

Его окружали.

Его окружали, чтобы уволочь на тот берег.

Коробицын выстрелил и вскрикнул радостно, увидев, что вожак пошатнулся и упал. Он выстрелил еще раз, и еще, и уже услышал, что бегут товарищи ему на помощь. Он пустил еще пулю вслед врагам.

— Я вам! — крикнул он в невыразимой злобе и радости, и туман застлал ему зрение.

Дело длилось несколько секунд. Но когда прибежала подмога, трое мужчин уже несли четвертого через речушку. Задержать их было невозможно: пуля ляжет на ту сторону.

Коробицын очнулся на бугре в лесу. Его донес сюда красноармеец Шорников. Увидев себя в кругу знакомых лиц, он ощутил такую радость, какой никогда еще не испытывал. Все было привычное и родное вокруг — земля, осенний лес и люди, товарищи.

— Как вышло? — спросил он возбужденно.

— Вышло хорошо, — отвечал начальник заставы, уже прискакавший сюда. — Задание вы выполнили, врага отбросили, товарищ Коробицын.

— Сволочи, — сказал Коробицын. Слова рвались из него, как никогда. Он, обычно молчаливый, был сейчас не похож на себя. — Трое их...

— Четверо их было, — поправил начальник заставы.

— Ну, я одного ссадил. Попомнят.

Возбуждение не проходило. Он не сомневался, что раны у него легкие. И все снова и снова он радовался родной земле, родному воздуху, родным лицам. Все здесь обещало жизнь и счастье.

Подскакал комендант с лекпомом.

Продели палки в рукава шинели и на эти самодельные носилки положили Коробицына.

Он не застонал, но лицо его дрогнуло, и черные брови сдвинулись в напряжении.

— Болит? — спросил начальник заставы, склонившись над ним.

— Ногу больно, — отвечал Коробицын.

— Ничего. Пройдет.

Нога в подъеме горела и ныла.

— Одного я ссадил, — повторял в непрекращавшемся возбуждении Коробицын, пока его несли к заставе. — Оправлюсь — узнают еще меня. Покажу я им, как к нам лазить!

И этот момент, когда он бился против четверых, казался ему самым радостным в его жизни, словно он впервые по-настоящему узнал себя в полной мере.

На заставе уже ждала докторша из соседней больницы.

Докторша спокойно и внимательно осмотрела его. Три раны в ноге она не признала опасными, только в подъеме ноги пуля застряла.

Коробицын не стонал и при осмотре, выдерживая боль с неожиданной легкостью. Только попросил:

— Пулю-то выньте. Не хочу ихней пули в себе.

О четвертой ране докторша ничего не сказала Коробицыну. Четвертая рана была в живот.

— Надо отправить в Ленинград, — сказала она. —В центральный красноармейский госпиталь.

И, отведя начальника заставы в сторону, прибавила тихо — так, чтобы Коробицын не слышал:

— Сегодня же отправить надо. С первым поездом.

Она сделала укол, и запахло как будто спиртом.

— Вот давно не пил, — засмеялся Коробицын. — Вот хорошо!

Он лежал на своей койке, куда сразу, как принесли, положили его, и за окном слышалась ему родная жизнь заставы. И когда он узнал, что лежать ему не в деревенской больнице, где его навещали бы товарищи, а в Ленинграде, он взмолился:

— Разрешите, товарищ докторша, возьмите к себе. Куда мне так далеко?.. Рана-то легкая...

— Зато Ленинград увидите, — утешала докторша. — Октябрьские праздники там увидите.

— А сколько дней лежать-то там? Неделю? Больше?

Ему все не верилось, что привычная жизнь его на заставе прервана. Ему казалось, что вот он встанет и пойдет сейчас. Неужели враг, сволочь, так сильно саданул?

К крыльцу уже подкатила рессорная тележка, и начальник заставы вышел поинтересоваться, откуда это.

— Из деревни крестьяне прислали, — важно отвечал безбородый, но очень серьезный финн. — Я больного на станцию повезу.

Начальник заставы поблагодарил, — он только собирался еще посылать в деревню за телегой.

Положили много соломы, чтобы мягче было ехать, и уложили Коробицына в тележку. Лекпом присел сбоку. Коробицын прощался со всеми, кто окружал его. Вдруг он взволновался:

— А не смеется кто, что я отбросил, да не задержал? Что Болгасов говорит? А Бичугин?

Болгасов и Бичугин — оба были в наряде. Но за них ответил начальник заставы:

— Гордятся тобой бойцы, товарищ Коробицын.

— Винтовку мою передайте Бичугину, — успокоенно сказал Коробицын. — Пусть бережет. Скоро вернусь. Покажу им еще, как к нам лазить!

Начальник заставы был так же, как и Коробицын, уверен, что тот поправится, хотя он знал о ране в живот. Начальник заставы видел эту рану — маленькая дырочка и немного крови.

Через четыре дня начальник заставы, получив отпуск до четырех часов, ранним утром отправился в Ленинград навестить Коробицына. Праздничный вид города взбодрил его. Он зашел в гастрономический магазин и купил

Коробицыну винограду и сладостей. Затем сел в трамвай и поехал к раненому, заранее предвкушая, какой это будет скучающему, должно быть, красноармейцу приятный сюрприз.

В вестибюле, просторном и пустом, дежурная сестра строго сказала ему:

— Прием с четырех. Сейчас к больным нельзя.

Но так как она тотчас же и ушла куда-то, он спокойно прошел к раздевалке и, увидев брошенный кем-то на стул халат, снял хладнокровно, как имеющий право, шинель, повесил ее, надел халат и в этой защитной одежде направился в палаты. А если человек в халате, то тут уже никто такого не остановит.

Он путался по коридорам, спрашивая, где тут хирургическое отделение. В руках он крепко держал кулек с виноградом и корзиночку со сладостями, красиво завязанную голубой ленточкой.

Подойдя к операционной, он увидел, как пронесли оттуда кого-то, с головой накрытого простыней.

Больниц и госпиталей он не любил. Его начинало уже мутить от этих запахов. Он остановился у хирургического кабинета. Здесь он ждал кого-нибудь, чтобы навести справки. Когда вышла, наконец, сестра, он обратился к ней:

— Тут к вам доставлен раненый пограничник...

— Коробицын? — торопливо перебила сестра. — Он сейчас умер после операции. У него был перитонит. Очень тяжелое ранение.

И, взглянув в лицо ему, осведомилась уже не так поспешно:

— А вы кто ему будете? Товарищ? Или родственник?

Начальник заставы никогда потом не мог вспомнить, как это он ехал обратно. Но на границу он вернулся вовремя.

У крыльца, когда он сошел с коня, ждавшего его на станции, нетерпеливо и недовольно подбежал к нему сын.

— А где дядя Андрюша? — спросил он строго. — Ты же обещал привезти его.

Начальник заставы тут только, в приучающей к вниманию обстановке, заметил, что нет при нем ни винограда, ни сладостей, — потерял где-то. Ничего не ответив

мальчику, он прошел в ленинский уголок, где Лисиченко вел занятия, и сказал:

— Умер наш Коробицын, товарищи. Скончался от ран.

Была одержана важная победа: Коробицын вывел из строя Пекконена, опаснейшего врага. План переброски террористической группы к юбилейным праздникам в Ленинграде был сорван.

Еще до того, как застава, на которой служил Коробицын, была названа его именем, до того, как имя Коробицына стало знаменитым у пограничников, почта доставила на заставу в одно тихое зимнее утро письмо красноармейцу Андрею Ивановичу Коробицыну.

Все имущество Коробицына было отправлено его родным в Куракино вместе с подробным сообщением о его подвиге и назначением пенсии матери. Родные горевали в Куракине, писали в отряд, но это письмо было не от них. На этом синем, простой бумаги, конверте стоял не куракинский штемпель.

Это было письмо от Зины. Начиналось оно так:

«Андрюшенька, милый мой, что так долго не пишешь? У меня сердце болит — не случилось ли что с тобой? Или разлюбил ты меня?..»

Как и на предыдущих письмах, адреса своего Зина не обозначила. Адрес ее знал один только Андрей Коробицын.

1937

ПОВЕСТЬ О ЛЕВИНЭ

1

Приказ главнокомандующего баварской Красной армией Рудольфа Эгльгофера непонятен и неожидан, но революционная дисциплина обязывала к подчинению. Странно все-таки, что не далее как сегодня утром батальоны оповещены были о предстоящем наступлении. Армия ответила восторженной готовностью. Казалось, победа ждет красноармейцев, как при Аллахе и Карльсфельде. И вот вместо атаки — погрузка в эшелоны и возвращение в Мюнхен. Почему? Что такое случилось? Объяснялось это решающим поражением у Штарнберга. Но, кажется, и сами члены штаба ничего толком не знали.

Все устремились в Мюнхен — на поездах, на грузовиках, на мотоциклах, на велосипедах, на повозках, верхом и просто на своих ногах.

Чем ближе к Мюнхену, тем явственней чуялось в этом внезапном и поспешном отступлении нечто неладное, и паника уже овладевала отдельными людьми и отрядами.

На мосту через Изар, в давке, в тесноте плеч, рук, бедер, в суетливой толчее пробирающихся тел, родился все перекрывающий крик:

— Отрезали! Окружили!

Взлетела над головами чья-то винтовка и, взметнувшись через перила, с плеском упала в реку. За ней полетела другая, третья... Вмиг все сбилось и смешалось в криках и свалке. Еще только утром уверенные в победе люди теперь, бросая все мешающее свободе движений, ожесточенно продирались к берегу.

Батальоны, теряя по пути целые группы солдат, прошагали к Луитпольдской гимназии. Никто из солдат не понимал ни смысла отступления, ни негодования мюнхенцев, бранью встречавших отступающие войска. Только одно было известно солдатам — они выполняют приказ главнокомандующего, переданный по телефону из Мюнхена. Но не подложный ли это приказ? И уже рождалось и росло такое ощущение, словно командир, выбравший путь, ведет неправильно, ведет непосредственно в разгром и смерть. Это случалось подчас на войне — люди тогда начинали ступать не в ногу, расстраивать ряды, отбегать в сторону, сразу же находилось много желающих командовать, каждый указывал свое направление, и дисциплинированный отряд, распадаясь, превращался в паническую толпу. Такое возникало и сейчас, но не в небольшом отряде, а в целой армии.

Осмелели таившиеся до того враги. Далеко не все они оказались обезоруженными. На улицах появились отряды штатских в котелках и шляпах, с белыми повязками повыше локтя. Враг, откинув страх, переходил в наступление. С ружьями и револьверами бюргеры нападали на отдельные группы красных. И все тесней и тесней смыкалось кольцо белых армий вокруг Мюнхена.

Зеленью садов и парков дышит южный немецкий город. Просторы полей и лесов чуются за нагромождением его домов, дворцов, музеев, церквей и соборов. Воздух ближних и дальних гор бодрит тело и дух. Великолепна жизнь! Но старый опытный враг уже отбирал все для себя.

Расстрел заложников обозначил последние часы советской республики. Десять человек, изобличенных в заговоре против революции, среди них одна женщина — графиня Вестарп, были выведены во двор Луитпольдской гимназии и легли трупами у серого камня стены, потому что революция в Баварии не могла щадить пойманных врагов.

Неизбежность поражения врывалась в настежь распахнутые окна звоном и грохотом потрясающих Мюнхен боев. Неотвратимость катастрофы преследовала Евгения Левинэ, мотая его по комнате, ни секунды не давая покоя измученному мозгу. Там, за окнами, на улицах и площадях, боролись и гибли те, кого он вел к победам.

Он был их вождем, но беспощадное решение партии запретило ему быть с ними в страшные часы разгрома: военному руководству — оставаться на посту, политическому руководству — скрыться, бежать! Потому что спасение политических руководителей — вопрос не личного благополучия, а революционной целесообразности.

Евгений Левинэ кружил по комнате, как по тюремной камере, и стремительная тень его, ломаясь, металась по чужим стенам, то дорастая до потолка, то опускаясь почти до полу, но всегда неизменно поспевая за каждым движением длинной его фигуры.

За окнами, по Мюнхену, по всей стране, вновь утверждался с детства ненавистный порядок. Это был порядок, знакомый до дна, так знакомый, что можно было распознать его в каждом возбужденном голосе, летящем в комнату с торжествующей улицы, в каждом скрипе, в каждом звуке, в самом, казалось, запахе весны, несущей отчаяние и смерть.

Воздух был отравлен. Мир вновь становился тюрьмой, застенком, гробом. Крышка захлопывалась. Вбивались последние гвозди германским рейхсвером, вюртембергским корпусом, баварскими войсками, добровольческими отрядами. Броневики, лязгая и грохоча по Мюнхену, решали победу. Будущее, в которое уже вплыла Россия, брошено здесь в могилу, похоронено, зарыто.

В Берлине Левинэ остался жив случайно. Вместе со своими друзьями-спартаковцами он работал дни и ночи в здании «Красного Форвертса», сменяя перо на винтовку и винтовку на перо. Отправленный по неотложным делам, он покинул помещение редакции, и в его отсутствие ненависть белогвардейцев, захвативших здание, уже успела растоптать, расстрелять его друзей, — Левинэ опоздал разделить их участь. Это было в январе. Сейчас, в эти предмайские дни Мюнхена, он опять отторгнут от гибнущих в неравной борьбе товарищей, но на этот раз не случайно:

— Революционная целесообразность обязывает тебя остаться в живых. У тебя в настоящий момент нет никаких функций, и ты должен временно исчезнуть...

Стремительные дни надежд и побед обрывались внезапным и страшным крушением. В мозгу Левинэ дни эти еще налетали друг на друга, как вагоны разбившегося

экспресса. События и люди толпились, крутились, выталкивали друг друга. И вновь Левинэ кружил по комнате, не в силах броситься, наконец, на кровать и заснуть.

Надвигался день.

Холодное солнце горной Баварии праздновало позднюю весну над средневековьем старых кварталов, над готикой соборов и церквей, над великолепием новых зданий, над шумным многолюдьем улиц и площадей, над торжеством победителей. Ослепительны краски пестрых, как весенний альпийский луг, одежд. Короткие, распашку, куртки — зеленые, желтые, коричневые; цветные жилеты, стянутые поясом; короткие штаны, открывающие над грубой шерстью чулок загорелые мужественные колени, — так одеты герои добровольческих отрядов, здоровяки, посланные сюда богатством полей и лесов. Набекрень заломив тирольские свои шляпы, они владели жизнью города. С цветами на шляпах и на штыках они торжественным маршем вступили в Мюнхен, и баварская гордость именно их признала спасителями. Им теперь — лучшее пиво, лучшие девушки и восторги горожан.

— К черту всю эту русскую, еврейскую, галицийскую сволочь! Всякого, кто еще не пойман, — пристукнуть, истребить, как этого дьявола Эгльгофера, изменника и убийцу, главаря красных банд!

От галереи полководцев до Триумфальной арки, от королевского дворца до Академии художеств протянулась из центра города к северу улица Людовика. Разнообразно великолепие ее зданий. Рядом с Государственной библиотекой, где мрамор лестницы ведет к неисчислимой громаде книг, помещается военное министерство. Сюда этим прозрачным и безветренным первомайским днем приволокли Рудольфа Эгльгофера, кильского матроса, главнокомандующего Красной армией. Синяя блуза и штаны-клеш висели клочьями на его сильном красивом теле, и белизна кожи резко подчеркивала кровавые пятна рваных ран. Широкое лицо его умело улыбаться друзьям, но теперь оно жестко и непреклонно замкнулось. Белокурые волосы сбились комьями на его разбитой голове. Взор матроса заплывал туманом и кровью, и предсмертное ощущение, освобождая от пыток, вдруг охватывало Эгльгофера, но вновь и вновь мучительно воскресало его тело, и внезапно яснеющий мозг

с пронзительным отчаянием опять и опять фиксировал катастрофу, разгром, смерть.

Его армия, его рабочие батальоны, снявшись с позиций, позорно бежали в Мюнхен, открыв дорогу врагу. Как могло случиться это? Армия требовала наступления. Почему же развалилась она так мгновенно?..

Теперь осталось только повторять сквозь стиснутые зубы:

— Бандиты! Сволочи! Недолго вам!..

Расклеивались запекшиеся в крови губы, складки ложились по углам рта, и каждое слово, протиснутое неподающейся силой, встречалось новыми свирепыми ударами прикладов и кулаков.

Глава военного министерства — столяр Шнеппенгорст. Тот самый Шнеппенгорст, который каких-нибудь три с лишним недели тому назад вместе с независимыми и анархистами объявил в Мюнхене советскую республику. Рожденная не на фабриках и заводах, не на улицах и площадях, а за зеленым столом заседаний, не возглавленная единой, крепко организованной партией пролетариата, созданная провокационными планами, истерической демагогией и фантазерством, она заранее обрекла на гибель все, что было революционного в Баварии. Коммунисты восстали против такой советской республики. На бурном сборище вот в этом самом здании протестующий голос Евгения Левинэ заглушался неистовым свистом и возмущенными ругательствами. Громче всех негодовал Шнеппенгорст.

Прежнее правительство с Гофманом во главе убежало на север, в древний город Бамберг. Военный министр Шнеппенгорст не убежал. Он остался в Мюнхене. Крикун и самодур, он врезался в самую гущу событий. Он ругался и кричал, как в споре о крупном заказе, который конкуренты вырывают из рук. Он выполнит этот заказ лучше всех! И уже пугливые конкуренты дорожили им:

— Раз военный министр с нами — нам нечего бояться!

Какой-то гривастый анархист вопил в энтузиазме:

— Если я считаю необходимым организовать советскую республику, то плевать я хотел, как отнесутся к этому рабочие!

Собрание восторженно вопило ему в ответ — только бы за советскую республику, а в каких выражениях — все равно.

И Шнеппенгорст одобрял громче всех.

Трудно было выступать на таком собрании Евгению Левинэ. Когда он появился на трибуне, все стихли, чтобы после первых же фраз воем и свистом заглушать каждое слово.

Коммунисты требуют спартаковских советов? Они бестактно отталкивают Шнеппенгорста? Они называют Шнеппенгорста предателем рабочего класса?

Голос с трибуны прорывался в самые дальние углы зала:

— ...Мы видим в этом только попытку обанкротившихся вождей найти доступ к массам путем инсценировки революционного выступления или же сознательную провокацию. Мы знаем из примеров Северной Германии, что социалисты большинства часто стремились вызвать скороспелые выступления для того только, чтобы с тем большим успехом их подавить...

Шнеппенгорст орал в бешенстве:

— Дайте этому еврею по башке! Грязные негодяи! Банда мерзавцев!

Он настаивал на том, чтоб объявить советскую республику, а в каких выражениях — неважно.

У Шнеппенгорста во всем этом был свой невыговоренный тайный план.

Советская республика без коммунистов была объявлена, и уже спустя неделю правительство Гофмана в согласии и с помощью соратников своих в Мюнхене кинуло наемников «Республиканской обороны» на разгром революционных организаций, одновременно подведя к городу свои войска и арестовав тех членов нового правительства, с кем трудно или невозможно было сговориться.

Но тут уж Шнеппенгорсту пришлось бежать — внезапное нападение купленных Гофманом солдат пресечено было ожесточенным сопротивлением, и яростный отпор рабочих поставил у власти коммунистов.

Мнимая советская республика сменилась подлинной. Родилась Красная армия Баварской советской республики. Отделенная в пространстве, во времени она встала

в один фронт с атакующей белых русской Красной армией, с наступающей Красной армией советской Венгрии.

Несколько дней тому назад Гофман гордо отклонил помощь партийного своего товарища Носке, военного министра Германии:

— Бавария не потерпит вмешательства прусских карательных отрядов!

Теперь было уже не до гордости. Против революционных восстаний! Против диктатуры пролетариата! Пролетариат еще не готов к власти! И потому — разгромить, расстрелять мюнхенских рабочих!

Эшелоны прусских карателей, отряды Носке ринулись на юг и вместе с баварцами решили дело.

Но чья измена открыла фронт врагу, внезапно увела с позиций, рассыпала, дезорганизовала Красную армию? Все могло бы сложиться иначе, если б не это.

Эгльгофер мог еще держаться на ногах. Он сам вошел в здание, где вновь властвовал социал-демократический министр Шнеппенгорст. Но страшные истязания допроса свалили вождя баварской Красной армии. В простыню, как труп, завернули его беспомощное тело и пихнули в автомобиль.

Он очнулся в непонятном сыром подвале.

— Эй, довольно отдохнул ты, падаль! Встать!

Побои становились почти нечувствительными — так изломано и избито тело. И кошмаром путался меж новых и новых пыток вопрос — кто предал армию? кто продал?

Наутро герои Мюнхена, парни из добровольческих отрядов, выкинули Эгльгофера из подвала и на площади Одеон превратили в окровавленный, неузнаваемый труп.

Эта страшная смерть любимейшего из соратников потрясла Левинэ не меньше, чем убийство Либкнехта и Люксембург.

Схватив кепку, он ринулся к дверям — мстить, убивать, умереть!

— Куда? Ты с ума сошел?

Лицо Левинэ стало за последние дни острым от худобы. Тем резче запоминались бешеные молодые глаза, высокий лоб, уходящий в черные лохмы нечесаных волос,

тонкий нос. Бледен Левинэ был так, что отросшая черная борода его казалась приклеенной.

Жестом отчаяния и решимости он бросил кепку обратно на кровать.

2

Быстрые воды Изара несли в долины Дуная десятки трупов, не хватало мест в мертвецких, спешно рыли могилы на кладбищах. Мюнхен торжествовал победу. Но где Левинэ? Где Левьен? Где Аксельрод? Где эта чужеземная тройка, продавшая Баварию Москве? Найти и добить их, как нашли и добили в Берлине Либкнехта и Люксембург!

— Эй, ребята! Еврейское собрание! Живо!

— Спартаки?

— Говорю — евреи! За мной!

Сначала никто не хотел верить, но это оказалось правдой — кучка любимцев Мюнхена, ворвавшись на собрание мирных католиков, перебила их.

— Нет, это уж слишком! Убивать мирных граждан? Нет, мы — культурные люди, господа! — Седоусый костлявый мужчина энергично стукнул жилистым кулаком по столику, одному из многочисленных столиков разросшегося в самом центре города сада. — Мы требуем порядка! Мы не позволим толкать Баварию в пропасть, господа!

Тот, которого он так торжественно называл «господа», длиннолицый, с несколько вялыми и даже чуть меланхолическими движениями офицер, скорбно пожал плечами.

— Да, это тяжелая ошибка, господин Швабе, было неправильное донесение, что это — собрание спартаковцев, коммунистов.

— Но надо же было разобраться, прежде чем стрелять! Спросить документы! Убивать честных баварцев — это недопустимо, господа! Позор, господа! Позор!

— Патриотический пыл, — грустно объяснил офицер. — Но юстиция вступает в свои законные права. Она быстро научит отличать честных граждан от бандитов. Да, очень тяжелая ошибка, господин Швабе. И хотя это единственная ошибка — не правда ли? — но виновные по-

несут строжайшее наказание. Вы сегодня же прочтете в газетах — они арестованы и отданы под суд.

Их заслуги перед родиной будут бесспорно зачтены, — отвечал седоусый патриот и успокоенно протянул руку к пивной кружке.

Нет в Мюнхене лучшего клуба, чем этот тенистый, в сплетении центральных улиц, сад. Здесь, в этом скоплении столиков и стульев, узнаются и обсуждаются все последние новости.

Сюда, в этот сад, убегал профессор Пфальц, как в мирный уют давно прошедших дней. Но и тут он не находил утерянного своего спокойствия. Он никуда не мог убежать от смятения, потому что нес смятение в самом себе. И казалось ему: под всем этим торжеством возбужденных счастливых лиц таится истерическая тревога, готовая в любой момент обратить все это элегантное общество в паническую толпу.

Профессор Пфальц в самом своем изящном костюме, в самом франтовском пальто уселся невдалеке от седоусого патриота. Он был — как кукла, как манекен. Даже внешне он не мог радоваться и торжествовать вместе со всеми.

Профессор занял очень невыгодное для отдыха место, — у господина Швабе было слишком много знакомых, и столик, за которым этот седоусый патриот праздновал с меланхолическим офицером победу, становился средоточием сплетен и слухов. На этот столик люди налетали пачками, оглушая друг друга новостями, выспрашивая, размахивая руками, восторгаясь и ужасаясь, и бежали дальше с таким видом, словно важнейшие государственные дела гоняют их по миру.

Не успел профессор заказать кофе, как уже узнал, что у какой-то Пепиты нашли в юбке три миллиона, а Левинэ с десятью миллионами улетел в Венгрию на аэроплане.

В ушах несносно жужжал рой слухов, восклицаний, сплетен:

— ...Это тот, который графиню Вестарп?.. Я слышала, что графиню Вестарп убил этот зверь, этот матрос... — Но с него уже ничего не спросишь. Кокнули. — За Левинэ дают десять тысяч марок. Читали объявление? Наконец-то право и порядок вступают в свои права! Поглядите

на Носке! А наш Гофман, наш Шнеппенгорст! Они спасут отечество от анархии, я им верю! — А Пепита — красивая? — Танцовщица. Испанка. Эти звери купали ее голой в шампанском...

Профессор Пфальц занялся самогипнозом — он, чтоб ничего не видеть и не слышать, усилием воли вызывал в памяти приятнейшие воспоминания юности, первую любовь, белокурую девушку, гейдельбергскую студентку, с которой...

— А этот Левинэ! В опасный момент бежал, как последний трус! Своих же друзей бросил на произвол судьбы! Обманул и бросил! Какая бесчестная низость!.. Ни один баварец, ни один немец не поступил бы так!

— Ему все равно несдобровать. Словят.

Нет, куда там к черту вспоминать первую любовь! Жизнь превратилась в кошмар. Ни минуты отдыха. И вдруг профессору Пфальцу стало мучительно жалко Ландауэра. Он тоже делал эту республику. Но он не был коммунистом. Это был ученый. Это был мыслитель. Вместе с поэтом Мюзамом он мечтал о счастливой жизни, которая будет как цветистый луг. За эти мечты Мюзама кинули в застенок, а Ландауэра растерзали, как разбойника, не доведя до тюрьмы. Цветистый луг! Любовь! Счастье! Белокурая Гретхен!..

А господин Швабе ораторствовал:

— Господа, наша родина переживает тяжелые испытания! Перед лицом общей опасности мы, баварцы, должны забыть на время наши распри с Пруссией! Мы все раздавлены, и нас хотят добить! Германия — на краю пропасти, да, господа, на краю пропасти! Мы все должны, как один человек...

Город быстро и решительно изменил весь тон свой, все звучание, всю жизнь свою. Те, кто недавно еще таились, даже на улицу показываться опасаясь, теперь господствовали повсюду — в домах, ресторанах, министерствах, магазинах, на улицах и в этом саду.

Здесь, в этом саду, для них мгновенно является на столик все, чего только ни пожелает желудок, — тут не голодная Пруссия, были бы только деньги. Удобно и успокоительно почти бесшумное проворство официантов. Глаза заманчивых прислужниц не отказываются нежно улыбаться посетителям, и ямочки показываются на ще-

ках, и некоторая резкость голосов приятно контрастирует с мягкостью округлых движений, как короткая юбка с невинностью взгляда. И глаза прислужниц ни на секунду не забывают своего дела, пока быстрые руки и ноги делают свое.

Все создано тут для того, чтобы вызывать вкус и аппетит к жизни, — многообещающие фигуры баварок, знаменитое по всему миру пиво, исключительного достоинства яичницы, хрустящая корка булочек, таких свежих, что челюсти сводит от наслаждения, пестрые букетики, расставленные в хрупких вазочках по столикам, само колыхание весны, несущей сюда лучшие свои запахи и цвета. Глаз бюргера отдыхает здесь на яркости веселых красок, разнообразящих все, что обязательно нужно нацепить на себя человеку для красоты и приличия, — все эти шляпы, пальто, кашне, банты, носки. Нос с удовольствием принюхивается к духам и одеколону, обозначающим чистоту и благопристойность тщательно вымытых, привыкших к приятнейшим утехам тел.

Бедная графиня Вестарп! Она пала жертвой серых кепок, криво надетых, потрепанных и заплатанных пиджаков и курток, грубых солдатских шинелей и гимнастерок, небритых, изможденных лиц и злых, голодных глаз. Но стоит ли думать сейчас, в эти первые дни победы, о недавних несчастьях? Горе и несчастье, голод и ненависть отступили, бежали, вернулись туда, откуда вырвались эти страшные дни большевистских бесчинств, — в тесноту и сумрак рабочих жилищ, в казармы недобитых на фронте солдат, и сильное правительство держит строгую охрану возрожденного, созданного тысячелетием культуры порядка. Наваждение кончилось. Вернулась и вновь господствует красивая, изящная жизнь. Эту жизнь надо защищать, как имущество, как деньги, как драгоценности в сейфах! Да здравствуют победители!

— Граф! Добрый день, господин граф! Разрешите пригласить вас к столику, граф!

Седоусый патриот, вскочив, протягивал костлявую руку, готовую для крепкого рукопожатия. Как вкусно и знаменательно это слово «граф»! Еще несколько дней тому назад страшно было произнести публично такое слово, а не то что повторять его, выкрикивать в энтузиазме!

— Добрый день, господин Швабе.

— Разрешите, граф, познакомить вас с моим юным другом, нашим освободителем...

Юный друг был тот самый скорбного вида офицер, который меланхолически успокаивал господина Швабе. Он, приподнявшись, томно протянул руку подошедшему к столику коренастому бородачу с коричневым лицом. Низкорослое могучее тело штатского графа казалось легким и даже гибким в движениях.

— Вы, граф, юрист, — обратился к нему господин Швабе. — И уж я знаю, что вы неисправимый сепаратист. Вы мечтаете о свободной, независимой Баварии. Все, что ни сделают баварцы, они во всем правы. Так вы думаете, так вы считаете, граф, — мне уж это известно! — Господин Швабе очень любил высказывать мысли за своих собеседников. — Но вот сложный юридический казус, господа: как быть с убийцами честных католиков? И тут баварцы и там баварцы. Это трудный случай, господин граф!

— Я — католик, — отвечал граф спокойно. Его глаза были так глубоко упрятаны под мохнатые брови, что трудно было разгадать его душу.

Увлеченный своим красноречием, господин Швабе не обратил внимания на крайнюю неопределенность ответа. Он летел дальше:

— Вы — неисправимый сепаратист. Вы недовольны приходом прусских войск. Но наши надежды на милость Франции, Англии, Америки не оправдались. Мы поставлены в равное положение с Пруссией, господа, и мы должны бороться вместе с Пруссией! — Тут жилистый кулак господина Швабе вновь — в который уже раз! — стукнул по столику. — Но есть еще больший враг, чем наши победители в войне. Перед лицом этого общего нашего врага надо забыть все разногласия, господа! Это — коммунисты, господин граф!

Граф молчал.

Офицер, меланхолически поигрывая тонкими пальцами по столику, полузакрыв веки, неприметно косил внимательным глазом, посматривая на графа.

Господин Швабе, осушив очередную кружку пива и заказав следующую, вопросом закончил свою речь:

— Что бы вы сказали, господин граф, если б вас как адвоката попросили защищать этого Левинэ?

И всем своим видом он показал, что нисколько не сомневается в ответе.

— Прежде всего я ознакомился бы со всеми материалами, касающимися личности этого человека, — ответил граф медленно и раздельно.

Это было слишком даже для господина Швабе. В этих словах не чувствовалось того возмущения, на поддержку которого господин Швабе мобилизовал целую толпу междометий. Граф оказывался несколько неожиданным. Господин Швабе уставился на него с недоумением и даже ужасом.

Граф, не считая нужным разъяснять свои слова, хладнокровно заказал яичницу и пиво.

— Вы, кажется, хороший охотник? — осведомился офицер, как бы затевая посторонний всякой политике разговор.

— Я стреляю в птиц, а не в людей, — отозвался граф. — Я не ем человеческого мяса.

И он с аппетитом здорового человека принялся уписывать яичницу.

Офицер приоткрыл глаза.

— Мне непонятны ваши слова, — сказал он угрожающе. — Они мне решительно непонятны.

— Добрые граждане возмущены убийством католиков, — уклончиво отвечал граф. — Оно компрометирует нас всех и не имеет никаких юридических оправданий. Коммунисты убивали своих врагов, а не друг друга. Пора вступить в дело людям ума, политикам.

— Но это частная ошибка отдельных невежд! — тихо воскликнул офицер. Томность его окончательно исчезла. — А общее, общее наше дело?

— Наше дело — дело народа, — почти механически промолвил граф. Доев яичницу и отирая усы и бороду салфеткой, он продолжал: — Ни на секунду не следует забывать общее катастрофическое положение в стране, деморализацию после поражения на войне, голод и нищету масс. Народ раскалывается на партии. Народ надо объединить вокруг единой великой цели. Надо быть внимательным к массам, изучать их настроения, надо сохранять осторожность и объективность и не нарушать закона. Мне было очень тяжело эти три недели...

— Две, граф, — невежливо перебил офицер. — Первую неделю в советах сидели просто дураки и наши люди.

Маленькие глаза графа на миг внимательно остановились на порозовевшем лице офицера, и рука, протянутая к пиву, замерла. Затем он придвинул к себе кружку и закончил:

— Вы создаете им ореол мучеников. Тем, кто колеблется, нельзя внушать жалость и сочувствие. Свободная борьба идей — высшее достижение государственности, и вы забываете об этом так же, как забыли об этом коммунисты, нет? Теперь пулю должен заменить ум.

— Я буду стрелять в них, как в птиц, — иронически промолвил офицер, и вновь глаза его потухли, а движения стали меланхолическими и томными.

— Политика — это дело ума прежде всего, — повторил граф.

— Дело пули, — кратко возразил офицер.

— Дело ума и пули, господа! — примирительно воскликнул господин Швабе.

Как тут вести серьезный спор и надолго огорчаться, если столько друзей и знакомых отвлекают внимание? Одному надо кивнуть весело, другому крикнуть приветственное слово, третьему помахать рукой. А женщины требуют особых тонкостей — подойти, поцеловать ручку, удивиться свежести лица или изяществу туфель... И, главное, совершенно ясно было господину Швабе: все — и граф, так же как этот офицер, — в общем очень довольны победой. А это — самое важное. Остальное — пустяки.

Увидев свою жену, господин Швабе решил одним махом уничтожить всякую видимость спора. Он не хотел, чтобы Эльза вмешалась в этот спор. Господин Швабе втайне мечтал, чтобы Эльза вообще не занималась политикой. Как не подходит женщине интересоваться политикой! Но Эльза так эмансипировалась последнее время, что ей прямо и слова не скажешь.

— Дело ума и пули! — воскликнул господин Швабе и встал навстречу жене. — С господином графом ты знакома, с господином лейтенантом фон Лерхенфельд...

Граф поднялся, оборачиваясь к женщине.

Тяжелый, коренастый, он имел вид загадочный, как сундук с двойным дном.

Изумление, а затем восторг мигом овладели профессором Пфальцем — это была бесспорно та самая гейдельбергская девушка! Такая нежность таилась за ее длинными ресницами, что спазмы схватили горло профессора. Ему привиделось — она пронесла свою молодость сквозь долгие годы, она казалась даже еще моложе, чем раньше, в этом весеннем розовом пальто, неспособном скрыть стройность и округлость ее тела. Она приближалась быстро и мягко, и уже воздух наполнялся запахом ее духов. Цветистый луг! Юность! Любовь!..

Она подошла, и профессор услышал, наконец, ее голос:

— Нет, пока не поймали этого негодяя Левинэ, графиня Вестарп не отомщена. Я бы, кажется, задушила его собственными своими руками!..

Наваждение! Галлюцинация! Это совсем не та!..

Какой-то фат уже успокаивал ее.

— Левинэ-Ниссен? Да он уже попался. Сам видел. Жуткая физиономия.

При этих словах профессор Пфальц дернулся со стула, словно собираясь бежать. Но, овладев собой, он остался за своим столиком и даже принудил себя допить чашечку кофе. Затем расплатился, встал и, стараясь не торопить шаг, двинулся к выходу. На площади он остановился и, сдвинув мягкую свою шляпу к затылку, ослепительно белым платком отер внезапно вспотевшее тщательно выбритое лицо.

Нет, тут не до любовных воспоминаний, не до уюта! Ведь сколько раз зарекался он ходить в этот проклятый сад! Вечно что-нибудь здесь услышишь такое!.. И он быстро зашагал туда, где зеленые шапки Фрауенкирхе вздымались на многометровых башнях над крышами старых домов.

Зачем он-то ввязался в это страшное дело? Тоже герой выискался! Что ему до этого политического безумца? И это он, он сам уговорил своих друзей дать приют опасному беглецу, как бедному студенту! Он и своих друзей подверг смертельной опасности!

— А-а-а! Это невыносимо! Это ужасно!

его силы, как утешение, как дружба, как любовь, как уверенность в победе. Ему, бродяге, она создала семью, и подчас через семью виделось ему будущее содружество народов...

Жена!

Он сел к столу и взял перо.

Слова письма рождались легко:

«...я бодр, полон энергии. Несмотря на все тяжелое, смотрю на будущность с верой. А что касается нас обоих, я крепко надеюсь, что совсем скоро будем вместе...»

Вместе!

Он бросил перо.

Облокотившись о стол, в ладони зажав лицо, бессмысленно улыбаясь, он невнятно шептал, сам с собой разговаривая.

Если б оказалась она тут, в этой комнате! Хоть на полчаса. Хоть на пять минут...

Но мгновенная судорога, исказив его лицо, подняла его со стула.

Нет и не может быть ничего счастливого в этой жизни!

Революция разгромлена! Рудольф Эгльгофер убит!.. И он не слышит ободряющего голоса жены, не может подать руку товарищам по борьбе и по несчастью. Он сейчас — один, во власти полузнакомых людей.

Один!

Стукнув по столу костяшками в кулак сжатых пальцев, он пробормотал:

— Но мы победим! Победим!

Он принудил себя сесть и вновь взять перо:

«...несмотря на весь ужас, — все-таки весна, весна...»

Весна!

Он запечатал письмо и подошел к окну.

Каждый прохожий был для него угрозой и опасностью.

Весна!

Он тихо напевал любимую свою песенку:

Ты скажи моей молодой вдове,
Что женился я на другой жене,
Обвенчался я со смертью раннею...

Пел он по-русски.

Стукнула входная дверь.

Левинэ медленно повернулся, сел на подоконник.

В комнату вошел человек в широкополой шляпе и плаще, похожий не то на литератора из Швабинга, не то просто на бандита.

Он принес конец мюнхенским дням — документы для побега.

И последний протест воскрес в Левинэ. Неужели пришло-таки время бежать? Неужели сегодня ночью?

Левинэ неподвижно сидел на подоконнике, подложив под себя руки и даже забыв поздороваться с вошедшим.

По этому человеку нельзя было выдать своих ощущений. Это был почти незнакомый человек, хотя Левинэ и видал его на партийных собраниях.

Профессор Пфальц осторожно и боязливо приближался к дому, где скрывался Левинэ. Вдруг он остановился, отшатнувшись, как от внезапного удара в лицо. Машинально он сунул руку в карман за платком и забыл про нее.

У подъезда, побритый, подстриженный, стоял Левинэ и прощался с незнакомым профессору человеком — проводить его он, видимо, и спустился столь неосторожно, нарушая представление профессора Пфальца о людях, спасающихся от тюрьмы и казни.

Ведь это — государственный преступник! За него обещана награда в десять тысяч марок. Его приметы подробно обозначены в полицейских объявлениях. А в то же время движения его большого тела исполнены сейчас уверенности и силы, и упрямый блеск глаз смягчен, как всегда, чуть тронувшей лицо иронической улыбкой.

Значит, он не арестован? Слава богу!

Мужчина, с которым прощался Левинэ, вел себя сейчас с некоторой даже наглостью, словно был абсолютно убежден в благополучном исходе предприятия, и то, как он размашисто хлопнул ладонью о ладонь Левинэ, вдруг внушило уверенность и профессору Пфальцу.

Профессор, опомнясь, продолжил начатое движение — вынул платок и отер им свое лицо.

В комнате у Левинэ он все же не мог удержаться от замечания:

— Вы очень неосторожны. Вы должны помнить, что ваша судьба связана с другими людьми, которые из лучших побуждений...

Но Левинэ прервал его всем напором своего вновь вернувшегося оживления (он уже вполне владел собой):

— Мы не в Гейдельберге, профессор, не в Гейдельберге! Мы — в Мюнхене. И вы окажете мне еще одну большую услугу. Вы отнесете вот это письмо моей жене. Очень прошу и заранее благодарю. А затем вы придете снова, да, не правда ли?

Невозможно было сопротивляться этому в сущности почти приказу, и профессор покорно взял письмо. Но он был слишком занят собственными переживаниями, чтобы уйти молча.

— Ах, как все это ужасно! — воскликнул он. — Ну вот, скажите мне, я вас давно знаю, зачем вы решили устроить весь этот ужас у нас в Германии? Вы — немец, конечно, но в России все это в самом разгаре, туда вам всем и ехать, а нас оставили бы в покое! Нам и без того плохо!

— Не волнуйтесь, профессор, — с неожиданной нежностью отвечал Левинэ, — еще немного, немного придется вам потерпеть.

Он должен дрожать от страха, а он еще утешает! Это уж просто наглость!

Профессор Пфальц, отмахнувшись, как от мухи, ушел. Под старость он, кажется, кроме всего прочего, превращается еще и в почтальона. Всякий мальчишка посылает его, куда хочет. Нет, это просто черт знает что такое!

Левинэ, чуть скрылся за дверью профессор, сразу изменился. Все возбуждение ушло внутрь и только выдавало себя в блеске глаз и некоторой порывистости в движениях. Нечего сейчас рассуждать. Героическая смерть? Эсеровские штучки — вот это что! Дисциплина — прежде всего. Очередное задание партии — бежать! Бежать для того, чтобы снова, сквозь грохот и дым боев или сквозь годы подготовительной саперной работы, вести людей труда к власти, к сытости, к счастью, к свободе.

Бежать!

Всего только несколько месяцев тому назад ринулся он на учредительное собрание Коминтерна в Москву, к Ленину. Но Ковно, руками полицейских освидетель-

ствовав его документы, отправило его обратно. Теперь он во что бы то ни стало достигнет Москвы. Ведь именно там сейчас действуют лучшие мастера революции. И как действуют! Со дна баварской неудачи монументальным колоссом вырезывалась перед ним громада русской победы. Какая все-таки надежда. эта победа! Не случайно рожден был партизанами последних боев Мюнхена пароль «Петроград»! Петроград! Город октябрьской победы! Город Ленина!..

Он уже не молод. Ему — тридцать шесть лет. Но молода и неопытна еще германская коммунистическая партия. Она только-только родилась. И он как коммунист недавно родился. Он, как школьник перед учителем, склонит голову перед необычайным мастерством Ленина, и жесточайшая, без сентиментов, критика будет самым лучшим уроком.

В Москву!

Достаточно ли был он осторожен последние дни? Удастся ли побег? И привычные ощущения конспиратора, дичи, за которой охотятся, овладели им. Это были так издавна знакомые чувства, столь часто и подолгу приходилось испытывать их, что они казались уже неотъемлемой частью жизни.

Спокойно и аккуратно уложил он в чемодан немногочисленные свои вещи, среди которых не было ничего, что изобличало бы в нем не мирного туриста, а политического эмигранта. Несколько раз вынул и положил обратно в карман документы. Еще и еще раз тщательно обследовал все ящики письменного стола, комод, все углы комнаты, чтобы не завалялся где-нибудь хотя бы клочок какой-нибудь компрометирующей бумажки.

Веселый шум оживлял улицу под окном. Стреляли мотоциклы, нарастали и стихали в отдалении автомобили, громыхали пролетки извозчиков, и все это разнообразие звуков вместе с гулкими человеческими голосами наполняло весенний воздух.

Жизнь продолжалась.

Левинэ в мыслях своих уже переходил границу.

В Москву!

Профессор Пфальц, вернувшись, застал его в настроении оживленном и деловом.

— Ну как? — спросил его Левинэ.

На миг он забыл, что перед ним — не товарищ.

— Жена ваша жива и здорова, сынишка — тоже, — недовольно отвечал профессор. — Жена просила поцеловать вас, но я этого делать не буду, потому что вы причинили моей Баварии большой вред. Вы — убийца! — взвизгнул он вдруг. — Вы — чудовище! Об этом весь город кричит! Я решительно не понимаю, зачем и почему я спасаю вас!

О, как надоели, как утомляют эти абсолютно чужие люди! И ведь сам этот профессор прибежал предлагать свои услуги! Зачем жена посоветовала товарищам и ему этого Пфальца? Зачем сам он согласился принять помощь от этого бывшего своего учителя?

— У меня есть еще один очень крупный и основной недостаток, который вы, профессор, не изволили сейчас отметить, — отвечал Левинэ спокойно и резко. — Я очень люблю думать. А занятие это, если увлечься им всерьез и все додумывать до конца, к добру не приводит. Это очень опасное занятие. Я вам очень советую, профессор, не думать слишком много, а то и вы превратитесь в чудовище. Станет вам родной Ленинская Россия.

— Никогда! — возмущенно воскликнул профессор Пфальц. — Никогда этого не будет!

Но тут он почувствовал, что какая-то, как всегда, ловушка была в словах Левинэ, и он попался в нее, как дурак. И даже не какая-то ловушка, а совершенно ясная.

— Я много думаю и умею думать лучше вас, — возразил он внушительно и устало, — но думаем мы по-разному.

Он аккуратно повесил пальто и шляпу на крюк у двери и опустился в кресло.

— Я хочу мира и спокойствия, — сказал он. — Я хочу плодотворной, созидательной работы. Ваши идеи чужды мне, и я отношусь к ним отрицательно, но у меня есть сердце, и оно губит меня. Оно влечет меня в пропасть!

4

Жизнь капитана Мухтарова сломалась. Все рухнуло. Все полетело к черту. Не осталось ни одного уверенного в своей долговечности правительства, которому можно было бы служить спокойно. Какие-то новые государства

высыпали, как в сыпнотифозном бреду, на сошедшей с ума земле. Толпы народов окончательно выбились из повиновения и орали о революции. Нельзя было разобрать уже, где кончается одно государство и начинается другое. Границы стирались, как будто их никогда и не было. Русские солдаты вырвались из лагеря военнопленных и вместе с немцами сражались за Баварскую советскую республику. Венгерские батальоны били русских белогвардейцев в Сибири. И никто нигде не уважал начальства. Все спуталось, смешалось, и в этом хаосе гремел, как последний суд, неотвратимый голос Ленина. Вихрь шел по земле, швыряя людей куда попало. Недоступных русских княгинь можно было уже задешево покупать на ночь и по часам. Его, капитана русской армии, имеющего боевые ордена и заслуги, кинуло черт его знает как в Мюнхен, и тут он тоже попал было под этих дьяволов — большевиков. Бред и чепуха! Только деньги сохранили свою власть. И капитан Мухтаров служил деньгам.

Полицейская служба спасала от голода, не больше того. Но десять тысяч марок обеспечат надолго, дадут свободу и отдых. Десять тысяч марок стали манией капитана Мухтарова.

Капитан рыскал по Мюнхену в поисках Левинэ. Он понимал, что не один он занят этим важным делом, — каждому, конечно, хочется цопнуть такой крупный куш, — и потому он работал неутомимо. Он почти не спал по ночам — ему все казалось, что вот в этот самый момент, когда он всхрапывает на уютном плече Марты, кто-то как раз прикарманивает его денежки.

Десять тысяч марок! Ах ты господи! Ведь как вздохнется, когда они этакой аккуратненькой пачечкой лягут в бумажник! Капитан уже ощущал этот приз в своих пальцах, — он напал на след одного человека... Но тут — молчок. Об этом деле — вообще молчок. Лишнего не болтать даже в пьяном виде. А то ограбят, выхватят тысчонки из рук! Не только Эльзе, но даже Марте лучше ничего не говорить.

Марту он приобрел сразу же по приезде в Мюнхен. Он не видел в этом ничего удивительного. Это только честь хозяйке дешевенького пансиона, вдове германского солдата, провинциальной мещаночке, получить такого

мужчину, как капитан Мухтаров, за боевые подвиги награжденного георгиевским оружием и всеми орденами до Владимира с мечами и бантом включительно. И уж, конечно, за комнату в пансионе и за питание капитан Марте не платил, а, напротив того, доходами с пансиона распоряжался полновластно, как муж. Марта до войны служила в Петербурге гувернанткой, вполне владела русским языком, и это делало ее еще более домашней и привычной.

Эльза — недавнее приобретение.

Все-таки капитан Мухтаров имел то преимущество перед господином Швабе, что уже по русскому опыту знал, что такое большевики. Переворот не так испугал его, как господина Швабе, с которым в первые же дни советской республики связали его кой-какие общие поручения от убежавших в Бамберг правителей. Он усматривал в этой революции некоторые утешительные по сравнению с Россией обстоятельства. Те, кого в России называли меньшевиками, здесь куда сильней и хитрей русских, да и действуют они так, что, ну прямо, не возразишь. Один Носке чего стоит! Орел! Никакого слюнтяйства! Да и Бавария — не Россия: пространства — небольшие, самостоятельно, без помощи, никак не проживет, а по всей остальной Германии — слава тебе господи — большевиков прикончили. Смешно называются они у немцев — спартаковцы. Но все-таки надо скорей кончать их и тут, а то — черт знает! — говорят, всю Россию Красная армия отхватила, и в Венгрии большевики у власти. Бред и чепуха! Может случиться, что и податься некуда будет.

Капитан бодрился.

Захаживая к господину Швабе, он принимал тон несколько даже снисходительный. Он становился героем в доме перепуганного коммерсанта, тем более что и на деле показывал свое искусство в борьбе с большевиками — отлично выполнял все поручения из Бамберга.

Господин Швабе только в коммерческих расчетах находил некоторое успокоение — через него шла часть денег из Бамберга. Оружие он принимать боялся и никак не подозревал, что жена его часто спускается с капитаном Мухтаровым в темный подвал к винтовкам

и револьверам и ключ от этого оружейного склада, пополняемого заботами капитана, хранит у себя в бюро. Это была тайна Эльзы, капитана и пожилого слуги, которого молодая женщина, отправляясь с очередным чемоданом или мешком, всегда брала с собой. Такие склады очень помогли, чуть отступила Красная армия, тотчас же вооружить бюргеров. Многих устрашил приказ коммунистов о сдаче оружия, и они выстраивались в очередь у комендатуры. Но Эльза не поколебалась ни на миг.

— Вот это женщина! — восхищался капитан Мухтаров. — Молодец-баба!

Он уже часто позволял себе посмеиваться над господином Швабе, а подчас пытался припугнуть и Эльзу.

— Женщин они сначала берут, — рассказывал он, выражаясь таким необычным для него стилем потому, что говорить приходилось по-немецки, — а потом режут живот, вертят кишки к столбу и приказывают бежать — так кишки из живота и уходят...

Рассказы свои капитан восполнял энергичной мимикой и жестами и все время прибавлял:

— Вы можете мне поверить. Я знаю большевиков.

В день, когда рабочий Мюнхен восторженно гремел о победах красноармейцев, Эльза впервые усомнилась в будущем. Капитан Мухтаров, явившись с очередной порцией оружия, застал ее в одиночестве и тоске и быстрым натиском решил дело в свою пользу.

Эльза даже не пыталась сопротивляться. Она прижималась к нему так, словно только в нем одном видела надежду и спасенье. Капитан Мухтаров никогда ничего подобного еще не испытывал. Бесспорно, это были лучшие минуты в его жизни. Он даже почувствовал к себе некоторое уважение. В Эльзе он начинал уже завоевывать Европу.

Разгром коммунистов странным образом вновь отдалил от него Эльзу. Он больше, казалось, не нужен. Теперь опять господин Швабе гораздо нужней — деньги дают положение и в семье и в обществе. Факт! Только Марта по-прежнему была предана капитану Мухтарову.

Эльза и не подозревала, что этот белокурый широкоплечий славянин испытывал подчас приступы внезапного ужаса, — вдруг начинало казаться ему, что сейчас

его схватят и потащат в Чека, которая, конечно же, есть и у этих большевиков. В такие ночные минуты он способен был дрожать при каждом мышином шорохе. Марта знала и это уныние и этот страх. Она только ничего не знала про Эльзу и потому никак не могла понять, почему после победы капитан вновь загрустил.

Печаль подневольного житья с такой силой схватывала теперь капитана, что он напивался иной раз до слез.

— Погиб я, Марта, погиб! — плакал он. — Пропал капитан Мухтаров! Мечтал я на войне — разобьем вас вдребезги, генералом вернусь домой, в отставку! Шапокляк на голову! — и сяду на землю с Мушкой своей. Мушка! Девочка! Что там с тобой в Сибири делается?..

Он вытаскивал обрывок фотографии и совал женщине. Марта почтительно разглядывала почерневший клочок и готова была видеть на нем прекрасное девичье лицо русской невесты капитана. От ревности и печали она тоже начинала плакать.

— В Россию хочу! — признавался пьяный капитан, и слезы в изобилии текли по его щекам. — Мира хочу и спокойствия!.. Я тут только в опасности нужен, чтобы грудь мою под удары подставлять. А опасность прошла — и к черту капитана Мухтарова! В шею капитана Мухтарова!

Марта старалась утешить его всеми средствами души и тела, какие только имелись у нее, но это было не то, совсем не то, что могла предоставить Эльза.

Только большие деньги дадут свободу действий, позволят взвесить все как следует, обдумать и спокойно, без лишних унижений, начать строить свою жизнь — с Эльзой, конечно, а не с Мартой.

Капитан никому ничего не говорил о надеждах своих на десять тысяч марок. Он так же пугался каждого слуха о поимке Левинэ, как и профессор Пфальц, но по несколько другим причинам.

Наконец настал тот день, когда капитан Мухтаров понес начальнику точный адрес преступника. Десять тысяч марок — в кармане!

В кабинете начальника, заложив ногу на ногу, поигрывая широкополой своей шляпой, сидел лохматый человек в плаще, похожий не то на литератора из Швабинга, не то просто на бандита. Это был тот самый че-

ловек, за которым все эти дни следил капитан Мухтаров.

Немецкий язык все-таки очень сковывал капитана.

— Я принес адрес государственного преступника Левинэ и прошу выдать мне награду, — рапортовал капитан. — Но господин, которого я удивлен видеть здесь, есть друг большевика Левинэ и...

Тут человек в плаще прервал его громким и развязным хохотом.

У капитана даже в животе резнуло, когда он увидел, что начальник тоже смеется.

Лохматый мужчина сложил три пальца правой руки и сунул их к лицу Мухтарова.

Конечно, любой немчура может теперь показывать кукиш капитану русской армии!

Не нужно никаких объяснений. Все понятно. Дни и ночи зря потрачены на слежку за секретным агентом полиции, за провокатором!

Капитан Мухтаров круто повернулся и вышел.

Он дрожал всем телом, словно наступила внезапная зима. Шум города представлялся ему бессмысленным и враждебным. Чепуха и бред! В один миг погибли все надежды.

Но это же грабеж! Грабеж среди бела дня!..

Дома Марта радостно кинулась к нему:

— Этот убийца Левинэ пойман!..

Она протягивала ему экстренный выпуск газеты.

— Знаю! — злобно отрезал капитан Мухтаров. — Знаю! Дура! У меня украли десять тысяч марок! Проклятый щелкопер украл десять тысяч марок! Вот поверь слову — он сомневался! Сомневался, сказать или нет! Поверь слову — только сегодня он и решился. В последний момент! За жену этого Левинэ денег не дадут, даже если поймаешь! Грабеж среди бела дня!..

Он с ненавистью поглядел на выскочившую при этих криках в коридор черноволосую женщину и выбежал, хлопнув дверью.

— Господин Мухтаров очень взволнован, — объяснила Марта. — У него украли большую сумму денег.

— Покажите, пожалуйста, газету, — отвечала жилица странно срывающимся голосом. Ее молодое лицо подергивалось судорогой, словно она испытывала острую боль.

Капитан Мухтаров оказался очень еще неопытным сыщиком, — он и не подозревал, что в его пансионе живет жена Левинэ. В голову ему не пришло, что следить надо за соседней комнатой.

К ночи капитан явился к Эльзе.

Впервые пришел он к ней в пьяном виде.

Здесь, в уюте шторами занавешенной гостиной, господствовал лейтенант фон Лерхенфельд. Лейтенант был новым героем этого дома.

Лейтенант тихим голосом спокойно повествовал об аресте Левинэ. Да, он самолично арестовал этого разбойника. Пришлось сдерживать солдат, чтобы не растерзали. Да, после ошибки с католиками надо уже убивать судом, а не просто так. Господин Швабе должен быть доволен — он так волновался... Позиции того графа имеют поддержку — общество ищет успокоения в законе. Да и у власти стоят все-таки социалисты. Суд имеет, конечно, свои преимущества, — полезно публично разоблачить этого мошенника, бросившего обманутых им людей на произвол судьбы в момент краха всей авантюры. Такие чудовища достойны, конечно, только смерти, позорной смерти. Но при аресте он вел себя нагло, очень нагло...

Эльза даже рот чуть приоткрыла, слушая героя, и капитана Мухтарова передернуло при взгляде на нее. Теперь она будет прижиматься к лейтенанту! А этот дурак Швабе не знает прямо, как выразить свое восхищение!

Стребовать, что ли, денег за тайну похождений этой белокурой Гретхен? Она умеет завлекательно любить — есть о чем порассказать!

Путаница чувств и мыслей владела капитаном, когда все трое обернулись к нему.

Не здороваясь, капитан заорал:

— Грабеж среди бела дня! Украдено десять тысяч марок! Дьяволы! Сволочи! Но ладно! Капитан Мухтаров становится выше денег! Идея! Высокая идея! Бесплатно расстреляю мерзавца! Пытать мерзавца! Резать каждого сукина сына большевика! На улицах по столбам развешивать! Европа! Работать по-нашему, по-геройскому, не умеете, немчура проклятая!

Он орал по-русски, и никто не понимал его.

5

В ночной тиши рождались мысли. Еще не оформленные в слова, они не находили себе места в дневном шуме. Являлись они из этой дневной суеты, но, возвращаясь сюда обратно, блуждали и метались, не воплощаясь. Еще не известно было, что они определяют в жизни и чего требуют, но уже они беспокоили и мучили, чередуя упрямое молчание с внезапными взрывами яростного протеста, отталкивая от одного, притягивая к другому. Вдруг они тонули, сникая, но это только для того, чтобы вновь, с еще большей силой, овладеть внезапно и как будто беспричинно, в какое-нибудь самое обыденное мгновение жизни. Рожденные зрелищем жестокостей и нелепиц, они росли, зрели, и понемногу ясно становилось, что это — некие главные мысли, которые все равно победят и продиктуют всю жизнь. Они уже командовали поведением, и, чем ближе к зрелости, тем шумней толпились они в мозгу, как рабочие в стачке, как кули на плантациях, как рабы в римских катакомбах, и, вздымаясь, они толкали на действия и поступки. Они предвещали необычную жизнь, и прислушиваться к ним становилось уже наслаждением. Воздух революции рождал эти мечты.

Жизнь двоилась. Одна была заказана воспитанием, заботами и деньгами матери, другая — выращивалась непреклонной беспощадностью истории, рвалась из подполья, где мучились безгласные толпы неоформленных слов и несовершенных поступков.

Вторая жизнь свергла первую. Это был томительный и странный момент зрелости, решимости раскрыться, встать во весь рост, что бы ни получилось из этого. Когда ревнивая рапира гейдельбергского богача-студента кольнула в лоб, боль не породила страха, но обновила готовность к борьбе. Дуэль из-за первой любви, из-за девушки, которая была сменена вскоре другой и еще другой!.. Не таких дуэлей требовала история. Вся глубина смутных ощущений и мыслей не одобряла этой лассалевской дуэли. Вторая жизнь опрокинула первую и повлекла в книги и скитания. И в дело вступало мужество ума, не устающего в своих поисках и разведках.

Левинэ в страданиях хотел найти указания и уроки. В дружбах с эмигрантами русской колонии Гейдельберга он нашел слово «социализм», и оно только укрепило его в мечтах, рожденных протестом. Социализм требует самопожертвования — и вот, он готов к любому подвигу!

Он искал подвигов в эсеровской партии и одиннадцать лет тому назад едва не погиб в центре болот и лесов нищего, больного колтуном и коростой Полесья. Пойманный в агитационных блужданиях по гнилым деревушкам, он нагло, днем, выскочил за ворота минской тюрьмы и пустился бежать. Схваченный, он узнал тупую силу кулаков и беспощадность нагаек. Он свалился, и городовые топтали и били его тяжелыми своими сапожищами.

Жажда страданий была удовлетворена вполне. Левинэ узнал свое несдающееся мужество, обрадовался ему и оперся о него. Лежа на полу в коридоре тюремной больницы, Левинэ спокойно и сосредоточенно размышлял, уже предвидя поворот в своей жизни. Он не возражал, когда мать подкупами и поручительствами освобождала его, и навсегда вернулся, бежал в Германию.

Мать уверена была, что теперь он, как многие молодые люди, навсегда излечился от революционных мечтаний — так тихо и неподвижно лечился он у нее в гейдельбергской вилле, целыми днями лежа на кушетке с книгой и тетрадкой для заметок в руках. Мать радовалась и тому, что возврат в Россию для него уже невозможен, и тому, как хитро он принял баденское подданство. Запрос в Берлин мог обнаружить его неблагонадежность, неизвестную здесь, и потому он воскликнул изумленно:

— Неужели баденское правительство не может без Пруссии решить такое пустяковое дело?

И запрос не был послан.

Но Левинэ принял баденское подданство для того, чтобы делать революцию в Германии.

Мать не поняла молчаливой неподвижности сына. Это толпы недодуманных мыслей, как толпы загнанных в нищету рабов, требовали окончательной ясности и точности от того, кто стремился изменить, перевернуть жизнь. Это сын, наученный опасным опытом, искал ключ к будущему, рычаг восстаний. Надо было с четкостью военного стратега определить путь к победе, изучить ре-

волюционное дело как военную науку, подчинить стихию чувств расчетам разума.

Еще подростком, еще до того, как мать из петербургской гимназии перевела его в висбаденский пансион, Левинэ мучился неясностью своих стремлений, заполонявших его, как туман петербургских вечеров, когда все — от тротуаров до облаков — казалось отравленным. Этот туман поселился в сознании, этот туман стлался по его беллетристическим наброскам. Только теперь, в изучении всего исторического опыта, в постоянных поездках в Мангейм, где детально исследовал он жизнь рабочих, в подготовке докторской диссертации под спокойным названием «Культурные запросы рабочих», рассеивался туман. Вся путаница, все мучения и скитания его жизни разрешались понемногу очень просто: он открывал, что революция — это наука, это искусство. Здесь надо быть глубоким и тонким знатоком, а не расшибать лоб о стену.

В юности книги подсказывали ему неопределенность формул протеста, — его привлекала именно неопределенность. Теперь он с некоторым изумлением еще и еще раз возвращался к точным и четким, как математика, формулам Маркса. Почему он раньше не вникал в них? Ведь еще студентом он мог цитировать Маркса наизусть! Происхождение? Воспитание? Возраст? Или просто отвращение юности к сухой науке? Неужели только кулаками и сапогами полицейских излечиваются романтический авантюризм и путаница в мозгах? Неужели только так добывается зрелость? Как медленно живут и умнеют люди! Нельзя ли ускорить?

Вновь брошена гейдельбергская вилла. Страстность все больше покорялась соображениям ума. Левинэ общался с фабриками и заводами, составлял доклады и лекции и удивительно много читал. К войне уже дружба связывала его с Либкнехтом. Война была побеждена пониманием причин ее, и в армии его бросали из лагеря в лагерь, так что неясно становилось, германский ли он солдат, переводчиком приставленный к пленным, или сам в плену. Русский Октябрь привел на работу в берлинскую Роста как ученика и последователя. И это была уже пустая формальность — порвать всякую связь с левыми эсерами после убийства Мирбаха. Через русский Октябрь, оказывается, пролегает путь к той самой справедливой,

без угнетателей и угнетенных, жизни, о которой неопределенно мечталось в юности. Ключ был найден, рука нащупала верный рычаг. Мужество ума и мужество тела действовали теперь едино и слитно.

Даже в берлинском и мюнхенском разгроме этот найденный секрет не покидал ни на шаг. Отчаяние, мотавшее его по этой мюнхенской комнате, не давая ни секунды отдыха, забежало из юности и хотя измучило, но не толкнуло ни на один неверный шаг. Не оно определяло его поведение, а невыполненные обязательства перед миром рабства и нищеты. Тысячи трупов будут отомщены в свободе и счастье миллионов. Победа все равно неизбежна. И он не пошатнется даже при самой страшной катастрофе, даже при гибели самых близких людей.

Левинэ прощался с приютившей его комнатой без жалости. Он оставлял тут напрасные мучения бессонных ночей. Он исходил по этой комнате столько километров, что если б уложить их в длину, то, может быть, он был бы уже за пределами Германии. Эта комната пыталась побороть его решимость и вернуть его к безумствам юности. Но он еще раз победил здесь сам себя.

В безмолвии последних движений крепла решимость. Бежать!

Левинэ весь был устремлен в бегство.

Грохот тяжелых сапог нарушил тишину последних приготовлений.

Дверь отворилась, и первым в комнату вошел лейтенант фон Лерхенфельд с револьвером в руке.

— Вы арестованы, господин Левинэ-Ниссен, — сказал он.

Левинэ замер в неподвижности, как бы не понимая, что такое произошло. Он глядел на лейтенанта с некоторым даже недоумением, как на непостижимую помеху. Перевел взгляд на добровольцев, теснившихся в комнату, и, пожав плечами, ногой оттолкнул от себя чемодан. Лейтенант сделал два быстрых шага назад, словно чемодан был набит готовыми взорваться бомбами. Но чемодан, повалившись набок, не взорвался, и тогда добровольцы ринулись к Левинэ для немедленной расправы.

— Ни с места!

И офицер, угрожая револьвером, заставил их остановиться. Этот неожиданный поступок удивил Левинэ, и

вместе с удивлением вернулось к нему полное сознание совершившегося факта. Арест! В последний момент, когда все готово к бегству, — арест!..

Толпа чувствовалась под окнами — столько солдат, подкатив на грузовиках, оцепило дом, что можно было подумать: тут усмиряют целую роту мятежников!

Опытные руки филеров уже рылись в чемодане.

Левинэ пристально следил за их движениями.

— Тут воров нету, — очень вежливо промолвил офицер. — У вас ничего не отберут без записи.

— Напротив, — отвечал Левинэ, усмехнувшись, — я не хочу, чтобы мне что-нибудь подбросили. Украсть — пусть крадут.

Его уже не удивляла вежливость офицера. Эта вежливость, так же как изобилие посланных для ареста солдат, бесспорно рождена неуверенностью и страхом победителей. Заводы, фабрики, железнодорожные мастерские — весь мир труда, рабства и нищеты, пусть побежденный, разгромленный сейчас, все равно устрашает победителей. Им приходится вести себя осторожно даже с ненавистным главарем восстаний, чтобы не взорвать неисчерпаемый резервуар революций неосмотрительным движением. И эта невидимая, но ощутимо присутствующая здесь сила, которой отдал себя Левинэ, внушала ему, как всегда, бодрость и уверенность.

В мужестве своем Левинэ не сомневался — много раз проверенное, оно было уже издавна знакомо ему. Спокойствие и ирония давались ему сейчас легко.

Итак, несмотря на страстное желание разделить участь товарищей, сделано было все, чтобы выполнить постановление партии — бежать. Но бежать не удалось. Поймали. Таков был итог последних дней.

Вновь — в который уже раз! — жилищем Левинэ стала тюрьма. Железная койка, грубо обрубленный стул, стол, окошко, одетое железной решеткой, — до чего это все знакомо! Но впервые в жизни ненависть и страх врага заковали его в цепи.

Если б не цепи, можно было бы подумать о бегстве. Неподвижный в тяжелых своих кандалах, Левинэ оглядывал камеру, внимательно изучая ее. Он сразу же отметил то особенное, что отличало ее от всех прежних камер: странно в ней то, что дверь почему-то оставлена

приоткрытой. Зачем? Но это как-нибудь объяснится, надо терпеливо ждать...

Солдаты то и дело совались в камеру. Это постоянное шарканье и мелькающие рожи не давали покоя ни на миг.

Все это весьма подозрительно, потому что явно сделано не случайно, а преднамеренно!..

Но ладно! Просто надо быть готовым ко всему.

То и дело хотелось встать и по всегдашней привычке зашагать от стены к стене и обратно. Так легче думается и еще бодрей чувствуется. Но кандалы неумолимой тяжестью напоминали о плене, о поражении, о гибели товарищей. Наручники сжимали его, как горе, как мысль о жене, о сыне. Что будет с ними? Как переживет жена? Если б хоть недолго побыть с ней вдвоем, наедине!..

Он уже был бы мертв, если б офицер при аресте не сдержал добровольных убийц. Этот офицер вынужден был запретить им расправу, хотя сам готов был растерзать его. Игра! При аресте законность должна быть соблюдена, а дальше...

Поражение, разлука, плен — все соединялось в одну боль.

Страха не было.

Не страх, а боль.

— Schmerz empfind'ich, keine Furcht, — повторял он про себя, не спуская глаз с приоткрытой двери.

Интересно бы заглянуть в коридор — какой сюрприз готовится там?

Боль сегодняшних поражений — опыт и урок для будущих побед. Но боль все-таки есть. Она не покидает его ни на миг. Он полон ею!

— Schmerz empfind'ich, keine Furcht...

Ага! В коридоре нарастает шум!

Сейчас обнаружится секрет гуманно приоткрытой двери. Европейская цивилизация любит в таких делах тайну. Тут, в застенке, дело пойдет без вежливости, без манишек и крахмальных воротничков.

Пьяное европейское варварство ворвалось в камеру.

Одиннадцать или двенадцать полицейских агентов в пиджаках, в форменных и полуформенных куртках, воодушевляя себя криками, кинулись к Левинэ.

Смерть!

Они остановились на миг, упершись взглядами в него, словно соображая, с какой стороны ловчей кинуться.

— Я — один, вас — много, — сказал Левинэ, в упор глядя на них немигающими глазами и чуть приподымаясь со стула. — Что ж...

И он усмехнулся прямо в лицо ближайшему агенту, низенькому сангвиническому человечку, уже подскочившему к нему.

— Нет! — истерически закричал тот и рванул на себе ворот. — Запрещаю! По закону!

И, растопырив руки и ноги, он встал перед Левинэ.

Левинэ вновь опустился на стул.

Агент был так мал ростом, что затылок его пришелся вровень с лицом сидящего Левинэ. На затылке кольцами вились каштановые волосы, на шее по самой середине багровел крупный чирей.

— Европа! — орал капитан Мухтаров. — Да пустите вы меня, сукины дети, бабы слабонервные!

Но его уже выталкивали.

Дверь камеры замкнулась на ключ.

6

Розалья Владимировна Левинэ давно не видалась с сыном. Было похоже, что сын сознательно избегает показываться в Гейдельберге именно потому, что там живет мать. Может быть, этот город отмечен даже особой нелюбовью сына. Сын, надежда Розальи Владимировны, давно уже стал ее несчастьем.

В детстве и юности Розалья Владимировна хорошо изучила унижения и грязь нищеты. Но уже в полутемной мансарде, в которой она ютилась вместе с родителями и сестрами, воображение предсказывало ей прекрасное будущее. Просыпаясь, она говорила иногда мечтательно:

— Эй, прислуга, подать мне мое зеленое платье!

Но пока что приходилось ей одеваться самой. А зеленое платье было ее единственным платьем.

Она жила в обойных лоскутьях и грошовых расчетах отца, но бедность еще не успела сломить ее, когда мечта исполнилась: дочь гродненского обойщика стала богатой барыней. Счастье явилось в образе господина Левинэ, того самого, портреты которого, овитые плющом и траурными

лентами, во множестве повисли по стенам двенадцатикомнатной квартиры через три года после рождения сына. Господин Левинэ, прельщенный красотой гродненской мещанки, женился на ней и увез ее к себе в Петербург.

Розалья Владимировна приняла роскошь и богатство как должное, как естественное исполнение мечтаний. Но она навсегда благодарно полюбила своего благодетеля и после смерти его поклялась остаться верной его памяти и ни за кого больше не выходить замуж. Клятву свою она выполняла свято.

Страстно, как любимейшую мечту, она отвоевала наследство от наскочивших в азарте родственников Левинэ, а кстати отогнала и своих родных, чтобы не смущали детей воспоминаниями о былой бедности. Все эти тети Минны и дяди Германы не нужны детям. Они только вымаливают деньги да жалуются. Совсем другие гости создают благородную жизнь, — сам господин Вышнеградский посещает ее со своей супругой, а лицеисты уже волочатся за Соней.

Собственный выезд, целый штат прислуги, три гувернантки, даже специальный балетмейстер для обучения Сони и Жени танцам, — все это призвано было отгородить детей от всех печалей и несчастий жизни. Она защищала их детство со всей страстью, той страстью, которая покорила в свое время господина Левинэ. Пусть детство их будет безоблачным! И она была упряма и категорична в своих действиях, как будто только ей была известна тайна счастливой жизни.

Господин Левинэ был итальянским подданным, представителем финляндской хлопчатобумажной фабрики, жил постоянно в Петербурге, а с женой разговаривал обычно по-немецки. Эту путаницу стран и языков Розалья Владимировна объяснила детям кратко и точно: они — немцы, притом их отец происходит из очень аристократического рода. И она отдала сына в немецкую гимназию, возила его, чтоб был здоров, по лучшим курортам мира, — излюбленными ее странами стали Германия и Швейцария, — и уже четырнадцатилетним подростком перевела его в висбаденский пансион, в котором учились дети миллионеров. После этого, естественно, сын оказался не в Петербургском, а в Гейдельбергском университете.

И вот, наконец, добился своего — Розалья Владимировна получила известие, что сын, избитый и израненный, лежит при смерти в тюремной больнице. Лежит уже несколько недель, а родной матери ни слова.

Розалья Владимировна ринулась в Россию. В короткий срок всему минскому начальству знаком стал ее категорический, не допускающий возражений голос, да и не только минскому, — в Петербурге тоже она показала себя. Кое-кто из начальства уже принял от нее конверты с деньгами. Она раздавала эти конверты с большим выбором и только безусловно нужным людям. И она вырвала сына из тюрьмы.

— Ну что — доигрался? — говорила она ему, следя, как он харкает кровью. — Я же тебе говорила.

Но он переупрямил и тут — занялся революцией в Германии. Приходилось следить теперь, как он добывает славу революционного журналиста, международного революционера.

Его теории возмущали мать. Получалось так, что он хочет отобрать, например, и у родной матери деньги и имущество, отнять законно полученное наследство и раздать его всякой нищей рвани, которая и в родственных связях даже не состоит. Не должно быть богатых людей? Значит, всем оставаться голью без всяких надежд на лучшее? Так тогда и жить не стоит! Он совсем рехнулся! Нет, он бесспорно пошел в дядю Германа!

Но Розалья Владимировна сохранила всю свою непоколебимую упорность даже тогда, когда узнала, что ее сын стал чуть ли не министром-президентом в Баварии и всерьез начал осуществлять свои сумасшедшие теории. Он действительно отобрал у людей все их предприятия и доходы, добирается до сейфов... И это — ее сын, ее Женя! Но когда она узнала, что ему полагается по должности автомобиль и он ездит в нем, она ощутила неожиданное недовольство и желание поруководить им. Это уже штучки! Если ты революционер — то уж ходи пешком. Революционеру в автомобилях кататься не полагается.

Но все же — что происходит на этом свете? Почему шатается все, в чем она видит счастье жизни? Может быть, сын еще окажется прав и будет поучать родную мать?

Но сына постигло очередное несчастье. Его там, в Баварии, победили. Потом по всем газетам было распечатано, что он арестован. Ну, теперь его могут всерьез казнить, — на этот раз он натворил слишком много безумств! И Розалья Владимировна устремилась в Мюнхен, захватив на всякий случай дочь.

Тотчас же по приезде она, выяснив адреса всех адвокатов, отправилась к тому, который носил титул графа. Граф — это авторитетно! Говорили, что и берет он немало, а она всегда считала, что чем дороже что-нибудь стоит, тем, значит, это лучше, добротнее.

Приемная всеми своими креслами, кушетками, бюро показывала, что адвокат действительно богат и солиден. Все было монументально в этой приемной и обнаруживало хороший вкус. И на картинах — никаких голых женщин, никаких игривых сцен. Две картины — и на обеих охотники, собаки, лоси. Очень солидно и прилично.

Секретарша тоже понравилась Розалье Владимировне — никаких лишних слов, только попросила заполнить листок и скрылась. Вернувшись, сказала:

— Прошу вас пройти за мной. Господин граф вас примет.

И повела по длинному коридору.

— Пожалуйста.

Просторный кабинет открылся перед Розальей Владимировной. По крайней мере четверть комнаты занимал огромный письменный стол. На каждом предмете — на пресс-папье, на чернильнице, на всем решительно — фигуры животных, преимущественно собак и серн. Были и птицы. В углу простирало крылья чучело какого-то горного хищника. И сам хозяин, низкорослый бородач, был под стать этому зверинцу — этакий житель горных лесов с коричневым, обветренным лицом охотника. Он поднялся навстречу движением медленным, но гибким.

Розалья Владимировна, поздоровавшись, села и представилась резким и решительным голосом:

— Я — мать Евгения Левинэ.

Граф кивнул головой, глядя на нее своими глубоко запрятанными под мохнатые брови медвежьими глазками. Он не сомневался в цели ее визита. Шутка господина Швабе становилась реальной проблемой, которую

следовало так или иначе разрешить. Но отказ или согласие ни в коем случае не должны нарушить принципов, на которых зиждется жизнь и деятельность графа. А жизнь эта — в счастье и благополучии Баварии, которую он впустил к себе в квартиру всю с орлами и сернами во главе.

— Я обращаюсь к вам, граф, как к адвокату с предложением защищать моего сына на предстоящем процессе, — ровным, несрывающимся голосом говорила Розалья Владимировна. — Гонорар я уплачу вам в том размере, какой вы укажете.

Графу понравился этот решительный голос, вся повадка этой женщины, траурный, очень подходящий к ее положению, цвет ее платья. Он убрал руку, привычным жестом потянувшуюся к графину с водой, — успокаивать эту женщину не нужно, и зубы ее не будут стучать о края стакана. Бесспорно, визит обойдется без слез, и это внушило графу уважение к матери коммуниста.

Он ответил, помолчав:

— Я должен сначала поговорить с вашим сыном.

— Я хочу предупредить вас, — добавила Розалья Владимировна все тем же категорическим тоном, — что я не разделяю убеждений сына. Напротив, я ненавижу их (было понятно, кто это «они») за то, что из Евгения Левинэ, честного, бескорыстного юноши, они сделали врага собственной его семьи, врага матери и сестры. С его умом, с его талантами он мог создать себе блестящую карьеру и без них. Но они развратили его. Я вас прошу, граф, взять на себя защиту его жизни.

— Я вас вполне понимаю, — отвечал граф, наклоняя голову и нежно касаясь пальцами изобилия волос, падавших на грудь. Его удивляло, что этот Левинэ оказался действительно из культурной среды. — Но мне важно узнать сначала, по каким мотивам ваш сын действовал. Он действовал бескорыстно, по искреннему убеждению, не правда ли?

Вопрос был неожидан. Застигнутая врасплох, Розалья Владимировна утратила на миг обычную свою чопорность, и проглянула в ней нищая гродненская мещанка.

— А как же вы думаете? — отвечала она с некоторой даже наивностью, приятно омолодившей ее, и

еврейский акцент, давно побежденный, послышался в ее голосе. Теперь явственно виделось, как обольстительна была она некогда, — все очарование молодости всколыхнулось в ней, смягчая черты ее резко и сурово очерченного лица.

— Я должен предварительно повидаться с вашим сыном, — очень ласково промолвил граф. — Завтра в этот же час я вам дам окончательный ответ.

Она ушла.

Граф нажал кнопку звонка.

— Справлялись? — осведомился он у секретарши.

— Они просили очень благодарить вас за помощь, — отвечала секретарша. — Пока больше ничего им не нужно.

— Прошу вас регулярно справляться об их нуждах.

Дело касалось убитых по ошибке католиков. Среди них было несколько бедных подмастерьев, оставивших семьи в нищете. Граф помогал вдовам.

Это дело почему-то ассоциировалось в сознании графа с делом Левинэ. Вот к каким бессмысленным убийствам приводят нарушения закона! В законе — опора общества.

В этот же день Розалья Владимировна добилась свидания с сыном. Она остановилась на пороге. С отвращением глядя на цепи, сковавшие руки и ноги Левинэ, она воскликнула возмущенно:

— Я, кажется, попала в Россию?

Давно отвергнутое прошлое встало в образе матери на пороге этой тюремной, для свиданий, комнаты. Эта женщина, изуродованная неожиданным богатством, любила сына изуродованной любовью. Вот вновь явилась она выручать его.

— Здравствуй, мама, — сказал Левинэ. — Давно не видались.

7

Он, Левинэ, формулировал чувства и желания рабочих, далеко не у всех осознанные еще, сдерживаемые подчас навыками рабства, страхом, подачками хозяев. Мозг его отшлифован культурой, он — образованный человек. И он знает врага отлично, — ведь происхожде-

нием и воспитанием своим он связан с вражеским станом и теперь уже может спокойно расценить детство и юность как глубокую разведку в тылу у противника.

Он сознательно, прекрасно понимая, что делает, отказался от всех привилегий рождения и отдал себя на борьбу против того круга, в котором вырос. Он порвал все кровные связи и встал во главе революционного отряда, используя все силы своего ума и сердца для победы. И вот он побежден. Он — в плену. Он схвачен и закован в кандалы.

Это совершенно естественно для собственников — гнать в цепи, на каторгу, в смерть всякого, кто разглашает опасные тайны капитализма, открытые Марксом, всякого, кто на этих открытиях основывает, как Маркс, свои действия. Властители жизни боятся науки Маркса, как средневековье боялось науки Коперника и Галилея. Открытия Маркса опасны, как динамит, — они взрывают самые главные устои общества. Он, Левинэ, выполняя волю народа, использовал этот динамит для взрыва в Баварии. Его смерть, если суждено ему погибнуть за это, не остановит хода истории. Все равно печатью падения и гибели заклеймен весь старый порядок, как бы ни дрались за него безумеющие от ярости собственники. Это — приговор истории. История работает на пролетариат. Новое Возрождение предвещено, предсказано Марксом, и динамит Маркса — в руках опытных мастеров: партия коммунистов, как мировое объединение лучших химиков, работает этим динамитом. Основа поведения каждого коммуниста — только в законах этой партии.

Левинэ подумалось на миг, что мать может гордиться своим сыном, и эта гордость послужит ей утешением.

Он ответил на ее возмущение:

— Эти цепи — почетная награда мне за хорошую службу пролетариату.

Но мать никак не откликнулась на эти слова, как будто и сказаны они не были. Помолчав, она сообщила:

— Я уговорилась с адвокатом, он зайдет к тебе. Он хочет сначала поговорить с тобой. Это — лучший адвокат Мюнхена.

— У меня к тебе только одна просьба, — отвечал Левинэ, — позаботиться о жене и сыне, твоем внуке, если им понадобится помощь. Они останутся без всяких средств к существованию.

Он все еще надеялся...

Но мать и на эти слова никак не отозвалась.

Бесспорно, она опять рассчитывает спасти его и вырвать из революционной работы, из круга самых близких ему людей, из семьи, созданной им против ее воли, из всего, чем он жил, смыть с него следы этой жизни и пересадить к себе в гейдельбергский комфорт, в старый, умирающий порядок. Она никогда не поймет, что привело его в эту тюрьму.

Есть счастливцы, которым и родные по крови — опора. Но он лишен этого. Он — пришелец из буржуазной среды. И мать, сидевшая рядом с ним, несравнимо дальше от него, чем любой из товарищей, от которых он оторван, отрезан сейчас. Она отвергала все, что он любил, все главное, чем он жил. Разве не знал он этого раньше? И ему стыдно стало, что он обратился к ней с просьбой о жене и сыне.

Но все-таки это мать, и по-своему она любит его.

— Мы давно не видались с тобой, — повторил он и спросил спокойно, словно не в тюрьме они: — А Соня где? В Гейдельберге? Как она?

— Соня приехала со мной, — отвечала мать. — Я взяла ее с собой. Она очень нервничает.

Мать еще раз с отвращением поглядела на кандалы сына.

— Как ты тут спишь? — спросила она.

Было приятно, что она держится спокойно, без сентиментов и слез. Никаких мелодрам. Сильная и упрямая женщина.

— Хорошо сплю, — отвечал он.

— А пища?

— Тюремная. Кроме того, рабочие передают продукты.

— О пище я позабочусь. Как смели надеть на тебя цепи? Это — Россия!

Свидание длилось недолго.

Они поцеловались на прощание.

нием и воспитанием своим он связан с вражеским станом и теперь уже может спокойно расценить детство и юность как глубокую разведку в тылу у противника.

Он сознательно, прекрасно понимая, что делает, отказался от всех привилегий рождения и отдал себя на борьбу против того круга, в котором вырос. Он порвал все кровные связи и встал во главе революционного отряда, используя все силы своего ума и сердца для победы. И вот он побежден. Он — в плену. Он схвачен и закован в кандалы.

Это совершенно естественно для собственников — гнать в цепи, на каторгу, в смерть всякого, кто разглашает опасные тайны капитализма, открытые Марксом, всякого, кто на этих открытиях основывает, как Маркс, свои действия. Властители жизни боятся науки Маркса, как средневековье боялось науки Коперника и Галилея. Открытия Маркса опасны, как динамит, — они взрывают самые главные устои общества. Он, Левинэ, выполняя волю народа, использовал этот динамит для взрыва в Баварии. Его смерть, если суждено ему погибнуть за это, не остановит хода истории. Все равно печатью падения и гибели заклеймен весь старый порядок, как бы ни дрались за него безумеющие от ярости собственники. Это — приговор истории. История работает на пролетариат. Новое Возрождение предвещено, предсказано Марксом, и динамит Маркса — в руках опытных мастеров: партия коммунистов, как мировое объединение лучших химиков, работает этим динамитом. Основа поведения каждого коммуниста — только в законах этой партии.

Левинэ подумалось на миг, что мать может гордиться своим сыном, и эта гордость послужит ей утешением.

Он ответил на ее возмущение:

— Эти цепи — почетная награда мне за хорошую службу пролетариату.

Но мать никак не откликнулась на эти слова, как будто и сказаны они не были. Помолчав, она сообщила:

— Я уговорилась с адвокатом, он зайдет к тебе. Он хочет сначала поговорить с тобой. Это — лучший адвокат Мюнхена.

— У меня к тебе только одна просьба, — отвечал Левинэ, — позаботиться о жене и сыне, твоем внуке, если им понадобится помощь. Они останутся без всяких средств к существованию.

Он все еще надеялся...

Но мать и на эти слова никак не отозвалась.

Бесспорно, она опять рассчитывает спасти его и вырвать из революционной работы, из круга самых близких ему людей, из семьи, созданной им против ее воли, из всего, чем он жил, смыть с него следы этой жизни и пересадить к себе в гейдельбергский комфорт, в старый, умирающий порядок. Она никогда не поймет, что привело его в эту тюрьму.

Есть счастливцы, которым и родные по крови — опора. Но он лишен этого. Он — пришелец из буржуазной среды. И мать, сидевшая рядом с ним, несравнимо дальше от него, чем любой из товарищей, от которых он оторван, отрезан сейчас. Она отвергала все, что он любил, все главное, чем он жил. Разве не знал он этого раньше? И ему стыдно стало, что он обратился к ней с просьбой о жене и сыне.

Но все-таки это мать, и по-своему она любит его.

— Мы давно не видались с тобой, — повторил он и спросил спокойно, словно не в тюрьме они: — А Соня где? В Гейдельберге? Как она?

— Соня приехала со мной, — отвечала мать. — Я взяла ее с собой. Она очень нервничает.

Мать еще раз с отвращением поглядела на кандалы сына.

— Как ты тут спишь? — спросила она.

Было приятно, что она держится спокойно, без сентиментов и слез. Никаких мелодрам. Сильная и упрямая женщина.

— Хорошо сплю, — отвечал он.

— А пища?

— Тюремная. Кроме того, рабочие передают продукты.

— О пище я позабочусь. Как смели надеть на тебя цепи? Это — Россия!

Свидание длилось недолго.

Они поцеловались на прощание.

Теперь надо выдержать визит адвоката, скуку юридической канители.

Все, что ставят ему в вину нынешние победители, — все это его заслуги, его гордость, его честь и слава. Если динамит Маркса действовал правильно и хорошо в его руках, то он счастлив. Родить в нем трепет может теперь только суд пролетариата, партии, суд над ним, вождем мюнхенских коммунистов, побежденных в борьбе. Если такой суд скажет: «Ты плохо работал», то в этом будет самая жгучая боль.

— Я не гожусь вам как подзащитный, — предупредил он графа, когда был вызван на свидание с ним.— Должен сказать вам, что я не намерен защищать себя на суде и добиваться смягчения наказания. Суд я рассматриваю как представителей определенного класса, которые являются моими политическими противниками. Ту борьбу, которую я вел, я буду продолжать и на процессе.

— Я очень рад этому, — отвечал граф, и это было так неожиданно, что Левинэ взглянул на него с любопытством. — Конечно, вы должны высказывать на суде свои убеждения с полной свободой.

— В таком случае, — и Левинэ пожал плечами, — о чем нам еще говорить? Я не знаю ваших политических убеждений, но думаю, что они — не мои. Вряд ли вы уверены в окончательной победе рабочего класса.

— А вы уверены в этой победе? — спросил граф.

— Конечно! На этом держится вся моя жизнь, вся моя работа. Меня не переубедит и угроза смертной казни.

Граф помолчал. Медлительный, любящий паузы, необходимые для размышлений, в коричневой своей охотничьей куртке, весь он был какой-то очень домашний, неофициальный, и удивительное отсутствие напряжения чувствовалось в каждом тяжеловатом движении его низкорослого могучего тела, в каждом звуке его голоса.

— Вы не будете приговорены к смерти, — отозвался он наконец. — Вы не должны быть приговорены к смерти, — поправился он.

Левинэ насмешливо пожал плечами в ответ.

Граф кротко погладил бороду и терпеливо, снисходительно принялся разъяснять:

— Вам будет предъявлено обвинение в государственной измене...

— В неудавшейся государственной измене, — перебил Левинэ, улыбнувшись иронически и злобно, так, что складки пошли по его щекам и сверкнули зубы. — Удавшаяся государственная измена не есть уже измена, граф. Тех, кому удался переворот и захват власти, не судят, а называют правительством. Обвинение в государственной измене вытекает из политических, а не из юридических соображений.

— За государственную измену по закону приговорить к смерти нельзя, — продолжал граф спокойно. — Такого пункта в нашем законе нет. В нашем законе отсутствует также пункт, по которому деятельность коммуниста карается смертью. Принадлежность к партии коммунистов не карается по нашему закону смертью. Вы могли бы быть приговорены к смерти только в том случае (он сделал паузу), если б было доказано, что вы действовали по бесчестным мотивам, а не по искреннему убеждению. Таков наш закон, нет?

— Я тоже юрист, — отвечал Левинэ.—Я изучал право в Гейдельбергском университете, и добросовестно изучал. Мать прочила мне адвокатскую карьеру. Я знаю пункты закона. Но я адвокат особого рода. Мой клиент—рабочий класс. Я взялся защищать его интересы, отстаивать их всей своей жизнью и деятельностью, а эти интересы требуют борьбы за власть, свержения власти собственников, установления диктатуры пролетариата. Мои деяния направлены против существования тех, кто будет судить меня, и, что бы ни говорил ваш закон, закон борьбы классов приговорит меня к смерти, если только не испугаются судьи возмущения рабочих. Забудьте о законе и подумайте о политической борьбе.

— Вы очень убежденный человек, — сказал граф без улыбки. — Я вижу, что вам действительно очень жалко неимущих людей. Вы — очень добрый человек, не правда ли?

Вся беседа была необычайна для графа. Невероятно уже одно то, что так хладнокровно можно было рассуждать о смертной казни с тем, кому грозит она.

Теперь надо выдержать визит адвоката, скуку юридической канители.

Все, что ставят ему в вину нынешние победители, — все это его заслуги, его гордость, его честь и слава. Если динамит Маркса действовал правильно и хорошо в его руках, то он счастлив. Родить в нем трепет может теперь только суд пролетариата, партии, суд над ним, вождем мюнхенских коммунистов, побежденных в борьбе. Если такой суд скажет: «Ты плохо работал», то в этом будет самая жгучая боль.

— Я не гожусь вам как подзащитный, — предупредил он графа, когда был вызван на свидание с ним.— Должен сказать вам, что я не намерен защищать себя на суде и добиваться смягчения наказания. Суд я рассматриваю как представителей определенного класса, которые являются моими политическими противниками. Ту борьбу, которую я вел, я буду продолжать и на процессе.

— Я очень рад этому, — отвечал граф, и это было так неожиданно, что Левинэ взглянул на него с любопытством. — Конечно, вы должны высказывать на суде свои убеждения с полной свободой.

— В таком случае, — и Левинэ пожал плечами, — о чем нам еще говорить? Я не знаю ваших политических убеждений, но думаю, что они — не мои. Вряд ли вы уверены в окончательной победе рабочего класса.

— А вы уверены в этой победе? — спросил граф.

— Конечно! На этом держится вся моя жизнь, вся моя работа. Меня не переубедит и угроза смертной казни.

Граф помолчал. Медлительный, любящий паузы, необходимые для размышлений, в коричневой своей охотничьей куртке, весь он был какой-то очень домашний, неофициальный, и удивительное отсутствие напряжения чувствовалось в каждом тяжеловатом движении его низкорослого могучего тела, в каждом звуке его голоса.

— Вы не будете приговорены к смерти, — отозвался он наконец. — Вы не должны быть приговорены к смерти, — поправился он.

Левинэ насмешливо пожал плечами в ответ.

Граф кротко погладил бороду и терпеливо, снисходительно принялся разъяснять:

— Вам будет предъявлено обвинение в государственной измене...

— В неудавшейся государственной измене, — перебил Левинэ, улыбнувшись иронически и злобно, так, что складки пошли по его щекам и сверкнули зубы. — Удавшаяся государственная измена не есть уже измена, граф. Тех, кому удался переворот и захват власти, не судят, а называют правительством. Обвинение в государственной измене вытекает из политических, а не из юридических соображений.

— За государственную измену по закону приговорить к смерти нельзя, — продолжал граф спокойно. — Такого пункта в нашем законе нет. В нашем законе отсутствует также пункт, по которому деятельность коммуниста карается смертью. Принадлежность к партии коммунистов не карается по нашему закону смертью. Вы могли бы быть приговорены к смерти только в том случае (он сделал паузу), если б было доказано, что вы действовали по бесчестным мотивам, а не по искреннему убеждению. Таков наш закон, нет?

— Я тоже юрист, — отвечал Левинэ.—Я изучал право в Гейдельбергском университете, и добросовестно изучал. Мать прочила мне адвокатскую карьеру. Я знаю пункты закона. Но я адвокат особого рода. Мой клиент—рабочий класс. Я взялся защищать его интересы, отстаивать их всей своей жизнью и деятельностью, а эти интересы требуют борьбы за власть, свержения власти собственников, установления диктатуры пролетариата. Мои деяния направлены против существования тех, кто будет судить меня, и, что бы ни говорил ваш закон, закон борьбы классов приговорит меня к смерти, если только не испугаются судьи возмущения рабочих. Забудьте о законе и подумайте о политической борьбе.

— Вы очень убежденный человек, — сказал граф без улыбки. — Я вижу, что вам действительно очень жалко неимущих людей. Вы — очень добрый человек, не правда ли?

Вся беседа была необычайна для графа. Невероятно уже одно то, что так хладнокровно можно было рассуждать о смертной казни с тем, кому грозит она.

Граф помолчал.

— Вам очень помогло бы, — вновь заговорил он, — если б вы подчеркнули на суде свою непричастность к убийству заложников. Добрые граждане очень взволнованы этим фактом.

— Я, граф, недобр к врагам, — отвечал Левинэ. — Добрые граждане взволнованы расстрелом десяти заговорщиков, активных, заклятых наших врагов, расстрелом в критический момент разгрома, когда эти десять могли оказаться во главе убийц пролетариата, — а добрых граждан не волнуют сотни и тысячи рабочих, убитых и замученных белым террором! Вы предлагаете мне опорочить моего клиента — рабочий класс — и этим попытаться спасти себя. Это даже нарушение адвокатской этики, граф. Но — без шуток! — никаких увертюк в моих выступлениях не будет. Ни одного слова против действий пролетариата.

— Но ваша непричастность к этому факту известна! — воскликнул граф, впервые за время разговора слегка возвышая голос. — Одно слово осуждения этому убийству — и вы спасены наверняка!

— Нет, — отвечал Левинэ и стал вразумительно разъяснять — не столько для графа, сколько для безгласных свидетелей беседы, солдат и тюремного сторожа: — Мы, коммунисты, против индивидуального террора, и вообще мы в принципе против смертной казни. Пролетарская революция для своих целей не нуждается в индивидуальном терроре, она ненавидит и презирает убийство. Она не нуждается в этих средствах борьбы, потому что она борется не с индивидуумами. Почему же мы все-таки прибегаем к борьбе? Это является следствием того исторического факта, что до сих пор каждый привилегированный класс вооруженной рукой защищал свои привилегии... И так как мы это знаем, так как мы не живем в заоблачном царстве и не могли рассчитывать, что в Баварии — другие взаимоотношения, чем везде, что здесь буржуазия и класс капиталистов позволят экспроприировать себя без сопротивления, — поэтому мы и вооружили рабочих, чтобы защищаться от нападений этих экспроприированных капиталистов. Так было до сих пор везде, и так мы будем везде поступать, где нам удастся стать у власти. Нам чужда жажда кровопролития. Мы,

наоборот, были бы очень рады, если бы владевший до сих пор всеми привилегиями класс отказался бы от безнадежной борьбы, потому что борьба должна стать для них в конце концов безнадежной. Но этого не бывает. Я хотел бы обратить ваше внимание, господин граф, на то, что победа пролетариата в ноябрьские дни тоже была бескровной и что, например, в Берлине первые выстрелы раздались в шесть часов вечера из манежа, откуда офицеры, недовольные ходом событий, стреляли в безоружных прохожих. Вооружение пролетариата имело целью удержать буржуазию от вооруженных контрвыступлений. На террор мы отвечаем террором. Мы не можем отпустить на свободу даже десять человек в тот момент, когда они заведомо немедленно же организуют сотни и тысячи убийств.

Граф встал.

— Юридически, по закону, вы не подлежите смертной казни, — резюмировал он. — Вы — человек убежденный, вы действовали по внутреннему убеждению, ваши убеждения никак не сходятся с моими, но я вас буду защищать и надеюсь спасти вам жизнь.

Отводя Левинэ обратно в камеру, караульный солдат внезапно осведомился:

— За это вы и сидите тут?

Солдат — длинный, худощавый, неловкий в движениях, с коричневым, замкнутым мужицким лицом.

Левинэ толково, стараясь выражаться еще проще, чем в беседе с графом, еще раз разъяснил ему все причины.

Солдат молча запер его в камеру.

Со следующего утра одиночество кончилось. Тюремная камера приняла вид некоего странного салона. Кучками и в одиночку начали являться неожиданные визитеры. Какие-то комиссии с одними и теми же вопросами, группы совершенно чуждых ему людей, с любопытством взиравших на него, надоедали и раздражали. Было ясно, что это — не деловые визиты, — на него просто ходят смотреть, как на редкого зверя, как на знаменитого разбойника. Эти посетители без всяких стеснений делились при нем же своими впечатлениями.

Некий полицейский чиновник, весьма изящно, не без фатовства одетый, подложил ему альбомчик с цветочками на бархатном переплете:

— Я был бы очень благодарен вам, если б вы оказали любезность подарить мне свой автограф.

Это был либеральный, немножко сентиментальный человек. Он очень высоко расценивал этот свой поступок, даже опасный, пожалуй, с точки зрения служебной. Но он гордился своим смелым свободомыслием и заранее восхищался как коллекционер, — его собрание обогатится предсмертными жалобными строками интереснейшего преступника. Наверное, это будет мольба о жизни, слова предсмертной тоски, что-нибудь лирическое, хватающее за душу... Он будет показывать эту драгоценную запись интимным друзьям, женщинам... И он нежно улыбался, пока Левинэ заполнял страничку.

— Благодарю вас, — промолвил он, принимая альбом.

Но с лица его тотчас же слетела улыбка. Эту запись никому нельзя будет показывать. Самое лучшее — вырвать, сжечь этот листок! Левинэ написал только одну фразу: «Я желаю вам заниматься более достойным делом». Какая наглость!

Элегантный чиновник удалился в полном возмущении.

Очередное дежурство держал тот же худощавый солдат. Выпустив чиновника, он вдруг сказал:

— А мы про вас другое знали. Нам говорили — вы хотите всех нас убить.

Это был медленно думающий парень, из тех баварских крестьян, что способны часами сосать свои трубки, расставляя слова во времени, как верстовые столбы.

Прошли еще часы, прежде чем он, вновь появившись в следующее свое дежурство на пороге, сообщил:

— Я хозяину работал хорошо. А он у меня и корову взял, и лошадь взял, и землю. Вот тут теперь получаю плату.

Новая деятельность, новая работа нашлась для Левинэ и в тюрьме. Она побеждала боль поражений и разлук.

8

Беззвучно и пустынно раннее утро Мюнхена. Пелена ночной тени не снята еще издалека идущим солнцем. Только безмерные просторы Терезина луга, не захваченные камнем домов, открыты самым первым лучам, как

недавно открыты были они толпам людей, полных надежд и песен. Но толпы сгинули, и редкая нога примнет теперь зелень трав Терезина луга.

Бормотание и лень владеют медленно просыпающимся городом, и чуть слышная жизнь дружит еще с плеском Изара и колыханием листвы. Жизнь приглушена и в низине Мариа-Хильф-плаца. Но сон прогнан отсюда давно. Воинская охрана оцепляет здание суда, и негромко звучат команды, сух стук прикладов о землю, и настороженна перекличка солдат. Пулемет грозится у входа. Ручные гранаты готовы в помощь пуле, — они грохотом разрушат безмолвие, в клочья разрывая всякого, кто ринется к зданию, и тогда просторная площадь ответит глухим эхо и сверкнут отсветом темные пролеты церкви, спящей против здания суда.

Солнце прогоняет сумрак, как люди — тишину. Все явственней вырезываются в паутине сникающих теней фигуры испытанных воинов, которым назначено сегодня сторожить последние часы Евгения Левинэ. И лейтенант фон Лерхенфельд шагает вдоль тротуара, проверяя посты, поджидая гостей.

Гости являлись спозаранку. Их было немного — строгий отбор беспощадно отклонял просьбы и ходатайства. Маленькое зальце, в которое все равно не упихнуть всех желающих, еще более ограничивало круг зрителей.

Вынимались и показывались пропуска. Зал наполнялся шумом жизни.

Здесь преобладали полицейские и военные мундиры. Господство гостей в мундирах подтягивало и штатских, заставляя их держаться прямее, жестче, мужественней. Немногочисленное общество рассаживалось по скамьям, тихо перекликаясь и переговариваясь.

Журналист, которого друзья называли обычно просто «товарищ Фриц», в напряжении хмурил брови, стараясь видом серьезным и деловым скрыть трепет, забирающий тело до озноба и дрожи. Корреспондентский билет проложил ему путь сюда, и теперь казалось ему: он попал в самую пасть зверя. Захлопнется пасть — и пропал товарищ Фриц! Для такого человека, как он, нужно мужество, чтобы явиться сюда, он был уверен в этом и гордился своим мужеством, осторожно оглядывая зал и всех сидящих в нем.

Эльза добилась через мужа и Лерхенфельда пропуска ради профессора Пфальца. Ее поразило сообщение, что профессор Пфальц помог Левинэ скрыться. Лично она не знала профессора, но ее мать до самой смерти вспоминала о нем, хотя они со студенческих лет не встречались больше, — они вместе обучались в университете. Мать Эльзы ревниво следила за карьерой бедного студента и, узнав однажды, что профессура вполне обеспечила его, вздохнула грустно:

— Ах, если б это случилось тогда!..

И вот этот самый Пфальц, в уважении к которому воспитывала мать, оказался спасителем убийцы. Как это могло произойти?

Господин Швабе объяснил Эльзе:

— Профессор Пфальц втянут обманом. Его уверили, что Левинэ не отвечает за бесчинства большевиков. Он знал этого негодяя студентом и не мог представить себе, на что способен этот культурный человек. Он очень удручен. Я уже справлялся, говорил о нем, и я спокоен за его судьбу. Он виноват в излишнем мягкосердечии, а кто из нас не мягкосердечен и не может быть обманут каким-нибудь мошенником?

Господин Швабе уже не так размахивал руками, как в первые дни победы, не так громогласно радовался каждому знакомому лицу. Он возвращал себе былую солидность и значительность в поведении. Его вновь вздымало богатствами хмеля, акаций, земель и вернувшейся уверенностью в сохранности этих богатств. В министерствах к его слову прислушивались. Он возвращал и свою власть над женой. Он уже резко обрывал ее попытки вмешиваться, как привыкла она за последнее время, в дела политические. Довольно! Политика — дело мужчин, а не женщин!

Капитан Мухтаров теперь и думать не смел посмеиваться над господином Швабе. Воскресла громадная дистанция в общественном положении обоих. Но капитан допускался все же на всякий случай в дом Швабе, тем более, что он стал интересен и как экзотика. Его очень удивило, что за пьяный визит его не только не выгнали из дома, но, напротив, принялись успокаивать, и Эльза даже незаметно для других пожала ему пальцы. Он даже отрезвел сразу тогда. Европа! К его выходке

отнеслись, наверное, как к тайнам и надрывам славянской души. Он решил научиться теперь владеть этими надрывами как средством. Он не терял надежды так или иначе завоевать Европу. Почтительно, издали поклонившись господину Швабе и Эльзе, он, абсолютно сегодня трезвый, сел в отдалении от них. Он вырабатывал свою манеру поведения — сочетание европейской внешности со славянскими взрывами души. Это может иметь успех.

Закрытый автомобиль примчал Левинэ к зданию суда.

Шевеление и шорох всколыхнули зал, когда ввели подсудимых.

Цепи были уже сняты с истощенного тела Левинэ. Его осунувшееся лицо вновь обросло черной бородой.

— Суд идет!

Седобородый председатель в сопровождении двух заседателей и трех офицеров вошел шагом торжественным и важным. Черная мантия и круглая шапочка, открывавшая седину висков, отделяли его, как некоего жреца, от обычно одетых с почтением взиравших на него зрителей.

Процесс начался так, как следует по закону, — установлением личности подсудимых.

Прокурор Ган был одет элегантно, даже нечто вызывающее было в его лимонной, с искрой, паре, как и во всей его повадке. Молодой, выбритый так, что, казалось, на щеках его никогда и не росли волосы, он сидел в позе свободной и в то же время четкой, как на параде. Движения его тела, когда он откидывался или чуть наклонялся к столу, делая пометки на листках, были красивы и точны, в них чувствовалась крепкая мускулатура здорового, любящего спорт мужчины. Он заменил прежде назначенного прокурора, показавшегося не энергичным и даже слабонервным, и всем своим видом сразу же вызвал теперь доверие присутствующих. Прокурор держался так уверенно, словно нашел замечательный и убийственный ход в сложной комбинации и уже точно знал, что противник обречен на проигрыш.

Ход был действительно найден, и прокурор был уверен, что речь его, как пуля, в самое сердце поразит этого бледного, исхудалого человека с бешеным сверканием в глазах.

Прокурор искренне ненавидел обвиняемого. И теперь с каждым словом Левинэ злоба нарастала в нем. Сейчас

поклоняется он сам. Надо показать, что это — бесчестный человек, действовавший по бесчестным мотивам.

Прокурор приступил к главной части своей речи голосом резким и звонким, в котором дрожало еле сдерживаемое негодование.

— Он разжег гражданскую войну, — говорил он, — но где был этот человек, где был этот вождь, когда надо было телом своим и жизнью постоять за свою идею? Где был обвиняемый, — спрашивал прокурор, — в дни, когда массы, которые вел он, которым внушил безумные страсти, с оружием в руках сражались за его идеи?

И негодование прорвалось.

Прокурор загремел в полную силу своего здорового темперамента, с откровенной уже ненавистью глядя на Левинэ:

— Спрятался он! Скрылся! Бежал! Не вышел биться за свои идеи! Не воспрянул! Не выскочил, чтобы жизнью своей пожертвовать за идею! Не присоединился! Не встал во главе масс, соблазненных им, поднятых на братоубийственную бойню! И это доказывает, — тотчас же резюмировал он, — что Левинэ — бесчестный человек!

Напряжение в зале достигло уже той тишины, которая, казалось, может дать электрический разряд. И теперь зал ахнул в ответ прокурору. А прокурор обращался уже через головы присутствующих к стране, ко всему миру:

— Пусть, наконец, в безумие уведенные массы узнают, кто руководил ими, какому вождю доверились они, какого вождя выбрали, и тогда, я убежден, наступит день мира, которого жаждет каждый, кто любит свое отечество и свой народ!

Он все еще берег последнее позорящее слово. Он все еще чередовал параграфы и пункты закона с восклицаниями негодования и возмущения. Он убеждал:

— Когда я обозреваю то несчастье, которое без всякого чувства ответственности принес этот человек Баварии в хозяйственном, культурном, правовом да и в чисто человеческом отношении, то я должен сказать — здесь не может быть никакого милосердия! Страшнее страшного то, что в течение долгого времени переживает наше отечество, и я представить себе не могу, что можно выдумать, изобрести, чтобы найти хоть атом смягчающих

вину обстоятельств для обвиняемого! С беспощадной жестокостью преследовал он свои цели, но, когда пришел день сражаться за идеи, которые он выбрал своим идеалом, он удрал, предоставив другим проливать кровь за абсолютно безнадежное дело!

И слово, наконец, выговорилось — слово, которого ждала аудитория:

— Трус!

— Нет оправдания этой трусости! — летел прокурор дальше и повернулся к судьям на полном ходу речи: — Вы сочтете его виновным в государственной измене без смягчающих вину обстоятельств и приговорите его к смертной казни!

9

Слово найдено.

Это слово — трус.

Это слово проводит Левинэ в его камеру, оно будет дразнить и мучить его в одиночестве и мраке, оно будет преследовать его до последнего дыхания и позорной плитой ляжет на его могилу.

Трус!

Распространить, распечатать по всем газетам!

Разгласить по рабочим районам!

Обесчестить, заклеймить самую память о Левинэ!

Позором доконать ненавистного главаря коммунистов!

Расстрелять его не как идейного врага, не как мужественного вождя восставших рабов, но как бесчестного труса, предавшего своих же товарищей в момент опасности и гибели!

Что может противопоставить Левинэ? Уже нет у него власти, нет трибуны, нет газет, и теперь не останется ни одного товарища, ни одного друга, который вспомнит о нем, пожалеет его. Он загнан в отчаяние и смерть. Он лишен даже славы мученика за идею, и не будет ему никакого утешения в предсмертные секунды.

«Трус? — думал товарищ Фриц. — Неужели трус?»

И неоспоримость фактов отвечала:

— Да, трус.

Почему бежал он?

Товарищ Фриц страдал.

— Трус, — повторял он про себя. — Трус...

Он шел, как слепой, по улицам, ошеломленный, потрясенный так, словно это ему завтра грозит смертный приговор. Крайняя впечатлительность уже давно предсказывала ему деятельность поэта.

Он придумывал сейчас оправдания для Левинэ и ничего, ничего не мог изобрести. Он весь полон был речью прокурора.

— Ну как?

Перед товарищем Фрицем стоял приземистый человек в засаленной куртке и слишком широкой солдатской фуражке. Фуражка была сбита на темя, чтобы не падала на белесые брови.

Товарищ Фриц обрадовался этому человеку, как успокоению и логике.

— Бедный Левинэ! — отвечал он взволнованно и печально.

— Расстрел?

— Зайдем в пивную, товарищ Биллиг.

Такие люди, как Эрнст Биллиг, всегда успокоительно действовали на товарища Фрица, его всегда тянуло к таким крепким пролетариям, ему хотелось, чтобы они любили его, видели, какой он в сущности хороший человек.

В углу пивной, малыми глотками прихлебывая пиво, товарищ Фриц добивался успокоения и логики, которую ему подсказывало чувство.

— Это был ужасный момент, — повествовал он, — когда человек, которого при всех несогласиях с ним мы признавали все же идейным, преданным революции, мужественным, признавали фанатиком идеи, — когда он вынужден был молча принять это позорное обвинение. Факты были против него — он как вождь не должен был бежать от масс, он должен был сражаться вместе с ними и умереть. Прокурор беспощадно, без всякой жалости ударил по этому самому слабому пункту в деятельности Левинэ. Несчастный Левинэ! Он, наверное, слишком поздно понял ошибочность своей тактики.

Эрнст Биллиг молчал, крепко зажимая ручку уже пустой кружки, и это поощряло товарища Фрица.

— Наверное, поняв всю ошибочность своей позиции, он потерял власть над собой, — продолжал товарищ

Фриц. — Он третировал нас, независимых. Помнишь, что он говорил? Я наизусть помню: «Независимые будут сначала идти вместе, потом станут колебаться, вступать в соглашения и, таким образом, сделаются бессознательными предателями». Помнишь? Как меня это ударило тогда! Он оскорблял нас, — а кто в результате оказался бессознательным предателем? Кто?

Страдание выражалось в каждой черте лица товарища Фрица, и он казался еще моложе, еще беспомощней и нежней, чем был. Кружка с пивом была слишком тяжела и груба для его тонких пальцев.

— Ах, товарищ Биллиг! — продолжал он. — Надо было действовать в согласии. В Баварии все делается по-хорошему, а он не знал баварского народа. Мы говорили ему — все может быть сделано без той борьбы, которую он затеял. Мы — тоже социалисты. Не надо было обострять отношений. Ведь даже со Шнеппенгорстом была договоренность, он шел с нами! Но Левинэ верил только в свою партию и в людей своей партии. Он сузил себя сознательно. И вот теперь он пожинает плоды своей тактики. Те, с кем он имел возможность работать для социализма, имеют право назвать его сейчас бесчестным трусом.

Биллиг все молчал, крепко сжимая ручку пивной кружки. Товарищ Фриц принимал это молчание за сочувствие. Он так полон был скорби и печали, что захотелось ему рассказать этому умному слесарю, этому хорошему человеку все, все до конца.

— Вы знаете, товарищ Биллиг, — сказал он, и кроткая улыбка изогнула его нежный, почти девичий рот, — мы ведь приняли все меры, чтобы не было разгрома и кровопролития. Я близок к нашим руководителям и знаю, — он снизил голос до шепота, — что они даже отвели войска с позиций, чтобы держать охрану в Мюнхене. Да, да...

— Именем Эгльгофера? — отрывисто спросил Биллиг.

— Да, — доверчиво, тихим шепотом ответил товарищ Фриц и ближе пригнулся к собеседнику. — Одним нам, без Эгльгофера, могли бы не поверить. Все было договорено и со штабом противника. Но было уже поздно! Страсти слишком разгорелись!.. Было сделано все, чтобы предотвратить кровопролитие, чтобы все

кончилось мирным соглашением, содружеством, да, да... Но было поздно, поздно! Массы уже не хотели подчиняться. Партизанские отряды, добровольцы Гофмана... Стихия вырвалась, слепая стихия!

— Вы увели войска с позиций? — спросил Биллиг тоже шепотом. Лицо его медленно наливалось кровью. Вновь летела над его головой чья-то винтовка и с плеском падала в Изар, вновь крики «отрезали! окружили!» гнали ничего не понимающих красноармейцев в Мюнхен, и вновь погибал в пытках Рудольф Эгльгофер, так до последней секунды и не узнав, значит, что случилось в армии, как использовано было его имя! — Вы увели войска? — повторял Биллиг, и глаза его сделались круглыми и не мигали больше. — Вы?

Товарищ Фриц молчал в недоумении и тревоге. Он отклонялся от слесаря, и тело его бессознательно приподымалось со стула.

— Товарищ Биллиг, — проговорил он, наконец, — но пацифизм...

— Рвать с вами надо было до конца! — тихо рявкнул Биллиг. — Гнать вас отовсюду, где вы засели, — из армии, из советов, рвать с вами до конца должен был Левинэ! Вот где слаба была партия! Гнать! Теперь я все понимаю! Трус? Не скрылся бы он — мы сами заставили бы его скрыться! У нас умных людей мало. Мы бросаться ими не позволим. А вас — слишком много. Гнать! Я много думал! Не для вас я теперь товарищ Биллиг. Гнать вас надо! Гнать.

Он сорвался со стула и со всей силы грохнул кружкой по столу. Фуражка слетела с его головы.

— Гнать! — рычал он, безумея от ярости и приступая к товарищу Фрицу. Он не выпускал из зажатых в кулак пальцев ручку от вдребезги разбившейся кружки. — Гнать к черту! К черту! К черту предателей! Изменников! Негодяев!

Немногочисленные посетители оглядывались, вставали. Из-за стойки вышел кельнер и двинулся к драчунам.

Товарищ Фриц побледнел так, что даже губы его стали белы.

— Гнать! — во весь голос, почти в беспамятстве выкрикнул Биллиг и бросился на Фрица, замахнувшись ручкой кружки.

И тут товарищ Фриц ринулся к двери.

Он пробежал почти два квартала и только тогда остановился, чтобы передохнуть.

Ему казалось, что сейчас, немедленно надо что-то сделать, исправить, объяснить. Надо двигаться, бегать, кричать... Надо предпринять что-то! Что? Спасти Левинэ! Устроить побег! Убить прокурора! Выстрелить в прокурора во время процесса и погибнуть!

Ноги сами несли его в редакцию.

Он влетел, горячий, как после боя, возбужденный и еще более красивый в своем возбуждении, чем обычно. Белокурые завитки волос были спутаны на его голове.

— Надо спасти Левинэ! — закричал он. — Левинэ — не трус! Это — клевета! Клевета! Мы все это знаем! Надо спасти Левинэ!

Он захлебывался, и слезы заливали ему глаза.

— Надо телеграмму Гофману, Шейдеману, Эберту! Они должны понять! Они — тоже социалисты! От имени партии! Его расстреляют! Завтра — приговор!

Он задохнулся. В горле его клокотало.

— Спасти Левинэ! — вновь закричал он. — Требовать! *Левинэ расстреляют! Расстреляют! Я — не предатель!* Я — не изменник! Пусть меня расстреляют вместе с ним!..

Он упал на стул. Он был в истерике.

10

Свет и тепло летнего солнечного дня шли в наглухо запертые окна. Становилось душно от дыхания людей, стеснившихся под своды маленького зала суда. Запахи духов и одеколона побеждались человечьим потом, и белоснежными платками отирались шеи, щеки, лбы. Господин Швабе уже разрешил себе скинуть пиджак, и кое-кто последовал его примеру. Зал запестрел синими, сиреневыми, белыми сорочками. Меньше всех стеснялись журналисты — они расстегивали и снимали воротнички, засучивали рукава, отдергивали под мышками рубашки. Жарко. Но никто не уходил — предстояло последнее слово обвиняемого.

Председателю в черной его мантии приходилось хуже всех. Мучительно хотелось ему под душ. Душ взбодрит

его старое тело. В чистом белье он усядется в глубокое свое кресло в столовой, и жена поставит перед ним большую кружку пива. Но для этого надо выполнить до конца свой сегодняшний долг. Исполнение обязанностей судьи доставляло председателю большое моральное удовлетворение, и сознание пользы, которую он приносил обществу, придавало особую приятность заслуженному отдыху в семейном кругу. Но время отдыха еще не пришло, и он с достоинством, приличествующим его сану, терпел жару и только изредка поправлял шапочку на седой своей голове.

Левинэ сидел в позе свободной и спокойной, прислушиваясь к тому, что говорил адвокат. Слишком долго извинялся тот и объяснял свою позицию. Он отгораживался от убеждений подзащитного, не хуже прокурора ужасался положению в стране — и все-таки защищал. Странный все же граф! Наверное, многие уже не подают ему руки, отворачиваются от него. Он настаивает на законе — безнадежное дело! В одиночестве, размышляя о жизни и беззакониях, он, наверное, может даже заплакать. Сентиментален, кажется.

Граф, наконец, принялся доказывать всей жизнью подзащитного, всем поведением его на суде, что тот — не бесчестен, не трус. Его доказательства — безупречны, но он все равно ничего не добьется, этот фанатик законности!

Бесчестный трус! Не постыдится ли тебя сын, когда ему расскажут, что отец бежал, бросив товарищей? Где протокол? Где товарищи, приказавшие скрыться? Может быть, все погибли, не осталось и следов этого решения, и твоя честь, честь профессионального революционера, оказалась, может быть, в полной власти врагов? В плену — большее, чем жизнь, в плену — честь! Что, если клевета победит правду на вечные времена? Что, если случится самое страшное, что только может случиться, — осудят товарищи, осудит справедливость будущего?

Потребовалось еще больше мужества, чем предполагал Левинэ. Он молчал вчера. Он только в упор глядел на прокурора. Он спокойно выдержал клевету. Но он не ожидал ее.

Он мучился желанием разделить участь товарищей, но партия приказала ему скрыться, и он поборол себя.

И вот, его победой над собой, над возвратом извилистых и неверных путей прошлого, его хотят теперь опозорить как труса и предателя. Какой вздор! Суд пролетариата отвергнет клевету и без его показаний. Партия сыщет правду и опрокинет ложь. Прокурор — просто глуп и жалок. Но надо быть готовым к тому, что и для какой-то части рабочих Мюнхена не сразу раскроется ложь утверждений прокурора. Надо предвидеть, что стачки не будет еще и потому, что рабочий класс разгромлен сейчас — рабочие бессильны сейчас мощным протестом вырвать его из плена!

А граф заклинал:

— Во имя правосудия, во имя человечности, во имя нашего народа, который никогда не одобрит такого приговора, во имя всего, что действительно свято, в особенности во имя долга вашего, вашей присяги, обязанности вашей судить справедливо и только по закону, я торжественно прошу вас: не приговаривайте этого человека к смерти, не делайте этого, он не должен быть казнен, он должен быть оставлен в живых, потому что если тело его будет умерщвлено, то идеи его посеют семена мести! Так всегда бывает, что насилие над идеей ведет к тому, чтобы укрепить идею!

Граф уже не казался загадочным, как сундук с двойным дном. Он был открыт сейчас весь. Он выкладывал затаенные мысли и надежды. Надо покончить с делением народа на партии! Надо предоставить каждому право защищать свои идеи, а не разбивать в ярости черепа друг другу! Объединение вокруг великой задачи спасения и умиротворения Баварии — неужели неосуществимо оно в добром баварском народе?

— Наш народ, — восклицал он, — никогда не выйдет из ужасного, разорванного своего состояния, никогда не объединится, если мы не убедим оставить взаимную ненависть и с открытым сердцем сойтись вместе, если мы не перестанем думать, что каждый наш политический противник — подлец. Доктор Левинэ — не плохой человек, он не бесчестный человек, он предан своим политическим убеждениям и готов умереть за свои идеи. Но он не должен умереть!

Эта речь была самой лучшей, самой искренней речью графа за всю его практику. Ему казалось, что произносит

он ее над пропастью, куда беззаконные страсти влекут баварский народ. Он постичь не мог, как не видят другие, что пора опомниться, прекратить взаимную резню. Спасение — в законе!

Граф опустился на свое место, взволнованный и разгоряченный, как никогда.

Когда председатель предоставил слово Левинэ, каждый в зале шевельнулся, стараясь сесть удобнее, и многие нагнулись, выставляя вперед ухо, чтобы слышать лучше.

Левинэ пренебрежительно отмахнулся от защиты в самом начале речи.

— Я не жду от вас смягчения наказания, — заявил он. — Если бы я добивался этого, то я должен был бы, собственно, молчать, потому что мои защитники, которые политически и просто как люди гораздо ближе вам, чем я, могли бы защитить меня гораздо лучше...

Жаркий зал, насыщенный любопытством и ненавистью, наполнялся звуками его голоса. Но напор его мыслей и чувств был чужд каждому из здесь сидящих.

Левинэ никогда не говорил высокопарно. Он и сейчас отвергал всякие завитушки и украшения стиля, стараясь выражаться как можно проще и понятнее, словно надеялся распропагандировать даже и эту аудиторию.

Председатель привык к последним словам подсудимых. Обычно это были попытки оправдаться или просто мольбы о пощаде. В этой речи и то и другое отсутствовало. Это несколько удивляло старого председателя, и он старался уловить цель такого поведения. Предположить, что этот человек не боится смертного приговора, он никак не мог, — каждому человеку свойственно защищать, все равно каким способом, свою жизнь.

Получалось так, что подсудимый, которому грозит смертная казнь, не защищается, а защищает. Он защищает советскую республику, диктатуру пролетариата, мюнхенских рабочих, он цитирует пункты партийной своей программы, он — один против всех — не обнаруживает ни растерянности, ни страха. Почему? Может быть, прокурор неправ, и подсудимый всерьез верит в справедливость и правильность этих безумных и губительных идей? Тогда он не подлежит смертной казни. Но возмущение общества требует его смерти. Общество хочет

возмездия за неслыханные потрясения, хочет охраны своей жизни, и председатель был вполне солидарен с обществом в этих его справедливых чувствах. Неужели же подсудимый всерьез убежден, как он уверяет сейчас, в исторической неизбежности крушения того общества, которое надело на председателя эту торжественную и жаркую черную тогу? Он открыто и хладнокровно заявляет себя врагом этого общества! Он от этого не становится менее опасным, но получается так, что казнить его все-таки по закону нельзя. Неужели прокурор неправ?

И тут председатель обратил внимание на то, что подсудимый всячески обходит обвинение прокурора в трусости — главное обвинение, которое в сущности и влечет за собой смертную казнь. Это — неспроста. Тут таится какая-то хитрость.

В мозгу председателя сверкнула и обрадовала внезапная догадка. А что, если все мужество поведения Левинэ — показное? Что, если оно только для того, чтобы продемонстрировать свою убежденность, свою честность и этой демонстрацией опровергнуть обвинение прокурора? Бесспорно так! Как это ни странно, но, при данной ситуации, чем резче выражает он свою преданность идеям революции, тем ему сейчас выгоднее, тем вернее подпадает он под действие слишком мягкого закона. Вот в чем его хитрость! Таким путем он пытается доказать, что он не бесчестен, и надеется спасти свою жизнь. Но опыт председателя спасет общество от этого обмана. Подсудимый будет разоблачен. Факт трусливого бегства все равно остается неопровергнутым.

Председатель уже с презрением слушал Левинэ, словно разгадал этого человека. Этот человек не знает, что уже пойман в капкан. Он занят защитой своих идей и не понимает, что слово «трус», слово «предатель» ударит его вновь с еще большей и решающей силой. Он говорит все резче и острей, явно переигрывая, и, конечно, даст повод для того, чтобы прервать его и лишить слова. И тогда все будет быстро закончено.

— Прокурор переоценивает силу и способность вождей совершать те или иные деяния и так или иначе вмешиваться в ход событий, — говорил Левинэ. — Ему кажется, что игральные кости мировой истории падают

различно в зависимости от того, брошены ли они рукой честного или нечестного вождя...

Может быть, сейчас он ответит на обвинения в нечестности?

— Но вожди сами выходят из масс, если даже они и происходят из другой среды, — продолжал Левинэ. — Они становятся вождями не потому, что они возвысились над массой, а потому, что они выражают то, что массы сами инстинктивно чувствуют и понимают и чего они, по недостатку формального образования, не в состоянии формулировать... В рабочем собрании я бы вышел победителем, господин прокурор, не в силу моего личного превосходства, а только потому, что я высказал бы то, что массы чувствуют и чего сами хотят...

Никаких возражений против обвинения в бесчестности, в трусости! Председатель уже искренне возмущался. Как низко пала Бавария, если такой человек мог оказаться в роли министра-президента! Какой стыд! Как тяжелы обязанности судьи! С каким отребьем приходится иметь дело! Даже не попытаться опровергнуть обвинение в трусости, в предательстве по отношению к своим же последователям! И председатель окончательно поверил в справедливость своих измышлений. Бесспорно, все это показное мужество — только хитрый ход бесчестного авантюриста.

А Левинэ уже обращался за стены суда:

— Трагедия мюнхенских рабочих — в том, что у них был еще слишком маленький политический опыт. Они понимали, что весь пролетариат должен выступить как целое, для того чтобы победить, но им казалось, что это целое могло иметь несколько различных программ и что совершенно достаточно, если социалисты большинства, независимые и коммунисты заключат между собой внешнее соглашение. Фактически отчасти на этом и потерпела крушение Мюнхенская советская республика. Пролетариат, единый в своей цели и в своей воле, — непобедим...

Точные формулировки приговора уже рождались в мозгу председателя. Совершенно ясно, что подсудимый сознательно избегает упоминаний о гневном обвинении прокурора. Ему нечем оправдаться. Часам к пяти — при-

говор, — и под душем смыть с себя всякое воспоминание об этом бесчестном человеке!

— Господин прокурор говорит, — слушал председатель с механическим профессиональным вниманием, — как я мог решиться на десять дней отвлечь от работы людей теперь, когда работа так настоятельно необходима? Но германское правительство во время войны оторвало от работы миллионы пролетариев не на десять, но на сотни и сотни дней. Германскому правительству нужны были Багдад и Лонгви, нам нужен коммунизм!

Председатель морщился брезгливо. Ведь чем смелей говорит подсудимый, тем ему лучше!

— Прокурор обвиняет меня в том, что я имел в виду применение также и смертной казни, — издевался Левинэ, — но ведь он говорит это в тот самый момент, когда сам требует смертной казни по отношению ко мне!

Ни одного слова в оправдание своей трусости!

— Прокурор говорил о внутреннем мире, который я нарушил, — продолжал Левинэ. — Я не нарушал его, потому что никакого внутреннего мира не существует. Оглянитесь вокруг себя. Здесь, в здании суда, вы увидите чиновников, которые получают сто пятьдесят, сто восемьдесят марок при теперешних условиях жизни...

И тут ветер прошел по собранию, и председатель почувствовал смутное беспокойство, словно в мыслях его обнаружилась некая неожиданная погрешность. Надо все-таки прервать этого мошенника.

— Загляните в квартиры в нынешних «гнездах спартаковцев», — и вы поймете, что не мы нарушили внутренний мир, — мы только вскрыли, что никакого внутреннего мира не существует...

Было похоже, что сейчас Левинэ даст повод для того, чтобы лишить его, наконец, слова. Он сядет на свое место бесчестным трусом — факт!

— В расстреле заложников, — обвинял Левинэ, — виновны те, которые в августе четырнадцатого года брали заложников, хотя тогда прокуратура не привлекала их за это к ответственности и не требовала применения к ним смертной казни. И если еще кто виноват в этом, то это те, которые забрались в Бамберг

и оттуда прислали в Мюнхен обманутых пролетариев вместе с офицерами и неграми...

Наконец-то! И председатель поднялся, прерывая Левинэ.

Он ожидал сочувственного рокота аудитории, — все, как и он, должны быть возмущены наглостью этого человека. Но случилось неожиданное. Он ощутил внезапно оторванность свою от большинства здесь сидящих. Он не получал ожидаемого одобрения. Что это такое? Он как бы очнулся. Занятый своей игрой, своей тайной дуэлью с подсудимым, он не заметил, прозевал, прохлопал то впечатление, которое эта речь оказывала на аудиторию. Как могло случиться это с ним, с опытным судьей? Но разве возможен успех коммуниста в этой зале, полной полицейских? На миг озноб прохватил старое тело председателя, как предвестник смерти. Он решил немедленно же лишить слова подсудимого, но тут произошла новая неожиданность — Левинэ поднял руку и воскликнул:

— Господин председатель! Я прекрасно знаю, что я навлекаю этим на себя!..

Одобрение этим словам и жесту явственно почуялось в зале. Журналисты восторженно заполняли блокноты. Председатель переставал быть хозяином суда. Ему пришлось опуститься в кресло. А Левинэ, словно поняв тайную игру его, продолжал, и голос его уже казался председателю слишком пронзительным, слишком звонким, хотя в действительности голос был глуховатый и не очень громкий:

— Господин прокурор, чтобы мотивировать смертный приговор, сослался на мой якобы бесчестный образ мыслей и в доказательство привел мою якобы трусость... Но я в своих поступках сообразуюсь с теми понятиями чести, которые существуют в кругу моих друзей. Моя честь — не ваша честь! В последний вечер я заседал с моими друзьями, среди которых были рабочие, члены Красной армии и другие, и всеми присутствующими было единогласно постановлено: члены Красной армии возвращаются на свои посты, те же, кто были членами правительства, должны скрыться. И я скрылся. Я скрылся, я спрятался по соглашению с моими коммунистическими друзьями. Но не для того, чтобы спасти свою

пкуру... Я не могу помешать господину прокурору делать такие упреки, но, — и Левинэ повернулся к прокурору с иронической галантностью, — быть может, я могу попросить вас, требовавшего смертного приговора для меня, присутствовать при его исполнении! Я приглашаю вас, я приглашаю господина прокурора, и тогда он увидит, что не только тот рискует собой, кто дерется на фронте в рядах Красной армии!

Председатель глядел на Левинэ с ужасом и недоумением. Это — не игра! Это — до сумасшествия храбрый человек, и нельзя никого здесь убедить в противном. Председатель испытывал ощущения охотника, поставившего в привычном месте привычный капкан и внезапно оказавшегося лицом к лицу со зверем, выскочившим из неожиданных кустов. Он вдруг ощутил себя стариком, уходящим в смерть. Ему трудно разобраться в этом безумии и хаосе. Пусть молодые борются — ему пора на покой. И он беспомощно оглянулся на соседей своих по судейскому столу. Но это только на миг слабость победила его. Нет! Если даже он не хозяин суда, то он хозяин приговора!

А голос Левинэ явно побеждал:

— Я кончаю. В течение шести месяцев я не имел возможности быть вместе со своей семьей. Жена моя не могла иногда даже зайти ко мне, и я не мог видеть своего трехлетнего мальчугана, потому что у моего дома стоял сыщик. Такова жизнь, которую я вел... Это никак не вяжется ни с властолюбием, ни с трусостью. Я говорил, когда меня убеждали на союз со Шнеппенгорстом: «Социалисты большинства начнут, а потом убегут и предадут нас, независимые попадутся на удочку и будут действовать вместе с ними, потом уйдут, а нас, коммунистов, поставят к стенке»...

Его голос господствовал в могильной тишине зала, словно он был тут единственный живой человек.

— Мы, коммунисты, всегда в отпуску у смерти, — сказал он. — Это я прекрасно сознаю. Я не знаю, продлите ли вы мне еще мой отпуск, или я должен буду переселиться к Карлу Либкнехту и Розе Люксембург, — во всяком случае я смотрю навстречу вашему приговору с самообладанием и внутренней твердостью. Развития событий нельзя остановить. Исчезновение того или

иного вождя ни в коем случае не может остановить поступательного движения вперед!

Он возвысил голос:

— И все же я знаю: рано или поздно в этом помещении будут заседать другие судьи, и тогда наказание по обвинению в государственной измене понесет тот, кто совершит преступление против диктатуры пролетариата! Выносите приговор, если вы считаете это правильным. Я защищался только против попытки облить грязью мою политическую репутацию, советскую республику, с которой чувствую себя тесно связанным, и доброе имя мюнхенских рабочих. Все они, и я вместе с ними, мы все старались, по совести и по мере своих знаний, исполнить наш долг перед коммунистической мировой революцией!

11

Вчера, когда лейтенант фон Лерхенфельд после речи прокурора уводил Левинэ, чтобы отправить его обратно в тюрьму, Левинэ спросил его:

— Вы тоже верите, что я — бесчестный трус?

— Вы — не трус, — холодно отвечал тот, — но расстрелять вас необходимо.

Это был честный ответ убежденного в своей правоте врага. Людей будущего победители хотели бы поставить вне закона. Но не решаются, боятся еще. И тогда рождается неизбежная клевета. Для него, Левинэ, выбрана именно такая клевета, но в другое время, при другом положении, возможна любая другая — только бы действительна она была для смертного приговора.

Все же клевета прокурора подарила ночным кошмаром и разбудила раньше тюремного сторожа. Это случилось под утро. Голова катилась. Тело плыло слишком медленно, и в этом было невыносимое страдание. Хотелось крикнуть, застонать, но голос не слушался, как не слушалось тело. Спазмы хватали горло, хотелось облегченно заплакать, но слезы не шли, только хрип вырывался из непокорной груди. Сердце готово было разорваться от напряжения. Тело тосковало по жизни, нога искала ногу жены, руки ловили воздух...

Левинэ открыл глаза в мрак ночной камеры.

В камере — тише, могильнее, чем во сне. И нельзя убежать от мыслей. Невозможно остановить работу мозга.

Если закрыть глаза, то вновь под ресницами оживает мрак и путаются причудливые образы. И опять покатилась голова, и поплыло вдаль тело. Но сердце напряглось так, что не выдержать больше. И вновь Левинэ разбудил себя, очнулся, побеждая оцепенение.

Путь кончается. Никаких больше поворотов впереди. Два-три дня быстрого шага — и конец, последняя стена. Он, Левинэ, выпрямится у стены, и на возглас его в честь мировой революции ответит залп винтовок.

Es geht am End. Es ist kein Zweifel...

Сын, наверное, уже во весь рост встанет в будущем, и добрым словом должен он помянуть отца, жизнью своей заплатившего за это не ему предназначенное счастье. Оглядываясь назад, сын, может быть, найдет черты средневековья и в отце, он увидит, может быть, что и отец не выбрался целиком из этих дебрей, но имя отца не должно быть позорным именем для сына.

Он сейчас ничего не понимает, этот мальчуган. Он, может быть, и не узнал бы отца при встрече. Вот уж несколько месяцев, как они в разлуке. Увидев отца, сынишка посмотрел бы исподлобья и, подняв ручки, попросился бы к маме, как всегда при чужих. Может быть, заплакал бы, протестуя, если б отец захотел взять его на руки...

Под всеми этими ощущениями наплывала волна мыслей и чувств, знакомый напор, усиленный клеветой прокурора. Образ сына, образ будущего колыхался, туманился, мутился отравой клеветы. Бесчестный трус! Отыскана ли будет правда? Не затеряется ли?.. И тогда началась окончательная шлифовка последней речи.

Уже утро. Вся сила сопротивления и спокойной иронии возвращена. Прекрасно! В Полесье он, Левинэ, сам себя излечил от болезни глаз, рожденной скитаниями в болотах. Он говорил себе тогда: «Эти листья — зеленые, а не синие, они — зеленые, что бы ни видели мои глаза...» И глаза увидели правду... Земля все-таки вертится, и вся власть средневековья не победила этого факта. А то, что его, Левинэ, волнует клевета проку-

рора, — вполне простительно, потому что он сейчас очень одинок, он изолирован, отрезан от друзей, он в постоянном напряжении, он в полной власти врагов, ненависть которых известна ему до дна, и еще потому, что никаких иллюзий, никаких утешений не рождает его слишком много понимающий и беспощадный мозг...

Эту беседу с самим собой прервал скрип отворяемой двери...

И вот уже последняя его речь — позади.

Он сказал свое последнее слово, победив даже иные ненавистью забронированные сердца. Он ощущал некоторую даже восторженность у кое-кого из здесь присутствующих. Он на миг подумал даже, что ему удалось бесповоротно скомпрометировать суд, что уже не осмелится суд приговорить его к смерти.

— Жизнь будет, бесспорно, сохранена вам, — сказал ему граф, когда суд удалился на совещание.

Граф сейчас был прямо влюблен в Левинэ, — этот человек, сам того не подозревая, всем своим поведением спасал закон! Его не расстреляют. Его сошлют, как полагается по закону, в каторжные работы. Ну, против каторжных работ ничего не возразишь. Таков закон, нет?

Отворялись окна и двери. Публика, оставляя на местах своих, чтоб не утерять их, блокноты и газеты, теснилась в коридор — курить, обсуждать, делиться впечатлениями. Некоторые останавливались вблизи Левинэ, поглядывая на него с интересом и сочувствием. Но Левинэ уже понимал, что ненависть, отвергнув клевету прокурора, возьмет свое и восхищение сенсационным поведением подсудимого уступит прежнему выражению отчужденности. Но все-таки останется след и от этой речи. В ней не только опрокинута клевета прокурора, в ней показан образ революционера, образ советской республики!

Подошла мать. Она присутствовала на процессе оба дня. Она держалась, как всегда, упорно и высокомерно, ничем не выдавая своих чувств.

— Ты очень устал, — сказала она, — тебе необходим отдых. Как ты исхудал!

В этих словах Левинэ услышал уверенность в том, что он останется жив. Бесспорно, она уже мечтает о том, как увезет его в свою гейдельбергскую виллу.

Товарищ Фриц одиноко бродил вдоль стены. Губы его двигались, шепча невнятно. Лицо его осунулось, и синие полосы легли под глазами. Встреча с Биллигом жила в его сознании, и никак не удавалось забыть о ней. Но Биллиг убедится в своей неправоте. Левинэ будет спасен. На случай смертного приговора готовы к отправке телеграммы с ходатайством о помиловании — Гофману, Шейдеману, Эберту. Партия независимых, несмотря на все разногласия, весь свой авторитет отдает на дело спасения Левинэ. И Биллиг убедится в том, что такое социалистическое правительство Германии! Левинэ будет спасен теми, кого он опять оскорблял в своей речи!

— Прочь! Прочь! — приказывал лейтенант фон Лерхенфельд тем, кто пытался заговорить с подсудимым.

Только адвоката и Розалью Владимировну он допускал к Левинэ.

Слишком долго длилось совещание суда.

Публика возвращалась в зал, рассаживалась.

Господин Швабе успокаивал Эльзу:

— Профессор Пфальц будет оправдан. Сам прокурор отказался обвинять его...

Граф страдал за Левинэ — как долго, как мучительно это ожидание приговора!

Левинэ сидел с газетой в руках. Но он не читал. Он думал. Почему тот караульный солдат, тот крестьянский парень, пришелец из нищеты полей и лесов, оказался тюремщиком, а не другом? Почему не удалось сделать таких вот парней живой опорой рабочему, революции? Почему жило в сознании недоверие к лачугам и хижинам крестьян? Здесь, может быть, таится нечто гораздо больней клеветы прокурора... Неужели поздно уже додумать эту боль до конца? «Мы, коммунисты, все — мертвецы в отпуску...» Эта фраза была вполне, может быть, уместна тут, на суде, но все же откуда прорывается подчас такая почти безнадежность, обреченность? Не она ведь руководила его жизнью, его поступками!.. Но где этот парень? Он уже почти распропагандирован. Утром он был тут, в охране. И Левинэ поднялся, шагнул к солдатам... Он был полон желания довершить начатое...

Но тут тишина вошла в залу вместе с судьями.

Медленно, во главе с седобородым председателем, вступали они в зал из совещательной комнаты.

Председатель начал читать приговор...

...Товарищ Фриц ринулся к выходу — телеграммы! Телеграммы! Срочно! Весьма срочно!

Вслед ему, подгоняя, ударил ответный возглас Левинэ:

— Да здравствует мировая революция!

Товарищ Фриц мчался в редакцию.

Если б Гофман был в Мюнхене! Но как раз на дни суда глава правительства уехал на отдых в Швейцарию. Он устал, он имеет право на отдых, спора нет, — но какой ужас! Он, единственный во всей Баварии, может задержать, отменить приговор. Успеет ли он ответить?

— Это беззаконие, — шептал граф своему коллеге, сидевшему рядом, и разводил руками в смятении. — Это огромное несчастье. Это нарушение закона!

Приговор прочитан. Это значит — все валится в пропасть, все летит к черту, жизнь людей предоставлена произволу! У графа кружилась голова. Он боялся взглянуть на Левинэ. Выходит так, что тот оказался прав в своих утверждениях. Он находил в себе такую нежность к Левинэ, какой не должен испытывать баварский адвокат.

— Это противозаконно, — повторял он, спасаясь от этого опасного сочувствия.

Он был сейчас похож на жалкого, загнанного, растерянного медведя, одиноко стремящегося спасти свою шкуру. Но медведь осужден в Европе на вымирание, на истребление.

Эльза шла к профессору Пфальцу, освобожденному уже из-под стражи. Пфальц глядел на нее пустыми глазами. Цветистый луг! Любовь! Куда приткнуться жалости и милосердию в этом обезумевшем мире?..

Приговор был ясен:

«...Все мероприятия, предпринятые Евгением Левинэ, имели своей конечной целью преобразование всего правового и экономического строя и создание коммунистического государства. Левинэ сам категорически заявил, что берет на себя полную ответственность за все эти действия, которые представляют собой преступление, именуемое государственной изменой. Левинэ был чужеземцем, вторгшимся в Баварию, государственно-правовые отношения которой его ни в какой мере не касались. Он преследовал свои цели, совершенно не считаясь с благом населения в целом, хотя он знал, что стране настоятельно

необходим внутренний мир. При своей высокой умственной одаренности он отлично сознавал все последствия своих действий. Когда человек так играет судьбой целого народа, то можно с уверенностью сказать, что его действия проистекают из бесчестного образа мыслей. На этом основании обвиняемому отказано в признании смягчающих вину обстоятельств. Суд, напротив того, считает строжайшее наказание необходимым актом правосудия. Принимая во внимание все вышеизложенное, согласно ст. 3 закона о военном положении, суд приговаривает обвиняемого к смерти».

Слово «трусость» не участвовало в приговоре. Оно было снято речью Левинэ.

Уже счастье рождается на земле. Еще недолго — и свет озарит все человечество. Но ему не дано дожить до этого. Жаль, приходится умирать на пороге. Но все же упасть удастся головой вперед, в будущее.

— Да здравствует мировая революция! — воскликнул Левинэ.

Розалья Владимировна не шелохнувшись выслушала приговор сыну. Выражение высокомерия и строгости не изменило ей. Молчаливая, суровая, села она с дочерью в коляску, которая ждала ее у здания суда. Держась все так же прямо и уверенно, она взошла по лестнице гостиницы, отворила ключом дверь — и тут, в номере, кончилась выдержка.

Розалья Владимировна упала в кресло, потом вскочила и, держа кулаки у висков, заголосила, как в далекой юности:

— Его убьют! Убьют! Соня! Нашего Женю убьют! Я так и знала! Я нарочно тебя взяла, чтоб ты простилась... Почему ты не подошла к нему? Чего ты боишься? Он бы так не поступил! Он мстил за дедушку, за бабушку, за Минну, за Германа, за всю нашу нищую жизнь! И его убьют! Ты — бесчувственный человек! Как ты стала такой? Он бы иначе себя вел! Почему ты молчишь? Кричи! Плачь! Убивают нашего Женю!

Это было настолько неожиданно для всегда гордой и сдержанной матери, что Соня действительно заплакала.

— Его убьют! — выкрикивала мать. — Его нельзя спасти! Где его друзья? Почему они бросили его? Они не знают! Надо найти их, надо, чтоб они восстали!..

Тут она оборвала себя. Отняла пальцы от висков, одернула платье.

— Я ничего этого не говорила, Соня, — промолвила она угрожающе. — Ты ничего не слышала.

— Я ничего не слышала, — покорно отвечала дочь, всхлипывая.

— Твой отец спас нас из нищеты, — сказала Розалья Владимировна. — Его память должна быть священна для нас.

Она опустилась в кресло.

Некоторое время обе молчали.

— Мы похороним его на еврейском кладбище, — выговорила, наконец, мать. — Нам обязаны отдать его тело.

Кто спасет Левинэ?

Девятнадцатый год России вшами, голодом, сыпняком, белыми армиями, интервенцией осаждал революцию. Девятнадцатый год Германии взмокал кровью рабочих. Девятнадцатый год Версальским миром делил добычу победителей в незабываемой войне.

— Рабочие Мюнхена разгромлены и дезорганизованы, — говорил Эрнст Биллиг собравшимся у него товарищам. — Задача — как организовать стачку в защиту товарища Левинэ? — Он поднял кулаки над головой и, разжав пальцы, опустил руки, словно выронил что-то. — Но мы знаем теперь, какая партия подлинно революционная партия, подлинно наша, и мы должны сделать все возможное...

Громкий стук в дверь прервал его.

Этот стук и грохот тяжелых сапог раздавались сегодня во многих рабочих жилищах.

Через десять минут Эрнст Биллиг и его друзья шли по улицам Мюнхена, подняв руки к помятым кепкам. Солдаты правительства Гофмана вели их, держа винтовки наперевес.

Товарищ Фриц нетерпеливо ждал помилования Левинэ.

Уже утро разбудило Мюнхен. Уже шумом жизни наполнялись улицы и площади. Уже вечер озарил огнями город и затем уступил ночи свой свет. Родилось новое утро.

Но ответа от министров не было.

— Это ужасно! — неистовствовал товарищ Фриц в кругу редакционных друзей. — Мы против всякого кровопролития! Да, Левинэ нас оскорблял, но мы должны быть выше этого! Мы — пацифисты! Мы — против убийств!

— Бедный товарищ Фриц! Он опять страдает! — промолвил один из самых видных работников. — Но расстрел Левинэ — неизбежен. Мы, конечно, выскажем свое принципиальное отношение к этому факту, но тактика требует сейчас прежде всего умиротворения умов. Свой протест мы заявим правительству. Мы обсудим.

— Протест! — воскликнул товарищ Фриц. — Протестовать! Я напишу протест!

— Напишите, горячая вы голова, мы проредактируем его и подадим Гофману, как только он вернется.

Капитан Мухтаров стоял у здания полицей-президиума. Его внимание привлекло старое, с оборванными краями, объявление Комитета действия социал-демократической партии в Мюнхене, наклеенное на стену.

Он читал:

«...Правительство Гофмана не борется с идеей советов, наоборот, оно самым решительным образом выступало за ее осуществление, упрочение и укрепление... Товарищ Гофман — не реакционер и не контрреволюционер, он — радикальный передовой боец социалистического движения...»

— «Товарищ Гофман»! — восхищался капитан Мухтаров (он только что узнал, что расстрел Левинэ состоится сегодня в два часа дня). — Хорошо работают! Европа!

Он уже искренне уважал Европу и верил в нее.

12

В час дня Левинэ был вызван на свидание с женой. Он пошел радостно и взволнованно, словно некое счастье сулила ему эта встреча. Но когда он увидел жену, горе ударило его с такой неожиданной и невыразимой силой, что он остановился на пороге. Ему показалось, что он зашатался, хотя на самом деле привычная выдержка не изменила ему. Он сам почувствовал, как побелело его

лицо. Он глядел на жену, словно не узнавая ее, и слова отказывались повиноваться ему.

— Когда? — незнакомым, не своим голосом спросила жена.

— Нет, нет, — бессмысленно и на этот раз по-русски отвечал он, подходя к ней. — Это не трудно, это не страшно, это скоро пройдет, тебе хуже, — конечно, хуже...

Он взял ее руки и вздрогнул от этого прикосновения.

— Когда? — повторила она.

Арестованная, она посажена в эту же тюрьму, в одну тюрьму с ним и, значит, услышит выстрелы...

— Выходи замуж! — заговорил он торопливо. (Он боялся, что не успеет высказать все, что нужно. Ведь это последняя встреча!) — Выходи замуж! Живи как можно счастливей! Не стесняй себя! Живи!

Она выронила платок.

Он, нагнувшись, поднял платок и зажал в руке, не возвращая.

— Я не мог достать цветы, — сказал он. — Я никогда не умел...

Голос его оборвался. Все в нем дрожало, и он должен был отвернуться, чтобы скрыть слезы.

Потом он вновь взял ее руки и заставил себя улыбнуться.

Теперь уже все было можно — отгородиться от безгласных свидетелей русским языком, называть жену интимными именами, гладить ее руки, ронять и вновь подымать ее платок, глядеть на нее глаза в глаза, забыв решительно обо всем, кроме вот этого существа, которое останется жить без него. Если б побыть наедине друг с другом! Хоть пять минут. Хоть минуту...

Он плохо понимал, что говорит, плохо слышал, что она отвечает ему. Они жили сейчас в интимном, известном только им двоим мире ощущений и слов. И казалось ему: не то он провожает ее, не то она — его, и провожает навсегда, чтобы больше никогда, никогда не увидеться...

Скрип двери вторгся в этот мир.

Оба они обернулись настороженно — неужели пора?..

Тот самый элегантный чиновник с бархатным альбомчиком в руке, приятно улыбаясь, вошел в комнату. Он решил проявить высшую добродетель — простить пре-

ступнику оскорбление и своим вниманием к нему утешить в предсмертные минуты, дать возможность преступнику излить свою душу на страницах альбома.

— Вы по служебной надобности? — быстро спросил Левинэ.

Ведь это крали у него драгоценнейшие секунды жизни!

— Нет, — отвечал чиновник вежливо и снисходительно, — не беспокойтесь, я зашел к вам, чтобы...

— Тогда уходите. Уходите!!

Это было сказано так, что чиновник попятился и скрылся за дверью.

Но все-таки он украл, украл драгоценнейшие секунды!

Уже тюремный сторож сказал:

— Пора.

И это было третьим звонком.

— Адвокат передаст тебе письма, — торопился Левинэ. — Лично я не имею права... ты знаешь... Поцелуй Паскунишку... Заботься о нем...

— Пора, — прервал, входя, лейтенант фон Лерхенфельд.

Теперь надо поцеловаться и вскочить на подножку вагона. Или это он останется на платформе, а она уезжает?

Жена плакала молча — она, кажется, сама не замечала, что слезы текут по ее щекам.

Он поцеловал ее и решительно повернулся к лейтенанту.

— Я готов.

Теперь ничто больше не должно ослабить его.

Воинская охрана, окружив, повела его по коридору.

Он шел не сутулясь, высоко держа голову, зажав в руке платок жены.

Вновь его заперли в камеру.

Он присел к столу.

Следовало торопиться.

Вот письмо к матери, вот — к сестре, этот пакет — жене, партийную программу — сыну...

В эти мгновения одиночества последнее свидание с женой вновь наполнило его.

Он торопливо писал, из левой руки не выпуская платка:

«Родная, дорогая, любимая, ненаглядная...»

Еще только несколько строк.

Он сложил письмо, сунул в пакет с прежним письмом и дневником.

Es geht am End... Es geht zu Ende... —

путались в его уме строки Гейне.

Теперь последнее письмо:

«Господин граф,

дело идет к концу. Через десять минут придут за мной. Я буду очень благодарен, если вы передадите эти письма....

Я жму вашу руку и заранее благодарю.

Евгений Левинэ».

Теперь кончено все, все. Остается только в последний раз проверить свое мужество.

Товарищ Левинэ! Вы спокойны? Прекрасно! Вот слышны уже шаги за дверью. Сейчас вас выведут во двор и поставят к стенке. Того крестьянского парня, который так взволновал вас, не будет среди убийц, — вам известно, что он дезертировал. Вся прежняя охрана считается распропагандированной вами и сменена по настоянию лейтенанта фон Лерхенфельда. Вас убьют ненавистью забронированные добровольцы Гофмана. Их много, желающих убить вас!.. Вот они вошли в камеру...

Опередив залп винтовок, ударил в стены тюрьмы его возглас:

— Да здравствует мировая революция!

Тринадцать лет спустя, в один из июньских дней 1932 года, Мюнхен наполнился фашистскими штурмовиками, приехавшими с разных концов Баварии на избирательный митинг. Сам Адольф Гитлер должен был выступить на этом многотысячном собрании. Адольф Гитлер шел к власти. Близился последний акт господства звереющих собственников.

В этот день я с мюнхенским другом своим шел к расположенному за городом еврейскому кладбищу. Мы молчали. Тишина владела полем, по которому тринадцать лет назад несли тело Евгения Левинэ. Мать, не по-

К стр. 152

бедившая сына в жизни, отвоевала его мертвое тело и место ему на кладбище.

За оградой — все та же тишина. Ни одного человека. Мы издали заметили обелиск. Приблизившись, прочли:

EUGEN LEVINÉ
5 JUNI 1919

И все.

Вечнозеленые деревца обнимали обелиск. Свежие, сегодняшние цветы лежали на зеленой могиле.

На первую годовщину смерти Левинэ явились из Гейдельберга его мать и сестра. На траурном собрании мать, не отпуская от себя дочки, держалась в стороне, отдельно от всех. Она никому тут не подала руки, кроме Клары Цеткин, седины которой уважала.

На вторую годовщину мать не приехала — она умерла.

1935

ЛЕСНИК

I

ЗНАКОМСТВО

Павлуша не смотрел на сверкающее шоссе, бегущее под колеса машины. Не глядел он и на море, лежавшее сегодня в тишине и покое. Он, как всегда, следил только за тем, как рука отца, лежа на руле, едва заметными движениями выравнивала ход машины. Толстые короткие пальцы чуть поворачивали руль то вправо, то влево. Золотистые волосики светились на знакомых отцовских пальцах.

На спидометре каждую минуту выскакивала новая цифра — на единицу больше прежней. Это было очень интересно. Вот от двойки остался только хвостик, и уже торчит снизу половина тройки. Миг — и двойка исчезла, на ее место стала тройка. Еще семь километров — и спидометр покажет ровно 20 000. Этого момента Павлуша ждал с нетерпением.

Когда цифра «4» совсем почти выбила цифру «3», отец вдруг обеими ногами со всей силы нажал на тормоза, машина забуксовала, остановилась, отец ударился грудью о баранку, а Павлуша, дернувшись вперед, чуть не стукнулся лбом о стекло. Только тогда он обратил внимание на дорогу и увидел какую-то голоногую девчонку, которая только что, видимо, отпрыгнула в сторону и еще не оправилась от испуга. Прижав руки к груди, она трепетала, тонкая, как олененок. Была она в белом платьице, и пестрый шарфик развевался на ветру вокруг ее шеи.

Отец резко распахнул дверцу и, по шоферскому обычаю, крикнул девчонке несколько страшных слов в поучение.

— Да я ж бабочку ловила, — отвечала девочка, и это был такой глупый ответ, что Павлуша презрительно фыркнул.

— Вот раздавил бы тебя, дуру, — была бы тебе бабочка! — совершенно резонно заметил отец.

Но девочка была, видимо, нечувствительна к попрекам. Может быть, она просто не слышала брани, потому что внезапно она бросилась через шоссе, нагнулась, и когда вновь обернулась к машине, то в пальцах ее желтела большая бабочка. При этом девчонка сияла так, словно одержала огромную победу.

Затем она как ни в чем не бывало попросила Павлушиного отца:

— Подвезите меня, пожалуйста, к Приморскому хутору.

— Да уж садись, — сказал отец, сердито хлопнув дверцей.

Девочка мигом забралась на заднее сиденье.

— Ступай и ты назад, — приказал отец Павлуше. — Растрясет ее там одну.

Павлуша уместился рядом с девочкой.

Он сегодня был в новой белой кепке, белой апашке, белых брюках и белых туфлях. Он был весь белый, чистый и новый и чувствовал себя очень взрослым и очень элегантным.

Когда машина тронулась, он снисходительно спросил девочку:

— Ты — откуда?

— С Приморского хутора, — охотно отозвалась она.

— На даче там?

— На даче.

— А зимой — в школе?

— А зимой — в школе.

Отвечая, она не глядела на своего замечательного собеседника, потому что не спускала глаз с бабочки, трепетавшей у нее в пальцах. Это было обидно.

— Зачем ты под машину бросилась? — осведомился Павлуша строго.

— За бабочкой. Вот погляди...

Она, кажется, собралась поднести эту никому не нужную бабочку к его носу. Но Павлуша, отодвинувшись, промолвил сурово:

— А если б тебя раздавило?

— Меня бы не раздавило.

— Да могло ж раздавить.

— Машина ж остановилась, — возразила девочка удивленно.

— Мало ли что, могла бы и не остановиться. По правилам полагалось тебя раздавить, и суд не засудил бы.

— Так она ж остановилась! — воскликнула девочка таким тоном, словно Павлуша был дурак.

Павлуша рассердился.

— Вот раз было, что такую девочку раздавила машина. Совсем покалечила — руки оттяпала, ноги, все. Бросилась она перед самой машиной — ее и хлопнуло. Сама виновата, — свидетели были.

— Так нельзя, — наставительно заметила девочка. — Это очень опасно. Зачем же она так бросилась?

— За бабочкой.

На этот раз девочка, наверное, обиделась, потому что она отвернулась и стала глядеть в окошко. А Павлуша был очень доволен тем, что так обрезал ее.

Вдруг она вскрикнула:

— Смотри! Жеребенок!

Обыкновенный стреноженный жеребенок, коричневый и худой, подпрыгивал возле шоссе впереди. Он опускал голову, щипал пыльную траву и вновь подпрыгивал. Машина пролетела мимо, и жеребенок остался позади. Ничего интересного. Но Павлуша вежливо спросил:

— Ты любишь жеребят?

— Да, очень люблю.

— Значит, в ветеринары пойдешь? Или на конный завод?

— Почему? Нет. Я буду подавальщицей в ресторане.

Девочка подумала и прибавила добросовестно:

— Или штурманом на корабле.

Павлуша фыркнул:

— А может быть — уборщицей? Или инженером?

— Может быть, и уборщицей и инженером, — охотно согласилась девочка и поглядела теперь направо — в море. — Катер! — вскрикнула она.

Павлуша тоже повернулся к морю: катер — это уже действительно интересно. Но вдруг пот прошиб его, и он

рванулся вперед, к спидометру. Чуть не опоздал из-за этой проклятой девчонки!

— Двадцать тысяч! — закричал он страшным голосом. — Да гляди же скорей! А то сейчас единица выскочит!

Девочка, придерживая шарфик длинными пальцами, вытянула тонкую шейку и из-за широкой спины Павлушиного отца взглянула круглыми испуганными глазами на спидометр, где действительно сверкало это замечательное число — 20 000. Машина прошла за свою жизнь двадцать тысяч километров и в эту минуту справляла свой юбилей. Она справляла свой юбилей на ходу, в работе, не оглядываясь на пройденный путь, всегда стремясь вперед и вперед. Двигатель ее работал безотказно, колеса вертелись, ветер неизведанного будущего мчался ей навстречу.

— Двадцать тысяч! Двадцать тысяч! — повторял Павлуша.

Девочка ничего не понимала и была очень испугана.

— А что теперь будет? — спросила она шепотом. — Авария?

— Кончено, — ответил Павлуша, опускаясь на сиденье. — Уже выскочила единица. Теперь двадцать тысяч и один. До следующих четырех нулей нужно ждать десять тысяч километров. Но еще будет интересно, когда двадцать пять тысяч.

II

ПЛЕМЯННИЦА ЛИЛЯ

Девочка смотрела теперь на Павлушу в упор, и на худеньком, чуть востроносом лице ее выражалось чрезвычайное уважение. Даже некий восторг светился в ее больших темных глазах.

Наконец она спросила:

— А ты будешь астрономом?

И голос ее дрогнул от восхищения.

— Нет, я буду шофером, — небрежно и уверенно ответил Павлуша.

Девочка продолжала неотрывно глядеть на него, и это было очень приятно. Теперь, значит, она видела и новую

кепку, и чистую апашку, и вообще могла оценить, кто сидит рядом с ней. Павлуша предоставил ей полную возможность любоваться им и даже для пущего эффекта скривил губы, изобразив усмешку.

— Ты будешь знаменитым шофером? — выпытывала девочка. — Как... как...

Но знаменитых шоферов она не знала, — может быть, таких и вовсе не было.

— Я буду свою собственную машину водить, — ответил Павлуша, — персональную. — И, чтобы добить девчонку окончательно, прибавил: — На гонках. Гоночную машину.

Девочка опустила глаза и сидела теперь тихо и смирно, явно потрясенная достоинствами своего нового знакомого.

Но вдруг она взвизгнула:

— Ай! Остановите машину!

Это было так неожиданно, что Павлушин отец затормозил.

— Ай! — почти плакала девочка, кинувшись в ноги Павлуше и что-то там делая с его туфлями.

«С ума сошла», — решил Павлуша и наклонился к ней. Но тут же ему пришлось быстро откинуться назад, потому что девочка так резко разогнулась, что обязательно стукнула бы его головой в подбородок. Удивительно внезапны были ее движения.

— Бабочка, — проговорила она, сияя. — Я и не увидела, что она улетела, о стекло, глупая, ударилась и на шнурки тебе села. Такая красивая, желтенькая, и крапинки на ней...

Она глядела на бабочку, любуясь, и вдруг выпустила ее в окошко.

— Пусть летает.

Павлушин отец покачал головой и вновь дал газ.

А девочка, словно ничего не произошло, самым спокойным тоном спросила Павлушу:

— А вы где живете?

— В Глимузях.

— Это — близко. А ты не боишься ходить в лес?

Павлуша оскорбился.

— Я ничего не боюсь.

— Правда? А ты будешь ко мне заходить?

— Может быть, зайду, — ответил Павлуша солидно.

— А я вчера только приехала к дяде, — щебетала девочка. — Мой дядя — как раз инженер и живет на Приморском хуторе.

Тут подал голос Павлушин отец.

— Шервинцев? — спросил он.

— Да, — обрадовалась девочка. — А я — Лиля Кислякова, племянница.

И вдруг из нее посыпалось как из прорвавшегося лукошка:

— Жена дяди — моя тетя, то есть моя мама — сестра жены дяди. Она — родная тетя, а Леонид Михайлович — не родной дядя, а только женат на моей тете, но все равно он называется мой дядя, и мама мне сказала называть его дядей, и я его спросила, дядя он мне или не дядя, а он засмеялся и говорит: «дядя». И у него есть еще брат — очень ученый астроном, он мне уже не такой дядя, как дядя Леонид Михайлович, и он знает все звезды, все, все, какие только есть на небе, и может про каждую рассказывать, и сколько тысяч миллионов километров в воздухе, а я слушаю и ничего не понимаю... Вот на уроках я все понимаю...

Она бы, наверное, еще долго болтала так, но машина уже шла по лесной дороге, а затем свернула за ограду к даче и остановилась у крыльца.

В гамаке в саду лежал с книгой в руках низенький, но очень плечистый мужчина с наголо бритой головой. Одет он был совсем как и Павлуша — белая апашка, белые брюки, белые туфли. Он отбросил книгу, приподнялся и крикнул Павлушиному отцу:

— Сейчас, Степан Трофимович, оденусь, возьму портфель — и поедем.

Павлуша не понял, что еще нужно надевать, когда Шервинцев и так уже одет совершенно шикарно. А Шервинцев тем временем хотел встать, но на него налетела Лиля и опрокинула его обратно в гамак.

— Дядя! — захлебывалась она. — А я какую бабочку красивую отпустила! И меня чуть не раздавило машиной! А этот мальчик знает двадцать тысяч, только он будет не астроном, а шофер!

Дальше Павлуше было интересно только то, как оденется инженер. Оказалось, что он надел на апашку синий

пиджак — и все. А кепка у него оказалась такая же белая, как и у Павлуши. Что касается пиджака, то и у Павлуши пиджачок есть, только ведь в нем жарко летом.

III

НАЗОЙЛИВАЯ ДЕВОЧКА

Павлуша был занят чрезвычайно важным делом: он пускал с горушки планер. Это был маленький игрушечный планер, но летал он совсем как настоящий. Павлуша запускал его, и он плыл по воздуху над пыльной зеленью травы, над грядами картофеля, к рельсам.

Хорошо, если б планер залетел еще дальше, за железнодорожный путь и даже за шоссе, к морю. Но это не удалось еще ни разу.

Отец вчера вечером привез Павлуше этот замечательный подарок, и Павлуша теперь только им и был занят с самого утра. Он был героем. Окруженный детворой, он пускал планер с горушки, а ребятишки тотчас же бросались вниз по склону и вперегонки мчались туда, где приземлялся этот маленький летательный аппарат. И считалось особой честью первым добежать до спустившегося на землю планера и, подобрав его, доставить Павлуше, чтоб он вновь послал его в воздух.

Павлуша снисходительно поглядывал на суетившихся вокруг него мальчиков и девочек и кивком головы одобрял тех, кто приносил ему планер обратно. Но вот, когда он собрался пустить планер уже в восьмой раз, вдруг кто-то тронул его сзади за локоть. Очень рассерженный, он обернулся и увидел ту самую глупую девчонку, Лилю Кислякову, про которую он уже и забыть успел. Она была на этот раз не голоногая, а в носочках и сандалиях. На сгибе локтя болталась у нее плетеная корзиночка.

— Не мешай, пожалуйста, — сказал он ей строго. — Видишь — я очень занят.

— А что же ты — обещал, а не заходишь? — приставала Лиля. — Ты же обещал, а сам обманываешь.

— Ты мне мешаешь, — повторил Павлуша с досадой.

— Пойдем в лес, — продолжала тараторить Лиля. — Я уже и носки как раз надела — от змей. Там — змеи. Ужи, медянки, гадюки. Так дядя говорит. Туда босиком нельзя.

— Не пойду я сейчас в лес, — отозвался Павлуша.

— Боишься? — обрадовалась Лиля. — А говорил — ничего не боится. Меня с тобой отпустили, а одной мне нельзя. И я уже как раз корзинку для грибов взяла.

— Я ничего не боюсь, — ответил Павлуша строго. — А видишь сама, что я делом занят. Некогда мне по лесам ходить.

Он отвернулся от нее и так пустил планер, что тот взмыл кверху и поплыл очень высоко, как еще ни разу у Павлуши не получалось. Планер плавно понесся вдаль.

— Ай! — вскрикнула Лиля в восторге и, уронив корзинку, кинулась с ребятишками вниз с горушки. Задирая голову, она не спускала восхищенных глаз с планера и мчалась, обгоняя всех, туда, где должен был, по расчету, приземлиться планер. А опустился он на этот раз далеко, как никогда: за железнодорожной колеей, на самом шоссе.

Лиля добежала первой, схватила игрушку и, не передохнув, устремилась обратно. Бегала она удивительно быстро — тонкие ноги ее так и мелькали. Она мигом взлетела вверх по склону, подала планер Павлуше и только после этого перевела дыхание. Другие ребятишки далеко отстали.

Павлуша почувствовал к этой быстроногой девчонке нечто вроде уважения.

— Ты здорово бегаешь, — похвалил он. — Из тебя чемпион может получиться.

— Ай, я такой бегун! — обрадовалась Лиля, восторженно взирая на Павлушу. — Я как-то раз испугалась и прямо ну как поезд бежала. Я тогда пьяного встретила, — пояснила она.

— Ты, наверное, всего боишься, — заметил Павлуша и хотел было дернуть ее за косичку, но все-таки не дернул.

— Нет, я только боюсь пьяных, — ответила Лиля.

Павлуша фыркнул. Лиля обиделась:

— Что ты все надо мной смеешься? Я же над тобой не смеюсь.

— Сказала тоже! То — я, а то — ты. Я — старше.

Но тут подбежали остальные ребятишки, и ссора кончилась, потому что Павлуша снова пустил свой планер, и Лиля помчалась вниз еще быстрей прежнего.

Когда она вернулась с планером, Павлуша опять похвалил ее:

— Бегаешь ты прямо как чемпион.

— Я и тебя обгоню, — заявила Лиля.

— Ну, действительно уж...

— А давай попробуем. Я уже немножко устала, а ты — нет. Давай!

— Стану я! — ответил Павлуша, передернув плечами.

Он чувствовал, что пускаться наперегонки с ней рискованно: при всех его опозорит, обгонит девчонка.

Он взял планер и пошел домой. Хата, в которой он жил, стояла с краю деревни, на этой самой горушке. Он отворил калитку и хотел уже пройти в сад, когда Лиля спросила его удивленно:

— Что же ты меня не приглашаешь в гости?

— Иди, — кратко отозвался Павлуша.

Он сегодня был не такой новый и чистый, как при первом знакомстве, и это несколько раздражало его. Штаны на нем были серые и с заплатой на колене, на рубашке зеленело пятно: это Павлуша на траве валялся.

Они сели рядышком на скамейку. Лиля сидела чинно, как настоящая гостья, и молчала. Наконец она обратилась к Павлуше:

— Что же ты меня не занимаешь разговором?

В первый раз он встретился с такой назойливой девчонкой. Ну о чем с ней разговаривать? Что она понимает? Но бегает она, правда, очень хорошо.

А она продолжала:

— Так ты ничего не боишься?

— Конечно, не боюсь.

— Неправда. Почему же ты тогда в лес со мной не хочешь?

— Некогда мне, — отрезал Павлуша. — Говорил же я тебе — некогда.

— Все равно. Если ты ничего не боишься...

И Лиля, оборвав, зашептала:

— Пойдем на ночь в лес и будем смотреть, как растут грибы. Это надо уйти очень далеко, а грибы, как солнце утром встанет, так начинают расти, и листочки шевелятся. Хочешь?

— Это — для девочек, — отмахнулся Павлуша. — Что тут смотреть? Растут и растут.

Лиля огорчилась, подумала и предложила:

— Тогда мы сядем вместе в лодку и уплывем далеко-далеко и... и... куда-нибудь, наверное, приедем.

— Надо знать, куда едешь, — поучительно заметил Павлуша. — Маршрут нужен.

Лиля вдруг заволновалась:

— Ну, тогда ты мне расскажи что-нибудь. Что-нибудь очень интересное!

Павлуша молчал.

Лиля требовала, теребя его за рукав:

— Да говори же!

Павлуша имел что рассказать. У него было задумано одно предприятие, которое не хотелось ему выполнять в одиночку. Как раз, пожалуй, девчонка здесь пригодилась бы. Тем более — бегает она, как чемпион. Секрета же в этом деле нет никакого.

Он задумался, и лицо его приняло выражение серьезное, даже немножко мрачное.

Лиля посмотрела на него, и глаза у нее, как при первом знакомстве, стали круглыми, испуганными. Она спросила тихо:

— А это будет не очень страшно? Если очень страшно, так я не хочу.

— Ну, так я и рассказывать не буду.

— Нет, рассказывай! — закричала Лиля. — Рассказывай! Не имеешь права!

IV

НЕСЧАСТЬЕ ШОФЕРА

Лиля Кислякова ожидала, что Павлуша угостит ее сейчас каким-нибудь очень жутким рассказом. Это будет, наверное, что-нибудь о злодеях, убийствах, шпионах или про покойников, про кладбище ночью, — вообще такое, чем мальчики обычно пугают девочек. И она собрала все свои силы для того, чтобы доказать, что она нисколько не трусиха.

Но Павлуша рассказал ей совсем про другое. Он рассказал ей о несчастье одного человека — шофера, по фамилии Степанчук, машина которого стояла в том же гараже, где работал и Павлушин отец.

Степанчук был уже немолод, жена его умерла, и жил он с сестрой и единственной своей дочкой. Дочка часто забегала в гараж — ну так же, как и Павлуша к своему отцу. Только она не мечтала стать шофером. Она просто так забегала, и отец ее, если он находился в это время в гараже, сразу начинал улыбаться, шутить с ней, дергать за косичку. Всем шоферам известно было, что он ее ужасно любит, прямо на все готов для нее. И все в гараже привыкли к этой девчонке так же, как и к Павлуше привыкли. Девочка была, правда, неплохая, очень бойкая и шаловливая и хорошо училась в школе. Такая немножко толстая, черноглазая, хорошая, в общем, девочка.

Степанчук возил на своей машине одного ленинградского директора, кудлатого и придирчивого, и летом поселился со своей сестрой и дочкой недалеко от этого директора — ну так же, как сделал и Павлушин отец этим летом, сняв хату недалеко от Шервинцева. Утром он возил директора в город, а вечером доставлял его обратно на дачу. И так каждый день, кроме выходных. Степанчук боялся оставлять машину на ночь просто под деревьями возле дачи — а вдруг украдут! — и потому возвращался на ночь в город. При этом он раза два в шестидневку прихватывал то сестру, то дочку. Дочка или сестра покупала в городе провизию, а утром он, подавая машину директору, привозил дочку или сестру обратно на дачу.

Однажды Степанчук вез так свою дочку с провизией по тому самому приморскому шоссе, на котором Павлуша познакомился с Лилей. Степанчук был очень осторожный шофер и только в крайнем случае давал скорость выше сорока — пятидесяти километров в час. И никогда никаких аварий у него не случалось. Он и на этот раз не был виноват в том, что произошло.

Пятитонка, вопреки всем правилам, вылетела с боковой дороги, наскочила на машину Степанчука и опрокинула ее. Девочка была убита, а Степанчук получил только незначительные ушибы. Павлуша точно и подробно объяснил Лиле, что виноват был в аварии шофер грузовика.

Степанчук после этого несколько дней подряд все повторял:

— Лучше б меня убило! Лучше б меня убило! — как сумасшедший.

Директор напрасно ожидал машину в этот день. Он отправился в город на поезде, чего терпеть не мог. Когда же он узнал, почему не пришла к нему машина, то согласился, что причина — уважительная, но потребовал, чтоб его возил другой шофер, не такой, у которого случаются аварии. Он ужасно боялся аварий и всегда приказывал ехать медленно.

Лиля тут перебила Павлушу:

— Злой-то какой! Так и не пожалел девочку?

— Почему злой? — удивился Павлуша. — Ведь он даже и замечания Степанчуку не сделал. А вот интересно, что Степанчук сделал. Он ходил такой хмурый и вдруг уволился по собственному желанию. Уволился и пошел в лесники. Шофер — и вдруг в лесники! Вот было мне удивительно. И как раз он поступил в те леса, вот туда...

Павлуша махнул рукой в сторону от моря.

— Живет он там совсем, говорят, один — с винтовкой и собакой. И медведи, говорят, там есть. Сестру свою в деревню отослал, никого видеть не желает. Отец с одним, тоже из гаража, заявились было к нему, так он их на порог не пустил. «Не надо, говорит, плакать начну...» Леса там огромные, пустынные, и идти туда далеко — много километров, болота на пути опасные, ночь в лесу надо ночевать... Мне отец всю дорогу рассказал, как идти, я знаю...

Лиля слушала, открыв рот и больше не перебивая. Удивительные у нее были глаза — то засияют, то прищурятся, то вдруг потемнеют и такие становятся глубокие, как колодцы.

Павлуша замолчал, поглядывая на нее с любопытством. А она встала тихо и сказала решительно:

— Обязательно мы к нему пойдем.

— Только не пугаться, — сурово предупредил Павлуша. — Я тебя в лес не тащу. Сама хочешь. Самой интересно.

И он сплюнул в сторону.

— Ничего ты не понимаешь, — промолвила Лиля. Но тотчас же схватила Павлушу за рукав. — Нет, это я так, мы обязательно пойдем. Хорошо?

Было ясно, что от нее уже не отвяжешься. Но она, пожалуй, в этом деле пригодится. Девочка для встречи со Степанчуком может понадобиться: ведь и у него была дочка, а не сын.

Павлуша сказал:

— Мы как поселились здесь, так я сразу и задумал *пойти к нему посмотреть, как это он там живет один* с медведями. Ведь я с ним знаком. Ты вот что: если не боишься, приходи завтра к шести утра. Только пищу захвати. На два дня. Но смотри у меня — не ныть.

V

ПУТЕШЕСТВИЕ

Лиля оставила дома записку, в которой просила не беспокоиться о ней и Павлуше. «Мы отправились в очень нужное путешествие, — писала она, — и вернемся через два дня».

Павлуша ушел, ничего не объяснив. Он только кратко сказал матери:

— В лес пойду. Далеко.

И они двинулись в путь.

Уже за километр от деревни, в перелеске, начали попадаться грибы. Павлуша собирал молча, а Лиля, завидев гриб, обязательно вскрикивала. Они и не заметили, как вступили в лес.

Лиля сначала брала и сыроежки, но грибов оказалось так много, что она вскоре побросала сыроежки, чтобы очистить в своей корзинке место для грибов получше. Срывала она грибы неумело, с корнем, с целыми охапками мха и травы, а Павлуша аккуратно срезывал ножку гриба, оставляя корешок в земле.

Так они шли по лесу, глядя только себе под ноги, рыская глазами по земле. Павлуша даже на четвереньки иногда опускался, разрывая мох руками.

Изредка они проверяли, где дорога, чтоб не слишком отклониться от нее. В грибном азарте можно ведь и заблудиться. Лес — густой, и легко запутаться между троп, иные из которых и просто обрываются, никуда, кроме сплошных зарослей кустарника, не приводя.

Они понимали, где могут быть грибы, а где — нет. Вот сырая канава пересекает лес, — наверное, тут подосиновики, большие крепкие, красные грибы. Так и есть.

— Ай!

И Лиля сорвала огромный красный гриб с большущей — прямо как зонт — красной шляпкой. Потрясенная драгоценной находкой, она держала гриб перед глазами, дыхание замерло в ее груди, и она вся сияла. Наконец дар речи вернулся к ней, и она предложила:

— Теперь посчитаемся.

Они присели тут же, на краю канавы, под шумной листвой осин и берез, вывалили в траву из корзинок все свое богатство и принялись считать.

У Лили оказалось семнадцать подберезовиков, четыре красных гриба и три белых, а у Павлуши — шесть белых, два красных и тринадцать подберезовиков. Павлуша, отсчитывая, отличал еще как-то боровик от белого гриба, обабок от подберезовика. Но Лиля не понимала этого и думала, что Павлуша нарочно хвастается.

Когда они подсчитали грибы, Лиля радостно заявила:

— Вот у меня и больше! У меня семнадцать плюс четыре плюс три равняется двадцать четыре. А у тебя шесть плюс два плюс тринадцать равняется двадцать один. Двадцать четыре минус двадцать один равняется на три гриба у меня больше.

— Смотря какие грибы, — отозвался Павлуша. — У меня белых грибов да боровиков зато больше.

— А это все равно.

— Да и червивых я не брал.

И Павлуша протянул руку к Лилиной корзинке, в которую она, считая, уложила грибы обратно.

— У тебя, наверное, полно червей. Дай-кось — погляжу.

Лиля доверчиво подвинула ему свою корзинку.

— Зачем с корешками берешь? — упрекнул Павлуша. — Надо рассаду в земле оставлять, чтобы опять грибы были. Эх, ты!

До чего вкусно пахнет грибами! Как хорошо в лесу!

Павлуша резал корешки Лилиных грибов. Срезал один, другой, а третий гриб разломал и показал Лиле:

— Любуйся.

В шляпке гриба черви так и кишели.

Павлуша прицелился грибом в тонкую березу за канавой, кинул и попал прямо в середину ствола.

Гриб разлетелся на куски. Удовлетворенный меткостью своего выстрела, Павлуша отер пальцы о штаны и продолжал чистку. Целых семь грибов пришлось выкинуть из Лилиной корзинки: они оказались червивыми.

Павлуша сказал:

— *Ну что? Двадцать четыре минус семь сколько* будет? Больше моего?

— А зато какой у меня красный гриб! — ответила Лиля. — Большущий-пребольшущий! Такие только мухоморы бывают. Я его как издали увидела! Как побежала! Как схватила! — даже в глазах потемнело и сердце остановилось. Какой гриб! Такого гриба за все лето ни у кого не будет. Нигде ты такого гриба не видел.

И она нежно держала огромный гриб у себя на коленях, она хотела сохранить его в таком виде, как он есть, даже корешок срезать она Павлуше не дала.

— Этот гриб все равно как четыре твоих. И пусть будет вроде как мы собрали поровну, — попросила она.

— А ну-ка, покажи мне его.

Лиля опасливо протянула ему свою драгоценность.

— Только не ломай, — предупредила она. — Не ломай! — вскрикнула она в ужасе. — Ну пусть он будет как здоровый! Да Павлуша же! — умоляла она.

Но Павлуша уже беспощадно сломал шляпку и показал Лиле. Такой замечательный, такой красивый гриб был совершенно гнилой!

— Где твои четыре? — торжествующе осведомился Павлуша.

— Я тебя так просила, — ответила Лиля и отвернулась, чтобы скрыть слезы. — Как тебе не стыдно!

И голос у нее оборвался.

Павлуша попытался успокоить ее:

— *Ладно.* — Он тронул ее за плечо. — Найдем еще больше. Пошли.

Он был не совсем доволен собой. Зачем было ломать гриб? Пусть бы она тащила его, если хочет. Удивительно глупая девчонка!

— Ну что же ты? Пошли, — повторил он примирительно. — Будут грибы еще побольше этого. Я почему разломал? Потому, что зачем тебе лишнюю тяжесть тащить? Да и черви по корзинке расползутся, по здоровым грибам, а то и на платье полезут.

Лиля стояла спиной к нему, тонкие плечи ее и желтая косичка вздрагивали.

— Плачет, — определил Павлуша с презрением. — Эх ты, нюня! Обещала ведь не реветь.

Лиля подобрала корзинку с земли и пошла. Павлуша двинулся за ней.

Ладно. Он постарается найти огромнейший гриб и сделает так, чтоб гриб этот вроде как нашла Лиля.

VI

ОПАСНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ

В начале пути в лесу слышались то тут, то там голоса дачников, с дороги то и дело доносился скрип колес, но чем глубже уходили в лес дети, тем глуше становилось вокруг. Щебетанье и стрекот наполняли воздух. Изредка тяжелым взмахом крыльев заявляла о себе крупная дичь, и когда какой-нибудь глухарь подымался с ветви, то все дерево вздрагивало.

В лесах здесь и днем сумрак, и небо чуть видно сквозь сплетение ветвей и листвы. Почва становилась все сырей и сырей — приближались болота.

Лиля еще никогда не заходила так далеко от дачи и сейчас старалась поближе держаться к Павлуше.

Дети вернулись на дорогу.

Дорога была здесь пустынней и уже, чем вначале, но колея на ней немножко успокаивала детей: все-таки, значит, тут проезжают телеги, бывают люди.

Справа и слева стоял сплошной дремучий лес.

Павлуша знал, что до самого дома лесника теперь не будет жилья.

Люди очень редко попадались им навстречу. Когда же показывался человек, то одна и та же мысль рождалась у Павлуши и у Лили: не бандит ли? Но все это были грибники с дальних мест, обвешанные огромными кошелками, полными грибов.

Лиля совсем приумолкла. Она не хотела сознаться в том, что хочет есть. Но Павлуша не постеснялся.

— Уф! — сказал он, остановившись. — Надо бы отдохнуть.

Они выбрали два пенька, уселись и вынули пищу: Павлуша — из кармана штанов, а Лиля — из сумочки, висевшей у нее на ремешке.

— Ай! — огорчилась Лиля. — А что мы пить будем? Я и забыла взять.

Павлуша, усмехнувшись, вытянул из другого кармана бутылку с молоком. Какой он предусмотрительный! И Лиля первый раз в жизни пила молоко прямо из горлышка. Струйка молока протекла ей на грудь, и никто не сделал ей за это замечания.

— Пошли, — промолвил Павлуша решительно и встал. — Довольно рассиживаться.

Лиля робко взглянула на него. Неужели идти еще дальше?

Ей мучительно хотелось домой. Все это путешествие очень увлекательно, но ведь как далеко они зашли! Если сейчас повернуть назад, то раньше ночи, наверное, домой не успеть — вот как далеко! И корзинки полны грибов, и нарассказать можно невесть чего...

— Пошли, — повторил Павлуша. — Болота надо до темноты пройти, — прибавил он. — На ночь на сухом месте устроимся.

Ему и в голову не приходило возвращаться с полдороги. Пустились в путь, так уж надо достичь цели. Иначе — стыд и позор.

Лиля покорно двинулась за ним.

Она уходила все дальше и дальше от дома, а в воображении своем возвращалась домой.

— Что, нюня, приуныла? — окликнул ее Павлуша. — Устала?

Но Лиля не устала. Она и бегала хорошо и ходить могла много. Просто ей непривычно было одной с малознакомым мальчиком уйти так далеко от дома да еще с ночевкой в лесу. Это было очень интересно, но все-таки жутковато. Вдруг и медведи тут окажутся, и какие-нибудь злодеи, и кладбище...

Лес становился ниже, редел. Начинались болота. Далеко вдаль потянулись заросли мелкого березняка,

осинника, сосняка, и то тут, то там краснели во мху лужи стоячей воды. И на дороге явственно проступала сырость, и в такую чудную сухую погоду непросохшие лужи попадались на пути, и нужно было осторожно обходить их. А чуть ступишь с дороги в сторону на кочку какую-нибудь, так кочка и чмокнет под ногой. Но Павлуша шел все вперед и вперед, и Лиля шла за ним.

Несколько раз они присаживались на пеньки в местах, где посуше, отдыхали и ели. Потом снова поднимались и снова шли. Такой длинной прогулки еще не случалось в *Лилиной жизни.*

Уже наступал вечер, а болота не кончались. С уважением Лиля убеждалась, что Павлуша нисколько не боится и не сомневается. С таким мальчиком, пожалуй, действительно не пропадешь. Он поглядывал по сторонам, и когда видел гриб у дороги, то нагибался и, аккуратно срезав корешок, клал гриб в корзинку. А она на грибы уже и не глядела.

Вдруг Павлуша толкнул ее локтем и, сам посматривая влево, сказал ей:

— Погляди-ка направо — нет ли там грибов?

Лиля взглянула направо, и сердце ее замерло: огромная шляпка красного гриба торчала из мхов.

— Ай! — вскрикнула она в восторге.

Павлуша сразу обернулся и сделал вид, что очень удивлен.

— Какой ты гриб нашла! — похвалил он. — Еще больше твоего прежнего. Погоди. Ты нашла, а я тебе его сорву.

И он направился к огромному грибу.

Гриб рос шагах в десяти от дороги. Павлуша ступил шаг, два, а дальше произошло нечто невероятное.

Только что Павлуша был виден во весь свой рост, и вдруг от него осталась одна верхняя половинка, словно кто-то срезал ему всю нижнюю часть вместе с ногами.

Лиля ахнула, немигающими глазами глядя на такую внезапную перемену с Павлушей.

Павлуша не сразу понял, что такое случилось. Он дернулся, но от этого движения еще глубже погрузился в болото. И тогда ужас охватил его: трясина засасывала его, ему грозила страшная смерть.

Руки Павлуши дрожали, и он потерял голос. Но тотчас же сила воскресла в нем.

— Лиля! — позвал он негромко. — Я в трясину попал.

При этом он не шевелился, чтобы не провалиться еще глубже. Рукой он схватился за елочку, шатавшуюся на болотной кочке, и колючки оцарапали ему ладонь и пальцы.

Он соображал, как быть, но в этот момент услышал сзади шорох и увидел конец коряги, сунутой ему из-за спины. Коряга была большая, длинная.

Лилин дрожащий голос говорил ему:

— Бери. Держись за нее.

Павлуша взял корягу, положил ее перед собой, установив один конец на кочку с елочкой, а другой — на другую кочку, и оперся, испытывая, выдержит ли коряга его тяжесть. Коряга не погружалась в болото. Тогда он осторожно, с помощью этой коряги, стал вылезать из трясины.

Он весь напрягся в одном усилии — выбраться, выскочить из беды. Тело медленно высвобождалось, выползало, показываясь вершок за вершком над болотом. И вот Павлуша весь вылез на поверхность. Мокрый, в ржавчине, он лежал на животе, переводя дух. Затем осторожно повернулся к дороге и увидел совершенно белое Лилино лицо, на котором волнением и страхом горели глаза.

Лиля сунула ему другую, подобранную ею у дороги корягу, и, схватившись за нее, Павлуша на животе, а потом на четвереньках выполз на дорогу, которая представилась ему сейчас самым прекрасным, самым безопасным местом в мире.

— Пропал бы без тебя, — сказал он. Он был бледен, и губы его вздрагивали.

— И куда тебя, глупого, понесло! — тихо воскликнула Лиля. — Разве можно так?

Павлуша, нагнувшись, счищал со штанов и ботинок налипшую грязь. Потом выпрямился и встретился глазами с Лилей. Они глядели друг на друга, бледные и взволнованные.

— Не жалко было тебе девочку и шофера — вот тебе и наказание пришло, — поучительно заметила Лиля.

вообще любившая поучать. — Рассказал так, словно тебе и все равно.

Павлуше понравилось, что ни слова эта девочка не говорит о том, что спасла его. А другая, наверное, нахвасталась бы сразу и загордилась. Впрочем, девочка эта — совсем не такая уж нюня, если не растерялась и в такой опасный момент помогла. Она — тоже храбрая.

И вдруг он опять ступил в сторону от дороги.

— Куда ты! — вскрикнула Лиля. — Павлуша!

Но Павлуша на этот раз шел очень осторожно. Обходя сомнительные места и пробуя ногой почву, прежде чем ступить, он благополучно добрался до гриба, вынул перочинный ножичек, срезал гриб и, все так же осторожно ступая, вернулся на дорогу.

Лиля следила за ним с восхищением.

— Ты такой храбрый! — сказал она восторженно. — Ты, наверное, будешь герой.

— Ничего тут нет особенного, — ответил Павлуша. — Подумаешь — геройство. Пустяки какие.

Лиля сказала:

— У меня, знаешь, ведь папа на Дальнем Востоке в армии. Он — очень храбрый и очень добрый. Он — саперный инженер. Я — тоже добрая, но только я, наверное, трусиха.

VII

НЕПРИЯТНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ

Теперь Лиля уже не думала о том, чтобы возвращаться домой. Это желание она оставила позади, за пройденными уже болотами. А болота кончились вскоре после приключения с Павлушей.

Они шли строевым лесом.

Молчаливая толпа высоких, стройных сосен окружала их. Это был крепкий мачтовый лес, в котором если встречались березы и осины, то и они были толстостволь-ные, здоровые и радостные.

— Смотри! Метки на стволах, — сказал Павлуша. — Здесь деревья — считанные.

— Да ну? — удивилась Лиля.

В торжественном молчании глядели на них великаны леса.

Темнело. Но Лиля нисколько не пугалась предстоящей ночевки в лесу. Может быть, все-таки она будет штурманом на корабле, а не подавальщицей в ресторане. Чего бояться? Зачем бояться? Самая обыкновенная прогулка.

Воздух был теплый, сухой, и туман не подымался над землей. Надвигалась ночь, безветреная и бесшумная. Выбрав сухую лужайку подальше от муравейников, которых немало кучилось в лесу, Павлуша и Лиля устроились здесь.

Созвездия в небе были вычерчены четко и ясно, как на карте. Земля покоилась в тишине, и стволы деревьев стояли на ней величественно и настороженно, как огромная армия часовых.

— Утром можно будет посмотреть, как грибы растут, — болтала Лиля, уминая траву, чтоб удобней лечь. — Это очень интересно. Только это трудно увидеть — ну все равно если увидеть, как стрелка по часам двигается. Я так раз долго смотрела на дядины часы, а дядя Леонид Михайлович смеется и говорит: «Это же не электрические часы». А на электрических часах стрелка дергается, и даже издали видно, как она дергается. А дядя-астроном, брат дяди Леонида Михайловича, может определять время и без часов — по солнцу или по звездам.

Тут Павлуша перебил небрежно:

— Погляди-ка...

Он уже лежал на спине, закинув руки за голову, и смотрел в небо.

— Погляди-ка, — говорил он,— вот там Большая Медведица — видишь? — как кастрюля. От нее проведи так линию, — он, выпростав одну руку, черкнул ею по воздуху, — и найдешь Полярную звезду. По ней ориентир — на север. А нам чтоб домой идти — надо ровно на север.

Лиля ответила:

— Это я как раз знаю.

Закинув голову кверху, она глядела в небо. Небо было очень далекое, холодное и немножко страшное. Лиля вздрогнула, опустила голову и зябко повела плечами.

— Как он тут один живет! — промолвила она. — Я бы все-таки боялась.

— Да ты известная трусиха, — заметил Павлуша и, протянув к Лиле руку, дернул ее, наконец, за косичку.

— Пошел вон! — вскрикнула Лиля. — Другой раз тони в болоте — пальцем не шевельну, если так! Я злых не люблю!

— Да что я тебе сделал такого? — удивился Павлуша. — Других девочек бьют — и то они ничего.

— А я не позволяю, — заявила Лиля решительно. — Я сама всякого побью. Или убегу. Попробуй — догони, если побегу.

— Тебя-то?

— Меня.

— Подумаешь — дело тоже. И догоню.

— А попробуй.

— А вот и догоню.

И Павлуша встал на ноги.

— Ладно. Раз, два...

Но Лиля не успела произнести «три», как вдруг сзади раздался мужской бас:

— Куда забрались, дьяволята?

Оба разом оглянулись и увидели темную фигуру с винтовкой в руках.

Тогда они, не сговорившись, сорвались с места и на бегу схватились за руки. Так они и бежали рядышком.

Первым опомнился Павлуша. Чего это они вдруг струсили?

Отдернув руку, он остановился, и Лиля, оторвавшись от него, пробежала немного одна, а затем тоже остановилась и вернулась к Павлуше.

Она шепнула ему:

— Все равно перегнала бы.

Затем оба с любопытством уставились на незнакомца, который, подойдя, оглядывал их.

Это был невысокого роста человек в надвинутой на брови черной кепке, в косоворотке, стянутой ремнем, военных штанах и высоких русских сапогах. В его теле чувствовалась большая сила. Лицо его заросло всклокоченной, давно не стриженной, нечесаной, черной с проседью бородой. Длинные волосы выбивались из-под кепки. Глаза из-под насупленных бровей глядели хмуро.

Пожалуй, лучше было бы убежать от него. Зря Павлуша остановился. Теперь уже бежать поздно.

Павлуша спросил храбро:

— Вы — лесник?

— Я?

— Вы.

— Я — охотник.

— А мы идем к леснику, — заявила Лиля. — К Степанчуку. До свиданья.

И, чуть толкнув локтем Павлушу в бок, она двинулась прочь, но незнакомец сказал:

— Так идем вместе. Мне тоже туда.

— А далеко до Степанчука? — осведомился Павлуша как ни в чем не бывало, хотя сердце его замирало. Этот незнакомец казался ему очень подозрительным.

— Километра два еще, — ответил незнакомец, продолжая внимательно приглядываться к детям. — А зачем вы к нему?

— По личному делу, — уклончиво отозвался Павлуша. — А вы его знаете?

— Немножко знаю, — промолвил незнакомец и, кажется, усмехнулся. — Что ж, пойдем!

Павлуша ответил:

— А мы лучше сами дойдем.

— Да нет, уж лучше я вас доведу.

Он вел себя странно. Зачем он привязался к ним, да еще ночью, в лесу? А вдруг бандит? И все рассказы о бандитах вспомнились тут детям. Им стало страшно.

— А кто вы такой? — спросил Павлуша.

Незнакомец опять, кажется, усмехнулся.

— А вот увидишь, — сказал он.

Это звучало угрожающе.

Павлуша тихонько толкнул Лилю локтем в бок, и Лиля поняла — теперь началось то самое опасное, с чем ей никогда еще за всю свою жизнь не приводилось встречаться. Теперь нельзя ни реветь, ни трусить.

VIII

СТРАННЫЙ ЛЕСНИК

Предстояла трудная задача — перехитрить неожиданного спутника. Уж очень он всклокоченный, нестриженый и вообще непонятный. Наверное, он с недобрыми намерениями идет ночью к Степанчуку. По ночам люди в гости не ходят. Надо во что бы то ни стало преду-

предить лесника и с его помощью задержать незнакомца.

А незнакомец говорил:

— Два километра ходу, а там вы и увидите, кто я такой.

Положение было очень опасное, но Павлуша и Лиля все же не забыли захватить с собой корзинку с грибами.

Незнакомец повел их к дому Степанчука.

Луна выплыла из-за деревьев и осветила путь. Кружевные тени легли наземь.

Лиля поглядывала на свою тень, которая неотрывно стлалась рядом с ней, и мысли прыгали в ее голове так, что она не могла с ними справиться. Все в ней дрожало, но она не могла бы сказать, что это от страха. Пожалуй, это от необыкновенного положения, в которое она попала.

Вдруг она вообразила: вот по этим дорогам бродит Степанчук рядом со своей тенью, как с единственным другом. Но все-таки, может быть, одному со своей тенью остаться лучше, чем с этим незнакомым бандитом. И вдруг он идет убивать Степанчука?

А незнакомец все поглядывал на Лилю, словно желая заговорить. Странно так поглядывал, непонятно почему.

Наконец Лиля не могла больше идти в таком ужасном молчании.

— Вы тоже тут живете? — спросила она самым невинным тоном, и Павлуша одобрительно кивнул ей головой — заговаривай, мол, зубы, отвлекай внимание...

— Живу, — неопределенно отозвался незнакомец. И сам спросил: — А как тебя зовут, девочка?

— Лиля. А можно пойти с вами совсем рядышком?

— Иди. Ходить ты, я вижу, умеешь.

Лиля зашагала рядом с ним, с опаской все же посматривая на его ружье. Она продолжала:

— А зачем вы нас не отпускаете?

— Да нам же по дороге, — усмехнулся незнакомец. — Попутчики мы. А что?..

— А вы знаете, зачем мы идем? — ответила Лиля. Она все-таки надеялась разжалобить незнакомца. — Знаете, почему Степанчук тут живет? Вы ничего и не знаете. Ничего. Степанчук был шофер, и он ехал на машине со своей дочкой, а на него налетел грузовик...

— А тебе-то что? — прервал незнакомец. — Разве ты его знала?

— Так нам же жалко его! — воскликнула Лиля. — Павлушин папа еще с одним приехали к нему, так он выгнал их, говорит: «плакать буду».

— А они чужого горя испугались да уехали?

Лиля не нашлась, что ответить. Она растерянно взглянула на Павлушу. Тот заявил авторитетно:

— Взрослому мужчине плакать не полагается.

— Да ты, я вижу, с правилами, — заметил незнакомец. — Мало ты еще понимаешь.

Павлуша был очень оскорблен и отрезал вызывающе:

— Мальчики — и то не плачут. А взрослому — и совсем стыдно.

— Да?

И вдруг незнакомец взял Павлушу за шиворот и легко поднял его на воздух.

Лиля закричала отчаянно:

— Оставьте его! Что вы с ним делаете!

Незнакомец сразу же поставил Павлушу наземь и примолвил:

— Тоже учитель нашелся. А ты что обеспокоилась?

Лиля объясняла взволнованно:

— Ведь это же Павлуша! Мы с ним к этому шоферу, то есть к леснику, и идем. Вот его отец с одним еще из гаража и приезжал. Его папа был в одном гараже с папой той убитой девочки, то есть с самим шофером, то есть теперь лесником, ну вот со Степанчуком, который один поселился здесь...

— Ну и сорока! — вновь прервал ее незнакомец. — Смотри — язык заболит.

Лиля замолкла в испуге. У нее сразу заболел язык, и болтать расхотелось. Но ненадолго.

— Отпустите нас, — попросила она. — Ну зачем мы вам нужны? И Степанчуку не надо ничего плохого делать. Мы идем к нему по жалости. Это он придумал идти, — честно прибавила она, ткнув пальцем в Павлушу. — Ведь это несчастье, если дочка, да еще единственная, умерла и никого — ну никого! — у человека на свете не осталось... Ведь очень же жалко...

Тут вдали показался дом лесника.

— Ну и мастер ты, Лиля, сердце теребить, — сказал незнакомец. — Ладно. Сейчас поймете, кто я такой. Интересное дело сейчас произойдет. Узнаете, что бритва сделать может.

Значит, бритвой, а не ружьем? Это еще страшнее. Все ясно. Сейчас он их прогонит, чтобы одному разделаться со Степанчуком, который спит, наверное, и ничего не подозревает. Для того он, конечно, и повел их с собой, чтоб они не смогли перегнать его и предупредить лесника.

Павлуша толкнул Лилю локтем в бок, и они разом помчались вперед. С отчаянной решимостью ринулись они прямо к дому Степанчука.

Вот тут-то и обнаружилось, что Лиля бегает куда быстрей Павлуши. Она сразу опередила его. Прямо любопытно было бы прикрепить к ней спидометр и поглядеть, сколько километров она делает в час.

Незнакомец бросился за ними следом. Перегнав Павлушу, он даже не оглянулся на него. При этом он очень странно кричал:

— Волк, смирно! Смирно, Волк! Лечь!

Дети и не видели, как огромная собака, выскочившая за ограду дома, послушалась и легла смирно.

Лиля добежала до дома первая, крича на бегу:

— Бандит! Бандит!

Она взлетела на крыльцо, рванула дверь и только теперь заметила, что на двери висит большой замок.

Степанчука нет дома, Павлуша отстал, и она — одна во власти бандита. Вот в какую ловушку она попала! Теперь начнется самое страшное...

Она хотела соскочить с крыльца и помчаться дальше, но незнакомец уже догнал ее и стал на пути со своим ружьем.

Тяжело переводя дух и мотая головой, он промолвил совсем как Павлуша:

— Ну и здорово же ты бегаешь! Прямо чемпион.

Павлуша, запыхавшись, бежал изо всех сил на помощь Лиле.

Ужасный это был момент!

Лиля хотела прыгнуть навстречу Павлуше, но бандит приказал:

— Стой!

А затем он произнес неожиданные, невероятные слова:

— Не бойсь. Я и есть тот самый Степанчук. Чего это вы меня, глупые, за бандита признали? Вот уж никак не ждал...

Он был очень огорчен.

Лиля так и присела и выпучила на него глаза, пораженная, как никогда в жизни.

У нее только и вырвалось восклицание:

— Вы?

Потом она спросила:

— Зачем же вы тогда в бандита играете? Зачем нас пугали? Зачем сказали, что охотник, а не лесник?

Она решительно ничего не понимала.

— Да неужели же я на бандита похож? — удивлялся Степанчук.

Тут подбежал Павлуша, и лесник сказал ему:

— Здравствуй. Тебя-то я знаю. Как папаша твой? Все в том же гараже работает? Ну что рот открыл? Не узнаешь меня? Степанчук я. Думал привести вас в дом да побриться, чтоб сам ты меня узнал, а вы — вон как, бандитом меня признали...

Павлуша молчал, недоверчиво и настороженно глядя на него.

— Видно, здорово я изменился, — продолжал лесник. — Бороды не было, седины не было раньше. А теперь и оброс и поседел. Так?

— А зачем за шиворот поднял меня? — осторожно осведомился Павлуша. — И на Степанчука вы непохожи...

И он оборвал свою речь. Злить этого непонятного человека не стоило.

Но тот откликнулся:

— Погоди. Сейчас ты меня припомнишь. Побреюсь.

Он отомкнул замок и ввел детей в дом.

— Разорвал бы тебя мой Волк в клочья, кабы не я, — говорил он Лиле. — Так к чужому дому ночью не бегут. Тоже охотники нашлись — бандита ловить. Садитесь. И как это вы меня за бандита приняли? Ужели я такой страшный стал?

Он засветил лампу, приготовил воды, вынул бритву, присел к столу и стал бриться перед зеркальцем. И когда

лицо его освободилось от бороды, Павлуша сразу же признал в нем шофера Степанчука. Это был бесспорно Степанчук.

— Уж простите меня, — примирительно сказал он. — А теперь ешьте. Издалека небось шли.

Он выставил на стол кувшин молока, миску с яйцами, тарелку с хлебом, кусок масла.

— Хозяйничайте.

— А зачем вы нас пугали? — настойчиво добивалась Лиля. — Зачем?

— Не думал я, что пугаю вас, — отвечал Степанчук печально. — Хотел я, чтоб Павлуша сам меня узнал, как побреюсь, — вот и все... Ну, ешьте, ребята, — и спать! Завтра потолкуем.

IX

ВОЗВРАЩЕНИЕ

— Так вот где наши беглецы-то! — воскликнул Шервинцев, входя в дом.

Дети только что заснули, но при звуке его голоса сразу же открыли глаза.

Павлушин отец, крутя в пальцах автомобильный ключ, промолвил:

— А я ж вам доложил, Леонид Михайлович, — коли мой в этом деле заводило, так их уж обязательно сюда понесло. Все время приставал: а где Степанчук? Очень был заинтересованный, как он тут живет.

Степанчук, бритый, помолодевший, стоял у порога в неловкой позе — не как хозяин, а как непрошеный гость.

Павлушин отец сунул ключ в карман, взял лесника за обе руки и потряс.

— Рад тебя видеть, дружище. Много тебя вспоминаем все же. Ты и разучился, поди, машину водить. А то хочешь рулем повертеть?

— Да уж нет, — ответил Степанчук тихо. — Машину водить больше не буду.

— А гостей гнать будешь?

Степанчук поежился и промолчал.

— Чудило! — сказал Павлушин отец.

— А в гараже как — все по-прежнему? — спросил Степанчук.

— Буркин налево ходил, так уволили.

— Ну? — заинтересовался Степанчук. — А ведь такой был, будто и честный.

— С виду — тихоня, а как инспектор задержал ночью, так и разоблачился полностью. Новенького взяли — лихач, повороты на такой скорости берет, что куда другому... С резиной туго, — продолжал сообщать новости Павлушин отец. — Прямо беда с резиной. Ну, это и при тебе было. А так — ничего, подходяще работаем. Тебе бы сразу место нашлось. Хороших шоферов — нехватка.

— Не могу я больше машину водить, — невесело отозвался Степанчук. — Лесником — тоже можно жить. Есть лесники и веселые, песни поют.

— Виноваты мы перед тобой, — повинился Павлушин отец. — Один раз заехали — и больше ни ногой. А ведь сочувствуем, конечно. Да уж не суди: работы, сам знаешь, у нас хватает. Да и забрался ты в лес глубоко. Вот с хозяином, как из города прибыли поздно да записку вот ее, — он указал на Лилю, — нашли, так сразу же и сюда. Далеко в лесу живешь.

Шервинцев заметил:

— На машине-то близко. А вот как дети шли...

И он дернул Лилю за косичку.

— Беспокойная твоя душа.

Павлуша отметил, что Лиля спокойно приняла то, что дядя дернул ее за косичку: ему — можно, а Павлуше — нельзя.

Так понемногу затеялась беседа, и видно было, что Степанчук рад и беседе и гостям.

Лиля влетела в разговор:

— А медведей у вас нету? Павлуша сказал — вы с медведями живете.

Степанчук впервые рассмеялся.

— Нету медведей. Собака только есть, по названию Волк, друг мой верный.

— А Лиля не очень досаждала вам тут? — спросил Шервинцев. — Болтунья она ужасная.

— Смелая девочка, — ответил Степанчук. — И бегает прямо как чемпион.

— Здорово бегает, — подтвердил Павлуша солидно. — И действительно — не такая уж трусиха.

Павлушин отец обратился к сыну угрожающе:

— С тобой дома поговорим. Путешественник! Куда девочку потащил?

— Я — сама! — закричала Лиля. — Никто меня не тащил! Я — сама!

Был уже второй час ночи.

Гости распрощались со Степанчуком.

— Теперь навещать будем часто, — говорил Павлушин отец, идя к машине, и вынул ключ из кармана.

— Грибов кругом множество, — отвечал Степанчук. — Обязательно приезжайте. Можете и на ночь — дом у меня поместительный.

Гости уселись в машину.

Павлушин отец дал газ.

Оглядываясь, дети видели невысокую фигуру Степанчука, облитую лунным светом. Он стоял неподвижно рядом со своей собакой. Но теперь он уже не был одинок.

Дети задремывали, трясясь на заднем сиденье в кузове... Павлуша на спидометр не глядел — до двадцати пяти тысяч еще долго ждать.

Когда машина шла между болот, Павлуша толкнул Лилю:

— Гляди! Вот тут дело было! Только молчок! А то больше не пустят!

Лиля вдруг забеспокоилась:

— А гриб? Гриб где?

Огромный красный гриб шляпкой своей покрывал всю ее корзинку.

— Так и не посмотрели, как грибы растут, — пробормотала Лиля хлопотливо и опять задремала.

— А хорошо все-таки дети сделали, — промолвил тихо Шервинцев.

Павлушин отец молча кивнул головой в ответ.

1940

АЛЕША САПОЖКОВ

ДАР ВАЛДАЯ

Это был грузовик. Полуторатонка. Начальник машины носил в петлицах три квадратика — воентехник первого ранга. Розовощекий веселый человек. Он сидел на ступеньке машины, а рядом с ним — худощавая женщина с очень утомленным лицом. Немолодая костлявая женщина в стареньком драповом пальто. Над ними, в кабине у руля, дремал шофер-красноармеец.

Начальник машины тихо говорил:

— Рассуждали, рассуждали, а пришли ни к какому выводу. Ладно. Между прочим, я не возражаю. Только знай: разрешение имею на всю семью до Тихвина на машине. Командование сказало — «увози».

Он встал и росту оказался солидного. Женщина попрежнему сидела согнувшись, упершись острыми своими локтями в жесткие колени.

— Было бы у тебя дите, — иначе рассуждала бы, — промолвил начальник машины. — А раз дити нет, оставайся, коли так упрямишься. Свидимся через месяц. Мой маршрут тебе известный, секрету нет: Тихвин, Валдай и обратно. Фашист, сволочь, какую дорогу ни оборвет, а, между прочим, Ленинграда я всегда достигну. Не поездом езжу. Ну, сестренка, целоваться пора.

Женщина поднялась, и они поцеловались — раз, два и три раза.

Темнело. Огни не зажигались в окнах огромного дома, поднявшего ввысь шесть своих этажей в этом просторном, с отцветшим садиком, дворе. Город запахнулся в непроглядную тьму, укутался в черные шторы. И тысячи

зорких сторожевых глаз взирали с крыш, охраняя этот спасительный мрак. А в небе загорались ничем не затемненные звезды. Под серебристым, светлеющим, холодным небом город тонул, опускался на черное дно ночи.

Павлуша, укутанный поверх пальто и шапчонки в мамин платок, лежал в машине на мягких узлах и с интересом следил за тем, как уплывает дом. Это был не дом, а корабль. Высоченный шестиэтажный пароход. Вот он опять поплыл со всеми своими подъездами. А вот он же стоит на месте — каменный, тяжелый, неподвижный. Темный корпус его и стоит, и плывет, и заволакивается дымкой, и опять уплывает в дрему, в сон... И Павлушу укачивает на этом громадном корабле.

Вдруг Павлушу встряхнуло так, что он сразу сел. Не было ни двора, ни дома. Оказывается, Павлуша заснул, а машина шла уже по очень длинному проспекту, и слева чернела сердитая осенняя Нева, посылающая туман и холод. Ни одного огня, чернильная тьма вокруг, и только небесная далекая глубина богато расписана знакомыми узорами созвездий. Сеткой повиснув в небе, холодно светятся колючие звезды, а за ними — та же бездонная чернота. Павлуша глядел вверх на мигающие звезды, а мать спрашивала тревожно:

— Ты не ушибся?

Павлуша не отвечал, потому что опять лег на узлы, и опять его приятно укачивало. Все плыло под опущенными веками, меняя очертания, и в этом послушном, одному Павлуше подвластном мире можно было увидеть все, что хочешь: и большущего кота Лариона, отчаянного драчуна, обитателя крыш и подвалов, и тетю Аню, оставшуюся в Ленинграде, и коротконогого Костю Замятина, с серьезнейшим выражением на лице, словно нужное дело делает, хватающего Лариона за хвост, и гнусавую ябедницу Настю Шерман, и Верочку... Костя и Настя уехали еще в июле, а Верочка осталась в Ленинграде. Ее папа пропал без вести за Батецкой — он был лейтенант, и Верочкина мама все надеялась, что он объявится где-нибудь, и не хотела покидать Ленинград.

А машина шла, и заботливая рука Павлушина отца вела ее. Павлушин отец, воентехник первого ранга, сменил у руля шофера, подкинувшего машину на ухабе. Машина шла вдоль Невы. Павлуша положил голову

на колени матери, и девятилетняя душа его целиком доверилась родителям. Что они считают правильным, то и хорошо. А Павлушин отец счел правильным отправить свою семью из Ленинграда, предоставив своей жене решить самой на месте — работать ли ей в Ярославле, где на эвакопункте служила ее подруга, ехать ли в один из районов Ярославской области, куда уехала ленинградская школа, в которой обучался Павлуша, или направиться на Урал на завод, на котором до войны работал Павлушин отец. Завод этот был эвакуирован из Ленинграда на Урал еще в июле. Списались со всеми, и помощь была обещана во всех трех местах.

Стоп!

Павлуша открыл глаза и увидел движущуюся по небу звездочку. Звездочка не падала, она летела ровно. Вдруг она потухла. За рекой резко закричали гудки.

— Брось! — Павлуша узнал голос отца. — За пять километров зажженную спичку видно.

Машина стояла на шоссе. Слева — река, справа — черная стена леса. Какие-то три или четыре фигуры окружили отца, тихо переговариваясь.

Вдали грохнуло и раскатилось эхом. Мать прижала Павлушу к себе. Еще раз грохнуло. В воздухе слышен был рокот моторов.

— Нет, — сказал один из тех, кто стоял с отцом. — Не по Ленинграду.

— Показывай дорогу, — отозвался отец. — Чего на шоссе стоять?

Он вернулся в машину, а рядом с шофером в кабину сел неизвестный военный человек, и машина, шатаясь и качаясь, свернула с шоссе и пошла по лесу. Прислушиваясь к рокоту моторов, отец промолвил:

— Не наши.

Недалеко от шоссе, под деревьями, оказалась палатка. Полотняная палатка, распяленная на колышках. Машина остановилась, и отец, соскочив наземь, подхватил Павлушу, поставил его возле себя и, стукнув его легонько по голове, промолвил:

— Между прочим, приучаться нужно к серьезной жизни. Закаляться нужно, а не в бабий платок кутаться. Жить тебе, Павел Васильевич, придется вдумчиво, без ковров.

— Каких, папка, ковров? — недовольно, почти басом, ответил Павлуша. — Это мамка меня платком закрутила. При чем же тут я?

— У, какой сердитый! — удивился отец. — В таком случае, иди в палатку спать. Живо! Между прочим, спать будешь на белоснежных простынях рыжего цвета.

Матрац был действительно рыжий. Но прежде чем заснуть на нем, Павлуша поел горячего супа, который ему принесла мама, и выпил кружку чая. А пока он занимался этим, один из обитателей палатки рассказывал, лежа на животе:

— Лес — большой, охватный. Иду я, и несообразно у меня получилось — вышел прямиком к врагу. Сколько их там укрывалось — времени считать не было, только они недружелюбно кричат: «Halt» Вид у меня внушительный — весь в грязи, в ржавчине, поскольку болотами шел. Кричу повелительным голосом: «Клади оружие!» А они свое «Halt!» — и уже автоматики к животам, стрелять собрались. Тогда я принял более энергичные меры: трех либо четырех уложил, а оставшегося в живых — один только и остался, веду впереди себя, поскольку он оружие бросил и руки вверх. Недалече отсюда, километров пять, заприметил людей, только не различаю — свои или чужие. А тут мимо идет мужик — черный, из цыганов. Я его за шиворот и повелительным голосом приказываю: «Погляди, что́ там за люди — наши или противника. Если соврешь, наведешь на фашиста — первая пуля будет тебе, вторая — пленному, а только потом — мне». Он, воодушевленный этими моими словами, побежал, вернулся, доложил, и вышел я к нашим. Двое суток выбирался и дошел до своих.

Отец сказал:

— Молодец.

А Павлуша, заслушавшись, пролил чай на матрац, и мать, отобрав кружку, хлопнула его по рукам. Но все равно рассказ запомнился. Четырех врагов убил, а пятого взял в плен. Один — пятерых. Павлуша стал примерять себя к такому бою и долго не мог заснуть. А утром поглядел на рассказчика — обыкновенный парень, с чуть

вздернутым носом и смеющимися губами, только очень широкий, — должно быть, от большой силы.

Лес, такой черный ночью, утром раскрыл все богатства своих осенних красок. Опадала желтая листва берез, краснели листья кленов. Недалеко от палатки, среди рыжих осин, Павлуша нашел во мху три красных гриба. Один — большой и два поменьше. Он закричал:

— Гриб! Гриб!

Отец цыкнул на него:

— Ты — что? Кричать будешь — такие грибы выскочат, что так шапкой тебя и накроют. В бабий платок от Гитлера не упрячешься. — Он прибавил, хмурясь: — Ребят наших он за поганок считает. Топчет.

— Что они в Старой Руссе наделали! — заговорила мать. — Низко-низко гонялись за ребятами и убивали их из пулемета. Этих летчиков я своими руками каждого бы задушила! Всех до единого!..

Павлуша тем временем раскрутил на себе платок, и она набросилась на него:

— Это кто тебе позволил, негодный мальчишка? Кто?

— Папа, — ответил Павлуша.

Отец сказал виновато:

— Между прочим, насчет бабьих платков — это я пошутил.

— А ты выбирай, как шутить с ребенком, — огрызнулась мама, но тут же и затихла.

Лицо у нее стало грустным и утомленным, как у тети Ани, но это только на миг. Вновь засверкали ее глаза, она завернула Павлушу в платок, подхватила могучими своими руками и посадила в кузов машины на узлы.

Марья Николаевна Смирнова, Павлушина мать, — очень высокая и очень сильная женщина. Она никогда не болела. Двухпудовый мешок картошки она с легкостью перекидывала через мощное плечо и несла, почти не сгибаясь. Сила так и играла в ней. Она была неспокойна сейчас и не могла сидеть тихо — то поправляла пальто на Павлуше, то перекладывала покатившийся на повороте тюк или чемодан, то вдруг начинала напевать:

И колокольчик, дар Валдая...

А потом грустно запела совсем уж незнакомое:

Забудь мой рост, мою походку,
Забудь черты мово лица...

Из Тихвина машина увезет Павлушина отца в Валдай. Марья Николаевна была неспокойна, нервна.

ОТЕЦ УШЕЛ

В Новой Ладоге грусть отошла. Уж очень ласков был этот узорчатый городок, раскинувший свои домишки по веселым берегам Волхова. Здесь, на скате к широкой реке, скопилось много машин с женщинами и детьми, парóм принимал их, перевозил на тот берег, возвращался и опять перевозил. С горушки все — и парóм, и машины, и кони, и люди — казалось игрушечным. И все, что способно было сверкать, сверкало на улыбающемся с неба солнце.

Мама соскочила с машины, побежала в магазин, купила красную расческу и очень радовалась ей.

Но отец был невесел.

— Переправа, — проговорил он, поглядывая вверх и прислушиваясь.

Он сам сел за руль и повел машину на парóм. Когда парóм прошел за середину широкой реки, отец немножко повеселел, а на том берегу объяснил:

— Разведчик тут летал час назад. Нам ничего, а Павлуше, между прочим, худо это, если б налет совершился.

Когда прошли Сясь, отец заявил облегченно:

— Опасность позади. Ну, Павел Васильевич, открылась тебе дорога в жизнь. Теперь, между прочим, ты живи смело, без трусости, как полагается пионеру. Ведем мы войну с лютым врагом не на жизнь, а на смерть, и священные наши чувства — к родной стране любовь и к врагу ненависть. Эти чувства в себе не расплескай.

При этом он глядел на оставленный ими берег, за Сясь, и мать глядела туда же. Лица у обоих были серьезные.

Отец промолвил тихо и задумчиво:

— Не знаю, между прочим, удалось ли бы завтра проехать по шоссе этому. В кольцо зажимает он наш Ленинград.

Мать все смотрела и смотрела туда, где и не видно было Ленинграда, и слезы копились в ее глазах. Павлуша поглядел на отца, на мать и вдруг спросил:

— А тетя Аня?.. А Верочка?..

У мамы по щекам потекли слезы. А отец ответил уверенно:

— Не время нюниться. Вывезем, между прочим, и Верочку и тетю Аню... Не этой дорогой, так другой, а Ленинград я достигну. Мой маршрут тебе известный: Ленинград — Тихвин — Валдай — и обратно. Задание я выполню. Не нюниться. Все мы в нашем Ленинграде будем.

И они поехали дальше — в Тихвин.

В Тихвине все загородил стоявший на первом пути эшелон, такой длинный, что если стать у паровоза, то не увидишь последнего вагона. А вагоны были товарные, красного цвета, с раздвинутыми дверьми, полные детей и женщин. Классных вагонов — только два, как раз у самой платформы, где ждали Павлуша с мамой. Под эти вагоны ныряли все, кому нужно было на другие пути. Нырнул туда и Павлушин отец.

Из классных вагонов выглядывали небритые физиономии хорошо одетых мужчин. Двое вышли покурить. У одного, седого, с добрыми глазами, — орден Ленина, у другого, щуплого, в пенсне, — «Знак Почета».

— Академики, — почтительно промолвила мать, и Павлуша задумался, кем лучше быть — академиком или воентехником первого ранга.

Мужчина в мягкой шляпе и тоже с орденом быстрым шагом прошел мимо академиков, бросил весело:

— Чайку! Чайку!

Он нес горячий чайник.

Из-под вагона вынырнул Павлушин отец.

— Есть, — сказал он. — На третьем пути эшелон на Ярославль. Знакомца там нашел.

Он нагрузился вещами, и они двинулись в обход эшелона с академиками. И вот глазам их открылось все множество вагонов и людей, загромоздивших Тихвин. Куда ни глянь, везде нескончаемо тянутся железнодорожные

составы, такой длины поезда, каких Павлуша и не видывал никогда. Как это умудрятся железнодорожники разгрузить такое скопление? И Павлуше хотелось уже стать начальником станции Тихвин, отправлять поезда — один за другим — на восток. Это, наверное, очень интересно.

Отец провел Павлушу с мамой меж двух красных рядов, и Павлуша считал вагоны. Когда он досчитал до двадцати семи, отец остановился, сказал:

— Здесь.

И гордо взглянул на семью: классный вагон, не теплушка. Это был классный вагон, такой же, как и у академиков, и здесь приветствовал их черноволосый мужчина в зеленой гимнастерке без петлиц и в штатских черных штанах, поддернутых так, что над пыльными желтыми ботинками открывалась синяя полоска носков:

— Будем знакомы. Бикерман, Моисей Львович, ваш попутчик до Ярославля.

— Очень приятно, —вежливо ответила Марья Николаевна.

Глаза ее потухли, и лицо у нее опять стало грустным, утомленным, как у тети Ани. То мгновение, которое она так отталкивала от себя, которого не хотела знать всей могучей силой своей, наступило. Надо было прощаться с мужем, и в мозгу опять назойливо вертелись где-то слышанные строки:

Прощайте, волосы густые,
Прощай, быть может навсегда...

Прощались не в купе, где было слишком много народа, а на площадке, в глубине. Отец поцеловал маму, потом Павлушу и еще раз маму.

— Увидимся еще, — сказал он уверенно. — Успешно разгромим врага — и тогда свидимся. Между прочим, Павлуша пусть не болеет. Адрес мой тебе известный, свой адрес сейчас же посылай телеграфно, как установишь местожительство. Буду тебе писать. Ты, Павлуша, не реви, что́ бы ни случилось. Плакать нельзя. Надо расти сильным, мужественным. Нельзя плакать.

Он еще раз поцеловал Павлушу, взял маму за руки, проговорил:

— Ехать мне пора. В Валдае до ночи быть, между прочим.

И вот Павлуша с мамой остались одни.

Отец ушел.

Он ушел, чтобы не возвращаться больше до окончания войны.

Так просто и все-таки неожиданно случилось это прощание.

Он ушел.

Так непривычно знать, что его широкая ладонь уже не ляжет на макушку до самого окончания войны. Так странно. Он ведет сейчас машину на Валдай, на фронт, навстречу снарядам, бомбам и пулям. «И колокольчик, дар Валдая...»

Бикерман разложил, подостлав газету, на столике у окна аккуратно нарезанные ломтики хлеба, сыра, колбасы и гостеприимно предлагал:

— Покушайте. Не стесняйтесь. Я оборудование везу. Сдам — и обратно в Ленинград. Продуктов мне дали в дорогу много. Кушайте.

В вагоне было душно и пыльно.

Мужчина в синей косоворотке без пояса говорил, обращаясь ко всем и ни к кому в особенности:

— Я как был — так и пошел из Новгорода нашего. Учитель я. Просился в армию — не взяли. Говорят: не годишься, порок сердца... Что они с Новгородом нашим Великим сделали! Ценнейшие памятники старины! Красота какая! Горел, горел наш Новгород, как свечка. Шел я и плакал. Не мирится душа, не согласна.

Женщина, смуглая, в шапке черных коротких волос, с пестрой шалью на полных молодых плечах, рассказывала рыхлой седой даме в старомодной желтой соломенной шляпке:

— Только и видала я, как упала она, вся в крови. Маленькая, тонконогая... (женщина всхлипнула и качнула ребенка на коленях у себя). Я Витьку из рук не выпускаю, а к Таточке пробиваюсь. Лежит она в канаве придорожной, и синенькие глазки так и открыты, так и открыты... На голове кровь запеклась. Мертвая была Таточка. Мертвая была Таточка, — повторяла она, глядя вперед невидящими глазами, и крупные, тяжелые слезы ее капали прямо на ребенка, которого она укачивала на коленях своих.

Это был эшелон горя и мести, и Павлуша был одним из счастливейших в нем. Павлуша представил себе мертвую Таточку, и ему стало страшно.

— Мама, — спросил он, — а папа обязательно привезет Верочку?

— Обязательно, — отвечала мама.

А Павлуша уже в мыслях своих бился один против пятерых и побеждал, как тот неизвестный герой в полотняной палатке на колышках. Павлуша победит пятерых, спасет Верочку, и отец скажет ему:

— Молодец.

Мама тихо напевала:

И колокольчик, дар Валдая...

ЗАГАДОЧНЫЙ МАЛЬЧИК

До Ярославля Марья Николаевна не доехала. Она встретила на одной из станций подругу, и та увезла ее с Павлушей в колхоз, обещав работу. Но Марья Николаевна держала связь с интернатом, где были школьные товарищи Павлуши. Этот интернат вошел в один из самых ранних эшелонов, переправлявшихся отсюда на Урал. Когда Марья Николаевна узнала об этом переезде, она просила взять ее с собой. Ей разрешили.

Эшелон прибыл из района по железной дороге, вещи были оставлены на вокзале, детей поместили за рекой в большом здании школы. Завтра эшелон двинется дальше на пароходе. Марья Николаевна отвезла Павлушу к детям, а сама вернулась на вокзал.

Сны у Павлуши всегда были очень яркие, но и наяву он склонен был создавать некий воображаемый мир, в котором все было куда лучше и веселей, чем в жизни. В том мире являлось в преображенном виде все, что он видел, слышал и читал. Здесь уже геройствовал неизвестный красноармеец из лесной палатки, который один одолел пятерых врагов. Но здесь же продолжали жить и Костя Замятин, и Настя Шерман, и Верочка, и кот Ларион, и кудлатый пудель Кус, черный-пречерный, имевший свой дворец Черного пса, и все, кого только хотел сунуть сюда Павлуша. Все судьбы зависели здесь от Павлушиной воли, он был хозяин и с увлечением распо-

ряжался людьми, животными и вещами, все сводя к хорошему концу.

И вот Костя Замятин и Настя Шерман вдруг вновь вернулись из этого воображаемого мира в жизнь. Костя, все такой же коротконогий и большеголовый, и Настя, такая же остренькая и гнусавая, как и раньше, и много других знакомых ребят оказалось здесь, и у Павлуши даже уши покраснели от удовольствия и неожиданности, когда он увидел их. А когда он, Костя и Настя, перебивая друг друга, заговорили каждый о своем, к ним подошел незнакомый Павлуше большой мальчик с очень светлыми волосами и глазами, почти альбинос. Он уставился на Павлушу неподвижным взглядом.

— Чего смотришь? — спросил Павлуша недовольно.

— Ты сейчас из Ленинграда? — осведомился незнакомый мальчик. Голос у него был глуховатый.

— Да.

— А там бомбежки были?

— Были.

— Очень страшно?

— Именно, что нет, не страшно, — гордо ответил Павлуша, поглядывая снисходительно на этого большого мальчика, не знавшего, конечно, что такое бомбежка.

Мальчик подумал и отошел, ничего не сказав.

Настя сразу зашептала гнусавым своим голосом:

— Это же Алеша Сапожков, ну как ты не знаешь, вот я скажу твоей маме, у него папа — партизан, а его самого как обстреливали!..

И она совалась своей острой мордочкой прямо в ухо Павлуше.

Медлительный Костя вторил ей:

— Он из Луги пришел пешком, из Луги пришел пешком в Ленинград, пешком в Ленинград...

Такая уж у Кости была привычка — повторять одно и то же по нескольку раз. И пока он скажет одно слово, Настя выпустит десять.

Павлуша, догнав Алешу Сапожкова в коридоре, сказал ему:

— Зачем ты спрашивал, страшно или не страшно? Ты ведь сам знаешь.

Алеша ответил:

— Я знаю про себя, а спрашивал, страшно ли тебе.

— Почему же ты сразу не сказал, что сам все видел?

— А чего тут рассказывать? — ответил Алеша Сапожков хмуро и пошел к выходу в сад.

Так совершилось знакомство Павлуши с Алешей Сапожковым.

В саду Алеша присоединился к группе старших школьников, отправлявшихся на погрузку вещей.

Низко нависло жирное, тучами набухшее небо. Шумно и однообразно хлестал дождь, заливая дома, людей, улицы и площади Ярославля. В потоках дождя сгущались сумерки.

Груда вещей громоздилась на платформе вокзала. Они жались к стене, под навес, большой кучей. Над округлыми боками тюков выступали острые углы чемоданов. Тюки, корзины, узлы, мешки, чемоданы, ящики теснились здесь, на перепутье, и все это хозяйство сторожили бесформенные фигуры, в которых только по голосам можно было распознать женщин и подростков.

Сотни километров проделали по стране все эти сорочки, лифчики, пальто, шапочки, наволочки, все это драгоценнейшее тряпье, упакованное и увязанное любящими руками матерей и обильно политое слезами. Неотступно следовали за детьми мука, рис, конфеты, сахар и мало ли еще что, предназначенное для спасения маленьких советских граждан от голода, холода и болезней. На каждой вещи четко выведена химическим карандашом фамилия и возраст мальчика или девочки.

Женщины и подростки хитро придумали, как спастись от пронизывающей осенней сырости. Они до плеч зарылись в вещи, торчали только головы и руки, и казалось, что все это двинутое в дальний путь имущество странно проросло женскими и детскими головами — влажными, поникшими, усталыми.

Мужчина в прорезиненном макинтоше возник из сумрака и промолвил:

— Машина есть.

Женщины и мальчики выбрались из своего убежища. Марья Николаевна, в ватнике и ватных штанах, казалась прямо великаншей по сравнению с другими. Она, не промолвив ни слова, взвалила на плечи один из самых тяжелых тюков, в руки взяла чемодан и пошла. Нести —

близко. За боковой стеной вокзала калитка открывала ход прямо на темную мокрую площадь. Грузовик угрюмо ждал против калитки.

Марья Николаевна, уложив в машину вещи, повернула обратно. Милиционер у прохода, оглядев ее с ног до головы, вдруг заступил ей путь.

— Кто таков? — спросил он тревожно.

Марья Николаевна легко отстранила его, но он вновь шагнул к ней, спрашивая в чрезвычайном недоумении и даже испуге:

— Ты мужик или кто?

Марья Николаевна фыркнула, отмахнулась и прошла на перрон. Вид она имела действительно странный — в мужской одежде, по-мужски широкоплечая, но не по-мужски широкобедрая, она в сумраке, в потоках дождя похожа была на водолаза.

Погрузка шла быстро и в полном молчании. Начальник эшелона вместе с женщинами и подростками таскал вещи. С макинтоша его лились струи воды. Мальчиков было четверо, и самый маленький из них работал лучше всех. Несколько раз Марья Николаевна говорила ему, чтобы он шел погреться на вокзал, но он отказывался.

— Я не устал, — отвечал он кратко.

Когда, наконец, огромная гора вещей на машине была накрыта брезентом, то вместе с Марьей Николаевной взялся сторожить оставшиеся вещи и этот маленький и неутомимый мальчик. Никак нельзя было уговорить его уехать на пристань, отдохнуть там.

Он твердил свое:

— Я не устал.

Ничего нельзя было поделать с ним.

Все остальные отправились на пристань с грузовиком, а они двое — женщина и мальчик — остались под дождем на перроне вокзала.

— Как тебя звать? — спросила Марья Николаевна.

— Алеша Сапожков.

Да, это был тот самый Алеша Сапожков, который слыл уже героем среди детей.

— Ты из Ленинграда?

— Из Луги.

Она хотела спросить о его родителях, и почему-то не спросила, воздержалась. Но этого мальчика она особо отметила в уме своем. Необычный, слишком молчаливый, слишком серьезный мальчик.

Через два часа, когда дождь уже стих, грузовик вернулся за остальными вещами. Вместе с начальником эшелона приехала и смена грузчиков — три женщины, работницы интерната, и два подростка. Погрузились — и вновь машина нырнула в мокрую тьму.

Грузовик шел по ночным улицам Ярославля. Здесь, как и в Ленинграде, ни одного огонька, и все же здесь другой мрак, не столь тревожный, не столь напряженный: здесь — не прифронтовая полоса, в которой каждый звук настораживает, как боевой сигнал.

Грузовик, шатнувшись, пополз вниз к реке, сырой и темной, с грязными берегами. Он подпрыгивал на ухабах, вихлял и подскакивал, а на вещах мотало Марью Николаевну, Алешу Сапожкова и всех других. Марья Николаевна ухватила Алешу за плечо, чтобы он не упал, хотя он вовсе не нуждался в ее помощи. Он не протестовал. Он казался Марье Николаевне таким одиноким, что ей все хотелось приласкать его. Странный мальчик, и похожий, и очень не похожий на других, очень отдельный.

У низкой, напоминавшей длинный барак пристани грузовик остановился. Марья Николаевна соскочила в жидкое месиво на берегу, и ее обрызгало до колен. Алеша Сапожков и опомниться не успел, как она сняла его с грузовика и поставила на землю. Так привыкла она орудовать с Павлушей. Она сказала Алеше очень строго:

— Если ты не хочешь, чтобы я на тебя рассердилась, немедленно иди на пристань, обсушись и согрейся. Разгружать вещи я тебе запрещаю.

Он взглянул на нее исподлобья очень серьезно и ответил:

— Хорошо.

От реки несло пронзительным холодом, прохватывающим и без того продрогшее тело. Что за дьявольски неприветливая река! И тут Марья Николаевна сообразила, что это Волга. Волга! Марья Николаевна с изумлением глядела на эти хмурые, ночные, осенние воды. Так вот как привелось ей впервые увидеть великую русскую реку!

Утром пароход пошел к пристани на том берегу за детьми. Он медленно отодвигался от берега. Все шире и шире водная полоса.

Пристань на том берегу была уже полна детей, маленьких, побольше, еще больше, глазевших из всех окон, из всех щелей. Сколько жадных глаз — голубых, серых, карих, черных!..

И вот вся эта орава в сопровождении женщин двинулась на пароход.

Павлуша, подбежав к Марье Николаевне, тихо сказал ей:

— А мне Верочка сегодня приснилась. А Косте приснился Ларион. А здесь Алеша Сапожков, у него папа — партизан, и его самого обстреливали, и он совсем большой мальчик.

Сообщив все эти последние новости, он убежал к детям.

Марья Николаевна еще никого не успела расспросить об Алеше Сапожкове. Павлуша первый сказал ей хоть что-то о нем. Сын партизана. А где его мать?.. Этот необычный мальчик занимал мысли Марьи Николаевны, поселился в ее сердце. Уж очень недетские у него глаза, словно видели они нечто, чего и взрослый не выдержит.

Дети овладели пароходом. С утра, после завтрака, они заполняли верхнюю палубу, мелькая мимо окон первого и второго классов. Мальчики постарше любили выбегать на нос и стоять здесь, обдуваемые ветрами, с кепками, надетыми козырьком к затылку, и, сунув руки в карманы, расставив ноги, воображали себя испытанными в путешествиях и приключениях моряками или похаживали по палубе матросской походкой, вычитанной из книг. Иногда они, впрочем, затевали такую беготню, такой топот вдруг потрясал пароход, что толстый седой капитан, покачивая головой, шел к начальнику эшелона и просил угомонить как-нибудь ребят.

Алеша Сапожков вел себя как взрослый. Он не бегал по палубе, не воображал себя моряком. Во всем поведении его чувствовалась недетская сосредоточенность, а было ему всего лишь тринадцать лет. Дети подчинялись ему беспрекословно и слушались, как командира. Он пользовался непререкаемым авторитетом. Это был зага-

дочный мальчик, и Павлуша сочинял его приключения, поскольку тот сам ничего о себе не говорил. Рассказывая о воображаемых приключениях Алеши товарищам, он для честности прибавлял только одно слово — «наверное».

В рассказах его сплетались слышанные им истории с фразами отца. Но об одном событии в жизни Алеши он совершенно не упоминал — о том, что на глазах у Алеши была убита его мать. Дети прослышали и про это, но об этом они не хотели ни говорить, ни помнить, они как бы забыли, вычеркнули из памяти страшное событие.

А пароход шел вниз по широководной реке, и толпы людей, с мешками, корзинами, рюкзаками, шумя глухо и напористо, рвались на борт его на каждой остановке. Но пароход был специально зафрахтован для детей, и мало кому удавалось прорваться сюда. Детям было хорошо, а взрослые не знали покоя.

Пароход шел по затемненному миру. Вечерами плотно занавешивались окна кают, берега были черны, — война глубоко запустила лапы свои в российские пространства.

И вдруг — это случилось за Казанью — впереди засверкали огни.

— Свет! Свет!

И все, кто мог, пустились на верхнюю палубу и в салон.

Это было так непривычно: река оделась в огненные одежды. Война осталась далеко позади. Здесь — тыл, глубокий, недостижимый для вражеских самолетов тыл.

— Свет! Свет!

Это был переход из одного мира в другой. Но нет, это один и тот же мир — свет прогонит тьму, он засияет победно везде — и на Украине, и в Белоруссии, и в Ленинграде, — в Ленинграде! Здесь все были ленинградцами, кроме команды парохода.

— Свет! Свет!

Разноцветными огнями сверкала пристань. Как она называется? Все равно. Она — яркая, блистающая. Давно невиданные, откровенные, незатемненные огни переливались здесь, и река развеселилась, расцветилась отблес-

ками. Праздничная река. И не было человека, у которого не защемило бы сердце о родном городе, о красивейшем городе мира, об осажденном, окруженном врагами городе Ленина. Радуясь свету, огням, люди ощутили тоску по родным и близким, оставленным там, позади.

Алеша Сапожков стоял в стороне один и глядел вперед, облокотившись о перила. Он слегка пригнул голову, словно собираясь боднуть кого-то, и взгляд его глаз был не по-детски серьезен, невесел, даже мрачен. О чем он думает? Что совершается в его рано созревшей душе? Марья Николаевна подошла к нему и ласково обняла его жесткие, неподатливые плечи. Он не обернулся к ней, но и не отвел ее руки.

К ночи Марья Николаевна впервые поднялась в рубку, куда уже давно ее приглашали и капитан и старший помощник.

Пароход тихо шел по широкой водной дороге. Уже нет на земле непроглядного мрака, мирные огоньки мерцали в прибрежных деревнях. Здесь, в мире и тишине, странно было думать о войне, о крови, о сирене воздушной тревоги, о бомбах и пожарах.

На шестое утро впереди блеснуло на солнце белизной, и кто-то сказал:

— Пермь.

На высоком берегу все явственней обозначался белый город. Выше всех, в окружении белых домов и домиков, вздымалось большое белое здание, обвешанное балконами. И все неотрывно смотрели вперед, на этот неведомый до того город, куда их пригнала война.

Алеша Сапожков вдруг тихо запел:

Город на Каме,
Где — не знаем сами,
Не дойти ногами,
Не достать руками...

Лицо его смягчилось едва заметной улыбкой. В нем виден стал веселый лужский мальчик, бегавший вперегонки с приятелями, игравший в лапту, саженками переплывавший реку, пропадавший в лужских лесах. Да, каких-нибудь три-четыре месяца назад это был веселый, беспечный мальчик.

Все лето и всю осень Урал принимал детей. Их везли из Украины, из Белоруссии, из Москвы, из Ленинграда, из Карелии, отовсюду. Многих спасли непосредственно из-под обстрела. Марья Николаевна видела однажды, как малюсенькая девочка из Калинина, бегая по перрону вокзала вперегонки с малышами, иногда вдруг останавливалась и говорила очень отчетливо и серьезно, поднимая пальчик кверху:

— Внимание! Внимание! В яму!

И вновь пускалась бежать, взвизгивая и веселясь.

Дети заполняли вокзалы. В проходивших поездах за окнами мелькали детские лица. Все новые тысячи детей спасались здесь, на Урале. Никогда еще не случалось Уралу принимать в свои объятия столько детей, и с некоторым изумлением открыли в себе уральцы неисчерпаемые запасы нежности.

К приезду каждого детского эшелона все уже было приготовлено на эвакуационных пунктах. В ресторане пермского вокзала ждала детей горячая пища, на запасных путях стояли железнодорожные составы, чтобы везти детей в глубь области. На станциях и пристанях, откуда до назначенного пункта бывало подчас еще несколько десятков километров, встречали ребят колхозные подводы.

Всё пополнялись ленинградские детсады и интернаты. Машинами и самолетами перебрасывал своих детей за вражеское кольцо осажденный Ленинград.

Старые Павлушины друзья Костя Замятин и Настя Шерман уехали с интернатом в область, а Павлуша остался в городе при матери. Марья Николаевна поступила здесь на завод револьверщицей, дело было знакомо ей, на производстве она была из первых. Она поселила у себя и Алешу Сапожкова, который по приезде попросил ее:

— Марья Николаевна, я хочу тоже работать на заводе. Можно мне остаться в городе? Я уже большой.

Она взяла его к себе, этого неразговорчивого, сдержанного, чересчур серьезного мальчика. Она чувствовала к нему привязанность непреоборимую, и он понимал это. Жили они в одном из деревянных домишек города,

не слишком далеко от центра и совсем недалеко от завода. Здесь поселилось несколько заводских семей. Дети ходили в школу, играли, гуляли, иногда болели. Но, к счастью, серьезных заболеваний не случалось, — так, легкий грипп, простуда, насморк. Алеша Сапожков очень помогал Марье Николаевне, наводя порядок дома. Он тоже учился в школе, для завода он был слишком мал.

Павлуша любил пофантазировать, и Алеша Сапожков вместе с другими детьми с интересом слушал его, но сам ничего не сочинял, был вообще скуп на слова и в газете, которую затеял Павлуша, писал только передовицы. Марье Николаевне думалось, что некая тяжкая правда придавила его, и ей ужасно хотелось разделить с ним этот недетский груз.

Иногда Пермь бывает похожа на южный город. В особенности летом центральные кварталы ее, в зелени садов, в сверкающей белизне каменных домов и домиков, вдруг напомнят какой-нибудь степной Бахмут. Но глянешь на Каму, глянешь на небо, и рухнет иллюзия, — северная река, северное небо. В душную жару север дунет вдруг резким холодным ветром и дождем — и мигом забудется мелькнувший в Перми юг.

В гору идут улицы от берегов Камы, а там, в Закамье, в несколько ярусов — полоса над полосой — вздымаются вечной дымкой подернутые леса. На окраинах — мощные громады заводских корпусов, самостоятельные городки, поднявшиеся над полями.

А зимой невыразимо красив в белое одетый, снежный, ледяной северный город, сверкающая белизна побеждает все цвета и оттенки, деревья стынут в серебре мерзлого снега, охватившего их от верхушек до самых нижних ветвей, все искрится и играет, когда глянет на зимнюю Пермь солнце, раздолье конькам и лыжам на камском льду, и так сух живительный воздух, что лютые морозы переносятся легче, чем пятнадцатиградусные в Ленинграде.

Зимой один только Ленинград, окруженный, в кольцо зажатый врагом, продолжал присылать сюда детей. И Марья Николаевна, как все ленинградцы, болела своим городом. Нет, никогда еще ленинградцы — где бы ни находились они — не узнавали всю глубину любви своей к родному городу так, как в эту зиму. Иной, едва опра-

вившись, с палочкой хромая по улицам, уже ночами вновь видит себя идущим по родному ленинградскому проспекту, по набережной, по лестнице своего дома... А когда бредет он по пермским улицам, то прохожие, оглядываясь на него, сразу догадываются: «Это — ленинградец».

Потому что только из Ленинграда может приехать такой истощенный, исхудалый человек.

И обязательно какой-нибудь земляк подойдет и спросит, волнуясь и трепеща:

— А скажите, пожалуйста, — простите, — вы давно из Ленинграда? Только две недели? А скажите, ну как вообще?.. Цел Исаакий? Как Адмиралтейство? А Гостиный двор? А не встречали вы там...

И начинается длинный интимный разговор, и ничто не оторвет собеседников друг от друга, и сами они никак не могут разойтись, потому что их соединил Ленинград.

После таких встреч Марья Николаевна возвращалась домой как больная, не понимая, где она живет, — на Урале или в Ленинграде.

Алеша Сапожков часто бегал на вокзал искать ленинградские эшелоны, расспрашивать детей и взрослых о бомбежках, обстрелах, голоде. Печальные это были эшелоны.

Алеша, насыщенный рассказами ленинградцев, приходил домой еще более молчаливый, чем обычно. И однажды случилось так, что Марья Николаевна нашла его вечером на своей койке. Он лежал, отвернувшись к стене, и плечи его вздрагивали. Это было необычайно: Алеша Сапожков плакал. Он никогда не плакал, ни разу, — и вот теперь давился слезами.

Марья Николаевна молча присела сбоку на кровать и как бы невзначай провела рукой по его отросшим волосам.

Он затих, затем обернулся к ней и сказал впервые не по-взрослому, а по-детски беспомощно:

— Мамку жалко.

И тогда Марья Николаевна приняла мучивший Алешину душу груз. Она слушала его сбивающийся, спотыкающийся рассказ. Его мать была убита на его глазах. Враги ворвались в их залужскую деревеньку внезапно, когда отец был в Луге, за пять километров от них. Трое

пришли к ним на дачу, и Алешина мать схватила нож и замахнулась. Они бросились на нее...

Алеша вначале, когда враги схватили мать, кинулся на них с кулаками (детские кулачки против автоматов и пистолетов!), но те с такой силой отшвырнули его в угол, что он на миг потерял сознание, а потом долго не мог подняться на ноги, скованный болью и ужасом.

Ночью в дом прокрался отец. Поглядел, опустился на табурет, встал, опять сел, обессиленный, и опять встал. Подняв руку, он хотел что-то сказать, но голос не послушался его.

В ту же ночь Алеша отправился в Ленинград со школьным учителем. Они шли лесами, которые Алеша в мирные времена с этим самым узкогрудым, малорослым интеллигентом обшарил все в грибных и ягодных походах. Укрываясь от врагов, они к вечеру следующего дня дошли до расположения наших частей. А отец остался в тылу у врага в партизанском отряде, и Алеша навеки запомнил его слова: «Если погибну, найдешь в нашей стране и мать и отца. Сиротой ты не будешь».

Из Ленинграда школьный учитель увез его в Ярославль и там присоединил к ленинградскому интернату.

Алеша доверчиво и торопливо все, все без остатка выкладывал Марье Николаевне, как родной своей матери. Глаза его блистали в крайнем возбуждении, это был уже не прежний замкнутый, скупой на слова мальчик, — слова рвались из него, теснясь и толкаясь, и он спросил Марью Николаевну:

— Можно мне к папке, в партизаны?

Когда Павлуша прибежал с гулянья, они — женщина и мальчик — ничем не выдали перед ним испытанного ими волнения. Только ночью Алеша очень ворочался и даже стонал иногда во сне. Он был сегодня ребенком.

А Марья Николаевна долго не могла уснуть. Она думала о детстве, какое выдалось советским ребятам, и эти мысли заглушали тревогу о муже. С октября она не имела от него писем, и душа ее часто бывала далеко отсюда, в Ленинграде, в Тихвине, в Валдае, на Ленинградском фронте.

От тети Ани вести приходили тоже не часто. В последнем письме она сообщала, что Верочкин отец нашелся: он

выбрался из окружения, уничтожив много фашистов, и награжден орденом. Получил письмо и Павлуша.

Вот это письмо:

«Дорогой Павлуша, тетя Аня приносит мне читать твои письма. Папа опять уехал на фронт. Поживаем средне. Очень рады большому куску хлеба. Большой кусок хлеба получаю редко. Насчет морозов и у нас плохо. Было 28—27 градусов. Вспоминаю тебя и наши завтраки. Передай привет твоей маме. Может быть, скоро увидимся. Большой привет. Лариона и Куса больше нет.

Твоя Верочка».

Она не писала ни о том, что мама ее больна, ни о том, как тетя Аня почти каждый день и каждую ночь уводит ее в бомбоубежище, ни об артиллерийских снарядах, рвущихся на улицах, ни даже о том, что Ларион, а затем Куса поймали во дворе голодные люди, зарезали и съели. Все это было слишком страшно. И о том не писала она, что часто она сидит в Павлушиной комнате, играет его игрушками, и ей почему-то очень хочется тогда плакать.

Павлушин ответ до нее не дошел, потому что она выехала из Ленинграда. В январе совершенно неожиданно, без всякого предупреждения (телеграмма не успела дойти), приехали и сразу же с вокзала явились к Марье Николаевне тетя Аня и Верочка. Они приехали зимней дорогой через Ладожское озеро, — «дорогой жизни», как называли это новое ледовое шоссе ленинградцы. Марья Николаевна испугалась, взглянув на тетю Аню, — это был скелет с седыми, поредевшими лохмами на голове, с обвисшей на лице кожей; только глаза были живые, и в них можно было прочесть всю летопись ее ленинградской жизни. А Верочка мало изменилась, — видимо, все, что только удавалось получить и добыть, тетя Аня отдавала ей. Она подбежала к Павлуше, деловито поцеловала его и сразу же тоненьким голоском стала расспрашивать его, много ли у него тут хлеба или тоже мало. Это была очень серьезная, хозяйственная, совсем не крикливая и отнюдь не робкая девятилетняя девочка, тонконогая, тонкорукая, стройная, верная подруга Павлуши.

Марья Николаевна, расцеловавшись с тетей Аней, спросила:

— А Вася?..

Тетя Аня ничего не ответила, и тогда Марья Николаевна почувствовала, что все силы оставляют ее.

— Верочкина-то мама умерла, голоду не вынесла, — тихим-тихим шепотом промолвила, наконец, тетя Аня.

— А Вася? — повторила Марья Николаевна сорвавшимся голосом, и так резко вспомнился он ей в Тихвине, довольный тем, что усадил семью в классный вагон, как академиков. «Между прочим, Павлуша пусть не болеет,— вспомнила она. — Успешно разгромим врага — и свидимся...» И она глядела прямо в глаза тете Ане. Та не сумела солгать, — она тихо и скорбно кивнула головой. На миг черным застлало глаза Марье Николаевне.

Но перед ней уже стоял Павлуша, почувствовавший, что речь идет о папе. Крепенький, широколицый, весь в отца, он спрашивал маму:

— Папа прислал мне автомобиль? Он мне обещал, что обязательно пришлет. — И Павлуша теребил ее. — Ну что же ты не отвечаешь? Прислал или не прислал?

Это было уже слишком.

Марья Николаевна обняла его и прижала к себе, почти теряя власть над собой. Еще немного — и она выплачет ему свое горе.

Высвободившись из ее объятий, Павлуша отошел от нее и остановился у двери. Лицо его вытянулось и побелело, глаза стали круглыми, как у птицы, рот, дернувшись, скривился, а в ушах звучал голос отца: «Нельзя плакать».

Он сжался весь, как в ожидании удара. В его счастливый воображаемый мир, где уже давно победно катался папин грузовичок, грозило ворваться и все разрушить нечто страшное, такое, чего ему никак не осилить. И вдруг чья-то рука легла ему сзади на плечо. Это Алеша Сапожков тянул его прочь из комнаты, приговаривая:

— Ну что ты пристал к маме? Сейчас нет автомобиля, а следующий раз папа тебе обязательно пришлет.

Марья Николаевна, уже опомнившись и справившись с собой, подтвердила:

— Автомобиль тебе будет.

И черное облако прошло мимо Павлуши, но это только сегодня. Потихоньку, постепенно Марья Николаевна сообщит сыну о том, что отец геройски погиб на

фронте. Пройдут годы, и навсегда резкой гранью останется в памяти Павлуши день приезда на Урал тети Ани и Верочки, как предвестник далекой зрелости.

Когда Павлуша уже спал, Марья Николаевна обратилась к Алеше, как к взрослому:

— Вот скажи мне, не ошибку ли я все делала. Как Павлуша обрадовался, когда Костю и Настю и других ребят увидел! Конечно, он и тут все с заводскими ребятами, и друзьями новыми обзавелся, и на заводе и в школе, и со старыми друзьями в переписке, а может быть, лучше бы ему сейчас не со мной, а в интернате жить? Все-таки там педагоги опытные, воспитатели... С другой же стороны, неудобно. Ведь мать есть, работает...

И голос ее оборвался, потому что отца у Павлуши уже не было.

Алеша Сапожков доверчиво тронул ее за плечо и заговорил тихо и серьезно:

— А надо в школе спросить. Там посоветуют. Только я с тобой буду на заводе работать. Я буду помогать.

Глаза его сверкали огнем.

— Я буду все время помогать тебе, мама.

Это в первый раз он так прямо назвал ее мамой.

1942.

НА УРАЛЕ

I

Зимняя тьма. Зимняя мгла. Три стены да крыша полустанка не спасают от мороза. Светится в углу окошко кассирши, но у нее в закуте тоже мороз. Мучительно болят ноги без валенок, в холодных резиновых ботах, и некуда укрыться — мороз настигает всюду, свирепый, колючий, убивающий.

На короткой платформе толпятся люди в ожидании поезда. Они все толстые и бесшумные. Толстые — потому что в овчинных тулупах, под которыми наверчено и накручено еще немало теплого. Бесшумные — потому что в валенках. Они, северные жители, хорошо защищены от привычных им морозов. Одна Аня — без тулупа и без валенок.

Аня безостановочно бегала взад и вперед, и стук ее ног по доскам кажется ей единственным звуком в этой ночной морозной тишине. Все словно замерло вокруг. Пар идет изо рта. Клубы морозного пара вместо дыханья. Может быть, воздух сейчас превратится в лед?

Она не выдержит. Слезы замерзают на ресницах и щеках. Никогда, никогда она не знала такого лютого холода. Это безумие — не подумать о валенках и тулупе.

Вся жизнь сосредоточилась на одном желании — согреться. А поезда все нет и нет, поезд опаздывает.

Аня выбежала на рельсы, вгляделась в неподвижную застывшую мглу. Вот оттуда, издали, с соседней станции наплывают большие, спасительные огни. Они как будто

движутся сюда, как огни паровоза, но в то же время остаются на прежнем расстоянии. Нет, не надо обманывать себя. Огни — неподвижны. Это — семафор.

И вдруг загудели рельсы, и белые огни полетели к полустанку. Поезд! Теперь бы только пробиться в вагон. Аня напрягла все свои силы, готовясь к борьбе, к драке,— но поезд не остановился, он несется мимо. Это — скорый поезд. Один за другим мчатся мимо полустанка ярко освещенные окна вагонов, мигом улетает быстрый и веселый хвост, и — опять тишина. Тишина, ночь, мороз. Кто-то чиркает спичкой и закуривает. Как он должен быть привычен к морозу, если может сейчас курить! Ноги наверное, обморожены. Вот так она и умрет.

— Холодно, Анна Павловна?

Это Фима Соболев, соседский паренек, у которого одна нога короче другой. Аня, не отвечая ему, глубоко засунув руки в рукавицах в карманы синего ватника, подпрыгивала перед ним в своем белом шерстяном платке, окутавшем всю ее голову, и ноги ее замерзали. Только голове было тепло.

Хрипло свистнул натруженный паровоз, и опять застучал поезд. Но он шел не оттуда и не туда. Он шел в противоположном направлении. Тяжело сопел паровоз, и вагоны не быстро волочились за ним. Это был товарный состав. Наглухо закрытые, безглазые вагоны сменялись платформами, платформы — опять теплушками. На платформах топырились под мерзлыми чехлами, должно быть совсем оледеневшими и твердыми, то ли орудия, то ли станки, и часовые с винтовками стояли при них, охраняя и сторожа. Товарный поезд шел и шел, громыхая, постукивая, лязгая, изредка мигая фонарями кондукторов на тамбурах, все новые и новые вагоны и платформы тяжко выкатывались из ночной темноты и уходили. Это был нескончаемый состав. Он растянулся по всей железнодорожной линии, медленный, угрюмый, неприветливый.

Но вот он оборвался, мигнул огоньком последней площадки последнего вагона, вновь открылись снежные просторы, и только продолжал обманывать семафор соседней станции, все притворяясь, что плывет к полустанку. Аня бегала по перрону, и стук ног ее звучал как отчаянный и безнадежный призыв о помощи. Наконец она остановилась и сказала себе:

— Умираю.

Хорошо ночью, покачиваясь на подушках мягкого вагона, промчаться мимо вот такого полустанка. Но мало ли что бывало в жизни! Теперь, в молчаливой толпе, она ждала, как счастья, пригородного поезда. Все прежнее, довоенное кончено, о том нечего вспоминать, оно исчезло, как небывальщина, в первый же день войны. Сережа — на фронте, от него уже месяц нет писем, она с Валей в деревне, в избе, ей нужно, наконец, занять место в строю, вернуть свою специальность, работать, и вот у нее замерзают ноги, может быть уже замерзли, она уже не чувствует их. Она испугалась, запрыгала и вновь принялась бегать по платформе. Как все это глупо! Может быть, сдаться, пойти обратно в теплую избу, отказаться от этой поездки в город? Нет, она не должна быть такой слабой, поезд сейчас подойдет, сейчас подойдет...

Она уже не понимала, который час, сколько времени ждет она здесь, на брошенном среди снежных полей полустанке, что вообще происходит с ней...

...Три белых ярких огня, замедляя ход, шли прямо к ней.

Вместе с толпой она ринулась к темным вагонам. Тот вагон, который она наметила для атаки, затворен, соседний тоже закрыт, она в ужасе бросилась к третьему вагону. Ее отбросили, она кинулась вновь, расталкивая, пробиваясь, дерясь с теми, кто лез прямо через нее. Вдруг она почувствовала под локтем сильную руку, которая подхватила и подсадила ее. Она уцепилась за поручни, сзади надавили, навалились, и ее втолкнули сначала на площадку, потом в вагон.

Какое блаженство! Она таяла. Теперь опять заболели ноги, но они ныли приятно, томно, как и все тело. А голове было даже жарко. Пусть кто-то дышит ей прямо в лицо, пусть чей-то мешок вперся ей прямо в бок, пусть ее сдавило со всех сторон человеческими телами, мужскими и женскими, — зато тепло, тепло...

— Пропадете, Анна Павловна, без валенок, — сказал рядом чей-то голос, и она узнала Фиму. Конечно, это он посадил ее, помог.

— А где бы достать? — спросила Аня, и ее оттаявшие, повеселевшие губы двигались радостно, с удовольствием.

— Шу́бенки-то у тетки спрошу, а валенки тоже можно. И кожушок. В ватнике замерзнете. Не по существу одеты.

— Неужели вы каждую ночь так мучаетесь? — заинтересовалась Аня.

Фима удивился:

— Какое же тут мученье? Это только на понедельник народу столько.

В вагоне было жарко — пассажиры, теснясь, надышали лучше всякой печки. В большинстве это были жившие в окрестных деревушках заводские рабочие и служащие. Казалось, нельзя уже уплотниться больше, но на каждой станции впихивались все новые и новые пассажиры, и люди сбились на площадках и внутри вагонов так, что их, казалось, и не расплести.

Все это весело вывалилось в городе.

Фима показал ей дорогу в рабочий поселок.

— Вот так идите, — объяснял он, и большие, как у теленка, губы его шлепались одна о другую. — Вот там и будет поселок, там и найдете своего знакомого.

Сам он свернул к заводским корпусам. Он работал на заводе, и Аня, глядя вслед его прихрамывающей фигурке, позавидовала ему — уже имеет человек свое место в строю.

Завод кирпичными красными зданиями своих цехов, каменными и деревянными строениями, узкоколейкой и прочим хозяйством отхватил много земли. Это был старинный, очень разросшийся за последние годы завод, и не единственный в городе. Заводов в городе было несколько, и каждый отобрал себе немалую площадь.

На горе, над заводом, стояли деревянные дома рабочего поселка.

Аня очень торопилась, чтобы застать дома инженера Кельина, которого знала еще по Ленинграду. Он, наверное, сможет сказать ей, к кому обратиться, как верней устроиться на работу по специальности. Аня — чертежница.

Кельин работает на этом заводе, а с Кельиным они жили в Ленинграде в одном доме. Аня написала ему, он ответил, и вот она чуть не замерзла на пути к нему.

II

Федор Федорович Кельин, инженер механического цеха, явился к директору за пять минут до назначенного часа. Приемная была пуста. Только за бюро сидел и строчил протокол совещания секретарь директора, длинный человек с тонким и острым, как перо, носом и чуть оттопыренными ушами. Свое отношение к людям секретарь полностью подчинил директору, которому был предан самозабвенно. Он был верным барометром директорских настроений. Сейчас лицо его показывало «великую сушь». Мельком глянув на вошедшего инженера, он тотчас же склонил над бюро свою длинную, словно сдавленную у висков, стриженную ежиком голову, старательно исписывая четким, сухим, без завитушек, почерком большой лист бумаги.

Кельин не знал, зачем он мог понадобиться директору. Случилось, правда, сегодня одно дело — неужели из-за него?

Он подошел к окну и ничего занимательного не увидел. Гора вздымалась сразу же за двором завода, загораживая перспективу, — большая, снежная, с грязно-черными пятнами гора. Очень длинная, прямая, без заворотов, узкая деревянная лестница врезана была в эту гору, уходя вверх скользкими, оледеневшими ступенями. Несколько черных фигур, держась за перила, подымались и спускались по ней. С середины лестницы влево шел талый, протоптанный сотнями ног, привычный путь к рабочему поселку, не такой крутой, как по лестнице, которая вела прямо.

Кельин отвернулся. Худощавый, белобрысый, он имел физиономию, особенно примечательную отпущенными до половины щек баками. Каждое душевное движение выражалось на ней откровенно, обнаженно. Кельин ничего не мог скрыть, даже если б хотел. И сейчас впалые щеки его подрагивали. Ему неприятно было, что он, немолодой, выдержавший с начала войны столько испытаний, женатый человек, у которого уже взрослая дочь, волнуется, как провинившийся школьник. Он боролся с дрожью, прохватывавшей его тело, сердце замирало самым обидным образом.

Ничего особенного как будто не произошло. Просто немного задержалась подача защелок из его цеха. А Ма-

твеев у себя на сборке сразу же принял крайние меры, звонил и ему и диспетчеру, хотя у него было еще достаточно материала. Опоздание Кельина ни на секунду не задержало сборки. Но Матвеев всегда живет тем часом, который еще не наступил. Он хочет все предвидеть и все предусмотреть заранее.

Отойдя к окну, Кельин опустился на стул, встал, вновь сел. Наконец, поднявшись, он прислонился к стене и сунул руки в карманы в позе, которая казалась ему в достаточной степени небрежной и независимой. Все-таки странно, что он так волнуется. Это не просто страх, не просто самолюбие.

В назначенный Кельину час секретарь исчез в кабинете, тотчас же вынырнул обратно и кивнул Кельину на дверь:

— Идите.

Кельин вошел в просторную светлую комнату, в глубине которой над большим массивным письменным столом ширились могучие плечи и белел крутой лоб Сергея Петровича Долинского, директора, под командой которого работали тысячи мужчин, женщин, девушек, подростков. Он был в стального цвета гимнастерке, свободно облегавшей его широчайшее туловище. Все в нем шло вширь, все было не жирно, но мясисто, костей словно и не существовало. И все у него было крупное, добротное — нос, щеки, уши, подбородок.

Долинскому было уже за пятьдесят лет, но черная кучерявая голова его не поседела и не облысела, только виски чуть посерели. Он поглядел из-под густых черных бровей на Кельина, чуть только тот показался в дверях, и уже больше не спускал с него взгляда своих упрямых глаз, обвиняющих, неумолимых и в то же время немножко удивленных, словно он не мог понять, как это работник его завода позволил себе сделать что-то не так, как надлежало сделать. Было нелегко идти навстречу этому взгляду.

— Садитесь, — промолвил он, показывая на кресло и продолжая исподлобья смотреть на инженера очень серьезно, без усмешки.

Все здесь было серьезно, тяжеловесно, просто и не допускало никакого легкомыслия. Большие пролеты окон, с прямыми спинками, по-деловому глядевшие

стулья, ровный прямоугольник тяжелого, приземистого стола, прямоугольники карт и диаграмм на стенах — ничего лишнего, никаких украшений. И негромкий, настойчивый голос директора:

— Неизвестно, что было бы, если б Матвеев не подумал за вас, не помог бы вам. Защелок было в обрез. Опоздание еще на час — и сборка задержалась бы. Задержалась бы сборка боевых машин, — повторил Долинский с ударением, очень четко, — сборка пушек, которых ждет от нас фронт. Это недопустимо, это преступно.

Он помолчал, все не спуская взгляда своих беспощадных глаз с Кельина, который, не выдержав, опустил голову.

Затем он продолжал:

— Матвеев умеет думать не только за свой цех, но и за другие цеха. Он своевременно бьет тревогу и подтягивает отстающих. Но для этого, для такой работы надо быть Матвеевым. От вас я требую, чтобы вы научились как следует думать только за свой цех. Можете идти.

Так он поставил точную дистанцию между Кельиным и Матвеевым.

Когда Кельин шел вечером от огней завода к огням поселка, путь в гору казался ему невыразимо утомительным, словно впервые он заметил его крутизну. Он вырван из привычных ленинградских условий, из привычного круга людей, для которых он был не просто какой-то провинившийся инженер, а человек, которого любили или не любили, но к которому относились по-живому. А тут... Мыслей таких не было, было только ощущение, которое можно было выразить именно так и которому не хотел уступить Кельин. Ему было очень скверно.

Дочь, выше его чуть ли не на голову, краснощекая, очень похожая на мать, отворив дверь, объявила так, словно случилось непредвиденное несчастье:

— А у нас гости.

Такая уж у нее была манера — даже тогда, когда она была рада случившемуся. Отвратительная манера.

Гостьей оказалась Анна Павловна Шервинева, Аня. Она поднялась навстречу и, поздоровавшись, сразу же заговорила:

— Я вас уж решила дождаться. Я сегодня чуть не замерзла. Как приятно видеть земляка! У нас в деревне

весь интернат ленинградский. Если я устроюсь в городе, то, может быть, Валю оставлю в интернате. Я вам так завидую. Вы уже на своем месте, а я путаюсь, мучаюсь. Так хочется работать по своей специальности, для войны, для фронта... Какая морозюга сегодня...

Она говорила сразу обо всем, и все это дышало таким оживлением и надеждой, каких совершенно не испытывал сейчас Кельин. Все сейчас ему представлялось в самых мрачных красках.

— Как вы думаете — можно мне устроиться на завод? Удастся?

Он чувствовал себя бессильным помочь ей.

— Надо подумать, — неопределенно отвечал он, стараясь любезно улыбаться и не подозревая того, что лицо его было удивительно хмуро и неприветливо. Он думал, что он — очень скрытный, и не знал, что лицо всегда выдает его. Поэтому он всегда удивлялся прозорливости людей, безошибочно угадывающих его настроение.

Аня сразу же потухла, но тут же, отвернувшись от его угрюмого, скучного лица, упрямо продолжала:

— Вы просто не в духе. А я уверена, что можно. Я хочу именно на завод. Мне про вас сказала Вера Бороздина — помните, тоже из нашего дома? — Аня постепенно вновь загоралась. — Впрочем, вы же видели ее здесь, она вас встретила в трамвае и рассказала. Она тоже в интернате. Ее квартиру совсем разбомбило, а ваша и наша пока целы. Когда я уезжала, на нас только зажигательные падали. А тут — фугаска. Вы давно?..

— Уже больше месяца. Заболел и в больнице еще пролежал. Как раз здесь из вагона вынесли.

— А я — прямо в интернат к Вале, в Ленинграде я все вещи спустила; все — на продукты, я меньше месяца, как выехала. А как Софья Григорьевна?

— Вчера получил письмо. Она — на передовых. Военврач второго ранга. Жена — на передовых, а муж — в тылу, все навыворот, так и живу.

— Какая счастливая! Давайте я вам скипячу воду. Можно?

Она всегда была болтуньей. Пусть болтает. Все-таки землячка. Но чем и как он может ей помочь? Однако он ни одним словом не желал выдать свое состояние. Он

полагал, что очень хорошо владеет собой, очень вежлив, гостеприимен, даже весело улыбается. Он терпеть не мог жалоб и нытья.

В дверь постучались.

Вошел приземистый мужчина в теплой ушастой шапке, светло-сером, какие раньше носили подрядчики, кожушке с воротником из цигейки и ватных штанах, сунутых в валенки. Тепло ему, должно быть, во всем этом, как в бане. Он опустил воротник, расстегнул кожушок, снял шапку и осведомился:

— Помешал?

Это был Матвеев, начальник сборочного цеха.

— Нет, нет, пожалуйста, — торопливо ответил Кельин. Он был и польщен этим посещением после сегодняшней истории, и сердит на себя за то, что польщен, и фраза директора, поставившая точную дистанцию между ним и этим человеком, торчала, как заноза, в его мозгу. — Пожалуйста, — говорил он, — раздевайтесь. — Тут, заметив, что сам он до сих пор почему-то все еще в шубе, он снял шубу и продолжал: — Знакомьтесь: моя землячка, в одном доме жили в Ленинграде, соседка, как раз хочет работать на нашем заводе.

Он сказал «нашем» случайно, от сердца, и сейчас же нахмурился и замолчал. Может быть, ему уже неприлично называть этот завод «нашим»?

Матвеев спросил Аню:

— А кем вы хотите работать?

— Я чертежница, у меня большой стаж, я работала на заводе «Большевик».

Матвеев сказал:

— Это можно. Такие специальности требуются. Все специальности у нас требуются.

Аня воскликнула:

— Значит, можно устроиться?

— Можно, — повторил Матвеев. — Это простое дело.

Аня обратилась к Кельину:

— А вы еще сомневались!

— Я и не сомневался, — отозвался Кельин недовольно. — Как раз я хотел посоветоваться с товарищем Матвеевым. Я ведь на заводе человек новый.

Он представлялся себе сейчас очень деловитым, сухим, чуть ироническим.

Матвеев все стоял, не снимая шубы. У него было скуластое лицо, глаза были полуприкрыты веками.

— Я к вам на минуту, — промолвил он и вывел Кельина в сени. — Сегодняшний случай — нехороший, — прямо приступил он к делу. — У нас много новичков, вы в них не разобрались. Я вам пришлю завтра своего человечка, Фиму Соболева, из комсомольского бюро. Я ему уже дал команду. Свой пост у вас поставлю.

Кельин молчал, поеживаясь от холода, — мороз проникал в сени сквозь все щели. Какого черта он в теплой комнате был в шубе, а сейчас не вовремя снял? Кельин злился на себя необычайно. Он все сегодня путает. А тут еще эта болтушка...

— Значит, условились, — ответил за него Матвеев. — А с вашей знакомой я завтра все организую. Следует ее тщательно проверить. Работа секретная. — Он промолчал. — Сегодня Сергея Петровича видел после вас. Говорит про вас: «Толковый инженер, но людей наших еще не знает. Надо помочь».

Кельин перестал ежиться, словно в сенях вдруг стало тепло.

— Так пожалуйста, — промолвил он, — пусть ваш Соболев придет. Так он сказал все-таки — «толковый»?..

Он был доволен ироническим тоном вопроса, в котором, впрочем, выражалась самая обыкновенная радость. «Что это со мной сегодня»! — подумал он.

В конце концов, все это было возвращением к жизни: и его волнение в приемной директора, и выговор, и обида, и теперешнее удовольствие от неожиданной, хоть и весьма скромной похвалы. В теплушке, в полусознательном состоянии, он уже готовился к смерти. Но вместе с истощением он привез из Ленинграда ярость. Вот что было оскорблено в нем им самим, его промахом — это ярость. Так объяснял он сейчас себе свое состояние. Он, ленинградец, совершил промах на заводе, который делает пушки, уничтожающие врага, и люди, не знающие даже затемнения, вправе упрекать и обвинять его.

Когда он вернулся к Ане, глаза его, только что мглистые, нерадостные, как зимний туман, блестели, лицо стало привлекательным в дружелюбной улыбке, весь он светился оживлением.

Он думал, что он ровно такой же, как и до разговора с Матвеевым, и не слышал, что даже говорит он совсем другим тоном.

— Итак, — говорил он, — заночуете вы у меня с Нинкой. Завтра устроим ваши дела. Люди тут неплохие, надо только присмотреться, понять.

«Что это такое сделалось с ним?» — думала Аня, глядя на него с любопытством и совершенно уже успокоенная за судьбу своего дела. А он говорил:

— Теперь чайку. У меня колбаса есть, сыр. Питанием вы, Анна Павловна, будете здесь обеспечены вполне прилично. Кормят нас как раз хорошо. А ленинградцев здесь везде много, и все входят в работу быстро. Только одеться надо вам потеплее.

— Мне валенки соседний паренек обещал. Фима Соболев.

— Он разве живет у вас, в деревне?

— Да.

Кельин помолчал. Читая на лице его, Аня спросила:

— Вы знаете его?

— Нет, — отвечал скрытный Кельин.

Аня сказала как будто совсем невпопад:

— Вы знаете, Федор Федорович, если б лицо могло выражать производственные секреты, то вам с секретной работы пришлось бы уйти.

А назавтра Фима уже хромал у Кельина в цеху и, пришлепывая губами, делал иногда замечания:

— Что ты как на пече лежишь? Ночью выспишься.

— Гляди, сколько Маруся спроворила. Учись. А еще комсомолка.

Иногда он звонил Матвееву по телефону, давая очередные сводки.

Он знал тут многих девушек и пареньков еще по деревенской жизни, он открывал Кельину людей, которыми тот командовал, и это помогло Кельину несколько иначе расставить силы в цеху и распределить задания. В конце концов, инженером Кельин был опытным.

Земля перестала шататься под Кельиным. К концу месяца он даже чуть пополнел, хотя ежедневно работал до ночи с раннего утра.

III

26 января Кельин, постучавшись, вошел в холостую комнату Матвеева, который жил по соседству. Матвеев ночевал сегодня дома, что далеко не каждый раз случалось с ним. Он часто оставался на ночь в цеху.

— Здоров, — сказал Матвеев, оборотив к Кельину намыленную щеку, и рука его с бритвой замерла на миг. — Присаживайся.

Они были уже на «ты».

Кельин сел на стул, распахнув тяжелую шубу на бараньем меху.

— Торжественный день, — промолвил он. — Везде январь, а у нас уже первое февраля.

Матвеев, продолжая орудовать бритвой, отозвался:

— Да, сегодня уже февральские пушки. Как твоя знакомая? Берет дочку?

— Как раз хочет перевезти на этой неделе из интерната.

— Грамотная работница, говорят. Чертит она толково.

И Матвеев принялся убирать бритвенные принадлежности и стол с тщательностью слесаря, который вычищает свое рабочее место после работы.

Пристегивая воротничок, он говорил:

— Эти пять дней мы перевыполним план на старых машинах, а потом нам завезут новую. Очень интересную.

Он повернулся к Кельину. Лицо его как бы катилось вперед от широкого лба к чуть выдвинутой вперед массивной челюсти. Глаза его были полузакрыты веками, словно таили в себе нечто самое важное, самое главное. Он был немножко похож на доброго, но хитрого бульдога, способного вдруг мертвой хваткой схватить человека.

— Очень интересная машина, — продолжал он неторопливо, натягивая пиджак. Светлые и густые брови его двигались, уголки большого рта дрогнули, образовав две складочки по бокам. — Освоить производство следует в кратчайший срок: фронт требует.

Он поднял веки, и лицо его стало другим — очень серьезным, совсем не хитрым, и сходство с бульдогом прошло, потому что уже не челюсть, а глаза стали наиболее выразительным центром лица. Затем он вновь опустил веки.

— Пошли, — промолвил он.

Скрипнув дверью, они вышли на дощатый тротуар поселка, и сухой мороз обжег им щеки. Снег рассыпался под ногами, как сахар, с легким хрустом. Каждый звук звонко отдавался в неподвижном, без дуновения, воздухе, который был, казалось, скован лютым морозом. Дело, наверное, зашло за пятьдесят градусов. Все застыло вокруг, застланное сизой дымкой, сама земля, казалось, уже никогда не очнется, никогда ничто не растопит толстую, мерзлую, зимнюю кору.

В утреннем белесом сумраке неподвижно светились оконца деревянных домов. Дымок из труб поднимался ровной, словно вымеренной, как на чертеже, четкой, совершенно прямой линией. Эти линии дымков были как нарисованы, они были почти неправдоподобны для непривычного глаза. Надо всем этим распростерлось холодное северное небо, безрадостное, все в той же, но очень сгущенной, как замерзшее молоко, дымке.

Только люди двигались в этом мертвом, закоченевшем царстве, в котором птицы замертво падали наземь. Люди двигались, они шли на работу, чернея, желтея, белея своими шубами, полушубками, кожушками, и снег скрипел под их валенками, и морозный пар шел из их ртов. Было тихо в этой процессии, в этой толпе, спускавшейся под гору к заводу по протоптанной неширокой дороге. Подняв воротники, засунув руки глубоко в карманы, люди двигались неудержимым потоком — мужчины, женщины, подростки, девушки.

Матвеев шагал привычным путем по привычному морозу, не замечая ни пути, ни мороза. Его отец работал на этом самом заводе, на котором сын теперь стал начальником цеха. Индустриальный институт он кончил тоже на Урале, в Свердловске.

Матвеев не способен был к жалобам, просьбам, нытью и слишком много знал трудного и тяжелого для того, чтобы быть злым. Озлобление — тоже удел слабых. Без лишних слов и размышлений он приходил на помощь человеку и не претендовал на благодарность. Помощь его была грубовата и своеобразна, и если кто не хотел понять, что все же это помощь, и обижаться тут нечего, если кто упирался и вступал с ним в спор и драку, он говорил:

— Лучше сделайте, как сказано. А то советская власть может так повернуться, что вам неудобно станет.

И в эти моменты глаза его под полуспущенными веками свирепели, пронзая непокорного забияку.

Он был упрям и если чувствовал свою правоту, то любым способом добивался своего. Это был силач, которого не обошел еще ни один хитрец, ни один ловкач. С Кельиным ему драться не пришлось, и это было приятно Матвееву. Матвеев в эту зиму особенно любил и уважал ленинградскую людскую породу.

Он вступил в громадное прокопченное кирпичное красное здание, в котором помещался его цех, как в родной дом, где он заранее знал все, что увидит.

Его застекленная конторка — как рубка капитана. Отсюда идут приказы мастерам участков, старшему мастеру, всей команде, собирающей пушки. Под далеким потолком — сложное переплетение конструкций. Краны движутся вдоль стен, неся громадные части орудий. Грохота нет. Многопудовые, тяжеловесные вещи кажутся здесь легкими, самые сложные детали — удивительно простыми и ясными. Люди работали охотно и весело, зная, что начальник знает каждого, как самого себя, позаботится в случае чего о каждом больше, чем о самом себе. Его понимали не то что с полуслова, а даже просто по жесту или взгляду.

На полу становились рядом — одно возле другого — новенькие, уже февральские орудия, подымая кверху свои длинные, упрямые стволы, которые всегда напоминали Матвееву виденные им как-то в артиллерийском музее старинные пищали. Те пищали поразили его своим необыкновенным изяществом на всю жизнь.

Возле орудий стоял военный представитель подполковник Шелест, румяный мужчина, руки которого были горячими, как в жару. Он любил пушки откровенной веселой любовью, называя их разными женскими именами или просто — «цапля», «толстушка». Матвеев женскими именами пушки не называл. Он не относился к ним как к живым существам. Такого рода фантазией он не отличался. Он видел в них только хорошо или недостаточно хорошо сработанные машины, сложное соединение частей,

для него ясное и простое, имеющее великую цель в действии, которое называется выстрелом.

Он пошел к ряду пушек, выстроившихся в цеху.

Старший мастер, сухонький, легонький, как серое перышко, старичок, похлопав крайнюю в ряду пушку по жерлу, оглянулся на Матвеева, взглядом отвечая на звучный вопрос подполковника:

— Что ж? Под пломбу?

Под пушкой еще кто-то стучал молоточком, лежа на полу лицом вверх, только ноги его торчали наружу — одна короче другой. Рядом, сидя на полу, другой слесарь быстро и умело орудовал ключом.

Сборщик выбрался из-под пушки и оказался Фимой Соболевым. Лица у всех этих людей, одетых в промасленные комбинезоны, светились в ожидании заслуженной похвалы.

Матвеев подошел. Глаза его, казалось, одновременно видели всю пушку в целом и расчленяли ее на отдельные детали и узлы.

Похвалы не услышал никто. Матвеев промолвил только:

— Это пустяки, вот первого февраля придет новая машина.

Эти слова были понятны здесь каждому. Это значит, что все в цехе будут пропущены через разборку и сборку нового орудия. Это означало очередное испытание сил и способностей, очередной экзамен. Вот в первые недели войны, когда впервые завезли в цех новую незнакомую пушку и надо было в кратчайший срок освоить ее, — вот тогда было жутковато, как в первом бою. А теперь уже народ в цехе был обстрелянный. Но все же любопытство и возбуждение овладели цехом. Сам Матвеев был тоже несколько взволнован.

Матвеев не питал особенного пристрастия к художественным образам. Правда, природа внушала ему чувства, которых он не мог сам выразить в словах, и поэтому ему нравились лирические стихи. Некогда он любил рыбачить, ходить на лося с ружьем. Сейчас он бросил эти занятия. И сейчас часто вспоминалось ему то, что где-то, в какой-то книге он прочел о поражении Мамая. Мамай, с семью князьями своими, следил с холма, из ставки своей, за битвой на Куликовом поле. Он вглядывался

узкими своими глазами, этими злыми щелочками на скуластом неподвижном лице, в скачущего к нему всадника. Окровавленный татарин на взмыленном коне подлетел к ставке Мамая, сказал:

— Сила твоя изнемогла, великий хан!

И замертво упал с седла наземь.

Мамай молча повернул коня и помчался прочь от проигранного сражения. Он несся по степи на Восток, и семь его князей мчались за ним, и кони мяли ковыль, и ветер смерти бил в лицо Мамаю.

Матвеев явственно видел эту сцену, когда глаза его разбирали новенькие орудия и вновь собирали их. Он видел в этих пушках изнемогающую силу врага и уже воображал себе новую машину. Нет, он не был лишен ни вдохновения, ни фантазии.

IV

При работе с новой машиной особенно отличился Фима Соболев. Он показал такой высокий класс при учебной разборке и сборке, что Матвеев поставил его на доводку, как высококвалифицированного слесаря. Местная газета решила дать о нем очерк.

Тощенький журналист выехал вместе с Аней в деревню к родным Фимы, чтобы поговорить с ними о передовике ведущего цеха товарище Соболеве и его родителях. Аня отправлялась к дочке, которую все же решила оставить в интернате.

В поезде журналист рассказывал о том, как он жил в Москве и как он хочет обратно в Москву. Затем он задремал, проснулся и промолвил:

— Семья наверное рабочая, закалка поколений...

В уме его уже составился вполне хороший очерк, в достаточной мере сдобренный величественной природой Урала, поэзией севера и вообще всем необходимым для того, чтобы цифры не показались слишком скучными. И, нисколько не стесняясь тем, что только что мечтал о Москве, он начал говорить противоположное:

— В сущности, надо жить и работать здесь, чтобы знать людей, кующих победу... Если не на фронте — то

здесь. Я два месяца был военным корреспондентом. На юго-западном фронте.

И он очень увлекательно стал рассказывать о том, что привелось ему видеть на фронте.

— А тут встречаешь совершенно девственную психику, — вдруг заметил он. — Вот моя квартирная хозяйка ни черта не смыслит, она говорит: «Чего приехали? Никто вас не звал». Она сказала это одной ленинградской женщине.

— Таких дур немного, — возразила Аня.

В вагоне то потухал, то вновь загорался свет. Окна были покрыты сплошной коркой льда.

— О-о-о! — сказал журналист, выходя из вагона и пряча лицо свое в воротник шубы.

От полустанка до деревни было каких-нибудь пятьдесят шагов да до избы Соболева еще шагов сто. Но это расстояние показалось журналисту огромным. Он был без валенок, в галошах.

Тетка Фимы оказалась немолодой женщиной с добрым лицом. Она сначала не могла понять, чего от нее требуют. Только когда явилась Аня, уже своя в этой деревне, тетка успокоилась и поняла, что надо рассказать о родителях Фимы.

— Ну, где отец работал? — спрашивал журналист. — Как семья жила?

— А он не с женой жил, а с подругой, — ответила тетка, вздохнула и начала длинное повествование. — Поехали они на праздник в другую деревню. Выпили шибко. Я с мужем — помер он, вот уж два года, — дома, а они еще у праздника. Как поехал с бабой обратно, наверное он пьяный шибко был. А пьяный он коней гонять любил, ехать быстро. А баба-то его боялась шибко ехать. Он лошадей погоняет, а она не дает. А как он не слушается, погоняет, она дохой-то его завалила, да еще села на него, и домой поехала. Приезжает, а он не шевелится. Она испугалась, забралась на печь и сидит. Моя мама-то, бабка Фимкина, спрашивает: «Что это ино Филипп в избу нейдет?» А баба-то говорит: «Сейчас он придет, а я зазябла шибко, не могу слезти». Ну, мама-то пошла сама к саням и видит — он лежит под дохой мертвый, задушенный. Я хотела заявление следователю писать, чтоб вскрытию сделали, а мама

меня стала умаливать: «Нюшка, не тронь, не тряси своны косточки, все равно не воскресишь». Ну, так и похоронили. А подруга-то ушла, а тут мать с Фимкой в избу назад вернулась, да она вскорости померла.

Помолчав, она продолжала:

— Когда Филипп к этой своей Дуньке ходил, уж так она страдала, так страдала. Это еще когда вместе жили. Бежит за ним, догонит, и ну его хлестать, а он ее, — так чуть живая домой доползала. Вот она меня любила, а как я ей родная была, так она мне все и рассказывала. Вот раз пошел Филипп, а она за ним побежала. А была осень, холодно, дождь шел. Прибежала она к Дунькиному дому. Ворота заперты, в окнах темно. Легла она в канаву и стала ждать, когда он встанет. А дождь хлещет, озябла она, вся дрожит в канаве. Лежит, ждет. Вдруг в окошке спичка зажглась. Она поняла, что это уже Филипп встал, закурил. Потом вышел в ограду и собаку с цепи спустил. Собака почуяла, что кто-то в канаве лежит, залаяла. А она тихонько подзывает: «Жэк, Жэк!» Жэк подбежал к ней, узнал и лаять перестал. А она уложила его рядом с собой в канаву и об него греется — от холода-то она вся застыла. Так и пролежала в канаве с Жэком, об его бок грелась. Вдруг слышит она — выходят они в ограду, ворота отпирают. Тут вскочила она, подбежала к воротам. А в руке у ней ремень был, и думала она, пока в канаве лежала: «Ох, убью его, убью, не стерплю больше». Вот подбегает она к воротам, да как стегнет его со всей силы! Он шарахнулся. Хотела она Дуньку стегнуть, а та быстро ворота захлопнула и в избу спряталась. И так жалела она, что не пришлось ей хлестнуть Дуньку ремнем. А Филипп побежал в поле. Она за ним. Как догонит его, так стегать начнет. Он вырвал у ней кнут и ее избил. Так до дому и добежали оба избитые, чуть живые. Бедная, бедная! Сколько она горя видела, сколько горя видела, так что и сказать нельзя.

Она вздохнула и закончила:

— Тут и отселилась она от него, и Дунька в избу пришла. А Фима-то маленький был, его Филипп пьяный уронил, вот ногу ему и повредил. Фимка-то не такой, как отец. Тот злодей был, вредный был мужик.

Это был совершенно неожиданный и не нужный для очерка рассказ. Заготовленный очерк рухнул.

Уезжая из деревни ночью вместе с Аней, промерзший журналист говорил хмуро:

— Пережитки старой деревни... Ведь вот было ж такое!.. Что ж это за жизнь была... Никак не уложишь жизнь в рамки, никак не уложишь...

— А вы напишите все, как она рассказала.

Журналист отмахнулся:

— Вы нашей профессии не знаете. Это ж к делу не идет. Зачем сейчас такими рассказами народ пугать? Но какая темная была жизнь — а вот получился Фима Соболев, замечательный парень. Все-таки, значит, наша жизнь посильней пережитков, раз вопреки таким родителям вылепила прекрасного парня. Я ведь нарочно к его родным отправился, когда он на заводе. Он мне о родителях — ни слова.

На заводе все становилось ясным — люди различнейших характеров, различнейших биографий все работали для одной цели. И когда Аня увидела опять на дороге всю эту массу людей, она подумала, что только великое дело могло связать все это разнообразие воедино.

После работы она зашла к Кельину — она сняла комнату недалеко от него.

Кельин при свете тускло горевшей лампочки — сегодня был плохой накал — читал письмо жены. Он перечитывал то самое письмо, которое он получил накануне вызова к директору и выговора. Он помнил, что это-то письмо и отвлекло его тогда от дела, и он допустил промах, хотя в письме этом как раз жена внушала мужу работать в полную меру своих сил и способностей. Это письмо казалось Кельину все же очень странным — естественней было бы, если б он его написал жене. Прочтя его, он тогда решил во что бы то ни стало добиться отправки на фронт. В начале войны он вступил в ополчение, но был отчислен обратно на завод. Затем пришла болезнь — и его отправили сюда. Все-таки все навыворот. Странно.

Когда Аня вошла к нему, он, поглядев на ее валенки, промолвил:

— Скоро мы с вами будем старыми уральцами. Вроде

Матвеева. Только что я как раз получил еще одно письмо от Сони. Требует от меня отчета о моей работе.

Аня ответила:

— Сегодня из матвеевского цеха опять пушки шли. А я глядела и думала — вот все-таки и моя доля есть здесь. А что мне еще сейчас нужно? Нет, только чтоб и свою долю вносить. Чтоб работать. Только так и можно и нужно жить.

1943

СТРЕЛА

I

Инженер Шерстнев был автором нескольких работ по строительству железнодорожных мостов, некоторые его изобретения и рационализаторские предложения были одобрены и введены при скоростных строительствах, имя его можно было встретить не только в специальных технических изданиях, но иногда и в общей прессе. Специалист по мостам, он в последние годы много усилий отдавал проблеме крана. Ему чудился некий кран такой системы, которая максимально упростила бы установку пролетных строений на опоры.

Громоздкие сооружения для подъема и установки ферм, отнимавшие много времени, энергии и сил, раздражали Шерстнева. Иной раз он просто ненавидел все эти явно устаревшие, уродливые системы, тяжеловесные, неуклюжие, неудобные при быстрых темпах. Черт их подери! Ведь наверняка можно изобрести нечто гораздо более простое, этакий быстро действующий механизм, который решил бы дело. Над этой проблемой трудилось много инженеров, но пока что сконструировать такой кран, о котором мечтал Шерстнев, не удавалось.

Новые идеи вторгались в обычную, ежедневную работу Шерстнева как бы внезапно.

Всегда казалось ему при этом, что он изобретает нечто гениальное, и всегда, когда работа была завершена, он удивлялся малым результатам своих больших усилий. Очередная работа его встречалась обычно с одобрением, но это было не то, совсем не то, что представлялось его

необузданному воображению, когда он строчил, чертил, проверял. С годами он привык к этому несоответствию, и оно перестало изумлять его. Он просто понял, что даже маленькое новшество требует громадной работы.

В часы и дни отдыха он любил сочинять невероятные, неосуществимые сооружения. Однажды, например, он привез из отпуска проект моста через Арктику. В этой его фантазии поражала безукоризненная точность расчета, подтвержденная даже таким придирчивым инженером, как Билибин, но производство работ было не по человеческим силам. Доставка материала предполагалась воздушным путем, опоры в глубину на несколько километров годились только для фантастического романа, а самое веселое в этом проекте было использование белых медведей, тюленей и даже рыб как рабочей силы: медведи возили с ледяных аэродромов строительный материал, тюлени крепили ряжи, рыбы служили техразведкой.

Шерстнев заразительно, как ребенок, смеялся над этим забавным сочинением; он тешил себя такими шутками, но дети отнеслись к его выдумке очень серьезно и с большим увлечением. Шерстнев не отказался выступать с этой сказкой в школах, и дети так восторженно слушали его, что в одной из школ он построил — кстати уже без всякого расчета — мост прямо на луну. Чего там! Позвали — так уж терпите. Но когда одно издательство обратилось к нему с просьбой написать фантастическую повесть «Мост через Арктику», он замахал руками:

— Что вы! Меня же, между прочим, засмеют. Да и не умею я писать. Нет. Я же солидный инженер, мне нельзя шутить.

Шерстнев принимал участие в освободительных походах тридцать девятого и сорокового годов, он работал тогда по восстановлению разрушенных мостов. Мосты, восстановленные в условиях войны, назывались временными, они были достаточно прочны для того, чтобы служить лет десять—двенадцать.

Весной сорок первого года была сформирована бригада для обследования временных мостов в приграничной зоне. На совещании, когда решен был уже срок выезда, Шерстнев не воздержался от того, чтобы высказаться на тему о кранах, хотя вопрос этот и не имел отношения к делу.

Шерстнев доказывал, что нужно в интересах обороны еще больше усилить работу по созданию нового крана и что наркомат уделяет попыткам конструкторов в этом направлении недостаточно внимания. Впрочем, конкретно он ничего не требовал — ни новых организационных мероприятий, ни ассигнований.

Когда он замолк, наступило молчание. Характер его хорошо известен был в наркомате, он часто говорил не к месту, забегая в сторону или вперед, и начальник отдела, который вел совещание, выдержав паузу, улыбнулся, потом заключил:

— Начальником обследовательской бригады назначается товарищ Билибин, на которого и возлагается вся организационная часть. — Он сделал ударение на слове «организационная». — Что касается проблемы крана, — обратился он к Шерстневу, — то, вполне соглашаясь с вами, должен заметить, что проект крана, такого, какой вам мыслится, — на слове «мыслится» он опять сделал ударение, — не предложен еще конструкторским бюро.

Назначение Билибина было неожиданностью для всех. Считалось бесспорным, что начальником будет Шерстнев. Нельзя было определить по лицу самого Билибина, явилось ли это неожиданностью для него. Билибин был большой мясистый человек, наголо бривший свою увесистую голову. Услышав свою фамилию, он не шевельнулся, не мигнул даже, в его больших выпуклых серых глазах нельзя было прочесть ничего. Иногда глаза его становились пустыми, ничего не выражающими. Мысли и чувства его за этим взглядом никто не мог бы угадать.

Выйдя из кабинета, где происходило совещание, Шерстнев резко сказал Билибину:

— Ты, как всегда, промолчал.

Он никак не был задет назначением Билибина, он отличался абсолютным равнодушием к административным постам, принимая те, какие ему давали, и не претендуя ни на что большее. Не в этом была его жизнь, и его не интересовало то, что теперь кое-кто будет поговаривать о том, как «Билибин ловко подсидел Шерстнева». Но после каждой своей неуместной выходки Шерстнев злился на Билибина, у которого всякое действие было и к месту и ко времени, шло в то самое дело, какое было на очереди в данный момент.

Шерстнев тем более злился на Билибина, чем менее был похож на него. А тут еще перед самым совещанием Билибин убедительнейшим образом раскритиковал новый эскиз Шерстнева — проект облегченных ферм, опроверг отчетливо и точно, порекомендовав товарищу не демонстрировать эту работу никому. На этот раз сказка вторглась в расчет незаметно для Шерстнева, чего никогда с ним не случалось. Ни один из известных металлов не имел тех свойств, которые в одной из деталей предположил Шерстнев. Металлурги только посмеются, сочтя этот проект очередной шуткой, мистификацией известного им выдумщика.

— Если нет такого материала, — так пусть будет, пусть, между прочим, почешут мозги все эти академики! — выкрикнул Шерстнев раздраженно, но эскиз при этом порвал.

Он в упор взглянул на Билибина и сразу же сердито отвел глаза. Что-то проскочило в их встретившихся на миг взглядах, передалось без слов. Билибин понял, что́ такое творится с Шерстневым, и удивился. Тот вздумал, кажется, ревновать его.

Билибин терпеливо сносил все выпады Шерстнева, а Шерстнев, как ни ругал его, а ему первому нес свои новые работы, и как ни раздражался иной раз, но вынужден был принимать его справедливые и всегда доказательные возражения. Одобрение Билибина было для него решающим, он чувствовал себя легким, прямо воздушным от радости и готов был полюбить всех, когда Билибин, хлопнув широкой своей ладонью по эскизу, говорил с блеском в глазах: «Вот это вещь! Это — точно!»

Билибин был для него точнейшим контрольным аппаратом, совершенно необходимым.

Шерстнев не заметил, как и когда возникли у них такие отношения. Просто Билибин всегда с интересом относился к его идеям и, свято храня тайну неудач, пропагандировал каждую удачу Шерстнева. К его бескорыстию Шерстнев давно привык. А в серьезной борьбе, в напряженные минуты жизни Билибин был очень активен. Когда, например, Шерстнев неистовствовал в борьбе с «предельщиками», которые настаивали на невозможности повысить существовавшие тогда нормы, Билибин, создавая

факты в опровержение теориям людей косных и враждебных, в то же время выступал на собраниях и в печати — всегда веско, хотя и кратко.

Шерстнев не задумывался над своими отношениями с Билибиным, он вообще не думал о том, как люди относятся к нему, и тогда, когда кидался на одних, и тогда, когда обнимался с другими. На службе называли его: «нервяк», «этот наш нервяк». А Елена Васильевна Власова, или попросту Леночка, секретарша, стенографистка, а когда бывало необходимо — и неплохая копировальщица, всячески изощрялась на его счет в болтовне с подругами:

— Заладил мне диктовать. Торопится, ерошит волосы, галстук вечно набок...

Подруги посмеивались в ответ:

— Ладно уж, не оправдывайся. Знаем, все знаем.

Было действительно слишком заметно, как Шерстнев, являясь на работу, прежде всего искал Леночку. Одна только Леночка как будто не понимала, что́ это значит.

II

Вернувшись с совещания, Шерстнев тотчас же попросил Леночку к себе. Когда она явилась с тетрадкой и карандашами, Шерстнев шагал по кабинету, заложив руки в карманы синих, со смятой складкой брюк. Он остановился перед Леночкой, расставив короткие ноги, небольшой, взъерошенный, чернявый, взял со стола приготовленный конспект очередной статейки, отложил листки и промолвил вдруг очень серьезно:

— Леночка, я должен объясниться с вами.

Лоночка отвечала скромно и язвительно;

— Вы хотели мне продиктовать что-то.

— Да. — Шерстнев помолчал. — Хотел... Но вы прекрасно понимаете меня, Леночка. Никогда еще со мной не случалось так, чтобы... — Он вновь прошелся по комнате. Он был не похож на себя — тихий, задумчивый, даже, пожалуй, беспомощный какой-то. Опять остановившись перед Леночкой, он улыбнулся. В улыбке лицо его принимало совершенно простодушное, почти ребячье выражение.

— Я не такой сумасшедший, каким кажусь иногда, — сказал он. — Я вас люблю, Леночка, вы это прекрасно знаете. Я люблю вас, и мы должны жениться.

— Должны?

— Я назначен в обследовательскую бригаду, придется ехать. Я...

— Всё — вы. А обо мне вы подумали? — тихо осведомилась Леночка. — Я, конечно, обязана являться, когда вы вызываете, но...

— Ах, что вы! — забеспокоился Шерстнев и даже руками взмахнул. — Я действительно хотел диктовать... Я не так сказал, вы должны понять...

Леночка промолвила очень сдержанно:

— Прекратим этот разговор, Николай Николаевич. Я вам не нужна больше? Можно идти?

Шерстнев продолжал радостно глядеть на нее, — он был слишком полон собственных своих чувств.

Леночка повторила сухо, отчужденно, жестко:

— Можно идти?

Шерстнев сдвинул брови. Он стоял перед ней, по-прежнему расставив ноги, чернявый, небольшого роста инженер, но простодушная улыбка уже не освещала его лица. В глазах мелькало выражение озлобленное и упрямое. Затем он резко повернулся, сделал несколько шагов по комнате и вновь остановился.

— Вы мне ничего не ответили! — сказал он.

— Я ответила.

При этом Леночка пошла к двери. Она немножко побаивалась сумасшедших глаз Шерстнева. На пороге она, полуоборотившись, осведомилась еще раз ровным служебным голосом:

— Разрешите идти?

Она была чрезвычайно взволнована. Все-таки это было неожиданно. Притом в служебной обстановке. Это было неряшество. Это было почти пошло. Вызвать в служебный кабинет и объясниться... Но ее не поняла и старшая чертежница, большая толстая женщина, мать троих детей, которой Леночка привыкла поверять свои душевные тайны. Она заметила рассудительно:

— А чем плох? Инженер выдающийся, известный...

— Конечно, известный, может быть даже выдающийся, но разве так объясняются в любви?..

На службу Леночка являлась всегда чистенькой, аккуратной, такой умытой, свеженькой, душистой, с таким счастливым девятнадцатилетним блеском в глазах, что подруги не уставали без всякой зависти радоваться ей. Поверх английских блузочек, розовых, голубых, желтеньких, она носила вязаные кофточки не ярких, но очень приятных цветов. Она находила самое подходящее место, куда прикрепить какую-нибудь брошку, или цветочек, или бантик, и подруге могла подсказать, как получше приспособить какое-нибудь украшение. Она была моложе и красивее всех в отделе. Товарки говорили ей, и сама она чувствовала, какое она сокровище. И вдруг выйти за этого неряху и фантазера...

К концу дня маленькая вертлявая Женя из отдела кадров прибежала к Леночке и поведала ей великий секрет: Шерстнев взял Леночкин домашний адрес. Сообщив это, Женя фыркнула и убежала.

Домашний адрес был Леночкиной бедой. Но она считала свою скверную комнату в коммунальной квартирке временной бедой, — только до той резкой и счастливой перемены судьбы, в которую она верила нерушимо. Все же ей грустно бывало, особенно к весне, когда она подходила к подъезду ветхого двухэтажного домика, в котором жила.

Невзрачный, подслеповатый фасад этого старинного кирпичного строения утратил первоначальный цвет свой: фасад был грязно-желтый, с розовыми разводами, в пятнах и выбоинах самого разнообразного размера, расположенных так беспорядочно, как того пожелали время и непогода.

Домик стоял понурившись, как нищая старушка на краю могилы, случайно задержавшаяся на земле. Это был один из тех домиков, каких уже мало в Москве. Стиснутые меж новых каменных зданий, они напрасно рассказывают о московской старине новым своим жильцам, желающим не воспоминаний о давних временах, а газа, ванны и телефона, и негодующим на штукатурку, которая сыплется с потолков, и на сырость, проникающую сквозь стены.

На лестнице каждая ступенька была не похожа на предыдущую, по-особенному скособоченная и треснутая. Дверь квартиры обита была рваной черной клеенкой. Ле-

ночка входила в ночной мрак прихожей, особенно неожиданный в солнечные дни, как в могилу, темную, сырую, заплесневелую.

Леночкина комната была меблирована скудно и случайно, и каждый день приходилось ее чистить и вымывать. Все — пол, покрытый линолеумом, кровать, диван, стол, стулья, шкаф — неравномерно белила сыпавшаяся с потолка известь. А к весне над кроватью и диваном набухала темная полоса: вот-вот начнет протекать потолок.

Когда жив был отец, не так скучно было возвращаться домой. Отец ее был литератор, который сквозь все неудачи своей жизни пронес убеждение в том, что его произведения, как и его талант, — замечательны. Он говаривал горько: «Меня, как Стендаля, откроют через сто лет».

В комнате осталось одно утешение — солнце.

В комнату било солнце — живое и веселое.

Солнце звало к окну, за которым сверкала широкая улица, похожая на автостраду, приспособленная, казалось, специально для автомобилей и троллейбусов. Эта улица, сохранившая свое старинное, уже совершенно не подходящее к ней название, принадлежала новой, заново распланированной и отстроенной Москве, которой беспрекословно уступала пошатнувшаяся старина, причудливо вкрапленная меж новейших архитектурных громад. Огороженный забором пустырек на углу этой автострады и тихой улочки, на которой доживал свой век древний домик, обозначал место, где вырастут многоэтажные здания.

Здесь, среди озабоченных соседей, ей не с кем было поделиться своим волнением, всем, что переполняло ее после объяснения с Шерстневым и в чем она сама не могла хорошенько разобраться. Может быть, он воображает, что ей, ничтожной девчонке по сравнению с ним, видным инженером, остается только обрадоваться и сразу же броситься в его объятья? Так он узнает, с кем он имеет дело.

Она презрительно кривила губы, пожимала плечиками и ужасно досадовала, что не зазвала к себе сегодня никого из подруг. Может быть, кто-нибудь сам догадается зайти? Она была одна, совсем одна, и никогда еще

ей не было так грустно, как сегодня. Надо было, обязательно надо посоветоваться с Билибиным, рассказать ему. Почему она не сделала этого? Почему? Ведь он всегда так приветлив с ней, так охотно вникает в ее маленькие делишки и огорчения. Почему же она не пошла к нему за советом? Она даже себе не хотела ответить на этот вопрос.

Три резких звонка — к ней. Она сразу поняла, кто это. Конечно, не подруга. Конечно, он. Это был действительно Шерстнев. Она немножко стыдилась своей комнаты, и чем больше стыдилась, тем более гордое и даже высокомерное выражение принимала.

Шерстнев отнесся к деталям ее быта как к чему-то совершенно несущественному; ему явно нужна была она сама, а не скорлупа, в которой она существовала. И видел он только ее суровость, которая огорчала его.

— Я чувствую, — начал он, снимая без приглашения пальто и шляпу и вешая их у двери, — что вы продолжаете сердиться на меня. Я умоляю простить меня. Я был не в себе. Со мной никогда еще такого не бывало.... — Он огляделся. — Я жил когда-то в таком домишке...

И он потер маленькой своей рукой левую щеку.

— Между прочим, — вновь заговорил он, — я совершенно серьезно заявляю вам, что я просто не могу жить без вас. — Он говорил очень мягко и убедительно. — Вы не можете себе представить, как я вас люблю, и все это видят... — Тут он вернулся к своему пальто, оттопыренные карманы которого сразу же, еще впуская его, заметила Леночка. Вынул из одного кармана кулек, из другого кулек и, совершенно как фокусник, вывернул откуда-то — Леночке показалось, что из рукава, — коробку с шоколадными конфетами. — Примите, пожалуйста, от меня с просьбой простить мне мое сегодняшнее поведение. Но со всей серьезностью повторяю то, что вырвалось у меня сегодня так неуклюже, — я прошу вас быть моей женой.

Он, видимо, постарался на этот раз обдумать каждое слово, но все равно получилось неловко, не так, и он сам, должно быть, почувствовал это, потому что брови его сдвинулись, в нем воскрес тот Шерстнев, который испугал Леночку днем. Со всей женской способностью ужалить в самое уязвимое место Леночка спросила тихо:

— Почему я должна выйти именно за вас? Подумайте — почему именно за вас, а например, не за Билибина?

Шерстнев, который, чуть наклонившись вперед, выжидал, сидя на стуле, ее ответа, вскочил.

— В таком случае прощайте! — промолвил он решительно, и она даже проводить его не успела. Только дверь хлопнула непристойно громко.

Груда шоколадных конфет лежала на столе перед Леночкой. Она была опять одна, совершенно одна. И не за что ей на него жаловаться. Что он сделал ей плохого? Ничего. А она прогнала известного конструктора, уважаемого в стране. Она грезит наяву, неизвестно чего ожидая. Она ждет такой встречи, при которой все сомнения и колебания отпадут сразу. О ком, о чем мечтается ей? Во всяком случае, о чем-то не похожем на то, что она видит ежедневно, не похожем на все привычное, что окружает ее. Почему она прогнала его?.. Нет, она просто его не любит... Она не любит, вот и все. Она ждет любви и не знает, что это такое. А он любит ее, — и эта его любовь называется безнадежной; у него та самая безнадежная любовь, о которой написано столько трогательных романов. Она не может спасти его, она не любит. Ей было грустно, и ночь не разогнала, а только сгустила эту грусть.

— Какая ты сегодня томная! — сказала ей Женя из отдела кадров. — А твой Шерстнев веселый ходит.

— Веселый? — Леночка удивилась и обиделась. Но он действительно был очень весел. Она сама могла убедиться в этом, когда стенографировала его заметку для технического журнала. Он диктовал размеренно, ровным, спокойным голосом, веселые огоньки мелькали в его глазах, когда он поглядывал на нее. Кончив, он промолвил:

— Ваше дело, Леночка, безнадежное. Я — не сторонник мелодрам.

С этого дня начались страдания Леночки. Она была с ним то вежлива, то груба, то, забываясь, смеялась его остротам, то вдруг начинала умолять его, чтобы он прекратил свои настояния. Но он был беспощаден. Он замучил ее ежедневными приходами, коробками шоколада, цветами, духами, которые он таскал ей домой в невообразимых количествах, бурными объяснениями. Он так

торопился, словно страх, что вот-вот ее отнимут у него, владел им.

Снег на улицах таял, с крыш капало, шла весна, и все возрастала торжествующая настойчивость Шерстнева. Визиты его не прекращались. Женя из отдела кадров прозвала Леночку гордячкой, а толстая старшая чертежница говорила ей:

— Смотри счастья своего не упусти, капризуля. Николай Николаевич — человек хороший, он любит тебя.

Леночка задумывалась. Разве знает она, что́ такое счастье и где оно? Ничего она не понимает и не знает, только мечтает невесть о чем. А теперь и подруги не одобряют ее...

...Они отпраздновали свадьбу в ресторане, в компании сослуживцев. Значит, мечтать больше не о чем. Все, что смутно представлялось ночами, воплощено вот в этом невысоком, быстром в движениях и речи человеке с подвижным лицом, сияющими, прищуренными глазами и вихром на макушке. И вдруг она заплакала. Билибин, сидевший рядом, шепнул ей дружелюбно:

— Не надо. Успокойтесь. Я остаюсь вашим самым верным другом.

Никто не слышал этих его слов.

Но она продолжала плакать, слезы текли неудержимо, ей казалось, что она навсегда прощается с молодостью и надеждами, и ее уже не поздравляли, а утешали. Ей даже выражали соболезнование, притом в такой иронической форме, что Шерстнев мог бы обидеться и рассердиться, если б умел замечать мелкие уколы. Но он — даже когда замечал — не обращал на них никакого внимания. Он был доволен, счастлив, влюблен, и слезы Леночки не удивляли и не огорчали его. Невесте полагается плакать. И вообще она еще ничего не понимает в жизни, — потому и плачет. А он понимает.

Она еще ни разу не была у него. И когда он привел ее к себе, в чистенько прибранную квартирку в огромном ведомственном доме, она втайне восхитилась, но сдержалась, не воскликнула, как ей хотелось: «Боже, как тут чудно!»

Она удивилась тому, что живет он очень прилично. Ее утешало это: значит, по крайней мере, не такой уж он неумелый и непрактичный, кое-что соображает.

А он распоряжался весело, шумно, познакомил ее с горбатенькой старушкой, сказав при этом:

— Это моя тетя, теперь она и твоя тетя.

И хоть бы он был за две комнаты от нее, все равно она чувствовала, как он в нее влюблен и как ничего, кроме нее, не существует сейчас для него на всем свете. Это было приятно и немного страшно. Ей больше не хотелось плакать. Ей хотелось уже как можно скорей привыкнуть к нему, освоиться в своем новом положении жены инженера Шерстнева. Может быть, она просто еще глупая девчонка и никакой ошибки не произошло, а напротив того, привалило счастье? Она была чрезвычайно возбуждена, глаза ее горели нестерпимо, она принялась помогать тете по хозяйству, удивляясь, что у известного инженера оказалась такая простецкая родственница.

III

На следующий день подруги пытали Леночку:

— Ну как теперь?

Леночка только смеялась в ответ.

Она ничего не говорила о себе, о своем муже, о своей семейной жизни. Одевалась она по-прежнему, работала по-прежнему, только прежняя задиристость чуть затихла. Резкость Шерстнева тревожила ее. На одной из вечеринок он чуть не избил перепившегося инженера, который, обняв Леночку, хотел поцеловать ее, — его еле оттащили. И опять стало Леночке немного страшно, как в первый с ним вечер. Страшно и приятно. Все же она отчитала его самым строгим тоном и самыми суровыми словами.

Билибин счел долгом почествовать молодоженов у себя на дому особо. Он пригласил еще только одного гостя — зато это был известнейший профессор, приехавший на недельку из Ленинграда, один из лучших мостовиков в стране. Шерстневу будет полезно это знакомство.

Беседа у Билибина не миновала проблемы подъемного крана. Профессор скептически относился к попыткам изобрести быстро и просто действующий механизм, и вдруг Шерстнев сорвался. Он стукнул по столу и закричал:

— Ерунда! Ерунду же вы говорите! Это абсолютно возможно и будет наверняка...

Профессор при этом внезапном оскорблении, при этом грубом выкрике «ерунда», вытянулся на стуле как струна. Он был очень высок, этот профессор, — высокий, тощий, сухой, с синими прожилками на длинном лице и тонкими, бескровными губами. Движение, которым он вытянулся, очень запомнилось Шерстневу, — оно было механично, жестко и что-то подсказывало — подсказывало какую-то техническую идею. Вот он сидел согнутый, сложенный — и вдруг вытянулся, стал длинным...

Билибин пустым взглядом глядел на спорщиков, и нос его висел, как груша, меж вылупленных глаз.

Шерстнев взглянул на Леночку и перебил себя, потирая по своей привычке щеку:

— Простите, профессор, что я сгрубил... Но знаете... Все-таки это же ерунда...

Он, сам того не замечая, повторил грубое слово, и тут профессор неожиданно расхохотался. Пронзая Шерстнева своими маленькими, умными глазками, он хохотал, откинувшись на спинку стула. Он хохотал очень молодо.

Тогда и Билибин усмехнулся, и глазам его вернулось обычное, несколько печальное выражение.

Успокоившись, откашлявшись и отсморкавшись, профессор сказал Шерстневу:

— Ну, дорогой, вы не только кран — вы все изобретете. С вами не поспоришь, кажется. Нет.

А Шерстневу очень хотелось попросить его повторить движение, которое он сделал, получив прямо в лицо «ерунду».

Профессор оказался очень славным, развеселился, наговорил невесть каких комплиментов Леночке, напросился в гости к Шерстневу, и остаток вечера прошел превосходно, почти уже без участия хозяина. Иногда профессор принимался опять хохотать, приговаривая:

— Однако, Елена Васильевна, какой у вас строгий муж, он же прямо за горло хватает...

А Шерстнев, которому профессор уже очень нравился, еле удерживался от сумасшедшего желания согнуть и потом вновь разогнуть этого сухощавого, длинного добряка, чрезвычайно удобного для такого рода экспериментов.

Был час ночи, когда Шерстневы пошли домой. Москва, омытая лунным светом, лежала в полусне, мигая электрическими фонарями, фарами автомобилей, окнами домов и домиков, вздрагивая при грохоте позднего грузовика, при гудках машин или дребезжании трамвая.

Леночка молчала. Шерстнев тоже молчал, ища в движении профессора, обычном быстром человеческом движении, то, что почему-то поразило его. Это движение преследовало его, как преследует поэта неосознанный еще образ.

Вдруг Леночка сказала:

— Профессор очень умный. Он все повернул на шутку, но тебе это припомнится. Ты его оскорбил при Билибине, и он тебе этого не забудет. Ты совершенно зря наживаешь себе врагов.

— Врагов? — удивился Шерстнев. — Но чего же тут бояться, если человек настаивает на ерунде? Ерунда есть ерунда...

— Я не говорю о трусости, — перебила Леночка. — Было бы очень противно, если бы ты был трусом. Я говорю о такте.

— Бывает не до вежливости, — невнимательно отвечал Шерстнев. — Иногда за душу заберет. А старик симпатичный, ничего он против меня не затаил. А затаил, — так значит, ничего не понимает. Ты заметила, между прочим, как он вытянулся на стуле? Очень интересное движение. Вообще механизмы создаются по образцу человеческого тела. Мы это иногда забываем. Сама природа подсказывает нам иногда решение сложнейших проблем...

И он пустился в рассуждения, которых уже не прервешь.

Вдруг вновь, как бывало до замужества, все поднялось в Леночке против этого человека.

— Ты ничего не соображаешь, — крикнула она так, что пожилой франт в синей фетровой шляпе и синем длинном пальто с любопытством оглянулся на них, показав свой удивительно прямой, длинный и тонкий нос.

Шерстнев и не подумал уступать.

— Леночка, — сказал он нежно, — я знаю эту логику: «Я его оскорбил — он мне при случае отомстит». Это, между прочим, случается слишком часто. Но я не хочу

жить по этой логике. Не могу. Я живу по другой логике: «Он вредит делу — и кто бы он ни был, я буду бороться с ним, с его мнением». Я не могу иначе. И не нужно иначе. Иначе — как Билибин, который помалкивает, когда...

— Тебе бы поучиться у Билибина! — жестко оборвала Леночка.

Шерстнев даже остановился, чтобы сдержаться. Опять Билибин... Это не случайно. Вновь поравнявшись с ней, он отозвался по возможности спокойно:

— Билибин — мой товарищ, и я должен за многое благодарить его. Он — хороший инженер, но никакой фантазии, никакого изобретательского таланта у него нет, он не может...

— А ты — гений?

— Ничего подобного я не говорю. Леночка, не кидайся на меня. Ну к черту этого профессора и к черту Билибина. Билибин — практик, деловой, знающий, но, между прочим, ведь у каждого своя голова, свое сердце...

Леночка шла быстрым, энергичным, коротким шагом. Она молчала, сдвинув брови, глядя себе под ноги, почти не слушая его. Она не желает воспитывать или перевоспитывать своего мужа. В конце концов, ей нет еще и двадцати лет, и она — не гувернантка. Она сама не знает, как надо себя вести с людьми, только ее ужасно беспокоит эта неуживчивость мужа.

Конечно, он ее обожает, но при его любви очень нелегкой будет жизнь. А что́ такое «легкая жизнь», и какой она хочет жизни, — этого она сама не знала.

IV

Инженеры обследовательской бригады заняли несколько купе международного вагона. На столиках появились бутылки с пивом, тарелки с бутербродами, в воздухе заклубился табачный дым.

— Посчитайте, — говорил Шерстнев, — сколько стран оккупировано фашистами...

Низенький седой инженер, похожий на капитана дальнего плавания, вынул трубку изо рта и заметил:

— Да, плохо на Западе.

— А нам что? — сказал молодой круглолицый инженер с тихим голосом, сладкими и бесцветными глазами и преждевременной лысиной на темени. Он стоял у двери, скрестив ноги, и покуривал.

— То есть как — что? — воскликнул Шерстнев.

Круглолицый инженер пожал плечами:

— На нас не нападут.

— Вы, Барбашов, успокаиваете себя.

Барбашов пожал плечами и вышел в коридор.

— Так или иначе, — продолжал Шерстнев, — западная индустрия работает на Гитлера. Запад кормит фашистов. Лавали поставляют им пушечное мясо. И все — для чего? Фашистами владеет прямо пафос уничтожения. Среди черного, затемненного мира мы — какое-то счастливое царство, залитое огнями. Ведь не только Запад, но и весь Восток в войне, Азия в войне... А мы, самая громадная страна в мире, светим посреди всего этого всеми огнями. Надолго ли? Готовы ли мы к войне? У нас колоссальные достижения в технике. По самолетам, моторам, артиллерии и так далее мы просто можем называть имена — Яковлев, Ильюшин, Микулин, Швецов, Грабин и так далее и так далее. Все ясно. А у нас? У мостовиков? — И он свернул на обычную свою тему. — Проблема крана — не какая-нибудь незначительная проблема...

Вновь появившийся у двери Барбашов сказал:

— Пилон.

— Пилон? — подхватил на этот раз Шерстнев. — А недостаточная мощность? Сложность манипуляций? Небольшой вылет стрелы? Тысяча недостатков. Их можно особенно ощутить, когда на тебя давят грузы, скопляются на путях, наседают на плечи. Нужные фронту грузы, бронепоезда, боеприпасы. Я, между прочим, знаю это ощущение. Я был в двух войнах восстановителем, нам эти войны дали не бог весть какой опыт, но это я ощутил. Я почувствовал нашу вину. Большая мощность, простота конструкции, быстрота операции — всего этого еще нет у нас.

Высокий рыжеволосый инженер с длинным веснушчатым лицом подтвердил:

— Это правда. Однако я вспоминаю, как мне один почтенный профессор, всю жизнь занимавшийся

доменными печами, сказал, что доменная печь остается для него и теперь загадкой.

— Правильное ощущение, — обрадовался Шерстнев. — До тех пор, пока дело не доведено до совершенства, до того, чтобы быть полным хозяином его, — это ощущение не проходит. Но это — плодотворное ощущение, которое стимулирует мысль. Раз загадочно, — значит, надо разгадать. Мы не ленивы и любопытны. Но вернемся к нашему скромному делу. Словом, если полезет на нас фашист, то наше, мостовиков, дело — помогать фронту. Мы должны строить быстро и прочно. И в этом скромном, но необходимом деле тормозит проблема крана.

Барбашов вставил тихо:

— На совещании вам правильно отвечено было: новая конструкция не предложена. Предложите.

Шерстнев помолчал, потирая рукой щеку. Против этого ничего нельзя было возразить.

— Предложите, — повторил Барбашов. — Не можете? Так ламентациями тут не поможешь. Тут требуется вдохновение, изобретательский талант. В восстановлении мостов вы правы, тут вам и карты в руки. Но будем ждать, когда талант ускорит строительство.

Это был ядовитый мужчина. Получалось так, что от Шерстнева он не ждет этого изобретения, что Шерстнев вообще не талант.

— Да, — продолжал он, — ваш опыт в восстановлении мостов очень ценен. В то же время мы не должны забывать, что мост — это искусство. Мост должен войти в общую картину местности, в общую картину природы, он должен быть изящен, как произведение искусства он не должен уродовать природу, а, напротив, призван завершать ее, как произведение рук человеческих...

Фантазии Шерстнева были известны ему, как и другим, он знал, что художник в Шерстневе побеждал подчас инженера, но тем приятнее ему было притворяться не знающим всего этого и поучать этого увлекающегося инженера, которого он не любил, намекать, что он в сущности не выше прораба.

— В чем другом, а уж тут Николай Николаевич не возразит, — улыбнулся рыжий инженер. — Но разговор-то идет о временных мостах.

Седенький инженер добавил, выстукивая пепел из трубки:

— Не о мосте через Арктику. Временные мосты создаются в условиях войны, а в обороне мы отстаиваем всю красоту жизни и творчества.

Шерстнев вылил из бутылки остатки пива в стакан и выпил. В глазах его мелькнули веселые искорки, он промолвил:

— Уж если на то пошло, то тогда и кран должен быть изящен. А то слоны какие-то неповоротливые, а не краны, хоботы еле подымаются, застревают... Зоологический сад.

Он помолчал.

— Поцелую того, кто изобретет новый кран, — сказал он.

— А если тебя придется целовать? — спросил рыжий инженер, и седенький инженер, набивая трубку, засмеялся тихим смехом.

— Тогда Барбашов меня поцелует.

Барбашов знал уважение некоторых инженеров к Шерстневу, и оно было неприятно ему. От Шерстнева они ждали изобретений, открытий. И он был как забронирован, — его невозможно было задеть личными намеками, даже самыми язвительными и острыми. Он не обращал на них внимания. При нем Барбашов не позволял себе никаких сомнительных рассуждений, никакого скепсиса.

В ответ на фразу Шерстнева он раздвинул свое круглое лицо в улыбку, от которой складки собрались вокруг его рта и глаз, и проговорил:

— Если вы разрешите мне приложиться к вам. Если я буду достоин.

Он вполне выдержал шутливый, дружеский тон. Постояв у двери, он отошел.

— Он все-таки неплохой специалист, — промолвил седенький инженер. — Он любит виадуки. Почему именно виадуки?

— Слово изящное, — сказал Шерстнев, и все засмеялись.

В купе сунулся узкоплечий инженер в очках на скуластом лице:

— Требуется четвертый в домино. Кто?

— Постучим, — согласился седенький инженер и пошел.

Красивый блондин, одетый в великолепную серую с искрой пару, вдвинулся в купе, сел, подтянув брюки, и осведомился:

— Научные разговоры? А народ без тебя, Шерстнев, скучает. Жена твоя скучает, патефон играет. Идем к нам. У нас весело.

— А где Билибин? — спросил Шерстнев.

— Спит, конечно. Как сел в поезд, так снял сапоги, лег и спит беспробудно. Пива запасли ему и закуски. Неприкосновенный запас. На этот счет он — молодец. Идем. У нас патефон.

Шерстнев встал и пошел.

В коридоре вагона стояла Леночка.

— Ну где же ты? — сказала она. — Исчез куда-то... Ужасно меня рассмешил Владимир Павлович, — она кивнула головой на блондина, — он так и сыплет анекдотами.

Глаза ее сияли, она наслаждалась. Впервые ехала она в дальнюю поездку, за ней все ухаживали, ей хвалили мужа, она видела, что его многие уважают.

Билибин неожиданно включил ее в обследовательскую бригаду. Наверное, приятное хотел сделать. Шерстнева он упросил быть его помощником. Он не назначил, а просил. Шерстнев сначала отнекивался, потом согласился.

Билибин проснулся поздно утром. Он проспал чуть ли не двадцать часов подряд. Он очень уважал в жизни хороший сон и хорошую пищу. Любил также долго мыться, фыркая, как бегемот, менять белье и чисто выбривать волосы на голове. Поговаривали, что много женщин любило его. Приведя себя в полный порядок, он изгнал всех из своего купе и заперся.

— Священнодействие, — заявил блондин. — Последние мазки по плану работ.

Стало тепло. Инженеры поснимали пиджаки и на каждой остановке выскакивали за всякой снедью. Билибин, кончив свои занятия, вышел в коридор как раз тогда, когда блондин торжественно проносил груду соленых огурцов, как можно дальше отодвинув их от себя. С огурцов капало. Билибин проводил овощи жадным, настороженным взглядом и молча заторопился к выходу. Он

вошел в базарную толпу и потерялся среди колхозниц. Потом вынырнул. Он шел медленно, и лицо его выражало необычайное довольство. Он нес целого гуся. Он нес гуся, а губы его еще хранили следы выпитого молока. Оставив гуся в купе, он сразу же снова вышел, и когда уже на ходу вскочил в поезд, то корзинка, которую он цепко держал в руке, полна была самых разных продуктов, на дне ее лежал чудно прожаренный цыпленок.

Хорошенько помывшись, он стал есть. Три бутылки пива появились перед ним. Поев, он снова вымылся и молча посидел в купе, ощущая приятную сытость, тепло, стремительное движение поезда — всю прелесть дороги. Наконец он придвинул к себе план работ, папку с мостами, подлежащими проверке, и пригласил инженеров к себе. Он распределил их по объектам, разбив на группы. Людей он знал хорошо. Конечно, он и сам объедет все мосты с Шерстневым, как своим помощником. Последний по плану участок он оставил на осмотр только себе и Шерстневу, остальных он вернет в Москву. Так будет экономнее. Билибин как организатор был очень скуп и свято соблюдал нормы расходов по командировке.

Шерстнев уважал Билибина как организатора и, как ни подшучивал над ним подчас, подчинялся ему.

V

Леночка напрасно воображала, что Билибин включил ее в бригаду для ее удовольствия, для приятной поездки. Ее ждало разочарование. Ни о Шерстневе, ни о ней он в данном случае не заботился. Просто он считал ее хорошей работницей и потому нагружал ее сверх всякой меры. Она стенографировала, перепечатывала, сортировала, сшивала, копировала, и ее выручало только отличное здоровье. Было уже не до развлечений.

— Устали? — говорил иногда Билибин и без всякого утешения добавлял: — Отдыха пока не ждите. Вот поедем на последний мост, тогда денек погуляем.

Обследование не обходилось без споров и ссор, подчас весьма запальчивых. Билибин к каждому замечанию относился с большим вниманием, тщательно проверял правильность каждой придирки. В этих трениях, среди этих

уколов, легко перерастающих в склоку, он был всегда как спокойный центр циклона. Все его поведение состояло в том, чтобы самому быть вне всяких столкновений. Он любил руководить, организовывать, он дорожил этой ролью главного среди товарищей и потому сам исподволь подготовил себе назначение начальником обследовательской бригады.

Он никогда не терял своего увесистого спокойствия и неизменно, без всякой зависти, поощрял каждую новую идею, новую мысль. Он полагал, что талантливых людей надо беречь подчас даже от самих себя, и в ссорах оставался высшим судьей, стараясь только помочь работе.

Наконец пришла очередь и последнего моста. Из всей бригады осталось только трое — Билибин, Шерстнев и Леночка.

Леночка стояла у открытого окна. Волосы ее трепало на ветру, лицо, освещенное добрым, не северным солнцем, улыбалось. Зелень мчалась за окном. Все было зелено: поля, леса, каждый кустик. А над всем этим пахучим зеленым миром — яркой синевы небо, синее-синее, без какого-либо оттенка, без белизны или желтизны. Здесь уж если что зеленое — так зеленое на совесть, синее — так такое синее, что ни с каким другим цветом не спутаешь.

Билибин лежал на диване, вытянув свои большие ноги в синих военных штанах с белыми штрипками (сапоги он снял), весь большой, мясистый, с длинной, большой, наголо бритой головой, и глядел на Леночку. Она, видно, почувствовала его взгляд, отошла от окна и села напротив. Взяла книжку в руки и задумалась, забыв о нем, устремив глаза куда-то поверх его головы.

Билибин смотрел на Леночку и удивлялся тому, как она быстро расцвела в замужестве. Ее уже Леночкой не назовешь, она — Елена Васильевна, прелестная женщина в пышном обрамлении светлых стриженых волос. Глаза ее сияют здоровьем, надеждой, любопытством, и грусть живет в них, и мало ли еще что есть в этих глазах, игру которых и не передашь. Она задумалась о чем-то своем, эта женщина в полном соку молодости и свежести, и глаза ее — как две большие капли, в которых отражается весь мир. Вся эта женская прелесть так близко от него и так недостижима.

Нечто вроде досады на себя и зависти к Шерстневу шевельнулось в душе Билибина. Ведь она могла стать его женой. Он как бы впервые увидел ее по-настоящему и пожалел о своей холостяцкой жизни. Взгляд его, как всегда, когда он хотел скрыть от других свои чувства, принял бессмысленное коровье выражение. В сущности, этой женщине нужен он, Билибин, он может быть опорой в обычных для такой жены капризах. Не зря ее немножко тянуло к нему...

Вошел Шерстнев.

— Скоро подъедем, — сказал он. — Знакомые места. Я тут мучился с этим мостом. Скоро он будет. Граница здесь очень близко. Совсем близко.

И он снова вышел.

Река блеснула впереди голубизной.

— Гляди! Мост! — крикнул Шерстнев.

На станции их встречали с уважением. К вагону подошел начальник станции, толстенький, румяный человек, очень подвижный и живой. Он представил им диспетчера станции:

— Разрешите познакомить — товарищ Трегуб. Наш знатный диспетчер. Если вы не возразите, он мечтает вас принять у себя.

Трегуб промолвил:

— У нас все приготовлено для дорогих гостей. Всегда московские товарищи у меня останавливаются.

Это был небольшого роста человек, светлый, приветливый, с усиками, аккуратно подстриженными у мягких углов рта.

— Спасибо, — сказал Билибин. — Воспользуемся вашим гостеприимством.

Он слышал об этом отличном диспетчере, который любил у каждого приезжего выспрашивать о последних достижениях Москвы и всей страны. Трегуб тянулся к каждому знающему человеку.

Когда они шли к домику диспетчера, обвитому плющом, маленькому, уютному, с садиком впереди и огородом сбоку, начальник станции рассказывал про трудности работы, то и дело повторяя слово «спецгрузы». Билибин отделывался междометиями и хмыканьем. Он был солиден, деловит, как приличествует важному начальнику,

и начальник станции почувствовал к нему уважение и доверие.

Знакомя гостей со своей женой, Трегуб поглаживал усики, ладошкой прикрывая довольную улыбку, раздвигавшую его небольшой рот. Эта скромная, одетая в синее ситцевое платьице, невысокая — в рост ему — тоненькая, востроносенькая женщина представлялась ему самой красивой и привлекательной в мире. Она угостила дорогих гостей такими варениками, что Билибин, отирая рот салфеткой, помотал головой и промолвил:

— Вот это да! В жизни не забуду.

А она, легонькая, тонкая, уже унеслась к ребятам, и из соседней комнаты был слышен ее немножко визгливый голос:

— Ты что, Витька, Катю обижаешь? Я тебе...

После сытного угощения гостям был показан весь выводок: семилетний Витька — точная копия отца, только сильно уменьшенная и без усиков, пятилетняя Катя с круглыми глазами, малюсенькой косичкой и большой куклой в руках и трехлетний Слава, державшийся за Витькин палец, как за единственное прибежище в этом необычайно интересном, но полном непредвиденных опасностей мире. А за ними возвышалась молоденькая мама. Изогнувшись, она уперлась левой рукой в бок, очень довольная детьми, мужем, гостями.

Шерстнев заговорил, вытаскивая «лейку»:

— Стойте, сейчас сниму. Один момент. Так. Готово. Еще раз. Так. Катя, ниже куклу, — мордочку заслоняешь. Так. Леночка, бери, береги. Больше пленки нету.

Это были обещанные Билибиным полдня отдыха после утомительнейших работ по командировке.

Ночью все трое спали, как никогда не случалось в Москве. В открытые окна шла свежесть и прохлада. Сны были такие счастливые, что уж лучше и не рассказывать, — словами только испортишь. Проснувшись поутру, Леночка воскликнула:

— Как тут хорошо!

Мост находился метрах в шестистах на восток от станции. Это был решетчатый металлический мост, висевший над небыстрыми, но глубокими водами реки.

Ранним утром Билибин приступил к обследованию.

Шерстнев пояснял:

— Отлично помню этот мост. В тридцать девятом году, в той войне, занимался им. Была подорвана промежуточная речная опора. Бык был разрушен полностью. Из обломков кладки образовался сплошной островок в форме усеченного конуса с верхней площадкой диаметром так в двенадцать — пятнадцать метров. Оба пролетные строения упали в реку и уперлись концами в разрушенный бык. Были повреждения при падении, главным образом в панелях, что у опорных узлов. — Шерстнев рассказывал сухо, протокольно, словно давно известные формулы чертил. — Отдельные раскосы лопнули по основному сечению, заклепки были срезаны в отдельных узлах. Были в некоторых элементах и пробоины от снарядов, от осколков. В общем — обычная картина. — Он вдруг оживился: — При подъеме пролетных строений использовали шпальные клетки и комбинацию из шпальных клеток рамного яруса. Ну, уж эта подъемка! Между прочим, из-за нее я, может быть, и запомнил так точно этот чертов мост. Материал то и дело задерживался. Где лес? Где *шпалы? До чего тебя не хватало в техническом* контроле, Павел! Я охрип, изругался. Ты понимаешь, больше половины всех простоев произошло из-за неподачи материалов. А потом ремонт домкратов, насосов, лебедок... Хороший прораб — это драгоценность, я всегда это говорил. Вот этот мост дал мне опыт — как не надо работать. Мост хороший, но организация работ была из рук вон плохая. Я и с плотниками потел. Я не организатор, не администратор, но тут вдруг я оказался руководителем. Нельзя было терпеть, когда в иные дни подымали только на двенадцать сантиметров. Двенадцать сантиметров среднесуточного подъема! Я остался у этого моста. Я — на твоих ролях, организатором, техническим контролем, только без твоего хладнокровия. — Билибин взглянул на него, и странное выражение выплыло из глубины его больших глаз и вновь спряталось, утонуло. — В условиях войны, между прочим, медлительность невозможна. Нужно решать мгновенно. А строитель попался спокойненький. Смеется. Я — ему: «А если завтра с фашистами воевать?..» Смеется, черт... Ох, я ему голову свернул!..

Билибин молчал, простукивая фермы моста.

Вдруг он обратился к Трегубу, свободному в этот день от работы и сопровождавшему обследователей:

— А вы соседей не боитесь?

— Договор есть, — ответил Трегуб сдержанно, но уже одно то, что он сразу понял, о каких соседях речь, показывало его настороженность.

Билибин обернулся к Шерстневу. Сказал:

— Что ж, если ты сам участвовал здесь с начала до конца и за прочность ручаешься, то можно поверить, осматривать особо не приходится.

Он помолчал.

— Ты наверное оказался хорошим организатором, — промолвил он, не то спрашивая, не то утверждая.

— Да вот проверь мост как следует, — ответил Шерстнев. — Без скидки. Пожалуйста, самым тщательным образом.

Просматривая мост, Билибин не обнаружил даже слабости, дефектности заклепок, не говоря о ржавых, грязных потеках, обычных при трещине металла.

— Все в порядке, — заключил он осмотр. — Завтра вечером можно обратно в Москву.

Вечер был такой, что в саду засиделись допоздна.

Шерстнев был тих и кроток. Ему все представлялось невесомым, нереальным, как во сне. Состояние это было не мучительно, оно не доставляло страданий, просто как воды какие-то заливали его. «Здóрово я, должно быть, устал», — подумал он.

Его относило в детство, в питерскую рабочую семью, в которой он вырос. Мать умерла рано. Отец домой возвращался к ночи, он, мальчишка, был предоставлен тете, той самой, которая с ним в Москве сейчас. Тетя и до сих пор гордится, что он стал инженером. Отец погиб в девятнадцатом году в боях с Юденичем.

Он глядел в прожитую жизнь, и она представлялась ему удивительно длинной и богатой, прошедшей через необычайные события, в которых не было остановки.

Что ожидает его впереди? Однажды в детстве он заплыл далеко в море. Море казалось спокойным, и он плыл, не оборачиваясь, глядя все вперед и вперед, туда, где все на том же расстоянии тянулась линия горизонта. И вдруг линия эта начала колебаться, она исчезала и вновь появлялась — на этом мирном море оказались высокие, сильные валы, без барашков на гребнях, с берега их и не приметишь и не догадаешься о них, а вот тут

эти волны накатывались и накатывались, почувствовалась огромная глубина в этом прирученном, домашнем Финском заливе. Он был один далеко от берега, и некого позвать на помощь.

Вот и сейчас так: он жил, жил — и вдруг неведомая глубина готова открыться под ним, поглотить его, валы один другого громаднее встают перед ним, накатываясь и опрокидывая, и он — как беспомощный мальчишка, один под далеким небом. Но он доплыл тогда до берега. Он доплыл, у него хватило силы и выдержки. Только в руках долго оставалось воспоминание о волнах, которые он резал сильными взмахами.

Леночка болтала с женой Трегуба. Трегуб вставлял свои замечания. Вдруг он поднялся и, вынув из кармана большие, на тяжелой медной цепочке часы, промолвил:

— Мне пора на дежурство. Скоро двенадцать.

Шерстнев тоже встал с травы, на которой лежал.

— Я пойду с вами, — сказал он.

— А мы думали — вы спите, — удивилась жена Трегуба.

— Нет, что-то совсем спать не хочется. Леночка, ты меня не жди. Я могу поздно вернуться.

Леночка знала, что иногда вдруг он хочет побыть один, обычно это случалось, когда мерещится ему какая-то новая идея.

Трегуб говорил по дороге на станцию:

— У меня есть просьба к вам. Есть у меня некоторые недоумения по моему делу, хотел бы посоветоваться...

— Рад буду помочь, — ответил Шерстнев, — но ведь у меня не та специальность...

— Вы сразу мне сможете подсказать, — сказал Трегуб, и в тоне его были чрезвычайное уважение и уверенность, что этот столичный инженер все знает. — Я весь имеющийся опыт в работе учитываю, но есть вопросы. Только ли, к примеру, при маневрах можно за ухо сцеплять для скорости?

Шерстнев улыбнулся:

— Об этом лучше спросите товарища Билибина. Я скорость люблю и всегда за ухо сцеплял бы.

— Может быть, можно мне при вас с товарищем Билибиным побеседовать? — попросил Трегуб. — Завтра бы занял вас на несколько минуток.

— Пожалуйста. Можно утром. К вечеру ведь мы уедем.

— Большое вам спасибо.

Здание станции было обвито плющом, как все домики тут. В летнем сумраке празднично просвечивала сквозь темную зелень белизна стен. Было очень тепло, и тысячи запахов веяли в воздухе, как в большом саду.

Паровоз, пыхтя солидно и с достоинством, прошел на запасный путь, где длинной вереницей ждали его покорные вагоны и платформы.

Шерстнев долго гулял по полю, затем прилег на опушке рощицы.

Небо раскинулось над дремлющей землей, без единого облачка, расчерченное четкими, серебристыми пунктирами созвездий. Но оно только при беглом взгляде казалось искусно расписанной и разграфленной картой. Вглядишься — и откроется огромная, нескончаемая глубина, в которую кинута вся эта мерцающая звездная сеть. Она уходила в великую неизвестность, еще не исчерпанную человеком, не открытую человеческим умом.

Небо звало к деятельности, а не к покою, как все неизвестное и неизученное зовет человека к действию, будит воображение и распахивает безграничные просторы душе.

Великая неизвестность жила вокруг, и Шерстнев, оставшись один под этим звездным небом, чуял эту неизвестность, как очарование и смысл жизни. Только то, что еще неизвестно, привлекало его, — так думал он сейчас. Именно так. Потому что все неизвестное человек должен сделать и сделает известным. Он готов чертить контуры будущего, создавать чертеж будущей жизни, будущего человека. Какой-нибудь мост или кран — это деталь, только деталь в общей картине, но он будет счастлив, если хоть эта малюсенькая деталь удастся ему. Он — не гений. Он не может охватить все своим бедным умом, немощь которого он познавал достаточно часто. Но он живет в гениальное время, на его глазах изменившее облик его родной страны, и он несет в себе черты этого времени и гордится ими.

В то же время мысли его приобретали плотность, вес, объем, в мозгу перемещались конструкции, возникали и рушились. Шерстнев глядел в небо. Это было небо его

юности, которое еще в школе мучило, волновало и звало его, которым он наслаждался, как простором необозримой деятельности, еще только предстоящей, как увлекательной, все обещавшей, но еще недочитанной книгой.

Всякое открытие в основе своей удивительно просто. Даже смешны мучения, когда колумбово яйцо уже стоит на столе. Надо только догадаться, только догадаться...

VI

Трегуб работал в полную меру своих возможностей, и труд доставлял ему громадное удовлетворение. Он вообще был доволен своей жизнью.

Было у него огорчение в молодые годы. Без семьи — что за человек? А к двадцати девяти годам он все еще ходил неженатый. Одна скажет «да», а потом смеется над ним с другим парнем. Другая как будто полюбит, а потом вдруг отбросит да еще обидит на прощанье. Третья просто с первой же встречи оттолкнет со всей резкостью, какая бывает у женщины, которая не любит и знает, что и не полюбит никогда.

Он стал бояться женщин. Что-то в нем, видимо, есть непривлекательное, неприятное, чего он в себе не знал. Или девушки попадались всё не те?

Так было до Анюты. Это он прямо клад нашел в паровозном депо, в замасленной спецовке.

Как она обратила к нему свое испачканное, измазанное личико, так у него сердце и перевернулось на всю жизнь. Она утверждала, что и с ее сердцем случилось так с первого же тогдашнего на него взгляда.

Вот он подошел к паровозу, а она возится у колеса, свернувшись в комочек. «Ты, парень, поскорей», — сказал он грубовато, подойдя и встав над этим синим замасленным клубком. И тут она повернула к нему свое востроносое личико и победила в тот же миг. Так он и остался стоять над ней неподвижно. Может быть, минута прошла, прежде чем он, наконец, высказался. «Так ты, оказывается, не парень, а девка», — промолвил он. А она засмеялась и снова принялась за работу. Он уже и торопить не мог и сойти с места не мог. Дальше — и объясняться особо не пришлось. Так они друг другу с первого

взгляда обрадовались, словно старые товарищи, век не видавшись, встретились наконец.

«И за что ты меня полюбил? — удивлялась иногда Анюта. — Такая я была вся грязная, еле отмылась после работы, вся маслом пропахла. Вот дурачок». Но он ее полюбил. Глаза-то у нее были чистые. «Ты — однолюб, — говорила иной раз Анюта, — не во мне тут дело, а в тебе, в твоем характере. Я про таких в книгах читала». Она много читала книжек, самых разных, она была развитее его — он признавал это с гордостью. И она всегда так хорошо занимает гостей и так любит, чтобы командировочные обязательно останавливались у них.

Трегубу было приятно, что московские инженеры гостят у него. Умные, знающие люди. Анюте — интересно, и ему — польза. Анюта всегда внушала ему, что нужно быть культурным и образованным.

Так — или приблизительно так — мелькало на дежурстве в голове Трегуба. Было часа четыре утра, и рассвет уже вернул всю пестроту красок разноцветным клумбам перед станцией, когда рокот множества самолетов прозвенел в воздухе. Сначала Трегуб не обратил на это внимания — «наши летят». Но тотчас же удивился: слишком много, да и летят с запада на восток. С чего бы это?

И вдруг грохнуло где-то вблизи. Да нет, просто же вот тут, в окно видать, какой фонтан земли, дерева и огня выплеснулся метрах в сорока от станции. Здание станции дрогнуло. Что за черт!

Трегуб побежал к окну, еще держа в руках карандаш, которым он чертил линию по графику. А за окном уже бесновались кроваво-черные вихри, сметая зеленый поселок.

— Диспетчер! Диспетчер!

Это хрипло и натруженно звал рупор на столе.

Трегуб вернулся к столу:

— Я диспетчер.

Рупор кричал голосом начальника дороги:

— Фашисты напали на нас. Гоните составы...

Страшный грохот, какой-то хлюпающий звук, словно кто-то плюется и харкает, то ли крик, то ли стон — и ничего больше не слышно, кроме оглушающего грохота, от которого дрожит земля. Не только бомбы, но и артил-

лерийские снаряды рвутся вокруг станции. Дымом застлало поселок. Дым ползет в комнату.

Трегуб выскочил в окно.

Пламя терзало крыши и стены домиков, а снаряды все рвались и рвались, разрушая, поджигая, уничтожая. Да, это были снаряды уже, а не бомбы. Фашистские снаряды, в этом нельзя сомневаться. Что же это такое? А договор? Без предупреждения, без объявления войны, просто так, как ночные разбойники?.. О, если б сюда побольше пушек!..

Трегуб бросился к составу с цистернами, который надо было угнать в первую очередь. Если вспыхнет горючее — то... Трегуб не хотел воображать, что́ будет, если воспламенятся цистерны с горючим. По дороге он крикнул машинисту, бежавшему к паровозу:

— К цистернам!

Тут он споткнулся и чуть не упал.

Он споткнулся о тело начальника станции. Толстенький человек лежал, уткнувшись лицом в землю, неестественно выпятившись и зажав обеими руками живот.

«Анюта, дети...» — мелькнуло в голове и на миг, только на миг показалось, что это он заснул, просто заснул на дежурстве и заслужит за это самый строгий выговор.

В стороне от пути на откосе сидел — почему-то на корточках — дежурный по станции, громадный мужчина непомерной силы. Схватившись за голову, он вскрикивал тоненьким женским голоском:

— Ай, что такое!.. Ай, что такое!..

Трегуб заорал:

— К цистернам! Живо!

Но тот даже не двинулся, не услышав, видимо.

Трегуб подскочил к нему:

— К цистернам! Тебе приказываю, Яков!

Яков поднял на него бессмысленные от ужаса глаза и сказал тоненько:

— Ай, что такое...

От неожиданности и страха он даже голоса лишился.

Трегуб, пригнувшись, наотмашь ударил его по лицу так, что у Якова голова мотнулась набок.

— Вставай! Убью!

Яков вскочил, и Трегуб пнул его в спину кулаком, толкая к составу с цистернами.

Машинист уже подвел паровоз. Он выгнулся из будки и крикнул:

— В порядке будет, Витя!

Трегуб взглянул на него с благодарностью. Он сейчас очень нуждался в поддержке и утешении.

Машинист был старый, на пятнадцать лет старше Трегуба, участник гражданской войны, силач такой, что даже Якова опрокидывал. Лицо его было изрезано суровыми и добрыми морщинами. Брови седыми лохмами висели над светлыми, пристальными, как у моряка, глазами.

Он двинул состав с цистернами на главный путь.

Трегуб пустился обратно к станции, но его остановил Билибин.

Билибин схватил его за плечо и удержал на месте. Большой, мясистый, он возвышался над диспетчером как гора.

— Ваших Витю и Славу я отправил с соседями, с Краюшкиными, с друзьями вашими, — сказал он, и отблески пламени, пожиравшего домики поселка, играли в его выпуклых, неподвижно устремленных на Трегуба глазах.

Он отпустил плечо Трегуба, но теперь Трегуб взял его за локоть, — движение, которого он не позволил бы себе час назад.

— А жену, Анюту с Катей?.. — промолвил он и тотчас же отпустил локоть инженера. Все на миг умерло в нем. Дрожь и холод, как смерть, прошли по его спине, потому что он понял, что сейчас его сразит непоправимая беда.

Билибин вновь взял его за плечо и, все так же прямо глядя ему в глаза, резанул со всей точностью и решительностью хирурга:

— Ваша жена и дочка убиты. Она схватила Катю на руки и побежала к вам. Крикнула: «Витька, Славу возьми!» Она убита с Катей на пути к вам. Витя и Слава — в безопасности.

— О-у-э, — какой-то странный стон вырвался сквозь стиснутые зубы у Трегуба, и лицо его сморщилось, как у ребенка.

Билибин продолжал крепко держать его за плечо, потом вдруг притянул, обнял и поцеловал. Затем отстранил и приказал:

— Возьмите себя в руки.

Трегуб стоял, склонив голову, схватившись пальцами за рукав кителя, облегавшего большое тело инженера. Надо шагнуть через эту пропасть. Шагнуть. Но разве это возможно? Рука инженера все крепче сжимала его плечо.

VII

Ни одной звезды уже не отыщешь в небе, вернувшем себе свой синий цвет, утреннее солнце встало над землей, пробуждая щебет и чириканье в зеленой листве, — а Шерстнев все еще лежал в траве.

Догадка не пришла сегодня. Нет, не пришла. Это немножко похоже на трудные роды. Надо встать и пойти к Леночке. Но он лежал неподвижно, и конструкции продолжали перемещаться в его мозгу. Вот если б Барбашов видел его в таком состоянии, нашел бы над чем посмеяться.

Когда между ним и небом повисла, гудя и сверкая, крылатая громада, он явственно различил черные кресты. Он не шевельнулся, только глаза его перестали мигать. Но когда, отрываясь от самолетов, полетели вниз, как ненужный балласт, первые бомбы и грохот первых разрывов ворвался в утреннюю тишь, тогда он вскочил и пустился к станции. Все, что он думал минуту назад, отошло сразу...

Нестерпимо просвистела бомба, упавшая прямо на домик диспетчера. Дом рухнул, весь занавесившись лохматым, взъерошенным дымом. Шерстнев был еще далеко, но и тут его слегка шатнуло взрывной волной.

Пламя вырвалось из дыма, пожирая остатки вчерашнего благополучия, и Шерстнев так явственно увидел Леночку, словно это она колыхалась там в кроваво-черном облаке, он ощутил ее всем своим телом, он увидел ее всю сразу, она заполонила его и весь мир. Ему даже крик ее почудился, ее отчаянный зов. Широко раскрытыми глазами глядел он на эту внезапную и злую гибель, затем кинулся к пылающим руинам.

Сухой жар опалил его, дым ел глаза и слезы срывались с ресниц, — но он вглядывался, вслушивался, звал. Никого. Ни звука в ответ. Только трещит дерево в огромном костре, сжигавшем вчерашний день.

Он побежал к мосту.

Мост был привычным рабочим местом в его жизни, и он стремился к нему, как к ясности, как к вышке, с которой он оглядит все и все поймет, овладеет собой прежде всего. «Спокойнее, — твердил он себе. — Спокойнее».

Состав с цистернами пятился с запасного пути, платформа за платформой, лязгая и грохоча, выкатывались на главный путь, словно кто великанской рукой перематывал эту цепь громадных, толстых, приземистых сосудов. На краткий миг остановилось быстрое движение, затем паровоз потянул, дернулись платформы, и когда Шерстнев подбежал к железнодорожному полотну, состав уже мчался к мосту. Промелькнула последняя платформа, и два неподвижных человека открылись глазам, как резкий контраст стремительному бегу поезда. Они, как внезапный тормоз, остановили Шерстнева на полном ходу. Это Билибин и Трегуб стояли меж путей. Шерстнев стремглав бросился, почти прыгнул к ним. Быстро глянув на поникшего Трегуба, он крикнул Билибину:

— Что это он?..

Билибин ответил:

— Жену с дочкой убило.

Трегуб продолжал беспомощно держаться за рукав инженера.

Огромная сила сопротивления всякому горю, всякой беде поднялась в Шерстневе. Он обнял Трегуба, как брата, и обратился к Билибину:

— Что же ты его на эти цистерны не посадил? Отправь его — что ж ты стоишь? Не видишь разве, что́ с ним такое?..

Трегуб поднял голову. Кажется, его, как слабого ребенка, хотят услать отсюда? И вся прежняя гордость отличного работника возмутилась в нем. Он отстранился от Шерстнева и сказал:

— Есть приказ начальника дороги угнать составы. Я выполню приказ.

Даже голос его изменился — оловянный какой-то.

И он пошел, держась очень прямо, слишком прямо.

Билибин пояснил, как бы оправдываясь:

— Неизвестно, что он выкинул бы, если б узнал вдруг, случайно... Уж лучше сразу сказать. Уезжая, надо знать, кто остается...

— Куда уезжая? — не понял Шерстнев, глядя вслед Трегубу. — Не рухнет, — добавил он. — Прокомандует.

Трегуб уже распоряжался, выкрикивая приказы новым, недобрым, жестким голосом, и Шерстнев видел и слышал в нем себя, свое горе.

— Елена Васильевна ждет тебя, — продолжал Билибин, и Шерстнев дрогнул, шагнул к нему:

— Леночка?..

И он так тряхнул Билибина, словно вся сила, освобожденная от борьбы с бедой, передалась его рукам.

— Она уже за рекой, — говорил Билибин, невольно шагнув назад.

Шерстнев чувствовал себя легким, почти воздушным.

— Идем! — воскликнул он и заторопился к мосту.

Билибин говорил:

— Остальные женщины и дети уже уехали. — Он не сказал, что это он отправил их. — А Елена Васильевна в дрезине, в тупичке за мостом. Выведем на пути — и до... — Он назвал ближайший крупный железнодорожный узел. — Там начальник дороги, там будут дальнейшие распоряжения...

Белый китель его был зеленым — видно, не раз при близких разрывах Билибин ложился наземь.

— Кто у моста остается? — спросил Шерстнев.

Они спешили к реке, и Шерстнев смотрел на мост, по которому мчались угоняемые прочь составы. Поезда стремились на восток, и мост спасал их.

Фашистские налетчики уже прогудели дальше, а те, кто отбомбился здесь, повернули обратно за новым смертоносным грузом. Артиллерия сузила область обстрела, — огонь сосредоточился в районе поселка и станции.

Билибин говорил:

— У моста команда подрывников. Командир убит, но есть толковый сержант. Ты видел его вчера — Ведерников. Диспетчер угонит составы. Люди все расставлены, нам тут больше нечего делать.

Шерстнев вскрикнул:

— Нечего делать?

Но тотчас же сдержался, заявил кратко:

— Я никуда не уеду.

И остановился.

затраченный на восстановление этого моста, могут пойти на пользу врагу, могут быть нагло украдены фашистами.

Так вот какое дело поручает ему первый час войны — уничтожить построенный им мост. Он простился с Билибиным у первого пролета и пошел к сержанту, оглядывая, как с вышки, зеленые отлогие берега, зеленые, еще не тронутые смертью пространства за рекой.

— Я — майор железнодорожных войск, — сказал он сержанту, — майор запаса и строитель этого моста. Я пришел вам помочь. Ваш командир убит?

Сержант Ведерников солидным голосом пояснял Шерстневу, где и как заложены взрывчатые вещества. Он говорил о возможном разрушении моста рассудительно, детально, лицо его, бурое от ветров и солнца, было замкнуто, только глаза, небольшие и светлые, напряженно и тревожно оглядывали знакомое мостовое хозяйство, обреченное на уничтожение.

Все-таки это было как во сне, — ужели надо, вчера только проверив, сегодня взорвать этот стоивший стольких трудов, измотавший нервы, но все же прочно построенный мост? Да, ему предстоит впервые в жизни разрушить нечто, сделанное его руками, — не какую-нибудь неудачную постройку или старую рухлядь, вроде домишки, где раньше жила Леночка, а превосходный мост, который мог бы еще и больше двенадцати лет прослужить людям. Это было противоестественно — и это называлось войной, отличие которой от прежних с первой же бомбы сразу познал Шерстнев.

— Надо и опоры к черту разбить. Я вам покажу сейчас, куда еще надо заложить...

И когда работа была окончена, он сказал Ведерникову:

— Теперь все тут разлетится вдребезги.

Он произнес эти слова со странным и неожиданным удовлетворением.

У станции появились фигуры людей, быстро перебегавших к реке, пользуясь каждым прикрытием.

— Готовься! — скомандовал сержант, и каждый боец тотчас же занял свое место.

Пограничники, передвигавшиеся от станции, были уже совсем близко. Отстреливаясь, они делали перебежку за перебежкой.

Состав из нескольких паровозов и самых разнообразных вагонов и платформ вырвался с запада и пронесся по мосту, за ним промчался еще один смешанный поезд, где пассажирские и товарные вагоны, платформы — все было спутано, сцеплено, видимо, в величайшей спешке.

У въезда на мост стоял Трегуб с винтовкой и гранатами. До самых руин станции протянулась цепь железнодорожников. Их было немного, но на них можно было положиться.

— Танки, — шепнул Ведерников. Пронзительными глазами своими он первый разглядел идущую по низу тяжелую, изрыгающую огонь машину.

Захлопала из рощи батарея, и танк весь окутался дымом. Потом из дыма вырвалось пламя. Второй танк повернул к роще, за ним третий. Эти чудовища шли быстро, непреклонно, неумолимо. Пограничники залегли метрах в пятидесяти от моста. Четвертый танк, продолжавший свой путь к реке, вдруг вспыхнул, и до моста донесся негромкий звук.

— Гранатой... пограничник... — шепнул Ведерников. Он был в крайнем напряжении и все поглядывал на Шерстнева. Уже не минуты, а секунды отсчитывал мозг Шерстнева. Все было отброшено, все забыто, — надо только точно определить миг, когда мост должен взлететь на воздух.

Глядя на страшилищ, бездушно шедших уничтожать, истреблять, сокрушать все живое, все любимое, Шерстнев вспомнил вдруг детские страхи. Но это чувство мелькнуло и пропало тотчас же.

Зенитная батарея била по танкам почти в упор. Второй танк горел. Третий повернул назад.

— Мост-то, может, и не взрывать? — промолвил тихо Ведерников, лежавший в прибрежной осоке рядом с Шерстневым, и Шерстнев понял, что сержант только недавно сменил прозодежду техника на военную форму.

Уже не шли больше поезда. От рощицы отделилась и понеслась к шоссейному мосту снявшаяся со своих позиций батарея. Кони мчались по полю, угоняя орудия. Пограничники, пригибаясь, уже переходили мосты. С ними уходили и железнодорожники.

Батарея проскочила через шоссейный мост.

Пламя рвануло по деревянным стропилам, и глухой стук донесся до Шерстнева — работа другой группы подрывников. Сейчас и понтонный мост будет снят саперами. Пограничники уже отошли от железнодорожного моста на необходимую дистанцию.

Шерстнев обратился к Ведерникову:

— Пора.

И тот дал команду...

Мост разорвало с грохотом.

Когда рассеялся дым, Шерстнев подполз к реке.

Пролетные строения были разрушены так, что для использования больше не годились. Металлический и деревянный хлам валялся по откосам берегов, искалеченными, обрубленными концами своими цепляясь за песок и траву. Наметка нового чертежа привычно мелькнула в мозгу инженера. Но никогда не испытанное им чувство, что восстанавливать нельзя, что строительство здесь преступно, поразило его.

Дымились обломки деревянных частей, торчали из не успокоившейся после взрыва реки мертвые куски металла.

Артиллеристы, подкатив орудия, устанавливали их в ближних кустах. Когда они расстреливали танки и оказались сильнее бронированных, могучих, огнедышащих машин, они невольно представлялись Шерстневу какими-то сверхлюдьми, невиданными богатырями. Но это были обыкновенные люди, запыленные, угрюмые, и один крикнул другому:

— Чего уставился? Чего не видал? Ломай сучья, тебе говорят...

Группа железнодорожников залегла на берегу вместе с пограничниками. Шерстнев увидел Трегуба и окликнул его:

— Виктор Николаевич!

Тот обернулся, встал и тотчас же отворотился.

— Виктор Николаевич! — повторил Шерстнев. — Надо уходить.

Лодка качалась у берега на взбудораженных волнах. Это была широкая плоскодонка, сброшенная при взрыве в воду, — то ли корягу, к которой она была привязана, снесло, то ли веревку срезало. Внимание Шерстнева привлекли усилия тощего и длинного железнодорожника, ко-

торый, выгнувшись с берега, зацепил конец веревки крючковатыми своими пальцами. Железнодорожник напрягся изо всех сил, стараясь подтянуть лодку. Веревка натянулась, но тяжелая, нагруженная какими-то сундучками лодка не поддавалась.

Враг еще не обстреливал этот берег. Но первая же пуля снимет этого упрямца. Когда Шерстнев сбежал на помощь ему, веревка уже надорвалась. Он схватил валявшийся рядом багор и сунул его длиннорукому железнодорожнику:

— А ну-ка!

Сам он удерживал железнодорожника, ногой и рукой зацепившись за свежую пахучую иву.

Общими усилиями они подтащили лодку.

Железнодорожник стал выгружать сундучки.

— Пронесем, — проговорил он. — Зачем добро бросать? Специально перевезли.

Шерстнев поднял багор.

Странным образом этот багор вернул его на миг в сегодняшнюю звездную ночь, последнюю мирную, предвоенную ночь.

Но это длилось только секунду или две. Затем он отшвырнул от себя багор и обратился к Трегубу:

— Виктор Николаевич, вы обязаны привести своих работников на узел!

Трегуб поднял голову, и Шерстнева ожгло отчаянием и яростью его взгляда. Шерстнев подошел к нему, обнял, как брата, промолвил тихо, очень убедительно:

— Идем, идем, дорогóй...

Они двинулись по шоссе, — подрывники, железнодорожники, инженер, они шагали в пыли молчаливо и угрюмо.

В километре от моста, на повороте шоссе, они увидели грузовик, вокруг которого бегал какой-то огромный человек в потрепанном, испачканном пиджаке и полосатых брюках, неряшливо выпущенных поверх высоких сапог. Одна штанина задралась выше колен. Трегуб метнул на него взгляд и узнал Якова, дежурного по станции, — тот сменил свою железнодорожную форму на штатский костюм.

Замахнувшись винтовкой, Трегуб кинулся к нему.

— Сволочь! — заорал он. — Ага!..

Шерстнев удержал его.

Яков, всхлипывая, бормотал тонким голосом:

— Танки ж... танки ж кругом... Убивают...

И, отчаявшись сдвинуть машину, вдруг полез под нее.

Один из бойцов засмеялся.

Было так странно услышать сейчас человеческий смех. Но это был недобрый, угрожающий смех, и к нему присоединились все, даже серьезный Ведерников раскрыл рот в недобром оскале.

Якова вытащили из-под грузовика, и он стоял в кругу бывших своих товарищей, озираясь и бормоча:

— Убить могуть... Не хочу я... Ай, что такое...

И вдруг он кинулся к Трегубу. Он вопил плачущим голосом:

— Это ты все!.. Состав сцеплять заставил!.. Составы гнал!.. Зачем гнал? Что теперь немцу скажем? Какое нам оправдание?..

И тонкий голос Якова оборвался. Яков как бы задохся пулей, пущенной в него Трегубом. Выпучив глаза, в которых остановилось выражение смертного ужаса, он рухнул наземь.

— Наша машина, —сказал Трегуб, сунув наган в карман и перехватив винтовку из левой обратно в правую руку. Он немножко как бы успокоился, застрелив мерзавца. — Эта падаль, видно, и угнала. Только вот в канаву заехал, торопился... А ну-ка, братцы...

Дальше они двинулись на машине. Правил Шерстнев.

Трегуб, уместившись возле него, промолвил:

— Анюту с Катей убило.

Он проговорил эти слова ровным, мертвым голосом. Но лицо его дернулось в судороге.

Все сливалось в одну страшную, мучительную боль. Эту боль надо передать врагу, умножив во сто крат. Больше ничего не занимало Шерстнева, он был весь сосредоточен в этом чувстве. Он только тронул руку Трегуба, погладил ее. Странный стон опять вырвался сквозь стиснутые зубы диспетчера.

Шерстнев то и дело тормозил, сворачивал, заезжал на обочину шоссе, пропуская идущие навстречу орудия. танки, пехоту. Это были передовые части, рванувшиеся навстречу боям, и зарево пожаров, зажженных врагом, торопило их.

— Я на бронепоезд пойду, — сказал Трегуб, и скупыми строчками отцовских писем, писем девятнадцатого года, полыхнуло на Шерстнева от этих слов.

Город вдруг возник впереди, чуть только кончился лес. Веселые домишки в зелени и вишневых садах побежали навстречу. Они были жалостно освещены вечерним светом. Шерстнев удивился, что уже вечер...

Зелень поредела. Каменные здания встали, как часовые, над мирной толпой укутанных зеленой порослью строений. Разноязычный, встревоженный говор колыхался и трепетал по улицам, и когда Шерстнев остановил машину у красного кирпичного здания железнодорожного управления, сразу же стеснились вокруг люди, хватая за локти, за плечи, не пропуская к подъезду:

— Кто там?.. Где фашисты?.. Много их?..

VIII

Война сразу вошла в душу, и навстречу ей поднялось все самое затаенное, сбереженное, неизрасходованное. Леночка не вскрикивала, не всплескивала руками, только все сжалось и напряглось в ней. Она как бы не поняла, что вот тут, где забрызганы кровью края воронки, убита Анюта, женщина, с которой она вчера еще так мирно болтала, и эта смешная круглоглазая девочка. Вот сейчас, в дыму и пламени, в громе и лязге, придет решение судьбы. Где Коля? Где он?..

Она осталась одна в вагонетке дрезины, и реальность медленно возвращалась к ней. Она не хотела знать ее, она отталкивала весь этот ужас, как ребенок, ей хотелось убежать во вчерашний день, когда все было так хорошо, но события неумолимо тащили, волокли ее. Она не могла сдержать дрожи, все трепетало в ней, ей стало холодно, почему-то заныли плечи, как в ревматизме. Необычайным храбрецом показался ей какой-то огромный мужчина, который вот там, под откосом, вскочил в кабину грузовика и погнал к шоссе. Он способен двигаться, действовать... Ему что-то кричал вслед и даже побежал за машиной человек в короткой засаленной куртке. И вдруг упал. Земля вскинулась близ него — и он упал. Упал и не поднимался больше. Она, не мигая, глядела на

него, она ждала — почему он не подымется на ноги? И вдруг взвизгнуло за спиной, зазвенело стекло и стукнуло что-то в стенку, словно озорник камнем бросил. Она обернулась — черный фонтан оседал, расплывался, серел.

Она кинулась на пол, забрызганный стеклом, и, охватив голову руками, лежала там. Да, на ее глазах осколком снаряда убило человека, а осколок другого снаряда чуть не убил ее. Она лежала на полу и ни о чем не думала, ничего не воображала. Страх заполонил ее всю, не оставив места никакому другому чувству.

Тихо стало вокруг, тяжкий, раскатывающийся грохот разрывов отдалился от дрезины, а она все лежала еще, закрыв лицо руками.

Но вот в какой-то клеточке мозга возродилась жизнь, пошла расти и шириться, заставила сесть, потом встать. И, наконец, возник стыд. Она — трусиха, она опозорена навеки.

Жизнь с двойной силой вернулась к ней, и мозг уже заработал, придумывая оправдания. Что́, собственно, она совершила позорного? Она легла на пол — но так приказал ей поступить Билибин, если снаряд грохнет вблизи. Она ведь не убежала, не угнала машину, как тот, кто умчался к шоссе. Она осталась на том месте, на котором оставил ее Билибин. Нет, ничего постыдного не случилось. В конце концов, это же первое — и притом такое внезапное — боевое крещение. Пусть еще раз постреляют — она больше не испугается.

Встав на ноги, она принялась подметать засыпанный битым стеклом пол. Она прибирала тщательно, как у себя дома, взяв какую-то тряпочку, лежавшую у мотора, и намотав ее на непонятную железную палку, стоявшую в углу. Почистив вагонетку, она поставила палку на прежнее место и бросила тряпочку назад — туда, где она была. Она не понимала, что в этих движениях она ищет спасения от новых приступов страха.

«Почему Коли так долго нет?» — подумала она о муже, словно тот просто на службе задержался. Тревога овладела ею. Почему он ушел вчера с диспетчером? Почему сказал, что, может быть, заночует на станции? Он, наверное, что-то подозревал недоброе. Теперь он, наверное, сражается там, откуда доносится глухая кано-

нада. Он, может быть, давно уже упал и лежит, как вот этот человек в засаленной куртке, сраженный случайным осколком. Ужас, рожденный воображением, возвращался к ней...

Голоса послышались за окном, отворилась дверца, и большое тело Билибина влезло в вагонетку. За ним вошел водитель.

— Где он? — спросила Леночка оборвавшимся голосом. Не отвечая, Билибин приказал занявшему свое место водителю:

— Езжайте.

Дрезина, выйдя из тупика, помчалась по рельсам, все ускоряя ход. Вагонетку шатало и мотало, и ветер врывался в разбитое осколком окно, трепал волосы и бил в лицо, и зелень мчалась за окном, и синее небо источало тепло и свет. Все — как тогда, когда они ехали сюда, и все — совершенно другое.

Билибин сидел на скамье, склонив книзу свое грузное тело. Иногда его так встряхивало, что он подпрыгивал, как мешок, а затем вновь глядел себе под ноги, словно груз одолевших его мыслей тянул его голову к земле.

— Где Коля? — вскрикнула в отчаянии Леночка. — Почему вы без него?.. Куда вы меня везете?

Билибин сразу разогнулся быстрым и неожиданно гибким движением.

— Я хочу быть с ним! — требовала Леночка.

— Он уже уехал, — ответил Билибин. — Простите, я даже забыл сказать вам. Он уехал, в безопасности.

— Без меня? Один уехал?

— Было одно срочное поручение. — Билибин запнулся. Он ничего не мог придумать. — Одно поручение, — повторил он, продолжая думать о своем, и вновь голова его склонилась книзу.

Ему было не до Леночки сейчас. Он видел упорного мальчика, выросшего на глухой железнодорожной станции, в семье стрелочника, он видел медленно пробивающего себе путь человека, живущего по графику, вычерченному еще на студенческой скамье. Эта жизнь была отдана работе, она шла вверх и вверх — и вдруг ржавые потеки залили ее, обнаружился изъян, трещина. Жизнь рухнула. Выход был только один — точно и просто сказать всю правду о гибели материалов. Не так это

страшно! Не надо преувеличивать. Но голову его клонило все ниже и ниже.

Леночка тоже молчала.

Она не понимала. Как? Он уехал до нее? Он даже не простился с ней? Он не позаботился о своей жене, бросил ее под таким страшным обстрелом? Он испугался и бежал один, без нее, как тот человек с машиной?.. Это было слишком чудовищно, слишком неправдоподобно, это просто никак не вязалось с ее представлением о нем.

Билибин молчал. Нечего его расспрашивать. Он будет повторять одно и то же. Какое поручение?.. Она доверилась этому маленькому чернявому человеку, она привыкла к нему, а он — кем он оказался?..

IX

Шерстнев по приезде в город прежде всего явился к начальнику дороги. Он вошел быстрым шагом и подчеркнуто официально сказал:

— Разрешите доложить — инженер Шерстнев. Задание по взрыву моста...

Начальник дороги перебил:

— Благодарю вас. Знаю. Есть приказ вам с товарищем Билибиным направиться в Москву. Но вас я немного задержу, я согласовал, потребуется ваша помощь.

Это был старый железнодорожник, суховатый, черноусый, с остриженной ежиком острой головой и острым взглядом узеньких глаз.

Он встал, пожал руку Шерстневу и повторил:

— Благодарю вас.

Подержал руку, не выпуская, и добавил:

— У меня есть донесение. Вы вели себя прекрасно.

Он отпустил руку Шерстнева, продолжая глядеть на него добрым взглядом.

Он сказал:

— На нас, железнодорожников, возложена сейчас громадная ответственность... Прошу вас через час явиться ко мне. Отдохните.

Теперь надо найти Леночку, если она не уехала. Билибин, конечно, знает, где она. Но Шерстнев, обойдя все этажи, нигде не мог выяснить, куда делся Билибин. Ни-

кто не знал инженера Билибина, только секретарша начальника дороги сказала, что он скоро должен быть.

— Ему приказано доставить материалы обследования, он обязательно будет. Я и то удивляюсь. Неужели копии нет, а только один экземпляр?

Шерстнев удивился:

— Копия же есть.

Секретарша ответила:

— А товарищ Билибин сказал, что нету, что он посмотрит, но, кажется, нету.

Шерстнев недоумевал. Что такое случилось с таким всегда точным Билибиным?

Он вышел на вечернюю улицу.

Толпились, бежали, переговаривались люди. Выезжали со дворов телеги и тележки, груженные узлами, чемоданами, мешками. Мужчины наскоро прощались с женщинами. Слышался плач. Где Леночка?

И вдруг Шерстнев увидел крупную фигуру Билибина. Тот нес Леночкин чемодан, а Леночка в своем синем макинтоше шла рядом. Шерстнев бросился к ним:

— Леночка! Леночка!

Они остановились.

— Товарищи! — командовал кто-то позади.— Давайте организованно! Товарищи, которые в военкомат, — организованно!..

У подъезда двухэтажного домика старая женщина плакала, уткнувшись лицом в грудь высоченного парня. Тот уговаривал:

— Не плачь, мамуся. Не плачь, разве можно теперь плакать?..

Шерстнев подбежал к Леночке.

Билибин стоял, нагнув голову, как бык на бойне. Он решил сознаться в своем проступке только в Москве, — здесь никто не знает его и поймут неправильно. Леночкин чемодан тревожил его: женщина платья свои вынесла, а он государственную ценность бросил. В Москве он все объяснит. В конце концов, он подчинен Москве. Так он решил, а теперь Шерстнев может тут же на месте изобличить его.

Леночка тоже не выразила радости при встрече с мужем. Она как-то странно посмотрела на него, по-птичьи, сбоку, и сказала:

— Ты давно тут? Ты едешь с нами?

— Немножко задержусь, — отвечал Шерстнев. — Боялся, что и проститься не удастся. Павел, тебя ждут у начальника дороги, материалов ждут. Что ты напутал, что копии нету? Леночка три копии поснимала.

— Они тут, — очень деловито сказала Леночка. — Я их положила к себе в чемодан.

Глаза Билибина выразили вдруг необычайный восторг.

— Где? Где? — спрашивал он, ставя чемодан на тротуар. Он задыхался.

— Вы приказали мне идти на дрезину, — объясняла Леночка, — ну, я уложилась и пошла. Макинтош я надела на себя, а в чемодан положила все бумаги.

Она говорила с некоторым даже раздражением, не понимая, что́ это такое делается с мужчинами. Она — трусиха, ничего не скажешь, — но почему один мужчина уехал, бросив ее, а другой теперь встал посреди улицы на колени и торопится раскрыть чемодан?

Билибин вынул материалы.

— Вот! — говорил он с непонятным никому восторгом, утратив обычную сдержанность. — Вот! Передай, пожалуйста, — протягивал он Шерстневу. — Я только ее посажу и приду.

— Нет, ты должен ехать, — ответил Шерстнев. — Есть приказ. А меня начальник дороги задержал, он согласовал. Итак — до Москвы. Я очень рад, что ты так спокойна, — обратился он к Леночке. — Павел тебе все передал, где я?

— Все.

И она снова странно, сбоку, взглянула на него.

— Так и знал, что не скроет. Но ладно. Ты не сердись, между прочим, что я даже к дрезине не подбежал. Ни секунды. Война.

И он потер рукой щеку.

— Война. Так все это внезапно. Ждали, а все-таки внезапно. Идите. Павел, посади как следует.

Билибин продолжал пребывать в непонятном восторге.

— Довезу! Довезу! — гудел он, не настаивая больше на том, чтобы явиться к начальнику дороги.

Шерстнев поцеловался с ним, потом с Леночкой. Леночка чуть тронула его щеку губами и прищурилась, как бы ища в нем какой-то разгадки.

— Какое у тебя было поручение? — спросила она.

— Да вот то самое — взорвать мост.

Он один был среди них троих открыт настежь, без тайн, хитростей и подозрений.

— Взорвать мост?

— Ну да, Павел же тебе говорил. Леночка, дорогая, уезжай, у меня душа не на месте. Когда я увидел, что бомба прямо в дом... Нет, не хочу... Уезжай. Тебе-то уж тут совсем делать нечего. Каждую минуту может быть налет, обрыв путей, все что угодно. Словом — уезжай.

Он притянул ее к себе и поцеловал.

— В армию вместе пойдем, — сказал он. — Береги ее, Павел, в дороге.

Он снова поцеловал ее, и она ответила ему уже не так, как в первый раз. Он был таким, каким она привыкла видеть его. Не может быть того, что сказал Билибин. Неправда.

Билибин проявил громадную энергию при посадке, и они оказались в купе проводника. Они вдвоем — и больше никого.

Леночка в упор взглянула на него.

— Где был Коля, когда мы уезжали? — спросила она резко. — Какой мост он взрывал?

Билибин ответил, снимая сапоги, чтобы забраться на верхнюю полку:

— Николай остался взорвать мост, вот тот самый. Я ему приказывал идти вместе со мной, но он не подчинился. Я мог бы подать на него рапорт, но не сделаю этого. Уж такой он есть недисциплинированный. Не переучишь.

— Значит, вы соврали?

Билибин сидел перед ней, увесистый, тяжелый. Недавно белые, штрипки его синих штанов были теперь черны. Он молчал. Он не стал объяснять ей, что так просил Шерстнев, — это было бы жалко и недостойно. К нему вернулись все его прежние свойства. Он совершил ошибку и учтет этот опыт. Больше таких случаев у него не будет.

— Боже мой! — восклицала Леночка, всплескивая руками. — Ну, как вам не стыдно! Как могли вы такое выдумать про Колю? В такой момент!

Билибин отвечал спокойно:

— Вас надо было успокоить. Вас надо было увезти. Понятно?

Она, секретарша, подчиненный ему работник, могла сейчас позволить себе все по отношению к нему — любую брань, любую истерику. Он снова стал справедлив. Она спасла ему репутацию. Неизвестно, как обернулось бы дело с материалами, если б не она. Она не знает, как он благодарен ей и каким великолепным работником считает. Она — лучшая секретарша, он умеет разбираться в людях и правильно расставлять их.

X

В назначенный час Шерстнев явился к начальнику дороги, и тот сказал ему:

— Мы эвакуируем узел. Я просил Москву оставить вас на помощь нашему ремонтному заводу. Есть срочность, и такой специалист, как вы, уж если вы тут оказались, поможет нам. Сроки погрузки вам укажет директор завода, вас проведут к нему.

Директор завода, приземистый, широкий в плечах и груди усач, с любопытством поглядывая на Шерстнева, кратко изложил ему план эвакуации завода, затем добавил:

— У нас есть в ремонте краны, я вас в особенности прошу приглядеть за ними. Крановое хозяйство для вас — свой дом, я знаю ваши работы, хоть сам и не крановик по специальности.

Он и не подозревал о желчных нападках Шерстнева на общепринятые системы, — в печатных своих работах Шерстнев был куда сдержаннее и объективнее, чем в устных рассуждениях.

Рабочие бережно укутывали станки и осторожно устанавливали на платформы. Все эти металлические создания человеческого труда и таланта были любимы ими, как живые существа, и не случайно давали они им веселые человеческие прозвища. Шерстнев и сам всегда испытывал нежность к этим друзьям и помощникам человека. Но сейчас он, как заслуженного добросовестного труженика, уважал и вот этот локомотивный кран, стрелу которого тщательно и любовно укладывали под его присмотром рабочие на вспомогательную двухосную плат-

форму. «Зачем я обижал этого славного старика?» — думал он. Это был больной старик, пострадавший на работе, и Шерстневу хотелось заботливо укутать его.

По главным путям один за другим проходили поезда, перегруженные людьми, лязгало железо, гудки и свистки тревожно резали воздух, а тут, в несуетливом тупичке, перед серым большим корпусом, напряженно работали люди, ставя цехи на колеса.

Стрела локомотивного крана удобно легла на ко́злы, установленные на платформе, и ее окружали канаты, домкраты, ключи и прочее имущество. Шерстнев поглядывал на тросы, и багор мелькнул в его памяти. Для мостовых ферм нужен специальный кран... В сущности, поиски этого специального крана и заслонили в его сознании все достоинства обычных систем. Отирая черные руки тряпкой, подошел мастер. Шерстнев вдруг обратился к нему:

— Нужен кран ограниченного действия — только для мостовых ферм. А для других дел и такой кран хорош.

— Немного ремонту осталось, — не понял мастер. — На новом месте доработаем — хорош будет.

Странно: первым его делом в войне было разрушение отличного моста, построенного им, вторым — спасение кранов, на которые он нападал недавно с такой яростью. Все — наоборот...

Шерстнев уехал вместе с заводом. Пути были загружены шедшими на восток поездами, навстречу которым шли воинские эшелоны. Диспетчерам приходилось трудно, как никогда. Длинный состав с оборудованием завода часто останавливался. На одной из таких остановок Шерстнев вышел из служебного вагона, где ему предоставлено было купе, в шумную толчею перрона. Начальник эшелона говорил какому-то высокому человеку в мягкой шляпе и новеньком макинтоше с чересчур широкими, прямыми плечами:

— Нельзя, гражданин. Поймите, гражданин: это эшелон специального назначения.

Но гражданин ничего не хотел понимать. Он настаивал, горячась:

— Я должен быть в Москве. Неужели вы, инженер, — ведь вы инженер? — не можете поверить писателю? Вот мой документ...

И он совал начальнику эшелона какую-то маленькую черную книжечку. Лицо его, желтое, нездоровое, несколько рыхлое, показалось Шерстневу знакомым. Писатель, нагнувшись, поднял с перрона чемодан и решительно двинулся к вагону.

И тут он увидел Шерстнева.

— Товарищ Шерстнев! — воскликнул он. — Вы меня знаете... — Он назвал свою фамилию. Это был тот самый редактор издательства, который уговаривал Шерстнева написать фантастическую повесть «Мост через Арктику». — Товарищ Шерстнев! — взволнованно говорил он, все еще размахивая своим членским билетом. — Меня не пускают в этот поезд. Я тут был в творческой командировке, мне нужно вернуться в Москву... Я ни в один поезд не могу попасть...

Шерстнев обратился к начальнику эшелона:

— Разрешите посадить товарища писателя ко мне в купе, я знаю товарища...

Начальник эшелона пожал плечами:

— Если вы гарантируете, пожалуйста.

И отвернулся.

Шерстнев увел писателя к себе.

Поезд уже тронулся, а писатель все еще волновался, доказывая, что никакого вреда оборудованию завода он причинить не может, что это прямо нонсенс.

— Нонсенс! — восклицал он. — Абсурд! Я ему документ показываю, членскую книжку, а он как уперся!..

Это был, видимо, очень нервный человек.

Наконец он успокоился немного и вспомнил, что надо поблагодарить Шерстнева. Он стал благодарить его так горячо, что тот перебил:

— Писали здесь?

Писатель махнул рукой.

— Все отложу. Сразу теперь пойду в газету, на радио... А вы? Я вот завидую инженерам, у вас такое ясное дело в руках...

Шерстнев усмехнулся.

— Ну, это вы, между прочим, перехваливаете нас. Какая там ясность, что вы!.. Но вы, наверное, устали, займите верхнюю полку, ехать будем долго. Состав направлен не в Москву, но по дороге пересядем.

Писатель взобрался на верхнюю полку, растянулся там и только закрыл глаза, как поезд остановился, словно это он затормозил его.

Когда он проснулся, Шерстнев сидел у окошка и что-то в полумраке записывал и чертил.

— Где мы? — спросил писатель.

— Все там же, — ответил Шерстнев, не подымая головы, — там же, где вы заснули.

— Что вы говорите! — удивился писатель.

— Не волнуйтесь, — отозвался Шерстнев (с нервными людьми он всегда был удивительно хладнокровен). — Движением мы с вами не ведаем, ускорить все равно не можем. Только вот темно писать, света нет.

— А что вы пишете?

При этом писатель тяжело спрыгнул вниз и сел рядом с Шерстневым.

— Кран, — ответил Шерстнев, — подъемный кран.

Глаза его глядели сердито и обиженно.

— Как? Уже не мосты?

— Кран имеет самое непосредственное отношение к мостам, — ответил Шерстнев.

Писатель спросил:

— А как это?.. Сейчас ведь все только для войны... Вы знаете, все-таки сознание отказывается понимать...

— Без крана вы мост не построите, — перебил Шерстнев, думая о своем. — Кран поднимает и ставит мостовые фермы на опоры. Это тот силач, который помогает нам поднимать такие тяжести, которых ни один человек с места не сдвинет. Но этот силач еще очень неуклюж и неловок, надо этого растяпу обровнять, развить его мускулы, сделать так, чтобы работал он легко и просто.

— Вы хотите создавать гигантов? — сказал писатель.

Но Шерстнев не очень склонен был сейчас к фантастическим образам. Он ответил:

— Фантазировать о мосте через Арктику или о чем-нибудь таком легче, чем сочинить подходящий кран. В условиях войны железнодорожный мост получает огромное значение для переброски войск, снабжения фронта и так далее. Сейчас пришлось нам кое-что разрушить, затем фашисты, отходя, будут уничтожать... Нам

необходимо иметь все для быстрого и хорошего восстановления мостов при наступательных операциях; кран нужен, как хлеб.

Эти слова «при наступательных операциях», произнесенные спокойно и уверенно, внушили писателю большое уважение к собеседнику.

— Кран нужен, как хлеб, — повторил Шерстнев. — Вы видели, конечно, краны?

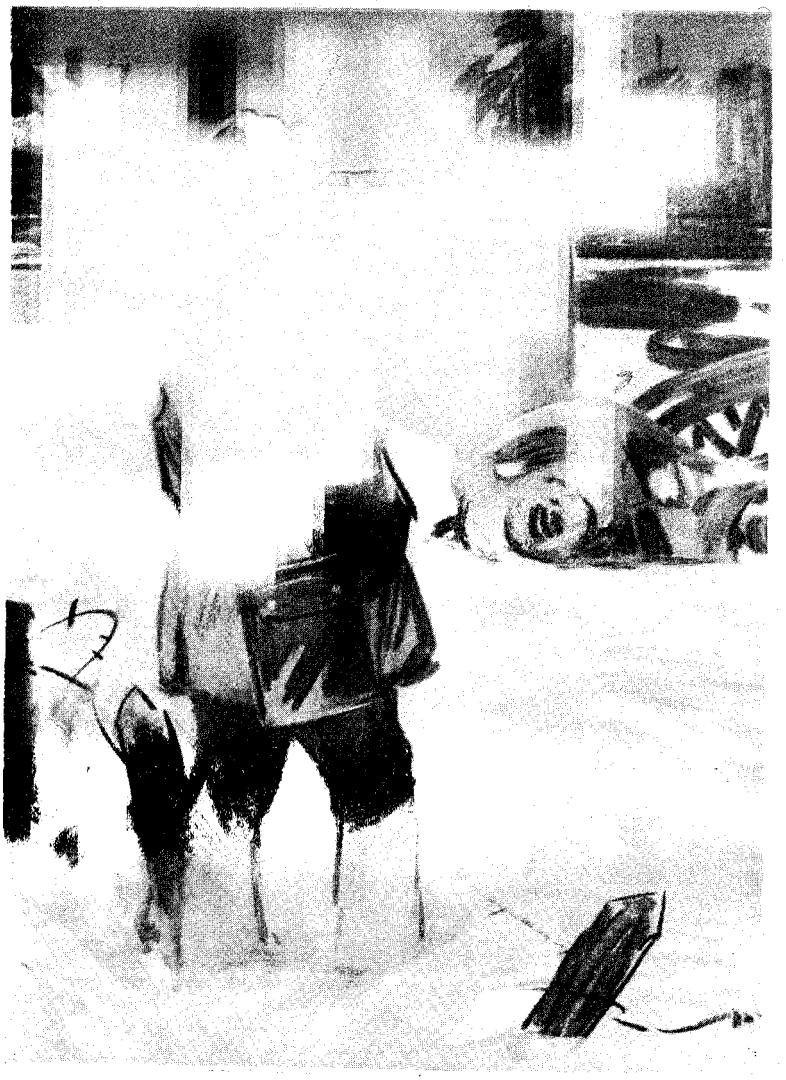
Писатель запнулся:

— Да... Это — в порту? Лебедки, такая штука... веревки, на которых груз...

— Веревки? — усмехнулся Шерстнев. — Вы говорите о тросах... Веревки... — Эта ошибка была почему-то интересна ему. — Веревки, — повторил он и оживился. — Вот вы поймите, что я ищу. Я технику отброшу, ее быстро не разъяснишь, хотя она, между прочим, очень проста. Я постараюсь говорить результативно. Возьмем локомотивный кран. Я вам начерчу его. Эта самая «штука», как вы выразились, называется у нас стрелой. Вот опоры... впрочем, все равно ничего не видно. Словом, стрела несет на тросах пролетное строение для установки на опоры, и вылет ее для успешной работы должен быть равен по крайней мере половине длины этого пролетного строения; зазор не будем считать. Но при таком вылете должен быть точный расчет, чтобы кран не опрокинулся. Вот вам и затруднение. Максимальный вылет стрелы у локомотивного крана грузоподъемностью в семьдесят пять тонн только девять и пять десятых метра, это мало. Вот вам в грубых чертах первый недостаток и локомотивного и других кранов — недостаточная мощность, полезный вылет стрелы мал. Второе — громоздкость, сложность самой конструкции, установки ее, третье — чрезвычайная сложность манипуляций... Вот и мучаешься. В помощь идут все печатные работы, весь практический опыт, все что-то впитываешь в себя: вот человек интересно разогнулся или багор лучше веревки подтянул тяжесть. У меня в записной книжке разные заметки, записал однажды «консоль фермы», а потом никак не соображу, для чего записал? Что такое привиделось?...

Писатель закивал головой:

— У меня в блокноте тоже есть такая запись — «длинный нос». Какой-то сюжет мелькнул, связался с этим



К стр. 306

длинным носом, а какой — так потом и не вспомнил. Это бывает.

Шерстнев продолжал:

— А вы говорите: ясное дело. Между прочим, консоль фермы похожа немножко на длинный нос. — Он помолчал. — Наверное, тысячу раз я видел в действии этот свой секрет, но надо отличить его, выделить его, применить к действию. Я верю в колумбово яйцо и в яблоко Ньютона... А вы говорите: ясное дело... Ясное дело —восстановление по старинке...

Писатель сказал:

— Значит, у вас так же, как и в нашем деле? Я, конечно, мало что смыслю в механике. Но вот что иногда приходит мне в голову. Мне думается, что человеческое воображение — самая мощная сила в мире. Если превратить его в энергию, материализовать создания человеческого воображения, то черт его знает что получилось бы, вся ваша механика полетела бы к черту.

— Мое воображение скромнее, — отозвался Шерстнев. — Я — инженер, практик, мое воображение направлено на разгадку законов природы, на применение их в конструкции, потому пойду сейчас в армию, в прорабы, фронтовая работа лучше подскажет решение, чем в кабинетах. Да все равно — не смогу я сейчас усидеть в кабинете...

— Что это такое? — воскликнул вдруг писатель.

Голубовато-зеленое, мертвенное сияние вырвало из мрака за окном вагоны поезда, стоявшего на соседнем пути. Фантастическим светом засветилось небо. Тревожно кричали гудки.

— Осветительные ракеты, — сказал Шерстнев. — Простите, я должен вас покинуть, обязанности... Вы никуда не выходите, держитесь с проводником... — Он потер щеку рукой. — К сожалению, предохранить вас не могу ни от чего, налет есть налет.

И он ушел.

Вернулся он только тогда, когда стих рокот вражеских моторов и грохот разрывов. Пламя зажженных врагом пристанционных строений полыхало в небе. Писатель неподвижно стоял у окна. Он резко обернулся к Шерстневу.

— Страшно было? — спросил Шерстнев.

— Мерзавцы! — ответил писатель. — Как они ворвались в нашу жизнь! Они ворвались, как эти бомбы в наш разговор...

— В нашем эшелоне трое убитых, одиннадцать раненых, — отозвался Шерстнев. — Ребенок один убит... — Он промолвил тихо: — Первый раз в жизни я досадую, что делаю мосты, а не пушки, не автоматы, не бомбы и снаряды!..

Леночка ждала его около двух недель, не имея о нем никаких вестей. Она усиленно работала, и никто на службе не мог бы заметить ее волнения. Билибин, увесистый и солидный, как всегда, продиктовал ей свой отчет. В этом отчете было уделено место и ей. Билибин аттестовал ее как отличную работницу, особо указав на то, что она не растерялась в самый опасный момент и не бросила доверенных ей бумаг. Он продиктовал эту аттестацию с очень значительным видом; он и по дороге в Москву оказывал ей чрезвычайное уважение, даже и не пытаясь брать, как раньше бывало, игривый тон. Ей была приятна эта похвала, — она доставит удовольствие Коле. Теперь в каждой мысли ее присутствовал муж, он был всегда с ней, что́ бы она ни делала, о чем бы ни думала. Это было удивительное ощущение. Она просто не понимала, как это она могла жить раньше без него.

А он все не приезжал, не возвращался. Как там, в вагонетке дрезины, она гнала от себя страх за него, радуясь всякой работе, всякой нагрузке. Однажды вечером она взяла с полки роман отца «Покой». Это был очень плохой роман, но в нем нашлась фраза, которая вдруг поразила ее. Эта фраза — «счастье в движении, а не в покое». Может быть, ничего нового в этом изречении нет, может быть — даже наверное, — отец взял эти слова из какой-нибудь другой книги, но ей эта фраза открыла очень многое. Ее муж был воплощенным движением, и девчонкой она боялась подчиниться ему, быть увлеченной в некий бурный поток, ее тянуло к покою, а покой был в увесистом нешатком Билибине. «Вот в чем дело», — думала она и не понимала, что́ могло ей хоть на миг понравиться в Билибине.

Глупой девчонкой она мечтала невесть о чем, а когда это невесть что пришло к ней, она испугалась собствен-

ных мечтаний, она попыталась убежать от них. Так она понимала себя сейчас, потому что влюбилась в своего мужа. Отец нашел счастье в самообмане, он воображал себя гением, как и она до брака воображала себя сокровищем, но отец одной фразой все же помог ей. «Счастье в движении, а не в покое...»

Он вернулся вечером, когда она уже была дома. Отворив дверь и увидев его, она взвизгнула, как девчонка, и прижалась к нему. Все для нее исчезло в этот миг, ее самой не стало, был только он...

Кто сказал, что она не любила его? Она всегда любила его. Только его. Это очень странно и очень хорошо — любить другого человека больше, чем самое себя, гораздо больше!..

В этот вечер он позвонил только Левину, тому самому рыжему инженеру, который всегда верил в него. Больше никому он не сообщил о своем приезде. Все было отложено на завтра.

Утром, когда Шерстнев и Леночка уже позавтракали и собирались на работу, явился Левин. Они пошли вместе. Левин рассказывал о группе конструкторов, которой специально поручается разработка самых насущных военных проблем, также, конечно, и проблемы крана.

— Ясно, что вы в этой группе, — сообщил он.

Шерстнев ответил решительно и точно:

— Я иду в армию. Фронт мне все подскажет.

Леночка отозвалась живо:

— Я — тоже. Не спорь, — обернулась она к мужу. — Ты сам мне сказал при прощании, помнишь?..

Так, шагая по улицам Москвы, они в простом разговоре решали свою судьбу. Левин знал, что спорить с этим человеком бесполезно.

— Его не переубедишь, — объяснял он товарищам по отделу. — Раз он решил — значит, так уж и сделает.

Барбашов заметил:

— Что ж. Шерстнев — прекрасный производитель работ, он может стать способным командиром железнодорожного батальона. Попадет на свое место. Война вообще все проясняет.

В этих словах ничего недоброжелательного как будто не заключалось, но Левин возразил:

— Мы услышим еще о Шерстневе не только как о производителе работ. А командовать батальоном — это большое дело. Ни я, ни вы не способны к этому.

Он обратился к Билибину:

— Вот вы, специалист по организационным делам, вы смогли бы?

Билибин промолчал. Его снедало беспокойство. По неуловимым признакам, ему одному заметным, он чувствовал, что в организационной перестройке, происходившей во всех отделах наркомата, его откидывает куда-то в сторону. Он неудержимо скатывался к скромной роли работника технического контроля, он переставал быть главным среди товарищей. Судьба Шерстнева не заботила его сейчас.

Шерстнев был назначен в технический отдел железнодорожной бригады, отправлявшейся на Западный фронт.

В августе Леночка тоже получила, наконец, назначение в армию — в штаб той же железнодорожной бригады, где был ее муж. Провожая ее, Левин говорил:

— Удивительные письма получаю я от Николая Николаевича. Чем сильнее бедствия, чем горше нам, тем сильнее он верит в будущее. Удивительно бодрые письма. У него есть в последнем письме такая фраза: «Разрушая, я в мыслях своих восстанавливаю...» Вы передайте ему, пожалуйста, вот эти мои замечания по поводу его последних соображений, здесь я даю ему некоторые выписки, может быть пригодятся.

Когда Леночка прибыла в штаб бригады, она уже не нашла мужа в техническом отделе. Шерстнев добился все-таки назначения командиром батальона.

XI

Машина мчала Шерстнева по лесной дороге, подбрасывая на ухабах.

Даже на большом ходу Шерстнев замечал по сторонам грибы. Грибов было множество, их хватило бы, должно быть, на колонну грузовиков, — никто не собирал их той осенью.

Уже издали Шерстнев увидал, вернее, угадал мост.

Военная обстановка сложилась так, что мост этот стал фронту совершенно необходим. К нему выслали зенитную батарею, к нему кинут железнодорожный батальон. Надо во что бы то ни стало отстоять железнодорожную связь с фронтом.

Берега речки поросли лесом, — значит, заготовка материала в случае чего могла быть произведена тут же, транспорт для подвозки не нужен. Лес — подходящий...

Все это Шерстнев соображал, подходя к короткому мосту, висевшему над глубоким провалом узенькой быстрой реки.

Командир батальона, шедший ему навстречу, был немолодой человек, лет под сорок, высокий, плечистый. Он шел к Шерстневу при полной амуниции, но вся эта боевая оснастка нескладно топорщилась на нем, как бы нацепленная наспех, без понимания, для чего все это приспособлено. Лицо у него было толстое, с отвислыми щеками добродушного жителя хорошо меблированной квартиры. Он неловко поднес руку к козырьку и, улыбкой как бы извиняясь за этот жест, начал:

— Товарищ... — он запнулся, не зная, как назвать Шерстнева, и приглядываясь к петличкам.

Шерстнев перебил его:

— Что дал осмотр моста?

— Попаданий не было, — ответил командир, — поблизости падали бомбы...

Шерстнев, почти не замедляя шаг, шел к мосту. Взбираясь на насыпь, он перебил запыхавшегося толстяка:

— Вы, капитан, я вижу, не потрудились осмотреть мост? За это вам обеспечена благодарность! Вам надлежит сдать мне командование батальоном!

Бешенство овладело им. Он так стал простукивать мост, словно это был великий преступник. Но мост был хорош.

Шерстнев обследовал береговые устои, затем вернулся к пролету.

— Глядите, — обратился он к капитану. — Это что, строили так, что ли?..

Капитан молча разглядывал явственные следы осколков на раскосах фермы.

— Работка, между прочим...

И лицо Шерстнева дернулось как в тике.

— Но, товарищ майор, — обиделся капитан, — это несущественные повреждения. Мы все готовы к бою... Враг наседает, мы с оружием в руках...

— Ваш бой тут, у моста, — перебил Шерстнев. — Заготовлен материал у вас? Лес под рукой, а материал и не начали заготовлять? А камень?..

Оставив бывшего командира батальона стоять в недоумении и некотором испуге, Шерстнев пошел к бойцам. По лицам их, хмурым и напряженным, он чувствовал, как они томятся в бездействии, как страх ищет в этом безделье щели, чтобы проникнуть в сердца.

— Воздух! — крикнул наблюдатель.

Все разом взглянули на небо, кое-кто полез в прибрежные кусты.

Капитан остался стоять.

— Все время так, — промолвил он, разводя руками, словно виноват был в этом беспорядке. — Я уж, знаете, по звуку научился отличать наших.

— Немногому научились, — отрезал Шерстнев, слушая, как шум мотора затихает в отдалении.

Затем он скомандовал:

— Командиры рот — ко мне!

Ротные командиры были очень непохожи друг на друга. Один, щупленький, с торчащими вперед усиками, в короткой черной кожаной куртке, подбежал первый. За ним придвинулся угрюмый, широкоплечий, большого роста командир, в наглухо застегнутой серой шинели, стянутой накрепко поясом. Он словно запакован был в шинель. Затем подошли и остальные — широколицый, коротконогий лейтенант, за ним веселый, очень красивый старший лейтенант. Подошел и комиссар батальона, и командир технической роты...

— Товарищи,— обратился к ним Шерстнев.— Ваш боевой пост — здесь. От этого моста зависит исход боя, который ведут там, впереди, наши товарищи. Через этот мост идут боеприпасы, идет продовольствие, двигаются резервы. Идет питание фронта. Мы должны быть готовы тотчас же исправить всякое причиненное врагом повреждение. Мы не должны быть застигнуты врасплох случайным попаданием бомбы. Не грибы же собирать мы посланы сюда командованием!

На мост, громыхая, медленно въехал бронепоезд. Закованный в броню паровоз легко тянул броневлощадки. Круглые орудийные башни обозначали края каждой платформы.

Шерстнев сказал:

— Вот глядите — вот что такое мост!

Угрюмый командир роты заговорил:

— Я испрашивал разрешения, но товарищ комбат говорит, что обстановка еще неясная, что заготовка запасных частей может врагу достаться...

Шерстнев резко повернулся к бывшему командиру батальона, но отложил объяснение с ним. Он каждой роте дал дело по уже созревшему у него плану. Необходимо тотчас же приступить к заготовке материалов для незамедлительного исправления всех повреждений, которые могут причинить мосту вражеские бомбежки. Это — прежде всего. Но надо предвидеть и самый скверный случай. Надо предвидеть и ту возможность, что врагу удастся прямым попаданием совершенно разрушить мост, так разрушить, что быстро его не восстановишь. Это может случиться — и что тогда делать? Надо найти выход и в этом самом крайнем случае. Прежде всего надо заготовить запасные части для восстановления.

В батальоне Шерстнев нашел все необходимое. Техническая оснастка батальона оказалась превосходной, были все нужные инструменты, был даже подвезен запас металлических прокатных балок. Все было. Не хватало только хорошего командира.

— По работам! — скомандовал Шерстнев.

И повернулся к бывшему командиру. Теперь все накопившееся бешенство должно было обрушиться на этого толстяка. Но тот заговорил первый:

— Товарищ майор, разрешите потом сдать дела. — Он не запинался больше, голос его окреп, и даже вся его амуниция казалась уже не посторонней ему, она как бы сразу пристала к его широкому, плечистому туловищу. — Товарищ майор, — говорил он, — я путеец, не мостовик, надо подумать, что мостовое полотно может быть повреждено, это — чаще всего, рельсы надо иметь. Разрешите мне немедля заняться этим. Тут километрах в двух ненужный отход есть, еще в километре...

Это было неожиданно. Перед Шерстневым стоял другой человек, не тот, что пять минут назад. Он был возвращен к делу, которое умел и любил делать. Он поверил в свои силы.

— Понятно, — отвечал Шерстнев, мгновенно отменив все свои приготовленные грубости. — Правильно. Берите дрезину. Надо — так и мою машину возьмите.

— Машину не нужно. Разрешите только платформу одну там использовать, я знаю, где... Я — быстро...

И он побежал к дрезине.

Уже валились мачтовые сосны под топорами бойцов. Бойцы пилили, цилиндровали. Готовили балки, шпалы, лежневые бревна, стояки. Носили камни для укрепления береговых устоев. Знакомое «раз, два, взяли!» то и дело слышáлось из лесу. И мост, казалось, повеселел. Решетчатый, стоглазый, он успокоенно взирал на работу людей, он обещал выдержать все в награду за дружбу и заботу. Дуги металлической фермы его, повернутые книзу, были как плавники короткой, толстой рыбы, и весь он — как сказочный дельфин, устремленный вперед, несущий людей на своей могучей спине. Теперь этот мост казался удивительно красивым, изящным, и бодро пронизывали его лучи встающего над лесом солнца. Он был весь в сиянии этих лучей.

Два красноармейца показались на том берегу.

Один прихрамывал, у другого рука висела на перевязке.

Оба с интересом глядели на работы.

Шерстнев пошел к раненым.

— Как дела? — спросил он.

Парень, раненный в руку, глядя на строительство, развернувшееся по берегам, прищелкнул языком:

— Плотницкое дело — знакомое. — Он солидно кивнул головой. — А инженер-то грамотный строит?

Вопрос был задан серьезно. Парень был очень молодой и очень серьезный, черные брови его были у переносицы пересечены толстой морщиной, и когда он сдвигал брови, вся кожа собиралась у него здесь в складки.

Шерстнев отвечал так же серьезно:

— Грамотный. Умеет.

Парень помолчал. Потом кивнул на своего спутника, тощего, немолодого, в очках:

— Вышел с ним помогать, провод оборвался. А тут в военно-санитарный сяду. Врач говорит: раздробление кости.

Его спутник заговорил:

— Бронепоезд там. Представляете себе, товарищ майор, вылетел навстречу фашистскому бронепоезду. Отвлек на себя огонь, и уж не знаю, сколько времени длилась эта дуэль. Может быть, час прошел. Только паровоз у фашиста весь окутался белым паром. И пламя показалось. Враги выскочили — и в лес. А наши их прямой наводкой били; по-моему, насколько я мог разглядеть, из вражеской команды мало кто ушел. Потом мы пошли туда, — вот пуля и задела ногу. Царапина. Я сам из учителей; телефонами, радио, телеграфом по любительству занимался.

Комиссар стоял рядом с Шерстневым. Это был высокий, сильный человек, до войны лесовод. До сих пор он досадовал на себя, что не исправил ошибку командира батальона, приказавшего только быть готовыми к бою с врагом как стрелковой части и не принявшему мер по организации восстановительных работ. Рассказ учителя воодушевил его.

— Я сейчас парторгам скажу. Надо оповестить бойцов о подвигах. Пусть знают, как армия бьется. Бронепоезду тут еще ходить и ходить.

— Правильно, — подтвердил Шерстнев. — И надо подчеркнуть значение моста, чтобы народ понимал, как он нужен.

И пожилой лесовод был рад одобрению этого решительного и горячего человека.

Приближающийся гул моторов заставил всех рассредоточиться. Захлопали зенитки. Вражеская авиация, очевидно, специально появилась сейчас, чтобы разбомбить мост.

Самолет снижался и вдруг бросился в пике. Свист, лязг перекрылись близким грохотом, от которого дрогнула земля. На берегу встал столб черного дыма. Мост, окутанный облаком, медленно выходил из дыма, его очертания все резче вычерчивались в воздухе, и комиссар вскрикнул:

— Жив!

Мост был жив.

Но бомбардировщик опять пошел в пике, и на этот раз не только зенитки, но и винтовки бойцов застучали, и трассирующие пули зенитного пулемета пронизали воздух.

Бомбардировщик дрогнул и стал заваливаться. Он рухнул в лес, и фонтан огня, земли и дерева взметнулся кверху...

Шерстнев выбежал на пролет, крикнув по дороге капитану, уже распоряжавшемуся у въезда на мост:

— Делайте полотно!

Осматривая мост, он крикнул:

— Челышев!

Лейтенант в короткой кожаной куртке подскочил к нему.

— Скобы и пятнадцать шпал! Вот тут — видите?

И Шерстнев вернулся к левому береговому устою.

Облицовка устоя была побита, кордон немножко покосился, насыпь полотна могла не выдержать нагрузки.

Надо было предвидеть, что в один из следующих налетов мост может быть надолго выведен из строя. На этот самый крайний случай Шерстнев готовил второй мост, параллельный первому, деревянный объезд. Строительство этого моста Шерстнев поручил угрюмому, запакованному в серую шинель, накрепко перетянутому тяжеловесу. Под командованием этого тяжеловеса бойцы уже рыли котлованы, создавали каменные подушки для крепчайших опор, воздвигали и рамные опоры. Пакетное пролетное строение станет на рамы — и второй мост оживет.

Вечером прошел обратно с фронта бронепоезд. Он почернел, задымился в бою, броня во многих местах носила следы осколков и пуль, одна из бронеплощадок была исковеркана, видимо прямым попаданием. Бойцы с молчаливым почтением провожали его взглядами.

До ночи было еще два налета. Но повреждения исправлялись быстро, и за все время только однажды на полчаса пришлось составам выжидать окончания ремонта.

Завтра должен вступить в строй и второй параллельный мост.

Небо закрылось тучами. Стал накрапывать дождь. Сыростью сквозило от реки. Поднялся туман.

Шерстнев забрался в шалаш на берегу и вызвал к себе капитана. Он повторил приказ о снятии его с командования батальоном и прибавил:

— Теперь, как командир путейской роты, вы должны будете оправдать свое поведение перед командованием. Можете идти.

Район, в котором действовал Шерстнев, представлялся ему сетью мостов, мостиков, труб, искусно раскинутых человеком в лесах и болотах. Вся эта сеть прогибалась под тяжестью военных грузов, проверялась войной. Динамическая нагрузка войны проверяла людей и страну, проверяла и его, Шерстнева. У него тоже возникало иногда новое, никогда не испытанное им чувство некой душевной деформации. Случалось, что при некоторых сводках он как бы заболевал, перехватывало дыхание, замирало сердце, но в этой боли, в этой кажущейся слабости рождались новые силы. Возникала упругость, противостоящая любой самой тяжкой тяжести.

Шерстнев вышел из шалаша.

Небо было застлано тучами. Дождь с шумом хлестал по лесу, гулял ветер, сметая наземь шелестевшие во тьме осенние листья.

Ни одной звезды в небе.

Завтра надо ставить пролетные строения второго моста, ставить по старинке, потому что нет, все еще нет нового крана...

Шерстнев, ежась в своей мокрой шинели, шагал по берегу взад и вперед.

XII

Лена привыкла к походной жизни.

В эти военные месяцы ни разу, при самых срочных заданиях, не случилось, чтобы она выполнила приказ неряшливо или с опозданием. Канцелярия ее всегда была в полном порядке.

Особенно много стало работы к зимнему наступлению.

К концу января штаб переместился еще на десяток километров вперед, в большую деревню. Накануне Леночке приказано было в десять ноль-ноль представить в штаб в точной копии подробное описание участка, обследованного технической разведкой. Она при коптилке

работала всю ночь, разбирая торопливые, неряшливые почерка, сводя записи на разрозненных листках, сшивая перепечатанные страницы.

Рано утром, когда она только что закончила работу и надеялась поспать часика два, дверь хаты внезапно отворилась, и вошел Шерстнев, весь занесенный снегом.

— Ф-фу, — проговорил он, веником счищая снег с валенок. — Ну и морозище!

Он снял шинель, вытряхнул ее в сенях и вернулся.

— Сейчас чай вскипит, — сказала Леночка. Ей уже не хотелось спать.

Он являлся к ней всегда так, словно они только что расстались. Они и в разлуке чувствовали себя всегда вместе, и было у них такое ощущение, что если что случится с кем-нибудь из них, то другой сразу почувствует на расстоянии.

Шерстнев шагал по комнате, половину которой занимала жаркая печь, потом остановился перед женой, расставив свои короткие ноги и руки сунув в карманы ватных штанов.

— Бедствия! — сказал он. — Какие бедствия! Сожжено, взорвано, а люди!..

Он сел к столу, опустив голову на руки.

Они помолчали.

— В штабе мне сказали, что в десять ноль-ноль будет сводка новых данных. В двенадцать мне обратно с ними. Который час?

— Половина восьмого.

— Ладно, — промолвил он, выпив чаю и поев. — Надо, между прочим, быть в форме. — Он потер щеку рукой. — Побриться надо.

Через полчаса он уже спал. Он спал, как ребенок, подложив под щеку маленькую свою ладонь, и лицо у него было измученное, усталое.

Из серии снимков, сделанных в командировке, Леночка особенно выделила и даже взяла с собой на фронт последний, на котором над тремя малышами возвышалась тоненькая мама. Она, изогнувшись, уперлась рукой в бок, востроносенькая, улыбающаяся, довольная.

Лицо Леночки принимало по-мужски жесткое выражение, когда она глядела на эту фотографию. И сейчас,

когда она тихо сидела возле спящего мужа, вспомнился ей тот последний мирный день...

Она глядела на знакомое до мельчайшей черточки лицо мужа. Этот резкий, решительный, иногда просто бешеный мужчина казался ей сейчас простодушным ребенком, которого любой хитрец проведет. Вот оно — ее счастье: этот порывистый, несдержанный фантазер, не умеющий заботиться о себе, вечно занятый разгадками того, что еще неведомо людям. Но разве не в этих вечных разгадках жизнь? В этих разгадках и счастье людей.

И для разгаданного величайшего счастья льется сейчас кровь...

Она тихо сидела возле спящего мужа и с удивлением чувствовала, что нечто переместилось в ее душе: она думала не о счастье прошлого, а о счастье будущего, ощутимом, ясном, простом. Впервые в войну она мечтала о будущем.

Шерстнев спал не больше полутора часов. Открыв глаза, он сразу спустил ноги с печи, встал.

— Ну, я пошел, — твердо сказал он. — В штабе увидимся.

Леночка не успела дойти до штаба, как небо загудело. При частых налетах и обстрелах она узнала теперь, что страха ей не избежать, — все равно холод пройдет по спине, и на миг трудно станет дышать. Она легла наземь, прижав к груди папку с материалами, покрыв ее своим телом, охраняя ее так, словно в ней, в этой папке с бумагами, заключено все счастье будущих времен.

К ночи Шерстнев был уже в городке, из которого только что были выбиты фашисты. Он сошел с машины у какого-то большого сада.

Деревья в саду схвачены лютым морозом, похоже, что белые хрупкие шары надеты на их черные стволы. Каменные дома пронизаны догорающим в стенах пожаром. А наверху, в черном бездонном мраке, мертво и неподвижно сияли звезды.

Жизнь, казалось, остановлена была свирепым холодом и на земле и в небе.

Это была почти нереальность — сверкающая белизна площади, полукруг розовых зданий с прорезями ярко горящих окон, ряды которых казались бесконечными,

падающая к ледяной реке перспектива огибающих сад улиц.

Резкий ветер поднялся снизу, с берегов нерадостной реки, и Шерстнев почти пробежал ничем не защищенное пространство, по которому колючий ветер гулял как хотел.

Он шел к реке.

Еще один мост будет восстановлен, не первый мост наступления под Москвой.

По одним только общим данным о характере местности, о широте реки, о высоте берегов Шерстнев делал обычно предварительный чертеж. Только глянув на рухнувший мост, он мог без особых обследований решить, годится ли что из взорванного или сожженного материала на немедленное использование и, следовательно, на подъем, или же все нужно строить заново. Он уже видел в воображении своем новый мост, соединивший берега, когда определял количество и характер опор и распределял людей по работам.

Разнообразие природы и разнообразие разрушений давало множество вариантов, в которых все же были общие черты. Изобретательский дар Шерстнева действовал тут в строго ограниченных пределах, он был сжат, как некое упругое тело, и обращался в движение, в поиски простоты и точности, в ускорение темпа строительства.

Сейчас, как и всегда при каждом начале работ по восстановлению очередного моста, он напряженно думал об установке пролетных строений. Надвижка здесь не годится, — слишком широка река. Сколько времени займет возня с краном? Опять эта канитель с тросами... В соседнем батальоне из-за неравномерного натяжения случилась недавно беда — перекос пролетного строения. Чуть все к черту не полетело... После этого Шерстнев особенно задумывался над ролью тросов, талей, полиспастов. Все известные Шерстневу, не раз его злившие недостатки разных систем крана мешали теперь, как никогда. И хотя Шерстнев был на отличном счету у командования, он почувствовал сейчас себя преступником. А если он не преступник, то прав был Барбашов: он просто бездарность. Так чувствовать необходимость нового крана и не быть в силах изобрести его может только бездарный человек. Он — средненький, добросовестный

Сухощавый, неулыбающийся, с глазами как точки, он говорил ему:

— Мысль ваша ценна. Сколько времени вам нужно на чертеж новой конструкции?

Шерстнев назвал минимальный срок.

И вот уже не оттащить его от формул и эскизов.

Странно: мысль о жесткой конструкции была не нова для него, он просто не выделял ее среди других соображений как главную, и вдруг она мелькнула молнией, как решение задачи.

Затем он был направлен к специалисту по кранам в Москву.

В холодном здании он нашел комнату, в которой, ежась, сидел тот самый профессор, которому он некогда бросил в лицо грубое слово. Он подумал на миг о том, что впервые показывает новое свое открытие не Билибину, а другому человеку. Куда делся Билибин? Хорошо бы услышать его обычное: «Вот это вещь! Это — точно!»

Но, видно, война и тут все переставила.

Профессор поднял голову, взглянул на него и узнал сразу. В маленьких умных глазах его мелькнуло веселое воспоминание.

Он встал, протянув руки:

— Великий изобретатель? Рад, очень рад. Новый кран?

— Да, — ответил Шерстнев.

— Давайте, давайте. Скорее!

Он взял протянутую Шерстневым папку и, быстро открыв ее и перебирая листы, говорил:

— Ерунда... ерунда... Правильно, что ерунда, хотя очень невежливо, очень. Нельзя так кидаться на старого человека. Можете, бурный человек, просто поспать несколько часов, пока я все это изучу?

Через шесть часов он, попивая горячий чай, говорил сухо, точно, деловито:

— Одобряю. Интересный вариант. Очень интересный. Вас следует немедленно включить в уже работающую группу. Дело в том, что я буду настаивать на вашем откомандировании из армии. Так и знайте. Придется вам расстаться с военными петличками и вернуться к спецодежде. Ваш вариант очень ценен. Может быть — это

не лучшее, но ведь вы будете и дальше совершенствовать, человек вы беспокойный... Я написал свое мнение, вы его прочтете; я заканчиваю его необходимостью освободить вас от вашей прорабской работы, хотя о ней ходят легенды. Но я знаю, что вас отпустят. Уже несколько раз стоял вопрос о вас, а тут вы и сами явились. А теперь извольте ко мне.

Машина мчала их по пустым улицам военной Москвы. Тьма, тишина, мороз.

В шесть часов утра старый профессор разбудил Шерстнева.

В столовой топилась печурка. Было жарко и слегка дымно.

— Нету еще опыта у жены, — шутил профессор. — Дочь — в армии, врачом, а жена у меня — старорежимная, не понимает печурки, богато жила. Изобретите, пожалуйста, что-нибудь такое, чтобы уничтожить холод. Вот попрыскать из пульверизатора — и чтобы сразу стало тепло. Теперь говорите, где ваша очаровательная Елена Васильевна.

На фамилии, имена, отчества у него была подлинно профессорская, математическая память, так же как и на лица.

— Она, как и ваша дочь, в армии. — Шерстнев потер по своей привычке щеку. — В железнодорожных войсках.

— Я, старик, влюбился в нее. Можете не ревновать. Куда мне с молодостью соревноваться? Надо ее вместе с вами откомандировать. Можете ругаться, а жену вы получите, чтоб не загуляли без нее. Она у вас хорошая, ее нельзя обижать.

Шерстнев рассказал ему, как он мучился в поисках простой разгадки, и профессор очень смеялся, когда узнал о том, как хотелось Шерстневу согнуть его.

— А вы бы попросили, я бы хоть раз десять согнулся, я это понимаю, очень понимаю.

Затем он перебил:

— Падающая звезда зимой? А не сочинили? Не воображение? Август, сентябрь — это да, это точно.

Его последнее «точно» напомнило Шерстневу о Билибине, и он спросил:

— Вы, между прочим, не знаете, где Билибин?

— Работает. Но, знаете, потух. Потух. Боюсь, что сиял он чужим огнем. Все вы бросали на него свой отблеск, вот он и сверкал. Но в войне потух. Добросовестно работает, но ответственных постов ему давать нельзя. Завалить может. Для его корпуленции уж очень быстрое стало движение. Изобретения так и сыплются. Вот меня, старика, тоже вытащили, выдвинули, так сказать, на пост. Я — худощавый, разгибаюсь и сгибаюсь. — Он засмеялся. — Не Билибин. А теперь я вам насчет звезд и прочего вот что скажу. Это все так, и я этому верю, я про эту поэзию знаю, что это так. А в основе то, что вы просто хорошо знаете свое ремесло. Я сначала тогда рассердиться хотел, но почувствовал, что в вас не просто самоуверенность невежды, расчет на чистое вдохновение — такие есть, — а знания, опыт. Вы вот и замечательный восстановитель, прораб в сущности, и хороший инженер-производственник — вы не думайте, я о вас выяснял потом, мне интересно стало. В этом основа, на которой растут изобретения. Простите, что я поучаю, я люблю поучать, такая уж у меня старческая обязанность, но, пожалуйста, прошу вас учиться, учиться и учиться.

Отправляясь к месту своего нового назначения, Шерстнев с любовью думал об этом старике, и соседи по самолету не понимали, почему иногда так посмеивается про себя этот небольшого роста мужчина в военной шинели без петличек. А Шерстнев вспоминал Леночкины поучения: «Он тебе отомстит».

На аэродроме его встречали товарищи. Красивый блондин первым подбежал к нему.

— Герою переднего края привет! Наконец-то!

Он, как отличный термометр, показывал всегда температуру отношения к человеку.

Шерстнев почувствовал, что его здесь действительно ждут и любят.

Рыжий Левин, пожав ему руку, говорил:

— Вас очень не хватало здесь. Мы уже знаем: вы с новым краном. Основная идея у нас совпадает с вашей, начальник наш очень ждет вас. Прекрасный товарищ. Вы с ним сдружитесь. Он во многом на вас похож.

Из всей группы работников особенно поразил Шерстнева тихий, неразговорчивый человек, совсем на него не похожий. Этот человек составлял проект крана в Ле-

нинграде, в первые блокадные месяцы. Силы его истощались в голоде и холоде, и он, когда выполнял свой проект, старался не делать лишних движений. Он точно и ясно выразил ту же мысль, что у Шерстнева. Их проекты взаимно дополняли друг друга.

XIII

Движения бойцов и командиров стали особенно четкими, даже щегольскими в своей отчетливости, каждое движение должно было приближать и приближало желанный миг, когда повиснет мост над бурливой и быстрой речкой.

Сложенные в точном и прочном сочетании рамы, как широкоплечие, желтоватые великаны, выросли до необходимого уровня.

Паровоз двинулся, толкая платформу к самому краю железнодорожного пути.

Металлическая стрела, уверенно выдвинувшись, как длинная могучая рука, подхватила ферму с легкостью, с какой человек поднимает щенка за загривок, и потянула вперед и вверх.

Стрела, как живая, осторожно опускала ферму на опоры, и в этом движении виделись нежность и твердость любящей руки. Кран казался умным и добрым отцом фермы.

Когда пошла вперед и вверх вторая ферма, самая длинная и тяжелая, по ней, еще движущейся, пробирался маленький человек в синем комбинезоне.

Казалось — ничего не стóит ему сорваться на камни и бревна с высоты, которая представлялась снизу огромной.

— Кто это? — спросил один из молодых, недавно прибывших командиров.

— Шерстнев, — отвечал, оглянувшись, командир батальона, накрепко запакованный в серую шинель. — Инженер Шерстнев.

Он впервые видел действие нового крана. Он был поражен. Техническое чудо совершалось воочию. Огромная мощность, простота, быстрота — все изумляло его, и он вспоминал ночь у маленькой речушки, когда этот взлетевший сейчас наверх человек совершил такой резкий

перелом в работе батальона. Теперь тяжеловес сам был командиром батальона. Фамилия «Шерстнев» для него говорила очень много.

Когда двинулся первый состав по мосту, Шерстнев уже был в десяти километрах отсюда, и знакомое, тысячу раз виденное зрелище разрушений открылось перед ним с высокого берега.

Часто вспоминалось ему странное, небывалое ощущение, какое испытал он в первый день войны, когда мысль о том, что созидание здесь преступно, потрясла его. Созидание победило. Созидание неудержимо отвоевывало мир.

Командир бригады, толстый полковник, звучным голосом любящего жизнь человека докладывал генералу проект восстановления моста. Срок — полутора суток. При этом полковник взглянул на командира батальона. Тот отозвался одним только словом:

— Точно.

Шерстнев пошел обратно по путям. Новый кран уже не вполне удовлетворял его. Применять его можно было не везде, не всегда, были серьезные недостатки. Конечно, даже маленькое новшество требует громадных усилий, — но ведь неограниченны возможности человека...

В небе — ни одной звезды. Они изгнаны солнцем. Бледно-голубой, лохматый, в разорванных облаках свод скрыл их от взоров. Но оно есть, оно живет, небо его юности, за этим принявшим свою дневную окраску воздухом светят горячие звезды.

Это небо зовет к новому и новому движению, к новым и новым усилиям. Оно обещает необычайные разгадки впереди, в том будущем, которое кровью, мужеством, упорством и огромным талантом народа вырвано у врага.

1945

ЛАВРОВЫ

роман

и скучными, теперь предстали перед ним в ином, романтическом свете. Генеральша с дочерью и кадетиком осталась на даче, словно ничего не произошло. Теперь и она стала вызывать у Бориса неожиданное уважение, особенно когда он сравнивал ее со своей матерью.

Мать Бориса, Клара Андреевна, решила героически, вопреки всем военным опасностям, спасти семью и имущество из Разлива. Ей почему-то казалось, что в Разливе гораздо страшней, чем в городе. Она самолично наняла четыре воза, на которые целый день, с утра до вечера, грузилась большая и малая кладь, вывезенная весной из городской квартиры.

Переезд на дачу всегда был большим несчастьем для Бориса. Он с детства возненавидел все эти тяжелые ненужные вещи, которые, неведомо для чего, сдвигались с места, вывозились на дачу, загораживали там все ходы и выходы, а осенью снова перевозились в город. Это были какие-то табуреты, комоды, ширмы, швабры, корзины, сундуки, а для чего-нибудь путного, вроде, например, ящичка с книгами, места на возах почему-то никогда не оказывалось.

— Довольно мне ваших книг на моем горбу! — кричала мать. — Если я умру — вам же будет хуже.

Теперь Клара Андреевна впервые бросала дачу среди лета. Вещи грузились под ее неусыпным наблюдением, и она громко выражала восхищение своей храбростью, тем, что, не растерявшись, она нашла возы и спасла семью от войны и разоренья. Столь же громко она приказывала сыновьям и прислуге следить за возчиками. По ее убеждению, все возчики были ворами и разбойниками.

— О! — многозначительно произнесла генеральша, когда Борис пришел к ней сообщить, что он уезжает и поэтому прекращает уроки. — Вы испугались войны.

И тогда Борис неожиданно для себя самого ответил ей:

— Я иду добровольцем на фронт.

Он сказал это не подумав, просто для того, чтобы избавить себя от тяжелого стыда за мать, за огромные возы, полные ненужных вещей, чтобы отделить себя от всего этого шумного и постыдного вздора.

— О! — повторила генеральша уже с одобрением. — Я напишу генералу, он возьмет вас в свою бригаду.

разыграв из себя обиженного, он ловко отстранился от всех хлопот переезда.

— Для такой войны нужно только мое хладнокровие, — заметила Клара Андреевна. — Конечно, его нервы уже не выдержали.

Все это было так хорошо знакомо Борису и так давно опротивело ему, что он — опять неожиданно для самого себя — вспомнил случайные слова, сказанные генеральше. «Бежать, бежать, — подумал он. — Может быть, и в самом деле пойти на фронт, в армию, в солдаты?» И он почувствовал внезапную нежность к Николаю Жукову. Его всегда тянуло к таким людям, как Жуков. Их жизнь была для него отчасти даже загадочной и именно поэтому особенно привлекательной. Это была здоровая, нормальная жизнь, не похожая на ту, какой жили Лавровы.

Он подбежал к Жукову и схватил его за руку.

— Вы, наверное, пойдете на фронт? — спросил он.

Тот ничего не ответил, повернулся и пошел прочь. Это было обидно, но понятно: все-таки мать обошлась с ним грубо. Борис догнал его.

— Мама была груба с вами, — сказал он, — простите, я этому не сочувствую.

— А я и не заметил, — отозвался Жуков. Было похоже, что он действительно не слышал окрика Клары Андреевны.

Нет, дружба не получалась. Ну что ж. В конце концов, Борис не станет напрашиваться.

Спускались сумерки, когда возы, наконец, выехали на городское шоссе. Дорога была запружена нескончаемыми дачными обозами.

Конечно, Борису пришлось сопровождать возы в город. Он шел по обочине дороги. Впереди зажигались огни Петербурга. Борис думал: «Бежать, бежать. Куда угодно, хоть на войну, только бежать».

II

В этом городе не было ничего фантастического или призрачного. Санкт-Петербург вешал на Лисьем Носу, хлестал нагайкой на улицах и площадях, сапожищами городовых топтал людей в тюрьмах, командовал ружей-

ными залпами по безоружным толпам. О Медном всаднике можно было забыть. Другой всадник, на широкозадой каменной лошади, встал на Знаменской площади перед Николаевским вокзалом. Не имело никакого значения, что именно Александру III поставлен был этот тяжелый, приземистый памятник. Это был памятник безглазой, как булыжник, силе. Началась война, и в июльских грозах 1914 года, падая на колени перед Зимним дворцом, вместе с околоточным запел «Боже, царя храни» и либеральный журналист. Запылало на Морской улице германское посольство. Но спокойно проехала германскую границу мать русского царя, возвращаясь из Берлина от своих царственных родных.

Новый кнут — война — исхлестал рабочие окраины Санкт-Петербурга. В кандалах и арестантских халатах пошли на каторгу подлинные патриоты. Ложь отравляла жизнь. На гала-вечерах публика в крахмальных манишках и бриллиантах требовала гимнов и предсказывала победу в трехмесячный срок. «Прежде чем весна откроет ложе влажное долин, будет нашими войсками взят заносчивый Берлин...» Люди попроще распевали: «Одеваются дымом края, спаси, господи, люди твоя». Гвардейско-экономическое общество, что помещалось на Конюшенной улице, бойко торговало погонами, аксельбантами, щегольским офицерским обмундированием. Раскупались флаги и флажки всех союзных стран. В пьесе модного драматурга прославлялся бельгийский король. Женщины увлекались маленькими изящными японцами, вдруг появившимися на улицах города в чрезмерном количестве. Иностранцы самых разных мастей съезжались в Санкт-Петербург, как на торжище, и уже погнали русских солдат по Мазурским болотам, чтобы спасти Париж.

Зимним днем 1914 года на углу Конюшенной улицы и Невского проспекта Борис Лавров встретил Николая Жукова, которого не видел с лета. Жуков был уже в солдатской форме. Борис бросился к нему.

— Вот видите, вы пошли в армию, я же говорил. Здравствуйте, вы узнали меня? Борис Лавров... как раз я тут живу, на Конюшенной.

Николай ответил хмуро:

— Помню.

— Я тоже иду на войну. Я подал заявление...

— А чего вам? Отвоюем за вас.

— Почему за меня? За всех. Все же, весь народ...

— В офицеры, значит?

— Нет, я хочу как можно скорее, а в офицеры — это училище, это долго, я хочу сразу, побыстрей, а то вдруг война кончится, и как же тогда? Даже неловко. Меня уже допустили к ускоренному выпуску, в январе. Значит, вы тоже сами пошли?

Николай ответил:

— Иду с маршевой, дали погулять день. — Он посмотрел себе на ноги и усмехнулся: — Сапоги — картонные, развалятся на первом походе. В гвардейском бы купить, да солдатам туда нельзя...

Николай, вынув деньги из кармана, перебирал их в пальцах.

— Почему же нельзя? — удивился Борис. — Как же так?

— Вот что, — не отвечая на вопрос Бориса, сказал Николай, — берите деньги. Купите мне сапоги, сорок первый номер. А я подожду.

Борис взял деньги и посмотрел на солдата с недоумением.

— Пойдемте вместе, — предложил он.

Николай ответил сдержанно:

— Вам сказано — солдатам туда нельзя, магазин офицерский. Понятно? Согласны купить? Или нет? Нет, так отдавайте деньги, найду кого попросить.

— Да нет, я сейчас...

Не прошло и десяти минут, как Борис вынес Николаю новенькие сапоги. Николай тряхнул ими, постучал пальцами по подошвам, поблагодарил, попрощался и пошел. Борис догнал его.

— Николай Дмитриевич, но почему вы... Что у вас случилось? Ведь сейчас такое время, все решительно, весь народ...

Николай остановился, оглядел его с головы до ног.

— Не поймете, — сказал он. — Судьба у нас разная.

И зашагал прочь, уже не оглядываясь.

Борис смотрел ему вслед до тех пор, пока Николай не повернул за угол. «Что с ним такое? Какой-то он все-таки недружелюбный». Но Борис недолго думал о Нико-

лае Жукове. В конце концов, он, как и Жуков, шел на фронт, и ему не терпелось поскорей сдать выпускные экзамены.

Дома его особенно не отговаривали. Мать сказала что-то очень неестественное:

— Как гражданка, я горжусь и отпускаю, но как мать — я испытываю горе.

Брат, как всегда, стал длинно философствовать:

— Боря — обыкновенный, нормальный человек, и это его счастье. По крайней мере он будет просто где-нибудь служить, женится...

В его словах звучало, как всегда, презрение к обыкновенному, нормальному Боре. Сам Юрий считался в семье будущей знаменитостью.

Отец проговорил:

— Значит, ты хочешь на фронт? — И, по обыкновению, повторил: — Хочешь на фронт?

Но тут же на него прикрикнула мать, и он замолчал, как будто в чем-то провинился.

Юрий до сих пор жил на счет родителей, а Борис с четырнадцати лет зарабатывал сам. В прошлом году он получал огромные деньги — тридцать рублей в месяц, да еще обед у кухмистера Ланцуцкого за то, что тянул двух его оболтусов. Деньги он отдавал родителям. Это считалось правильным, естественным, потому что, в отличие от Юрия, Борис был обыкновенным.

Дома Борис не стал рассказывать о встрече с Николаем Жуковым. Он вообще мало о чем рассказывал дома.

Надо поскорей уходить на фронт. Солдатом — так солдатом. Сережа Орлов идет в военное училище. Он уже сейчас нацепил на гимназическую фуражку офицерскую кокарду, ему не терпится. Но шнурки вольноопределяющегося — романтичней. Грушницкий у Лермонтова сразу потерял всякий интерес для княжны Мери, когда надел офицерские погоны... Об экзаменах Борис не беспокоился, как и все другие молодые люди, пожелавшие идти на фронт добровольцами. Ясно, что учителя всем постараются поставить наилучшие отметки. Экзамены будут самые легкие. Только бы скорей...

Прошел трехмесячный срок, назначенный для победы белобилетчиками и тыловиками, а где-то там, где окопы

и землянки, уже случилась беда — шептали, что погибла армия генерала Самсонова, что армия Ренненкампфа бежит из-под Кенигсберга. Эшелоны, полные раненых, приходили в Петербург. Кое-кто из офицеров в пьяном виде уже запевал: «Ямщик, не гони лошадей, мне некуда больше спешить...» Но все это шло мимо Бориса. Он готовился к выпускным экзаменам, и они начались в январе.

В эти январские дни брат Юрий однажды подсунул Борису журнальчик, в котором напечатан был рассказ под названием «Странный закон». Автор утверждал, что большинство людей создано для низменных дел — то есть для труда и для войны, а меньшинство — для возвышенных идей. Большинство должно служить меньшинству, ибо в нем, в этом меньшинстве, — дух жизни, соль земли и еще что-то очень высокое. Юрий восхищался этим рассказом.

— Это — о Боре. Он создан для войны.

Юрий, конечно, создан для возвышенных идей.

Ну и к черту! Борис не хотел спорить. Когда он начинал думать о том, что его ждет, мысли путались. Он знал только одно — существовать так, как его родные, он больше не может. Нужно уйти, нужно самому испытать то, о чем пишется в военных корреспонденциях. Пусть он обыкновенный. Он сам хочет быть обыкновенным, — как все.

III

Второго апреля 1915 года веселая музыка духового оркестра проводила маршевую роту первого запасного пехотного полка с Охты к товарным платформам Варшавского вокзала. Там Борис простился с отцом, матерью и братом и сел в теплушку. Семнадцатого апреля, шагая в ногу со своим отделением, он подходил уже к местечку Красносельцы на берегу реки Оржиц. Над ним распростерлось польское небо, воздух был теплый. Пыль, поднятая тяжелыми сапогами русских солдат, вставала над песчаной дорогой, оседая на лица, руки, плечи.

На красносельском фольварке за Оржицем стояли недолго. Краткая команда — и маршевая рота двинулась дальше, туда, откуда доносились редкие выстрелы. За

пять верст от позиций молоденький прапорщик тихим голосом отдал приказ: «Не курить!» — и солдаты, еще преувеличивавшие (так же, как и прапорщик) опасности войны, побросали цигарки и окурки.

Полк, в который назначен был Борис, занимал позиции в деревне Единорожец, в восемнадцати верстах от Прасныша и в семи — от германской границы. Этот полк входил в состав того корпуса, который отстоял Варшаву, ринувшись в атаку прямо из вагонов только что прибывшего на выручку эшелона. Участников варшавских боев было в полку уже совсем мало: те, что не погибли под Варшавой, пали в боях у Лодзи.

Борис даже и не думал об усталости или о страхе. Он был твердо уверен в том, что снаряды и пули могут убить кого угодно, только не его: ему недавно исполнилось восемнадцать лет. Не задумывался он и над тем, почему и для чего делается все то, в чем он участвует. Он был счастлив, что вырвался из домашней духоты, а что касалось общего положения дел, то его вполне удовлетворяли официальные объяснения.

Затишье кончилось первого июня. В этот день полк под ураганным огнем германской артиллерии оставил Единорожец и отступил на вторую линию окопов. Немцы производили усиленную разведку. Германские аэропланы кружили над русскими позициями и, высмотрев батарею, пускали сигнальные ракеты, разноцветными лентами повисавшие в воздухе. Артиллерия пристреливалась, — и эта пристрелка создавала много работы для русских врачей, фельдшеров и санитаров. Контратаки русских полков двенадцатого и тринадцатого июня не дали никакого результата: немцы не оставили занятых позиций.

Буря, гнавшая русскую армию с карпатских высот, предупредила о себе еще двадцать девятого июня дальним, у Прасныша, грохотом, от которого задрожало поле. Тридцатого июня генерал фон Гальвиц бросил свои дивизии на окопы, в которых сидел Борис. Русская артиллерия, быстро истратив небольшой запас снарядов, отступила утром. Пехота билась до вечера. К вечеру из пятидесяти пяти человек, составлявших до начала боя роту, в которой сражался Борис, осталось трое. Эти трое шли по лесу. Снаряды рушили лес; стволы деревьев

шатались, трещали, раскалывались и склонялись к земле; желтый дым полз, ширился и повисал в воздухе. Когда двое оставшиеся в живых (третий был убит) вышли из лесу к пылающей деревне Вольки-Дронжи, они сочли себя в полной безопасности. Но если бы сюда перенести мирного петербуржца, еще не изучившего всех степеней опасности, он с ума сошел бы от страха.

Дым застилал небо и землю, и в этом дыму желто-красное пламя с треском рвало крыши и стены халуп. Над всем господствовал особый сумрачный цвет, которому усталые глаза придавали тысячи небывалых оттенков.

Этот день потряс Бориса. Все, что он знал до этого дня, казалось, навсегда ушло в далекое прошлое. Он свалился за красносельским мостом и сразу заснул. А утром все прежнее, обыкновенное вернулось к нему, а ушло из памяти то, что случилось вчера. Как раз то, что казалось незабываемым, вспоминалось теперь как нечто постороннее, случившееся не с ним, Борисом Лавровым, а с кем-то другим.

Полк отступал к Рожанам, за Нарев, и занял позиции на Остроленковском шоссе. Артиллерия бездействовала: снарядов, как обычно, не хватало. Железнодорожная насыпь линии Остроленка — Малкин отделяла русские позиции от германских. Тут полк стоял неделю, до тех пор, пока германский штаб не разбил распростертое перед ним поле на квадраты и не обрушил на каждый квадрат сотни и тысячи снарядов. Все те, кому посчастливилось уцелеть, кинулись бежать по голому, открытому полю туда, где в полутора верстах от позиций темнел низкорослый лесок.

Сотни снарядов уничтожали людей и рвали землю. Все вокруг было достаточно ужасно для того, чтобы и самый сильный человек потерял самообладание. Однако Борис неожиданно испытал полное спокойствие. Сознание работало яснее, чем всегда. Борису казалось, что потрясающая механика разгрома выбросила его за пределы жизни, что он уже умер и с другой планеты глядит на все совершающееся на земле. Он увидел полкового священника, который без шляпы, с развевающимися волосами прямо сидел в седле, не уклоняясь от летающей вокруг смерти. Священник трепал широкой рукой гриву испуганной кобылы и громко, спокойно молился, словно

К стр. 328

уговаривал все живущее умереть, не сопротивляясь. Через минуту его разорвало на части вместе с лошадью.

Люди были брошены в этом поле без всякой возможности обороняться. Что может штык против сотен снарядов? На глазах у Бориса происходило нечто совсем не похожее на то, что писалось в газетах. Его уверенность в том, что он не может быть убит, сразу исчезла. Но страха не было. Было упрямое желание во что бы то ни стало добежать до леса.

Но вот из грохота за его спиной выделилось гудение, единственно слышное, предназначенное специально для него, Бориса Ивановича Лаврова. Это летел снаряд, пущенный для того, чтобы убить Бориса. Борис рванулся в сторону и упал. В следующее мгновение он взлетел, поднятый силой взрыва на воздух, и снова был брошен наземь.

Борис знал, что в таких случаях человеку полагается терять сознание: так писалось в книжках и военных корреспонденциях. Но он не потерял сознания,— все было не так, как в газетах. Он крикнул, призывая на помощь, и крик этот остановил пулеметчика, гнавшего одноколку к лесу. Задержавшись на мгновение, пулеметчик подобрал Бориса, и лошадь примчала одноколку в лес.

Бориса положили на шинель под деревом.

Пулеметчик подошел к Борису, постоял, не зная, что сказать, и, наконец, промолвил:

— Это я тебя спас.

— Спасибо,— отвечал Борис.

Пулеметчик отошел, и Борис никогда больше не встречался с ним.

В лесу собрались остатки полка: командир, врач, два офицера и тридцать шесть солдат. Остальные были убиты, взяты в плен, ранены.

Борис был легко ранен в левую руку (небольшой осколок засел в мякоти, не задев кости) и контужен. Санитарная двуколка доставила его в дивизионный госпиталь. Дивизионный врач отправил его в тыловой лазарет, в город Остров, той же Ломжинской губернии, что и Красносельцы. Тут Борис лежал неделю, а потом получил разрешение ходить — сначала по палате, а потом и по улицам.

IV

Духовой оркестр играл за городом, в поле, разучивая марш, сочиненный самим капельмейстером. Марш был самый обыкновенный, даже просто дрянной. Но на глазах у людей, которых привлекла сюда музыка, выступали слезы.

Борис тоже слушал музыку. И вдруг этот маленький пыльный городок, населенный поляками и евреями и запруженный военными обозами, и сам он, Борис Лавров, и вообще все вокруг показалось ему замечательным. До чего хорошо жить на свете! Особенно когда ничто больше не грозит опасностью и можно, не боясь пуль, как угодно высоко держать голову.

Оркестр замолк, и Борис медленно пошел обратно в госпиталь.

Уже десять дней тому назад он написал домой письмо. Чтобы зря не беспокоить родных, он утаил и свое участие в боях и рану. Он даже соврал, что назначен в тыл и находится в полной безопасности. Но в самых последних фразах письма Борис невольно проговорился. Теперь в госпитале его ждал ответ. Борис нисколько не сомневался в том, что дома обо всем догадались, и уже жалел, что не довел лжи до конца. Писала мать:

«Милый Борис, у тебя, я вижу, слава богу, все благополучно. Ты понимаешь, что ради матери ты не должен подвергать себя опасности. Я за тебя совершенно спокойна. Ты достаточно благоразумен. А с Юрием у меня прямо несчастье. Он хочет ехать на передовые позиции с подарками для солдат, а это гораздо опаснее, чем сидеть в окопах: так все говорят. Я тебя прошу написать ему и отговорить. Ты же знаешь его горячий характер: он обязательно полезет под пули. Хоть немного бы ему твоего благоразумия — и я была бы спокойна...»

Письмо было длинное. Борис, не дочитав, положил его под подушку и вышел прогуляться. Ноги сами понесли его к базарной площади, в цукерню, где служанка Тереза всегда даром давала ему, как раненому герою, шоколад с печеньем.

На этот раз Борис был очень разговорчив. Он рассказывал Терезе о боях, причем врал так, как будто никогда и не был на войне и ничего о ней не знает. Тереза больше глядела на него, чем слушала. Она обдумывала что-то, а Борис все говорил и говорил.

Наступил час, когда надо было запирать цукерню. Закрыв дверь и ставни, Тереза пригласила Бориса к себе в комнату (она жила тут же, при цукерне). Комната у нее была маленькая и очень чистая. Тереза не зажгла лампы. Она поставила на круглый столик, покрытый узорчатой скатертью, вазу с печеньем и спросила, поглядев на раненую руку Бориса, не болит ли рука.

Борис отвечал, чуть шевельнув рукой:

— Нисколько.

Тогда Тереза придвинулась ближе:

— А пан разогнуть руку может?

— Конечно, могу, — отвечал, еще не понимая, Борис и, сняв руку с перевязи, вытянул ее. — У меня рана пониже локтя, она почти зажила.

Лицо Терезы очутилось совсем близко от лица Бориса. Борис понял. Он покраснел, задохнулся, напрасно стараясь притвориться опытным мужчиной. Но Тереза знала, с кем имеет дело. Когда Борис обнял ее правой, здоровой рукой, она крепко прижала его к себе, твердо рассчитывая на здоровье и молодость солдата. Ее расчет оказался правильным, и когда Борис вышел из цукерни, она уже спала — первый раз за две недели: две недели подряд ее мучила бессонница.

Утром на перевязке фельдшер удивился, почему уже зажившая рана снова стала кровоточить. Через неделю, когда Борис выписывался из госпиталя, оба — и он и Тереза — очень искренне горевали: им жалко было расставаться друг с другом. Они никогда больше не встречались.

Еще через неделю немцы заняли Остров. О наступлении, о том, что русская армия двинется вперед на врага, не было даже никаких слухов. Высшее начальство, казалось, решило не сопротивляться. Войска пятнадцатого года были обречены на гибель. Это видел и понимал каждый участник отступления.

Отступление кончилось только поздней осенью. Полк, отведенный на зимний отдых в Полесье, скучал в белорусской деревне, где даже чистой воды не было: ко-

лодец вырыли в низине, как раз там, куда стекали нечистоты со всех окрестностей. Офицеры пили вино, которое ящиками возил с дальней станции заведующий офицерским собранием.

Бориса свалила дизентерия. В грязной хате, отведенной под полковой околоток, он не мог заснуть несколько ночей подряд. На пятую ночь пошел снег. Единственное окно хаты залепило белым. Стало тихо и темно, как в могиле. Борису казалось, что наспех выбеленный, но покрытый трещинами и пятнами потолок осел еще ниже. Дежурный фельдшер и санитар угрюмо, в полном молчании, дулись в карты. Грудь фельдшера украшал георгиевский крест. Лицо у фельдшера было безбородое, но не молодое, жесткая кожа — в трещинах, как потолок. Санитар носил бороду — большую, широкую, лохматую, давно, должно быть, нечесанную. Фельдшер выиграл полтинник и спрятал карты. Глянул на окно, на потолок, избегая смотреть в тот угол, где лежал Борис. Ему, видимо, захотелось поговорить о чем-нибудь, но говорить было решительно не о чем.

— А ты коростой болел? — спросил он санитара.

— Нет, — ответил санитар. — Коростой не болел.

— У меня короста была, — сказал фельдшер. — Разные бывали у меня напасти в жизни.

— Да, — согласился санитар. — Чего-чего, а напастей для нас всегда хватит.

После этого разговора им стало как будто легче: все-таки отвели душу.

А Борис лежал в своем углу и думал: «Зачем я пошел на фронт?»

Все вокруг казалось ему бессмысленной чепухой. Проверяя свои поступки, он видел, что в них не было решительно никакого смысла.

Борис не умер. Он выздоровел и получил отпуск на три месяца.

V

На станцию Бориса вез длинный и тощий белорус. Сани скользили по морозной дороге; белый лес недвижно стыл вокруг, и небо было как пласт льда. Ночью, когда желтая луна и мириады звезд повисли над лесом, бело-

солдаты. Пахло махоркой, человеческим потом и грязными портянками.

Поезд появился у платформы неожиданно. Борис вошел в вагон и столкнулся лицом к лицу с поручиком своего полка, командиром пятой роты. Спиртной дух шел от него. Борис, вытянувшись, отдал честь офицеру. Офицер взял солдата за плечо.

— Где-то видел твое лицо, — сказал он и прибавил:— Иди за мной.

— Слушаюсь, — отвечал Борис.

Офицер привел его в купе первого класса. Там уже сидел толстый человек в военной шинели с погонами статского советника.

— Это свой, — сказал офицер (было неясно, к кому это относилось — к чиновнику или к Борису). — Он тоже пьет. — И поставил перед Борисом бутылку коньяку. — Пей из горлышка,—приказал он.—И все без передышки. А то убью!

Борис растерялся. Но пьяный офицер вытянул из кобуры револьвер. Статский советник, увидев револьвер, зашевелился, хотел встать, но не смог: он только жалобно пискнул.

— Наша императрица дрянь, — с видимым наслаждением сказал поручик. И в бешенстве прибавил: — Пей, а то убью! Все равно конец.

Борис в смятении взял бутылку, поднес ко рту, опрокинул, и коньяк ожег ему горло. Ему стало тепло и хорошо. Он пил уже с удовольствием, но это продолжалось недолго. Борис опрокинул в себя полбутылки, а больше пить не мог. Но он должен был пить, и пил с ужасом, в тоске, видя, что дуло револьвера направлено ему в лицо, а коньяку в бутылке осталось еще много.

Сделав последний глоток, Борис выронил пустую бутылку.

Это были не его, это были чужие пальцы, которые уже ничего не могли удержать. И когда Борис встал с мягкого дивана, то это не он встал, это ноги сами подняли его тело. Все действовало вне его воли: ноги, руки, голова. Он не владел собственным телом. Сознание его работало с полной ясностью, но оно работало отдельно от тела. Борис услышал слова, сказанные словно под сурдинку или сквозь шелк:

— Однако как вы побледнели...

Это испугался статский советник, испугался до того, что сказал солдату «вы». Услышав это «вы», Борис подумал: «Я умираю».

Борис стоял перед зеркалом, вделанным в дверь. Он видел в зеркале свое лицо. Лицо было светло-зеленое.

Он так и не узнал, каким образом очутился в купе проводник, который вывел его на площадку: наверное, офицер и чиновник не захотели, чтобы солдат умер при них, — противно все-таки. На площадке проводник сунул Борису в рот два пальца. Через минуту Борис уже страдал, выгибаясь в тьму полесской ночи. Он радовался тому, что страдал: жизнь вернулась в его тело, он был спасен. А потом, покоряясь жалостливому проводнику, он прошел к нему в купе и там заснул. Когда он проснулся, было уже утро. Он вышел на площадку. Поезд мчался, окруженный снежными пространствами полей и лесов. Площадка вагона ходуном ходила под ногами Бориса.

В буфете полоцкого вокзала Борис, к ужасу длинноусого официанта, съел три обеда подряд. Потом он сел в поезд на Двинск.

От Двинска до Петрограда ему мешал спать вольноопределяющийся, черный и вертлявый, с двумя георгиевскими крестами на груди. Он все приставал к Борису:

— Как вы думаете, поместят в «Огоньке» мой портрет? Два «георгия» и рана все-таки. А?

— Не знаю, — отвечал Борис.

— Ну, а как вы все-таки думаете? — допытывался вольноопределяющийся.

Ночью у него возникли другие вопросы. Он задумчиво крутил черный ус и то и дело обращался к Борису:

— А насчет девочек в Петрограде как, а?

— Не знаю, — отвечал Борис.

— Не знаете! — усмехнулся черноусый. — Разрешите не поверить. Сами говорили, что петроградец, — значит, знаете. А я — не петроградский, я туда в Павловское училище еду.

Борис невольно подумал: а если б этот черноусый уже кончил Павловское училище, небось не так бы разговаривал, а просто выгнал бы его, солдата, из купе.

На петроградском вокзале Борис пошел в телефонную будку: позвонить домой, предупредить о своем приезде.

И когда он услышал вопрос матери: «Кто говорит?» — он ответил искусственным, не своим голосом:

— Это говорит ваш сын.

Услышав это «ваш», телефонистка обернулась к нему в изумлении и строго оглядела его с ног до головы.

Уже по дороге домой Борис вспомнил об этой телефонистке, и его передернуло. Но в самом деле, почему он так неожиданно сказал «вы»? Неужели только потому, что он был на войне? И сразу понял: нет, война тут ни при чем.

Трехмесячный отпуск спас Бориса от верной гибели. Полк, в котором он служил, был разгромлен у озера Нарочь, куда генерал Куропаткин согнал войска для того, чтобы прорвать германский фронт. Там в первые же минуты боя была утеряна связь между частями; артиллерия била по своим — русские снаряды двенадцать раз подряд выбивали русских солдат из немецких окопов, которые были заняты после первой же атаки. Измена и предательство губили русских солдат.

VI

Дома Борис ничего нового не нашел: та же жизнь, те же характеры. Только его старший брат, служивший в Союзе городов, носил теперь солдатскую гимнастерку, военные штаны и высокие сапоги. Мать, узнав, что Борис получил трехмесячный отпуск, сразу же успокоилась:

— Ну вот, значит, ты больше не поедешь на эту войну. Убеди Юрия, чтоб он тоже бросил об этом мысли. Почему ты тогда не написал ему? Ведь я просила. Он поехал на фронт и еле спасся. Он попал под ураганный огонь.

Юрий уже перебивал:

— Нет, ты представь себе! Я был на второй линии окопов ночью. Необычайно красиво. Зеленые ракеты, прожектор... И солдаты мне понравились. А потом начался настоящий обстрел — из пулеметов. Пули визжали. Я целый час был в окопах. Георгиевскую медаль получил — вот! — На груди у него действительно серебрилась георгиевская медаль 4-й степени. — А на следующий день я попал под аэроплан. Я стоял под деревом, и шрапнель

рвалась прямо надо мной. А ты как? Ты писал, что в боях не участвовал. За что ж у тебя «георгий»?

И, не дожидаясь ответа, он продолжал рассказывать о своей поездке на фронт.

Борис вымылся, надел чистое белье, лег на диван и заснул. Он спал до обеда, когда его отец, инженер, вернулся с завода. Отец разбудил его — потряс сына за плечо и проговорил:

— Так вот как — вернулся? Это хорошо.

За обедом Юрий восхищался:

— Ужасно стало интересно жить. Все-таки война очень полезна людям — она как-то встряхивает. — И он протянул матери тарелку; мать положила ему две лучшие котлеты. — Очень интересно, — продолжал Юрий, принимаясь за котлеты. — Я обязательно еще раз поеду на фронт. Обязательно...

Мать чрезвычайно серьезно отнеслась к его словам.

— Нет, — сказала она необычно рассудительным тоном, — оставь эти разговоры. Тебе нужно кончить университет. При твоем уме и способностях ты пригодишься на большее, чем война. Для войны люди найдутся.

— Обязательно поеду, — утверждал Юрий. — Обязательно! Нехорошо оставаться дома, когда весь народ на войне.

Отец доел котлету, отодвинул тарелку, улыбнулся смущенно, отер ладонью седенькие усы и бородку и начал:

— В японскую войну, я как сейчас помню...

Мать строго перебила его:

— Ты приляг после обеда.

— Мне не хочется, — виновато отвечал отец. — Мне хочется разговаривать.

Мать перебила его еще строже:

— Тебе нечего разговаривать. Ты сам прекрасно знаешь, что тебе вредно разговаривать после обеда. Поди и ляг. У нас нет денег на докторов.

Инженер покорно встал, ласково поглядел на жену и пошел в спальню, чтобы, сняв сапоги и пиджак, лечь там на кровать и заснуть, хотя ему этого решительно не хотелось. Через минуту стена закачалась перед его глазами, расплылась в синий туман и ушла. Проснувшись, Лавров увидел, что перед ним стоит Борис.

Борис сказал:

— Ничего, что я тебя разбудил?

— Конечно, ничего. Ну как ты, значит вернулся? Это хорошо.

— Я просто так, — отвечал Борис. — Я как-то еще не успел рассказать, где я был и что со мной случилось. А со мной ужасно много случилось. Я ведь тогда в письме соврал, что меня назначили в тыл, — я сплошь был на передовой линии. Я даже ранен был и контужен. Но так легко, что отказался от эвакуации. И «георгия» получил не зря, а в боях.

Отец спустил ноги с кровати и сел. Лицо у него сразу осунулось и постарело. Он отвечал:

— Ты маму береги. Она рада, что ты жив и здоров, и хочет поскорее забыть обо всем. Как она о тебе волновалась. Ночей не спала. Она нарочно, чтоб себя успокоить, не хочет ничего знать, не расспрашивает. И думает, что и тебе спокойней забыть как можно скорей все эти ужасные впечатления. Она ужасно, ужасно нервная.

— Но я не хочу забывать, — возразил Борис.

Отец неподвижно сидел на кровати. Жилет и штаны были у него такого же седенького цвета, как усы и бородка. И от него пахло шоколадом. Он улыбнулся вдруг очень доброй улыбкой.

— Ну вот, ты вернулся, значит, — сказал он. — Это хорошо. Отдохнешь. И больше тебе на фронт не надо.

К ночи, обняв за плечи жену и гордясь тем, что он лежит под одним одеялом с такой умной и красивой женщиной (эта гордость не проходила, несмотря на очень долгие годы семейной жизни), инженер сказал:

— Боря, оказывается, был ранен. Он не рассказывал тебе?

— Борю я больше на фронт не отпущу, — отвечала жена. — Он уедет только через мой труп. А вот ты никогда не поймешь, как мне трудно. Маню надо было прогнать — это дрянь и воровка. Все вокруг воровки и проститутки. Я третий день без прислуги, а ты о чем угодно думаешь, а обо мне у тебя и мысли нету.

Действительно, прислуги не было уже третий день. Но Клара Андреевна дала объявление в «Новое время», и к ее квартире (жили Лавровы на Конюшенной, за не-

сколько домов от Невского) потянулись девушки и женщины, желавшие получать пять рублей в месяц на хозяйских харчах.

Борис с интересом следил за матерью, которая вся целиком отдалась делу найма прислуги. Вот она пошла на кухню. Борис — за ней. На сундуке у двери сидела женщина в черном драповом пальто и с коричневым платком на голове.

— Нельзя сидеть, когда барыня входит, — сказала Клара Андреевна, и прислуга встала. — Ты ведь не умеешь готовить — зачем же ты пришла?

— Я умею готовить, — возразила женщина.

— Значит, к тебе будут ходить мужчины, — продолжала Клара Андреевна. — У меня приличный дом, и я этого не потерплю.

Прислуга молчала.

Мать взглянула на Бориса:

— Выйди, тебе тут нечего делать. Это не для детей.

Борис, не желая спорить, вышел, но остановился в коридоре за дверью. Прислуга с удивлением поглядела ему вслед. Голос Клары Андреевны перешел в трагический шепот:

— Ты же беременная. Как ты смела явиться в приличный дом! У меня дети.

Женщина отвечала добродушно:

— Сами, чай, детей вынашивали, барыня, знаете. А готовить хорошо умею.

— Пошла вон! — закричала Клара Андреевна.

Женщина постояла у сундука, потом вышла, сердито хлопнув дверью. Мать пронеслась мимо Бориса в комнаты, чуть не сбив с ног только что вернувшегося с завода мужа, и крикнула ему:

— Каторжник! Вот всем расскажу, кто ты такой!

И помчалась на кухню, где снова задребезжал звонок.

К обеду прислуга была нанята. Это была седая женщина, тихая и напуганная.

Клара Андреевна учила ее за обедом:

— Нельзя совать соусник под нос, надо ставить вежливо. Тебе платят пять рублей и кормят — ты должна быть благодарна барыне, что тебя держат.

Юрий недовольно перебил:

— Однако обед остынет.

Клара Андреевна поглядела на сына, на прислугу и стала раздавать жаркое: ей не хотелось сейчас затевать скандал с сыном, сначала надо было поесть.

— Ужасная прислуга, — говорила она, нарочно для сына показывая вид полного хладнокровия и рассудительности. — Я завтра же ей откажу.

Она сидела во главе стола, большая, широкая, в коричневой, расстегнутой на груди кофте, — под цвет глазам и волосам. Лицо у нее было почти мужское: с резкими очертаниями носа, рта, бровей.

— Ты не имеешь права, — раздраженно отвечал Юрий, спешно изобретая предлог для продолжения скандала. — Такие события, а ты занята пустяками. Прямо противно.

Клара Андреевна никогда еще ни одного своего слова или поступка не могла счесть неправильным. Все, что она делала, было не только правильно, но и замечательно; это убеждение составляло основу ее жизни.

Она взяла вилку и, постукивая ею по столу, внушала Юрию:

— Ты не должен судить о поступках матери. Мать — это икона. Бранить мать — это плевать самому себе в лицо.

— Началось, — отвечал Юрий, уписывая жаркое. — Пожалуйста, оставь меня в покое.

Мать отбросила вилку. Еще секунда — и скандал разразится с огромной силой. Борис решил предотвратить надвигающиеся события:

— Мама, а ты поверила, что я назначен в тыл?

Мать сразу успокоилась.

— Вот видишь, — сказала она Юрию. — Вот поучился бы у Бориса. Он действительно меня любит. Чтоб не волновать мать, он даже мне о ране не сообщил. Может быть, и это — пустяки? Да, господи, я бы сама рада хоть на фронт из этого ада. Вот, пожалуйста: где чай? Ведь сама не догадается, все ей надо говорить. Такая прислуга в гроб может вогнать.

И она замолчала, чувствуя, что победила сына. Но Юрий не уступал:

— Ну и пусть Боря был ранен, если хочет, — говорил он еще более нелогично, чем его мать. — Я считаю, что в тылу не меньше работы, чем в окопах. А если ты меня гонишь на войну — хорошо! Завтра же уезжаю на фронт.

— Зачем ты так говоришь? — испугалась мать. — Так лгать нельзя. Ты прекрасно сам понимаешь, что при твоем уме и способностях ты не должен воевать.

— Но я не могу выдержать этих ежедневных скандалов! — возмутился Юрий. — Эти ежеминутные пустяки, которые отвлекают, утомляют, дергают...

— А ты не устраивай скандалов, — предложила возможно спокойнее Клара Андреевна. — Ты же первый на меня напал. А бранить мать — это все равно, что плевать себе же в лицо. За тебя платят деньги в университет, тебя кормят, одевают...

— Нет! — с пафосом воскликнул Юрий. — Я уезжаю на фронт. Попрекать деньгами! Чего ты ко мне пристала?

Он выбрал из стоявших перед ним предметов тарелку и бросил ее на пол. Тарелка разбилась.

Клара Андреевна очень рассудительно сказала:

— Не надо бить тарелки. Тарелки не для этого ставятся на стол. — И обратилась к мужу: — Я сколько раз тебе говорила, что он нервно болен! Надо повести его к доктору. Ты ни о ком, кроме себя, и думать не можешь. Только при моем спокойствии и хладнокровии можно выносить такую жизнь.

Юрий вышел из комнаты, опрокинув стул и хлопнув дверью. Клара Андреевна помолчала с минуту, потом ей стало обидно, что активная роль в скандале на этот раз выпала сыну.

— Вот! — закричала она на мужа. — Тебе бы только спать да есть! Знала бы — никогда бы столько не страдала из-за тебя! И зачем я лучшие годы свои на тебя потеряла?

И, бросив об пол тарелку, вилку и нож, она тоже вышла из комнаты.

Муж сконфуженно отер ладонью лицо, словно умылся, и сказал Борису:

— Вернулся, значит? Это хорошо.

У него была привычка ни к селу ни к городу повторять одну и ту же фразу.

Из спальни раздался визг Клары Андреевны и звон разбитого стекла.

«Ваза, должно быть», — подумал инженер Лавров, встал и виноватой походкой пошел к двери.

Сквозь визг слышалось:

— Убили! Умираю! Замучили!

Это у Клары Андреевны начиналась очередная истерика.

Все это — спор, скандал, истерика — было издавна знакомо Борису. И разъяснить кому-нибудь домашнюю жизнь он так же не сумел бы, как объяснить причины войны. Война представлялась ему тоже малопонятной истерикой, только в несколько большем масштабе, чем у Клары Андреевны.

VII

Вместе с Борисом ускоренным выпуском (с обязательным условием пойти добровольцем на войну) кончили в январе пятнадцатого года гимназию еще четверо. Борис особенно дружил с одним из них — Сережей Орловым, сыном члена Государственной думы. Незадолго до возвращения Бориса Орлов отправился на фронт офицером. Вообще никого из близких товарищей сейчас не было в Петрограде: класс Бориса кончил гимназию еще прошлой весной и рассыпался — кто в окопы, а кто неизвестно куда. Все же Борис зашел в гимназию. Он явился туда не в солдатской шинели, а в штатском пальто (по приезде он сразу же сменил военную одежду на штатскую). Директор гимназии подал ему руку и посвятил разговору с ним целых десять минут.

В те дни Борис часто посещал семью Жилкиных — старинных знакомых своего отца. Глава семьи никогда не был членом революционной партии, но за сочувствие и помощь революционерам несколько лет провел в тюрьме и ссылке. Тут Бориса очень внимательно и подробно расспрашивали о войне, в особенности о настроениях солдат. Младший сын Жилкина, Анатолий, тоже недавно вернулся с фронта: он был на Карпатах. За те две недели, что он провел на позициях, он, убежденный пацифист, ни разу не выстрелил. Он был легко ранен в ногу, и теперь ему предстояло скоро вернуться на фронт. Старший сын, Григорий, помощник присяжного поверенного, служил писарем в запасном полку на Охте. Дочь Надя училась на курсах. А Жилкин-отец разрабатывал этнографические материалы, собранные им за время ссылки. Его книжки имели успех и обеспечивали семейство.

Квартиру Жилкиных всегда наполняли легальные, полулегальные и совсем нелегальные люди, наезжавшие с разных концов России, а также из-за границы. За обеденный стол обычно садилось никак не менее пятнадцати человек. Мать, маленькая седая женщина, не участвовала в общих разговорах. Она молча следила за тем, как едят гости, и настойчиво упрашивала есть побольше. Разговоры и споры, начатые за обедом, обычно продолжались в кабинете Жилкина.

Юрий никогда не бывал у Жилкиных. Братья редко ходили куда-нибудь вместе. Один только раз Юрий уговорил Бориса пойти на вечер в цирк Чинизелли. Юрий надел полную военную обмундировку и нацепил на грудь георгиевскую медаль. Уже на улице он спросил брата:

— А ты надел крест?

— Нет, — отвечал Борис. — А что?

— Досадно. И в штатском ты. Не понимаю.

— Я же солдат, а не офицер, — сказал Борис. — Это слишком хлопотно. Пришлось бы все время отдавать честь и спрашивать разрешения.

Цирк был битком набит людьми. Было много военных, но все же на одного военного приходилось по крайней мере десять штатских. На георгиевскую медаль Юрия штатские глядели почтительно. Когда он шел к своему месту, они уступали ему дорогу.

Началось с гимнов. Гимнов было много. Слушать их следовало стоя и после каждого гимна кричать «ура». «Боже, царя храни» заставили повторять пять раз. Юрий, которого военная одежда обязывала к особенному рвению, старательно кричал «ура», причем у него неожиданно обнаружился сильный бас. Когда гимны кончились, Юрий сказал Борису:

— А хорошо... Как-то электризует.

Чем дальше, тем больше гудела толпа. А к концу вечера все покинули свои места и сбились к арене. Уже у выхода штатские начали качать военных. Когда Борис с Юрием проходили вестибюль, вокруг них сгрудилась кучка людей. И Юрий, поднятый многими руками, взлетел на воздух под крики «ура». Бориса оттеснили в сторону. Да он и сам кулаками пробивал себе дорогу к выходу. Какой-то человек в барашковой шапке и шубе с барашковым воротником оглянулся на него. Борис

продолжал нарушать общее восторженное настроение, злобно протискиваясь на улицу. Человек в барашке сказал:

— За Германию, что ли?

И двинулся за Борисом. Но Борис уже выскочил на площадь и быстро пошел к Симеоновскому мосту. Только за Фонтанкой, на Литейном проспекте, он замедлил шаг.

Петроград уже спал, когда он повернул домой. Справа за железной решеткой раскинулся огромный четырехугольник Летнего сада, слева белела оледеневшая Мойка. Борис перешел по плоскому мосту Лебяжий канал, пересек трамвайный путь, и снег Марсова поля заскрипел под его ногами. Он шагал, подняв воротник и сунув руки в карманы пальто. Вот уже далеко позади осталась Лебяжья аллея. Впереди — тоже еще далеко — не столько были видны, сколько угадывались в темноте кирпичные здания удельного ведомства. Справа, за темной ширью огромного снежного поля, распростертого в самом центре столицы, расплывались в ночном морозном воздухе желтые пятна: это фонари Троицкого моста освещали путь через Неву.

И Борис забыл обо всем, он любил сейчас этот город, в котором родился и вырос. Любовь к городу на миг вытеснила все остальные чувства.

Юрий отворил брату дверь: он ждал Бориса.

— Куда же ты удрал? — И, чтобы сбить с себя спесь и восстановить справедливость, заговорил: — Удивительная история: я попал в герои, а тебя, кажется, зацукали. Я же тебе говорил — надеть «георгия». Совсем другое получилось бы.

И он стал рассказывать о том, как его качали. Рассказывал он иронически, но видно было, что он все же очень доволен. Борис признался себе в том, что у него все-таки было бы значительно лучшее настроение, если бы качали его, а не Юрия.

Бориса вновь охватило то чувство, которое заставило его бежать на фронт, — чувство невозможности жить дома, где все хотят только одного: спокойствия и согласия с тем, что происходит вокруг. Следующий день он почти целиком провел у Жилкиных. Он напрасно звал туда брата: Юрий морщился и мотал головой — у Жилкиных ему было скучно.

VIII

Однажды утром Надя позвонила Борису по телефону:

— На обед сегодня к нам приходи. Англичанин будет. Очень интересно. Писатель и военный корреспондент. И по-русски понимает. У нас на обед бульон, кура и воздушный пирог. Приходи обязательно.

Борис отправился к Жилкиным.

Англичанин явился к обеду в смокинге и в такой ослепительной манишке, что всем стало неловко. Жилкин, поздоровавшись с необыкновенным гостем, пошел в спальню и нацепил круглые белые манжеты.

Тему разговора определил сам этнограф. Волнуясь, он начал доказывать, неизвестно кому, — может быть, самому себе, — что во время войны приходится думать прежде всего о войне...

Григорий сразу же стал спорить. Он считал, что в Германии произойдет революция и надо быть готовыми к тому, чтобы присоединиться к ней. Русские рабочие в союзе с немецкими победят.

Жилкин улыбался так, как улыбается добрый, все знающий человек, вполне уверенный в том, что поспешность и неосторожность ни к чему, кроме гибели, привести не могут.

Один из гостей, известный всем под именем Фомы Клешнева, сдержанно вступил в разговор:

— Расчет на инициативу германских рабочих неверен. Мы сами строим свою судьбу.

— Вот видишь, — обрадовался этнограф, — товарищ Клешнев вполне согласен со мной.

Он бы не спорил с сыном, если бы не англичанин. Англичанин смущал его. Он молча ел, аккуратно работая ножом и вилкой. Когда была подана кура, никто не решился есть ее, как обычно, руками.

Клешнев возразил Жилкину:

— Я с вами не согласен. Но я против романтических иллюзий.

Этнограф покраснел, поправил галстук и заговорил, подняв слегка — как бы в недоумении — широкие мягкие плечи и помахивая левой рукой не в такт своим словам (при этом манжета сползла у него к пальцам):

— Я, конечно, не стану петь: «Боже, царя храни». Я не люблю правоверных националистов, которые...

И он замолк, мигая добродушными глазами в полном недоумении: англичанин вдруг встал, отложив нож и вилку и вытянувшись, как на параде. Неожиданно для всех, но не для самого себя (это был обдуманный поступок), он хриплым, нестерпимым голосом запел английский гимн. Высокий, прямой, с неподвижным, не меняющим выражения лицом, он пел громко и фальшиво, словно желая своим пением научить всех уважать английского короля. Он не замолк до тех пор, пока не допел гимна до конца. Он был совершенно спокоен и совершенно непреклонен. Потом он сел, взял вилку и ножик и принялся за куру с таким хладнокровием, как будто ничего не случилось.

Этнограф продолжал растерянно мигать глазами, обдумывая: как отнестись к этому странному поступку англичанина? Да и все остальные были сконфужены.

Фома Клешнев обратился к гостю и заговорил по-английски, словно желая попрактиковаться в этом недавно изученном им языке. Никто (в том числе и Борис) ничего не понял из разговора Клешнева и англичанина. Если бы они говорили по-французски или по-немецки, тогда бы поняли почти все. Английского же языка никто не знал. Но все видели, что в лице, интонациях и жестах Фомы Клешнева была та сила убеждения, которая заставила англичанина утратить свой чопорный вид и заговорить с раздражением и злобой в голосе.

Вскоре после обеда англичанин ушел. Этнограф пошел провожать его в прихожую.

Надев шубу и цилиндр, английский журналист взял трость и сказал:

— Мистер Клешнев — опасный человек. С такими людьми надо бороться.

Этнограф, взволнованный событиями, продолжал спор и в кабинете, куда все пришли после обеда.

Он настаивал на осторожности и постепенности. Вправляя непослушную, выскакивающую из рукава манжету, он говорил:

— Ведь кто пойдет за вами? Вас — кучка людей, но ваши мысли и чувства, теоретически совершенно, может быть, и правильные, идут в стороне от общей жизни. Что

можно предпринять во время войны? Ведь вам известна позиция Плеханова. А к Плеханову прислушиваются. Вполне понятно: Плеханова знает вся интеллигенция. Его и Боря, наверное, знает. Да, Боря?

— Нет, не знаю, — отвечал Борис с подкупающей откровенностью.

Жилкин заулыбался, развел руками, и левая манжета совсем закрыла ему пальцы.

— Ну, это уже необразованность, — сказал он, — это стыдно.

Фома Клешнев усмехался.

— Что же мне вам разъяснять? Вы прекрасно знаете наши цели. — Лицо его стало серьезным, и голос зазвучал торжественно и нежно. — Ленин сказал: превращение современной империалистической войны в гражданскую войну есть единственно правильный пролетарский лозунг. И это будет. Наши депутаты пошли на каторгу, но наш лозунг дошел теперь до самых широких масс. За нас правда, рабочая правда, народная правда. Мы только выразители ее, и мы ученики Ленина, увидевшего эту правду в самой жизни. Он нам указал на нее и повел нас.

Клешнев был взволнован.

Борис слушал, сдерживая дыхание. Он чувствовал силу слов, сказанных Клешневым, но они были как бы вне его жизни. «Пролетарский лозунг...» «Пролетарский...» Он слушал, стараясь быть как можно незаметней, невольно боясь, что вдруг Клешнев оглянется на него и замолкнет. Внезапно он вспомнил о Николае Жукове. «У нас разная судьба...» Так сказал тогда Жуков. У него — *пролетарская* судьба, а у Бориса... Какая же судьба у Бориса, и разве нельзя самому выбрать свою судьбу?

Клешнев говорил уже спокойно:

— Конечно, всего этого я не сказал вашему англичанину. Но я сказал, что русский народ сам построит свою судьбу так, как он пожелает. Я сказал, что русский народ не позволит командовать собой ни Германии, ни Англии, ни любой другой стране, ибо это — великий народ. И англичанину это не понравилось. Но вы-то должны знать, что Ленин — это завтрашняя свободная Россия. А говорите вы так, как будто ничего не знаете.

И он замолчал, откинувшись на спинку стула. Он был совсем не похож на человека, находящегося на нелегальном положении. Плотный, широкоплечий, очень чисто и аккуратно одетый, с гладко выбритым лицом, он мог бы прекрасно сойти за адвоката, врача или даже коммерсанта.

Он обратился к Борису:

— А вы недавно с фронта, Борис?..

— Иванович Лавров, — подсказал Борис.

— Лавров? Знакомая фамилия, — сказал Клешнев. — Я знавал инженера Лаврова.

— Мой отец инженер, — сказал Борис.

— Да. Но, должно быть, не тот. Лавровых много.

В душе Клешнева все еще звучали только что произнесенные им ленинские слова. Что же касается Жилкина, то он был оглушен агитацией буржуазии. Из интеллигентов это случилось не с ним одним. А что делает Плеханов?.. Но в то же время здесь, в доме Жилкина, Клешнев всегда находил приют и помощь в трудные минуты. Он шел сюда с уверенностью, что тут не предадут, а если понадобится, то и спрячут. Он верил в то, что, при всех своих путаных рассуждениях, Жилкин органически не может пойти против народа.

Борис ушел от Жилкиных поздно вечером. Он был взбудоражен услышанным мимолетным разговором. Содержание этого разговора уже как-то утратилось для него, осталось только ощущение чего-то, чего он не знает и что необходимо узнать. Он убежал из дому на фронт, он стал солдатом, но для чего все это? Чего он вообще хочет? Кем он хочет быть? И он ответил себе — он хочет быть вот таким человеком, как Фома Клешнев, человеком, который твердо убежден в чем-то и нигде, ни при каких обстоятельствах не уступит этого убеждения. Как, должно быть, приятно было англичанину спеть английский гимн именно потому, что никто из присутствующих не мог и не хотел согласиться с ним! Но все-таки слабость обнаружил он в раздражении, с которым отнесся к словам Клешнева! Куда девалось его хладнокровие! А Клешнев говорил с удивительным напором и удивительной уверенностью. Это — характер. И характер, который подчиняет окружающих и не покоряется тому, с чем он не согласен. Вот именно такой сильный харак-

тер надо иметь человеку — иначе жизнь скучна и не нужна. Надо быть мастером жизни и уметь пользоваться ею и строить ее по-своему.

И Борису, как тогда, в Острове, под музыку духового оркестра, показалось, что все вокруг замечательно интересно и полно движения. Он провожал домой Таню, Надину подругу. И Таня, которую он вел под руку, стала вдруг для него уже не той давно знакомой девушкой, к которой он так привык у Жилкиных. Он неожиданно предложил ей:

— Пройдемтесь по набережной. Замечательно хорошо.

— Но мне завтра утром...

— Пустяки, — перебил Борис. — Пройдемтесь!

Через час, стоя у гранитной ограды над зимней белой Невой, Борис говорил:

— Я вас давно люблю. Но сегодня я почувствовал это с особой силой. Я не хочу возвращаться домой, не услышав от вас ответа. Вы должны мне сейчас же, немедленно сказать: любите ли вы меня?

Таня сначала удивилась всем этим неожиданным словам, потом со всей честностью, на какую только способна первокурсница, поверила им. Она пыталась увильнуть от определенного ответа. Наконец сказала:

— Простите меня, Боря! Я в вас совсем не влюблена. Вы мне даже лицом не нравитесь. — И она густо покраснела, испугавшись своей откровенности. — Вы не сердитесь на меня?

Для Бориса это явилось совершенной неожиданностью. Он был вполне уверен, что Таня — незаметная, скромная, тихая курсистка, — разумеется, должна согласиться на все. И вдруг — такой ответ! Борис усмехнулся и сказал спокойным голосом:

— Пойдемте домой. Уже поздно.

Он проводил ее до дому, разговаривая о совершенно посторонних предметах, словно ничего не случилось. Рассказал кое-что о своих фронтовых впечатлениях. Простился, даже не спросив разрешения заходить. Оставшись один на широкой пустынной улице, Борис подумал, что все это не далось бы ему так легко, если бы он действительно любил Таню. И еще подумал, что Таня, наверное, была очень довольна тем, что он не

возобновлял разговора о любви, и, наверное, она оттого так быстро шла всю дорогу, что боялась этого разговора.

На следующий день Борис узнал от Нади, что Таня на днях выходит замуж за какого-то путейца.

— Она безумно влюблена в него. Да и правда: он ужасный красавец и умный.

«Ну и пусть выходит, — думал Борис, — мне-то какое дело?» Но сам себе он признавался в том, что оскорблен и слегка сбит с толку. Он припоминал, что, перед тем как объясниться в любви Тане, он показался себе замечательно красивым, умным и интересным. В тот миг он был твердо убежден, что ему, георгиевскому кавалеру и герою фронта, не может быть ни в чем отказа. И он уже ненавидел Таню и ее путейца за то, что оказался в тот миг таким дураком.

IX

Отец Бориса, инженер Лавров, работал на заводе не в самом городе, а в дачном поселке за Разливом. Поэтому-то Лавровы выезжали каждое лето сюда на дачу. Так случилось — предложили инженеру Лаврову службу, он и согласился. Он предполагал вообще переехать за город, но Клара Андреевна наотрез отказалась, а взять свое согласие назад он уже не мог. Впрочем, вскоре выяснилось, что мастер Кельгрен отлично заменяет его в цехе. Служба оказалась в общем не обременительной. Лавров приезжал на завод не самым ранним поездом и уезжал задолго до окончания работ.

В один из предвесенних дней шестнадцатого года в цехе Лаврова произошло несчастье. Раскаленная штанга ударила рабочего. Ему не удалось ухватить клещами злой металл и направить его дальше, и вот теперь он корчился на земле, обожженный и окровавленный. Это был неопытный молодой парень, недавно вставший на работу.

В таких случаях Кельгрен всегда бывал спокоен и распорядителен, как старослужащий унтер на войне. Надо было возможно скорее скрыть от окружающих следы происшествия и полностью восстановить ритмический шум, от которого все вокруг приятно подрагивало.

Кельгрен любил этот грохот, сверкание и блеск металла и с нежностью глядел на оформленные профили, рождавшиеся из раскаленных болванок. Эти профили были целью его работы. Он любил эту работу и любил порядок в ней. Тот, кто не умел справиться со своим делом, должен был пенять только на себя. Кельгрен тоже не один год простоял простым станочником и не сразу выбился в мастера. Недовольный нарушением обычного ритма, он подошел к месту происшествия, распоряжаясь на ходу.

Лавров тоже подался было за ним, но Кельгрен почтительно, тихим голосом обратился к инженеру:

— Разрешите доложить — обождите, пожалуйста. Народ грубый.

И Лавров отошел в сторонку, чувствуя себя в сущности совершенно лишним даже тут, на месте своей работы. Не ново, но всегда странно было ему это ощущение своей непричастности ко всему, что совершается в жизни, словно ему однажды перебило хребет и он раз навсегда потерял всякую способность двигаться.

Кельгрен знал умирающего парня. Он знал даже, что тот женат и что у него недавно родился ребенок. Девочка, кажется. У мастера уже давно создалась привычка узнавать о каждом рабочем как можно больше, — его нельзя было упрекнуть в отсутствии интереса к тем людям, которыми он призван был руководить.

— Разойдись! — командовал он строго. — Кто дела не знает, с каждым так будет. А вы, — он ткнул коротким пальцем в одного и другого рабочего из тех, что стояли рядом, — несите к фельдшеру. Живо!

Но, несмотря на этот окрик, не все отошли. Кое-кто остался, непослушно и упрямо. Кельгрен был человек опытный. Он угрюмо, из-под нависших бровей, поглядел на непокорных.

— Что на войне, что тут — одна беда, — говорил Каширин, громадного роста парень с багровой, обваренной паром щекой. — Дадут жинке трешку, а то и рупь — и дохни с голоду. Долго ли на трешку проживешь?

— А ты помалкивай, — спокойно посоветовал Кельгрен. Он очень редко раздражался. — Что дадут — это не наше с тобой дело. На это хозяева есть.

И вдруг услышал:

— Вот сволочь! Холуй хозяйский!

Он оглянулся и спросил тихо и яростно:

— Это кто сказал?

Но никто не ответил.

Парня уже понесли. Рабочие возвращались к своим станкам.

— На оборону работаем, — промолвил Кельгрен угрожающе. — У нас таких делов быть не должно. Военный завод. Кто сказал?

Опять никто не откликнулся.

Уборщица с вечно подоткнутым и вечно грязным подолом подтирала пол с таким равнодушием, словно кто-то тут квас пролил. Ритмический шум прокатных станков возобновился.

Кельгрен стоял, приземистый, смуглый, сумрачный, оглядывая молчаливо работавших людей.

Он стремился всегда выполнять порученную ему работу честно и добросовестно. Так поступали его отец, его дед, его прадед, — так поступал и он. Он внимательно и с любовью обучал каждого новичка и каждому старался объяснить, что надо думать только о своем деле и делать его как можно лучше, — тогда будет удача в жизни. Сейчас он был искренне обижен и огорчен. Разве ему самому не жалко этого глупого раззяву? Да он сегодня же навестит его семью, на похороны пойдет и, может быть, чем-нибудь даже поможет. Ведь малый ребенок остался! Но дело тут ни при чем. Работа должна продолжаться.

Инженер Лавров подошел к нему, теребя седенькую бородку, но Кельгрен не дал ему сказать ни слова. Он промолвил сумрачно:

— Разрешите доложить — вы бы, Иван Николаевич, домой поехали. Я тут за работой догляжу.

Фраза была обыкновенная, — Лавров часто уезжал, оставляя цех на Кельгрена. Но сегодня в словах мастера звучало что-то очень обидное. Лавров кашлянул и, решив показать мастеру, что все же главный тут он, инженер Лавров, неожиданно согласился:

— Да, пожалуй, поеду. Поеду, пожалуй. Тем более — поезд...

Что́ именно поезд — это он не объяснил и пошел на станцию, окончательно убитый тем, что резкие слова,

которые он собирался сказать мастеру, застряли у него в горле. Нет, конечно, жизнь для него кончена. Давно кончена. Дело дрянь. Рабочие даже и не ругаются с ним, как с Кельгреном. Просто презирают.

А Кельгрен до конца дня ждал, что ребята поймут, попросят у него прощения и скажут, кто сгрубил. Но никто из тех, кто стоял в кучке возле парня, и не подумал оказать мастеру такое почтение. И все угрюмей глядели глаза Кельгрена из-под низко нависших бровей.

В привычной темноте возвращался Кельгрен домой вместе со своим соседом по даче, длинноногим токарем. Оба молчали. Прощаясь, токарь вдруг сказал:

— Ребята говорят: ружья на свою голову готовим.

И не успел Кельгрен ответить, как токарь хлопнул калиткой и скрылся.

X

Когда увели отца, была мокрая осенняя ночь. Николай Жуков остался один в похожем на баню убогом деревянном строенье, в котором он жил с отцом последние довоенные месяцы. А через несколько дней он был уволен из железнодорожных мастерских. Ему надлежало явиться на призыв. Он долго бродил в тот день по родным местам, прощаясь с ними. Здесь он вырос, здесь начал зарабатывать, поступив станочником на завод и получая трешницу в месяц. Завод находился в километре за железнодорожными путями. Огнедышащая и дымная громада его, расположившись близ озера, возвышалась над скудным скопищем деревянных домишек. За кирпичными корпусами завода ширился песчаный пустырь, и далеко отодвинутая природа отвоевывала свои права только в приморском парке, куда не было ходу заводскому рабочему.

Здесь все было так знакомо Николаю Жукову, что он знал даже, какие и где тут бывают осенью лужи. Речка извивалась здесь, стремительная и опасная. Перерезав железную дорогу, она мчалась меж рыбачьих хат, сквозь дубовую рощу, меж болотистых берегов к лохматому морю, которое никогда не бывало синим. В водоворотах этой речки гибло немало детей. Древние, петровских времен, рвы окружали рощу. По берегу речки

Николай Жуков прошел к маленьким домикам, стоявшим в стороне от изрытого шоссе. Двести лет подряд завод глотал поколения людей, населявших этот кусок сырой приморской земли. За эти двести лет кое-кто успел обзавестись собственными домишками, которые строились десятилетиями и потом передавались от поколения к поколению. Это были незатейливые дачки, по большей части некрашеные, с огородом и убогим садиком, в котором торчало несколько берез да сосен.

Николай постоял перед одной из таких дачек. Огонек уже зажегся в ней. Глядя на такие огоньки, мать Николая говаривала отцу:

— Ужели не будет нам хоть под старость покоя?

Она нашла покой, не дожив до старости. Надорвавшись на работе в депо, она умерла, и ее похоронили на высоком берегу, у самого края кладбища. Отец шел впереди, прихватив гроб за ручку, и слезы текли по его усам и бороде. Это был крупный, сильный мужчина, любивший читать толстые книги, с виду ученый, а не машинист. Ни до, ни после этого дня Николай никогда не видел его плачущим.

Николай вспомнил мать, всегда тихую, кроткую, веселую, с молодыми ямочками на щеках, представил себе отца в тюремной камере, должно быть шагающего из угла в угол по своей старой привычке, и отвернулся от уютных огоньков в дачных окнах.

Вечером он пошел к станции. В осеннем сумраке хлестал дождь, ветер налетал и шумел в оголенных кустах и деревьях, а вдали ревело море. Тревожно запела сирена.

Это был очень скверный, навсегда запомнившийся вечер. Тускло светилось окошко ветхой станционной постройки. Над мокрым перроном двигался желтый фонарь в руке дежурного. Николай опустился на лавку в ожидании поезда и замер в неподвижности.

Какая-то старушонка уместилась рядышком, уложив на колени кошелку, прикрытую черной тряпкой.

Она обняла кошелку обеими руками и охотно заговорила:

— Федосей наш, с лабазу, принес новостей со всех волостей. Воюем, говорит, а вы живете — мимо уха не пролетит и муха. Завязался один мужчина среди дамов и

гордится... — Она подождала ответа и, не дождавшись, хлопотливо вздохнула и продолжала: — Всё не слава богу. Внучок мой, родной внучки моей муж, в матросы далеко послан. Погода у него, пишет, — прелести! А Настасья прочтет — и плачет и плачет!

Николай и на это не откликнулся. Он молчал так, словно и не слышал ее.

Старушонка скосила на него глаз, как птица, и проворчала:

— Ишь, ягнячья мать, гордится, в такую погоду да в дырьях! Барин на вате!

Николай не отозвался.

Старушка обиделась. Она отодвинулась от него и упорно сжала губы, прекращая беседу.

Из шума осенней бури вдруг возник гудок паровоза, и зеленые вагоны, светясь залитыми дождем окнами, позвякивая и поскрипывая, набежали к пустынному перрону, прогремели буферами и замерли. С них так обильно стекала вода, словно они только что поднялись со дна моря. Резко прозвучал свисток, и почти пустой состав тронулся, увозя Николая в город.

С вокзала Николай направился в полумрак голодных и нищих улочек и переулков, кольцом охватывавших царскую столицу.

Он устал. Лицо его было покрыто брызгами дождя. Мельчайшие капли затекали за ворот. Зябко передернув плечами, он глубже засунул руки в карманы пальто.

Николай вошел в ворота трехэтажного неказистого дома, взобрался по темной лестнице на верхний этаж и дернул ручку старинного, с колокольцем, звонка. За дверью послышались шаги и сразу затихли. Видимо, кто-то прислушивался.

— Это я, — глухо сказал Николай, — Жуков.

Через минуту он уже сидел в теплой комнате, ссутулившись и зажав меж колен сложенные вместе широкие, короткопалые руки. Ему не хотелось ни говорить, ни двигаться. Спокойный, ласковый голос позвал его:

— Попейте чайку, вы озябли.

Вздрогнув, Николай поднял голову. Он только сейчас сообразил, что мокрый, грязный ввалился к людям, которым и самим жилось не сладко. Молодая женщина

в простеньком ситцевом платье стояла перед ним, и Николаю стало стыдно, когда он прочел жалость в ее карих глазах. Он поднялся со стула:

— Простите, Елизавета Сергеевна...

— Садитесь, согрейтесь чайком, — сказала женщина.

Ее спокойный, ласковый голос придавал ему силу и бодрость. «Какая она...» — подумал Николай с привычным уважением. Еще не согревшимися пальцами он взял стакан и с удовольствием почувствовал его тепло.

— Завтра мне в армию, — сказал он. — А где Фома?

Тень прошла по лицу молодой женщины. Она ответила сдержанно:

— Ему здесь нельзя быть. И я тоже уйду отсюда.

— Понятно.

Николай отпил из стакана.

— По заводам — городовые. Красота, как войну начинаем. Снаружи враг лезет, а драться с ним велит тоже враг. Но мы, Елизавета Сергеевна, свою Россию знаем.

Женщина ответила доверчиво, с некоторой даже наивностью:

— Конечно, знаем, Николай Дмитриевич.

Николай разрезал булку и накрыл ее большими кусками колбасы. Его короткопалые широкие руки двигались уже плавно и уверенно. Ему, как всегда, было очень легко с этой молодой женщиной, женой Фомы Клешнева, человека, крепко связанного с железнодорожными мастерскими, в которых работал Николай и откуда сейчас был направлен в армию. Клешнева уважал и отец Николая, хотя был старше его лет на пятнадцать.

Мать Николая умерла, отца увели в тюрьму, но странно — Николай не чувствовал себя одиноким. Он не был одинок здесь, в неказистых домишках рабочего Питера. Дождь, который по-прежнему хлестал в окна, уже не казался ему таким унылым.

Таков был последний вечер Николая Жукова перед уходом его в армию. Наутро он был уже в казармах. Через месяц-полтора после прибытия на фронт Николай ясно понял, что находится между двух огней. Смертью грозили ему и немцы и его непосредственные начальники.

Однажды Николай с товарищами по батарее наблюдал за разрывами немецких снарядов, грохотавших

в поле где погибла посланная на убой пехота. Русские пушки молчали.

— И что это у нас, ребята, снарядов все нет да нет? — не выдержав, удивился вслух молодой наводчик.— У немца вон сколько, а у нас вечно нехватка. Почему?

— А потому, — резко ответил Николай, — что командуют нами наши же враги.

Не прошло и пятнадцати минут, как он внезапно был послан разведать, нельзя ли установить наблюдательный пункт впереди пехоты. Это задание не имело никакого смысла. Все равно снарядов не было, батарея готовилась отойти. Николай понял, что это — расплата за его слова. «Нет, — думал он, пробираясь по ходам сообщения, а перед окопами используя каждую чуть заметную бороздку, — нет, не дам себя убить». Когда он вернулся, батарея уже получила приказ об отходе. Он попытался доложить о результатах разведки, но это никого не интересовало. Наводчик отвел его в сторону, и губы его тряслись, когда он зашептал:

— Ей-богу, браток, ничего я про тебя не сказал, не согрешил. Это сука фельдфебель подслушал, ты его стерегись.

Именно с этого дня начались все более откровенные беседы Николая с солдатами, но с этого же дня он был взят под особое наблюдение, а потом, когда начальство навело о нем справки, его стали, чуть что, направлять на самые опасные дела. Несмотря на то, что он был артиллеристом, его при отступлении то и дело посылали в пехоту, в цепь стрелков, прикрывавшую отход. Начальство ненавидело его и во что бы то ни стало хотело его смерти.

Все лето армия стремительно отступала на восток. Николай Жуков почти всегда шел с последней цепью. Фактически он был переведен в пехоту и редко являлся на батарею. Но каждый раз, когда он возвращался, его встречали как героя, ему подносили кто — картошку, кто — яблоко, а кто — пару глотков спирта из походной фляжки.

Взводный послал Николая разведать, что за стрельба поднялась в деревне, мимо которой проходил полк. Деревня горела, и непонятные беспорядочные залпы гремели в ней. Осторожно приблизившись к горящим хатам,

Николай Жуков пригляделся, и опыт многих дней, проведенных на фронте, помог ему понять, что случилось. Это взрывались брошенные в хатах обоймы с патронами. Командиру взвода это было, конечно, ясно с самого начала, но тем не менее он отправил Николая на разведку, да еще к тому же одного. И Николай понял яснее чем когда-либо, что, куда бы он отныне ни попал, всюду следом за ним пойдет указание «неблагонадежный, не щадить». Он был вроде штрафника, обреченного на смерть. На смерть? Нет, он не позволит убить себя так бессмысленно.

Николай побежал прочь от деревни, догоняя взвод. Уже темнело. Он бежал до тех пор, пока чуть не напоролся на проволочные заграждения.

Где проход?

Он остановился и медленно, вглядываясь в сумрак, пошел вдоль проволоки.

Может быть, рогатка уже закрыла путь?

Николай почувствовал, как все внутри у него похолодело. Неужели товарищи бросили его? Он снова медленно пошел вдоль проволоки.

Туда ли он идет? Может быть, нужно идти как раз в обратном направлении?

Становилось все темнее, проволока казалась бесконечной, а саперного ножа, чтобы перерезать ее, у Николая не было. Пробраться же через тройной ряд заграждений невозможно. Это верная и мучительная смерть.

Николай остановился.

Нескончаемые заграждения тянулись через поле. За ними залегла Россия, а вот тут, среди этого поля, надвигалась на Николая бессмысленная смерть от перекрестного огня. О, как нуждался он сейчас в помощи!

И вдруг он услышал чей-то тихий голос. Он прислушался.

— Сюды... сюды...

Он пошел дальше, туда, куда звали его родные, русские слова. И вдруг перед ним открылся проход: кто-то отодвинул рогатку. Он проскочил. Совсем молоденький солдат, которого Николай никогда раньше не замечал, ухватил его за рукав:

— Офицер закрыть велел, а я тебе стерегу. Я сразу тебе увидел... Нельзя без тебе...

Николай почувствовал, как внезапные слезы потекли по его щекам. Обняв паренька, он потряс его за плечи, хотел что-то ему сказать, но не смог выговорить ни слова. Они быстро пошли прочь от проволоки, предварительно заставив проход рогаткой.

XI

Это ясное весеннее утро показалось поручику Орлову зловещим, когда он вылез из штабной землянки и встал над ней, отдыхая от табачного дыма. С расстегнутым воротом зеленой гимнастерки, открывавшим белую полную шею, белокурый, с ровным румянцем на щеках, он стоял, расставив ноги и сунув руки в карманы синих широчайших галифе. Редкие пощелкивания выстрелов гулко отдавались в лесу. Изредка гуд снаряда, пущенного расположившейся невдалеке батареей, наполнял лес и замирал вдалеке. За последние дни фронт оживился, и все чаще кружили в небе внимательные и быстрые «таубе», убегая от шрапнельных дымков зенитных орудий.

Боевые ордена украшали грудь поручика Орлова, георгиевская лента висела на эфесе его шашки. Званием адъютанта полка офицерство выразило поручику Орлову свое доверие и уважение.

Но это утро все равно было зловещим.

Поручик Орлов проиграл за ночь кандидату на классную должность Замшалову такую сумму, которую не мог отдать.

Замшалов тоже выбрался из землянки. Это был невысокий плотный черноволосый человек. Он расстегнул зеленый китель, открывая не слишком чистую рубашку.

— Прелестное утро, — сказал он. — Какая свежесть!

Шумно потянув воздух широкими ноздрями приплюснутого носа, он пошел к лесной опушке и вдруг остановился.

— Глядите! — воскликнул он. — Какое зрелище!

Саженях в ста от леса прижалась деревушка, в которой были замаскированы два орудия. К этой деревушке по зеленеющим грядам неслась артиллерийская упряжка. Ездовой гнал лошадей, пригнувшись и торопясь проско-

чить с зарядным ящиком открытое пространство. Но немцы уже заметили его и взяли на прицел.

Свист обозначил приближение первого снаряда. Снаряд разорвался негромко, дымок от него стлался, как от потухающего костра; ездовой, делая зигзаги, мчался дальше. Но уже летел, ловя его, другой снаряд и третий, и четвертый.

— Взорвется от детонации, — проговорил Замшалов и покачал головой.

Но он продолжал напряженно всматриваться в эту страшную игру.

Поручик Орлов уже стоял рядом с ним и тоже наблюдал эту борьбу ездового со смертью.

— Как вы думаете, проскочит или не проскочит? — промолвил он, и глаза его блеснули азартом.

— Хочу, чтобы проскочил, — отвечал Замшалов.

— Ставьте весь свой выигрыш на это, — сказал вдруг поручик.

— На что? — удивился Замшалов.

— Я предлагаю вот что, — нетерпеливо отвечал поручик Орлов, — если он не проскочит — я отыгрался и ничего вам не должен. Если проскочит — моя карта бита, и я плачу вам вдвое больше, чем должен сейчас. Понятно? Ставка — весь ваш ночной выигрыш.

— Но это не гуманно! — запротестовал чиновник. — Ставить на жизнь человека!

— Вы ставите гуманно — на жизнь. А я — на смерть. Идет? Идет! Молитесь богу за его жизнь.

Замшалов пожал плечами, соглашаясь.

Ездовым был Николай Жуков.

Николай напрягся в одном устремлении — проскочить!

Снаряды ловили его. Воздух полнился звоном и грохотом разрывов. Стремительные осколки били во всех направлениях, ища скачущую цель. Детонация! Эта мысль звенела в нем.

— Все шансы за меня, — промолвил Орлов.

Замшалов смотрел молча.

Лошадь под Николаем храпела. Артиллерийская упряжка неслась по кривой, подаваясь то вправо, то влево. Все было смертью на этом отрезке поля, по которому мчала человека обезумевшая лошадь.

Глаза Николая видели все черным и лохматым, как

дым. Но руки и ноги управляли движениями с максимальной точностью. Мыслей не было уже никаких.

Проскочить через смерть — из жизни в жизнь!

Замшалов и Орлов молчали, не в силах оторваться от этого зрелища.

Вдруг поручик длинно выругался, — упряжка достигла деревни.

Деревня, в которой были замаскированы орудия, представилась Николаю самым безопасным местом в мире. Он был весь в поту. Рубашка и штаны прилипли к телу.

— Ваше счастье, —сказал поручик Орлов Замшалову.

Тот продолжал молчать.

— Вы понимаете, что я теперь должен вам вдвое больше? — осведомился поручик.

Замшалов пожал плечами.

— Вы так хотели.

Они всё еще стояли на опушке.

— Он опять едет! — воскликнул Замшалов.

— Да, но уже пустой.

Действительно, Николай, сдав снаряды, возвращался на батарею.

— Хотите опять ставить? —спросил Орлов.

— Он испытывает судьбу! — воскликнул чиновник в ужасе. — Теперь его наверняка убьют! Почему было не дождаться ночи?

— Его послали днем, и он обязан выполнить приказ командира, вот и все. Испытывает судьбу! — передразнил Орлов. — Батарею нащупали, ночью будут менять место, снарядов к ней не припасли — и до ночи ей не отстреливаться? Не рассчитали снарядов! Разве так воюют? Испытывает судьбу! — обозлился он. — Да мы только этим и занимаемся! Говорите прямо, что не рискуете ставить на него, и не морочьте голову.

И он пошел по опушке леса туда, где должна была проехать упряжка.

Вдруг Замшалов вскрикнул.

Орлов оглянулся и увидел, что ездовой покачнулся на лошади, но удержался, и лошадь не замедлила ходу. Теперь его ловили гораздо меньше: без снарядов он не представлял большого интереса.

Въехав в лес, Николай остановился, сошел с лошади и, присев наземь, оттянул разорванную и окровавленную штанину. Затем он вынул пакет — подарок Лизы Клешневой — и принялся перевязывать рану. Иногда он замирал, отдыхая и счастливо улыбаясь самому себе: жив!

Поручик Орлов приблизился к нему почти вплотную и закричал:

— Ты! Офицера не видишь? Раззява! Встать, смирно!

Солдат поднялся, разогнувшись, и рука его автоматически козырнула офицеру.

— Виноват, ваше благородие, — отвечал он отчетливо. — Я ранен, ваше благородие.

— Сукин сын! Сволочь! — ругался поручик Орлов.

Но никакая самая скверная брань не могла успокоить его. Он ненавидел этого солдата, и ему хотелось убить его тут же, на месте. Но разве это вернет ему проигрыш?

Бормоча самые отвратительные ругательства, сам себе противный до омерзения, он пошел проверять роты, а через час его уже несли раненого на окровавленных носилках. С тех пор Замшалов никогда больше не соглашался играть на мелок.

Этот день оказался счастливым для Николая. Он остался в живых. Мало того, он получил ранение, при котором его непременно должны были эвакуировать. Слишком уж ясно стало за последнее время, что фельдфебель все равно так или иначе доконал бы его. Тут уже чувствовался прямой приказ. С поличным поймать нельзя, а убить — надо.

Теперь рана выручала его. Может быть, он попадет в Питер, увидит товарищей, расскажет им все.

В околотке, после перевязки, его положили на тюфяк, брошенный на землю, и здесь, под навесом из ветвей, Николай заснул. Впервые после многих недель он спал безбоязненно. Он спал без сновидений, не шевелясь, как человек, перешедший все пределы усталости. Он спал так, как будто это было самым важным делом в его жизни.

Наутро в санитарной повозке он отправился в тыл. Рядом с ним лежал вольнопер.[1] Возница посвистывал, санитар на козлах дремал.

— Вы кто будете? — спросил Николай вольнопера.

---

[1] Вольноопределяющийся *(разг.)*.

— А вы? — осведомился вольнопер.

— Железнодорожных мастерских рабочий, — охотно отвечал Николай.

Вольнопер поглядел на него, с трудом повернув голову. Лицо его обросло жесткой черной бородой, и неизвестно было, сколько ему лет. Правой рукой он придерживал левую за локоть. От локтя до пальцев левая рука была обмотана, и вместе с кончиками пальцев из повязки торчала шина.

— Я не понимаю, — сказал вольнопер недоуменно, — человеку что́ надо? Надо сытым быть, время иметь на отдых и сон, в том деле работать, какое любишь. Неужели нельзя это устроить никак?

— А вы сами кто? — осведомился Николай.

— В конторе служил, — отвечал вольнопер. — Сидишь, бывало, пишешь адрес на конвертах — то Тула, а то и Париж. И будто везде бывал и все знаешь. И конверты очень разнообразные: четырехугольные, продолговатые, большие, маленькие... — Он замолк, вдруг оборвав. — Доктор сказал — руку долго лечить надо. Больно очень, — глухо проговорил он через некоторое время.

Размышляя под мерное колыхание повозки, Николай внезапно услышал странные звуки, словно что-то рядом плескалось. Он взглянул на соседа. Конторщик плакал.

— Друг, — тихо сказал Николай, — у меня к тебе дело, вроде как конторское. Правая рука у тебя здоровая. Переписывай и раздавай осторожненько в госпитале, куда попадешь. Понятно?

Они были вдвоем под темным холстом двуколки. Все же Николай огляделся, прежде чем вынуть из кармашка гимнастерки печатный листок. Он передал его конторщику, выждал, пока тот прочел. Затем распорол конторщику штанину и зашил листок под подкладку. Иголка с ниткой всегда были при нем.

— Вот такое твое конторское дело, — промолвил он. — Адрес тут поинтересней Парижа, адрес — свобода.

В листке были известные слова Ленина, те, которые Николай не раз повторял у себя в части. На медицинском пункте, при перевязке, знакомый молоденький врач сунул ему этот листок и шепнул, чтобы он передал его конторщику, предварительно поговорив с ним.

Николай не стал особенно подробно выяснять, что́ за человек конторщик. Почему-то он был совершенно уверен, что этот человек уж во всяком случае не выдаст.

Конторщик молчал, лежа на спине и глядя в нависший складками холст.

— Ты подбрасывай тихонько в госпитале, куда попадешь, — повторил Николай. «На большее он не годится», — подумал он.

Вдруг конторщик повернулся к нему, глаза его горели диковато, он не казался тихим, покорным человечком.

— Ротный, пьяный, по лицу меня хлестал, — проговорил он. — Я вольноопределяющийся, а он меня три раза ударил. Я ему пулю в спину пустил, когда в атаку пошли.

«Вот почему врач его наметил», — подумал Николай. И еще подумал о том, что сама военная жизнь неизбежно ведет солдат к революции и что чем хуже сейчас солдату, тем скорей поймет он, что единственное его спасение, единственное счастье — в словах Ленина о превращении империалистической войны в гражданскую войну. У него часто забилось сердце от предчувствия чего-то огромного и великого, словно горячим дыханием истории прохватило его в этой мерно колыхающейся повозке под серым холстом.

XII

Трехмесячный отпуск Бориса кончился, но он не стремился на фронт. При мысли о фронте он не испытывал никакого страха, но уже решительно не понимал, во имя чего будет воевать. Кроме того, ему стали необходимы Жилкины. В разговорах у них Борис чувствовал свои собственные сомнения, смутные и подчас еще не ясные ему самому желания. Он узнавал много нового, ему хотелось почаще бывать здесь, чтобы поближе познакомиться с Фомой Клешневым и понять его.

Для того чтобы бывать у Жилкиных, надо было остаться в Петрограде. Поэтому он не возражал, когда Григорий Жилкин устроил ему назначение в свой полк, в четвертую роту, а оттуда вызвал его к себе в полковую канцелярию. Обязанностью Бориса стало раскладывать полковую корреспонденцию по конвертам, надписывать

адреса и отмечать рассылаемые бумаги в разносной книге. Разносную книгу брал дежурный писарь и посылал на почту.

Пухленький экспедитор, бывший служащий сберегательной кассы, проверял Бориса и пугал его, рассказывая страшные истории о том, что получается, если вложить бумагу не в тот конверт. Однажды, еще в начале войны, с экспедитором это случилось: он заслал бумагу вместо Брянска в Уфу. Когда бумага вернулась обратно, адъютант призвал экспедитора к себе в кабинет и кричал так, что, рассказывая Борису об этом событии, экспедитор и теперь дрожал от страха. Вот что может случиться, если не по тому адресу направить бумагу!

Борис являлся на службу к половине девятого, садился в самый угол, к окну, и принимался за работу. К девяти часам канцелярия была уже полна. За всеми столами гнули спины писари с нашивками и без нашивок. За отдельным столиком, у двери в кабинет адъютанта, сидел старший писарь Григорий Жилкин. Адъютант являлся в одиннадцатом часу. Когда его толстая фигура появлялась в дверях, писарь, первым увидевший его, кричал:

— Встать, смирно!

И все вскакивали со своих мест, оправляя гимнастерки и вытягивая руки по швам. Адъютант до войны служил земским начальником и был привычен к знакам верноподданничества. Он говорил грудным, готовым при случае загрохотать голосом:

— Здоро́во, писаря!

На что все с восторгом отвечали:

— Здражлавашвсокродь!

И, возбужденные собственным криком, радостно глядели друг на друга, на миг убеждаясь в том, что они еще живые люди. Потом снова сгибались над столами.

Адъютант скрывался в кабинете и звонками вызывал туда то старшего писаря, то дежурного. В половине пятого Григорий Жилкин шел к нему с докладом. В шесть часов канцелярия пустела — писари расходились по домам. Оставался только дежурный писарь.

Иногда через канцелярию проходил командир полка. Он был совсем не страшен — ласковый, сконфуженно улыбающийся старичок. Он махал руками («Сидите!

Сидите!») еще до того, как кто-нибудь успевал крикнуть: «Встать, смирно!»

И пока писари кричали, здороваясь с ним, он все кивал головой в разные стороны, ласково улыбался, а Григорию Жилкину подавал руку. Григорий говорил Борису, что полковой командир — тайный революционер.

Писари боялись адъютанта гораздо больше, чем полковника. Но хуже всех офицеров был помощник адъютанта — военный чиновник, недавно произведенный из фельдфебелей. У него были крупные бесцветные усы. Чувствовалось, что волос у него в усах жесткий и сухой. Усы торчали кустиками в разные стороны. Чиновник дергал их и ругался. С тех пор как он получил право входа в офицерское собрание, он забыл все слова, кроме бранных, и перестал улыбаться. Бранью он поддерживал свое новое положение, добытое долгими годами подхалимства, и грубо рвал отношения со старыми приятелями-писарями.

С половины девятого до шести часов вечера Борис сидел в канцелярии. В первом часу дня он на несколько минут бежал в унтер-офицерское собрание, где быстро съедал порцию сосисок.

В шесть часов он оставлял казарму. На улицах начинались новые беды. С Охты на Конюшенную надо было идти пешком. Ездить на трамваях солдатам было в сущности запрещено. Всего лишь три солдата могли ехать на задней площадке прицепного вагона и два — на передней. Но в трамваи — особенно в неслужебные часы — набивалось гораздо больше. И уж тогда неизбежно ссаживали и отправляли в комендантское всех солдат без разбора.

Нередко Борис все-таки садился в трамвай. И когда он высматривал, выгибаясь с площадки, ловцов из конвойной команды, когда, заметив их, соскакивал до остановки, а потом бежал за трамваем и прыгал на подножку, — он испытывал все ощущения человека, лишенного обычных гражданских прав. Он завидовал каждому штатскому, как каторжник завидует вольному человеку, и в то же время ненавидел штатских, потому что те радовались, когда комендантские патрули вышвыривали из трамвая переполнявших его солдат. Прав был Николай Жуков, — солдату все запрещено.

К лету Бориса перевели на стол отпусков. Тут была более ответственная работа. Теперь обязанностью Бориса было выписывать отпускные свидетельства и литеры на проезд. Перед ним лежала карта, и он, разглядывая ее, направлял солдат в разные концы России — к матерям, женам и детям «на побывку».

Начальником Бориса стал длинный веснушчатый человек в очках. Пальцы у него всегда дрожали, и он сам про себя говорил, что он ужасно нервный. Нервным он сделался, по его словам, еще до войны, когда служил агентом страхового общества: очень нервная работа. Вскоре его перевели помощником на стол болезней, и Борис остался на столе отпусков один. Теперь уже выдача отпускных свидетельств целиком зависела от него. Пачка прошений лежала у него в ящике стола, и он должен был представлять их адъютанту на резолюцию. Он обычно просил об этом Григория, но тот однажды удивился:

— Да ты что́ — боишься, что ли?

И с той поры Борис сам ходил к адъютанту. Адъютант ставил резолюции, не слушая объяснений Бориса и даже не прочитывая заявлений. Фактически судьба солдат зависела от Бориса: захочет он — и заявление, поданное вчера, сегодня же вне всякой очереди и нормы получит положительную резолюцию, а захочет — и заявление пролежит месяц и даже больше. Борис соблюдал строгую очередь.

Выписав отпускные свидетельства и литеры, Борис искал офицеров для подписи. За адъютанта эти бумаги имели право подписывать его помощник, военный чиновник, и еще один прапорщик, недавно назначенный в канцелярию. Борис предпочитал его. Высокий, очень худой и прямой, этот прапорщик слонялся по канцелярии, плохо, должно быть, понимая, зачем его сюда прикомандировали. Он являлся с аккуратностью простого писаря и уходил не раньше, чем пустела канцелярия. Волосы у него уже серебрились.

Прапорщик совсем не заботился о своем офицерском престиже. Узнав, что Борис кончил гимназию, он часто присаживался к нему для беседы и предлагал помочь в работе.

Борис давал ему на подпись тетрадки пустых литер. И прапорщик сидел и подписывался за адъютанта.

Добыть подпись командира полка было гораздо труднее. За командира могли подписывать офицеры чином не ниже капитана. Разыскать их было не так легко. Борис с тетрадкой литер, пачкой отпускных свидетельств и химическим карандашом сторожил капитанов и подполковников у входа в офицерское собрание, но не успевал еще разинуть рот, как подполковник или капитан уже махал рукой:

— Нет! Пошел прочь! Убирайся, тебе говорят!

И Борис убирался в сторону, поджидая следующего. Иной раз он по нескольку дней подряд ловил офицеров на подпись, пока, наконец, не уламывал кого-нибудь. Однажды он догадался поручить это дело прапорщику. Тот немедленно согласился и сразу добыл подписи для нескольких еще не заполненных тетрадей и для целой груды пустых отпускных бланков. Своим неофицерским поведением прапорщик еще до того вызывал возмущение писарей, а теперь над ним уже насмехались чуть ли не в лицо. Прапорщик ходил по канцелярии грустный, унылый, ничего не замечающий, и однажды, присев к Борису, сознался, что военная служба чужда его поэтической душе, что он уже напечатал несколько стихотворений и теперь готовит к изданию книжку стихов. Вскоре он исчез: его убрали неизвестно куда.

Борис с его помощью накопил подписей по крайней мере на три месяца вперед, и теперь судьба отпусков была всецело в его руках. Ежедневно к нему являлись солдаты разных рот, становились в очередь, и каждый спрашивал:

— Когда, господин писарь, отпуск выйдет?

При этом солдат испытующе глядел прямо в лицо Борису. Иные осторожно подмигивали ему, незаметно показывая кончик коричневой рублевой или даже зеленой трехрублевой бумажки. Однажды какой-то вольноопределяющийся подал Борису запечатанный конверт и сказал уверенным голосом:

— Вы потом прочтите. Не сейчас.

Борис сразу вскрыл конверт и обнаружил в нем десять рублей с краткой просьбой об ускорении отпуска. Он покраснел, как будто уже принял взятку и теперь его

обличили. Бросив вольноопределяющемуся его десятку, Борис крикнул:

— Пошел вон!

Тот усмехнулся, нисколько не поверив в честность писаря. Когда Борис шел домой после работы, солдаты, поджидавшие на улице, принялись упрашивать его принять деньги и устроить отпуска. Борис молча прошел мимо солдат и услышал, как кто-то за его спиной вполголоса сказал:

— Сволочь!

Его честность была в лучшем случае бесполезна, а может быть, даже вредна солдатам: она не оставляла никаких надежд на смягчение казарменной жизни. Думая об этом, Борис удивлялся: до чего же неправильно все вокруг, если даже честность оказывается вредной.

Другие писари брали, это Борис знал. Несколько дней тому назад писарь со стола болезней принял при всех трешку. И когда вся канцелярия радостно засмеялась, он сказал с достоинством:

— Да. Вот и взял. И еще возьму.

Раз в три недели Борису приходилось дежурить ночью. Сидя долгими ночными часами в пустой дежурной комнате и ожидая какого-нибудь телефонного звонка, он думал о том, что ничего хуже такой жизни быть не может. Ему казалось, что на фронте он чувствовал себя лучше. Но в то же время фронтовые дни вспоминались ему отдельными эпизодами, которые он никак не мог соединить в одно целое. Многие месяцы просто выпадали у него из памяти, как будто он прожил их в бессознательном состоянии. Да и то, что он припоминал, как будто случилось не с ним, а с кем-то другим. И все-таки это он, Борис, долгие дни сидел в окопе, не смея высунуть голову. И это он видел вблизи разрывы двенадцатидюймовых снарядов. Его ели вши. Он прошел в кольце пожаров всю Польшу. Он был ранен. И все это для того, чтобы теперь гнуть спину в полковой канцелярии, бояться адъютанта, тянуться на улице перед не нюхавшими пороха прапорщиками и отбрыкиваться от взяток.

Однажды, когда он размышлял так во время дежурства, раздался телефонный звонок. Борис, забывшись, вместо «дежурный писарь» сказал:

— Алло!

И после этого целую минуту слушал изощреннейшую брань, которая шла из слуховой трубки. Брань закончилась фразой:

— Я надворный советник Николаев, а ты — шваль, дрянь, дермо, писарь!

Вот ради кого он воевал! Ради этого надворного хама. Он, Борис, пошел добровольцем для того, чтобы стать безгласным рабом. Ему вспомнился бой у деревни Единорожец, когда от полка почти никого не осталось. У вольноопределяющегося Шорина, студента, такого же добровольца, как и Борис, в том бою оторвало нижнюю челюсть, но в глазах его было больше удивления, чем боли и ужаса. Убитые длинной вереницей проходили перед Борисом. Это были разные люди, и воевали они по-разному, но всех их убила война. А войной управляли и непреклонно продолжали ее такие вот люди, как тот англичанин у Жилкиных. Зачем же он, Борис, пошел на эту войну? Что он искал в ней и что нашел? Искал героизма, а нашел рабство. Тут он вновь подумал о Клешневе, который так твердо знал, чего хочет, так уверенно говорил. И снова его захлестнуло желание стать мастером жизни, сильным человеком, который строит жизнь по-своему. Но ради чего? Ради каких целей? Вот тут-то, видно, самое главное и заключено, то́, чего он, Борис, еще не понимает...

К осени полковой командир получил чин генерал-майора и бригаду. Его место заступил начальник хозяйственной части, полковник, словно спрыгнувший с лубочной картинки, — с лихо закрученными усами и глазами, в которых раз навсегда застыло бравое выражение.

Полк был выстроен на дворе: полковник принимал командование. Гуляя по рядам, он орал что-то. Борис не расслышал, что́ именно.

Утром, проходя через канцелярию, новый полковник приветствовал писарей не по-обычному:

— Здоро́во, люди!

Это «люди» ударило Бориса, как оплеуха.

Борис не раз говорил обо всем, что волновало его, с Григорием Жилкиным. Но тот ничего не мог ему посоветовать и ничем не мог помочь:

— Это зависит от общей системы. У нас еще нет сил опрокинуть ее. В строю и на фронте еще хуже.

— На фронте лучше, — отвечал Борис.

Григорий усмехнулся:

— Это потому, что для тебя фронт уже в прошлом.

Борис служил писарем семь месяцев — с апреля по октябрь шестнадцатого года. Он не видел ни весны, ни лета — все для него сникло и потухло. А его родные были довольны: Борис не подвергался никакой опасности, о нем можно было не беспокоиться. Они считали, что Борис очень удачно устроился.

XIII

Это лето навсегда запомнилось Марише — лето пятнадцатого года, когда отец, землемер Граевский, посадил ее на проходившую мимо телегу и сказал:

— Поезжай... твоя судьба в России, а я... — Он сдерживал слезы. — Езжай, — повторил он. — Найдешь дядю, он поможет тебе.

Уже горел костел. Слушая этот зловещий грохот и треск, Мариша дрожала, и у нее не было сил справиться с собой. Больше ей уже не играть в веселой толпе девчонок и мальчишек, которых уважаемые господа — воинский начальник, брандмейстер и прочие — называли уличными. Больше не выслушивать выговоров от матери, которая однажды упала в обморок, внезапно увидев свою единственную дочь бегущей по балке недостроенного дома на двухсаженной высоте. Мать тяжело больна, и отец остается при ней. А она едет с малознакомыми людьми — соседом-медником и его женой — неведомо куда. Страшно! Ей было только семнадцать лет, и до этого она никуда не ездила. Она знала только свой родной маленький городок, изрезанный извилистой и узкой речкой, в которой водились пиявки.

Так началось это странное и необычайное путешествие на восток — первое путешествие в жизни Мариши. Особенно пугала ее артиллерия. На дороге появлялся вдруг несущийся вскачь офицер. Размахивая длинным стеком, он кричал:

— Сворачивай! К черту!

Стек гулял по шеям покорных беженцев.

И сразу же, теснясь по сторонам, скрипели телеги,

громко плакали дети. А сзади уже налетала артиллерия. Могучие кони мчались гордо и несокрушимо. По сравнению с тощими беженскими клячами они казались животными какой-то совсем другой породы. Веселые артиллеристы крушили все на своем пути. Ничто не могло остановить этого тяжеловесного грохочущего потока орудий, зарядных ящиков, походных кухонь, обозных повозок, широчайших мажар. Телеги беженцев опрокидывались, выворачивая наземь людей и имущество.

Мариша соскакивала, помогала отвести телегу в сторону.

Все чаще останавливалась вереница людей и повозок, и все трудней было разобрать, какая же это часть проходит сейчас мимо. Вот какая-то кухня громыхала между санитарной повозкой и пулеметной одноколкой. Вот уже широко и шумно двигалась пехота. Во главе ее шла странная рота: у каждого солдата под мышкой кричал гусь. Во главе гусиной роты шагал, спотыкаясь, прапорщик.

Все это напирало друг на друга, торопясь, толкаясь, а на полях вокруг скучали копны мирного хлеба. Пыль, поднятая тысячами ног, копыт и колес, медленно оседая, колола кожу, и жаркое небо давило плечи.

Потом какая-нибудь из телег робко втиралась в общий поток. Огромный лохматый еврей сгибался на ней в ожидании удара, и жена его замирала в телеге, всем своим телом охраняя закутанного в черную шаль ребенка. И если их никто не трогал, то на дорогу выезжала другая телега, а за ней тянулись и все остальные...

...Деревни, села и города оставались позади.

Наконец они достигли узловой железнодорожной станции.

Ночной вокзал судорожно шевелился. Солдаты толкались, путаясь между составами. Изредка проходили офицеры, раздавались «так точно» и «слушаюсь».

Огни — желтые, зеленые, красные — висели и двигались, загорались и гасли. Вокзал шевелился, гудел, стучал, свистел. Платформы медленно ползли мимо перрона, и на них под чехлами угадывались орудия.

На этой станции Маришу посадили в поезд, и она поехала в далекий Петроград. Кошелек с деньгами, которые дал ей отец, она спрятала за пазуху.

Небо тускнело, и вот уже дождь хлестнул по окнам. Все это было так не похоже на привычные с детства места! Усталая, ошеломленная длительным путешествием, Мариша почти все время спала. Дождь сопровождал ее всю дорогу.

Когда она приехала в Петроград, судьба ее решилась с неожиданной быстротой. Она не нашла дядю, к которому ее отправил отец, но попала на курсы сестер и была направлена на работу в солдатский госпиталь.

Как Мариша попала на курсы сестер? Может быть, она сознательно руководила своей судьбой? Нет, это было не так. Она проходила мимо госпиталя, где в это время принимали новую партию раненых. Случилось так, что она помогла одному из них дойти, подхватив его под руку. Фельдшер, не понявший, кто она такая, стал ею командовать. А когда выяснилось, что она человек посторонний, веселый черноглазый врач сказал:

— Ну, девушка, быть тебе сестрой.

Мариша работала в палате, где часто умирали.

Она никак не могла привыкнуть к этому. Запершись у себя в каморке (она поселилась при госпитале), Мариша частенько плакала. Ей было очень жалко людей, и жить становилось все страшнее и страшнее.

К весне в госпиталь привезли совсем молоденького самокатчика. Черноглазый веселый доктор признал его положение безнадежным. Самокатчик, раненный в грудь, умирал от чахотки. Рядом с ним лежал унтер с большими усами. У него было ранено бедро. Мариша не раз слышала, как унтер занимал мальчика разговором:

— Сколько звездочек у штабс-капитана?

Самокатчик робко отвечал:

— Че-четыре.

— «Четыре, господин унтер». Вот как нужно отвечать. А сколько у подполковника?

— Три, господин унтер.

— А полосок сколько на погоне у подполковника?

Вскоре самокатчик совсем ослабел. Еще утром он мог ходить. Спускал белые безволосые ноги на пол, вставлял сухонькие эти палочки в драные туфли и шлепал туфлями по палате. Так еще утром он бродил по палате, а перед обедом вдруг закачался и слабыми пальцами ухватился за кровать. Маленькое лицо его стало белей

простыни, ярко проступили веснушки, и явственней обозначилось, до чего тонка его шея. Тельце его сразу как-то обмякло, и пот смочил рубашку.

Мариша подхватила мальчика и отнесла его на кровать. Он был совсем легонький, как ребенок.

Унтер не пытался больше с ним заговаривать. Он лежал молча, а к вечеру вытащил из-под подушки золотого «георгия», долго рассматривал его, — видимо, хотел позабавить мальчика, — но потом опять спрятал его под подушку.

Веселый черноглазый врач поставил в истории болезни самокатчика после слов «положение безнадежное» черту, как будто мальчик уже умер. И когда он ушел, унтер пробормотал:

— Убивец проклятый.

Ночью унтер не спал. Он поглядывал на самокатчика, который изредка шевелился и стонал. И вдруг самокатчик захрипел.

— Санитар! — позвал унтер. — Санитар!

Тотчас прибежала Мариша.

Самокатчик последним усилием поднял одеяло на лицо, закрылся с головой и затих.

Унтер приподнялся на локте, повернул к самокатчику желтое, сухое, с обвислыми усами лицо.

— Митюха! — тихо позвал унтер. — Митюха, а?

Самокатчик не отвечал и не двигался.

— Что ж это, Митюха? — спросил унтер. Он вынул из-под подушки «георгия» и опять позвал: — Митюха!

Митюха не отвечал.

Унтер долго смотрел на него, закрытого с головой одеялом, сунул «георгия» обратно под подушку и, увидев, что по щекам у Мариши текут слезы, приказал:

— Буди санитара, плачем не поможешь.

Подошел санитар, смачно зевая и крестя свой влажный красный рот.

Самокатчика раздели догола. Белье с кровати унесли. Голое, слегка коричневое тело до утра лежало на потрепанном красном матраце.

Утром самокатчика унесли, а на освободившуюся койку положили солдата-артиллериста с гноящейся раной на ноге. Это был Николай Жуков.

Когда в палату прибывал артиллерист, Мариша тотчас вспоминала, как опрокидывали все на своем пути артиллерийские упряжки, и удивлялась, что в самих артиллеристах нет ничего страшного и что они ничем не отличаются от других раненых. Но в этом артиллеристе было что-то необычное. Он совсем не стонал, глаза у него было недобрые, и она плохо понимала, почему он так следит за каждым ее движением. В то же время ей казалось, что он совсем не такой недобрый. Однажды он вдруг попросил ее рассказать о том, откуда она. Она ответила очень коротко и отошла. Этот раненый беспокоил и волновал ее иначе, чем все другие.

Как-то ночью он сказал ей:

— А ведь вас, Мариша, куда понесет, туда и попадете. Так нельзя. И нельзя жалеть всякого без разбору.

Обойдя раненых, Мариша уже шла к себе в каморку, и Николай проговорил эти слова почти шепотом. Мариша остановилась у его кровати. Тусклый и неподвижный свет лампочки, тлевшей под потолком, смутно освещал ее по-ребячьи наивное, но с упрямым подбородком лицо. Она ответила:

— Вас это не касается. Спите.

— Касается. Меня повесят, а вы вешальщика жалеть будете.

— Как вам не стыдно! — тихо воскликнула Мариша, и в ее голосе послышались слезы. — Что я вам плохого сделала?

Николай улыбнулся, глядя на ее бледное, усталое лицо.

— Не надо быть слишком хорошей, — промолвил он. — Надо жалеть с выбором. Я не про раненых говорю. Я вообще про людей говорю.

— А если у кого несчастье?

— Смотря у кого. Некоторым я желал бы несчастья, вот сам хочу кой-кому устроить несчастье.

Удивительнее всего было то, что, говоря такие злые слова, он улыбался доброй улыбкой. Но при этом он вовсе не шутил. Мариша привыкла к тому, что раненые говорят злые слова, даже ругаются. Но у этого все было как-то иначе. Она не знала, что ему ответить.

— Спите! — сказала она строго. — Ночь!

И ушла к себе в каморку.

Но с тех пор Николай то и дело заговаривал с ней.

Каждое его слово было полно гнева, но в то же время она слышала в его голосе удивительную доброту. Он заговаривал с ней так, словно давно ее знает и лучше понимает ее мысли и чувства, чем она сама. Как будто он и есть тот дядя, к которому она ехала в Петроград и который, как она недавно узнала, умер перед самой войной.

Николай не выздоравливал. Рана гноилась. Веселый черноглазый врач уже заранее определил, что в артиллерию ему не вернуться, — там надо ездить верхом. А в пехоте он еще может пригодиться. Положение во всяком случае не безнадежное. Ничего. Солдат еще послужит.

XIV

В одном из октябрьских номеров вечерней газеты Борис прочел о том, что член Государственной думы Михаил Борисович Орлов состоит в военно-морской комиссии. Это был отец Сережи Орлова, его товарища по гимназии, вместе с ним окончившего ускоренным выпуском. Борис бывал у Сережи дома и знал его отца лично. Прочитав об Орлове в газете, он отправился к нему, чтобы рассказать о том, что видел и пережил. Может быть, этому человеку, стоящему теперь у власти, полезно будет узнать правду о солдатской жизни? И еще: может быть, он поможет Борису. Впрочем, Борис сам не знал, в какой помощи он нуждается и чего хочет от члена Государственной думы.

Было восемь часов вечера, когда Борис позвонил в квартиру Орлова. Член Государственной думы был дома и музицировал. Он сидел в гостиной перед роялем на круглом вращающемся стуле; на таком же стуле рядом с ним сидела его жена. В четыре руки они разыгрывали Мендельсона.

Чистенькая горничная пустила Бориса в прихожую и постучала в дверь гостиной. Музыка прекратилась, и недовольный голос спросил:

— Кто это?

Дверь скрипнула, и член Государственной думы появился перед Борисом. Это был большого роста, плотный человек в идеально чистой пиджачной паре. Борис

знал, что это не бутафорская массивность: гимназистом он не раз стискивал зубы, когда Орлов жал ему руку.

Член Государственной думы не узнал Бориса. Только когда тот назвал себя, он вспомнил:

— Ага! Как же! Пожалуйста. Но Сережи нет, Сережа был тяжело ранен, а теперь поправился и снова на фронте. Я у вас вижу «георгия». Это хорошо. Но почему вы до сих пор солдат, а не офицер? Вы ко мне по делу?

Он провел его в гостиную и познакомил с женой. Жена, поздоровавшись с солдатом, вышла. Член Государственной думы опустился в кресло и пригласил Бориса сесть.

Все было мягко в комнате: ковер на полу, диван, кресла, стулья. Лицо у члена Государственной думы приняло привычно-внимательное выражение. Лицо было полное, чисто выбритое, с большим мясистым носом.

— Я пришел к вам сказать, что солдатам очень плохо, — начал Борис, волнуясь, и почувствовал, что не знает, что сказать дальше. Его визит к члену Государственной думы вдруг показался ему удивительно нелепым. Зачем он сюда пришел? Орлов смотрел на него с удивлением. Борис все-таки заставил себя продолжать:

— Солдатам даже в трамваях не разрешают ездить.

Большое тело члена Государственной думы заколыхалось в кресле.

— То есть как это? Они виснут на всех подножках, забивают площадки, затрудняют пассажиров... Нет, нельзя! Возмутительно!

И еще несколько восклицаний, не имеющих особого значения, выскочило у члена Государственной думы уже просто по инерции. Потом он снова успокоился в своем мягком кресле. Видно было, что и сам он, и кресло, и гостиная, и жена, и горничная — все это держится на каком-то твердом убеждении, сдать которое было бы для члена Государственной думы равносильно смерти.

Борис понял уже, что пришел напрасно, что ни совета, ни помощи он тут не получит.

— Если так будет дальше, то может случиться военный бунт.

Эти слова вырвались у него непроизвольно. И так же непроизвольно вылетел ряд возмущенных восклицаний члена Государственной думы:

— Родина требует жертв, а вы думаете о пустяках. Сережа лежал при смерти, он страдал ужасно, но ни на один миг не поколебался. Он думал только об одном — о том, чтобы снова пойти на позиции. — Орлов овладел своим волнением и заговорил сухо, но твердо и решительно: — Я не считаю возможным говорить с вами о делах, которых вы еще совсем не понимаете. Если вам нужна моя помощь, то я вам, как Сережиному товарищу, окажу ее с удовольствием. — Он записал в блокнот полк, в котором служил Борис, сунул блокнот обратно во внутренний карман пиджака и продолжал: — Вы интеллигентный человек, а не простой мужик. Советую вам лучше разбираться в происходящих событиях. Надо сознательно относиться к жизни. Настроение армии нам прекрасно известно. Не все обращают внимание на такие пустяки, как запрещение ездить в трамваях. Мы живем в историческую эпоху, которая требует крайнего напряжения сил и максимального мужества. Нужно довести войну до конца и только тогда подумать о реформах.

Орлов замолк, с нетерпением ожидая, когда Борис уйдет. Он считал Бориса избалованным барчуком. «Самострелы» и дезертиры выходят из солдат именно такого рода! Члену Государственной думы было искренне стыдно за слова, сказанные товарищем его сына. Бунт из-за того, что запрещено ездить в трамваях! Член Государственной думы принадлежал к кадетской партии и высоко ценил роль либеральной интеллигенции в России. И вот интеллигентный юноша говорит ему такие слова! Ему показалось, что и Борису стало стыдно.

— Я понимаю, конечно, — сказал он, смягчая голос. — Человеку высокого интеллекта особенно тяжела солдатская служба. Вы должны быть офицером специальных войск. Не беспокойтесь, — я устрою вас.

И сразу после ухода Бориса он сел за рояль, чтобы музыкой заглушить неприятное, оскверняющее впечатление, оставленное этим солдатом. Но музыка не успокоила его. Он знал больше, гораздо больше, чем этот мальчишка. Он знал, что положение действительно опасное. Министерская чехарда к добру не приведет. И какие дрянные люди ставятся на важнейшие посты! И какой человек вершит государственные дела! Совсем не царь,

совсем не министры и уж во всяком случае не Государственная дума. Проклятый Распутин! А этот мальчишка в своем узком казарменном углу заметил только одно: в трамваях ездить не разрешается. Неужели солдатская служба так уж тяжела, что интеллигентного человека, который должен читать газеты, принимать живое и сознательное участие в общественной жизни, доводит до такого тупоумия, до такой узости, до такого непонимания эпохи!

Расхаживая по мягкому ковру гостиной, член Государственной думы говорил жене о катастрофическом положении России, о том, что Россия на краю гибели. Сейчас нужно крайнее напряжение сил, чтобы предотвратить катастрофу. Положительно, этот мальчишка ближе к истине, чем думает сам.

Жена молча слушала и жалела мужа: он так устал за последние месяцы!

Борис, уйдя от члена Государственной думы, с удивлением думал о слове, которое выскочило у него. Откуда, когда оно родилось? На фронте? Или в кабинете этнографа Жилкина? Или тут, в казармах и на улицах, когда испуганная рука все время тянется к козырьку, а глаз даже швейцаров и городовых принимает за офицеров?

Борис знал, что это слово рождают не только солдатская казарма и окопы. Но он не знал, что организация восстания — это искусство, уже имеющее признанных мастеров. Он вообще еще очень мало знал.

Несколько дней спустя вся канцелярия была взбудоражена телеграммой, которую адъютант передал для исполнения старшему писарю: военный министр, генерал Шуваев, приказывал срочно перевести рядового четвертой роты Лаврова Бориса в шестой саперный батальон. Это член Государственной думы помог товарищу своего сына.

Григорий Жилкин говорил Борису:

— Надо хлопотать, чтоб тебя оставили тут. А то ведь ты опять попадешь в строй. Я сегодня же поговорю с адъютантом.

Он удивленно пожал плечами, когда Борис попросил его не хлопотать.

— Если ты хочешь опять в строй, — пожалуйста.

XV

Клара Андреевна, надев пенсне, раскладывала пасьянс в кабинете мужа. Пенсне она надевала обычно только для пасьянса. В этот вечер Клара Андреевна была совсем спокойна и тиха, словно возвратила себе тот характер, который был у нее много лет тому назад. Ее муж сидел тут же, в кресле, и читал толстый технический журнал. Он отложил журнал и начал:

— Знаешь, Кларочка, со мной сегодня на заводе случилось неприятное событие...

— Да, — перебила Клара Андреевна, отвечая не на слова мужа, а на собственные мысли. — Я тоже хотела поговорить с тобой о Борисе.

Инженер Лавров хотел говорить совсем не о Борисе, но по обыкновению уступил жене:

— О Борисе?

— Борис все больше и больше дичится, — продолжала Клара Андреевна. — Я знаю, что́ с ним. Ему надо запретить ходить к Жилкиным. Это ты должен с ним поговорить. Как ты мог допустить эту дружбу? Жилкины — эгоисты, думают только о себе...

— Но теперь уже поздно, — отвечал инженер Лавров. — Об этом надо было давно подумать. Это с тех пор, как он жил у них на Сиверской.

Пасьянс вышел. Клара Андреевна собрала карты и, выравнивая колоду крупными мягкими пальцами, говорила:

— Я и тогда настаивала, чтобы не отправлять к ним Бориса. Десятилетнего ребенка отправлять к таким людям!

— Ему было двенадцать лет, — поправил инженер Лавров. — И ведь ты помнишь: у Юрия была скарлатина, ты не хотела его класть в больницу, а Борис мог бы заразиться. Со стороны Жилкиных это было даже хорошо — принять Бориса. И они сами предложили, хотя наши отношения...

— Заставили принять ванну и продезинфицировать белье! — воскликнула Клара Андреевна, стасовав колоду, и начала новый пасьянс. — Не беспокойся, эти люди себя в обиду не дадут. А что Юрий жив, это только

моя заслуга. Ты уже готов был убить его в больнице. Ты разве что-нибудь понимаешь?

В кабинете снова стало тихо. Переждав две минуты, инженер Лавров начал:

— А я хотел тебе рассказать о том, что случилось сегодня со мной на заводе...

— Я знаю, что́ с Борисом, — перебила Клара Андреевна. — Он уже в том возрасте, когда нужно ему разъяснить отношения мужчины и женщины.

Лавров не удержался от усмешки.

— Я думаю, он об этом прекрасно осведомлен.

Клара Андреевна строго взглянула на мужа:

— Мои дети воспитаны не так, как ты. Я боюсь, что какая-нибудь женщина, какая-нибудь Надька Жилкина развращает Бориса. Ты — отец, ты должен поговорить с ним и предостеречь. Или лучше я это сделаю.

И все свое внимание она снова перенесла на пасьянс. Муж начал в третий раз:

— Сегодня на заводе со мной случилось неприятнейшее событие, которое чрезвычайно...

— Эти Жилкины! — перебила опять Клара Андреевна. — Я их не люблю за то, что они врут и притворяются. И притом хвастуны.

Это было сказано просто так, чтобы обвинить в чем-нибудь ненавистное ей семейство.

Клара Андреевна никогда не задумывалась над тем, почему она кого-то любит, а кого-то ненавидит. Но она искренне верила в то, что ее любовь и ненависть всегда имеют глубокие и веские основания.

— Эти Жилкины совсем собьют с толку Бориса, — продолжала она. — Посмотри, что они сделали: опять угнали его в строй. И вот одиннадцать часов вечера, а его нет. Он, значит, сегодня тоже ночует в казарме.

Инженер Лавров возразил:

— Но ведь, Кларочка, тут уж Жилкины ни при чем. Это сам Борис.

— Не спорь и не ругайся! — воскликнула Клара Андреевна. — Ты вечно накидываешься на меня с упреками. Вечно бранишься и скандалишь. Хоть бы прислуги постеснялся!

Инженер Лавров смолчал.

Клара Андреевна продолжала раскладывать пасьянс. Потом заговорила:

— Вот об Юрии я не беспокоюсь. Его нету дома — значит, он у кого-нибудь из университетских товарищей. Хотя все-таки странно: уже одиннадцать часов. Вот заметь, что Юрий с Жилкиными не в дружбе. В этом году он, кажется, ни разу и не был у них. И все эти Жилкины какие-то тупоголовые, узкие — с ними разговаривать-то не о чем. Они как-то совсем ничего не знают, не понимают.

Она смешала неудавшийся пасьянс и сказала мужу:

— Поди к Анисье, чтобы поставила самовар.

Инженер Лавров поднялся с кресла, но не сделал ни шагу. Отвернув борт пиджака, он схватился левой рукой за грудь, тяжело дыша и слегка покосившись влево, словно собираясь упасть.

Клара Андреевна вскочила, всем телом почувствовав приближение несчастья. В такие минуты она становилась необыкновенно энергична: она способна была на все, чтобы защитить спокойствие и жизнь.

— Что с тобой? Ваня! Ванечка! Я же тебе говорила, что надо лечить сердце.

Она усадила мужа обратно в кресло. Инженер Лавров проговорил, задыхаясь:

— Вот и на заводе... так... совсем... внезапно... — И прибавил, уже приходя в себя: — Дело дрянь. Машина начинает портиться.

Клара Андреевна крикнула:

— Анисья!

Из кухни прибежала Анисья.

— Стой тут, около барина.

Клара Андреевна торопливыми шагами направилась к телефону: немедленно вызвать доктора. Она обязательно хотела самого лучшего специалиста. Но самый лучший специалист снял телефонную трубку, чтобы никто не беспокоил его так поздно. Клара Андреевна вмиг надела шубу, шляпку, боты и собралась ехать к нему, когда муж, уже совсем оправившийся после легкого сердечного припадка, догнал ее у выхода и задержал:

— Все прошло, Кларочка! Ты не уходи.

Клара Андреевна обрадовалась так же неумеренно, как испугалась:

— Слава богу. Нет, я все-таки верю в бога. Бог не допустит такого несчастья.

И она истово перекрестилась перед висевшим в углу столовой образом Николая-чудотворца.

Когда Юрий вернулся домой, самовар уже шипел на столе, а мать и отец ужинали в необыкновенно мирном настроении. Юрий рассказывал о своем реферате, который очень понравился профессору. Мать любовно слушала его и вдруг вздохнула: она вспомнила Бориса. Ей стало жалко младшего сына. Он сейчас в казарме, а там, наверное, спать не так удобно, как дома. Она с удовольствием глядела на Юрия: какой он красивый! Нежное розовое лицо, русые, подстриженные ежиком, волосы, русая бородка и очаровательные голубые глаза. И опять она вспомнила Бориса. Она хотела сейчас, чтобы каждая минута жизни ее детей проходила у нее на глазах, что бы не надо было беспокоиться о них. Но это было невозможно, и она успокаивала себя горячим чаем, который пила из огромной, емкостью в два полных стакана, белой фарфоровой чашки.

К ночи инженер Лавров, стягивая пиджак, жилет, брюки — все, что облекало его стареющее тело, досказал, наконец, жене:

— Сегодня на заводе, когда со мной случилось то же самое, я пошатнулся, и никто из рабочих даже не помог мне. Только мастер поддержал под руку и вывел из цеха.

— Ужасно! — воскликнула Клара Андреевна. — Это благодарность за то, что ты страдал за них в институте! Вот видишь, как я всегда права! Они думают о себе больше, чем мы!

— Ну-ну, — успокаивал ее Лавров. — Это уж ты слишком.

— Нет, не ну, — возразила Клара Андреевна. — Надо быть негодяем, чтобы не помочь больному человеку.

— А может быть, мне показалось, — продолжал инженер Лавров. И, восстанавливая в памяти ощущение, испытанное на заводе, он прибавил: — Конечно, показалось. Когда я пошатнулся, я подумал, что вот теперь, в беде, и обнаружится, до чего я в сущности чужой им человек. Ну, как офицер среди солдат. А тут мастер меня и поддержал. Если бы не мастер, то и рабочие, наверное, помогли бы.

— Конечно, помогли бы, — успокоенно подтвердила Клара Андреевна. Она не могла понять ощущение, которое испытал на заводе ее муж. Она знала только ту жизнь, которую вела сама.

Устраиваясь рядом с женой, инженер Лавров тяжело вздохнул: жизнь кончалась. И все годы — со дня свадьбы до сегодняшнего дня — показались ему вдруг удивительно холодными и пустыми.

Дело — дрянь. Жизнь прожита зря, а перестраивать ее поздно. Ему даже жутко стало, когда он подумал, что надо продолжать такую жизнь. И как он стар для своих лет!

Клара Андреевна не думала о будущем: она была слишком уверена в нем. Она боялась только за мужа и за детей. И, повернувшись к мужу, она ласково сказала ему:

— Мы завтра же поедем к специалисту. Этого запускать нельзя.

XVI

Борис явился в казармы шестого саперного батальона утром. Батальон стоял на Кирочной улице, в доме против Воскресенского проспекта и рядом с частью Преображенского полка. Борис был назначен в Знаменскую казарму, в восьмую роту, в которой огромное большинство составляли вольноопределяющиеся, кандидаты в школу прапорщиков. Восьмых рот в батальоне было, собственно, четыре: «а», «б», «в», «г». Каждая рота имела своего ротного и полуротного, а командиром всех четырех рот был капитан Микитов, которого солдаты видели только в дни выдачи жалованья: капитан ведал хозяйственными делами роты и жалованье выдавал сам.

Восьмая рота «г» помещалась в третьем этаже большого дома, выкрашенного в серый дымчатый цвет. Помещение роты состояло из пяти комнат. В четырех больших комнатах повзводно жили солдаты. Деревянные нары были построены тут в два этажа. Длинный коридор вел из прихожей вправо, мимо уборных, в пятую комнату — канцелярию. Тут стояли стол, два стула и кровать. Это было жилище фельдфебеля и ротного писаря. Писарь сидел тут только днем, ночевал он дома.

Фельдфебель определил Бориса в третий взвод. У взводного было совсем простое, обыкновенное лицо и совсем простой, обыкновенный характер. Он строго исполнял службу, а когда служба переставала нравиться ему (это случалось каждый раз, когда он получал письмо из деревни или просто вспоминал о родных местах), он с совершенной откровенностью бранил войну. Вообще он оказался очень прямым и откровенным человеком.

Долгая служба на фронте и георгиевский крест не спасли Бориса от обычных казарменных правил. Взводный в первый же день проверил его: заставил ходить мимо себя взад и вперед и на ходу отдавать честь, как офицеру, а также становиться во фронт, как перед генералом. Он нашел манеру Бориса слишком вольной для Петербурга и побоялся пускать его на улицу, прежде чем Борис не приобретет полной четкости в движениях рук и ног и в повороте головы. Так Борис на неопределенное время остался без увольнительных записок.

Он получил место на нарах внизу. Казарменная жизнь была знакома ему: он привык к ней еще в запасном полку, до отправки на фронт. С той поры, казалось ему, прошло не полгода, а по крайней мере десять лет.

К ночи казарма стихла. Саперы располагались на нарах. Было душно, дымно и пахло знакомым запахом портянок. Борис, как все, стянул сапоги, расстегнул пояс, снял гимнастерку и штаны, аккуратно сложил все и лег на жесткие нары, укрывшись с головой шинелью. Он никак не мог заснуть, слыша шепот на верхних нарах. О чем шептались, он не мог разобрать. Но вот голос снизу крикнул:

— Молчите, сволочи!

Шепот стих. Дежурный по роте потушил электричество. Надо было спать. Борис ожидал бессонницы, но крепкий сон захватил его врасплох.

В шесть часов утра дневальный по приказанию дежурного солдата разбудил саперов криками и пинками. Большинство встали сразу, не заставляя себя упрашивать. Иные (в том числе и Борис) остались еще понежиться на жестких нарах. Через пять минут дневальный влетел с криком:

— Дежурный офицер!

Дежурный офицер — это было уже слишком страшно. Борис моментально вскочил, натягивая штаны, сапоги, гимнастерку. Он удивлялся, почему медлят ленивцы: из всех валявшихся на нарах он один так быстро снялся с места. Дежурный офицер не пришел. И по шуткам солдат Борис понял, что дежурного офицера нигде вблизи и не было, — просто каждый дневальный считал своим долгом испугать товарищей.

После чаю, в половине восьмого, снова раздался крик дневального:

— А ну, вылетай на занятию-у-у!

Саперы, затягивая потуже пояса, подходили к стоявшим у стены козлам и разбирали винтовки. Борис тоже взял винтовку, выданную ему еще вчера. Потом все гурьбой направились к выходу. Выходов было два: на улицу и во двор. Ходить по парадной лестнице солдатам было запрещено, и они сошли по черной лестнице во двор.

Мороз взбодрил Бориса. Хотелось скорее начать двигаться. Переминаясь с ноги на ногу, он ждал, когда выстроятся и уйдут со двора первые два взвода. Вот их уже вывели на улицу, и очистилось место для взвода, в котором служил Борис.

— На первый-второй рассчитайсь! Ряды вздвой! Нале-во! На пле-чо! Шагом марш!

И саперы двинулись к воротам.

— Левое плечо вперед! Шагом марш!

Саперы вышли на Кирочную улицу. Взводный повел их по Воскресенскому проспекту на Сергиевскую, где ежедневно происходило учение. Редкие прохожие останавливались и с любопытством глядели на солдат.

Один взвод сплошь состоял из студентов, и командир этого взвода тоже был студент. Прохожие с удивлением слушали необычайную команду:

— Коллега правофланговый, подравняйтесь чище! В ногу, коллеги! В ногу!

Но вот из-за угла Воскресенского проспекта показался полуротный командир, прапорщик Стремин, и командир студенческого взвода сразу забыл о товариществе. «Коллеги» исчезли и заменились солдатами, которых надо

было так вышколить, чтобы они пошли на смерть не только с охотой, но и с удовольствием.

— Рота, смирно! Равнение напра-во!

Прапорщик медленно двигался по панели. Он был небольшого роста, широкогрудый, с короткими ногами, плотный, сбитый из костей и мускулов. Подойдя к роте, он рявкнул сильным голосом:

— Здоро́во, саперы!

На что последовал немедленный ответ:

— Здражлавашвсокродь!

У саперов, как и у гвардейцев, каждый офицер батальона был «высокоблагородием», «благородиями» можно было называть только младших офицеров других полков. Пока Борис кричал и его голос сливался с многоголосым ревом роты, в голове у него мелькнула мысль: кому только он не кричал приветствий! Он кричал как пехотинец, как писарь, теперь кричит как сапер...

Прапорщик оглядел выстроенную перед ним повзводно роту. Он останавливал внимательный взгляд то на том, то на другом солдате. Это был один из тех офицеров, которые, как истинные мастера своего дела, испытывают наслаждение при виде чисто проделанного упражнения или безукоризненно ровного строя одинаково одетых людей. Его взгляд вникал в каждую мелочь и, проходя по рядам, подтягивал роту, напрягал мышцы солдат. Стало так тихо, что даже какой-то прохожий с портфелем под мышкой на всякий случай остановился. А дворник вышел из ворот на эту тишину, как на крик. Наконец прапорщик освободил роту от своего взгляда и сказал, поворачиваясь к солдатам спиной:

— Вольно! Продолжайте учение!

Учение заключалось главным образом в шагистике. Выстраиваясь то по взводам, то по отделениям, рота печатала шаг туда и обратно по мерзлой мостовой. Затем, разделившись на взводы, солдаты по команде взводного брали винтовку на плечо, к ноге, на караул. Борису было обидно проделывать эти упражнения после стольких месяцев боевой службы. Но он был пехотинец и среди саперов оказался молодым солдатом. Когда надо было колоть воздух штыком и бить прикладом, он подумал, что ни разу за все время пребывания на фронте ему не пришлось участвовать в штыковом бою. При штыковой атаке

солдаты всякий раз прыгали в уже пустые окопы; немцы оставляли позиции, не выдерживая русского «ура». Атаки же немцев обычно отражались пулеметным, ружейным и артиллерийским огнем. До открытого штыкового боя дело не дошло ни разу.

Перед самым перерывом взводный скомандовал:

— На выпаде останься — коли!

Это было самое трудное упражнение. Мускулы живота напрягались до крайности. Выдвинув левую ногу вперед и во всю длину вытянув руки, надо было так крепко держать винтовку, чтобы она не шелохнулась даже тогда, когда взводный, пробуя умение и силу солдата, ударял кулаком по стволу.

Ротный командир на учение не явился.

В двенадцать часов рота вернулась в казармы. Саперы составили ружья в козлы и отправились строевыми командами в Преображенские казармы на обед. Обед в этот день был хороший: не селедочный суп, как обыкновенно, а щи и гречневая каша. В кашу вместо масла было положено сало.

В три часа дня рота снова вышла на учение — до шести часов вечера. По возвращении в казармы началась выдача увольнительных записок — одним до утра, другим до восьми часов вечера. Борису, как и многим другим, увольнительная записка не полагалась.

Сев на подоконник, Борис принялся чистить винтовку: он любил это дело, оно успокаивало его. Вынув затвор, он разобрал и до блеска протер тряпочкой каждую мельчайшую его часть. Он вспомнил, как в первые дни солдатской службы боялся разряжать винтовку. Ему казалось, что если нажать спусковой крючок, винтовка обязательно должна выстрелить, в каком бы положении ни был затвор. Взводный, подойдя, похвалил Бориса:

— Молодец! Понимаешь винтовку.

— Еще бы не понимать, господин взводный, — отвечал Борис, собирая затвор. — Чуть ли не год на фронте бился.

— Отчего не офицер? — осведомился взводный.

Борис на миг сам удивился: отчего он действительно до сих пор оставался в солдатах?

Он не сказал, что семь месяцев прослужил писарем: ему вдруг стало стыдно.

— Вижу, что парень ты боевой, — сказал взводный. — Экзамен при учебной команде сдашь, унтера получишь — и в школу. А то что тебе зря мотаться?

— Может быть, заявление подать ротному, чтобы...

Борис не знал, что ему просить у ротного, и замолк.

Взводный махнул рукой.

— Заявление! Сам знаешь — заявление в канцелярию пойдет, к писарю. Наш-то — парень свой. А поди сунься в батальонную. Сам знаешь, писаря́ — сволочь народ. Хорошо, если за зелененькую сделают, а то бывают такие, что и совсем не берут. Те еще хуже. Дела все равно от них не жди — разве они солдатскую службу понимают? Нет, писаря солдатским горем не прошибешь!

Он долго ругал писарей, а Борис радовался, что не сказал ему о том, что и сам был писарем, да еще таким, который взяток не брал, а все делал точно по уставу.

Ротного командира Борис увидел только через два дня на ученье. Он появился на полчаса, постоял в сторонке и ушел. Это был длинный сутуловатый подпоручик. Под носом у него распущены были длиннейшие усы, которые придавали его лицу вечно удивленное выражение. Он шагал совсем не как полуротный: вялой, лишенной упругости походкой. Он был офицером военного времени и военной службы не любил. Весь его внешний вид красноречиво говорил о том, что золотые погоны с одной полоской и двумя звездочками попали на его плечи совершенно случайно.

Зная это, он иногда пытался поднять свой офицерский престиж криком и бранью. Но это, заставляя солдат относиться к нему враждебно, не развлекало его. Брань его всегда была беспричинна, не то что у полуротного прапорщика. Глаз полуротного подмечал малейшую неправильность в одежде, в движениях, в голосе солдата, и каждый всегда знал, за что ругает его этот квадратный человек с широким и плоским лицом.

В субботу Борис еще с утра попросил у взводного увольнительную записку до понедельника. Тот согласился.

На вечернее учение неожиданно явился ротный командир в сопровождении фельдфебеля. Солдаты поняли, что это неспроста.

В четыре часа ротный сказал что-то вытянувшемуся перед ним фельдфебелю, и фельдфебель встал перед строем. Он набрал воздух в легкие и оглушительно крикнул:

— Смирно!

Как только ротный скрылся за углом, он передал команду одному из взводных командиров — младшему унтер-офицеру Козловскому.

Высокий, тонкий Козловский кричал слова команды визгливым голосом, наполнявшим всю улицу. Он повел роту в Преображенские казармы на инспекторский смотр. Он понимал, что солдаты были недовольны тем, что их повели куда-то именно сейчас, когда увольнительные записки обещали им долгожданный отдых. И он нарочно скомандовал:

— Бегом маррш!

Все расстояние до Преображенских казарм солдатам пришлось пробежать.

Рота выстроилась на обширном дворе. Было двенадцать градусов мороза. От солдат, как от табуна загнанных лошадей, шел морозный пар. Они переминались с ноги на ногу, терли руками уши, подбородки, щеки. Долгое ожидание на морозе доводило их до остервенения. Проходя по рядам и видя, что солдаты мучаются, Козловский радовался. Он говорил, кривя рот:

— Холодно? А если б еще стреляли по вас, — то это как назвать? Кровь на морозе во́ как мерзнет!

Рота ждала полтора часа. Наконец к ней вышел командир батальона полковник Херинг. Это был небольшой, толстый человечек, слегка подпрыгивавший на ходу от желания стать выше ростом. Солдаты знали о нем только то, что он женат и что его сын обучается в кадетском корпусе. За ним шел незнакомый полковник, ради которого, как оказалось, и была вызвана рота. Солдаты так и не узнали его фамилии. Было сказано только, что этот полковник командирован штабом для инспекторского осмотра и опроса претензий.

Поздоровавшись с саперами, полковник Херинг уступил место незнакомому офицеру. Тот неистово закричал:

— Унтер-офицеры, ко мне! Бегом!

Саперы трепетали, отданные во власть новому и неизвестному еще человеку. До сих пор им приходилось

повиноваться своим привычным крикунам, чьи повадки были уже детально изучены, и каждый солдат знал максимум наказания, которое может постичь его при той или иной оплошности. А это был совсем новый человек, да еще с таким голосом, что черт его знает, на что он способен. Рота была испугана.

Штабной полковник оставил унтеров в стороне и быстро пошел по рядам, не останавливаясь ни на секунду и почти без передышки повторяя:

— Никаких жалоб нет? Никаких жалоб нет? Никаких жалоб нет? — Дойдя до середины строя, он отошел на несколько шагов назад и крикнул: — Го-ло-вы на началь-ни-ка! Смотреть на меня!

И снова пошел по рядам. А двести голов поворачивались сообразно его движениям, и четыреста глаз испуганно ели начальство. Никаких жалоб ни у кого, конечно, не оказалось. Саперы мечтали только об одном: благополучно пройти сквозь это испытание. Тут было не до жалоб.

Затем солдаты по очереди должны были пройти, печатая шаг, мимо полковника, стать во фронт и, если полковник не остановит и не заставит повторять, бежать к воротам, где выстраивалась рота. Полковник заметил георгиевский крест на груди Бориса. Когда тот, вытянувшись, ожидал команды «вольно» или «отставить», полковник спросил его:

— Был в боях?

— Так точно, ваше высокоблагородие!

Полковник махнул рукой, и Борис побежал к воротам. Смотр кончился. Рота вышла на улицу. Взводный, идя рядом с Борисом, говорил:

— Теперь отделение тебе дадут. Уж если заметил — дадут. Увольнительную получил? Ну, ладно. А то я и забыть мог.

Отделения Борису не дали. Когда в понедельник он вернулся из дому, он узнал, что штабной офицер остался недоволен ротой. Все взводные и отделенные были смещены. Остался только один Козловский.

— Теперь пойдет дело, — радовался он. — Теперь начнут цукать!

XVII

Придя в субботу домой, Борис встретил со стороны родных преувеличенное внимание. Он помнил, что так же внимательно и любовно относились к нему только восемь лет тому назад, когда умерла его младшая сестра. Это длилось тогда около месяца, а потом прошло.

Клара Андреевна тотчас же рассказала ему об участившихся сердечных припадках отца и, так как до вечернего чая оставалось еще по крайней мере полчаса, решила поговорить о нем самом. Она увела сына в кабинет, выслала оттуда мужа и принялась искать пенсне. Пенсне, как всегда, вблизи не оказалось.

— Ваня, — говорила Клара Андреевна, — это опять ты! Ты вечно засунешь мое пенсне! Юрий, кто взял пенсне?

— Оно тут, — указал Борис: пенсне на шелковом шнурке висело у Клары Андреевны на спине.

— Вот он всегда так! — воскликнула Клара Андреевна, поймав пенсне. Кто был этот «он», так и осталось неясным.

Она надела пенсне, как будто ей предстоял пасьянс, и состроила такое лицо, которое должно было показать Борису, что разговор будет серьезный, на очень щекотливую тему.

Она заговорила, всем своим видом показывая, что подбирает слова и выражения с необыкновенной осторожностью:

— Ты, Боря, уже не ребенок. Ты должен знать, что детей приносит не аист. — Борис удивился такому вступлению. — Детей аист не приносит, — строго продолжала Клара Андреевна, — дети рождаются иначе. — Она задумалась: ни одно сколько-нибудь приличное выражение не подходило для того, чтобы объяснить сыну, как рождаются дети. Потом она нашла, наконец, нужные слова: — Вот, например, ты. Тебя родил не аист, а я. А для того, чтобы я родила тебя, нужен был папа.

Тут Клара Андреевна покраснела, как девочка. Она встала, сняла пенсне, бросила его за спину и сказала:

— Папа тебе все разъяснит.

— Я уже давно знаю, — сказал, наконец, Борис.

К стр. 398

— Ты меня понял? Тем лучше.

И она вышла из комнаты. Борис с удивлением глядел ей вслед. Весь разговор с матерью показался ему просто неправдоподобным. А за чаем Клара Андреевна глядела на него с нежностью: она чувствовала, что исполнила долг матери и помогла жить сыну. Опровергнуть это убеждение —значило бы убить ее.

На следующий день сразу же после обеда Борис отправился к Жилкиным. Там снова появился Фома Клешнев. Сейчас он играл с этнографом в шахматы. Жилкин был игрок первой категории. Он играл спокойно, медленно и беспощадно. Он пользовался малейшей ошибкой противника и был так же непреклонен в атаке, как тверд в защите. Клешнев волновался, злился и проигрывал.

Не желая прерывать партию, Борис даже не поздоровался с Жилкиным, а ушел в дальнюю комнату — к Наде. Тут стояли кровать, письменный столик, диван, кресло, стул и еще какие-то маленькие тумбочки и табуреточки, назначения которых Борис не понимал: садиться на них он опасался. А сама Надя была совсем не кукольная, — плотная и здоровая девица с розовыми щеками и длинной русой косой.

Она усадила Бориса на диван и заставила рассказать все, что с ним случилось за последнюю неделю. Выслушав, она промолвила:

— А я рада, что ты не писарь. — И добавила, подумав: — Но это хорошо, что и писарем был, и это узнал. Все это тебя обучает. Но тебе уже пора начать революционную работу.

Надя выросла среди людей, для которых тюрьма и ссылка были так же обыкновенны, как для других поездка в служебную командировку или перевод с одной службы на другую.

В детстве Надя говорила про себя: «Я кончу гимназию, а потом поступлю в тюрьму».

Она и представить себе не могла, что жизнь ее обернется как-нибудь иначе. А пока она училась на курсах и подрабатывала деньги уроками. Она принципиально не хотела жить на счет отца.

Борис продолжал болтать. Он начал пересказывать ей сцену с матерью, и по Надиному лицу понял, что

тема разговора ей не нравится. Борис оборвал фразу на середине. И только через минуту, когда Борис говорил уже совсем о другом, Надя, не удержавшись вдруг расхохоталась. Борис тоже засмеялся: действительно, смешно, когда взрослому балбесу разъясняют такие вещи, как мальчику.

Тем временем Жилкин уже обыграл Клешнева. Расставляя фигуры для новой партии, он говорил:

— У вас нет достаточной выдержки. Вы путаете последовательность ходов и ни одной комбинации не доводите до конца. Я уже в дебюте получил лучшую партию.

Клешнев усмехнулся.

— Если бы вы в жизни были так тверды, как в шахматах!

— В жизни я тоже твердый человек, — сказал Жилкин, выдвигая на два поля вперед ферзевую пешку.

— В жизни вы добродушный соглашатель, — отвечал Клешнев и выдвинул вперед королевскую пешку.

— Нет, не соглашатель, — возразил Жилкин. — А вот вы плохо знаете теорию дебютов.

— Я упорный человек даже в шахматах, — сказал Клешнев, продолжая игру.

Но вскоре он оказался в таком тяжелом положении, что сдал партию.

— Не всякий хороший политик — хороший шахматист, — изрек Жилкин.

— Не всякий хороший шахматист — хороший политик, — отвечал Клешнев, усмехаясь.

Он уселся глубже в кресло и, вздохнув, вынул портсигар:

— Вот курить начал. На тридцать восьмом году жизни начал курить. Я курил только один раз в жизни — в киевской тюрьме. Я тогда ожидал смертного приговора, а мне было двадцать три, нет, двадцать пять... сколько мне тогда было? Я получил каторгу вместо смерти.

Он задумался, потом спросил:

— От Анатолия есть письма?

Жилкин усиленно замигал. Глаза его сразу покраснели:

— Уже два месяца нет известий.

Клешнев постарался перевести разговор на другое:

— Да... гм... папиросы... двадцать штук в день курю.

Денег уходит — уйма. Да... А скажите, кто этот солдат, молодой такой? Он у вас часто бывает.

— Он с Надей очень дружен, — ответил Жилкин, тоже охотно меняя тему разговора.

— Его фамилия Лавров? — припомнил Клешнев. — Я знавал инженера Лаврова. То есть он тогда еще не был инженером. Он кончал институт. Его звали Иван Николаевич. У меня дурацкая память на лица, фамилии, цифры. Кстати: мне было двадцать три года, когда я сидел в киевской тюрьме. Я напрасно усомнился.

— Это тот самый, — сказал Жилкин. — Иван Николаевич Лавров. Наши отцы очень дружили.

— Я встречал его много лет тому назад в одном кружке. Потом он исчез. Когда-то он, кажется, был довольно деятельным работником. Он бывает у вас?

Жилкин приподнял широкие плечи, развел руками, и сглаживающая резкие слова улыбка появилась на его бородатом лице, как всегда, когда он хотел сказать о комнибудь неприятное:

— Нет, он не бывает. Он мне не совсем нравится. Он, несомненно, честный и неглупый человек, но в нем не хватает какого-то понимания. А с его женой мы решительно в ссоре — это невозможная женщина. То есть...

Клешнев перебил, усмехаясь:

— Представляю, что́ это за семейка.

— Он женился и совсем отошел от нас, — продолжал Жилкин и прибавил: — А Боря — прекрасный юноша. Совсем не в родителей. Отца его мне все-таки жалко: в молодости он подавал большие надежды. Бедствовал ужасно. За женой он взял большие деньги — она из богатой семьи.

— Да? — спросил равнодушно Клешнев. Эта тема, видимо, не слишком его интересовала. — А вы знаете, что я делаю сейчас в Питере? Работу на заводе ищу. У меня теперь легальный паспорт. Гуляю по Питеру свободно. Я ведь все-таки квалифицированный токарь.

— Идите ко мне в секретари, — предложил этнограф.

— Спасибо, — отвечал Клешнев. — Если не удастся на заводе...

В передней послышались шум и говор. Жилкин вышел. Это одевались Борис и Надя. Надя объяснила:

— Мы в кинематограф, в «Сатурн».

Жилкин, вернувшись в кабинет, сказал Клешневу:

— Вот как раз Борис тут. Он ушел сейчас с Надей. — И прибавил: — Я думаю, что Толя убит. Он предупреждал, что не выстрелит даже тогда, когда это нужно будет для самозащиты.

Жилкин усиленно мигал, и глаза у него краснели.

Надя и Борис шли на угол, к трамваю. Жилкины жили на Большом проспекте, невдалеке от Каменноостровского. В этот вечерний час на улице толпилось много народу. Борис то и дело козырял офицерам, а один раз вытянулся во фронт перед генералом. Надя забавлялась, глядя на него. А Борис уже волновался: увольнительная записка давала ему право на жизнь и после восьми часов вечера, но в кинематографе, особенно в таком шикарном, как «Сатурн», нужно было каждую минуту спрашивать разрешения у старшего чином, стоять в антрактах. Удовольствие превращалось в муку. И он уже раскаивался, что предложил Наде идти в «Сатурн».

На углу Большого и Каменноостровского они сели в трамвай. Надя хотела войти внутрь вагона, но Борис задержал ее на площадке:

— Мне туда нельзя.

Надя удивилась, но послушалась. Чуть трамвай тронулся, на площадку, вскакивая на ходу, набилось столько солдат, что Борис помрачнел.

На предпоследней перед Троицким мостом остановке трамвай после звонка кондукторши не тронулся с места. Борис понял, что это значит. Он не побежал: его стесняло присутствие Нади.

На площадке осталось шесть солдат. Они в ужасе кинулись к противоположному выходу из вагона. Но и там уже стояло двое патрульных с винтовками и красными повязками на рукавах: вагон был оцеплен.

Борис заглянул внутрь вагона: у входа на переднюю площадку стоял унтер. Значит, там все кончено: солдат ссадили. Теперь примутся за заднюю площадку. Прапорщик, с совсем новыми погонами, должно быть только что произведенный, на миг появился на площадке и снова нырнул в уличный мрак. И в следующую минуту молодой солдат взял Бориса за плечо:

— Сходи!

Борис сдернул его руку с плеча.

— У меня билет.

И он показал трамвайный билет.

— Сходи! — злобно закричал патрульный. Видимо, он был очень недоволен своей ролью и хотел как можно скорее от нее отделаться.

Надя молча глядела на все это. Ей было ясно, что помочь она тут ничем не может. Теперь она припомнила жалобы Бориса на запрещение ездить в трамваях, раньше она никогда не обращала на них особого внимания.

Борис сошел с трамвая и оказался в кругу конвойных вместе с семью такими же, как и он, солдатами. Арестованных повели во двор: переписать и отправить в комендантское управление. Борис шагнул один раз, второй, а на третий раз, как будто случайно, запнулся. И тогда конвойный, шедший сзади, тихо потянул его за полу шинели.

— Теки! — сказал он.

Это был тот самый конвойный, который так злобно согнал его с трамвая.

Борис не задумался ни на секунду: он сразу же ринулся из круга конвойных вдоль трамвайной линии. Кто-то крикнул: «Держи!» И еще: «Лови его!» Люди, следившие за солдатом, убежавшим из-под конвоя, думали, должно быть, что это опаснейший преступник — убийца или шпион. Никто бы не поверил в то, что суета на Каменноостровском проспекте возникла по такой пустяковой причине.

Трамвай набирал ход, и Борис никак не мог обогнать его, чтобы перебежать рельсы, хотя он мчался по проспекту стремительнее, чем в атаку. Все — сзади и справа — гнались за ним. Каждую секунду враг мог оказаться впереди. А слева — проклятый трамвай, который не отстает и не перегоняет. А за бегство из-под конвоя полагается наказание почище обычных дисциплинарных взысканий. Военная тюрьма, штрафной батальон...

Вагоновожатый на всем ходу остановил трамвай: он заметил и понял солдата. Борис дернулся влево, перебежал рельсы, и вагоновожатый тотчас же снова дал полный ход трамваю, отделив Бориса от преследователей. Борис никогда не узнал, кто был этот вагоновожатый. Он так же мелькнул в его жизни, как тот пулеметчик, который спас ему жизнь в поле за Наревом.

С того момента, когда конвойный потянул Бориса за полу шинели, прошло не больше двадцати секунд. А через десять секунд Борис уже затаился на первом же дворе, забежав далеко вглубь, к помойке. Там он перевел дыхание: он был жив и спасен. Отдышавшись, он вышел на Каменноостровский проспект. Те, что гнались за ним, уже бесследно исчезли. Трамваи, экипажи и люди ежеминутно сменялись на этом перекрестке. Борис двинулся пешком по панели к Троицкому мосту. В том, что случилось с ним, ничего неожиданного или необычного не было. Он был даже доволен: по крайней мере избавился от необходимости идти в кинематограф. И чего это ему взбрело в голову развлекаться не вовремя!

Против памятника «Стерегущему» Бориса остановила Надя. Она ждала его тут:

— Что это такое?

Борис пожал плечами:

— Ничего особенного. Самое обычное дело. Ты извини, что так глупо получилось.

Надя вдруг заплакала. Борис растерялся. Сам он плакал в последний раз шести лет от роду. Тогда восьмилетний Юрий без всякой причины хлопнул его по щеке. Борис заревел во всю глотку не столько от боли, сколько от неожиданности и еще оттого, что брат слишком всерьез ударил его, по-взрослому. С той поры ему не приходилось плакать. Он как-то сразу и навсегда поверил отцу, что плакать стыдно. Он привык дома не к плачу, а к истерикам, которые ненавидел. А тут девушка плакала без всякой истерики, еле слышно всхлипывая. Было жалко глядеть на нее, но Борис совершенно не понимал, как ее успокоить. Он пробормотал:

— Что ты?.. Успокойся... Что с тобой сделалось?

Прохожие с усмешкой оглядывались на солдата с «георгием» на груди и на плачущую девушку: обольстил, наверное, а теперь на попятный!

Вдруг Надя перестала плакать, отерла глаза рукавом пальто и сказала:

— До свиданья, и, пожалуйста, не провожай меня.

Она быстро пошла прочь.

Борис шагнул вслед за ней, но остановился. Он ничего не понимал. Потом догадался: ведь для нее все то, к чему он так привык на улицах Петрограда, совершенно

неожиданно и необычно. Размышляя об этом, он медленно шел к мосту. Все-таки это хорошо, что они не попали в «Сатурн». Завтра к шести утра надо быть в казарме. По крайней мере он успеет выспаться.

А Надя выплакалась окончательно только к двум часам ночи. Она никому не созналась бы в том, почему плакала. И никому не сказала бы еще того, что ей все-таки было мучительно стыдно, когда с ее Борисом обошлись так грубо, а ему пришлось покориться.

XVIII

Николай Жуков выписался из госпиталя только к зиме шестнадцатого года. На комиссии он был признан годным в пехоту и назначен в Волынский полк. Его соседа по койке, усатого унтера, комиссия тоже признала годным, хотя тот прихрамывал. Унтер был заслуженный, с тремя «георгиями», и сам просил оставить его в армии. До войны он жил в далекой деревне вдвоем с сыном. Теперь сын его уже никогда не вернется в родную деревню: он погиб в прифронтовом госпитале, как тот молоденький самокатчик. За вольные слова о земле, сказанные офицеру, сын попал в штрафную роту, а и сказал-то он только то, что за войну, за все страдания крестьянству будет дана земля. Вот и все. Какое же в том преступление? Унтер спросил об этом Николая, а тот ответил неожиданно:

— Никакое начальство не даст, надо самим брать землю.

Уходя из госпиталя, унтер говорил Николаю:

— Не могу сейчас в деревню. Жена померла, сына нет, бобылю думать надо.

Он пошел на комиссию за месяц до Николая.

Получая увольнительные в полку, Николай каждый раз старался найти Клешнева. Это было нелегко, ибо Клешнев постоянно менял места встреч. Жена Клешнева, Лиза, со стариком отцом жила на Суворовском проспекте. У них Николаю было хорошо, как дома. К ним он пошел и после того, как узнал, что его отец умер в дальней тайге. Лиза не утешала его ненужными словами.

Поневоле он сравнивал ее с Маришей. Та пропадет без сильного человека. Плывет по течению. Без сильного

человека невесть куда и приплывет. Незаметно для самого себя Николай все больше убеждался, что именно он и есть тот самый сильный человек, без которого непременно пропадет Мариша. Уходя из госпиталя, он сказал, что им обязательно надо встречаться, что он ее научит, как жить. В один из воскресных дней, когда оба они были свободны, Николай привел Маришу к Лизе Клешневой. Как он и ожидал, Мариша сразу привязалась к Лизе, как младшая сестра. Упрямства в ней хоть отбавляй, а все-таки слабенькая и плакса...

С Клешневым Николай встречался без Мариши. У Клешнева каждый раз появлялись все новые и новые люди. Как-то зимой пришел новый гость — незнакомый Николаю солдат Мытнин, в шинели с желтыми петличками Павловского полка.

— Здравия желаем, — сказал он, козырнув всем, аккуратно повесил фуражку на гвоздь и присел к столу. — Еле увольнительную получил. — Мытнин начал прямо и точно: — Терпение в армии кончается.

Николаю это сразу понравилось.

— Надел хозяйчик погоны, и стало ему совсем просто нас хлестать и калечить, — продолжал Мытнин. — Любой хлюст — хозяин тебе. Бьют. Хлещут по лицу, а скажешь слово — пуля в лоб. А то, случается, и выпорют, даром что по уставу не полагается.

Вешнева, истощенная тонкогубая женщина, работница с Выборгской стороны, спросила:

— Это они со всяким так?

Губы у нее дрожали.

— Разные есть наказания, — продолжал Мытнин, — усиленный арест, штрафной батальон, тюрьма военная. Мало на нас управы, что ли? На наш век хватит, если не... — И он потряс кулаком. — Помним твердо: империалистическую войну в гражданскую. Только тактика нужна. Осторожность. Вот и учимся.

— Моего за забастовку с Путиловского в солдаты забрали. Миллер, генерал, — быстро и зло заговорила Вешнева. — Мужа на смерть отдай, а сама издохни с тоски да с голоду. Этому генералу Миллеру самую худую смерть пожелаю. Сколько семей в беду вогнал!

Каширин, с пригородного оружейного завода, промолвил:

— И наш генерал не лучше. — Он повернулся к Николаю своей багровой, обваренной паром щекой: — Кельгрена, мастера, помнишь? Смирный стал. Как однажды присмирел, так больше и не скандалит. Совесть, что ли?

Николай усмехнулся:

— А нас ведь уже и боятся тоже.

— Понимают солдаты медленно, — опять заговорил Мытнин. — Но этой войны уже не хотят. И ругателей не любят. Крепко не любят. И землю хотят. Голод научил. Девять копеек в сутки семье выдают — это агитация хорошая. А за твоего, — обратился он к Вешневой, — не волнуйся. Умный мужик. Такой не пропадет.

Николая радовало все то, что он слышал. «Чем хуже, тем лучше, — думал он. — Тем скорее восстанут люди».

— Пишет еще — вша его ест, — всхлипнула вдруг Вешнева, поворачиваясь всем своим тощим телом к Мытнину. — Ножичком, пишет, по шву проведешь — треск, как с пулемету.

— Рабочего человека всюду паразит гложет, — сентенциозно заметил Каширин, — и на дому и на заводе. Хозяйчик оставит, так насекомое приползет. Небось возьмем да по всем швам ножичком — вот уж это треск будет настоящий.

— У волынцев, слышал, лучше всех дела идут, готовы, — с завистью сказал Мытнин. — Видно, хороши ребята там подобрались.

Николай не мог сдержать радостной улыбки: ведь и он принадлежал к этим хорошим ребятам — волынцам.

Клешнев, похаживавший по комнате, подошел к столу и обратился к Мытнину, указав на Николая:

— Товарищ Жуков — один из наших работников в Волынском полку. Знакомься, Николай, с товарищем Мытниным. Связь надо вам установить. Пора.

В павловце вдруг проснулся солдат.

— А почему не по форме одет? — спросил он Николая. — Петличек почему нету? Не разберешь, какого и полка, словно не гвардеец.

— А ты не знаешь, что ли, складов вещевых? Какую шинель дали, ту и взял. За гвардейским званием не гоняюсь.

Мытнин уже опомнился.

— Так ты, значит, из Волынского? — говорил он. —

Ну, громко не говорим, но один из ваших заходил, к земляку своему заходил. Крепко разговаривал.

— Давай уславливаться будем, где да как встречаться, — отвечал Николай. — Почаще бы надо...

С этого совещания расходились, как всегда, по одному.

Николай отправился отсюда к Лизе Клешневой. Он шагал быстро, даже и не пытаясь сесть в трамвай: теперь не время было рисковать арестом за такую чепуху, как нарушение трамвайных правил. Он все ускорял шаг и, наконец, сознался себе, что ему не терпится увидеть Маришу. Конечно, она не боец, сопротивляться не умеет, для борьбы не годится, но... но не может он без нее. «Ну, влюбился, и все тут», — сказал он себе даже с некоторой злобой.

Сегодня Мариша была свободна. Николай знал это, они заранее условились встретиться. Он взбежал по лестнице, рванул звонок. Вот она стоит у окна в своем сереньком платьице, похожая на воробышка. Когда Мариша, встретив его в дверях, подняла на него свои тихие серые глаза, Николай даже, кажется, побледнел, и голос у него дрогнул. Войдя в комнату, он не заметил, как схватил Маришу за руку, и торопливо заговорил:

— Мариша, нам нельзя больше жить розно, ну вот так случилось, не могу больше молчать, сказать должен, жениться нам надо... — Она так испуганно глядела на него, что он почти закричал: — Только не плачьте! Всегда вы плачете, чуть что!..

Он так сильно сжал ее руку, что она вскрикнула, выдернула руку и по-детски помахала ею.

— Простите, — смущенно промолвил Николай. — Повредил?

— Нет, ничего.

Она размяла пальцы, разглядывая их так внимательно, словно они в самом деле были повреждены. Когда она вновь подняла глаза на Николая, он не прочел в них ничего, кроме печали. Любви не было. Он вскочил и зашагал по комнате.

Мариша заговорила грустно:

— Вот видите, какой вы оказались непонятливый. Мы уже так хорошо начали дружить, а вы все хотите запутать. Совсем это ни при чем, чтобы нам жениться.

Совсем не то. Никакая я вам не жена, и все было бы только очень плохо.

Она и не собиралась плакать. Она говорила даже с досадой, с необычным для нее раздражением. И Николай снова заметил, что подбородок у нее упрямый. «Вот она какая», — подумал он с удивлением. А она продолжала:

— Вы вот, оказывается, совсем не умеете дружить. Совсем не надо жениться, чтобы дружить. Ну прямо вы все, все испортили...

Она даже рукой махнула и отвернулась.

Тогда Николай подсел к ней и опять безбоязненно взял ее за руку.

— Ну, напутал, — сказал он с такой неожиданной нежностью, что Мариша повернулась к нему и вдруг улыбнулась — печально и весело в одно и то же время. От этой улыбки сердце у Николая дрогнуло. — Ну, прости, — промолвил он, переходя, сам того не замечая, на «ты». — Прости. Научила меня. Если опять что напутаю, ты одергивай меня. Прикрикни — я пойму.

Мариша, продолжая улыбаться, промолвила доверчиво:

— Это же очень серьезно — полюбить, муж и жена. Это так нельзя, как вы налетели. Это очень серьезно. И мы друг друга совсем так не любим, чтобы жениться. Я это очень хорошо знаю. Очень хорошо. У нас с вами совсем не то, совсем не то. Совсем у вас ко мне не то чувство.

XIX

Новый взводный Бориса, службист из учебной команды, ничего кроме военной службы не признавал. Все, о чем он говорил, так или иначе относилось к военной службе. Он, например, длинно рассказывал о том, как шел по улице и встретил генерала от инфантерии. Он не растерялся и шикарно встал во фронт. Генерал поглядел на него и похвалил за хорошую выправку. Взводный ответил: «Рад стараться, ваше высокопревосходительство!» На этом рассказ кончался. Встреча с генералом представлялась взводному необыкновенно значительной сама по себе. Часто он углублялся в тонкости

воинского устава и в заключение с пафосом провозглашал:

— Солдат должен ходить женихом, картинкой!

Саперы слушали. Они не могли не слушать.

При новых взводных и отделенных служба стала еще тяжелей. Увольнительные записки выдавались не так легко, как прежде. На ученье новое начальство цукало солдат. Чаще прежнего звучала команда:

— На выпаде останься — коли!

Саперы по многу раз проделывали замысловатые построения, часами печатали учебный шаг под непрестанный крик:

— Ногу тверже! Ногу тверже! Бегом!

Борис бежал, задыхающийся, потный, несмотря на мороз; винтовка прыгала у него на плече, хотелось поддержать ее правой рукой, а желанной команды «шагом марш!» все не было.

Ротный и полуротный являлись теперь на учение ежедневно.

Борису, к счастью, ни разу не пришлось быть дневальным в офицерском собрании, где надо было подавать шинели офицерам. Зато он часто бывал дежурным и дневальным у парадного подъезда, у ворот, по уборным. Дневальный стоял только полночи и на следующий день освобождался от утреннего учения, на вечернее же учение должен был являться. Дежурный должен был не спать всю ночь до утра и на следующий день совсем освобождался от учения.

В ту ночь, когда Борис был дежурным по роте, в казарме испортился водопровод и уборные не действовали. Когда дежурный офицер, совершая обход, зашел в роту, Борис подскочил к нему с рапортом:

— Во время дежурства в восьмой роте «г» никаких происшествий не случилось, кроме того, что испортился водопровод и уборные не действуют.

Такова была форма рапорта. Даже если бы вся рота была ночью вырезана, надо было все равно начать рапорт с неизменных слов: «Во время дежурства никаких происшествий не случилось» и только дальше: «кроме того, что вся рота убита и только я один остался в живых». Это была форма бодрости и благополучия.

Дежурный офицер выслушал рапорт и удалился. Но через пять минут он явился снова. Борис опять отрапортовал ему о том, что уборные не действуют. Офицер ушел и тотчас же вернулся. Борис снова повторил свой рапорт про уборные. Офицер выслушал, усмехаясь, и через минуту опять пришел в роту. Борис понял, что офицеру скучно, хочется спать и он просто забавляется, заставляя солдата вновь и вновь повторять один и тот же рапорт. Борис шесть раз подряд отрапортовал дежурному офицеру, пока тот, наконец, не удалился, вполне удовлетворенный своей шуткой.

Обязанности дневального у парадного подъезда заключались в том, что он должен был отворять двери господам офицерам и не пускать низших чинов, имеющих право на вход и выход только со двора. Однажды Борис не отворил двери подпоручику Азанчееву из шестой роты, жившему по той же лестнице, где помещалась восьмая рота. Борис отдал подпоручику честь, а открыть дверь забыл. Тот остановился и сказал совсем спокойно:

— Отвори дверь!

Борис подчинился.

— Шире! — сказал подпоручик и перед второй дверью приказал снова: — Отвори!

Выйдя на улицу, он обернулся к Борису и тем же спокойным голосом, прямо глядя ему в лицо, сказал несколько особенно ядовитых, бранных слов. И пошел по улице прочь. Он шагал бодро и уверенно, как хозяин.

Дежурный у ворот должен был проверять увольнительные записки у солдат и не пускать во двор посторонних. Он должен был также следить за уличною жизнью и в случае события, угрожавшего спокойствию казармы, вызвать звонком дежурного офицера.

Одновременно со строевой подготовкой началось обучение саперному искусству. Для этого в роте имелся ящик с землей. Взводный, втыкая палочки в землю, бестолково объяснял солдатам искусство сапера. Никто ничего не понимал, да и понять было невозможно. Так саперы и оставались без специальных знаний.

Солдаты старались хоть ненадолго попасть домой. Самый верный способ состоял в том, чтобы вымолить у врача в околотке отпуск по болезни на день, а то и на

два-три дня. Если это не удавалось, применялись более рискованные способы: сговорившись с фельдфебелем и дежурным у ворот, солдаты уходили без увольнительной записки или после дневальства пропускали не только утреннее, но и вечернее учение, рассчитывая на то, что взводный не заметит или поленится донести ротному. Такими «смекалистами» были, конечно, только петербуржцы или те из иногородних, которые уже успели обзавестись в столице приятными знакомствами. Многим все это сходило благополучно, многие попадались. Однажды самый заядлый «смекалист», толстый, уже с сединой в волосах, ратник, попался на улице без увольнительной записки. Ротный посадил этого почтенного отца семейства под арест на пять суток.

Борис сам не заметил, как перестал интересоваться всем, кроме солдатской жизни. Он почти радовался, когда его назначили в воскресенье в наряд и он мог не идти домой. Ему не хотелось видеть родных, живших совсем иной жизнью, иными интересами. Он даже к Жилкиным стал заходить реже. Тамошние разговоры представлялись ему совсем не нужными, никуда не ведущими. Припоминая отдельные факты и соединяя их в одно целое, Борис сомневался теперь уже в самой системе жизни, которая ведет человека в тупик, в чепуху. Его жизнь была сейчас наполнена подготовкой к войне, а он знал, что́ такое война, и уже не верил в то, что она нужна.

Надя замечала, что Борис стал совсем другим: угрюмым и молчаливым. Однажды она долго говорила о нем с Фомой Клешневым. Фома Клешнев сказал, что хорошо бы из этого разочарованного солдата сделать революционного агитатора. Надя передала эти слова Борису. При этом она пустилась в длинные объяснения о войне, о казарменной жизни, о дисциплине и обнаружила довольно точное знание психики солдата. Впрочем, Надя была умна чужим опытом: она много читала и умела внимательно слушать людей, рассказывающих о себе.

Опыт Бориса был ей особенно близок. Она не могла забыть того, как грубо ссадили Бориса с трамвая, когда они ехали в кинематограф «Сатурн», и как он вынужден был покориться.

Ей было так обидно за него, что хотелось внушить ему желание бороться против таких унижений не бегством из-под конвоя, а организованно, вместе с опытными товарищами.

На следующий день, на учении и в казарме, Борис думал: «Неужели возможно повести всех этих столь разных людей против привычного начальства?»

Все это — грозное офицерство и весь порядок казарменной жизни — было таким плотным, крепким, сильным и устойчивым, что Борис решительно не мог понять, как это можно перебороть. Слова Фомы Клешнева, переданные Надей, вместо того чтобы приободрить Бориса, произвели на него совершенно обратное действие: он впал в отчаяние.

На эту ночь он был назначен в наряд: дежурным у ворот. К десяти часам вечера, как это и раньше часто случалось, к воротам подошла кучка женщин. Разбитная баба в дешевой шляпке завела беседу.

Дневальный заговорил с ней, появился Козловский, приказал:

— Пустить в роту...

И сам он повел женщин в казарму... Было черно на улице и черно под аркой. В небе — ни луны, ни звезд, одна только пелена зимних туч. К трем часам ночи Борис выпустил женщин на улицу.

Он не пошел домой после дежурства, а остался спать в казарме. Солдаты, вернувшись с учения, говорили о прошедшей ночи, а потом стали вспоминать своих жен. И к вечеру такая тоска охватила казарму, что Семен Грачев, бородач из третьего взвода, заплясал вдруг, припевая все одно и то же:

Отвяжись, плохая жизнь, — привяжись, хорошая!

К нему присоединилось еще двое, еще, — и вскоре чуть не вся рота запела, но уже не то, что Семен Грачев, а другое:

Лучше было б, лучше было б не ходити!
Лучше было б, лучше было б не любити!..

Фельдфебель вышел из канцелярии полюбоваться. Унтер Козловский сидел на подоконнике молча и по обыкновению ехидно улыбался. Он испытывал наслаждение, как всегда, когда видел в людях отчаяние.

Потом песня затихла.

Семен Грачев, переводя дыхание, мотал головой, как бык, и говорил:

— С натуги у меня и глаза набекрень.

Тоска не прошла. И снова солдаты затянули длинную, как дорога, песню.

В середине декабря рота держала экзамен при учебной команде. Экзамен по строю прошел прекрасно. По саперному искусству провалились все без исключения.

Вскоре после экзаменов Борис без всякого рекомендательного письма отправился к великому князю Дмитрию Павловичу. Это был совершенно неожиданный и странный поступок. Когда Борис в свое время обращался к члену Государственной думы Орлову, это объяснялось хотя бы тем, что Орлов был отцом его гимназического товарища. Теперь Борис наслушался разговоров, которые вел в роте пожилой солдат, почтенный отец семейства, один из самых упрямых «смекалистов». Он был восторженным почитателем Дмитрия Павловича и по секрету намекал на то, что от великого князя следует ждать каких-то поступков, которые дадут солдатам волю и на улицах и в казармах. Окончательно подавленный каторжным казарменным режимом, Борис жил в том состоянии отчаяния, в котором человек способен на любую глупость, на любой, самый нелепый шаг. В эти дни он был меньше всего годен к сознательной борьбе за солдатские права. «Пойду», — решил он, слушая сказки о Дмитрии Павловиче, и однажды действительно пошел к великому князю.

Когда швейцар впустил его в просторный вестибюль дворца, Борис невольно испугался. На вешалке висели шинели гвардейских офицеров, которым Борис чуть не отдал чести.

А вышколенный швейцар уже снимал с него шинель. Швейцар был уверен, что этот вольноопределяющийся — не иначе как граф или князь, будущий гвардейский забияка: какой же другой солдат решится прийти во дворец!

Борис поднялся по широкой лестнице в комнату, обставленную так, что жить в ней казалось невозможно, — до того чрезмерны были эти роскошь и простор. К Борису вышел секретарь великого князя. Он держался не-

естественно прямо, говорил отчетливо и напомнил Борису англичанина, некогда обедавшего у Жилкиных. Секретарь, не прерывая, выслушал несвязные фразы Бориса о тяжести нестроевой дисциплины, о бессмысленности войны и неожиданно, вместо того чтобы выгнать солдата, сказал:

— Его высочество очень скорбит о положении русского солдата, надеется улучшить тяжелую жизнь и уничтожить измену.

Секретарь записал имя, фамилию, роту и батальон Бориса и отпустил его. Только пожимая секретарю руку, Борис увидел, что тот совершенно пьян. А слова его он понял позже, когда — не из газет, а из передававшихся шепотом рассказов — узнал о готовившемся дворцовом перевороте и о том, что Дмитрий Павлович принял участие в убийстве Распутина.

Царская столица жила все более тревожной жизнью. Сквозь блеск и сияние Санкт-Петербурга, города тупой и давящей силы, все явственней проступали очертания грозного рабочего Питера.

Наступили первые дни великого Семнадцатого года.

В эти дни Николай Жуков распространял по всем ротам Волынского полка листовку, в которой говорилось:

«Ждать и молчать больше нельзя. Рабочий класс и крестьяне, одетые в серые шинели и синие блузы, подав друг другу руки, должны повести борьбу со всей царской кликой, чтобы навсегда покончить с давящим Россию позором...

Настало время открытой борьбы».

Это была листовка Петроградского комитета большевистской партии.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

XX

С тринадцатого февраля была прекращена выдача увольнительных записок. Солдат не выпускали из казарм даже на воскресенье. Учение происходило уже не на улицах, а в помещении роты. На вечернюю перекличку каждый раз являлся ротный командир. При батальоне был организован дежурный взвод на случай экстренного вызова. Связь с внешним миром была окончательно прервана: солдаты ничего не должны были знать, кроме казармы, и никого не должны были слушать, кроме начальства. «Смекалисты» присмирели: нарушение дисциплины грозило уже не простым арестом и даже не штрафным батальоном, а чем-то похуже. По ночам, шепотом, солдаты передавали друг другу о том, что рабочие бастуют.

Козловский усиливал свою власть, старался покрепче забрать солдат в свои руки. Когда вышел приказ о прекращении отпусков, он завел денщика: Семен Грачев обязан был каждый вечер стягивать с него сапоги. А унтер в это время беседовал с ним:

— Какой ты губернии?

— Костромской губернии, господин взводный, — отвечал бородатый ратник.

— Плохая твоя губерния, — шутил Козловский. — Отменить надо твою губернию. Вот доложу ротному — он и отменит.

Семен Грачев стягивал сапог с ноги взводного и, понимая, что начальство шутит, покорно говорил:

— Это как вашей воле будет угодно, господин взводный! Только человеку без губернии жить никак невозможно. Отдыхать после военной службы негде будет.

— Военная служба должна быть всю жизнь, — строго отвечал унтер.

— Уж не надо всю жизнь, — возражал Семен Грачев, думая, что начальство продолжает шутить.

— Как не надо?

И, размотав портянки, Козловский вставал с нар и, нагнувшись, брал в руку сапог. Семен Грачев объяснял испуганно:

— Мы не интересуемся худо сказать, мы интересуемся хорошо сказать, господин взводный!

Но унтер уже бил его сапогом по широкой шее.

Эта сцена, в разных вариациях, повторялась каждый вечер, и каждый вечер ратник не мог уловить момента, когда взводный переставал шутить и начинал говорить серьезно.

Двадцать четвертого февраля рота несла усиленный наряд. На все посты люди были выставлены в двойном против обычного количестве. Им даны были винтовки с боевыми патронами. Борис стоял дежурным у ворот.

Около двух часов дня из-за угла Знаменской улицы вышла и запрудила Кирочную улицу толпа людей, среди которых не было ни одного военного. Трамвай шел с Литейного проспекта и остановился перед казармами, чтобы не врезаться в толпу. Он был немедленно окружен; пассажиры, кондукторша и вагоновожатый сошли на мостовую. И тут же, на глазах у Бориса, трамвай был опрокинут.

Один за другим останавливались и другие трамваи. Вагоновожатые, кондуктора и пассажиры высаживались на улицу и частью расходились, частью присоединялись к толпе. Громада людей шевелилась, медленно двигаясь к Литейному проспекту. Борис должен был вызвать дежурного офицера, но он не сделал этого. Впрочем, дежурный офицер — молоденький прапорщик — сам вышел к воротам и, стоя рядом с Борисом, ничего не предпринимал. Он растерянно глядел на людей, останавливающих трамваи, и молчал.

И вот уже перед казармами стало пусто, — толпа окончательно сдвинулась налево. Тогда из-за угла

Знаменской улицы появился полковник Херинг. Подпрыгивая на ходу, он быстро шел к воротам. Он был похож на закипевший самовар, который вдруг двинулся в поход, чтобы обварить всех кипятком.

Прапорщик подлетел к нему с рапортом, но полковник, перебивая его, закричал:

— Почему не вызвали дежурный взвод? Надо было бросить их (он показал на Бориса) в штыки! Оцепить, арестовать!..

Оттопыривая губы и снизу вверх глядя на дежурного офицера, он без передышки отсыпал дюжину самых крепких ругательств. Прапорщик молча тянулся перед ним.

— На гауптвахту!

И полковник пошел прочь.

Борису впервые стало ясно, что дежурный взвод организован при батальоне не зря и что ему, Борису, угрожает самая реальная опасность быть кинутым в атаку на беззащитную, невооруженную толпу.

Появись Херинг на несколько минут раньше — и, возможно, он бросил бы своих солдат в штыки на рабочих. Даже наверняка он поступил бы так, этот низкорослый неулыбающийся человек, в каждом слове и движении которого ощущалась тупая и неумолимо злая сила. И все, что мучило и душило Бориса, сейчас сосредоточилось для него в образе этого чуждого, враждебного, ненавистного офицера. Борис невольно содрогнулся, представив себе, как Херинг скомандовал бы:

— В штыки!

Что делать тогда?

Этот вопрос вечером обсуждала вся рота.

Взводный долго молчал. Потом ответил угрюмо:

— Поверх голов стрелять будем.

И большинство солдат согласились с ним.

Взводный разъяснил подробнее:

— Прикладом легонько расталкивать да приговаривать: расходитесь, мол, так-то...

Совершенно неожиданно запротестовал огромный, тучный финн из второго взвода:

— Я солдат, — заговорил он, — и я буду стрелять.

Обычная флегма слетела с него. От полного спокойствия он перешел к крайней степени возбуждения. Он орал, взгромоздившись на нары:

— Я солдат, и я буду стрелять! Да!

Как будто он напился в воскресенье в родной деревне и буянит, катаясь взад и вперед на санях в обнимку с товарищами.

— Я буду стрелять! — кричал он.

Козловский не улыбался. Щуря левый глаз, он приглядывался к роте и помалкивал.

Семен Грачев принялся за ужин. Он отломил кусок хлеба и молвил:

— Христос сказал ученикам: коль вилок нет, так ешь рукам.

Борис плохо спал эту ночь. Он ворочался с боку на бок, вызывая ожесточенную брань соседей. Он думал о том, как быть, если он будет назначен в дежурный взвод.

Ведь назначение может прийти завтра, послезавтра...

Было уже совсем тихо в казарме, когда огромный финн поднялся со своей койки, тихо, как лунатик, ступая по холодному полу босыми ногами. Борис следил за ним; финн поймал его взгляд, подошел и сказал не громко, но убедительно, прижимая обе руки к тучной груди:

— Я должен стрелять. Я солдат.

XXI

Инженер Лавров не ездил на завод. Он сидел дома: Клара Андреевна не пускала его на улицу. Инженер покорялся жене и только изредка говорил, вздыхая:

— Да, дело дрянь.

Анисья удержалась у Лавровых: она была послушна и смогла вытерпеть столько месяцев ежедневной брани. В последние дни она двигалась по квартире совсем неслышно, на цыпочках; отвечала Кларе Андреевне шепотом, а иногда останавливалась вдруг и стояла недвижно минуту, а то и больше, словно то и дело обращалась в соляной столб. Казалось, что она стала еще ниже ростом и превратилась в настоящую старуху. Этого не было с ней, когда вдруг появились очереди у лавок, напрасно стывшие на морозе, когда пропали сахар и хлеб, когда исчезла серебряная монета. Тогда она энергично помогала Кларе Андреевне запасаться провизией, и на

кухне уже лежало в мешках три пуда пшеничной и ржаной муки, мешочек с крупой, сало, какао, банки с консервами и многое другое, что должно было обеспечить семейство на долгое время. А вот двадцать пятого февраля Анисья вдруг совсем постарела и стихла. В этот день, после обеда, она подошла к Кларе Андреевне, раскрыла рот, словно желая сказать что-то, и ничего не сказала. Постояла перед Кларой Андреевной и пошла на кухню. Клара Андреевна поглядела на мужа так, будто он был во всем виноват.

— Видишь! Я же тебе всегда говорила, что она сумасшедшая. Ты еще дождешься от нее припадка. И потом, где же Юрий? Сколько раз я тебе говорила, чтобы он не выходил на улицу. Неужели у тебя нет власти даже над собственными сыновьями? Сам сидишь дома, а о детях не заботишься.

Она сама запретила мужу выходить, но была так уверена в его послушании, что позволяла себе такие упреки.

— Да, — отвечал инженер Лавров, — дело дрянь.

— Теперь ты видишь, как я права, — продолжала Клара Андреевна. — Эти Жилкины! Они не могут не устроить гадости.

Во всем, что происходило на улицах, и даже в том, что в городе не стало хлеба, она винила Жилкиных.

Муж тихо возразил:

— При чем тут Жилкины?

— Ты всегда споришь! — воскликнула Клара Андреевна. Она была рада отвлечь свое внимание привычной семейной сценой: скандал с мужем успокаивал ее и доказывал, что все обстоит благополучно, как прежде. — Ты всегда возражаешь против фактов. Я не люблю никаких фантазерств и истерик. Какой ты мужчина! Мужчина должен быть спокойным и трезвым. Я люблю факты: все это — Жилкины, и ты напрасно возражаешь.

Она боялась думать о Борисе: Бориса она не видела уже с тринадцатого февраля. Если бы он находился на фронте, она успокаивала бы себя тем, что он не в окопах, а в тылу. А тут все происходило на ее глазах, и никак нельзя было не видеть и не понимать того, что происходит.

Юрий с утра до вечера шатался по улицам и к ужину являлся с кучей новостей. Он рассказывал о том, как

его обстреляли из пулемета или как на Знаменской площади убили пристава, и Клара Андреевна напрасно уговаривала его сидеть дома: никакие убеждения не действовали на сына. Он пропадал двадцать шестого февраля и двадцать седьмого тоже ушел с утра.

Утром двадцать седьмого февраля Клара Андреевна не уследила за мужем: он пошел на кухню попить кипяченой воды. И сразу же оттуда послышался непонятный шум. Клара Андреевна, раскладывавшая пасьянс, затихла, а потом нарочно стала продолжать пасьянс, чтобы своим спокойствием отвести все неприятное, что могло случиться. Она даже приговаривала очень мирно и убедительно:

— Валета — сюда, тройку — сюда, девятку...

Но тут ее поразил не оставлявший никаких сомнений рев Анисьи. Клара Андреевна тихо встала, не кончив пасьянса, и улыбнулась нарочно:

— Ну вот. Из-за тарелки так плакать. Ну разбила тарелку, разве же я убью за это? Купим другую.

И она крикнула:

— Ванечка! Где пенсне? — Пенсне было у нее на носу. — Ванечка! — звала Клара Андреевна. — Ты опять куда-то засунул пенсне!

Ванечка не откликался, а рев Анисьи на кухне рос, ширился и заполнял всю квартиру.

— Анисья! Ванечка! Ну где же пенсне? — спрашивала Клара Андреевна, расхаживая по кабинету и боясь выйти на этот оглушительный рев: и откуда столько крику в таком маленьком тихом теле! — Ты вечно куда-нибудь засунешь! — воскликнула Клара Андреевна, слыша быстрые, приближающиеся шаги и с ужасом глядя на дверь.

И когда Анисья не вбежала, а проскользнула в комнату, она, не давая ей сказать ни слова, сразу же перебила:

— Где пенсне? Если ты разбила тарелку, купим другую. Куда ты засунула пенсне?

Анисья уже причитала:

— Барин! Барин!

Клара Андреевна сказала тихо:

— Успокойся. Что ты кричишь?

И пошла на кухню.

Дверь была открыта настежь. Это перед тем, как побежать к Кларе Андреевне, Анисья выскочила на лест-

ницу: кликнуть на помощь людей. Дворник и еще двое незнакомых мужчин толкались у дверей. На полу лежало лицом вниз неподвижное тело. Клара Андреевна увидела знакомые истертые подошвы.

— Это что такое? — спросила Клара Андреевна. — У меня нет пенсне, я не вижу.

Сын дворника обнаружил свое присутствие за спиной отца:

— Очки-то на носу.

Дворник дал ему затрещину, но мальчишка не ушел, только отступил к лестнице. Холодный воздух шел из открытой двери.

Клара Андреевна стояла недвижно. Она на миг лишилась зрения и понимания. Она была совсем беспомощна перед всем этим, как маленькая девочка. Потом Клара Андреевна вскрикнула и упала на тело мужа. Но сознания она не лишилась, сразу же вскочила и помчалась в комнаты. Потом снова ринулась на кухню.

— Волнуется, — определил ее поведение дворник. — Все-таки вместе много прожили.

И он пошел к парадной двери, где уже давно трезвонил кто-то. Это вернулся Юрий. Сбросив шапку и не снимая пальто, он пробежал в кухню и сразу же стал распоряжаться.

Через десять минут безжизненное тело инженера Лаврова лежало на диване в гостиной.

Клара Андреевна сказала Юрию:

— Надо как можно скорее доктора.

Юрий пожал плечами:

— Зачем?

И вдруг заплакал — совсем просто и без всякой аффектации. И так же просто заплакала Клара Андреевна. Оба они горевали на этот раз совершенно искренне.

Плач прервала Анисья. Успокоившись, она сразу же зажгла примус и стала готовить яичницу, сбив в сковородку шесть яиц. И теперь она вошла в гостиную и сказала:

— Завтрак подан.

Клара Андреевна с ужасом поглядела на нее. Юрий взял мать под руку и повел в столовую.

Клара Андреевна с Юрием ели яичницу, а потом пили чай.

Плач и завтрак слегка успокоили Клару Андреевну. Она попыталась вернуть себе прежний тон.

— Эти Жилкины, — сказала она и замолкла: она поняла, что никакие слова не смогут отвлечь ее от несчастья. Обойти это несчастье было невозможно. Надо было пройти через него, пережить его и, опираясь на сыновей, ждать успокоения от будущего.

В это время Григорий Жилкин кричал солдатам первого пехотного запасного полка:

— Я могу теперь полным голосом сказать наконец, что я социалист! Товарищи!..

А этнограф Жилкин, глядя в окно на шумливый Большой проспект, говорил торжественно:

— Заря русской свободы разгорелась ярко.

Он прощал судьбе то, что его сын Анатолий убит на фронте. В его квартиру набиралось все больше и больше народу. Люди входили и уходили, не обращая внимания на хозяев, и Жилкин радовался тому, что его квартира признана революцией.

Надя с надеждой взглядывала на каждого входящего нового гостя. Она ждала Бориса, но Борис все не появлялся.

А инженер Лавров лежал у себя в гостиной на диване.

Ему повезло: он умер от разрыва сердца, не успев заметить, что умирает.

XXII

Это было вечером двадцать шестого февраля.

Учебная команда Волынского полка в молчании возвращалась со Знаменской площади. Солдаты шли, опустив головы. Каждый вспоминал, как он направил винтовку, не слишком ли низко взял. Кажется, никого не убили, но все-таки стреляли. Стреляли по рабочим. Слух об этом пойдет теперь в дальние деревни, к голодным женам и детям, отцам и матерям... Темный чужой город казался гробом, стены домов — могильными плитами, казарма — могилой.

Никто и не подумал почистить винтовку. К черту! Ждать да молчать больше нельзя...

Молодой унтер в гвардейской бескозырке, в кинутой на плечи шинели, из-под которой серебрился краешком георгиевский крест, прочел приказ: завтра в семь часов утра снова идти...

Николай Жуков не ходил на Знаменскую площадь и внимательно присматривался к тем, кто вернулся. Да, срок пришел. И, выслушав приказ, он сказал негромко:

— Завтра по-своему повернем.

Его услышали только стоявшие рядом. Это были свои, надежные люди, для которых не существовало сомнений. В любую минуту они пошли бы хоть на смерть.

Молодой паренек, из тех, кто стрелял сегодня, подошел к Николаю.

— Чего хоронитесь? — спросил он. — Больше нашего знаете, так уж ведите, куда надо. Теперь — согласные, всем миром пойдем. Своих убивать не будем.

— Тогда строиться надо не в семь, а в шесть.

Подошел и унтер. Сдвинув на правое ухо бескозырку, присел к солдатам.

— Что команде разъяснять? — спокойно сказал он. — Сегодня все поняли. Хоть на смерть, а по своим бить не будут. А вот по начальству... — Он усмехнулся.

— А что! — сказал паренек. — По ним бить будем с охотой. Тут и винтовку почистить согласные.

— Вот что, ребята, — заговорил Николай. Он дрожал от крайнего, все тело проникающего возбуждения. В этот решительный миг проверялась вся его работа последних месяцев. — Завтра в шесть сбор. Кирпичников, — он указал на молодого унтера, — построит команду. Придет капитан — на приветствие отвечать: «ура». А «ура» — это значит «не подчиняемся». Понятно? Кто крикнет иначе, тот за расстрельщиков и сам расстрельщик. Понятно?

— Понятно... Как не понять!..

— А потом?

— Потом — во двор, на улицу, подымем всех...

Двадцать седьмого февраля в шесть часов утра команда выстроилась по приказу Кирпичникова. Став перед строем, унтер спросил:

— Пойдете, братцы, своих убивать?

— Хоть смерть, а не пойдем! — выкрикнул паренек из рядов.

И сразу с разных концов строя загудели голоса:

— Хватит! Нету терпенья! Пусть хоть смерть!

— Так знайте, что делать...

Унтер повторил то, что вчера решили: на приветствие кричать «ура», потом — подымать весь полк и выходить на улицу к преображенцам да литовцам. А затем к рабочим на Выборгскую сторону: там штаб, там сила.

Вошел молоденький прапорщик. За ним следовал штабс-капитан, полный, но подтянутый. Позвякивая шпорами, штабс-капитан прошелся вдоль строя по просторному помещению учебной команды и звучно крикнул:

— Здоро́во, братцы!

— Ура! — дружно ответили солдаты.

Начальник учебной команды стал против строя, прищурившись оглядел лица солдат и заметил, что все смотрят на него прямо и бесстрашно. На миг ему стало жутковато, но он тут же упрекнул себя в малодушии. Сейчас солдаты ответят как следует. Просто путаница какая-то...

— Здоро́во, братцы! — повторил он.

И единым громовым голосом команда ответила ему:

— Ура!

От этого необычного ответа солдаты казались офицеру совсем другими, не такими, какими он привык их считать и какими они должны, обязаны быть. Бешенство охватило его, и он крикнул, обращаясь к первому попавшемуся ему на глаза:

— Что это значит?

Тот отрапортовал четко:

— «Ура» — это есть сигнал к неподчинению вашим приказам.

Другой голос — голос Николая Жукова — добавил:

— И проверка команды. Знак единодушия всех.

— Смирно! — заорал штабс-капитан, а прапорщик уже пятился к двери. — Слушай приказ его императорского величества...

Но кончить он не смог. Из рядов вырвался паренек с перекошенным лицом:

— Заткни глотку, кровопивец! Штыком заткну!..

Строй сломался. Прапорщик выскочил за дверь. Пригнувшись, побежал вслед за ним штабс-капитан. «Ура» неслось ему вслед. С лестницы офицер крикнул:

— Расстреляю всех, сволочи!

Парень отворил фортку, сунул в нее винтовку, рядом откуда-то возникло второе дуло, и когда штабс-капитан появился на дворе, два выстрела грянули разом. Офицер упал, вытянулся, затих.

— Ура! — гремело в казармах.

— Слушать мою команду! — перекричал всех Кирпичников. Николай встал рядом с ним. — Дисциплина! Шагом арш!..

Было уже около семи часов утра.

Пока в казармах Волынского полка происходило все это, Борис получил приказ взводного отвести в околоток четырех солдат, сказавшихся больными. Дни были тревожные, любые неожиданности ждали солдат на улицах, и взводный назначил Бориса старшим, как опытного фронтовика. Борис отлично понимал, что солдаты сказались больными, чтобы избежать назначения в дежурный взвод. Хорошо, он отведет их к врачу, но для себя он найдет какой-нибудь другой выход.

Все эти дни Борису то и дело представлялся подпрыгивающий на ходу полковник Херинг и слышался визгливый возглас:

— В штыки!

Сам того не сознавая, Борис был глубоко потрясен словами Херинга, всей той сценой, которая разыгралась у ворот казармы три дня тому назад. Он знал, что никогда не пойдет в штыки на рабочих. Он — не усмиритель, не каратель, не городовой. Но что же тогда сделает с ним Херинг?

Солдаты построились по́ двое, и Борис повел их к Преображенским казармам, где помещался околоток. Борис был так занят своими мыслями, что не заметил подпоручика Азанчеева, шедшего навстречу по панели. Он не скомандовал: «Смирно! Равнение направо!» — и тотчас услышал окрик:

— Сюда! Бегом!

Подняв руку к козырьку фуражки, Борис пошел к подпоручику.

Офицер кричал:

— Раззява! Болван!

Борис остановился и опустил руку. С некоторым даже недоумением он глядел на этого чванливого крикуна, которому погоны почему-то давали право безнаказанно из-

мываться над людьми. Борис отчетливо подумал, что ведь именно такие вот офицеры, как подпоручик Азанчеев или полковник Херинг, давят и мучают солдат. Неужели же нельзя, наконец, избавиться от них?.. Ему стало решительно все равно, что с ним будет. Отвращение к Азанчееву охватило его с такой силой, что он сказал ему очень свободно, как будто тот не имел над ним никакой власти:

— Перестаньте ругаться. Хватит!

Что-то дрогнуло в лице подпоручика, он оборвал брань, поднял руку, словно собираясь ударить Бориса, но не ударил, а, быстро глянув по сторонам, заторопился к казармам. У подъезда он обернулся и крикнул:

— Убью!

Было ясно, что это не пустая угроза.

Солдаты молчали, когда Борис вел их дальше, к Преображенским казармам. Дерзкое поведение Бориса и пугало и радовало их. Оно разбудило в них сознание своей силы. Офицер замахнулся, а ударить все-таки не посмел! Борис же чувствовал, что он просто не сможет вернуться к прежней дисциплине, не сможет больше терпеть обычные унижения. Что-то в нем расшаталось. И, как всегда в последние дни, его преследовал голос полковника Херинга: «В штыки!».

Он, Борис Лавров, в роли карателя! Вот, оказывается, для чего он шел добровольцем... С кем бы посоветоваться? Что могут Жилкины? Ничего. Вот Клешнев... Но где его найти?..

Борис вел солдат в казармы и понимал, что после столкновения с подпоручиком Азанчеевым участь его, в сущности, решена. Его арестуют и... И что будет дальше? Тюрьма? Штрафная рота? В его жизни произошел какой-то решительный перелом.

Совершенно машинально вел он за собой послушных солдат, свернул во двор Преображенских казарм и поднялся по лестнице во второй этаж, где помещался околоток. Комната была полна солдат, пришедших сюда, чтобы получить освобождение от службы. Все они были совершенно здоровы, и в околоток их привел страх быть посланными на усмирение рабочих.

Вдруг на улице раздались выстрелы и крики «ура». Борис вместе с другими солдатами бросился к окнам.

Несколько офицеров вошли в комнату и, не останавливаясь, скрылись за противоположной дверью, в госпитале. Никто не отдал им чести. Врач немедленно прекратил прием и ушел вслед за ними.

На улице толпились нестройные группы волынцев, литовцев и преображенцев, стрелявших в воздух и кричавших «ура».

Стекло в окне, у которого стоял фельдшер, со звоном разбилось.

Фельдшер побледнел, согнулся и спросил недоуменно:

— Это что же такое?

Солдаты отскочили от окон в глубь комнаты. Навстречу им, с лестницы, испуганный прапорщик тащил в комнату капитана. Китель у капитана был расстегнут на груди, рубашка намокла кровью. Прапорщик спросил растерянно:

— Где доктор?

Капитан бормотал:

— Это пустяки. Ничего.

Фельдшер все еще не мог понять, что происходит. Он спрашивал:

— Это на учении, ваше высокоблагородие?

Сапер ворвался в комнату.

Помахивая винтовкой, он завопил:

— Что у ворот делается!..

И выбежал из комнаты. Солдаты, только что жаловавшиеся на боли, мешавшие им двигаться, ринулись за ним вниз по лестнице. Борис последовал за ними.

Навстречу им, бледный, с прыгающими губами, перескакивая через несколько ступенек, бежал начальник учебной команды. Никто не отдал ему чести, но никто и не тронул его.

Двор был пуст. Волынцы, литовцы и преображенцы стреляли залпами в ворота и кричали в промежутках между залпами:

— Саперы! Выходи!

В это время Борис увидел, как из подъезда вышел командир батальона полковник Херинг. На этот раз полковник не подпрыгивал на ходу. Маленький, толстый, в серебристого цвета шинели, он плавным, твердым шагом пошел к воротам, вытянув вперед правую руку, в которой чернел наган. Он шел и стрелял в восставших. Он

был один против по крайней мере двух рот озлобленных солдат. Но он шел так уверенно и так настойчиво, что вдруг стало совсем тихо. Видно было, что он не от жиру толстый, а от мускулов. Неужели этот упрямый комок дойдет до ворот, крикнет: «Смирно» — и все будет кончено?.. Только он один двигался среди затихших, застывших людей. Он, как укротитель, гипнотизировал солдат. Это был знакомый гипноз, и саперы в отчаянии уже поддавались ему. Расстреляв патроны, полковник отбросил револьвер, вынул из кармана шинели другой и продолжал стрелять.

Борис следил за его ровными, уверенными жестами. И с ним случилось то, что уже не раз бывало в критические минуты: он увидел все — и себя в том числе — как бы со стороны. Совершенно холодно и бесстрастно он оценивал то, что происходило перед его глазами. Вот эта фигурка, уже начинавшая по-прежнему подпрыгивать на ходу, — не игрушка, а живой человек. Этот человек силен не сам по себе, а всей системой, в которой он является необходимой и прекрасно работающей частицей. Укрощая восставших, он несет с собой все, что душит Бориса. Вот сейчас он скомандует: «В штыки!» — и бросит Бориса на людей, которые пришли выручить, спасти его, избавить от неизбежной кары за сегодняшнее неподчинение Азанчееву.

Если Херинг сейчас победит, то Борис погиб. И Борис даже усмехнулся, поняв, что ему надо сделать. Он отделился от товарищей и пошел к полковнику. Тот увидел солдата, и дуло револьвера глянуло в лицо Борису. Нагнув голову, Борис прыгнул к полковнику и толкнул руку с револьвером кверху. Выстрел на миг оглушил его. Затем Борис, радостно чувствуя силу в своем теле, выдернул револьвер из руки полковника и выстрелил ему прямо в лицо. Полковник упал на спину, широко раскинув руки. Борис обернулся к саперам, крикнул:

— За мной!

И побежал к воротам, встреченный восторженным воплем гвардейцев.

Он быстро пошел к Знаменским казармам. Везде толпились люди. Они спрашивали солдат:

— Что это такое?

В толпе, запрудившей улицу, Борис не заметил Николая Жукова, который объяснял мужчине в картузе и драповом пальто:

— Беги на Выборгскую во весь дух. Кому сказать — знаешь.

Мужчина отвечал торопливо:

— Знаю, бегу.

Это был уже не первый посланец Николая.

Борис прошел во двор. Под аркой жался дежурный взвод. Прапорщик, тот самый, который был дежурным офицером двадцать четвертого февраля, командовал взводом: он, должно быть, в наказание попал на эту должность. Он распоряжался негромко:

— Ближе к стене. Сюда.

И солдаты вжимались в стену, словно желая превратиться в барельеф. Борис искал среди солдат своих знакомых и увидел Семена Грачева. Винтовка дрожала в его руках, и бородатое лицо застыло. Глаза потеряли всякое выражение и бессмысленно глядели на Бориса. Борис сказал ему тихо:

— Херинг убит. Иди за мной.

Но Грачев не сдвинулся с места.

«Убьют ни за что», — подумал Борис и пошел в роту.

В помещении роты шло, как ни в чем не бывало, утреннее учение. Ротный и полуротный стояли посреди самой большой комнаты и следили за солдатами. Козловский командовал:

— На пле-чо! К но-ге!

Как будто ничего не случилось.

Борис вошел в комнату и тронул ротного за локоть.

— Херинг убит, — сказал он. — Сейчас все придут сюда. Бунт.

Ротный сразу побледнел и осунулся так, словно вся кровь ушла из него, словно его уже проткнули штыком. Он мочла пошел по коридору в канцелярию. Борис глянул на полуротного и удивился: прапорщик Стремин усмехался, как ни в чем не бывало. Потом скомандовал:

— Эй! Отойти от окон! Что вы — хотите, чтобы вас убили? Когда подойдут, все на улицу!

И он повернул прочь из помещения роты. На лестнице он вынул из кармана большой красный бант, заготовленный еще неделю тому назад, и прикрепил его к груди.

Еще два бантика поменьше он вынул из другого кармана шинели и приколол к погонам. И в таком виде вышел на улицу навстречу восставшим.

Учение прекратилось. Выстрелы и крики: «Саперы, выходи!» — послышались под окнами. Тяжелые сапоги гвардейцев и саперов из Преображенских казарм загремели по гулкой лестнице. Рота ринулась к выходу: не к черной лестнице, а к парадной. Но на пути, в дверях, вырос огромный финн. Вскинув к плечу винтовку, он кричал:

— Нельзя! Буду стрелять!

Сразу несколько штыков вонзилось в него.

Финн пошатнулся, но не упал. Он раскрыл рот, чтобы еще крикнуть что-то, но кровь брызнула у него изо рта и потекла по толстому подбородку и шее. Лицо финна страшно побледнело, глаза глядели прямо на Бориса, как будто тучный солдат хотел сказать, как тогда, ночью: «Я должен стрелять».

Со двора по черной лестнице в роту прибежал прапорщик, командир дежурного взвода. В коридоре он прислонился к стене и, тяжело дыша, стал расстегивать ворот шинели.

Борис подошел к нему и сказал:

— Херинг убит. Теперь никто не кинет нас в штыки на рабочих.

Сегодня началась какая-то другая война, в которой чувствовался Борису новый огромный смысл, но в которой предстояло еще как следует разобраться. Собственный поступок представлялся Борису необходимым, неизбежным, но отчаянным, вынужденным, не продуманным как следует. И он не сказал прапорщику, что именно он убил Херинга. Ему казалось только, что этот прапорщик, из студентов, тоже, конечно, поступил бы как он. Каких-нибудь два-три часа тому назад Азанчеев крикнул: «Убью!» А теперь?.. Теперь не будет ни дежурного взвода, ни брани Азанчеева, ни всего этого казарменного кошмара...

Прапорщик отирал лицо чистеньким белым платком. Он так испугался, что, несмотря на холод, вспотел. Слушая Бориса, он понемногу успокоился.

Из глубины коридора показался Козловский. Он приближался, щуря левый глаз.

— Что, напугались? — снисходительно спросил он

прапорщика. — Ничего, солдат разбирается, кто с ним, а кто — против. Мы вас не обидим.

Это «мы» обозлило Бориса.

— А ты сам что делал? — сказал он унтеру. — Смотри, как бы тебя не обидели.

Он повернул прочь, а Козловский настороженно сощурился ему вслед, затем пошел к группе солдат, оставшихся в казармах.

— Ну что, ребята, скучные? Добыли свободу — айда на улицу!

Козловский совсем не собирался погибать и соображал, как снова забрать власть над солдатами. На Бориса он давно косился и теперь запомнил его угрозу.

А Борис уже спускался во двор. Он не видел, как вольноопределяющийся из студенческого взвода ломился в квартиру подпоручика Азанчеева. Пенсне дрожало на носу вольноопределяющегося. Он ворвался в квартиру и убил подпоручика, который прятался от него по всем углам. Вольноопределяющийся был студентом-технологом второго курса. Подпоручик Азанчеев тоже был студентом-технологом второго курса.

Выйдя на улицу, Борис услышал спокойный голос:

— Теперь войне каюк.

Он обернулся и, увидев Семена Грачева, обрадовался тому, что Семен жив. Тот уже совсем оправился от испуга. Прислонив винтовку к серой стене дома, он крутил цигарку и ласково кивнул Борису.

По панели от Литейного проспекта шел немолодой штабс-капитан. Гвардейский солдат, проходя мимо него, задел его по лицу винтовкой и не обернулся даже. Офицер остановился и строго поглядел ему вслед. Это его движение было сейчас же замечено. И выскочивший из толпы Козловский замахнулся винтовкой, собираясь всадить офицеру штык в живот. В тот же миг Борис очутился тут. Он схватил унтера за руку и оттолкнул.

— Сволочь! — закричал он. — Ты-то как смеешь? Сам ты что делал?

Он увидел на рукаве офицерской шинели, у обшлага, три золотых полоски и сказал, обращаясь к солдатам:

— Трижды на фронте человек ранен.

У штабс-капитана прыгали губы, и он выговаривал невнятно:

— Я не з-знал... ч-что у вас... б-б-беспорядки... Я на сб-сборный п-пункт... б-б-братцы...

Он никогда в жизни не заикался. С этого момента он стал заикой.

Он пошел в ближайшие ворота, держась обеими руками за живот и сгибаясь так, словно в тело ему врезался уже холодный штык.

Солдаты беспорядочно стреляли в воздух. Но уже взад и вперед по Кирочной улице носился верхом на холеной офицерской лошади вывалянный в снегу высокий тощий подпрапорщик, напомнивший Борису белоруса, который рассказывал ему о гибели единственного сына. Он кричал:

— Направо! Все направо!

Гвардейцы строили солдат и хрипло командовали «смирно», стараясь внести в движение хоть какой-нибудь порядок. И Борис видел, как его взводный покорно встал в отделение, составленное из волынцев, преображенцев, литовцев и саперов. Старый службист совсем сбалдел. В этой новой армии он мог быть только молодым, неопытным новобранцем.

Солдаты шли к Литейному проспекту. Они остановились перед казармами жандармов. Дневальный собрался было стрелять, но его вмиг обезоружили, и жандармы сдались, не сопротивляясь. Юнкера школы саперных прапорщиков немедленно присоединились к восставшим.

У здания Армии и флота остановились надолго.

Молодой волынец предложил:

— Тут живут офицеры. Может, они согласятся с нами?

Солдаты угрюмо молчали.

Выбравшись из толпы, Борис увидел Козловского, который сказал ему:

— Будешь наушничать — намучаешься у меня. Так и знай.

Унтер щурил левый глаз, и тощее лицо его выражало крайнюю злобу.

Борис взглянул на унтера и сказал, твердо выговаривая каждое слово:

— Веди себя тихо. Иначе ты от меня не уйдешь — везде найду.

Он с удовольствием отметил, что Козловский посмотрел на него с испугом. Этот человек привык к тому, что

все боялись и слушались его, а теперь ему самому приходилось бояться и поневоле слушаться.

С ненавистью глянув на Бориса, унтер смолчал и пошел прочь. И то, что он не решился по обыкновению прикрикнуть или пригрозить, показалось Борису еще одним знамением радостных перемен.

Солдаты пошли к Литейному мосту, на Выборгскую сторону, а оттуда повернули обратно — к Таврическому дворцу, где заседала Государственная дума. Из белоколонного здания вышел массивный человек. Лицо у него было полное, с мясистым носом. И хотя щетина торчала сегодня на этих всегда чисто выбритых щеках, Борис узнал в этом человеке члена Государственной думы Михаила Борисовича Орлова. Он орал:

— Освобожденная революционная армия должна теперь с еще большей силой пойти на защиту родины, довести войну до победного конца!..

Борис пробрался в первые ряды. Когда член Государственной думы, кончив речь, оглядел солдат, то увидел и узнал Бориса. Он нахмурился, поглядев на солдата строго и угрюмо.

Борис вышел из толпы и повернул к казармам. Навстречу двигались команды солдат — к Таврическому дворцу. Во главе некоторых команд шли офицеры с красными бантиками на груди. Две роты литовцев шагали под музыку: духовой оркестр играл «Марсельезу».

На Кирочной улице было уже совсем тихо. Борис шел, не глядя по сторонам, и вдруг услышал окрик:

— Сюда!

Он оглянулся.

Незнакомый поручик отделился от группы штатских — мужчин и женщин, сгрудившихся у ворот, и направился к нему.

— Вольноопределяющийся! Как ты смеешь не отдавать чести офицеру? Ты думаешь, что эта сволочь долго будет гулять?

Борис остановился и с удивлением поглядел на офицера.

— Что вы, — сказал он, — с ума спятили? Идите домой, если не хотите, чтоб вас пристрелили.

Поручик выругался и быстро пошел в ворота. Борис с радостным удивлением подумал, что еще вчера он дол-

жен был бы тянуться перед этим поручиком. Только вчера! А уже казалось, что это было очень давно.

В роте он почти никого не нашел. Но взводный и Семен Грачев были на месте.

Взводный испуганно рассказывал о том, как убивали офицеров.

Он решительно не мог понять, как это могло случиться. Теперь вся рота будет расстреляна. И он говорил, оправдываясь заранее:

— Я никого не убил. Вот, ей-богу, никого! А что́ я мог сделать, когда сам полуротный на улицу нижних чинов погнал? С него и спрашивайте. А я службу знаю, я старый солдат. Шестой год на военной службе состою. Кадровый.

Семен Грачев ел хлеб: он, как ни в чем не бывало, притащил из Преображенских казарм три буханки. Он слушал взводного и, когда тот замолк наконец, сказал:

— Знают чудотворцы, что мы не богомольцы.

— Да ведь сколько офицеров-то убито! — воскликнул взводный. — Разве дозволено это?

Ратник отвечал спокойно:

— На погосте жить да обо всех тужить — слез не оберешься.

XXIII

К вечеру Борис явился домой. Тело отца, уже обмытое, в новом форменном, почти не ношенном костюме, лежало на столе в гостиной. Борис подошел к телу, не чувствуя ничего, кроме удивления. Мать обняла его и вывела из комнаты, приговаривая:

— Не надо, Боречка, не надо.

Она, очевидно, упрашивала Бориса не плакать. Но Борис и не собирался плакать. В столовой за самоваром сидели незнакомые люди: два инженера и чертежник с завода. При жизни Лаврова эти люди никогда не бывали у него в гостях. Борис удивился тому, что все-таки три человека пришли к мертвому отцу. Мать сказала ему:

— Сейчас будет панихида.

Юрий с красными, заплаканными глазами подошел к Борису и ничего не сказал — просто встал рядом.

На панихиду явились жильцы соседних квартир, любители церковного пения. Когда священник возгласил «Вечную память», Борису стало жалко отца. Кто вспомнит о нем? Никто, кроме родных.

После ужина все легли спать. Утром Борис не пошел в казармы. Он ходил заказывать гроб и колесницу. Гроб должны были доставить сегодня же, а похороны предполагались завтра.

Анисья, как всегда, подала обед, а после обеда Борис все же побежал в батальон. Ему согласились дать отпуск на три дня.

Услышав, что у Бориса умер отец, Козловский прищурил глаз и сказал:

— Небось, насчет наследства соображаешь? — Тут же он крикнул ратнику: — Хлеб есть?

— Бери, — отвечал Семен Грачев.

Теперь Грачев уже не стягивал с ног унтера сапоги. К смерти отца Бориса он отнесся хозяйственно. Спрашивал, сколько стóит гроб, сколько заплатили священнику.

Выспросив все, покачал головой:

— Живет человек — сам себя кормит. А помрет — сколько расходов!

Получив увольнительную записку, Борис пошéл домой. Он только теперь сообразил, что надо бы сообщить о смерти отца Жилкиным. Он позвонил из дому Наде и сообщил о дне и часе похорон. Клара Андреевна, услышав его слова, закричала совсем по-прежнему:

— Чтобы не было Жилкиных! Я их не пущу! Я их выгоню, если они посмеют прийти!

Но тут же затихла: тело мужа помешало скандалу. Надо было сначала похоронить мужа, а потом уже восстанавливать свой характер. Борис уже досадовал на себя за то, что позвонил Жилкиным: кому это нужно, чтобы они пришли?

Клара Андреевна послала испуганную Анисью в лавку за провизией. Анисья долго не возвращалась. Клара Андреевна, к которой постепенно возвращались обычные черты характера, сама приготовила ужин, приговаривая:

— Я всегда знала, что она воровка и проститутка. Украла деньги. И кошелку украла. Юрий, где пенсне? По-

смотри, может быть эта ведьма и пенсне стащила. — Пенсне висело у нее за спиной на шнурке. — Украсть кошелку! — воскликнула Клара Андреевна.

Ей особенно жалко было кошелку, которая служила ей верой и правдой четырнадцать лет подряд.

Она долго ругала Анисью, когда та, наконец, вернулась. Старуха напрасно оправдывалась тем, что очередь была длинная.

Первого марта, в восемь часов утра, от подъезда дома, где жили Лавровы, к Александро-Невской лавре двинулась похоронная процессия. За колесницей впереди всех шла Клара Андреевна, которую под руку поддерживал Юрий. За ними — три инженера, два чертежника, мастер Кельгрен, несколько никому неизвестных старушек, Жилкины: отец, мать и Надя, а позади всех — Борис. Клара Андреевна с нарочитым хладнокровием поздоровалась с этнографом, его женой и дочерью. Она даже слегка гордилась перед ними: в этом деле, в похоронах, никто не мог оспаривать ее центральное, главенствующее положение.

Двигалась процессия медленно, то и дело останавливаясь.

Борис шел, ни о чем решительно не думая и ничего не замечая вокруг, как человек, который на время лишен самостоятельности в поступках и должен торжественно исполнять неизбежный долг.

На кладбище, над открытой могилой, — снова панихида. И снова Борис пожалел отца при словах «Вечная память»: никто не вспомнит о нем, кроме родных. Когда гроб опустили в землю, Клара Андреевна упала и зарыдала так, что даже могильщик покачал головой, а Жилкин заморгал глазами, вспомнив об убитом сыне. Жена Жилкина тихо, как мышь, стояла над могилой и, казалось, ни о чем не думала. Клара Андреевна на миг опять полностью поняла свое несчастье: ведь то тело, которое столько лет подряд каждую ночь лежало рядом с ней в постели, которое согревало ее и дало ей двух сыновей, теперь навсегда ушло от нее в землю. А ведь это было почти что ее тело — так хорошо она знала все его особенности. И эти костлявые колени, на которые она обижалась в первые месяцы замужней жизни, — они больше никогда не вернутся к ней!

Клара Андреевна потеряла сознание. Юрий и Борис в карете отвезли ее домой.

Борис был рад, что взял отпуск на три дня. Его помощь требовалась тут. Клара Андреевна не спала ночью. Она звала мужа, плакала и все время требовала к себе Бориса, словно признавая в нем бо́льшую силу, чем в старшем сыне, который совсем растерялся и сам плакал, как мать. Борис сидел у постели матери, держал ее руку в своей, успокаивал и думал о том, что никакая жалость не вернет его больше в семью. Он оторвался, он отрезанный ломоть. Даже в горе он отдельно от матери и брата.

XXIV

Приказ № 1, подписанный новым революционным правительством, уже висел над столом дежурного по роте и в канцелярии, когда Борис отправился в Таврический дворец — отыскать Фому Клешнева. Надя указала ему, где найти этого человека. Пропуск Борису тоже устроила Надя.

Трамваи уже снова развозили людей по городу. Теперь Борис не боялся коменданта: он сидел внутри вагона на равных правах со штатскими.

Пройдя сад, он вошел в белое, с колоннами, здание.

Он долго искал Фому Клешнева. Ходил из комнаты в комнату, спрашивал; отчаявшись, повернул, наконец, прочь и в саду столкнулся с тем, кого искал.

Фома Клешнев, на ходу пожав ему руку, сказал:

— Да, я вас помню.

Он уже хотел умчаться куда-то, но задержался еще на миг, чтобы быстро проговорить:

— Я вам нужен? Сегодня ночью я буду дома. Вы зайдите. Это недалеко отсюда. — Он сообщил адрес, прибавив: — Я думаю, что сегодня ночью я смогу быть дома. К одиннадцати часам.

И умчался. Борис заметил перемену в его костюме: пиджак был надет на рабочую блузу, штаны сунуты в высокие сапоги. И это молодило Фому Клешнева. Лицо его похудело за эти несколько дней, щеки обросли щетиной, как и у члена Государственной думы Орлова. Но совсем

разные дела мешали бриться Фоме Клешневу и члену Государственной думы...

К одиннадцати часам Борис явился к Клешневу. Тот жил на Суворовском проспекте, в огромном коричневом доме. Он снимал комнату в четвертом этаже в небольшой квартирке, куда можно было попасть только со двора.

Молодая женщина отворила Борису дверь, сообщила, что товарища Клешнева дома нет, весело улыбнулась и предложила обождать. Она провела его в небольшую, но чисто прибранную комнату, еще раз улыбнулась и сказала, что если товарищ хочет, то она может подать ему чай. Улыбнувшись (нельзя было не улыбнуться, глядя в карие глаза этой женщины), Борис поблагодарил и отвечал, что, спасибо, он чаю не хочет. Женщина поглядела на него, подумала и сказала:

— Тогда уж вам придется просто так обождать.

Она вышла из комнаты. А Борис остался ждать «просто так».

В комнате стояли кровать, стол (письменный и обеденный одновременно), несколько стульев и комод. На стенах, оклеенных зелеными, в цветах и полосках, обоями, не было ни одной фотографии, ни одной картины. Груда книг лежала на столе и на полу у окна.

Часов у Бориса не было. Он думал, что уже не меньше часа ждет Клешнева, когда незнакомая женщина снова появилась в комнате. Она спросила:

— Вам, должно быть, скучно! — И прибавила: — Я ужин делала. Ужасно плохой примус. Фома обязательно должен прийти сегодня. Я-то не так занята, почти каждую ночь дома. Я его жена. — Борис поглядел на нее с любопытством. А Лиза спросила: — Вы по серьезному делу?

Борис понял, что она беспокоится за мужа: опять бессонная ночь. Он заговорил:

— Я могу завтра, если...

Лиза перебила быстро:

— Нет, оставайтесь, оставайтесь!

Прошло еще несколько времени, прежде чем, наконец, раздался звонок. Это пришел Клешнев. Увидев Бориса, он слегка нахмурил брови, словно удивляясь, как мог попасть сюда этот солдат. Потом бросил на кровать кепку, снял пальто и хлопнул себя по лбу:

— Простите! Совсем забыл. Сам же я вас и звал сюда. Я сначала поем. Вы не хотите?

Борису было уже стыдно, что он, явившись с самыми неопределенными намерениями, мешает спать усталому человеку. Он начал, вставая:

— Я лучше завтра...

— Сидите, — перебил Фома Клешнев. — Пришли, так уж сидите. Поели бы вместе, а? Хватит, Лиза?

Но Борис отказался: он успел поужинать дома.

Лиза принесла ужин: яйца, хлеб, колбасу и чай.

Только сейчас Борис понял, что Клешневы занимают в квартире одну комнату, и, значит, он будет мешать спать им обоим.

Клешнев покончил с ужином и обратился к нему:

— Что все-таки привело вас ко мне?

Борис ответил возможно толковее:

— Я сам солдат и видел, что солдатам очень плохо. И вообще, я... я и с родными не могу жить. Я не согласен.

— А с чем же вы согласны?

Борис молчал. Он выяснил вдруг, что знает, чего он не любит, но очень смутно представляет себе, чего он хочет и что ему по душе. Чтобы уверить Клешнева в своей искренности, он хотел сказать ему, что убил командира батальона Херинга, но почему-то не сказал.

Клешнев спросил:

— А вот согласны вы с тем, чтобы войну империалистическую превратить в войну гражданскую, против правящих классов? Знаете вы этот лозунг?

Это было немножко похоже на экзамен.

Борис вспомнил, что однажды он уже слышал эти слова от Клешнева. Но сейчас они показались ему более понятными. Война против правящих классов? Значит, когда он вышел один на один против Херинга — это и была такая война?

— Да. Согласен, — ответил Борис.

Но опять не смог сказать, что убил Херинга.

— Вы очень не любите своих родных? — вдруг спросил Клешнев. — От них и на фронт бежали? — Это был резкий вопрос. Борис запнулся. — Впрочем, не отвечайте, — тотчас же промолвил Клешнев.

Уж он-то имел все основания не любить родителей этого молодого человека. Но не всегда яблоко от яблони

недалеко падает. Бывает и так, что откатится очень далеко, под горку например. А у Лавровых жизнь бесспорно пошла под горку.

— Что ж, — проговорил он, — видно, солдатчина коечему вас научила. Поговорим о том, как вам быть. Это не так просто... Вам придется жить не только для себя. Кстати, у вас есть товарищи в роте? С кем вы особенно сдружились?

И тут Борис впервые понял, что он ни с кем из солдат не сдружился как следует, что он и не знает никого понастоящему.

Борис не знал, что ответить. Клешнев ждал — строго, как учитель на экзамене.

Упавшим голосом Борис пробормотал:

— У меня среди солдат нет особенных друзей.

Клешнев помолчал.

— Вот что, — сказал он наконец. — Я вам расскажу об одном товарище, который любит солдат и дружит с ними. Этот пример, может быть, вас кой-чему научит.

И, не называя имени Николая Жукова, он рассказал Борису о работе этого человека на фронте и в тылу...

— Вы, наверное, думали, что в феврале солдаты сами вдруг вышли на улицы и восстали. Вы думали, что это просто стихийный бунт. А на самом деле вот такие товарищи, как тот, о котором я вам рассказал, помогли солдатам понять правду, повели их за собой. А сумели повести они потому, что путь указан Лениным, партией. Поучитесь, постарайтесь работать, как они, вам еще долго учиться. — Он помолчал и, посмотрев на Лизу, добавил: — А теперь пора спать. Приходите завтра в Таврический. В три часа. Я вас познакомлю кое с кем...

Он назвал номер комнаты.

Прощаясь, Борис сказал:

— Я не знаю, сумею ли я стать таким, как тот, про которого вы мне рассказывали. Может быть, и нет.

Этот откровенный ответ понравился Клешневу. Когда Борис ушел, он сказал Лизе:

— Парень как будто ничего, но надолго ли его хватит — не знаю.

— А ты не торопись с выводами, — возразила Лиза. — Таких, как он, сейчас много. Им надо помочь. Или тебе опять вспомнилось старое?

Да, Клешневу действительно вспомнилось старое. Юношей он состоял в одном революционном кружке с отцом Бориса, уважал его, как старшего и более образованного. Но когда для кружка наступили трудные дни и большинство его участников было арестовано, Лавров отошел от товарищей, не разделил с ними их судьбы, дал богатой жене спасти себя.

Лиза знала об этом, как вообще знала все, что происходило в жизни мужа. У него не было от нее никаких секретов. Так уж повелось с их первой встречи.

Они встретились лет шесть тому назад, в пригороде, где Лиза жила со своим больным отцом. Она служила в школе учительницей, а Клешнев, только что приехавший сюда, был без работы и находился под негласным надзором полиции. Мать Клешнева служила сиделкой в местной больнице и была счастлива, что ее беспокойный сын хоть ненадолго поселился у нее. В дела его она уже давно не вмешивалась. У нее было небольшое хозяйство, заведенное еще при покойном муже, весовщике с багажного склада. Клешнев привез с собой книжки и тетради, — он учился упорно и непрестанно. Еще подростком он поставил себе целью во что бы то ни стало, вопреки всему, сделаться человеком не менее образованным, чем любой интеллигент.

Старая сиделка вскоре заметила, что сын ее стал «как чумной». Объяснялось это тем, что Клешнев познакомился с Лизой. Он был ошеломлен встречей с ней. Все казалось ему изумительным в ней — каждая черточка, каждый жест, каждое слово. Она заплакала однажды, когда он вполголоса запел «Вихри враждебные веют над нами...» Он запел случайно, на прогулке, и даже немножко смутился, увидев ее слезы. Она сжала руками виски и быстро проговорила: «Нет, нет, не думайте, я вообще не плакса, это просто так...»

И она очень откровенно рассказала ему о себе и о своем отце. Отец ее по крайней мере половину своей жизни провел в тюрьмах и ссылке. Из последней ссылки он вернулся совсем больным, и теперь болезни довершали свою разрушительную работу над его телом. История этого человека была типической историей честного интеллигента, пошедшего в народ. Все подробности такого рода историй были хорошо знакомы Клешневу,

вплоть до женитьбы на молоденькой восторженной девушке, которая последовала за мужем в Сибирь и нашла там свою могилу. Но эту историю рассказывала Лиза, и Клешневу представлялось, что еще никогда в жизни он не слышал ничего более трогательного. Мать не взяла с собой Лизу в Сибирь, и девочка росла у богатой тетки. Кончив гимназию и курсы, Лиза оставила тетку и пошла работать учительницей. Вот уже год, как отец вернулся из ссылки, и она, отказавшись от городской работы, переехала сюда, чтобы заботиться о его здоровье.

В дни зимних каникул, когда Лиза была совершенно свободна, они не расставались с утра до вечера.

Это были те, может быть единственные, дни в жизни Клешнева, когда он как бы снял с себя все заботы. Он ходил с Лизой на лыжах, скользил с ней на коньках по глади белого озера, мчал ее на салазках с ледяной горы. Ледяную гору заменяла тут крутая улица, пересеченная внизу узкой дорогой. Было жутковато лететь меж заборов, подскакивая на ухабах. Лизе казалось, что на нижней дороге вдруг выкатится наперерез таратайка, или вывернутся дровни, или просто пешеход заступит путь. Но в этом пустынном углу лесного поселка зимой не замечалось почти никакого движения. На всякий случай Клешнев все-таки ставил какого-нибудь мальчишку караульным на перекрестке, чтобы никто не помешал стремительным салазкам вынестись на ледяной простор озера. Дети были лучшими его друзьями, он целыми часами играл и возился с ними.

Лиза навсегда запомнила, что страшнее всего было начало движения, когда салазки, качнувшись, наклонялись и уже ничто не могло их остановить.

Клешнев и Лиза подолгу гуляли меж зимних сосен и елей. В финках, тулупах, рукавицах и валенках они становились похожи друг на друга. Тишина, полная мороза и солнца, окружала их. Снежная белизна слепила глаза. Смолистые стволы деревьев несли на своих колючих лапах охапки мерзлого снега.

Наконец настал день, когда Лиза сообщила отцу, что у него появился зять.

Вначале, особенно ночами, слушая тихое дыхание Лизы, Клешнев иной раз думал — не поступил ли он как

бессердечный эгоист? Выдержит ли Лиза ту жизнь, которую ей теперь придется вести?

Но она выдерживала одно испытание за другим так, словно и не ждала для себя никакой другой жизни, кроме частых разлук, опасностей, борьбы. Она никогда не досаждала мужу жалобами и слезами и неизменно освобождала его от каких бы то ни было забот о ней.

Мать Клешнева не верила в этот неравный, как ей казалось, брак. Она была убеждена, что Лиза бросит ее сына.

«Тебе бы простую жену», — говорила она, вздыхая, когда сын на несколько дней появлялся у нее.

Сын только усмехался в ответ.

Старая сиделка думала так до самой смерти. А Лиза не ушла от ее сына. Выйдя за Клешнева, она окончательно решила свою судьбу. Салазки наклонились, и уже ничто не могло их остановить.

Клешнев всегда внимательно прислушивался к тому, что Лиза говорила о людях: ее оценки людей оказывались почти всегда верными.

О Борисе Лиза сказала:

— Он честный, но еще ничего не понимает.

Клешнев промолвил в ответ:

— Все-таки любопытно, что он сын именно того Лаврова.

Но Лиза немедленно возразила:

— А если б это был сын Иванова или Сидорова? Ты, Фома, лучше меня понимаешь, что история сейчас прямо вынуждает всех Ивановых, Сидоровых, Лавровых сделать выбор — куда и с кем идти. Сейчас им уже нельзя отсидеться по квартирам. А их отцы в огромном большинстве никогда не были революционерами. И все-таки, Фома, — неожиданно заключила Лиза, — я думаю, что он к тебе завтра не придет.

— Вот те на! — удивился Клешнев. — Начала за здравие, а кончила...

— А я лучше тебя знаю таких, как он.

— Ему же и хуже, — заметил Клешнев и усмехнулся. — Пойдет против нас — не сносить ему головы.

— Против он не пойдет, — опять возразила Лиза. — А впрочем, хватит о нем. Ты устал. Пора спать.

XXV

Выйдя от Клешнева, Борис направился прямо в казармы.

Дежурным по роте был Семен Грачев, а дневальным — молодой солдат. Дневальный расспрашивал ратника о приказе № 1, что́ он означает и можно ли ему верить.

Семен Грачев отвечал неопределенно:

— Смотреть лестно, а жить как — неизвестно.

Борис остановился. Приказ № 1, разрешавший солдатам элементарные человеческие права, нравился ему. У Клешнева Борис только что слышал слова о борьбе с правящими классами и соглашался с этими словами, но ему казалось, что приказ № 1 как раз и был направлен против правящих классов, ибо ограничивал власть свирепых душителей вроде полковника Херинга. Борис начал разъяснять это Семену Грачеву, но тот, не дослушав, угрюмо перебил его:

— На одно солнце глядим, а по-разному едим.

И Борису вдруг вспомнились слова, некогда сказанные Николаем Жуковым: «У нас разная судьба».

Нет, теперь это уже была неправда. Он, Борис, испытал на себе все солдатские тяготы и унижения, хотя отлично мог избежать их, поступив, подобно Сереже Орлову, в офицерское училище. Он сознательно выбрал для себя судьбу солдата, испытал все трудности войны и завоевал право быть вместе с народом. Его поведение у Клешнева вдруг представилось ему наивным и глупым. Надо было прямо сказать, что он, Борис, убил Херинга и этим своим поступком повернул весь ход событий в батальоне. Тогда и Клешнев говорил бы с ним совсем другим тоном. Жизнь замечательна, полна движения, и пусть все знают, что и он, Борис, тоже теперь по-новому строит ее.

Внезапное чувство горькой обиды на кого-то неожиданно охватило Бориса, и он с раздражением сказал Грачеву:

— Вот послушай меня, и понимать будешь больше.

Ратник вдруг обозлился:

— А что понимать? Это, — он махнул рукой туда, где висел приказ, — кому нужно? Это тебе нужно, не нам.

Это для чего написано? Для войны. А война тебе нужна, не мне. Нам один приказ нужен — кончать войну.

В его словах было прямое совпадение с тем, что говорил Клешнев. Но Борис не сдался.

— А при чем тут приказ? — возразил он. — От этого приказа солдатам все-таки легче.

— А чего легче? — повысил тон ратник, и злые огоньки сверкнули в его глазах. Борис с удивлением вспомнил, что этот самый солдат еще так недавно с покорностью стягивал сапоги с ног Козловского. — Для чего это легче придумали? Для войны. Чтобы солдат войну не бросил. Мы что — не понимаем? Кто этот приказ подписал? Что за люди такие? А это Большой Кошель писал! — воскликнул он торжествующе. — Вот кто воюет — Большой Кошель! Он нас посылает, он нас уговаривает, он нас покупает, он нас и продает.

«Большой Кошель»! Эти слова поразили Бориса своей неожиданной меткостью. Но еще больше поразило его злобное воодушевление, с которым они были сказаны. А ведь Борис привык считать Грачева человеком темным и тихим.

— Ты не злись, — примирительно заметил Борис, — говори, что же, по-твоему, теперь надо делать?

Грачев ответил:

— Вспороть, вытряхнуть да выбросить.

И опять глаза его так сверкнули, что Борису стало жутковато.

— Это точно, — солидно подтвердил молодой дневальный.

Борис взглянул на него, на ратника и прошел в комнаты, где спали саперы. Он не чувствовал в себе той злобы, которая звучала в словах Грачева. По-видимому, дело было не только в полковнике Херинге и подпоручике Азанчееве. И Борис удивился — зачем он пошел к Клешневу? Чего он мечется? Все равно он остается чужим и Грачеву и Клешневу. Они ему не верят. И тот рабочий, о котором рассказывал ему Клешнев, тоже отвернется от него, как некогда Николай Жуков: «У нас разная судьба».

Борис понял, что к той деятельности, которую собирался предложить ему Клешнев, он явно неспособен. Очень, конечно, неудобно, что он отнял у Клешнева

время, надоедая ему ночью. Больше он приставать к нему не будет. Он не пойдет к Клешневу в назначенный час. Так будет честней.

Теперь Борису очень хотелось быть среди людей, которые любили его таким, каков он есть, и не требовали от него поступков, на которые он неспособен. Поэтому, не пойдя в назначенный час к Клешневу, Борис вечером отправился к Жилкиным. Но по дороге ему вдруг вспомнилась Лиза Клешнева. Борис вспомнил, как во время его разговора с Клешневым она понимающе, с легкой усмешкой, посматривала на него своими карими глазами. Его вдруг охватило желание опять — и как можно скорее — встретиться с ней, именно с ней, а не с Клешневым. Это было такое сильное желание, что он чуть не повернул в другую сторону.

Нет, он решительно никуда не годится. Он и сам как следует не знает: почему он вдруг вообразил, что именно Лизе Клешневой он мог все рассказать о себе и она все поняла бы? Какое ей до него дело? Нет, он еще совершеннейший мальчишка.

Борис явился к Жилкиным в самом смутном состоянии, крайне недовольный собой.

Главным у Жилкиных теперь стал Григорий. Он работал и в Совете, и в какой-то министерской коллегии, и в штабе. Его имя мелькало на афишах рядом с именами знаменитых деятелей, — он становился постоянным участником всевозможных диспутов и митингов. Когда Борис пришел к Жилкиным, Григорий торопился на какой-то очередной митинг и, споря с отцом, вскидывал голову, выпячивал кадык, взмахивал руками и заполнял всю квартиру зычным голосом опытного оратора. Старик Жилкин, часто мигая глазами, глядел на сына с некоторым недоумением, словно удивляясь тому, что породил такого шумного субъекта.

Григорий кричал отцу:

— Да, папа, ты вскормил на своей груди змею! Предателя! Все они теперь называют нас агентами буржуазии и не хотят понять, что мы ведем уже революционную войну, а не царскую. Это хуже, чем недомыслие. И ты обязан отречься, сказать точно, что ты не с ними!

Старик Жилкин молча развел руками.

— Ты слишком мягок, папа, — продолжал Григорий,— а пришли жестокие времена. Надо спасать революционную Россию. Надо быть беспощадным, как бы ты раньше ни любил Клешнева. Таких, как Клешнев, надо клеймить, надо освобождать от них общество. Этого требует революция! Я против интеллигентского слюнтяйства, ты меня извини, папа.

Старик Жилкин тихо отозвался:

— Именно Клешнев против интеллигентского слюнтяйства, как ты выражаешься.

— Он вообще против интеллигенции! — возмутился Григорий. — Нет, папа, ты просто перестал понимать события.

Вернувшись в казарму, Борис стал внимательно прислушиваться к разговорам солдат о войне. Он заметил, что упорней всех настаивал на продолжении войны унтер Козловский. Он то и дело повторял: «Война до победного конца». Совершенно оправившись от февральского испуга, Козловский приобрел сильную опору в батальонном комитете, где председателем стал прапорщик Стремин. Когда Грачев осмелился заспорить с ним, он пригрозил ему тюрьмой «за разложение армии». И тогда Борис не выдержал. Он вмешался в разговор Козловского с Грачевым и вмешивался всякий раз, когда унтер бывал по-прежнему груб с солдатами. С особым удовольствием он заступался за Семена Грачева. Он говорил унтеру:

— Ты что думаешь, сейчас опять можно измываться над солдатами, как прежде? Ты что, забыл, что революция? Смотри как бы тебя ненароком не обидели!

Козловский в ответ уже не грозил ему. При Борисе он даже стал воздерживаться от резкостей. «Черт его знает, этого наушника! — думал он. — Сейчас такие, из интеллигентов, пришли к власти».

В этой маленькой войне Борис находил некоторое утешение, — все-таки он боролся за человеческое обращение с солдатами.

Однажды, в конце марта, Борис был назначен дневальным у ворот.

Он похаживал от стены к стене под аркой, потом вышел на улицу и сел на тумбу, положив винтовку на колени.

XXVI

Борис рванулся и побежал. Сапоги вязли в оттаявшей земле: шинель, накинутая на плечи и застегнутая только на верхний крючок, развевалась на бегу, как плащ, подставляя грудь и шею Бориса сырому ночному ветру. Борис бежал, не переводя дыхания и не оглядываясь. Он вздрагивал, ожидая, что вот-вот неумолимая рука схватит его за полу шинели; он не сомневался в том, что Козловский гонится за ним.

Борис задыхался, в ушах у него звенело, и фонари Троицкого моста прыгали и дрожали перед ним. Вдруг в темноте обозначилось здание. Около его ворот мерно прохаживался дворник в длинном, до пят, тулупе.

Борис перешел на шаг и оглянулся, ожидая увидеть или услышать унтера. Позади, на Марсовом поле, все было тихо. Борис обождал немного, но высокая фигура в офицерской папахе не показывалась. Борис вглядывался в темноту и прислушивался. Он вспомнил всю сцену с Козловским: как тот рванул его за полу шинели и остановил. Показал ли он хоть чем-нибудь, что хочет убить Бориса? Нет. Почему же Борис побежал от него? Может быть, он напрасно испугался?

Борис хотел уже, чтобы сейчас, немедленно же, унтер появился перед ним и этим оправдал его смертный ужас и сумасшедший бег через Марсово поле. Но Козловский исчез. Злобно закусив губу, Борис шагнул обратно, к Мойке, и пошатнулся: ноги отказывались двигаться, плечи невыносимо ныли, а сердце задыхалось в груди.

Борис скинул шинель наземь, повалился ничком, закрыл глаза и стал дышать. Он дышал сначала часто и коротко, потом все глубже и реже.

Наконец Борис поднялся на ноги.

— Я трус, — сказал он и зажмурился от стыда.

Накинув на плечи грязную, сырую шинель, он двинулся к Миллионной улице. Задумавшись, Борис пропустил нужный переулок, и ему пришлось дать крюк через Дворцовую площадь.

Дома дверь ему отворил Юрий.

Борис объяснил кратко:

— С дежурства.

И пошел к себе. Разделся, лег и сразу же заснул.

Проснулся он в час дня. По правилам, ему следовало явиться в казармы на вечернее учение, но он решил не ходить.

Клара Андреевна чистила на кухне его шинель.

Когда Борис пошел мыться, она спросила:

— Где ты так вывалялся?

— Упал, — нехотя объяснил Борис.

Клара Андреевна не расспрашивала подробнее. Последние дни она вообще очень осторожно обращалась с Борисом: она собиралась, продав все, отправиться к сестре в Киев, на сытую, спокойную жизнь. Юрий соглашался уехать, а с Борисом Клара Андреевна еще не говорила. Она боялась, что Борис, по обыкновению, не подчинится ей. Не то что будет спорить, возражать, а просто не поедет, еще раз обнаружив полное равнодушие к родным. О том, что Борис связан военной службой, Клара Андреевна не думала. Она была твердо убеждена в том, что батальонный командир отпустит Бориса: Клара Андреевна сама пойдет в казармы и объяснит там, что Борису гораздо лучше и сытнее будет жить с матерью в Киеве, чем в Петербурге одному. Этого нельзя не понять — и Бориса отпустят.

После вчерашнего Борис был сам себе противен. Весь вечер он шатался по улицам. Зашел к Жилкиным, но посидел там недолго: скучно стало и тоскливо. К ночи он пошел в казармы. Свернув на Кирочную улицу, он замедлил шаги. Он даже чуть не повернул домой, но тут же удержал себя: «Что же это, опять я трушу?»

Выпрямившись и подняв голову, он быстро зашагал к казарме.

...Однажды на фронте, во время отступления, полк Бориса остановился в небольшой деревушке. Усталые солдаты не успели еще разлечься по халупам, как немецкие снаряды погнали их дальше, не дав отдохнуть. Снаряды летели оттуда, откуда их меньше всего можно было ждать.

Страшные слова: «Прорвали! Окружили!» — ни у кого еще не сорвались с языка, но они были написаны на бледных нахмуренных лицах. Но вот снаряд разорвался посреди улички, повалив наземь двух солдат. Третий солдат, стоявший тут же, застыл на миг, а потом стремглав кинулся прочь. Он бежал, крича: «Окружили!»

Солдат наткнулся на Бориса и чуть не сбил его с ног. Борис схватил его за плечи: «Как тебе не стыдно?» — «Стыд глаза не ест», — нагло отвечал солдат, глядя прямо в лицо Борису. Это был еще совсем молодой новобранец.

— Да, стыд глаза не ест.

Борис решил, если понадобится, прямо сказать Козловскому, что он вчера струсил. Так лучше, чем врать, оправдываться или молчать, краснея.

Он поднялся по лестнице, толкнул дверь, поздоровался с дежурным по роте и пошел к своему месту на нарах.

— Не умер вчера? — спросил чей-то голос.

К нему медленно приближался Козловский.

Козловский остановился перед ним, усмехаясь. Обернулся к саперам, которые перед сном сидели на нарах, потягивая чай и жуя хлеб:

— Глядите, ребята, — герой.

Солдаты прислушались. Козловский продолжал:

— Подхожу это я к нему, как к человеку, — потолковать. А он от меня — стрекача. Много видал бегунов, а чтоб так человек бегал — первый раз вижу.

Он прибавил несколько презрительных слов, сунув руки в карманы и глядя прямо в лицо Борису.

Борис не нашелся, что ответить. Перед всей ротой он не смог ни солгать, ни признаться в том, что на самом деле струсил. Он совершенно растерялся: случилось именно то, чего Борис боялся, — он молчал, краснея. Все мысли и слова ушли от него. И когда он уже совсем погибал от стыда, в нем внезапно вспыхнула решимость. Он быстро заговорил:

— Я думал, что ты хочешь убить меня. Раз в жизни человек может испугаться. Я на войне был — не боялся. И теперь не боюсь. Кто Херинга убил?

— Он убил, — неожиданно подтвердил один из солдат. — Я был с ним, видел.

Известие о том, что Борис убил полковника Херинга, видимо поразило Козловского. Он прекратил перебранку и пошел прочь от Бориса.

Наутро взводный внезапно освободил Бориса от учения и дал ему увольнительную на целых три дня.

— Ты и так много намаялся, — объяснил он.

А когда Борис через три дня явился в казармы, ему совершенно неожиданно был выдан месячный отпуск — «на побывку к родным».

Борис понял, что Козловский забежал к Стремину похлопотать о нем, то есть отделаться от него.

Узнав об отпуске сына, Клара Андреевна обрадовалась.

— Теперь ты хоть раз в жизни должен послушаться, — сказала она умоляюще. — Мы едем в Киев к тете Тане: я, ты и Юрий.

— Почему? — удивился Борис.

— Потому что... — отвечала Клара Андреевна взволнованно. — Ты не должен спорить с матерью. Мать думает прежде всего о тебе. Тебе надо отдохнуть, потолстеть, ты же совсем отощал. Ты бы знал, как ты выглядишь! Да ты просто с ног валишься, я разве не вижу? У тебя чахотка. У тети Тани ты отдохнешь. Тебя может спасти только Киев. Неужели я уже не могу беспокоиться о собственном сыне?

Борису стало жалко мать. Он сказал:

— Хорошо, мама. В крайнем случае сначала поезжай ты с Юрием, а потом и я приеду.

— Ну, значит, мы через неделю и отправляемся! — воскликнула Клара Андреевна. — Я уже все вместе с квартирой продала, и мы едем.

Вечером Борис был у Жилкиных.

Народу собралось много. Тихая, как мышь, старушка Жилкина неслышно двигалась по квартире, подбирая окурки, придвигая стулья к стенам и вообще стараясь внести хоть какой-нибудь порядок в эту шумную и бестолковую суету.

Надя увела Бориса к себе. Борис почему-то вспомнил, как она плакала на Каменноостровском. Он сказал ей об этом, прибавив:

— Почему это ты тогда?

Надя густо покраснела.

— Я хочу говорить о тебе, — не отвечая, заговорила она. — Твой отпуск очень кстати. Ты ужасно выглядишь, тебе нужно поправиться. Я могу устроить тебя в санаторий. Прекрасный санаторий. Это за Выборгом, на станции Кавантсаари. Хочешь — живи там месяц, хочешь — неделю, хочешь — два месяца: твоя воля.

Если согласен, ты мне скажи, и через неделю можешь ехать.

Удивительно, как все — даже Надя — гнали его куда-то прочь.

— А это дорого? — спросил он.

— С деньгами все будет устроено. Ты согласен?

— Мама тащит меня на Украину, — сказал Борис, — но Финляндия ближе, Финляндия — это хорошо. Насчет денег...

Надя перебила торопливо:

— Только ты маме лучше не рассказывай: она меня не любит и запретит. Ты скажи, что тебя отправляют в военный госпиталь, что ты обязан ехать.

Борис пожал плечами.

— Так ты согласен? — добивалась Надя.

— Подумаю.

— Тебе это необходимо. Надо запастись здоровьем.

Борис встал, пошагал по комнате и опять спросил:

— А все-таки, почему ты плакала тогда на Каменноостровском?

Надя рассердилась:

— А тебе какое дело? Я тебе не обязана обо всем докладывать.

Это было совсем не похоже на нее: кричать и сердиться. Борис замолчал.

Когда он ушел, Надя вытащила из-под подушки конверт, из конверта — пачку денег и стала считать. Считала она чрезвычайно внимательно:

— Десять, пятнадцать, восемнадцать...

Надя уже давно откладывала деньги. Она берегла их на первые месяцы жизни с мужем, а мужем должен был стать Борис. Теперь часть этих денег придется отдать хозяйке того санатория, который она наметила для Бориса. Надя задумалась: почему она прямо не сказала, что заплатит за Бориса? Ответ был ясен: чтобы Борис не отказался. Она готова все отдать Борису, а он?.. Кто она для него?.. И Надя заплакала, держа пачку денег в руке. Она плакала тихо, чуть-чуть всхлипывая, как тогда, на Каменноостровском. Она ведь и тогда плакала только оттого, что Борис пошел домой, даже не попытавшись разыскать ее. Он ее не любил. Косы подрагивали на спине Нади. Потом она утерла слезы. Как же все-

таки быть? Она решила настоять на том, чтобы Борис принял деньги, хотя бы взаймы.

Через несколько дней Борис провожал мать и брата на вокзал. Квартира со всей мебелью была уже передана новым хозяевам. Анисья получила отставку. Борису на время была оставлена одна комната.

Клара Андреевна всю дорогу на вокзал повторяла:

— Значит, через неделю я тебя жду.

После второго звонка Борис поцеловал мать и брата и вышел из вагона на платформу. Раздался третий звонок. Плачущее лицо матери показалось за окном и медленно уплыло.

Был вечер, когда Борис шел по Каменноостровскому проспекту, направляясь к Жилкиным. За памятником «Стерегущему» его чуть не сбил с ног стремительно шагавший навстречу солдат. Толкнув Бориса, солдат прошел и даже не оглянулся. Что-то знакомое почудилось Борису в фигуре и походке этого солдата. Но мало ли у него знакомых солдат! И он пошел дальше, так и не узнав в толкнувшем его солдате Николая Жукова.

В этот вечер огромная толпа собралась на площади перед Финляндским вокзалом. Сюда со всех концов города торопились рабочие, солдаты, матросы. Николай Жуков вырвался в передние ряды. Сейчас он впервые увидит его, того, чьи слова стали для миллионов людей законом жизни и борьбы. Восторженное возбуждение охватило Николая.

Рабочий Питер вышел встречать своего вождя. Поднятый многими руками, Ленин был вынесен на площадь, и человеческая громада приветствовала его слитным счастливым громом. Взнесенный на броневик, в скрещении прожекторных лучей, он стал виден всем — с поднятой кверху, выброшенной вперед рукой:

— Да здравствует социалистическая революция!

XXVII

Борис отказался ехать в санаторий и вообще отказался считать себя больным. Он заявил Наде, что отправится на фронт. Фронт научил его кой-чему в пятнадцатом году, научит и сейчас. Конечно, поступив в какую-нибудь школу прапорщиков, хотя бы, например,

в петергофскую, он может очень быстро получить офицерский чин. Больше того, и без всякой офицерской школы он может получить сейчас погоны со звездочкой, но он не сделает этого. Он опять поедет рядовым солдатом, чтобы все увидеть собственными глазами.

Надя слушала его с восторгом и ужасом. Его решение нарушало все ее планы, но, как всегда, в ее глазах он оказывался героем. Она потеряет сон от страха за него, но именно таким — храбрым и решительным — она любит его.

Он отправился с эшелоном, который очень скоро назвал про себя эшелоном болванов. Здесь были преимущественно юноши из интеллигентских семей, которые умудрились ничего не понять в том, что случилось за последние годы. Они ехали на фронт как на праздник и пребывали в романтически-приподнятом настроении, рисуя в своем воображении стремительные атаки, победоносные штурмы и еще невесть какие красивые картинки. Приглядываясь к ним, Борис вспомнил, что в пятнадцатом году, направляясь на фронт, он и сам тоже был вот именно таким болваном, именно так думал и рассуждал. Впервые он отчетливо заметил перемены, которые произошли с ним за это время, и почувствовал, что он уже все-таки не такой мальчишка, каким был.

На ближней к фронту станции им устроили торжественную встречу. Когда они выстроились в уже зеленеющем мокром поле, ораторы со специально построенной трибуны начали горячить их речами. Из первой же речи обвешанного разнообразным оружием правительственного комиссара они узнали, что объявлены ударным эшелоном и призваны вдохнуть новые, революционные силы в ряды стоявшей здесь армии. Среди ораторов Борис увидел англичанина, того самого, который пел гимн у Жилкиных. Он произнес свое напутствие по-английски. Какой-то маленький человечек торопливо переводил его речь, из которой было ясно, что Англия твердо рассчитывает на русских солдат, обязанных воевать храбро и не нарушать дисциплины.

Слушая эти поучения, Борис чувствовал себя глубоко оскорбленным. Какого черта! Но тут не нашлось такого человека, как Клешнев, который как следует ответил бы англичанину. Напротив, когда англичанин замолк, маленький переводчик поднял руку и неистово завопил:

— Да здравствует Англия! Ура!

После краткого отдыха ударный эшелон был двинут на фронт. Болотная земля чавкала под ногами, слышалась отдаленная канонада. Комиссар Временного правительства ехал впереди на лошади и, чувствуя приближение исторического момента, все выше подымал голову, выпячивая подбородок, как это он делал обычно, когда его снимали для журналов. Это был известный адвокат, член кадетской партии.

Борис послушно шел в строю. Что бы там ни было, но во всяком случае он опять подвергается опасности вместе с солдатами, и это по крайней мере честно.

Командир дивизии принимал эшелон самолично, в нескольких километрах от передовой линии, у штаба. Обходя строй, он поглядел зеленоватыми глазами на Бориса, и Борис тотчас же узнал в нем того самого генерала, сына которого, кадетика, он обучал летом четырнадцатого года. Генерал тоже узнал его. Он пригласил Бориса к себе в штаб и посвятил беседе с ним пять минут. В эти пять минут он похвалил Бориса за георгиевский крест, высказав надежду, что Борис будет сообщать ему о немецких шпионах, которые затесались в ряды доблестной русской армии и разлагают ее. Кроме того, он обещал после первой же атаки дать Борису погоны прапорщика и взять его к себе в штаб. Наконец в заключение он сообщил, что его жена и дочь будут рады видеть Бориса в Петрограде после победоносного окончания войны.

Но Борис остался без погон прапорщика и без штабной должности, потому что под утро после неудачной атаки, тяжело раненный в живот, он был в бессознательном состоянии подобран санитарами. Так как в течение первых сорока восьми часов, которые он пролежал в дивизионном лазарете, он не умер, то перитонита, очевидно, не случилось, и его эвакуировали в тыл. Через неделю он в военно-санитарном поезде прибыл в Петроград и мог записать в свою биографию еще один отчаянный, ему самому неясный порыв и еще одно ранение.

В Петрограде он попал в Николаевский военный госпиталь и в первый же день попросил фельдшера известить о нем Жилкиных. На следующее утро прибежала Надя. К вечеру пришел старик Жилкин, растерянно

мигал глазами, оставил несколько книжек и ушел, позабыв на кровати перчатки. Григорию все некогда было зайти, но через Надю и отца он неизменно передавал Борису разные очень торжественные слова. К несчастью, сестра и отец забывали пересказывать его речи, и поэтому Борису так и не пришлось узнать, что он пострадал за великую европейскую цивилизацию.

Борис почти не читал газет. Все в них было ему хорошо знакомо. Они гремели призывами к войне «до победного конца». Санкт-Петербург бросал людей на колени уже не перед Зимним дворцом, а перед флагами французов и англичан, угрожая непокорным расстрелами, готовил июньское наступление и кровавую июльскую расправу. Эшелон за эшелоном отправлялись на фронт. Как Борис слышал в госпитале, в армии постепенно восстанавливались все самые тяжкие порядки царского времени. Вообще было похоже, что снова пытается восстановиться во всех своих правах четырнадцатый год. Даже генерал на фронте оказался тем же самым, с теми же страшноватыми зелеными глазами. Только Борис стал уже совсем другим, и не было для него никакой романтики в этой несправедливой войне.

Он не мог как следует разобраться в событиях. Но на этот раз, как уверяла Надя, он, может быть, и в самом деле просто физически был неспособен к какой-либо активной деятельности, даже к напряженному размышлению. Рана оказалась очень тяжелой, она истощила его. И когда комиссия на шесть месяцев освободила Бориса от военной службы, он без возражений принял от Нади деньги и уехал на поправку в выбранный ею финский санаторий.

XXVIII

Маленькая саврасая лошаденка живо доставила таратайку с Борисом к пансиону «Монрепо». От станции Кавантсаари до «Монрепо» было не больше трех верст. Финн молча принял плату и погнал таратайку обратно на станцию; за всю дорогу он не сказал Борису ни слова.

Большая двухэтажная дача, выкрашенная в кирпичный цвет, с вывеской «Монрепо» над террасой, возвышалась на гребне холма. Крутым склоном холм спускался

к большому озеру, сад окружал дачу; меж сосной, елью и березой рос жесткий, колючий вереск; воздух был сух и прозрачен.

Хозяйка пансиона вышла навстречу новому гостю.

Она скосила глаз на солдатский вещевой мешок, который заменял Борису чемодан, но тут же, изобразив улыбку на своем хоть и широком, но суховатом лице, пригласила Бориса в дом. Она провела его в назначенную ему комнату во втором этаже. Кровать, комод, соломенное кресло, деревянный стул, коротенькая кушетка и умывальник были поставлены тут для Бориса. Борис умылся с дороги, надел чистое белье и выглянул в окно. Отсюда был виден противоположный берег озера, также поросший сосной, елью и березой.

— Хорошо, — сказал Борис.

Звон колокола позвал его к обеду.

В столовой за большим столом сидели обитатели «Монрепо». Борис обрадовался, увидев, что их не так много: полная дама с двумя детьми — мальчиком и девочкой, еще одна дама — молоденькая и худая, еще дама с простоватым лицом, все время объяснявшая что-то сидевшей рядом с ней толстой девочке («Должно быть, бонна», — подумал Борис), и мужчина с черными усиками, необыкновенно подвижной и живой.

Он уставился на Бориса, чуть только тот вошел в комнату. Заложив левую руку за борт синего пиджака и слегка нахмурив густые брови, он внимательно оглядел Бориса с ног до головы. Гимнастерка без погон (штаны были на Борисе штатские), видимо, удивила его. Склонив голову к левому плечу, он разглядывал Бориса с некоторым сомнением.

Хозяйка указала Борису место за столом — между бонной и молоденькой дамочкой. Подвижной мужчина сидел рядом с бонной. Он все еще глядел на Бориса, как бы оценивая этого человека: что он сто́ит и как к нему отнестись. Наконец он обратился к Борису:

— Вы сегодня прибыли? Позвольте познакомиться, — Беренс.

— Лавров, — ответил Борис.

— Лавров? — повторил мужчина, взял со стола салфетку, разложил ее у себя на коленях и снова уставился на Бориса. — Я тоже некогда был офицером.

— Да? — вежливо поддержал разговор Борис и принял тарелку с супом.

Хозяйка уже разливала суп, и горничная разносила налитые тарелки.

— Вы артиллерист или кавалерист? — продолжал расспрашивать Беренс.

«Чего он ко мне пристал?» — подумал Борис и ответил:

— Пехотинец.

— Ах, пехотинец!

Отложив ложку, Беренс даже потер руки, как будто от удовольствия. Потом вновь принялся за суп. Уже не глядя на Бориса, он успокоенно сказал:

— Значит, вы пехотный офицер?

— Нет, солдат, — поправил Борис.

— Солдат?

И Беренс замер с ложкой, не донесенной ко рту, и лицом, обращенным к Борису.

— Солдат? — повторил он.

Хозяйка пансиона, не понимавшая, почему господин Беренс так пристал к ее новому жильцу, и не сочувствовавшая этому, постаралась придать разговору другое направление.

— Ах, это ужасно, когда образованный, культурный человек солдатом попал! — воскликнула она.

Полная дама вздохнула и сказала с таким невероятным, почти утрированным акцентом, что Борис чуть не фыркнул:

— Да, очинь ужясно.

Хозяйка пансиона прибавила, обращаясь к Борису:

— Я знала вашего отца. Это был образованный, культурный человек и очень большой инженер. Мой хороший подруга, мадмуазель Надя, говорил мне, что вы студент (она произнесла: «штудент»).

Борис не успел ответить ей. Господин Беренс задвигался, заулыбался, замахал руками — и все это с таким оживлением, что стул под ним заскрипел.

— Ваш отец инженер? — заговорил он. — Я тоже инженер. У меня завод под Петербургом. Ко мне солдаты ворвались. Они хотели меня убить. Меня! Без меня нет завода, нет! — Господин Беренс провел ладонью по

воздуху, изображая гладкое место. — Завод без меня станет! Рабочие будут голодать!

— Господин Беренс очень волнуется, — пояснила хозяйка тоном переводчицы. — Ах, как это ужасно, когда на образованного, культурного человека так грозят!

— Терпеть не могу солдат, — заключил господин Беренс. — Если бы не они, ничего бы не было. А теперь очень трудно работать. Когда я узнал, что вы солдат, я был очень недоволен. Но ваш отец инженер. Мы будем друзьями. Га!

Тут он с такой силой ударил себя по лбу, что полная дама вздрогнула, а молоденькая почему-то глянула на пол: ей, кажется, представилось, что череп господина Беренса сейчас упадет под стол и разобьется на мелкие осколки.

— Га! — воскликнул господин Беренс. — Инженер Лавров! Я знал инженера Лаврова — он работал на... — Он назвал завод, на котором действительно работал отец Бориса. — Он умер, инженер Лавров! — радостно восклицал господин Беренс. — Я знал его! Он умер! — Спохватившись, он мгновенно заменил радостные интонации самыми печальными. Он сказал Борису тихо, с глубокой грустью: — Ваш отец умер. Это огромная потеря для страны. Мы с вами — друзья.

Совсем успокоившись, он приступил к жаркóму.

Борис удивлялся: почему то обстоятельство, что господин Беренс знал отца, успокоило его в отношении сына?

Застольная беседа продолжалась. Полная дама ровным, без всяких интонаций, голосом говорила о себе. Понемногу выяснилось, что этой даме принадлежит чуть ли не половина Лифляндии. Она не хвасталась этим, а жаловалась: столько хлопот! Она так счастлива, что хоть на месяц вырвалась на волю!

После обеда молоденькая дама, вся зашевелившись, спросила Бориса:

— Вам нравится Финляндия?

И пошла в гостиную.

— Нравится, — отвечал Борис, принужденный для ответа последовать за ней.

— Правда, очень красивые места?

— Да...

Борис ничего, кроме этого «да», не мог придумать.

— А какой воздух! Настоящий горный воздух!

Дамочка опустилась на диван и указала Борису место рядом с собой.

— Да, — согласился Борис, — воздух...

Он был смущен и не знал, о чем говорить. Ему хотелось к себе в комнату.

Дамочка глядела на него с ожиданием. Господин Беренс подошел к нему, заложив руки в карманы и выпячивая грудь: обед всегда действовал на него возбуждающе.

Собравшись с духом, Борис продолжал:

— Воздух дивный («Откуда взялось у меня это слово?» — подумал он с удивлением). Роскошный воздух. После Петербурга — чудесно. Вы знаете, в Польше тоже замечательный воздух. Я в Польше провел полгода, на фронте.

— Вы были на фронте? — воскликнул господин Беренс. — Ну что ж, это красиво? Блеск, грохот — это феерия. Как замечательно описан Бородинский бой у Толстого! Гениальный писатель! Великий писатель земли русской! Ах, я влюблен в войну!

Борис подумал, что господин Беренс, вероятно, гораздо умнее своих слов. Он нарочно надевает на себя маску жизнерадостного простака: так ему легче направлять разговор по желательному руслу.

Дамочка брезгливо поморщилась:

— Нет, это ужасно. Я ненавижу войну.

Борис стал рассказывать о том, как он был ранен. Дамочка вздыхала, качая головой, и морщилась. Господин Беренс изображал на лице чрезвычайное внимание. Рассказывая, Борис незаметно для самого себя приноравливался к своим слушателям. Он представлял все в несколько романтическом виде.

Когда Борис кончил, господин Беренс промолвил:

— Ваш отец был, должно быть, горд своим сыном. Вы вели себя прекрасно. Почему вы не носите своего креста?

Затем господин Беренс неопределенно махнул рукой и удалился к себе.

Борис тотчас поднялся с кушетки, чтобы удалиться. Дамочка протянула ему руку для поцелуя. Борис поднес

руку к губам, поцеловал, успев заметить розовые отполированные ногти, и хотел уйти. Дамочка (Борис ясно почувствовал это) чуть сдавила его руку. Борис взглянул на нее и встретился с очень серьезным и упорным взглядом. Так в Острове глядела на Бориса Тереза. Борис еще раз поцеловал руку дамочке и вышел.

У себя в комнате он прилег на кушетку и подумал: как вести себя в этом обществе? И решил, что будет вести себя вежливо и равнодушно. Ведь он, Борис, приехал сюда поправлять здоровье. Когда господин Беренс подошел к нему в гостиной, Борису неудержимо захотелось рассказать, как он убил полковника Херинга, но он подавил в себе это почти истерическое желание.

Борис стал разбирать и раскладывать по ящикам комода все то, что он привез с собой в вещевом мешке. Затем, захватив «Первую любовь» Тургенева, пошел на воздух.

В саду он сел в соломенное кресло, раскрыл книжку, вытянул ноги, и ему неудержимо захотелось спать. Книжка упала на колени, ветер листал страницы. Борис спал.

Он очнулся от холода. Уже стемнело. Ослепительно сверкала Полярная звезда. Дрожа от холода, Борис поднялся с кресла, подобрал упавшего наземь Тургенева и торопливо пошел по аллее. Вот и дача. Борис хотел уже войти на террасу, но вдруг прочел над входом: «Симпатия». Да и дача была совсем не похожа на ту, в которой поселился Борис.

«Что за черт?» — удивился Борис.

Он заблудился и не мог понять, куда он попал. Повернул обратно и вскоре увидел свет из окон «Монрепо».

Ужин был в разгаре. Извинившись, Борис присел к столу.

— У вас, оказывается, есть еще пансион «Симпатия?» — спросил он у хозяйки.

— Там живут моя мать, мой муж и мой сын, — отвечала хозяйка.

Молоденькая дамочка снова сидела рядом с Борисом. Он не обращал на нее решительно никакого внимания, так же как и на господина Беренса.

XXIX

Война еще длилась, эшелоны солдат тянулись на фронт, и русской армией все явственней командовали английские и французские послы, атташе, советники, коммерсанты. Петроград был полон ими. Офицеры и юнкера, адвокаты и политические авантюристы, спекулянты и банкиры восхваляли свою последнюю надежду — Временное правительство и его главаря Керенского, прославляли Корнилова и Савинкова.

С весны Мариша перешла на службу в Совет. Она разбирала корреспонденцию с фронта, направляя некоторые солдатские письма в кабинет печати.

В июне Николая отправили на фронт, Мариша пошла на вокзал провожать его. Он стал ее лучшим другом и больше ни разу не заговаривал о женитьбе. Может быть, когда-нибудь потом она даже полюбит его и станет его женой. Все может быть. Кто знает, что будет впереди?

Она собрала все свои силы для того, чтобы не заплакать при прощании. Когда она видела солдат, уезжающих на фронт, ей невольно вспоминались эшелоны раненых, возвращающихся с фронта. Но, чтобы не расстраивать Николая, она даже попыталась улыбнуться. Впрочем, это была такая улыбка, что Николай сказал:

— Уж лучше бы заплакала.

Он мог бы и не ехать на фронт, но там нужна была его работа, и он не пожалел себя. Мариша подумала о том, что он никогда себя не жалеет. А она его жалеет? Марише стало так жалко и его, и себя, и всех, кому не дают жить мирно и трудолюбиво, что она все-таки заплакала. Вскоре она узнала от Лизы, что Николай попал в Особую армию, наиболее страшную в те времена.

Третьего июля она шла по Невскому проспекту в толпе демонстрантов, которые несли плакаты «За власть Советов!».

Дойдя почти до Садовой улицы, толпа остановилась.

Сначала Мариша не поняла, что произошло. Послышались крики, какое-то перещелкивание, затем раздались выстрелы. Огромный солдат рядом с Маришей кричал:

— Сволочи!

А вокруг визжали пули, и люди падали на мостовую.

Правительство, называвшее себя революционным, расстреливало безоружных демонстрантов.

Мариша схватила солдата за рукав, а тот вдруг замолк и навзничь упал на мостовую. Мариша вскрикнула и наклонилась над ним. Солдат был мертв, — его убила пуля Керенского.

Мариша не помнила, как дошла до квартиры Клешневых, где поселилась после отъезда Николая. То, что ей пришлось увидеть, глубоко поразило ее. Как ни боролась она с собой, сколько раз ни повторяла все внушения Николая, Лизы, Клешнева, но страх перед жизнью охватывал ее иногда с такой силой, что ей казалось просто невозможным существовать и на что-то еще надеяться... От Николая не было никаких вестей. Что с ним? Жив ли он?.. Она не могла отделаться от чувства какой-то вины перед ним.

В дни корниловского мятежа она особенно горько вспоминала Николая. Особая армия стала совершенно страшной, но почему-то Мариша верила, что Николай останется жив.

Генерал Эрдели, командовавший Особой армией, один из главных сторонников Корнилова, установил в подчиненных ему войсках режим офицерской диктатуры. Малейшее нарушение дисциплины каралось расстрелом. Быть большевиком и состоять в рядах этой армии означало наверняка быть расстрелянным. Николай был изобличен и бежал из-под конвоя. Один из конвоиров помог ему и бежал вместе с ним.

Частью пешком, частью прячась в товарных вагонах, теряя и вновь приобретая случайных спутников, Николай, грязный и обросший черной бородой, добрался, наконец, до Петрограда.

Клешнев, работавший в военной секции Совета, дал ему только ночь отдыха, а затем сказал:

— Езжай в Павловский полк. Мытнина ты там знаешь. Езжай на поддержку.

Мытнин встретил его так, словно они вчера расстались:

— Ты из Особой? Через час митинг. Говори крепче.

Первым выступил эсеровский оратор.

Серошинельная толпа солдат слушала его во дворе казармы. Кто сидел в отдалении, покуривая цигарки

и тихо переговариваясь, кто напряженно ловил каждое слово оратора, кто перебивал его речь криком и бранью. Красное лицо Мытнина было еще краснее обычного, глаза его возбужденно горели. Оратор говорил гладко и красиво, обещая солдатам землю и волю после победоносного окончания войны.

Николай выскочил на трибуну, стараясь совладать с собой.

— Я с фронта, из Особой армии! — неистово закричал он. — Вот что творится там, где слабы большевики! — И Николай стал рассказывать об армии генерала Эрдели. В его словах было нечто такое, что заставило насторожиться даже самых дальних и невнимательных слушателей. — Военные победы укрепят их силы, и нам не вырваться тогда из тисков! — все более возбуждаясь собственным рассказом, продолжал Николай. — Конец войне, мир — вот что нам нужно! Товарищи, не верьте обманщикам! Надо свою войну затевать против всей этой мировой сволочи! Спасибо, что товарищ Ленин живет на свете!

Эсеровскому оратору пришлось спасаться бегством.

XXX

Тем временем Борис Лавров ел, пил и спал в финском санатории, не дружа и не ссорясь с остальными обитателями «Монрепо» и предоставив молоденькую дамочку господину Беренсу. Он подолгу гулял в сухом сосновом лесу, присаживаясь на валуны и ложась на песок спиной к солнцу. Он отдыхал первый раз за последние годы и впервые был совершенно свободен. Но с некоторых пор это ощущение свободы у него пропало. Началось с того, что он прочел в газетах о событиях третьего июля в Петрограде.

— Теперь станет спокойно, — заметил за обедом господин Беренс.

— О да! — согласилась полная дама.

И всё. Они умели не тратить лишних слов.

«Значит, — подумал Борис, — произошло то, чего не было в феврале. Не городовые, не полицейские, а солдаты стреляли в демонстрантов. Какие же это солдаты?

Что бросает сейчас людей друг на друга?» Борису подумалось, что юноши из богатых семей, с которыми он ехал на фронт, конечно, могли бы стрелять третьего июля по безоружным демонстрантам, по простым солдатам, которым эта война так же не нужна, как не нужна была и царская. Не все в ударном эшелоне были такими уж болванами, как ему сначала казалось. Он вспомнил, что юноши из особенно богатых семей тотчас же по прибытии на фронт были произведены в офицеры и получили разные штабные должности. Никого из них Борис не помнил в атаке. Все-таки пребывание в ударном эшелоне кой-чему научило Бориса. Все эти дни после третьего июля он размышлял как раз над тем, что ему пришлось видеть именно в этом эшелоне. Пожалуй, зря он презрительно называл его эшелоном болванов. Там главное было совсем не в глупости или уме.

Любимым местом размышлений стала для Бориса скамейка у тихого озера. Он каждый день проводил здесь утренние часы: читал, думал, вспоминал. Да, конечно, событиями третьего июля должны быть довольны и англичанин, предлагавший русским солдатам стать верными патриотами Англии, и петербургские богачи, устроившие своих сыновей на безопасные штабные должности, и господин Беренс. А Григорий Жилкин просто состоит у них на службе и поставляет им необходимые революционные слова.

«Большой Кошель», — вспомнились вдруг Борису слова ратника Семена Грачева. Эти слова резким и ясным светом освещали то, что произошло третьего июля. Когда Грачев бросил ему эти слова, то Борис оттолкнул их от себя, но теперь они возвращались к нему, и их уже нельзя было оттолкнуть. Теперь Борис читал уже не «Первую любовь» Тургенева, а «Коммунистический манифест» и брошюры об учении Маркса (эти книги дала ему с собой Надя), и ему казалось, что впервые в жизни он начинает всерьез разбираться в том, что происходит вокруг него.

Теперь он другими глазами смотрел на обитателей «Монрепо». Ведь это и был тот самый Большой Кошель, о котором говорил ему ратник Семен Грачев.

Но — странно: размышляя над всем этим, Борис продолжал бездействовать. Обитатели пансиона «Монрепо»

казались ему порой всего лишь экспонатами какого-то диковинного музея.

Однажды, выйдя к обеду, он заметил, что хозяйка уже не сидит на своем месте за столом. Вскоре она появилась, неся дымящуюся миску с супом.

— Где Марта? — удивился господин Беренс.

Хозяйка, вернувшись к своему месту, наполнила тарелку с супом, поставила ее на стол и заплакала:

— Такой некультурный, необразованный народ!

И, утирая слезы, она объяснила, что весь штат прислуги — кухарка, горничная Марта, сторож забастовали. Продолжает работать только электротехник.

Никто за столом не взволновался: тут сидели люди, привычные к такого рода историям. Никто ничего не сказал, но после обеда господин Беренс и полная дама предложили свои услуги вместо забастовавших. Полная дама настояла на том, чтобы заменить кухарку, а господин Беренс заявил, что он сегодня будет ночевать в сторожевой будке. Хозяйка растроганно благодарила их.

В семь часов вечера загорелось электричество, но не прошло и десяти минут, как оно потухло: электротехник тоже снялся с работы. Через полчаса электричество вновь зажглось: место электротехника занял сын хозяйки.

Борис вышел погулять. Он хотел встретить кого-нибудь из бастующих. В полуверсте от пансиона находился клуб, где собирались финские рабочие. Он пошел туда. Перед клубом, на лужайке, толпилось много народу. Бориса заметили. Незнакомый финн подошел к нему и, сердито хмуря белесые брови, проговорил на своем языке длинную фразу, из которой Борис не понял ни слова. Но жест финна был достаточно понятен, — финн гнал Бориса прочь отсюда. Уж одно то, что Борис жил в пансионе, делало его врагом для этих людей.

Борис покорно повернул домой.

На следующий день все, кроме него, были втянуты в работу. Молоденькая дамочка помогала полной даме на кухне; хозяйка убирала комнаты; ей помогала бонна, на попечение которой, кроме того, были отданы все дети; господин Беренс и муж хозяйки по очереди исполняли обязанности сторожа; сын хозяйки работал в огороде

и в поле, а вечером сидел на электрической станции. Борис ничего не делал, и это было похоже на молчаливую демонстрацию. Обитатели пансиона вежливо ждали, когда он сам предложит свои услуги.

«Надо завтра же уехать», — решил он. Это «завтра» было последней надеждой — авось все успокоится как-нибудь само собой.

За обедом господин Беренс вежливо осведомился у него:

— У вас руки совсем отвалились? — Борис был так занят своими мыслями, что не понял его слов. Он только взглянул на него с недоумением. — Вы долго думаете еще оставаться индифферентным? — осведомился господин Беренс.

Маску жизнерадостного простака он снял еще вчера. Он стал суше, деловитее и злее.

Борис понял. Одно слово — и он окажется либо заклятым врагом, либо закадычным другом этих людей. Третьей возможности нет.

— Ах, господин Беренс, — вздохнула хозяйка. — Господин Лавров так заболел солдатом! Я очень, очень не хотел солдат на пансион взять. Но у меня такой нежный сердце...

Господин Беренс усмехнулся. Он сказал уже в форме приказания:

— Сегодня после обеда вы замените меня.

Борис заметил, что господин Беренс говорит с ним уже не как с равным себе. Может быть, теперь его даже заставят работать больше других, потому что он солдат. Борис встал и вышел из-за стола. У себя в комнате он быстро сложил вещи в мешок, надел пальто, фуражку и, закинув мешок за плечи, двинулся вниз по лестнице. В прихожей его догнала хозяйка пансиона, за ней следовал господин Беренс.

— Испугались? — ядовито спрашивал господин Беренс. — Герой, нечего сказать.

— Я убил командира батальона, в котором служил! — воскликнул Борис. — Я не желаю вам помогать!

Господин Беренс расхохотался:

— Чем отговаривается! Бездельничать да раскошничать — на это вы не большевик! А бороться со швалью — тут вы большевик! Хвастун паршивый! Трус! Врете!

Поверю я, чтобы вы посмели убить кого-нибудь! Шваль! Тихоня!

Хозяйку пансиона между тем волновали совсем другие мысли: она боялась, не утащил ли Борис что-нибудь. Никогда не покидавшая ее деликатность мешала ей произвести обыск в его мешке. Наконец она придумала выход:

— Ах, господин Лавров, вы, наверное, очень нехорошо уложили свои вещи. Мужчина никогда не умеет свои вещи уложить. Я вам уложу.

Она протянула руку к мешку. Но Борис уже двинулся к двери:

— Прощайте.

Он проклинал себя за все прошедшие недели. Что за дурак — придумал себе какую-то глупость насчет музея и экспонатов. Хороши экспонаты! Хорош музей!

Хозяйка ломала руки: она была уже уверена, что он украл. Иначе зачем он так торопится!

— Ах, господин Лавров! — воскликнула она, чувствуя, что никак не может потребовать обыска. — Ах, господин Беренс!

Она утешала себя тем, что все-таки получила плату за два месяца, а Борис жил в пансионе меньше. Даже если он украл, то, может быть, она на этом ничего не потеряет. К тому же, большая вещь не влезла бы в его мешок. Тут хозяйка вспомнила фарфоровую статуэтку, которая стояла в комнате Бориса, и стремглав бросилась вверх по лестнице. Если статуэтки нет, то она скажет об этом господину Беренсу, и тот уличит Бориса в воровстве. Но статуэтка стояла на месте. Хозяйка заглянула в гостиную, — все мелочи были на местах.

«Сын инженера не может быть вором», — успокоенно подумала она.

А Борис уже шел по саду. Он почти бежал, не чувствуя тяжести мешка.

Господа Беренсы знали его отца, но это не должно больше успокаивать их в отношении сына!

Только подходя к станции, Борис замедлил шаг.

Он завез мешок с вещами домой и сразу же отправился к Жилкиным.

Надя выбежала ему навстречу.

— Уже? — радостно спрашивала она. — Как ты от-

дохнул? — Она по обыкновению повела его к себе. — Поправился, — говорила она, поглядывая на него. Она держала его за локоть двумя пальцами, оттягивая рукав гимнастерки. — Ты доволен?

— Очень недоволен, — отвечал Борис и, усевшись на одну из пугавших его некогда хрупких тумбочек, без утайки рассказал все, что с ним случилось в финском санатории. — Не понимаю, как я мог согласиться ехать в этот пансион, — закончил он.

Надя слушала, и слезы накапливались в ее глазах. Сдерживая их, она сказала:

— Но ты же должен был поправиться и отдохнуть?

Надя силилась быть спокойной, но слезы все-таки покатились по ее щекам. Она отвернулась.

— Удивительное дело! — восклицал Борис. — Впрочем, ты тут ни при чем. Это я круглый дурак и во всем виноват! К черту! Забудем об этом! Сколько я тебе должен?

Надя в ответ заплакала, уже не сдерживаясь.

Борис подсел к ней:

— Что ты? Успокойся! Тебе я только благодарен.

Но в его словах не было того, что могло бы успокоить Надю.

— Хорошо, забудем, — сказала она, утирая слезы.

— Только уж прости, — отвечал Борис, — но я должен вернуть тебе деньги. С чего ж это я буду жить на твой счет?

Когда Борис ушел, Надя долго еще сидела, выпрямившись, на кушетке. Впервые она думала о том, что этот человек совсем не стóит такой любви. Он просто ничего не замечает, ничего не может понять. Если так, то она сумеет построить свою жизнь без него. Подумав об этом, она сразу почувствовала себя очень несчастной и снова заплакала. Неужели поздно? Неужели она уже не может разлюбить Бориса? Надя даже ударила кулаком по кушетке. Она твердо решила разлюбить Бориса, разлюбить во что бы то ни стало.

Шагая к себе на Конюшенную, Борис тоже думал о Наде. Он все прекрасно понял, но нарочно притворился непонимающим. Ему сейчас было не до любовных историй.

XXXI

Борис разыскивал и не мог найти Клешнева.

Он искал его везде, где тот мог оказаться, но нигде не заставал ни самого Клешнева, ни Лизы. Борису казалось, что вся его дальнейшая жизнь зависит от того, найдет ли он Клешнева и сумеет высказать ему свои мысли и чувства. Борис хотел сказать Клешневу, что теперь он понимает то, чего не понимал в марте. Теперь он готов на все.

В исполкоме его направили в кабинет печати.

В кабинете печати хлопотали два журналиста: один — полный, в пенсне, другой — тоже в пенсне, но худощавый.

Человек, в котором Борис сразу узнал видного общественного деятеля, сунул голову в дверь и спросил:

— Когда выдаете гонорар?

— А вам за что? — осведомился полный журналист, не подымая глаз от бумаги, которую он быстро заполнял рядами черных строк.

— За статью «Россия погибла», — отвечал деятель.

— В субботу, — сказал журналист, почтительно прекращая работу: он уважал автора статьи. — Здравствуйте (он назвал имя и отчество деятеля).

— Здравствуйте.

И деятель скрылся.

Борис прошел через зал к лестнице, которая вела вниз, в столовую. Почти все столики были заняты. Борис тоже спросил обед. Он получил у стойки тарелку беф-строганова, нашел свободное место и сел за стол. Против него сидел человек в офицерской форме, один из кандидатов в Учредительное собрание. Этот кандидат положил в рот кусок мяса, пожевал и выплюнул. Возмущенно обратился к Борису:

— Сволочи! Какими обедами кормят!

Встал и пошел из столовой. Борис подумал, что пищи, которую он оставил на столе, хватило бы на обед целому семейству: Петербург уже голодал. Вид сытых, алчных, привередливых деятелей возбуждал в нем ненависть к будущему Учредительному собранию.

Мимо прошел Григорий Жилкин. Он увидел Бориса и присел рядом с ним.

— Ты приехал? Поправился?.. — Не ожидая ответа, он заговорил о другом: — Вся надежда теперь на Учредительное собрание... — И снова перебил себя: — Что ты тут делаешь?

Он был очень возбужден.

— Ищу Клешнева, — отвечал Борис. — Ты не знаешь, где он?

— Клешнева? Зачем? — Григорий даже покраснел от негодования. — Я старше тебя на десять лет, я больше имею политического и житейского опыта, и я тебя серьезно предостерегаю: брось всех этих людей. Они тебе по молодости лет нравятся. Но это не шутка и не развлечение, — решается судьба революции. Безумие в таких делах недопустимо. Оно ведет к гибели. Брось Клешнева!

— Нет, — угрюмо отвечал Борис.

Оба они не подозревали того, что в этом мимолетном разговоре решается их судьба — надолго, быть может навсегда.

— Опомнись, — сказал Григорий. — Клешнев меня больше не интересует: если он погибнет, я его не пожалею. Но твоя судьба мне все-таки не безразлична. Я не хочу, чтобы ты зря погибал. Я тебе говорю: брось это.

Борис покачал головой.

— Лучше ты опомнись, — отозвался он.

Григорий вскочил:

— Как ты смеешь! Мальчишка!

Он пошел к выходу. В дверях он обернулся, видимо надеясь, что Борис его окликнет, но Борис молча склонился над тарелкой.

«А ведь я действительно все еще мальчишка, — думал Борис. — Сначала я совершаю какой-нибудь поступок, а только потом начинаю соображать, правильно ли я поступил. Так я бросился на фронт, так ходил к члену Государственной думы, к Дмитрию Павловичу и даже к Фоме Клешневу. Так же в сущности получилось и с поездкой в Кавантсаари. Во всем, во всем так».

Пора взяться за ум. Пора научиться заранее обдумывать свои поступки. Надо перестроить себя. Иначе с ним может случиться все что угодно. Может быть, он опять захочет отстраниться, как в финском санатории, или опять убежит, как тогда от Козловского. Нет, в его жизни больше не должно быть такого вздора. Ведь

действительно: то, в чем он хочет участвовать, — не шутка и не развлечение. Но чего же он все-таки хочет? К чему стремится? «Я хочу быть с народом», — ответил он себе, но тут же почувствовал, что этих слов уже мало. Мало одного желания быть с народом. Нужно еще уметь по-настоящему бороться с его врагами.

Он хорошо знал этих врагов. Это был ненавистный «Большой Кошель». Это были и гимназические товарищи Бориса, вроде Сережи Орлова, и Григорий Жилкин, и... нет, лучше всех не перечислять. Ведь и отец Бориса служил таким людям, как господин Беренс, а если идти с народом, то надо идти против всех этих людей, а значит, и против отца. Значит, надо окончательно порвать со всем тем миром, в котором вырос и к которому привык с детства, а это гораздо трудней, чем убить полковника Херинга. Но это необходимо, это неизбежно, без этого невозможна его дальнейшая жизнь.

Борис встал и пошел к выходу.

В дверях он столкнулся с Фомой Клешневым, и хотя именно его он искал, все же встреча показалась ему неожиданной. Он растерялся. Судьба, которой искал Борис, стояла перед ним.

— Я Борис Лавров, — сказал он и умолк.

Клешнев внимательно взглянул на него.

— Да, — ответил он, хмуря темные брови.

И Борис отчетливо вспомнил, что обманул этого человека, не явившись к нему в марте в назначенный час. Борис заговорил:

— Я очень виноват... но я был на фронте... тяжелая рана... хотя дело не в этом... — Справившись с собой, он продолжал: — Я прошу любую работу. Я буду стараться.

Это вышло очень по-мальчишески, но поправляться было уже поздно.

Клешнев повел его к себе в комнату. По пути он сказал:

— Я не удивился, что вы тогда не пришли. И фронт тут ни при чем.

— Я тогда ничего еще не понимал, — заговорил Борис, — я...

— А теперь? — перебил Клешнев. — Что вы понимаете теперь? Ваш отец тоже когда-то уверял меня, что он все понимает.

— Мой отец? — удивился Борис.

— Вам надо знать. Ваш отец был со мной в одном революционном кружке. Он не только считал, что все понимает, но даже поучал других. А в опасный момент предпочел спокойную жизнь и отстранился. Он оказался предателем, хотя никого не предал. Отход от борьбы — это то же предательство. Я знал вашего отца и потому не удивился тому, что вы условились со мной тогда и не пришли.

Борис ответил срывающимся голосом:

— Я.. я ручаюсь... это никогда больше не повторится... А насчет отца... Я давно порвал с семьей...

— Я вас предупредил,—строго промолвил Клешнев.— А теперь скажите, вы офицер?

— Нет, солдат.

— Жаль. Но командовать вы умеете?

— Умею.

— Нам нужны командиры. С Павловским полком никаких дел у вас не было?

— Никаких.

— Я вас познакомлю с одним товарищем. Он должен сейчас прийти сюда. Подождите.

Клешнев ушел куда-то. Несколько солдат, с вещевыми мешками у ног, молча покуривали, тоже, видно, дожидаясь назначения. Борис присел на стул. Слова Клешнева об отце настолько поразили его, что сейчас он думал только о них. В сущности, Клешнев прямо сказал ему, что он, как и его отец, способен оказаться в прислужниках у господ Беренсов. Именно в этом состоял смысл его слов. И разве он не имел оснований думать так? Борису не терпелось тотчас же, немедленно доказать, что таких оснований нет и не будет больше никогда.

Дверь отворилась, и в комнату вошли Клешнев и Николай Жуков.

— Сейчас мы с вами отправимся, — обратился Клешнев к ожидавшим солдатам.

Увидев Николая Жукова, Борис вскочил с места. Ему казалось, что Жуков, старый знакомый, должен обрадоваться встрече с ним:

— Николай Дмитриевич... Вы меня не узнали? Борис Лавров...

Но Николай не выказал никакой радости.

— Ну и что? — спросил он.

Видимо, Борису нужно было еще доказать, что он достоин доверия и дружбы...

Клешнев, с усмешкой наблюдавший за этой сценой, сказал, обращаясь к Николаю:

— Попробуем товарища в Павловском полку. Он не офицер, но командовать умеет. Сведи его с Мытниным.

Николай испытующе посмотрел на Бориса. Ему показалось странным, что Клешнев рекомендовал этого барчука как своего, как человека, которому можно доверять. Но Николай привык верить Клешневу. По дороге в Павловский полк он расспрашивал Бориса:

— На каком фронте были?.. А сейчас откуда?.. — Борис подробно и точно отвечал на все вопросы. — Что ж, — проговорил Николай, — будете в полку за офицера, Мытнин все сделает, он в комитете влиятельный. Что комитет скажет, тому и подчиняйтесь. — Он усмехнулся внезапному воспоминанию. — Помните, как сапоги мне покупали?

Борис воскликнул:

— Да, конечно же! Вы мне еще сказали: «У нас разная судьба».

— Этого не помню. Может быть, и сказал.

Борис проговорил тихо:

— А я хочу, чтобы была одинаковая.

Николай усмехнулся:

— Ну, это не так просто. В человеке иногда сидит такое, чего он и сам до поры до времени не знает, — добавил он неопределенно. — А где это вы сошлись с товарищем Клешневым?

Борис объяснил. Он рассказал и о том, как пришел к Клешневу после февральской революции и как потом не явился на следующий день.

Николай про себя удивился откровенности Бориса. «Пожалуй, ему можно верить», — подумал он.

— А что говорил вам тогда товарищ Клешнев?

— Он мне рассказал жизнь одного замечательного товарища. Как тот работал в самых страшных условиях и сколько сделал для революции.

И Борис с увлечением стал рассказывать Николаю то, что говорил ему тогда Клешнев. Николай слушал, слушал и вдруг рассмеялся.

— Да это ж он про меня говорил! Ну, уж таких похвал я не заслужил!

Борис был поражен. Значит, жизнь Николая Жукова, которого он так давно знает, — и есть тот пример... Он был даже несколько разочарован. Воображение рисовало ему другого человека, необыкновенного, в каком-то романтическом ореоле. В то же время ему стало легче. Значит, самый обыкновенный человек, каким Бориса всегда считали в семье, тоже может быть героем? Он протянул руку Николаю.

— Я и не знал, — радостно промолвил он, — я ужасно рад! Вы знаете, — вдруг оживился он, — я еще мало понимаю, но, честное слово, я уже никогда не вернусь больше к старому...

— Вам бы познакомиться с Елизаветой Сергеевной, женой товарища Клешнева. Хороший и умный она человек. Она бы вам много помогла.

Борис сразу вспомнил женщину с карими глазами и с радостью подумал о том, что теперь будет с ней часто встречаться.

С этих пор Борис перестал ходить даже к Жилкиным. Он только старался как можно точнее выполнять распоряжения полкового комитета. Мытнин давал Клешневу удовлетворительные отзывы о его поведении.

XXXII

Офицеры Павловского полка, как и других полков, стоявших далеко от волынцев, не пострадали в февральские дни. Они имели время сообразить положение и красными розетками, прикрепленными к шинелям, защитили свою жизнь и сохранили власть. В числе других полков, демонстрировавших свою преданность февральской революции, Павловский полк тоже прогулялся к Таврическому дворцу. Сам командир вел свой полк, и офицеры шагали при ротах.

Распад и бегство, которыми кончилось июньское наступление, потрясли командира Павловского полка, и он потерял веру в способность Временного правительства удержать власть над массами. Командиру было в конце концов все равно, как называются те, кто усмиряет

взбунтовавшихся солдат: кадеты, эсеры или меньшевики, лишь бы они действовали умно и умело. Истерическое бессилие штатского правительства породило в нем надежду на офицерскую диктатуру.

Но корниловский мятеж привел только к большевизации солдатских масс. Организованность в действиях большевиков изумляла командира полка. Комитет все явственнее определялся как большевистский и фактически отбирал у него власть. Командир завидовал соседям преображенцам, у которых комитет подобрался умеренный, и, обдумывая положение, не знал, к какому выводу склониться. Наученный февральскими событиями, он не хотел погибать зря.

Может быть, удастся повторить февральский маневр, демонстрируя для сохранения власти абсолютное единение с солдатской массой?

Это, конечно, более сложный и длительный маневр, чем в феврале, но большевикам все равно потребуется военная сила, а организовать ее без опытных старых офицеров невозможно, — в этом командир полка был уверен. А тогда... Этими предположениями он ни с кем не делился, только жене и дочери иной раз успокоительно намекал на военную беспомощность большевиков.

— Они взяли силу только из-за поражений на фронте, — говаривал он.

Двадцать пятого октября у казармы Павловского полка остановился автомобиль. Из него вышло два человека. Один — плотный, сумрачный, с недобрым выражением глаз. На нем было штатское пальто и кепка. Другой — в длинной гвардейской шинели, со скуластым лицом, очень спокойным и напряженным одновременно. В его глазах таилось выражение некоторого лукавства.

Командир полка принял неожиданных посетителей в офицерском собрании. Они уединились у окна.

Штатский, предъявив мандат, назвался представителем Военно-революционного комитета Клешневым. Скуластый уселся молчаливым и безыменным свидетелем. Шинель его была стянута поясом, и кобура торчала на боку. Это был Николай Жуков.

— Сегодня полку предстоит выступить, — сообщил Клешнев. Не сказав о цели выступления, он продолжал: — Комитет и комиссар осведомлены уже об этом

приказе. Я зашел к вам спросить: выступят ли офицеры вместе с солдатами? Ответ мне необходим немедленно.

Командир полка гостеприимно раскрыл портсигар:

— Курите?

— Благодарю вас. Я жду ответа.

Было ясно — упрашивать он не станет: в господах офицерах особой нужды нет.

Командир полка зажал губами папиросу, чиркнул спичкой, затянулся, выдохнул дым. Его длинное, как у лошади, лицо было неподвижно и ничего, казалось, не выражало.

— Да, выступят, — ответил он, наконец, кратко и подозвал адъютанта. — Господам офицерам подчиняться приказам представителя Военно-революционного комитета!

И он встал.

Адъютант, бросив неуловимый взгляд на незваного гостя, щелкнул шпорами:

— Слушаюсь!

Лошадиное лицо командира полка любезно улыбнулось.

— Разрешите предложить вам пообедать у нас в собрании, — перешел он на неофициальный тон. — Наш повар славится на весь гарнизон.

— Благодарю вас. Вряд ли найдется время.

— О, для пищи и хорошего вина всегда должно быть время!

Он взглянул в окно.

Мокрое Марсово поле темнело внизу. Вдали, за Лебяжьей канавкой, чернел оголенный, пустынный Летний сад. Только ветер гулял по его аллеям, холодный осенний ветер.

— Какая отвратительная погода сегодня!

Клешневу погода казалась прекрасной, но он дипломатически промолчал. Потом промолвил:

— Я даю приказ о немедленном выступлении.

Длинное лицо командира вновь замкнулось:

— Итак, имею честь...

Он слегка поклонился.

Гости удалились

Капитан, белокурый, с ровным румянцем на щеках, во время разговора стоявший неподалеку и внимательно

суждать. Самое лучшее рассуждение — пуля. Пустил пулю — и спор окончен. Кто этот штатский?

— Черт его знает! Пролетарий. Клешнев по фамилии. У них много таких. Сотни. Тысячи.

— Однако ты с объявлением приказа не торопишься.

— Объявят без меня.

— Ну, я пошел! — Капитан протянул руку адъютанту. — Может быть, встретимся где-нибудь в настоящем месте. Тут дела неважные. Дома меня не ищи. Смоюсь.

— Прощай, Орлов!

Орлов пошел и вдруг вернулся.

— А если узнаю, что ты большевикам служишь, — в бешенстве закричал он, — найду и пристрелю, как сукина сына!

И он скрылся в дверях.

На улице Клешнев закурил и, садясь в машину, сказал поджидавшему тут Мытнину:

— За офицерами слежка — в оба!

— Понятно, — отозвался Мытнин.

— А ты, Коля, оставайся тут в помощь.

Николай сказал Мытнину:

— Что ж, труби сбор. Пришел срок.

— Началось, — отвечал Мытнин.

Земля чавкала под их ногами. Холодом тянуло с Невы. Ветер гулял по мокрой пустыне Марсова поля. Но крайнее, проникающее каждую кровинку возбуждение согревало обоих солдат.

Приказ Военно-революционного комитета выполнялся беспрекословно.

Из ворот казарм выходила рота. Рядом с Борисом Лавровым, полуротным, шагал унтер,— у него было желтое, сухое, с обвислыми усами лицо. Глаза смотрели так, что, казалось, о них можно было уколоться. Он едва заметно прихрамывал.

— Где ротный? — спросил Мытнин.

Ротный командир неторопливо выдвинулся из-под арки вслед за последним взводом. Он подошел, не поднося руку к козырьку.

Мытнин, глядя ему в лицо, жестко спросил:

— Подчиняетесь власти Военно-революционного комитета?

— Так точно, гражданин комиссар, подчиняюсь, — отвечал офицер, и рука его потянулась к козырьку.

Мытнин подозвал унтера, чтобы тот слышал приказ:

— Извольте вести роту к Полицейскому мосту, развернуться цепью поперек Невского проспекта, никого в район Главного штаба не пропускать. Понятно?

— Так точно, гражданин комиссар, приказание ваше будет исполнено!

— Дальнейшие приказания получите на месте. За неисполнение ответите по всей строгости. По всей строгости революционного закона, — повторил он отчетливо. — Понятно?

— Так точно, гражданин комиссар.

— Ступайте!

Николай подошел ближе, и унтер, четко повернувшись, увидел его и сразу узнал. Но они только понимающе усмехнулись друг другу. Им, лежавшим рядом на койках госпитальной палаты, встреча в таком деле казалась очень естественной. Здороваться и радоваться было просто некогда.

— Шагом а-арш!

Солдаты дружно зашагали к Мойке.

— Рота, кроме командира, верная,—обращаясь к Николаю, проговорил Мытнин. — Много фронтовиков. Видел унтера? Злой. Колючий. Хорош! Этот спуску не даст.

— Я его знаю, — коротко отозвался Николай.

— А из Лаврова, я тебе уже говорил, может выйти толк. Ведет себя дельно.

Другая рота была направлена на Конюшенную площадь, третья — к Певческой капелле.

Николай спросил:

— А крепки? Пойдут на штурм?

— Большинство крепки. Будь уверенный!

Следующую роту вел фельдфебель.

Два молодых солдата, безусые, круглолицые, переговаривались, смеясь:

— Вась, а Вась, слышь ты, в ударный нас посылают!

— Ну-у-у?

— Вот те и ну. Пиши матке, прощайся!

— Не болтать в строю! — прикрикнул фельдфебель. — Я те поболтаю! — Он сжал и тотчас же с сожалением разжал кулак. Лицо его, как всегда при начальстве,

застыло в служебной свирепости. — Стройсь! — командовал он. — Ты! Пузо выпятил! Жива! Никаких шевелений!

И он пошел к Мытнину с заготовленным по всей форме рапортом.

Но Николай перебил:

— А где ротный?

— Не могу знать, вашвсокродь, господин комиссар!

При этом он глядел не на Николая, а на Мытнина.

— Как же вы не знаете?

Фельдфебель стоял вытянувшись, взяв руку под козырек, выпучив на Мытнина свои желтые птичьи глаза. Он стоял безгласно и неподвижно.

— А полуротный? — спросил Мытнин.

— Так точно, полуротного командира, их высокоблагородия подпоручика Нащокина, тоже нету, ваше высокородь, господин комиссар! — отрапортовал фельдфебель.

Он по-старому называл и младших офицеров «высокоблагородием», как полагалось в гвардии.

— Ни одного офицера нет при роте?

Фельдфебель тянулся молча.

— Опустите руку.

Мытнин хмурился.

— Ротный — капитан Орлов, вчера только прибыл, — пояснил он Николаю. — Контра первостатейная. Погоди, я сейчас поищу...

Он ушел в казармы и вскоре вернулся с молоденьким прапорщиком, который бежал за ним, на ходу пристегивая портупею. Глаза у прапорщика блестели так, словно он шел на любовное свидание.

— Попробуем, — сообщил Мытнин. — Без дела в собрании болтался, никуда еще не прикомандирован. Пусть при роте будет. Примите роту, прапорщик! — обратился он к офицеру. — Ведите к Троицкому мосту, разверните цепью, никого сюда не пропускать! Поняли?

— Так точно, понял! — восторженно отвечал прапорщик, вытягиваясь. Вдруг, в один миг, он стал командиром роты. Кто бы мог подумать!

И он стал командовать с таким азартом, что даже фельдфебелю понравилось.

Когда все роты были распределены, Мытнин сказал:

— Граждане! — кричал он не переставая. — Граждане!

Слишком широкая фуражка сбивалась у него то на лоб, то на затылок. Он был весь мокрый, хотя день выдался холодный, почти зимний.

Вдруг его оттеснило, понесло, даже приподняло слегка.

— Граждане! — умолял он. — Да граждане же!

И расстегнул кобуру.

Но граждане сбивались в кучу, сталкивались с толпой на Невском.

Рев гудка на миг расчистил путь. Блестя черным лаком, в толпу врезался автомобиль. Матросы и солдаты в пулеметных лентах стояли на подножках, угрожая винтовками. Двое устроились на крыше. За этим автомобилем стремился другой. Толпа расступилась. Гимназист упал.

— Граждане! — вскрикнул он и поднялся, потирая ушибленное колено.

Но его тотчас же понесло на середину проспекта.

Толпа рвалась к Садовой.

— Что случилось?

— Разогнали?

— Арестовали?

— Кого арестовали?

— Смольный взят казаками...

— Граждане! — восклицал гимназист в отчаянии. — Граждане!

Его носило и толкало так, что он подчас совсем терял управление своим телом.

Неизвестный, огромный силы бас пропел, перекрывая все звуки:

— Предпарламент разогнан матросами!

Мужчина в широкополой шляпе и распахнутом клетчатом пальто, с развевающимся глазастым галстуком, разглагольствовал перед витриной «Вечернего времени»:

— Большевики заняли электростанцию, телеграф и телефонную станцию. Самое серьезное сопротивление оказали телефонистки. Да здравствуют барышни всех стран! Ура! — Он был, видимо, пьян. — Все идет к концу. Большевики побеждают. Долой Керенского! Да здравствуют генералы! Ура!

И он вдруг шагнул в толпу, выбросив вперед кулак. Кулак попал в плечо какой-то девицы, и та, ахнув, подалась назад, но мужчина злобно, хотя она уже не мешала ему, вторично ударил ее.

— Хулиган!

— Арестовать! Хватай его!

— Убью! — заорал пьяный. — Я репортер и алкоголик! Знаю бокс! Убью!

— Граждане! — восклицал гимназист. — Граждане!

Капитан Орлов, застряв при выходе на Невский, еле пробился к Городской думе. Отдышавшись, он послушал речь очередного оратора.

— Армия горит одним огнем с нами! — орал тот, потея. — Все, как один, умрем за Временное правительство!

Орлов поднялся по ступенькам, оттеснил штатского оратора и заговорил сильным, привычным к команде голосом:

— Пришла пора железной диктатуры! — Гул стих. Орлов овладел вниманием толпы, укрощая и подчиняя ее. — Бунтовщики угрожают нашей жизни и нашему имуществу! Чернь выжигает усадьбы, гонит хозяев, убивает доблестных офицеров! Уже начинается голод! Вот до чего довело слюнтяйство Керенского. Очередь за боевыми офицерами! Все способные носить оружие — на спасение отечества! Мы мямлить не станем! Организовывайте отряды! Войска с фронта идут на спасение столицы от мятежа! Присоединяйтесь к нам! Есть еще верные полки и в петроградском развращенном гарнизоне! Бейте врага с тыла! Беспощадно! В военной диктатуре спасение!

Невдалеке начали качать какого-то прохожего генерала. Серебристая шинель его, распахнувшись, показала багровую, как мясо, подкладку.

Толпа менялась ежечасно.

Разведчики, высланные сюда Красной гвардией, приглядывались и прислушивались. Все шло отлично, — здесь никто не знал о том, что готовится у Зимнего.

И вдруг от Казанского собора пошло смятение. Вереница трамваев потянулась обратно, не доехав до Адмиралтейства. У Конюшенной улицы патруль павловских солдат и вооруженных рабочих остановил вагоны, выса-

дил пассажиров и запретил проезд и проход, — так рассказывали свидетели.

Толпа повалила к Казанскому собору.

Тучи ползли по небу. Было сыро и холодно. Но никто сейчас не думал о погоде, вряд ли кто замечал ее.

Люди выходили на улицы.

Орлов шел по Садовой улице, удаляясь от центра событий. Дома, конечно, прячут деньги и драгоценности. Мать будет умолять, чтобы он переоделся в штатское: «Повоевал, Сережа, — и довольно!»

Как бы не так!

Орлов торопился домой. Ему нужно было увидеть отца. За последнее время отец обнаружил изумительную ловкость. Он завел самые неожиданные связи и прославился умением находить удобный выход из самых каверзных положений. Везде у него оказывались знакомые и друзья — секретари, делопроизводители, журналисты, маклеры, адвокаты. Он не пренебрегал никем, словно в этой сумасшедшей сумятице возвышений и падений стремился обезопасить себя со всех сторон, — мало ли какое ничтожество завтра выдвинется в министры? Куда девалась его былая солидность!

Невский проспект полнился толпами. Мотаясь на углу Садовой, гимназист вскрикивал уже охрипшим голосом:

— Граждане! Да граждане же!

Вечерело, а смена ему не приходила. Однако, как добросовестный гражданин, он не считал себя вправе бросить свой пост.

Впрочем, внимание толпы перемещалось к Казанскому собору. Туда валили люди. Что затевается там? Почему патруль?

Ссутулившись и забирая пальцы в рукава, Борис похаживал позади цепи, растянутой поперек Невского проспекта. Тело его вздрагивало — не то от холода, не то от чрезвычайного возбуждения.

— Потушите костер! — приказал он, подойдя к набережной Мойки, и обрадовался собственному своему голосу, которому хрипота придавала некую особую мужественность. — Начальник не велел разводить костры.

И вновь зашагал вдоль цепи.

Унтер повернул к нему желтое, сухое, с обвислыми усами лицо и, взяв под козырек, спросил:

— Гражданин полуротный, когда в бой пойдем?

— Когда будет приказ Военно-революционного комитета, — коротко отвечал Борис.

Толпа прорывала цепь солдат.

— Назад!

Щелкнули затворы.

Толпа подалась назад. Это была враждебная толпа — опасный для предстоящего боя тыл.

Но вот толпа вновь навалилась.

— Делегация! Делегация! — кричали женские и мужские голоса. — Мирная делегация!

Подошел ротный. Он угрюмо поглядел на Бориса и удалился на другую сторону Невского.

Бородач в широкополой шляпе был выкинут толпой прямо к унтеру. Размахивая портфелем, он заговорил быстро и возбужденно:

— Я член делегации общественных деятелей...

Унтер вдруг так неслыханно выругался, что интеллигент пошатнулся и чуть не выронил портфель.

— Идите на ту сторону! — сказал Борис унтеру. — Следите за ротным.

Унтер побежал к другому краю цепи. Но ротного там уж не было.

Враг возник в самом центре готовых к штурму отрядов. Из-за арки Главного штаба вынырнула кучка мужчин и женщин. Мягкие шляпы, котелки, женские манто и салопы очень странно выглядели среди солдатских шинелей, кожаных курток, матросских форменок, рабочих пальто.

— Куда?

— Кто пропустил?

Появившийся невесть откуда ротный подскочил к Николаю. Лицо его на этот раз выражало величайшую почтительность и послушание.

— Это мирная делегация, гражданин комиссар! — отрапортовал он. — Явились с белыми флагами. Мирные предложения, гражданин комиссар. Просят разрешения пройти в Зимний к правительству, гражданин комиссар!

Сегодня всякого самого маленького начальника называли комиссаром.

Глаза Николая сузились в такой злобе, что офицер подался назад.

— А если так пройдут с оружием в руках?

— Виноват, гражданин комиссар, но военные правила...

— Революционные правила! — заорал Николай. — Вы нарушили приказ! Под арест!

— Но они, гражданин комиссар, поодиночке прошли мост и только тут...

— Молчать!

Николай схватился за револьвер, но в эту минуту из толпы вырвалась вперед всем своим обширным телом крупная рыхлая дама.

— Мы — мирная делегация! — воскликнула она. И странен был звук женского голоса в этом предштурмовом напряжении. — Здесь знаменитые общественные деятели... Имена, известные всей России... Мы протестуем против кровопролития. Я на колени встану перед вами, но прекратите гибельную междоусобицу... Когда отечество в опасности... в тылу борющейся армии... Мы то же самое скажем и нашим министрам...

— Ступайте прочь! — приказал Николай. — Уведите ее!

— Вы человек без сердца. Это говорит вам старая женщина.

Николай нетерпеливо отвернулся.

Между тем ротный, пропустивший делегацию сквозь оцепление, исчез. Он уже пробирался по Невскому. Только сейчас он сообразил как следует, что происходит. О, какой болван командир полка! Неужели он думал, что удастся овладеть мятежом, поставив во главе восставших рот несколько офицеров? Офицерам тут делать нечего. Тут чувствуется большой план, с которым можно бороться только силой оружия. В штыки всю эту взбунтовавшуюся чернь! Он вдруг усмехнулся, вспомнив общественных деятелей, за спинами которых он скрылся и бежал... До чего полезны эти господа гуманисты!

Молодой матрос приказал со спокойной строгостью:

— Отправляйтесь по домам и оставьте нас в покое.

Моряки и солдаты выпроваживали делегацию. Один из делегатов, высокий, в мягкой шляпе, промолвил, отходя от Николая:

— Есть еще время предотвратить кровавое столкновение.

Это было сказано голосом сочным, барским, начальственным.

Николай схватил высокого человека за руку:

— Что?

— Товарищ... — испуганно залепетал тот. — Я так же за свободу, как вы... я сам участник... У меня документ...

— Идите прочь! — свирепо отвечал Николай. — Идите, или...

Руки у него горели.

Михаил Борисович Орлов, бывший член бывшей Государственной думы, торопливо удалялся.

Выбравшись из оцепления, он ужаснулся своему испугу и обрадовался спасению. Какой был подъем, когда выбирали делегацию! Какой был энтузиазм! А теперь? Что с ним? Таким ли был он еще недавно?

Матросы с набережной уже оцепили Зимний дворец — с песнями и броневиками пришла сюда их громада. По Эрмитажной канавке они двинулись к Миллионной улице. Группа преображенских солдат заступила им путь.

— На бабий батальон с броневиками полезли!

— Эй, куда прешь, вояки? Порт-Артур берете?

— Проходу нет! Назад!

Это скомандовал дежурный офицер.

Подлетел автомобиль, и осунувшийся, с красными глазами, налитый стремительной силой, Клешнев врезался в толпу, расталкивая солдат.

Клешнев был одним из многих работников, выполнявших задания Военно-революционного комитета. Он ездил из полка в полк, агитируя, организуя, собирая все необходимые сведения.

— Кто дежурный? Где комиссар? Где командир? Так-то вы держите нейтралитет?

Все эти часы в мыслях у Клешнева неотступно маячил Летний сад. Этот огромный массив надо учесть в плане оцепления. Там могут скопиться враждебные силы.

Отъезжая к арке Главного штаба, он повторял в уме: «Три конных дивизиона, конная артиллерийская

бригада, ударный батальон георгиевских кавалеров, два саперных батальона...»

Это были те воинские части района, которые числились в нейтральных.

«И черт подери этот нейтральный Преображенский полк! Он — совсем рядом. Вдруг все это ударит с тыла?»

XXXIV

Уже ранним утром этого ветреного осеннего дня начал выполняться стратегический план Ленина, план вооруженного восстания и захвата власти. Искусные мастера революции брали жизнь города в свои руки. Матросы, солдаты, рабочие прогоняли юнкеров с электростанции, телеграфа, телефонной станции, вокзалов и везде ставили свою охрану. В революционных полках ждали приказа готовые к выступлению роты. Отряды Красной гвардии владели заводами. И вот все двинулось в поход. Роты Павловского, Кексгольмского и других полков оцепляли Зимний дворец, где засело Временное правительство. С винтовками на новых ремнях, при новых подсумках явился большой отряд рабочих Петроградского района. Матросы Гвардейского экипажа подошли к дворцу с набережной.

Красный четырехугольник Зимнего дворца замкнул все свои подъезды и ворота. В огромных залах и пустынных коридорах дворца лепка стен была задрапирована серым холстом. В нижних этажах, в путанице коридоров и комнат, сумасшедше метались организаторы защиты, собирая и расставляя отряды. Офицеры и юнкера заполняли дворец. В верхнем этаже теснились министры.

Огромное вечернее небо развернулось над плоскими крышами обнимавших площадь зданий. Вверх, к небу, устремился полированный гранит Александровской колонны. Зимний дворец сверкал окнами всех своих четырех этажей. Блистали гирлянды фонарей посреди площади, у колонны.

Напряжение достигало крайнего предела, но приказа идти на штурм все не было.

Радио гнало по стране призыв осажденных:

«Пусть страна и народ ответят на безумную попытку большевиков поднять восстание в тылу борющейся армии».

Небо очистилось, и в открывшейся черной глубине показались звезды. Погасли фонари у Александровской колонны, замолк звон трамваев. Площадь была пуста. Воздух уже полнился стрекотом и звоном пуль, — юнкера били с баррикад из пулеметов; в ответ стремительные пули неслись к стенам дворца. Осыпались стекло и штукатурка.

Прокатился гул пушечного выстрела. То стреляла, как в наводнение, Петропавловская крепость, объявляя о том, что Зимний дворец отказывается сдаваться без боя.

Петропавловской крепости ответили морские орудия, и долго гуляло и раскатывалось по площади грозное эхо.

— Это кто? Крейсеры?

— Их там три на Неве.

— Который стрелил?

— Бес знает! «Амур»?

— Не, «Аврора».

Николай сам навел орудие, и звук пушечного выстрела снова прокатился по площади.

В темноте трудно было разглядеть, куда ударил снаряд. Но пулеметы замолкли. Когда стрельба возобновилась, стало ясно, что пулеметы снялись с баррикадных вышек.

— На штурм!

Николай, пригнувшись, ринулся из-под арки в смертоносный простор Дворцовой площади.

— Вперед!

Напряжение разряжалось в действии. Огромный, часами сдерживаемый напор, вырвавшись, слил рабочих, солдат, матросов в одно существо, и чувства одного были уже неотделимы от чувств другого. В едином дыхании и топоте штурмующие со всех краев площади бежали ко дворцу с винтовками наперевес.

Это была та атака, при которой противник теряет всякую силу сопротивления. Охваченный общим порывом, Борис бежал впереди с обнаженной шашкой в одной руке и наганом в другой, вполоборота к солдатам.

У штабелей мокрых бревен замерли на миг и тотчас устремились дальше.

Один солдат, выбиваясь из общего движения, не встал по команде.

Николай приподнял его за шиворот.

— Труса праздновать? — прохрипел он и не узнал собственного голоса.

Тело бессильно никло в его руке.

— Убит!

В общем неудержимом напоре Николай яростно бросился к стенам Зимнего дворца. В этой войне трусости нет!

В правом подъезде прикладами и ломом разбивали дверь. Дверь вдруг открылась: то матросы, ворвавшись с набережной, отомкнули запоры изнутри. Николай вместе с другими вбежал во дворец, взлетел по лестнице и со всей силой хватил прикладом по верхней, тоже наглухо запертой двери.

— Лом! Где лом?

У ворот напор уже решил дело. Юнкера сдавались. Они думали теперь только об одном — спастись отсюда, из этого грозного окружения. Незачем длить этот безнадежный бой. Керенский, удирая в ставку, предложил им умереть на посту, — но они вовсе не желали умирать.

Внезапные пронзительные голоса женщин врезались в суровую перебранку:

— Не дадим вам уйти!

— Сволочи юнкеришки!

Это ругался «женский батальон».

По юнкера один за другим перелезали через поленницы дров и, волоча винтовки, пригибаясь под цепью ворот, выходили на площадь.

Они выстраивались перед дворцом молчаливо и угрюмо.

— Сдавай оружие!

Выбитые со двора женщины также высыпали на площадь.

Во дворце нарастающий напор штурма уже достиг последнего караула у зала, где затаилось правительство.

Неподвижный четкий ряд юнкеров с винтовками наперевес застыл у дверей. Буря неслась на них, и вот

один, бросив винтовку, схватился за голову и кинулся прочь, у другого перекосилось и задрожало лицо, цепь распалась, и самые стойкие, не имея времени скрыться, подняли руки вверх.

Тогда энергичная подвижная фигура в сюртуке вырвалась вперед:

— Что вы делаете? Разве вы не знаете? Наши только что договорились с вашими!..

Эта последняя попытка обмана не удалась.

Николай вместе с другими ринулся в небольшой угловой зал, и министры, бледнея, подымая руки, увидели перед собой красногвардейцев, матросов, солдат, опоясанных пулеметными лентами, грозных, как окончательный приговор...

...Было уже около трех часов ночи, когда на заседании съезда Советов в Смольном наступила ясная и торжественная тишина. Читалось экстренное сообщение. Это было сообщение о взятии Зимнего дворца и аресте Временного правительства. То, к чему стремились миллионы людей труда, совершилось. В России была установлена Советская власть. Владимир Ильич Ленин встал во главе Советского правительства.

XXXV

В этот день в квартире Михаила Борисовича Орлова, как это часто бывало, собрались друзья и знакомые.

В обширной гостиной, убранной коврами и диванами, глубоко засел в кресло, с вечерней газетой в руках, родной брат Михаила Борисовича. Он несколько лет подряд работал в союзе думских журналистов. В крахмальном воротничке и при манжетах, Лев Борисович имел вид несколько даже чопорный. Он был очень похож на брата — такого же роста, такой же массивный, с мясистым носом.

В столовой на бархатном безвкусном диване, не идущем к дубовому буфету и остальной мебели, уместился, подвернув под себя ногу и показывая полоску нечистого носка над запыленным ботинком, пожилой человек с сединой на висках и с редкой, как бы оборванной бородкой. Когда он говорил, казалось, что он не то жует, не

К стр. 477

то хочет выплюнуть челюсть. Это был сосед по квартире, учитель истории.

Прапорщик, сверкавший рядом с ним глазами и погонами, до революции был в подчинении Михаила Борисовича по всероссийскому союзу городов и в трудные минуты привык советоваться с Орловым. Друзья и знакомые считали Михаила Борисовича человеком, который умел вести себя в самых критических обстоятельствах и у которого поэтому можно было поучиться.

Франтоватый помощник присяжного поверенного, протеже Орлова, стоял у широкой кафельной печи, скрестив ноги и заложив руки за спину. Беседуя с женой Михаила Борисовича, гревшейся тут же в кресле, он поглядывал изредка то на огромную копию Мурильо с ангелочками и богородицей, занявшую чуть ли не всю стену над диваном, то в зеркало, висевшее в простенке между окнами. Глядя на свое отражение в зеркале, он неизменно подносил руку к галстуку, словно собираясь сорвать его с шеи. Еще несколько человек сидели и бродили по комнатам.

Жена, давно привыкшая к гостям, говорила иногда, вздыхая:

— Куда это сегодня пропал наш Михаил Борисович?

— Государственные дела, — отозвался помощник присяжного поверенного и вдруг расправил ноги и руки, завидев в дверях известного адвоката и общественного деятеля.

Тот, не здороваясь ни с кем, поспешно спросил:

— Михаил Борисович дома?

Лицо его с высоким лбом, горбатым носом, большим ртом и глазами навыкате поворачивалось от одного гостя к другому. Было оно нехорошего, землистого цвета. Толстые щеки свисали пренебрежительно, образуя неприятные складки у губ.

— Нету дома, — отвечал помощник присяжного поверенного, делая шаг навстречу гостю и почтительно кланяясь. — Мы с минуты на минуту...

— В таком случае я приду попозже, — перебил деятель, и громадная фигура его скрылась в дверях.

Помощник присяжного поверенного тихо назвал фамилию ушедшего, и учитель истории укоризненно воскликнул:

— Что ж вы раньше не сказали? Я бы посмотрел внимательней!

Когда пришел сын, капитан Орлов, жена Михаила Борисовича начала уже привычно волноваться отсутствием мужа. Впрочем, в глубине души она была за него спокойна. Она и вообразить себе не могла, что с ним может случиться несчастье: это казалось ей столь же невероятным, как если б вдруг померкло солнце.

— Как ваш полк, капитан? — спросил прапорщик. — Тоже драки в комитете и ни туда, ни сюда?

— К сожалению, именно туда. Сегодня утром по приказу большевиков полк выступил куда-то, черт его знает, куда, — может, убивать всех нас. Я не подчинился и ушел. А где отец? Мне он срочно необходим.

— Это все очень быстро кончится, — отвечал учитель истории не Орлову, а своим мыслям. — Они не способны к созидательной работе. В русском народе исторический разум всегда побеждал. Спасение — в Учредительном собрании, да, в Учредительном собрании, господа!

И казалось, он не одну, а обе челюсти выплюнул — с таким азартом он произнес последние слова.

В это время вошел Михаил Борисович. Он вступил в комнату с видом значительным и серьезным.

— Здравствуйте, господа, — сказал он неторопливо. — Зиночка, милочка, я ужасно проголодался. Кушать, кушать, кушать!

Его обступили.

— Ну что? Как? Какие новости?

— Плохие, — отвечал он кратко и вышел из комнаты.

— Какие плохие? — в отчаянии выплюнул педагог и, пожав плечами, опустился на диван. — Вот всегда он так! Скажет и уйдет.

И он опять зажевал, бормоча что-то про себя.

Капитан Орлов неперпеливо и раздраженно стучал пальцами по столу.

Михаил Борисович долго мыл руки, возился и шаркал по соседним комнатам. Некоторое время из гостиной доносились тихие голоса его и брата. Он вышел в столовую только тогда, когда стол был уже накрыт к позднему обеду и миска с супом дымилась под сверкающей люстрой.

Михаил Борисович уселся, сунул конец салфетки меж пуговиц жилета, взял ложку и сказал:

— Я чудом спасся от смерти.

После этого он с удовольствием принялся за суп.

«Терпение, терпение», — внушал себе капитан.

— Зина, милочка, а где пирожки?

Зина встрепенулась:

— Вот же они, перед тобой, Миша!

Михаил Борисович покачал головой.

— После всех этих потрясений...

И он в два приема проглотил пирожок.

— Потом мне нужно будет тебя на два слова, конфиденциально, — обратился к нему сын. — Крайне срочное дело. Я пришел непосредственно из полка.

Михаил Борисович снисходительно глянул на него:

— Он пришел из полка! Вы спросите, из какого ада я вырвался!

И он стал с аппетитом уплетать жаркое. Он явно отказывал в уважении боевым отличиям сына.

Поев, Михаил Борисович отер салфеткой губы и прошел в гостиную.

— Не мучайте же, Михаил Борисович, — говорил прапорщик. — Выкладывайте новости!

— Но ведь вы сами знаете, господа, — отвечал Михаил Борисович, удобно располагаясь на коротенькой кушеточке, — какой энтузиазм царит в обществе по отношению к идеям революции. Все гуманное, все здравомыслящее, все здоровое и культурное видит спасение нашей родины в тех началах, которые провозглашены революцией и ведут народ к Учредительному собранию.

Учитель истории в восторге выплюнул:

— Именно так! Да!

— Революция уже имеет своих мучеников и героев, — продолжал Михаил Борисович. — Ну, так сегодня к их именам прибавилось еще несколько, — вот что случилось сегодня. — И он, как бы извиняясь, пожал плечами. — У меня была сегодня тысяча дел, и я немножко опоздал в Городскую думу. Вхожу в зал заседаний и попадаю в атмосферу необычайного энтузиазма. Вы не можете себе представить, что́ это было! Графиня Панина... об этой героической женщине нельзя говорить спокойно! Поневоле вспомнишь княгиню Волконскую,

Долгорукую... — Он запнулся, не уверенный в том, что среди жен декабристов действительно была Долгорукая, но фамилия, во всяком случае, казалась подходящей. — Русские женщины! — Он вздохнул. — Татьяна Ларина... Все кричали: «Да, да, во дворец, к министрам! Мы умрем вместе с ними!» Это был такой порыв! Все здравомыслящее, все самое здоровое... У меня сердце переполнилось, как... — Он не придумал сравнения и прижал руку к левой стороне груди. — Мы вышли на бурлящий Невский проспект... Нас сопровождали тысячи. Мы пошли безоружные прямо в стан врага.

«С пушками надо было идти», — хотел сказать капитан, но воздержался. Он нетерпеливо постукивал каблуком.

— Зина, милочка, — оборвал свой рассказ Михаил Борисович, — дай мне, пожалуйста, стакан воды. Нет, не содовой, обыкновенной кипяченой воды! У меня что-то случилось с сердцем. Когда сердце слишком переполнено...

Сын невежливо следил за тем, как отец маленькими глотками, укоряя себя покачиванием головы, пил воду.

— Ну, кажется, прошло... — Михаил Борисович выдержал паузу и продолжал: — Прямо в стан врага. У Казанского собора мы наткнулись на заслон из солдатни и еще каких-то личностей... Обмотаны этими... с пулями... Нас не пускали. Нас толкали ружьями и ругали. Я думаю, что мало кто решился бы не отступить при таких условиях, — нежно улыбнулся он. — Мы не отступили. Общественный долг прежде всего. Нашелся офицер, который помог нам поодиночке пробраться через мост. Это был герой, солдаты могли разорвать его. Он сказал солдатам, что мы посланы их Военно-революционным комитетом. Я слышал его слова, — кажется, я один заметил эту героическую ложь. Он провел нас к Дворцовой площади — и тут... Зина, милочка, дай мне, пожалуйста, еще водички испить, можно из того же стакана! Спасибо! Вот так. Надо все-таки посоветоваться с доктором насчет сердца. Мы, старики, слишком уж не заботимся о себе... Так на чем я остановился? Да, мы вышли к Дворцовой площади. Мы встретились лицом к лицу с мятежниками. Представьте себе лица, в которых нет и тени

доброжелательства, гражданственности, интеллигентности. Ружья, пистолеты, и все обмотаны этими... ну, этими, где пули...

— Пулеметными лентами, — раздраженно подсказал капитан, но отец не повторил его слов.

— Какой-то из их начальников (там много их, не разберешь) хотел убить героя офицера. Он уже приставил пистолет к его виску, когда, — я должен сказать, что русские женщины действительно прирожденные героини! — графиня Панина — при ее имени и общественном положении! — встала на колени на грязную мостовую перед этим большевиком. Это был потрясающий момент. Даже этот мазурик был, видимо, смущен. Он сунул револьвер за пояс или куда это там... Я стоял впереди других, и вдруг он схватил меня за руку и приказал задержать. Я не знаю, почему именно на меня он обратил особое внимание. Может быть, потому, что вид у меня был такой, как бы... да, я не из пугливых и твердо высказал свой протест против кровопролития! Меня схватили, наставили на меня ружья, и должен сказать, я уже мысленно прощался с вами, мои друзья, с Зиночкой... — Зина перестала сдерживаться и зарыдала. — Но слова графини Паниной подействовали, видимо, даже на них, — заключил Михаил Борисович, — и вот я вновь среди вас, мои дорогие друзья.

В наступившей тишине слышалось только всхлипывание Зины. Потом молчание сменилось общим шумом, восклицаниями, криком:

— Это ваш полк там бесчинствует! — кричал прапорщик капитану Орлову.

— Разбойники в центре столицы! — плевался учитель. — Но это же неслыханно!

— Вы герой! — восхищался помощник присяжного поверенного.

Капитан Орлов спросил отца:

— Ты говоришь, что прошли к Дворцовой площади, — значит, большевики подступили к Зимнему дворцу? Они могут ворваться и арестовать правительство.

— Но правительство обеспечило себя достаточной охраной, я надеюсь. Если же нет.. — И Михаил Борисович развел руками. — Керенский уехал в ставку, чтобы привести войска с фронта.

— Папа, — нервно перебил капитан, — у меня к тебе крайне срочное дело. Разреши пять минут конфиденциального...

Но в этот момент опять появилась в дверях массивная фигура известного адвоката.

— Михаил Борисович...

Орлов тотчас же поднялся и поспешно прошел с важным гостем в кабинет.

Только через час капитан оказался наедине с отцом в кабинете, где солидные, обитые черной кожей кресла и диван вполне гармонировали с дубовым письменным столом и шкафом.

— Папа, — заговорил капитан, — мне нужны деньги. Я твердо решил бежать. Я хочу бежать обратно на фронт и оттуда двинуть полки на Петроград. Но у меня нет ни копейки денег. Папа, не думай, что это опять на картеж. Все, что у меня было, я к черту проиграл вчера. Но я дал зарок: не беру карт в руки, пока не прогоню большевиков. Можешь мне поверить. Дай, папа, денег. Сегодня они могут арестовать правительство, — надо немедленно бежать!

— Погоди, молодой человек, не горячись! — улыбнулся Михаил Борисович. — Во-первых, кто тебе сказал, что у меня есть лишние деньги? Я не банкир. Во-вторых, куда ты побежишь? Куда? На какой фронт?

— Ах, я уж придумаю, куда бежать!

— Сначала деньги, а потом «придумаю»? Так-то ты рассуждаешь? А не лучше ли сначала «придумаю», а потом деньги?

Он засмеялся, довольный своей шуткой.

Сын сказал отрывистой скороговоркой:

— У меня нет денег, потому что я не грел рук на войне, я боевой офицер, георгиевский темляк и Владимир с бантом зря не даются. Я был тяжело ранен, для меня борьба против большевиков — не коммерческое дело, а ты издеваешься надо мной.

— Издеваюсь! — воскликнул Орлов, вздымая руки в изумлении. — Я над ним издеваюсь! — Он улыбнулся и пожал плечами. — Послушай-ка лучше, что я скажу. Прежде всего, тебе нужно вернуться в полк, да, вернуться в полк, — настойчиво повторил он. — Если все офицеры побегут из Петрограда, что же это будет такое? Рубить

голову большевикам, если уж они так напрашиваются на это, надо тут, в Петрограде, а не где-то там. Возвращайся в полк! Укрепи свое положение в полку, внуши к себе доверие! А потом... Боевое офицерство необходимо сейчас именно здесь, в Петрограде.

— Папа, прости за настойчивость, я веду себя неприлично, но подо мной земля горит, я немцев готов вести на них, я на месте не могу усидеть!..

Отец поднялся.

— Сережа, — сказал он, — теперь я буду руководить твоей судьбой. Я тебя никуда не отпущу, мы поедем вместе, я все тебе расскажу, только не сейчас...

Сын тоже встал.

— Лучше добром дай денег, — проговорил он тихо.

И Михаил Борисович вдруг побледнел.

— Сережа! — промолвил он, и голос его сорвался. — Сережа! — воскликнул он. — Ты погибнешь. Я не жалею денег, но отныне я... я буду руководить тобой! Я все эти дни думаю о тебе. Ведь это я тебя с фронта вызвал сюда, к себе! Сережа! Мы погибаем! Погибаем!

Он почти упал, схватив сына за плечи. Капитан поддержал его. «Однако», — подумал он, впервые почувствовав страх. Отец, всегда такой самоуверенный, всхлипывал, как слабая женщина. И это непривычное зрелище поразило капитана.

— Боже мой! — повторял Михаил Борисович. — Боже мой! — Усилием воли он вернул себе обычный уверенный вид. — Мы уедем вместе, — промолвил он. — Все втроем. Вместе. И они расплатятся за свои бесчинства! — закричал он так, что жена вбежала в кабинет и остановилась на пороге.

XXXVI

Вернувшись с Дворцовой площади, Николай не вошел в казармы, а остался у ворот. Он присел на тумбочку, поставив винтовку меж колен. Пустыня Марсова поля, проглоченная ночной темнотой, была угрожающе тиха. Распростертая перед казармами, она казалась безграничной, полной, может быть, невидимых и молчаливых толп. Николай глядел в этот мокрый и таинственный мрак, и звуки штурма звенели в его ушах.

— Какая ночь! — сказал, подходя, Борис. Ему тоже не спалось.

Впечатления этой ночи еще не улеглись в сознании Бориса. Неужели его судьба, наконец, решилась? Кажется, это было так. Гимназия, Жилкины, родные — все это отодвинулось так далеко, словно существовало в какой-то другой жизни.

Вот перед ним его новый товарищ, Николай Жуков, который теперь уже не скажет, что у них разная судьба. У них одна судьба, одна...

Борису мучительно хотелось говорить, но чувства так переполняли его, что он не знал, как начать. Наконец он заговорил:

— Это хорошо, что арестовали министров. Они пошли против народа. Интеллигенция должна всегда идти вместе с народом. Верно я говорю?

Николай молчал. Но Борису нужен был именно молчаливый собеседник. Он оживился и дал волю своим чувствам:

— Интеллигенция должна идти вместе с народом. Народ не хочет войны. Народ хочет быть хозяином собственной жизни, — так я это понимаю. Ведь я правду говорю? Откуда иначе была бы у большевиков такая сила? А иногда нашего интеллигента, того же студента, совершенно меняют офицерские погоны. В университете он одно говорил, а офицером — прямо бурбон какой-то! Меня это всегда удивляло. Если интеллигент — не демократ и пренебрегает солдатами, то, значит, он не интеллигент. И напрасно они воображают, что созданы для возвышенных идей, а народ должен им прислуживать! — воскликнул он, вспомнив вдруг Юрия и рассказ «Странный закон». — Это они обязаны служить народу! И надо еще, чтобы народ почувствовал к ним доверие и согласился принять их к себе на службу. Правду я говорю? Случайно один родился в семье, которая имела средства дать образование, другой — у бедняков. Свое привилегированное положение мы обязаны использовать для народа. А большевики — это народ. Ведь правда?

Николай пошевелился и сочувственно посмотрел на Бориса.

— Между интеллигенцией и народом должно быть крепкое духовное сродство, общность интересов и целей.

Если развить в себе это духовное сродство, то народ почувствует и поверит. Для интеллигента это что значит? — торопился Борис, потому что чувствовал, что его собеседник взволнован и сам хочет говорить. — Для интеллигента — это иногда полный разрыв с самыми близкими. Я много об этом думал. Вы уж так выросли, а мне надо рвать со всем старым, с друзьями, с родными...

Николай с неожиданной остротой почувствовал, что происходит в душе у Бориса. Это был для него человек из другой жизни. Он бродил как в потемках, спотыкаясь, но все-таки вышел на верную дорогу, и ему одиноко сейчас. Прежних товарищей он уже растерял, а новых еще не нажил. И сердце Николая повернулось к Борису.

— Народ зоркий, — промолвил он, и лицо его осветилось улыбкой. — Хорошего человека, честного сразу видит. Ты, если что, приходи ко мне, давай вместе будем...

Борис схватил его за руку:

— Спасибо. А то я все думаю, думаю. У меня голова лопается. Я все читаю, хочется побольше знать.

Он сдвинул брови, морщинки прошли меж них.

— Я теперь от народа не отойду ни за что, пусть хоть что угодно. Вот как Чернышевский замечательно говорил, я читал — как это? Словом, пусть хоть топор и кровь, я не помню точно... Теперь я до этого уже дошел.

— Рабочий класс пришел к власти, — отвечал Николай. — Ты сумел порвать со своим классом, теперь тебе надо научиться работать с нами. Мы любим работать и не боимся борьбы. Поможем, — добавил он с неожиданной сердечностью, которая еще больше привлекла к нему Бориса.

Так вот, значит, чем замечательна жизнь — работой и борьбой! И Борис сказал:

— Я вас очень люблю. Мы ведь почти ровесники.

— Значит, уж надо на «ты», — предложил Николай. — Что ж это, я тыкаю, а ты мне «вы» да «вы»? Мы с тобой в деле сдружились, в большом деле. Мы и сами сейчас плохо соображаем, в каком деле участвовали. Но чувствуем. Верно я говорю?

И Николай дружески протянул Борису руку.

Уже светало, когда капитан Орлов отправился в свой полк. Он медленно подходил к Царицынской улице. Полк был для него теперь одновременно и привычным и совершенно чуждым и враждебным.

Еще издали он увидел того скуластого, который приезжал тогда с этим Клешневым. Распоряжается уже тут как хозяин! Бешенство овладело Орловым. На всякий случай он переложил револьвер из кобуры в карман шинели и остановился, не зная, что делать дальше. Но неужели же он, фронтовой офицер, испугается? Эта мысль возмутила его. Даже отец советовал ему вернуться в полк. В конце концов ничего с ним не сделают, за него вступится офицерство. Он бодро зашагал к казармам, высоко подняв голову и уверенным жестом придерживая свою шашку с георгиевским темляком.

Он даже не взглянул в сторону Николая, не обернулся на окрик:

— Стой! Кто таков? — Дежурный по полку преградил ему путь. — Кто таков? — повторил он. — Куда идете?

Орлов оборвал солдата:

— А ты кто таков, чтобы спрашивать? — И он попытался отстранить солдата с пути. — Не видишь, что ли, кто я такой? Капитан Орлов, командир шестой роты.

Николай, услышав, сразу подошел к нему:

— Капитан Орлов? Где были вчера? Почему не явились на сбор?

— Я вам не обязан отчетом, — отвечал Орлов. Он еще продолжал бодриться, но уже не торопился в казармы.

— Отведите-ка его к Мытнину, — приказал Николай.

«Болван, — подумал Орлов об отце. — Какое тут, к черту, заслужишь доверие! Только бы вырваться».

Он двинулся было прочь, но дежурный задержал его, ухватив за локоть.

Капитан Орлов не страдал избытком воображения. О других он мог судить только по себе. Он знал, что если бы эти солдаты попались ему в руки, как он попался к ним сейчас, то живыми они не ушли бы. Следовательно, и они убьют его. Всем своим здоровым телом ощущая ненависть и тоску, он остановился, повернулся к дежурному и тихо проговорил:

— Я пойду с вами.

Его слегка подташнивало от ужаса. «Болван», — еще раз мысленно обругал он отца. Подбадривать себя он уже больше не мог и соображал только, как вырваться из этой ловушки, в которую он попал, как ему представлялось, по собственной глупости.

Николай усмехнулся:

— Так-то лучше. Надо уметь держать ответ.

И при этих словах Николая капитану Орлову мгновенно представилась шеренга солдат, вскинутые дула винтовок, резкий и дружный залп... Он увидел себя, Сережу Орлова, падающим возле казарменной стены с простреленной навылет грудью.

Бешеная ненависть овладела им с еще не испытанной силой. «Теперь все равно конец...» Он выхватил из кармана шинели револьвер, не помня себя от ужаса и злобы, несколько раз подряд выстрелил в этих ненавистных ему людей и изо всех сил пустился бежать прочь.

XXXVII

Однажды случилось так, что Мытнин в поздний вечерний час послал Бориса к Клешневу на дом с поручением, и Борис, не застав Клешнева, в ожидании его разговорился с Лизой. Отвечая на ее вопросы, он рассказал ей все о себе, так, как никому еще в жизни не рассказывал. Он сознался даже в том, как непреодолимо хотелось ему после первой встречи еще раз увидеться с ней.

— Не могу объяснить вам, почему, сам не знаю, — говорил он без всякого смущения, как близкому человеку, который непременно должен понять.

Лиза засмеялась, потом серьезно сказала:

— Потому что вы тогда от одних оторвались, а к другим еще не пристали.

Среди новых друзей Борису легче было с Лизой, чем с кем бы то ни было другим. Она же очень быстро стала звать его просто по имени — Борис, — и это было ему приятно.

Он все собирался к Наде, но не хотелось встречаться с Григорием, который приобрел печальную известность яростного противника большевиков. Наконец Борис позвонил по телефону и с удивлением узнал от старика

В крайнем потрясении склонился он над товарищем, с которым судьба соединила его, чтобы сразу же разлучить. Николай был мертв. Смерть, видимо, наступила мгновенно.

Мариша разбирала информацию с фронта, когда в комнатку к ней вошел Мытнин. «Известия Абобьернборгской укрепленной позиции» стали большевистскими, так же как и «Финляндские известия», выходившие в Выборге, где стоял 42-й армейский корпус. Сведения из Второй и Пятой армий тоже были благоприятны.

— Вот что, Мариша, — начал Мытнин, но замолчал, не зная, как приступить к делу.

Глаза у него были красные, невыспавшиеся, лицо бурое, скулы выдавались над впалыми щеками.

— Говори! Только скорей! У меня груда дел!

— Ладно. Скорей. Николай убит, вот что!

Маришу словно ударило.

Мытнин пробормотал:

— Брось, Мариша...

И замолк.

Он не умел утешать. Его самого никто никогда не утешал.

Мытнин думал, что Мариша — жена Николая. Взглянув на него, она сразу поняла это. Пусть. Пусть все так думают. Привычная, слишком привычная боль владела ею, и она покорялась ей. Она даже не могла больше плакать.

Мытнин рассказывал, стараясь не глядеть на нее:

— Тут один наш разом схватил офицерика-то, — ну, того гада, который Николая-то... Он к тебе придет, то есть у Клешневой будет вечером, у Лизы...

Направляясь вечером к Лизе Клешневой, Борис размышлял над тем, как он расскажет жене Николая о гибели мужа. Мытнин посоветовал:

— Ты только полегче, она слабенькая.

Борис представил себе истощенную женщину, должно быть постарше Николая, больную, замученную. Что он скажет ей? Зачем нужно и ей и ему еще это мучение? Как тут можно утешить?

Неохотно поднялся он по лестнице, позвонил, вошел. И вдруг увидел большеглазую тоненькую девушку, очень настороженную, с крепко сжатыми бледными губами, в сереньком, очень опрятном платьице, стянутом в талии

красным пояском. Держась очень прямо, она смотрела на вошедшего Бориса так, словно собрала все силы, чтобы выдержать еще какой-то новый удар, и не была уверена в том, что сумеет его выдержать. Борис остановился, сразу забыв все приготовленные слова. Некоторое время они молча смотрели друг на друга.

Наконец Борис произнес:

— Я — товарищ Жукова...

Запнувшись, он обернулся к Лизе Клешневой.

Лиза сказала:

— Познакомьтесь. Борис. Мариша Граевская, большой друг Николая.

Борис пожал Марише руку. Рука была маленькая, и пальцы почти не ответили на пожатие Бориса, а только безвольно поддались ему. И тогда Борис почувствовал, что с ним что-то неладно. Все, что случилось сегодня, да и не только сегодня, как-то вдруг переполнило его, и у него перехватило дыхание. Неизвестно, что произошло бы, если бы он попытался заговорить, — может быть, он заплакал бы. И главное — все мысли внезапно оставили его. Как будто сознание перестало работать. Страшным усилием воли он хотел овладеть собой, но ничего не получилось. Он опустился на стул, поднялся, вновь опустился и почувствовал, что в самом деле плачет. Это было очень стыдно, но он ничего не мог с собой поделать. Он глотал слезы, отвернувшись, злясь на себя, негодуя. Забывшись, он даже стукнул кулаком по столу, но все-таки продолжал плакать.

Лиза сказала решительно:

— Фу, стыдно, Аника-воин! — и потрепала его, как мальчика, по голове.

— Вы так любили его? — тихо спросила Мариша.

Борис, справившись, наконец, с собой, ответил тоже тихо:

— Мы только что подружились. Вместе шли на Зимний дворец... Вам он — муж, а мне — очень хороший товарищ...

Мариша покачала головой.

— Нет, мы с ним не были муж и жена. Мне он тоже очень хороший товарищ. — Она вздохнула.— Вы успокойтесь, отдохните. Сейчас я вам приготовлю чаю, вы попейте и лягте, поспите, вам нужно успокоиться, отдохнуть...

— Лиза мне все рассказала про вас. Она ушла, у нее сегодня ночная работа.

Ему было неловко надевать при ней сапоги, но она не видела в этом ничего неудобного.

— Расстреляли его? — спросила она. — Того офицера?

Борис утвердительно кивнул головой.

Она продолжала глядеть на него печальными глазами.

— Это хорошо, я тоже теперь могу убивать врагов, — промолвила она очень серьезно. — Я все думаю, думаю... Я теперь поняла. Есть такие люди, которые обязательно хотят жить на чужой счет, нашими трудами. Они считают себя самыми лучшими на земле, грабят, устраивают войны, убивают. Их нельзя жалеть. Это они убили Колю. Расскажите, как это было. Расскажите все — и про штурм и про то, что было потом...

Борис начал рассказ сбивчиво, но затем увлекся и запнулся только тогда, когда надо было сказать о гибели Николая. Но и это он преодолел.

Мариша слушала, не перебивая. Она не плакала. Прислушиваясь к своим чувствам, она с удивлением обнаружила в своей душе спокойную ясность, даже стойкость какую-то, словно в одну ночь из плаксивой девчонки превратилась в зрелого человека.

— Кто был этот офицер? — спросила она.

— Мой гимназический товарищ, — ответил Борис.

Она вздохнула и подперла щеку кулачком.

— Да, — сказала она как бы себе самой, — вы ушли от этих людей, вы не хотите быть с ними. И не надо вам больше к ним возвращаться. Это было бы очень нехорошо. — Она спросила, как старшая, более разумная и опытная: — Вам, наверное, бывает иногда одиноко?

— Бывает, — сознался Борис. Этой девушке он готов был сказать любую правду.

Она понимающе кивнула головой.

— Со мной это тоже бывало. — Она произнесла это так, словно у нее за плечами была долгая жизнь и она вспоминала какие-то давно прошедшие времена. — Это еще когда я только ехала сюда. Я ведь беженка. Проснулась раз в каком-то местечке одна, ни родных, ни знакомых нет, я испугалась... Коля говорил, что мы — добрый народ, но пиявки присосались, и надо быть злыми, чтобы их оторвать. В местечке, где я родилась, были в

— Пусть вот такие девушки, как я, потом будут счастливые, а мое счастье — устроить им хорошую жизнь. Они еще не родились, а я очень их люблю. Нет, я не могу... не умею сказать...

— Я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь говорил лучше, — возразил Борис. Он был потрясен не столько словами, сколько тоном, всем обликом этой ни на кого не похожей девушки.

— Нет, я не умею, — покачала головой Мариша. — Я даже совсем представить себе не могу, как это будет, — социализм, коммунизм... Только чувствую, чувствую... — Мариша замолкла и задумалась. — Скажите, — неожиданно спросила она, — неужели вы когда-нибудь, когда-нибудь хоть на минуту сможете изменить Коле, Лизе, таким людям?

Борис вспомнил свое поведение в финском санатории и покраснел багрово, до слез.

— Нет, — проговорил он, — больше никогда. Но я... я еще очень недавно ужасно изменил, очень скверно и противно. Но, честное слово, этого больше никогда не будет. Никогда.

— Ох, как я бы вас презирала! — воскликнула Мариша.

И она даже стукнула кулачком по столу.

Очарование кончилось.

Бориса разом как бы отбросило от нее. Он вновь был отдельно от нее — самостоятельный человек, сам отвечающий за свои поступки. Он сказал угрюмо:

— Может быть, я еще дам вам повод презирать меня за какую-нибудь ошибку. Я вполне сознаю, что могу еще не раз ошибиться. Но в конце концов я не выбирал своих родителей и среды, в которой вырос. А притворяться, что я не такой, как есть, я не стану. Терпеть не могу притворства.

Борис встал и, нахмурясь, зашагал по комнате. «Надо уходить», — подумал он.

Мариша глянула на него укоризненно.

— Как вам не стыдно! — промолвила она. — За что вы обиделись? Вдруг рассердился... — Она передернула плечами. — Я совсем не о том говорю. Я сама все время путаю, вот сделаю не то, а Фома Григорьевич поправляет. Я говорю о том, чтобы не изменить, а это совсем

другое. И тут ни при чем самолюбие. Такое самолюбие — это уже нехорошо. Кто вас корит вашим происхождением? Только вы же теперь не маленький, сами можете решать. Я вот без всякого самолюбия скажу, что никогда не изменю, лучше умру, чем изменю.

— Я тоже лучше умру, чем изменю, — сердито повторил ее слова Борис и, услышав их, почувствовал, что дал такую клятву, которую переступить нельзя.

Но Мариша и не заметила, что эти слова прозвучали как клятва. Для нее сейчас это были очень обыкновенные слова.

— А про завтрак-то я и забыла! — воскликнула она. — Только у нас очень мало еды.

— Мне не нужно, — заторопился Борис. — Вы не беспокойтесь...

— Пожалуйста, не командуйте, — строго сказала Мариша. — Я сама знаю, что делать. То, что есть, поделим поровну. Вы все равно понимаете еще меньше моего. Теперь уж я это окончательно вижу.

Она двигалась, говорила, а мысль о Николае, о его гибели все время жила в ней, и больше всего она удивлялась тому, что эта мысль звала ее жить, действовать, а не слабеть, не плакать.

— Вы умеете ненавидеть врагов? — спросила она Бориса. — Вы понимаете, что такое месть?

Борис ответил не сразу:

— Еще не совсем. — Он старался быть совершенно честным. — Но, кажется, я пойму. Я, кажется, умею ненавидеть, но мне... но мне, — договорил он с чрезвычайным усилием, — мне не приходилось еще сильно любить. Так сложилось. Я вот Колю начал любить, хотел сильно полюбить и...

Мариша кивнула головой:

— Да, я понимаю. У вас так сложилось. Вам сначала надо было возненавидеть, а теперь вы полюбите. Вы просто не видели, кого можно любить. И вы, наверное, среди солдат любили себя, а товарищей еще не умели разглядеть. Только свои тягости как следует видели.

Это было настолько верно, что Борис посмотрел на нее с невольным уважением, почти со страхом.

Они позавтракали и пошли — она на работу, а он в казармы.

Чуть только Борис явился, Мытнин сказал ему:

— Тебя Клешнев вызывает, иди к нему.

По дороге в Смольный Борис обратил внимание на людей с торжественно-возбужденными лицами, толкавшихся на перекрестках, в подъездах, у ворот. В одной из таких групп ораторствовал какой-то бритый мужчина в котелке, очень солидной наружности. Борис остановился послушать.

— Это дело нескольких дней, — говорил мужчина тем баритоном, который обычно принято называть бархатным. — Весь народ встал против, всеобщая стачка — инженеры, чиновники, все руководители министерств, почтовые служащие... А банковские работники — просто герои, подлинные герои. Замкнули на ключ свои сейфы и категорически отказали этим разбойникам в каких-либо деньгах.

— А сейфы охраняются? — спросила какая-то дама. Широкополая шляпа бросала тень на ее длинное и узкое лицо. Из шляпы торчали перья.

Мужчина успокоительно ответил:

— О, разумеется. Можете быть совершенно спокойны, мадам.

Борис зашагал дальше. «Большой Кошель», — вспомнил он. То, что он силился понять в книгах, теперь открывалось ему в самой жизни. Этот Кошель, боровшийся за свое право жить трудом народа, очень ловко затемнял людям мозги: ведь и он, Борис, бросившись на войну, тоже думал, что защищать богатства тунеядцев — это и значит защищать отечество от врага. А сами они, пока народ погибал на фронтах, прекраснейшим образом торговали с теми же немцами.

«Империалистический грабеж...» — вспыхнули в нем слова Ленина. Еще всего два года тому назад, когда он впервые услышал эти слова от Клешнева, они все-таки не были поняты им до конца. И в беседе с Клешневым после февральской революции он еще не понимал их, а позавчера, штурмуя Зимний, он сам на деле превращал империалистическую войну в гражданскую. Вместе с рабочими, солдатами и матросами он боролся с правящими классами, свергал правительство помещиков и капиталистов и утверждал правительство рабочих и крестьян. Теперь-то уж он больше не собьется. «Я лучше

умру, чем изменю», — вспомнил он свою клятву Марише.

Борис явился к Клешневу в таком возбуждении, что тот спросил:

— Что с вами?

— Ничего, — отвечал Борис,—я просто много думаю...

— И получается?

— Получается, — радостно улыбнулся Борис. — Я теперь, кажется, в общем правильно думаю.

Эти слова прозвучали такой откровенной наивностью, что Клешнев впервые ощутил доброе чувство к этому молодому человеку. «А Лиза права, — подумал он, — из такой семьи, а честный. Бывает».

— Вам, вероятно, известно, — сказал он Борису, — что чиновники и служащие объявили стачку? У нас сейчас каждый человек на учете. Вас мы решили включить в группу для связи. Придется помотаться по городу. Может быть, и ораторствовать придется, бить врага в самую душу. Сумеете?

Борис молчал, обдумывая это неожиданное поручение.

— Свяжитесь прежде всего с Мариной Граевской, — продолжал Клешнев. — Она всегда на месте, все нити у нее в руках. Вы, кажется, вчера уже познакомились?

— Я постараюсь, — сразу ответил Борис.— Спасибо, я готов, сделаю все, что смогу.

Его колебания разом кончились, как только он услышал, что работать ему придется вместе с Маришей. Значит, он будет каждый день встречаться с ней. Ради этого он пошел бы и на самое невозможное дело. Ему казалось, что ради этого он даже способен стать заправским оратором.

— Спасибо вам, — повторил Борис с таким чувством, что Клешнев прищурился, глядя на него, и невольно усмехнулся. В усмешке его на этот раз сквозило явное добродушие.

XXXVIII

Теперь надеждой Санкт-Петербурга стали юнкера. Они должны были соединиться с казачьими отрядами Краснова, которые вел бежавший из Зимнего Керенский, и восстановить прежнюю привычную жизнь. Эта жизнь

затаилась в петербургских квартирах, загроможденных старинной мебелью и увешанных картинами. Отсюда глухой ночной порой выходили молодые люди в юнкерской форме, и морщинистые старухи, всхлипывая, крестили их на прощание, а молоденькие девушки восторженно целовали их в губы. Тем временем толстые люди, со складками на затылках, сидя в заграничных отелях, подсчитывали количество этих молодых людей и с сомнением покачивали головами. Они своевременно переправили из России свои деньги в Стокгольм, Цюрих и разные другие города. Для этих людей границ не существовало, родина их была там, где находились их деньги, а деньги прокладывали им путь в любую страну. Они понимали, что много крови должно пролиться в борьбе за их деньги и за их власть. Молодых людей в юнкерской форме не могло хватить надолго. Нужна была помощь Европы, — будь то Англия, Франция или Германия, все равно.

Днем двадцать девятого октября Борис явился к Марише. Прихрамывая, с трудом волоча ногу, он вошел в комнату, где она работала.

— У меня донесение о владимирских юнкерах... — пробормотал он и опустился на стул.

Через минуту Мариша уже перевязывала ему ногу (аптечка всегда была при ней), а он угрюмо рассказывал:

— Понимаете, это Владимирское училище, юнкера выкинули белые флаги, а когда мы подошли — залп... Это уж просто подлость... Училище-то взяли, а вот мне не повезло. Ногу я сам перетянул, меня грузовик подвез... Спасибо... Вечно вам со мной хлопоты...

Борис не рассказал Марише о том, что его хотели везти в больницу, но он запротестовал и потребовал, чтобы его доставили сюда.

— Рана легкая, — промолвила Мариша. Помолчав, она решительно прибавила: — Вы будете под моим наблюдением. Я с Лизой сговорюсь, чтобы вы переселились к ней, у нас же теперь четыре комнаты, соседи уехали, а вам сейчас нельзя ни в казармах, ни у себя там, на Конюшенной, без присмотра.

Борис сразу оживился:

— Понимаете, Мариша, я встретил там одного гимна-

зического товарища. Он тоже не с юнкерами, а с нами, тоже брал училище. Не один я так вот пошел.

— А вы думали, что вы один такой умный? — насмешливо спросила Мариша. Ей ужасно хотелось как-нибудь отомстить Борису за то, что она вся обмерла, когда увидела, как он вошел, — бледный, еле волоча ногу.

Несколько дней Борису пришлось лежать на квартире у Клешневых. Рана действительно оказалась легкой, но ходить Борис все-таки не мог. Приходя с дежурства, Мариша ухаживала за ним, меняла ему повязку. Однажды она сказала Борису:

— А мы с вами оба без семьи, без родных. Я о родителях никаких сведений не имею, не знаю, что и сталось с ними. А вы от своих ушли...

Был уже поздний вечер. Тускло горела керосиновая лампа. Борис отозвался тихо:

— Никаких родных мне не нужно, кроме вас.

Она ничего не ответила, только посидела еще немножко у стола, по своей привычке подперев щеку кулачком. Потом встала, промолвила: «Спокойной ночи», — и пошла к себе.

...Рана Бориса быстро заживала. Впервые встав с постели и сделав несколько шагов по комнате, он сказал Марише:

— Без вас я просто пропал бы.

Мариша помолчала, задумавшись, потом промолвила:

— Может быть, вам я и нужна.

Настал вечер, когда Борис решился осторожно обнять Маришу за плечи. Он почувствовал, что ее плечи вздрогнули, как в ознобе. Он уже смело повернул ее к себе. Теперь она дрожала всем телом и никак не могла справиться с этой дрожью. Борис заглянул в ее глаза, — еще ни разу он не видел ее такой испуганной. И впервые за все это время почувствовал он в строгой своей руководительнице робкую девятнадцатилетнюю девушку, очень одинокую и никогда еще не знавшую любви...

— Не бойся, Мариночка, — проговорил он, — ведь мы свои, мы уже совершенно свои...

Он сейчас любил ее всем своим существом, так бережно и нежно, как никого в жизни. И это чувство передалось ей. Дрожь прошла, она успокоилась.

— Хорошо, — сказала она, — но ведь ты меня не знаешь, я плаксивая, мало ли вообще что...

— Мы же совершенно свои, — повторял он, ухватившись за эти слова, как за единственное спасение, — совершенно свои...

...Спустя несколько дней, утром, когда дневной свет еще не проник в замерзшее окно и комната была окутана сумраком, Мариша вдруг сказала как бы невзначай (у нее вошло в привычку так разговаривать с Борисом):

— Ведь мы очень рады, что вместе? Правда, Боря?

— Это мое самое большое счастье в жизни, — ответил Борис.

Он хотел продолжать, но Мариша с прежней строгостью перебила его:

— Ну уж и самое большое. Зачем преувеличивать? Ты меня не должен так любить. А вдруг я умру? Ты озлобишься, станешь несправедливым, всех возненавидишь. Я же тебя знаю. Ты можешь ужасно запутаться, за тобой нужен глаз да глаз.

Борис рассмеялся.

— Знаешь, с тобой я, пожалуй, не запутаюсь. Не жена, а прямо сплошное благоразумие.

Мариша хотела для порядка рассердиться, но, не сдержавшись, тоже засмеялась:

— Ну и пожалуйста. Тебе же хуже. Влюбился в благоразумие. — Она продолжала без улыбки: — Но, Боренька, я больше твоего понимаю время, в которое мы живем, и лучше твоего вижу, для чего мы живем. Потому я и боюсь, что ты меня слишком сильно любишь...

XXXIX

В феврале восемнадцатого года Борис вновь отправился добровольцем на фронт. Три с лишним года тому назад он подал директору гимназии длинное заявление, в котором было немало торжественных и громких слов. Теперь он написал только одну фразу:

«Желаю вступить в ряды народной Красной Армии.

Борис Лавров».

Три года тому назад он добровольно пошел воевать против немцев. Снова он шел добровольцем на войну против немцев, непосредственно угрожавших Петрограду. Но теперь решительно все было иначе. «Выполняя поручение капиталистов всех стран, германский милитаризм *хочет задушить русских и украинских рабочих и крестьян, вернуть земли помещикам, фабрики и заводы — банкирам, власть — монархии.* Германские генералы хотят установить свой «порядок» в Петрограде и в Киеве». Поэтому — «...священным долгом рабочих и крестьян России является беззаветная защита республики Советов против полчищ буржуазно-империалистской Германии».

Мариша тоже подала заявление: «Я, Марина Граевская-Лаврова...» Вместе с ним она пошла на фронт медицинской сестрой.

Незадолго до отъезда на фронт Борис прочел в какой-то газетке статью Григория Жилкина. Тот торжествовал по поводу срыва мирных переговоров в Бресте. Он восторгался «разногласиями», захлебывался, описывая «непреодолимые трудности», возникшие перед большевиками, и откровенно радовался наступлению немцев на Петроград. И он теперь представился Борису столь же чуждым и враждебным, как некогда полковник Херинг.

Как старый фронтовик, служивший к тому же в Павловском полку на должности офицера, Борис был назначен командиром одного из отрядов, направленных на подступы к Пскову. Перед этим отрядом стояла задача — соединиться с рабочими железнодорожного депо.

Война, в которой участвовал теперь Борис, была совсем не похожа на прежнюю войну, и люди воевали совсем иначе. Мирные жители — местные рабочие и крестьяне — брались за оружие и шли вместе с бойцами Красной Армии.

Хозяин хаты, в которой Борис остановился на краткий отдых, по собственной воле стал часовым у околицы. Три года воевал с немцами, вернулся домой по ранению, а теперь снова с охотой взялся за винтовку.

Хозяйка постелила Борису в горнице и поставила на стол крынку молока, яйца, буханку хлеба. Пришла Мариша. Ее трудно было узнать в валенках и полушубке.

— Боря, ты бы поспал хоть полчаса, — попросила она.

Следом за ней явился Малинин, тонколицый, худощавый токарь, комиссар отряда, которым командовал Борис. У него были очень внимательные глаза, словно он все время присматривался к чему-то.

На рассвете должен был начаться бой. Борис вынул из планшетки карту.

— Глядите, — сказал он Малинину, — мы пойдем прямиком через лес, без дороги. У немцев тут пехоты нет, только мотоциклы, а пехота дальше...

Они разложили карту на столе, склонились над ней, и Мариша, дремавшая в темном углу, еще долго слышала сквозь сон их приглушенные голоса.

Бой с немцами завязался при выходе из леса, откуда было уже совсем недалеко до здания депо, видневшегося в морозной дымке. Борис вывел отряд за железнодорожное полотно, когда на шоссе появились немецкие мотоциклисты. Бой был ожесточенным, но коротким. Попавшие в окружение мотоциклисты еще отстреливались из-за своих машин, но их судьба была решена. Борис командовал, лежа на снегу, и когда поднялся с земли и оглянулся, то заметил, что в стороне над каким-то раненым или убитым стоит кучка бойцов с хмурыми лицами.

Он подошел к бойцам, те расступились, и ему навеки запомнились распахнутый полушубок, ушанка, свалившаяся со стриженой головы, удивленное лицо с открытыми серыми глазами, глядевшими в холодное зимнее небо... А голос Малинина, строгий и в то же время сочувственно-нежный, твердил:

— Спокойно, командир, спокойно.

Что было дальше? Он нес мертвую Маришу до депо и не верил, что она мертва. Затем он вел отряд в атаку и во главе его ворвался в город. Откуда-то опять возник голос Малинина:

— Осторожно, командир, вы еще пригодитесь.

Потом город покрылся дымом, перевернулся, и Мариша попросила:

— Боря, ты бы поспал хоть полчаса...

...Он очнулся в поезде.

Кто-то разостлал на жесткой лавке его полушубок, и он лежал на нем, не в силах ни встать, ни пошевелиться.

Подошла женщина, пожилая, с усталым, очень худым лицом.

— Где Мариша? — спросил он. — Что со мной?

— Больно, голубчик? — сказала женщина. — Ничего, скоро приедем в госпиталь, вылечим.

Но он уже вновь видел перед собой распахнутый полушубок, ушанку, удивленное лицо.

— Назад! — Голос у него был хриплый. — Зачем вы ее там оставили? Вы оставили ее одну в депо... Назад! Везите меня назад!

Подошедший санитар помог удержать его на лавке. Женщина приложила руку ко лбу Бориса и покачала головой. Затем присела около него и ласково сказала:

— Все в порядке, дорогой, и немцев ты побил. Лежи спокойно, голубчик.

И опять все застлалось дымом, перевернулось, и Мариша отчетливо проговорила:

— Слушай, Боря, за тобой нужен глаз да глаз.

Получив из штаба извещение о том, что Борис ранен и эвакуирован в Петроград, Лиза Клешнева пошла в госпиталь, но врач не допустил ее к Борису.

— Он все равно без сознания, — сказал врач.

— Он выживет? — решительно и резко спросила Лиза.

— Трудно сказать. Состояние у него очень тяжелое.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

XL

Старушка в коричневом пальто и соломенной шляпе сторожила вещи на платформе Николаевского вокзала. Вещей было много: корзина, громадный узел, несколько маленьких узелков, ни во что не завернутый поднос и еще кой-какая мелочь. Иногда старушка пугалась и начинала пересчитывать вещи. К ней подошел высокий молодой человек в драной, с облезлым воротником, шубе и коричневой фуражке.

— Я нанял тележку, — сказал он. — Сейчас придут за вещами.

Старушка засуетилась, хотела заплакать, но раздумала.

Вслед за молодым человеком подошел крупный мужчина в барашковой шапке и овчинном полушубке. Связав ремнем корзину и узел, он перекинул поклажу через плечо: корзина повисла за спиной, а узел торчал на груди. Старушка обеспокоенно взглянула на сына, показывая глазами на мужчину в полушубке. Сын, усмехаясь, нагрузил себя узелками и мелочью. Для подноса рук не хватило.

— Я тебе говорил, что эту дрянь надо выбросить! — раздраженно воскликнул он. — Пять лет таскаем за собой! Давно надо к черту выкинуть!

— Я возьму, — виновато заговорила мать. — Ты Юрочка, не волнуйся, это я сама понесу. — Она взяла поднос и еще раз прибавила: — Сама понесу.

Они пошли к выходу. Старушка не спускала глаз с мужчины в овчинном полушубке: ведь в узле были

мешки с мукой, а в корзине — хлеб, сахар и прочее продовольствие, вывезенное с юга.

Мужчина уложил вещи в тележку, стянул поклажу ремнем и двинул тележку за вокзальные ворота, на Лиговскую улицу. Старушка и молодой человек пошли за ним. В правой руке старушка продолжала нести поднос, хотя его тоже можно было положить на тележку.

Мужчина свернул направо, к Знаменской площади, а оттуда пошел по Невскому проспекту.

Невский проспект был пуст и тих. Каменная громада домов казалась лишенной жизни. Старушка шла за тележкой испуганно и виновато. Она шла несколько сбоку, чтобы широкая спина мужчины в овчинном полушубке не мешала ей поглядывать на поклажу. Молодой человек сутулился, подняв воротник и сунув руки в карманы: ему было холодно.

— Ерунда, — сказал он наконец. — Для чего тебе нужно было возвращаться?

— Юрочка, не спорь с матерью, — ответила старушка, и в голосе ее послышалось нечто уверенное. Она даже сразу помолодела. — Мать знает, что делает.

— Мы из-за тебя уже пятый год мотаемся, неизвестно зачем и почему. Нужно с ума сойти, чтобы возвращаться сюда!

— Юрочка, — повторила старушка, — не спорь с матерью. И не пятый год, а третий.

— Уж если на то пошло, то четвертый. Все равно сумасшествие!

Они медленно двигались по пустынным улицам Петрограда. Тележка свернула на Садовую улицу. В конце ее, невдалеке от моста к Лебяжьей аллее, возчик остановился.

— Отдохнуть надо, — сказал он, разминая и стягивая рукавицы.

Старушка с сыном тоже остановилась.

— Отдохнуть надо, — повторил возчик и хлопнул по корзине рукой. — Хлеба дайте, с утра не ел.

Старушка вздрогнула.

— Товарищ, — заговорила она возбужденно, — мы вам все дадим, только довезите. Я даже дам кусок сахара. Я сама большевичка. Это мой сын — он работал

в Народном комиссариате просвещения в Харькове, а я — в чрезвычайной комиссии.

Она действительно работала одно время в чрезвычайной комиссии по ликвидации неграмотности.

— Вы, пожалуйста, довезите нас, — продолжала старушка. — Нам очень спешно, по государственной необходимости. Вы, наверное, пролетарий? Я очень люблю пролетариат, и сын мой любит, и еще мой покойный муж страдал за вас в институте. Мы совсем бедные, мы сами — пролетариат, но мы дадим вам из последнего.

Она произнесла еще много совершенно лишних слов. Сын отвернулся, сжимая кулаки, и стукнул ногой по мерзлой, в ухабах, мостовой. Даже по спине его видно было, до чего он взбешен. Мать успокаивающе подмигнула сыну, словно глядела ему в глаза, а не в лопатки.

Возчик слушал ее с некоторым удивлением. Он мало что понял, но тон старушки, видимо, показался ему убедительным. Он надел рукавицы и двинул тележку дальше. Старушка торжествующе взглянула на сына и совершенно неожиданно произвела некий удовлетворенно-чмокающий звук; при этом она даже прищелкнула пальцами левой руки, что уже совсем не шло к ней.

На Троицком мосту и дальше, на Каменноостровском проспекте, было пустынно и тихо.

За мертвым «Аквариумом» сын заговорил:

— Безумная идея! Прямо с вокзала ехать к малознакомым людям. Да, может быть, их теперь и нет тут совсем!

— Не волнуйся, — возразила мать. — Ведь мы списались, ты сам это прекрасно знаешь. Не беспокойся: Жилкины не пропадут, они при всяком режиме устроятся. Не такие люди. — Сын пожал плечами. — Ты не должен спорить с матерью, — продолжала старушка и заволновалась: а вдруг их действительно нет? Это было бы так на них похоже!

Она уже хотела обвинить сына в том, что они вернулись в голодный Петроград, когда возчик, остановив тележку, осведомился:

— Вам к какому дому?

— Вот к тому, к серому, — заторопилась старушка. — Подъезжай туда. — Она произнесла последние слова,

слегка выпрямившись, так, словно подъезжала в экипаже. Но тут же опять ссутулилась. — Вот этот дом, товарищ. Пожалуйста!

У подъезда мать и сын поссорились. Сын сел на корзину и отказался идти наверх — стучать в квартиру Жилкиных. Он посылал наверх мать.

— Я не могу вламываться ни с того ни с сего к чужим людям. Зачем я буду это делать? Ступай сама. Ты это затеяла, ты и расхлебывай.

— Юрочка! — говорила мать, указывая глазами на возчика. — Ты не должен так разговаривать с матерью.

В руке она все еще держала поднос.

Возчик, сложив все вещи к подъезду, неожиданно вступился за Клару Андреевну:

— Нехорошо, гражданин! Это вам мамаша. Мамашу жалеть надо.

Клара Андреевна заулыбалась, но немедленно же стала защищать Юрия:

— Он очень болен. Он страшно устал и с ног валится. Я сама пойду, Юрочка, сама.

— Да уж я пойду! — воскликнул Юрий и встал с корзины.

— Нет, уж я теперь пойду! — заспорила мать.

— Ты хочешь злодея из меня сделать? — воскликнул Юрий. — Я не злодей. Я пойду!

Они спорили бы еще долго, если бы Клара Андреевна вдруг не испугалась, что пропадут вещи. Пока она пересчитывала узелки, Юрий вошел в подъезд и поднялся по лестнице в третий этаж. Он стучал в дверь, обитую драной клеенкой, до тех пор, пока, наконец, не услышал голос:

— Кто там?

Через несколько минут возчик втаскивал вещи в квартиру Жилкина. Клара Андреевна суетилась, стараясь одновременно и поздороваться с Жилкиным, и уследить за возчиком, и сообразить, сколько хлеба надо отрезать за доставку вещей с вокзала.

Жилкин неподвижно стоял в прихожей. На нем был пиджак, надетый на рубашку без воротника. Штаны висели на ногах, как шаровары. Волосы и борода были у него совсем седые.

Клара Андреевна принялась развязывать один из узелков, заслоняя его всем своим ссохшимся телом. Она не хотела, чтобы возчик и Жилкин видели содержимое узелка. Придав лицу невинное выражение, она отломила кусочек хлеба и протянула его возчику.

— Это за такой-то конец! — свирепо посмотрев на Клару Андреевну, сказал возчик.

Юрий выдернул из узелка буханку фунта в три весом и, прежде чем мать успела ахнуть, сунул ее возчику. Тот поблагодарил и ушел. Клара Андреевна хотела закричать на сына, но сдержалась. Она научилась сдерживаться.

— Где поднос? — забеспокоилась она. — Юрий!

Поднос лежал на корзине: она сама положила его туда.

Клара Андреевна сообразила, что пришло время вступить в какие-нибудь отношения с хозяином квартиры.

Старик Жилкин сказал, растерянно мигая глазами:

— Ну вот, вы тут уж сами распоряжайтесь: Наташи нету.

— Мы так благодарны вам за приют! — ответила Клара Андреевна. — Я буду помогать Наташе по хозяйству. Наташа скоро вернется?

— Нет, она не вернется, — перебил Жилкин.

Он в письме не сообщил и теперь не сказал, что Наталья Александровна, его жена, умерла уже больше года тому назад от истощения. Он знал, что если заговорит об этом, то заплачет, а плакать он не хотел.

— А Григорий тут? — спросил Юрий.

Жилкин в ответ только махнул рукой.

— А Надя?

Жилкин молча покачал головой.

— Вы тут один? — воскликнула Клара Андреевна. — Как же вы управляетесь? Бедный!

В квартире было явно неблагополучно, и это успокоило Клару Андреевну. Она привыкла считать Жилкиных людьми преуспевающими и за это ненавидела их и винила во всех несчастьях, которые с ней случались.

А тут, оказывается, и Жилкина подшибло. Впрочем, Клара Андреевна, по обыкновению, не задумалась над тем, почему ненависть мгновенно сменилась в ней любовью.

К стр. 543

— Я сейчас вас накормлю! — заявила она. — Посмотри, Юрий, ведь он же с ног валится! — она указала сыну на Жилкина. — Он еле стоит. — И она начала распаковывать вещи, чтобы наскоро приготовить еду.

Когда Жилкин насытился, Клара Андреевна осторожно задала ему давно заготовленный вопрос:

— Вы не знаете, где теперь Борис? Я от него с самого отъезда не имею известий.

— Наташа умерла, — отвечал этнограф и заплакал.

Клара Андреевна тоже заплакала, вспомнив о муже. Минуты три они плакали так — каждый о своем. Потом Клара Андреевна повторила вопрос:

— А Борис где?

В дверь с черного хода кто-то застучал.

Клара Андреевна, вскочив, сама бросилась отворять. Она двигалась так энергично, словно ей было двадцать лет и она не совершила только что утомительнейшего переезда.

А Юрий уже спал в кабинете на кожаном диване.

С черного хода стучалась женщина, которая вела хозяйство Жилкина. Она явилась готовить обед. Клара Андреевна прогнала ее и вернулась к этнографу. Она видела, что в этой квартире никто не помешает ей взять власть в свои руки.

— Где же Борис? — спросила она.

Жилкин отвечал:

— Борис — большевик. Он секретарь Клешнева.

Клара Андреевна затихла, не зная еще, как отнестись к этому сообщению.

— Этот Клешнев! — воскликнула она наконец. — Я всегда говорила, что он негодяй.

Клешнев, о котором она только что впервые услышала, мгновенно стал для нее таким же виновником ее несчастий, каким был до того Жилкин.

Жилкин, совсем как прежде, развел руками:

— Он убежденный человек.

— Господи! — воскликнула Клара Андреевна. — Я понимаю — Борис. Он давно высказывал такие взгляды, он давно большевик и даже пошел добровольцем на войну и был ранен. Он давно ненавидел немцев. Но Клешнев! Почему Борис — секретарь этого негодяя? При его-то талантах! Это ужасно.

Жилкин не уловил путаницы в ее словах: ему было не до того. Он хотел рассказать теперь о сыне и дочери, но не смог: снова заплакал.

Потом он поднялся, вынул из кармана воротничок и стал прицеплять к рубашке.

— Мне надо в Балтфлот, — объяснил он, — на лекцию...

Когда он ушел, оказалось, что Клара Андреевна страшно устала. Энергия оставила ее, и она вновь превратилась в маленькую ссохшуюся старушку. Все у нее болело: руки, ноги, живот, грудь.

— Юрочка! — звала она сначала тихо, потом все громче: — Юрочка! Юрик!

Но Юрий не откликался: он спал.

Собрав остаток сил, Клара Андреевна поднялась со стула, доплелась до кровати Жилкина и свалилась на нее.

XVI

Клара Андреевна каждое утро просила Юрия узнать, где Борис и что с ним. Но Юрию было не до брата.

Юрий поступил на службу в архив. Он работал в здании на Чернышевой площади до позднего вечера: нумеровал дела, заверял их, а отработав то, что полагалось по службе, оставался еще для того, чтобы писать порученные ему примечания к сборнику архивных материалов. Он делал все это с удовольствием: ему это гораздо приятнее было, чем шатание по России. Обедал он на службе в столовке.

Служба, забота о хлебе — все это исчерпывало Юрия. У него ни на что больше не оставалось сил. И он со дня на день откладывал поиски брата. Он знал, что найти Бориса в общем легко, но для этого надо затратить все-таки три-четыре часа.

Наконец он уступил настойчивым требованиям матери, но засиделся в архиве и вспомнил о своем решении отыскать брата только когда на часах пробило восемь. Он надел пальто, шапку, взял портфель и вышел на темную площадь. Он хотел зайти по дороге в дом на углу Фонтанки и Невского. Он не знал точно, что помещается в этом доме, но по красным вывескам и плакатам предполагал, что, может быть, там знают что-нибудь о Бо-

рисе. И во всяком случае матери можно будет сказать, что он заходил и узнавал.

Он направился по набережной Фонтанки к Невскому. Он думал уже не о Борисе. Он шел, опустив голову, сутулясь, с портфелем под мышкой, и думал о ненависти Достоевского к Тургеневу. Этот вопрос занимал его. Он готовил даже статейку на эту тему. Но ему хотелось открыть что-нибудь новое в этом вопросе — ну хоть пустяк какой-нибудь. Сегодня, например, один из архивистов высказал ему чрезвычайно интересные мысли о «Селе Степанчикове». Сверяя речи Фомы Опискина с гоголевской «Перепиской с друзьями», он уверял, что Фома Опискин — это пародия на Гоголя. Вот бы Юрию выдумать что-нибудь такое! Но у него еще не было того нового, никем не придуманного, что можно было бы положить в основу статейки. Ведь, например, то, что Кармазинов из «Бесов» — пародия на Тургенева, всем уже известно. А на компилятивную работу без своего какого-нибудь открытия Юрий не мог согласиться: он был самолюбив. Может быть, удастся открыть в каких-нибудь черновиках какой-нибудь новый текст знаменитого классического произведения вроде «Тараса Бульбы» или еще чего-нибудь? Вот бы хорошо! Все знают например, что «Записки сумасшедшего» кончаются фразой: «У алжирского бея под самым носом шишка!» А под редакцией Юрия эта гоголевская повесть будет кончаться как-нибудь иначе, так, что все будут потрясены, а Юрий станет знаменитостью.

Неожиданный удар в спину заставил Юрия поднять голову и вспомнить, где он находится сейчас и в какое время живет. Перед ним стоял высокий человек в солдатской шинели и рвал с него пальто.

Справа стыла подо льдом Фонтанка. Набережная была пуста. Дома слева казались нежилыми: окна были темны — электрическая станция не дала сегодня света. Юрий, прежде чем успел сообразить что-нибудь, завопил пронзительно:

— Караул! Грабят!

И, выронив портфель, бросился бежать. Город оказался населенным людьми. Они выбегали из ворот на помощь. Вор рванулся прочь, но его уже окружили. Юрий, увидев, что опасность миновала, остановился и вдруг заметил, что портфеля под мышкой у него нет. А в порт-

феле — книги из архивной библиотеки. Их никак нельзя было потерять.

Вор отчаянно сопротивлялся, с ним боролись, его одолевали, а Юрий в крайнем беспокойстве суетился за спинами боровшихся и говорил:

— Товарищи, у меня там портфель...

Наконец, когда вора осилили и связали ему руки, Юрий подобрал свой портфель и, счастливый, зажал его локтем.

Милиционер, подойдя к нему, спросил:

— *Это на вас напали?*

— На меня, — гордо ответил Юрий, чувствуя себя уже героем.

— Бежал и визжал, как девчонка, — заметил огромный человек в дохе, первым подоспевший на помощь. — Такому и помогать противно. Одно только, что бандитов-то вообще надо повыловить. Одеваются в наше, солдатское, а душа разбойничья...

— Я архивариус, — заволновался Юрий, — я научный работник, у меня в портфеле книги, и я не понимаю..

— Мелет не разберешь что, — перебил кто-то из собравшейся тут кучки людей.

— То есть как не разберешь? — возмутился Юрий. Он был очень оскорблен таким презрительным к себе отношением. — На меня напали, и я же виноват?

— Да ведь тебя же защитили! Ты бы хоть поблагодарить-то догадался! Видишь — у человека кровь из-за тебя течет!

У мужчины в дохе действительно был рассечен в борьбе лоб. Отирая кровь с лица, он проговорил:

— Да ну его! Разве он что понимает? Ему бы по улицам с нянькой ходить...

Юрий повернулся и пошел прочь, боясь только одного — как бы его не задержали. Он крепко прижимал драгоценный портфель к боку. Завернув на Невский проспект, он вздрогнул и замотал головой: это он вообразил себя без пальто, обокраденным, когда и без того голоден и денег нет. Какой он несчастный! Вместо того чтобы пожалеть его, люди его же и обругали! Какие жестокие времена! Ужас! Ему было очень жалко себя.

В конце Садовой он ускорил шаги, с опаской прошел Лебяжью аллею, а перед тем как переходить Троицкий

мост, обождал попутчиков. Такие нашлись: трое мужчин, из которых двое были с портфелями.

На Каменноостровском Юрий снова вспомнил всю сцену нападения на него, но отмахнулся от нее. Прерванные мысли о Тургеневе и Достоевском возобновились. Юрий думал о том, как испугался Тургенев во время пожара на корабле. А в описании этого пожара он ни слова не сказал о своем страхе. Получилась изящнейшая вещица, которая годится в любую хрестоматию. Люди читают с удовольствием «Пожар на море» Тургенева, — и кому какое дело до того, как вел себя автор в действительности. Юрий не замечал того, что, защищая неизвестно перед кем Тургенева, он защищает самого себя. И вдруг, уже подходя к дому, вспомнил, что опять ничего не узнал о Борисе.

Клара Андреевна, отворив дверь, восклицала:

— Куда ты пропал? Ты так совсем себя замучаешь! Так больше нельзя!

Юрий в ответ только рукой махнул.

Клара Андреевна приготовила ему блины из муки, привезенной с юга, и пока Юрий ел, говорила:

— Ничего нет о Борисе. Жилкин не знает. Я прямо не живу — где он? Где помещается партия? Ты узнавал сегодня?

— Бориса нет в городе, — соврал Юрий, чтоб отделаться. — Он в провинции.

— Ты это наверняка знаешь? — заволновалась Клара Андреевна.

— Специально заходил и узнавал, — отвечал Юрий злобно. — На меня напали на улице. Я еле отбился. А все из-за того, что ты гоняешь меня еще за Борей. Не беспокойся, он-то чудно устроился и ходит под охраной. Что ему сделается! Ты меня со свету с ним сживешь! Я и так подыхаю от усталости, а тут еще рыскай по городу. Чуть не убили. Там еще бандиты налезли... Что за жизнь! Что за жизнь!

XLII

Врач был очень удивлен тем, что Борис остался жив.

— С ума сойти! — сказал он, когда дело явно пошло на поправку.

Солдат-парикмахер постриг и побрил Бориса. Впер-

вые за все это время Борис посмотрел на себя в зеркало. Он потер висок и промолвил:

— Вы тут, кажется, мыло оставили.

— Я тут ни при чем, — обиженно возразил парикмахер. — Какое же это мыло?

Виски побелели не от мыла. Это была седина.

Из армии Бориса отчислили, и он пошел работать в аппарат Совета.

Его отказались принять в армию и через год, когда Юденич подступил к Петрограду. Клешнев ушел на фронт, а Бориса не взяли. Его военная служба, видно, кончилась. Последнее ранение окончательно вывело его из строя.

В конце девятнадцатого года Клешнев вернулся из армии, и Борис перешел к нему в культурно-просветительный отдел районного Совета на должность секретаря.

Странное ощущение иногда возникало у Бориса, — ему порой казалось, что Мариша существовала только во сне. Но она не во сне сказала: «Не озлобляйся».

И он послушался ее.

Борис навсегда запомнил распахнутый тулуп, серую ушанку, удивленное лицо... Но надо было жить дальше, жить и работать.

Он поселился у Клешневых, это устроила Лиза. Она любила вспоминать, как он пришел к ним впервые:

— Ты был совсем глупый, самых простых вещей не понимал, тебя смешно было слушать...

Но Лиза так и не рассказала, как повернулось к нему ее сердце, когда она увидела его в госпитале после гибели Мариши. Тогда она сказала себе, что не оставит его ни за что.

Борис вставал в восемь часов утра и к девяти отправлялся на службу. Ежедневно с двенадцати до четырех он в качестве секретаря Клешнева принимал в Совете посетителей. К нему выстраивалась очередь, как за хлебом. На прием часто являлись люди с такими делами, которые совершенно его не касались, и ему не верили, когда он говорил:

— Это от меня не зависит.

Добравшись до него, каждый посетитель стремился

рассказать ему всю свою жизнь, чтобы получше обосновать ту или иную просьбу. Женщины, рассказывая ему свое дело, часто взглядывали на него, как Тереза в цукерне и дамочка в финском санатории. Борис старался быть вежливым: внимательно выслушивал каждого и обстоятельно отвечал. К нему стали приходить уже не по делу, а просто так — посоветоваться. Ему приходилось выслушивать немало чепухи. Вот сегодня, например, какой-то тайный советник явился с просьбой о восстановлении в чине. Он так и сказал:

— Вам это ничего не стоит сделать, а мне это очень важно.

Некий администратор требовал, чтобы имущество всех находящихся в районе музеев было роздано рабочим.

— Там картинки висят без дела и мебели много. Государству — одни убытки. А рабочие — хозяева жизни.

Балетная актриса принесла билет в театр и просила вернуть ей реквизированный сейф. Она сидела долго, и глаза ее откровенно соглашались на все, чего только пожелает Борис.

Клешнев проходил в свой кабинет как раз тогда, когда Борис говорил с актрисой. Он ненадолго задержался в приемной, прислушиваясь к разговору, а в конце дня позвал к себе Бориса.

— Ты что мне тут устраиваешь? — спросил он.

— Нельзя же гнать в шею, — возразил Борис. Он сразу понял, что́ имеет в виду Клешнев. — Эта актриса пришла за сейфом. Все равно она его не получит. Но надо, чтоб человек понял, почему, и не озлобился бы. Ведь люди часто многого не понимают.

— Когда дело доходит до сейфов, то тут непонимание становится особенно упорным, — мрачно сказал Клешнев.

Борис видел, что Клешнев чем-то расстроен.

Они помолчали.

— Раскрыт сволочной заговор, — негромко произнес Клешнев. — Завтра будет в газетах. Между прочим, одним из участников оказался наш старый знакомый, Григорий Жилкин. Объявился откуда-то с юга под чужой фамилией. — Он опять помолчал, похаживая по кабинету, потом остановился и так же негромко спросил Бориса: — Ведь ты еще до Октября порвал с ним?..

В обеденный перерыв Борис отправился на Конюшенную улицу, где когда-то жил с матерью, отцом и братом. В помещении ресторана «Медведь», одного из лучших ресторанов Петербурга, теперь была столовая, к которой прикрепили Бориса.

Он вошел в подъезд. В огромных залах — тишина, хотя людей много.

В молчании люди занимались самым важным делом в жизни: они ели.

Стояли в очереди за посудой. Потом в очереди за супом. Норовили съесть по две, а то и по три тарелки горохового супа. Кроме супа, на обед не полагалось ничего.

Борис, получив суп, сел за один из столиков. Он был в военной шинели и папахе. Отодвинув папаху на темя, он, склонившись над тарелкой, ел медленно, оглядываясь вокруг и останавливая взгляд то на одном, то на другом едоке.

К нему осторожно придвинулся мужчина в меховой шапке и без пальто, с деревянной ложкой в руке. Лицо у мужчины беспорядочно заросло жесткими густыми волосами. И казалось: все тело его, скрытое лохмотьями блузы и широченных штанов, должно быть тоже волосатое и грязное.

— Разрешите докушать, — очень вежливо попросил он Бориса.

Тот не понял. Волосатый мужчина произнес отчетливей:

— Разрешите докушать? У вас осталось...

— А! — отвечал Борис. — Пожалуйста, пожалуйста!

Мужчина торопливо схватил тарелку и стал есть, облизываясь и причмокивая. Он наслаждался. Потом он вздохнул удовлетворенно, поставил тарелку обратно на стол и промолвил:

— Большое вам благодарю.

Прибавил неожиданно:

— Молодцы большевики! Как людей держат!

А Борису вспомнилась вдруг цукерня, где некогда встретился он с Терезой. Где теперь Тереза? Наверно так же, как и раньше, подает кофе и шоколад в цукерне в Острове, Ломжинской губернии. Только Ломжинской губернии уже нет теперь, а Тереза, наверное, давно забыла о Борисе, случайном русском солдате.

Борис вышел из столовой и зашагал по знакомым улицам. Он шел по ним, как по коридорам своего родного дома. Он всей душой любил Петроград и с болью глядел на облупившиеся здания, на давно не зажигавшиеся фонари, на рельсы, отвыкшие от трамвайных колес, на развороченные мостовые... Борис с ненавистью вспомнил о Григории Жилкине. «А старик, — вдруг подумал он, — неужели же старик мог оказаться соучастником убийцы?»

Эта мысль не покидала его весь вечер. Сидя у себя за столом в приемной и разговаривая с посетителями, он не переставал думать о старике Жилкине.

Часам к девяти Борис пошел к Клешневу с докладом. Клешнев сидел, откинувшись на спинку стула, и о чем-то думал.

— А как старик Жилкин? — сразу спросил Борис.

— Я ждал, что ты меня об этом спросишь. — Клешнев усмехнулся. — Старик невиновен. Мне дали точную справку. Он давно порвал с сыном.

— Как он сейчас? — опять спросил Борис. — Я его давно не видел.

— Трудно живет старик, — отозвался Клешнев, — но как помочь? Делаем, что в наших силах. Голод ведь не из-за нас, а из-за таких сволочей, как его сын.

— Было бы очень тяжело, если б он тоже оказался в заговоре, — промолвил Борис.

— Тяжело? — задумчиво повторил Клешнев. — Я и сам беспокоился, пока не навел точные справки. Конечно, тяжело. — Голос его звучал глуховато. — Ну что у тебя там? — уже другим тоном сказал Клешнев, придвигаясь ближе к столу.

«Ему было бы очень тяжело», — подумал Борис, раскрывая свою папку и доставая оттуда бумаги.

XLIII

Клешнев явился к Жилкину на следующий день вечером. Дверь ему открыла Клара Андреевна. Как всегда в свободные от лекций часы, Жилкин лежал в кабинете, на кожаном диване. В руках у него был томик Чехова.

Увидев в дверях кабинета своего старого друга, энтограф поднял голову с подушки и сел. На лице его появилось настороженное выражение, словно он понял, почему Клешнев пришел к нему именно сегодня.

— Здравствуйте, — протягивая Жилкину руку, заговорил Клешнев. — Редко удается заглянуть к вам. Вы человек занятой, да и меня дела держат...

Жилкин тяжело поднялся с дивана.

— Садитесь, — предложил он.

Клешнев опустился на стул.

Жилкин некоторое время постоял молча, помигал глазами и вдруг, не говоря ни слова, пошел из кабинета.

Он сам не знал, куда и зачем идет. Клешнев понял, что происходит у него в душе, и ему стало жаль старика.

В столовой Жилкин столкнулся с Кларой Андреевной, опять растерянно помигал глазами и сообщил:

— Там у меня Клешнев. Чаю, может быть...

— Этот Клешнев! — возмущенно воскликнула Клара Андреевна и направилась в кухню. — Этот Клешнев! — повторила она.

Жилкин вернулся в кабинет.

— Сейчас будет чай, — сказал он.

— Спасибо, мне чаю не хочется.

Жилкин не обратил на эти слова никакого внимания.

— Давно мы с вами не играли в шахматы, — опять заговорил Клешнев.

Жилкин развел руками, слегка приподняв широкие плечи, — знакомый Клешневу жест, относившийся, однако, явно не к словам Клешнева, а к тому, о чем думал сам Жилкин.

Клара Андреевна кипятила воду на примусе и вдруг сообразила, что Клешнев должен знать все о Борисе. Она заторопилась в кабинет, вошла и, не поздоровавшись, обратилась к Клешневу:

— Скажите, где Борис? Я его мать. Вы работаете с Борисом? Вы его знаете?

— Как же, знаю.

Клара Андреевна, вытягивая пенсне из-за спины, чтобы хорошенько разглядеть Клешнева, спрашивала:

— Он жив? Он здоров? Ради бога, где он?

— Он тут, в Петрограде, — отвечал Клешнев.

Клара Андреевна всплеснула руками и заплакала.

— Боренька! Он тут! И не знает, что мать ночей не спит, думает о нем! Вернулся!

Клешнев дал ей свой домашний адрес: Борис жил у него.

«Так вот она теперь какая», — думал он, с любопытством разглядывая Клару Андреевну, которую узнал не сразу. Старое нехорошее воспоминание вновь воскресло в нем.

— Я ему скажу, и он зайдет к вам, — отворачиваясь, сказал Клешнев.

— Господи! Боренька! — воскликнула Клара Андреевна и быстрыми шагами вышла из комнаты, чтобы сообщить Юрию о радостной новости. — Юрик! Боренька тут! Тебе солгали, что он уехал!

Клешнев снова остался наедине с Жилкиным.

— К вам, Дмитрий Федорович, есть одна просьба, — начал он. — Матросы очень довольны вашими лекциями. Теперь милиционеры просят, чтобы вы нашли время и для них. — Он очень осторожно добавил: — Кстати, это будет отдельный паек, сверх того, что в Балтфлоте...

Жилкин перебил:

— Нет, мне не нужно... Вы же знаете... Почему вы не скажете сразу?.. Вы же из-за этого и пришли... — Он взглянул в лицо Клешнева так, словно только сейчас увидел его. — Вы, конечно, знаете... и мне все сообщили... Но как же? Как же это?.. Конечно, он в заговоре, тут ничего нельзя сделать, конечно, конечно, я понимаю... Но как же он мог?.. Как он мог?..

Жилкин крутил пальцами единственную пуговицу на пиджаке.

— Дмитрий Федорович, — твердо проговорил Клешнев, — вам нужно найти в себе силы...

— Прощайте, прощайте, — не слушая его, говорил Жилкин, — что вам говорить со стариком! Я буду читать лекции, не надо меня утешать, я все понимаю... И матросам буду, и милиции, если меня примут. Не утешайте, не надо, он сам себя... сам себя осудил...

Клешнев уходил с тяжелым чувством. Ему казалось, что он видится со стариком в последний раз. Жилкина, видимо, глубоко потрясла история с сыном. Невыразимая злоба к Григорию снова поднялась в душе Клешнева.

В дверях он столкнулся с Кларой Андреевной, которая несла на подносе два стакана чаю. Два куска сахару и два ломтика черного хлеба лежали на тарелочке.

— Этого! — возмущенно воскликнула Клара Андреевна, чуть не выронив из рук подноса.

Клешнев дал ей дорогу.

Клара Андреевна поставила поднос на письменный стол и закричала:

— Куда вы? А чай? Я сейчас ситный принесу. — Но Клешнев уже ушел. — Что это он? — не поняла Клара Андреевна. — Этот Клешнев!

Жилкин заплакал. Теперь это часто с ним случалось. Клара Андреевна, опустившись в кресло, тоже охотно заплакала. Потом она придвинула этнографу стакан, другой стакан поставила перед собой, и они стали пить чай.

— Со стариком плохо, — сказал Клешнев Лизе, добравшись поздно вечером к себе на Суворовский. — Жена умерла, Нади нет, старик совсем один... — Он взглянул на Бориса и продолжал: — Должен сообщить тебе, что приехали твоя мать и брат. Они живут у Жилкина. — Он пошагал по комнате и проговорил, хмурясь: — Да, со стариком плохо. Очень сильно ударило его... Все-таки сын... — И, остановившись, он воскликнул с ненавистью: — Какая сволочь! Убил! Прямо убил старика!

XLIV

К вечеру, поднявшись по лестнице, Борис увидел на площадке мать. Он не сразу узнал эту маленькую старушку.

Клара Андреевна жалко улыбалась, открывая редкие зубы:

— Боренька, я уже три часа жду тебя...

— Я был на службе.

Борис открыл дверь.

— Ты мне совсем не рад, — говорила мать. — Как ты можешь так не любить родных! Юрочка отказался идти к тебе. Он оскорблен твоим отношением, и совершенно прав.

— Я очень рад тебе, — отвечал Борис и, нагнувшись, поцеловал мать (он был теперь на голову выше ее).

Клара Андреевна сняла пальто, кинула его на спинку стула и пошла в комнаты. Борис привел ее к себе. Клара Андреевна опустилась на кровать.

— Как мы живем, — говорила она. — Мы ужасно живем. Голодаем. А Юрий — тот прямо совсем истощен. Он служит и кончает университет. Профессора в восторге, но если бы ему больше здоровья! И как я уговаривала его не возвращаться, оставаться в Харькове, — нет, поехал, и я, старуха, за ним притащилась. — Она, по обыкновению, путала все на свете. — Ты должен любить своих родных, — продолжала она. — Мне Клешнев все о тебе рассказал: как ты хорошо устроился и сыт. Ты теперь важная персона.

Борис молчал. Она улыбнулась, гордясь своим сыном; порылась в карманах кофты и вынула смятую бумажку.

— Я записала все, что ты должен сделать, и как можно скорее, — продолжала Клара Андреевна. — Может быть, мы сейчас с тобой и отправимся. Где же?.. Господи, я забыла дома пенсне!

На этот раз она действительно забыла пенсне.

— Я сам прочту, — сказал Борис и взял бумажку.

Записка была такая:

«Устроить что-нибудь Юрочке, а то он с ног валится, вернуть с Конюшенной наши вещи (следовал длинный и подробный список всех вещей),

Грише разрешить вернуться к отцу, он достаточно поработал на пролетариат и имеет право,

устроить мне службу, специальность — педагогика или медицина»,

Знаки препинания были расставлены как попало. Записка оканчивалась запятой. Очевидно, Клара Андреевна предполагала еще о чем-то просить, но потом забыла. Все это было очень похоже на ту чепуху, которую так часто приходилось выслушивать Борису на приеме.

Выпрямившись, готовая к немедленным возражениям, Клара Андреевна глядела на сына. Борис заговорил возможно мягче:

— Вещи были проданы...

— Это говоришь ты! — возмутилась, перебивая его, Клара Андреевна. — И после этого ты большевик! Мы продали вещи спекулянту, зубному врачу. Я там была, и уж я знаю. Смешно говорить о продаже, когда революция! Все эти сделки отменены, а вещи принадлежат нам. Ты просто не хочешь — так и скажи. Ты всегда не любил свою мать. Ничего! Родной сын не поможет — чужие помогут!

Борис стал подробно и терпеливо объяснять существо дела. Клара Андреевна слушала с нарочитым спокойствием, изредка кивая головой. Когда Борис кончил, она повторила:

— Ты просто не хочешь. Теперь я вижу, как ты любишь свою мать. Хорошо, — продолжала она, — мне ничего от тебя не нужно. Но Жилкиным ты достаточно обязан. Для них ты должен все сделать. Гришу надо спасти.

— Ты не понимаешь, — угрюмо сказал Борис.

Клара Андреевна принялась искать пенсне. Но, вспомнив, что пенсне осталось дома, прекратила напрасные поиски. Потрясенная жестокосердием сына, она не находила слов.

— Боренька,— заговорила она наконец.— Господи, во что ты без меня превратился!

Она заплакала.

Борис молчал. Он понимал, что говорить бесполезно.

— Родной сын не хочет— чужие люди помогут, — трагически сказала Клара Андреевна, оборвав слезы. — Я сама поговорю с Клешневым. Безобразие! Люди использовали Жилкиных, жили на их счет и теперь мучают!

Воспоминание о деньгах, которые он остался должен Наде, резнуло Бориса.

— Я сама поговорю с Клешневым, — повторила Клара Андреевна, удобнее усаживаясь на кровати.

Глядя на нее, Борис думал о том, что мать, которая не видела его столько лет, не задала ему ни одного вопроса о нем самом. Зачем ей знать, что у него погиб

самый близкий человек — Мариша? Зачем ей знать, что он и сам чуть не умер? Ей гораздо спокойнее считать, что он «хорошо устроился и сыт».

Заслышав шаги Клешнева, Клара Андреевна засуетилась, поднялась с кровати, оправила юбку и кофту и пошла из комнаты. Борис двинулся вслед за ней.

— Здравствуйте! — сказала Клара Андреевна.

Клешнев вежливо взглянул на нее и поздоровался.

— Боренька посоветовал мне обратиться к вам, — начала она. Этого Борис никак не ожидал. Он хотел возразить, но Клара Андреевна уничтожающе взглянула на него и продолжала: — Я хочу вас поблагодарить за Борю, за все, что вы для него сделали. Я думаю, что вам-то по крайней мере он отплачивает любовью за вашу доброту и заботы. — Борис отвернулся и глядел в окно, терпеливо поджидая, когда кончится эта нестерпимая сцена. — А вот для родных, которые всем для него жертвуют, он палец о палец не ударит, — продолжала Клара Андреевна. — Он отказался помочь, и я сама к вам обращаюсь.

— В чем дело? — спокойно, но резко спросил Клешнев.

— У меня все записано на бумажке.

Клара Андреевна снова стала искать забытое дома пенсне.

— Дайте, я прочту.

— Нет, сначала я вам все скажу, я сначала скажу. — И Клара Андреевна заговорила внушительно: — Вы, молодежь, больше думаете о себе, чем мы, старые люди. Вот и Боря — устроился, сыт, счастлив, а о родных и мысли нету. Только о себе. А мой муж за таких, как вы, был на каторге, потерял здоровье, силы, умер...

— Ваш муж был политкаторжанин? — спросил Клешнев.

Это несколько обескуражило Клару Андреевну. Она предпочитала избегать таких чересчур официальных и точных слов.

— Он страдал за вас, за народ, — продолжала она, — он еще в институте...

Но Клешнев перебил спокойно:

— Вы начали о каком-то деле...

Клара Андреевна строго взглянула на него:

— Заслуги моего мужа всем известны. А теперь все

его имущество, приобретенное страданиями целой жизни, взято каким-то спекулянтом, зубным врачом. Я требую, чтобы мне вернули эти вещи. Кажется, я имею на это право.

— Вы получили деньги за эти вещи? — осведомился Клешнев. — Вы, наверное, продали их перед отъездом?

— Деньги в революцию! — возмутилась Клара Андреевна. — Нет, мы, старые люди, так не рассуждаем. Я уже объяснила Боре.

— Понятно, — усмехнувшись, проговорил Клешнев. Он с интересом поглядел на Бориса, словно желая удостовериться, что тот действительно сын этой женщины. — Вы хотите и деньги и вещи. Но это, пожалуй, слишком, если учесть даже заслуги вашего мужа! Подумайте.

Он так произнес слово «заслуги», что Клара Андреевна невольно насторожилась, почуяв недоброе.Она растерянно комкала свою записку, не решаясь передать ее Клешневу. Что-то в тоне Клешнева испугало ее. Вдруг она повернулась и пошла прочь, даже не попрощавшись.

Клешнев жестом предложил Борису проводить ее, но Борис и сам уже взял мать под руку. Добравшись до комнаты Бориса, Клара Андреевна опустилась на кровать и заплакала. Плач понемногу переходил в истерику.

— Мама, не надо, — строго сказал Борис, прошел в прихожую и принес пальто. — В другой раз ты должна мне верить.

Он действовал так решительно, что Клара Андреевна затихла. Борис повел ее домой.

Это было длинное и трудное путешествие. Клара Андреевна останавливалась на каждом шагу и плакала. Было уже совсем темно, когда Борис довел вконец измученную мать до дому. Он сдал ее на руки Юрию, который поздоровался с Борисом как чужой и не пригласил его войти. Жилкин уже спал.

Борис постоял в темной прихожей. Стоны Клары Андреевны удалялись. Громко хлопнув дверью, чтобы услышали и заперли на крюк, Борис вышел на улицу. Он шел быстро. Квартира Жилкиных напомнила ему многое. Вот трамвайная остановка, на которой его сняла военно-полицейская команда, когда он ехал в «Сатурн» с Надей. А вот тут ждала Надя и заплакала, остановив его. Где теперь Надя?

— Товарищ Жилкин дорог сердцу матроса. Он пришел к нам сеять разумное...

Матрос говорил недолго и закончил так:

— Твое пролетарское сердце билось в одно с нашим. Наши лозунги были твоими лозунгами. Ты умер, но мы понесем твое знамя высоко.

Борис слушал матроса и думал о том, как удивился бы этой речи сам покойный этнограф. Думал Борис и о том, что в доме Жилкина он все же многому научился, что у Жилкина он встретился с Клешневым. Николай Жуков вспомнился ему, и вдруг он явственно увидел на снегу распахнутый тулуп, серую ушанку, удивленное лицо... Когда он шел с кладбища, ему было так горько, что он боялся заплакать.

К нему подошел Юрий и сказал:

— Мама хочет, чтобы ты зашел к нам, но ты, конечно, не снизойдешь. Ты слишком важная персона. И я, признаться, не настаиваю...

Борис даже не ответил, — в таком чудовищном противоречии были слова Юрия с тем, что Борис испытывал сейчас.

XLV

Клара Андреевна приняла от дворника письмо, адресованное «Дмитрию Федоровичу Жилкину для Бориса Ивановича Лаврова», тихо прошла в комнату, надела пенсне и поглядела на штемпель. Ей и в голову не приходило, что чужих писем читать нельзя. Это было письмо к ее сыну, а у детей не могло быть тайн от матери.

Клара Андреевна читала с увлечением, потом заплакала, сняла пенсне, снова надела, задумалась. Письмо было от Нади. Надя писала Борису о том, что никак не может разлюбить его. Она нарочно оставила семью и родной город, завалила себя работой, но ничего не помогало. Она просила Бориса ответить ей хоть в нескольких словах, ну хоть что-нибудь, — только, пожалуйста, поскорее. В письме к отцу, вложенном в тот же конверт, Надя просила простить за долгое молчание и умоляла найти Бориса и передать письмо. Она не знала в своей Вологде, что отец уже умер.

Клара Андреевна умиленно улыбалась: она была растрогана. Ей лестно было, что ее сына так любят. Она решила, что сам бог дал ей в руки это письмо, чтобы она могла устроить счастье сына. И она устроит, она сделает сына счастливым. Ей уже представлялось раскаяние Бориса (в чем раскаяние — неизвестно, но раскаяние было обязательно), потом общие слезы и мирная жизнь с обоими сыновьями и их женами (Клара Андреевна в воображении попутно женила и Юрия). Растроганная мечтами о прекрасном будущем, Клара Андреевна немедленно же собралась в дорогу. Было пять часов дня, когда она постучалась к Борису.

Клешнев вышел к ней и сообщил:

— Бориса сейчас нет дома. Он будет часа через два и сразу пойдет к вам, я его пошлю.

— Так я вас обрадую.

И Клара Андреевна направилась в комнаты так, как будто это была ее квартира. Клешнев, хмурясь, шел следом.

— Прочтите это письмо, — обратилась к нему Клара Андреевна. — Прочтите! До чего она любит Бореньку!

Клешнев взял Надино письмо, проглядел первые строки и вернул Кларе Андреевне.

— Это личное дело Бориса, — сказал он. — Никто не должен вмешиваться, и вообще я не привык читать чужие письма.

Он очень устал и надеялся немного отдохнуть, — ему предстоял еще целый вечер разъездов. Голова его была занята предстоящими делами.

— Но ведь вам Борис вроде сына, — говорила Клара Андреевна. — Вам должно быть приятно это письмо.

«Почему я должен выслушивать бред выжившей из ума старухи?» — думал Клешнев.

— Простите, — сказал он, — я сейчас очень занят... Вы извините меня, если...

Тут он сообразил, что Лизы нет дома, что сдать Клару Андреевну не на кого, и замолк, нетерпеливо поглядывая на гостью.

— Товарищ Клешнев, — заговорила Клара Андреевна, надевая пенсне. — В наше время к людям и человеческим чувствам так не принято было относиться. Мы больше интересовались другими и поступали иначе. Мой муж, когда вы еще в пеленках были, страдал за...

Она говорила очень солидно: уж очень ее возмутило равнодушие Клешнева. Клешнев вежливо перебил ее:

— Я знал вашего мужа. Вы знаете, что мы с вами уже встречались?

Клара Андреевна мгновенно забыла о своем возмущении. Улыбаясь, она качала головой. Ей представилось, что Клешнев, может быть, был в нее некогда влюблен, ухаживал, — вот интересно!

— Но у меня столько было... — начала она.

— Да, встречались, — говорил Клешнев. — Вы меня выгнали из квартиры.

— Ну? — удивилась Клара Андреевна. (Теперь она уж была уверена, что Клешнев ее давний поклонник. Но как долго живет ревность в этом человеке! Все-таки рабочие — настоящие, хоть и наивные люди: уж если полюбят, так навсегда.) — Я очень любила своего мужа, — сказала она, — поэтому я...

— Я знаю, — снова вежливо и спокойно перебил ее Клешнев. — Я был с вашим мужем в одном кружке. Он единственный не был арестован.

Пока он говорил, Клара Андреевна снова мгновенно переменилась. Она скинула пенсне, надела, опять скинула и закричала:

— Я спасла его! Я просто пошла к губернатору. Я ему запретила участвовать во всем этом. У него на такую жизнь никакого здоровья не хватило бы. Он никого не выдал!

— Это известно, — согласился Клешнев. — Ваш муж не был провокатором, но он был трусом. После ссылки я пошел к нему, а вы, — вы, наверное, забыли, а я до сих пор помню! — вы мне сказали: «Мой муж с хамами и каторжниками дела не имеет!» — и захлопнули передо мной дверь. Я очень голодал и, признаться, рассчитывал, что вы меня покормите. Поведение вашего мужа известно и Борису. Разговоры о каких-то там заслугах вы должны оставить раз и навсегда.

Притихшая Клара Андреевна суетливо застегивала пальто. В ее движениях появилась даже некоторая расторопность. Она выскочила за дверь, быстро спустилась вниз по лестнице и только в подъезде остановилась, чтобы перевести дух. Затем торопливо пошла прочь, тихо приговаривая:

— Никогда не будь таким плохим, неблагодарным сыном, как Борис.

Надино письмо было выметено дворником с лестницы и вместе с остальным мусором брошено в помойку. Но Клара Андреевна очень быстро забыла о том, что письмо потеряно. Уж через день ей всерьез начало казаться, что она передала его сыну. Конечно, передала. Она даже припоминала очень трогательный разговор, который при этом произошел у нее с Борисом.

XLVI

Прямо с вокзала Надя направилась к отцу. Она приехала из Вологды по командировке.

Клара Андреевна сначала не узнала ее, а потом обрадовалась и засуетилась. Надин приезд был для нее уже явным доказательством того, что злополучное письмо дошло до Бориса. Боря прочел письмо, послушал совета матери, ответил Наде, и теперь Надя приехала. Все было просто и логично.

— Мне Боренька так много о вас говорил! — восклицала Клара Андреевна, совершенно уверенная в том, что говорит правду. — Он был так тронут вашим письмом! Снимайте шубку, сейчас я вам ситного, чаю...

Надя спросила:

— Он получил мое письмо?

— Как же, как же, — говорила Клара Андреевна, не слушая, о чем ее спрашивают. — Он так надеялся на ваш приезд. Теперь вы увидите его. Юрочки дома нет. Это Борин брат, тоже очень красивый и умный. — Она оглядела Надю и улыбнулась растроганно. — Вы должны подарить мне девочку.

— Какую девочку? — не поняла Надя.

Клара Андреевна, надев пенсне, заспорила:

— Ну да, девочку! А вы хотите мальчика? Напрасно. Мальчик пойдет на войну. Мальчик причинит вам массу хлопот. Поверьте моему опыту и рожайте девочку во что бы то ни стало. Постарайтесь, чтобы не было мальчика.

— Но я не замужем, — возразила Надя.

— Тем более, — горячилась Клара Андреевна. — Это надо решить заранее. Вы же выходите за Бореньку?

Надя покраснела и ничего не ответила. Она слегка растерялась. Впервые видела она такую странную женщину.

А Клара Андреевна продолжала:

— И вы ему скажите, что я хочу девочку. Он меня слушается, и еще ни разу не было, чтобы он сделал что-нибудь без моего совета. Вы скажите ему, что я мальчика не хочу.

Она вынула из буфета хлеб, положила на стол и пошла в кухню готовить чай. За чаем Надя спросила:

— Папы нет дома?

— Да, — отвечала Клара Андреевна. — То есть Жилкин умер.

Она забыла в тот момент, что говорит с дочерью Жилкина. Эта девушка была для нее прежде всего невестой сына.

Надя тихо приняла известие о смерти отца: не заплакала и ничего не сказала. А Клара Андреевна ни о чем не могла думать и говорить, кроме как о предстоящей женитьбе. Ей мучительно хотелось внучку. И она охотно взялась бы сама как-нибудь помочь этому делу. Она боялась, что эта девушка — слишком тихая, пугливая и у нее с Борисом ничего не выйдет.

Надя решилась, наконец, возразить:

— Мне Боря ничего не ответил. И... я не знаю, поженимся ли мы. И потом — девочка или мальчик — это же от родителей не зависит.

— Как не зависит? — возмутилась Клара Андреевна. Она скинула пенсне и сказала, несколько растерявшись: — Вот вы всегда так.

Надя была рада избавиться, наконец, от этой неугомонной женщины. В первый день она исполнила все дела по командировке. На второй день она отправилась к дому, где жил Клешнев, и долго поджидала там Бориса. Когда он, наконец, появился, она пошла следом, не решаясь его окликнуть.

Только в эти минуты ей стало ясно, что она выхлопотала командировку для того, чтобы увидеть Бориса. А Борис так и не ответил тогда на ее письмо. Это не могло быть случайностью. Первое его движение, первое слово покажет, как он отнесется к ее письму. Она хотела

и боялась вызвать его на это первое слово. Наконец решилась и тронула Бориса за локоть.

Борис сразу узнал Надю. Не сдержавшись, он поцеловал ее в обе щеки. Он был действительно очень рад увидеть ее. И Наде сразу все вокруг показалось прекрасным. Она с нетерпением ждала, когда же Борис заговорит о самом главном. Но Борис оглядывал ее, расспрашивал, смеялся, а о письме не говорил ни слова. Он думал о том, что Надя — единственный человек из прошлого, который мог бы и теперь быть его другом и товарищем. И Жилкин перед смертью произнес имя Нади, как бы поручая ее Борису.

Надя мучительно хотела навести Бориса на разговор о письме, но ничего не могла сообразить. Она нервничала.

Борис решительно не мог понять, почему Надя вдруг помрачнела. Она то замедляла, то ускоряла шаг, невпопад отвечала на его вопросы.

Разговор иссякал. Чтобы хоть как-нибудь поддержать его, Борис стал вспоминать старое, заговорил о финском санатории.

И вдруг хлопнул себя по лбу:

— Да ведь я совсем забыл! Прости меня, Надя.

Надя оживилась. Неужели, наконец, он вспомнил о письме?

— Я ведь тебе должен уйму денег! — воскликнул Борис. — Ты не помнишь, сколько?

Надя даже задохнулась: этого только не хватало! Ей стало жалко себя. До слез жалко. Теперь все ясно: этот человек нарочно изобразил радость и оживление при встрече. Он нарочно хотел замолчать ее письмо. Хорошо, что она первая не заговорила об этой своей глупости. Она поставила бы себя в самое унизительное положение и все равно ничего бы не достигла.

Надя боялась, что не выдержит и скажет все начистоту. Надо скорей распрощаться и разойтись. Она остановилась.

— Я очень рада, что увиделась с тобой, — сказала она. — Мне сегодня вечером обратно в Вологду. Ты меня не провожай. Я скоро снова приеду, тогда зайду к тебе. До свидания!

— Но ты на меня сердишься?

— Да с чего ты взял?

Чтобы кончить разговор, она поцеловала Бориса на прощанье и быстро пошла прочь. «Еще не поздно вернуться и сказать все начистоту, — подумала она. — Еще не поздно. Но зачем? Ответ Бориса и без того ясен».

Она оглянулась в тайной надежде, что Борис сжалился наконец, понял ее и теперь тихо следует за ней. Но Бориса нигде не было видно. Должно быть, он радовался, что так легко отделался от навязчивой девчонки!

Надя тихо пошла дальше. Как глупо! Другие люди гибнут в борьбе за высокие идеи, а она страдает черт знает от чего — от ерунды, от любви!

А Борис был огорчен. Он искренне обрадовался Наде. Почему она себя так странно вела? Ему не надо было ее отпускать.

Вернувшись, Надя сказала Кларе Андреевне:

— Все благополучно. Я поеду в Вологду, разделаюсь с делами, вернусь, и мы поженимся. Я вам напишу о своем приезде заранее.

И в тот же день распрощалась с ней.

Только в поезде Надя вдруг подумала: «А что если эта сумасшедшая женщина напутала и Борис не получил письма?»

Но тут же она отогнала от себя эту мысль. Надя привыкла к своей матери, которая всегда отличалась чрезвычайной аккуратностью.

Через неделю Клара Андреевна получила письмо. Увидев штемпель «Вологда», она обрадованно вскрыла конверт.

Удобно усевшись у окна, Клара Андреевна надела пенсне и стала читать. Она с такой ясностью заранее представляла себе содержание письма, что не сразу поняла значение первых же строчек. Поняв, она попыталась оттолкнуть их от себя. Но это было невозможно. Смысл письма был убийственно ясен.

Вот что писала Надя:

«Милая Клара Андреевна, большое спасибо вам за ласковый прием. Мое свидание с Борисом кончилось не так, как я вам сказала. Ни вы, ни он ничего больше обо мне не услышите. Прощайте».

Почерк у Нади был мелкий, но очень четкий.

Клара Андреевна дочитала Надино письмо и оста-

лась тихо сидеть на стуле. Потом встала, чтобы немедленно как-то исправить все это, изменить, устроить. Но как? Ведь в письме ясно сказано: «больше обо мне не услышите». Ехать в Вологду? А вдруг окажется, что Надя повесилась? Кто будет виноват? Уж не Клара ли Андреевна, потерявшая ее письмо? Нет, нет, ничего не надо устраивать и исправлять.

— Этот Клешнев! — бормотала она и, не выпуская письма из рук, тихо, как убийца, пошла в столовую. Она долго искала поднос, нашла, поставила на него подсвечник со свечой, взяла с буфета спички и зажгла свечу. Потом стала рыться в карманах кофты, ища пенсне. Пенсне не было.

— Этот Клешнев! — бормотала Клара Андреевна. Ей казалось, что Клешнев виноват решительно во всем. Она шагнула к буфету, и что-то хрустнуло под ее ногой. Это было пенсне, упавшее, когда она искала поднос. Клара Андреевна заплакала. Без пенсне, щуря глаза, она поднесла Надино письмо к огню. Письмо вспыхнуло.

Клара Андреевна выпустила горящую бумажку только тогда, когда огонь обжег ей пальцы. Она задула свечу и осталась сидеть перед подносом.

Клара Андреевна ни на что больше не надеялась и ничего не ждала от будущего, кроме смерти. Она видела с полной ясностью, что все, чем она жила, что создало и поддерживало ее, кончилось навсегда.

XLVII

Работая в районном Совете, Борис ежедневно встречался с десятками самых разных людей. С каждым днем у него появлялись все новые и новые друзья. Это были люди с заводов и фабрик, обращавшиеся к нему за помощью. Предприятия района одно за другим вступали в строй. Каждую неделю Борис организовывал субботники по очистке заводских территорий от мусора и снега. После того как он удачно провел один из таких субботников, за ним установилась прочная репутация хорошего организатора.

На этот раз группа работников Совета во главе с Борисом расчищала двор большого завода, расположенного

по берегу Невы. Заводские цехи вместе со складами, силовой станцией, пожарным сараем, гаражом, проходной конторой и прочими помещениями образовали целый городок, окруженный высокой каменной оградой. Улицы этого городка, на которых затейливо перекрещивались пути заводской узкоколейки, были сплошь занесены снегом.

Вооружившись лопатами и кирками, люди долбили мерзлый снег, грузили его на большие листы фанеры, тянули к Неве и сбрасывали на лед. Работа была не из легких, но Борис умел так расставить людей и распределить между ними обязанности, что никто не мешал друг другу и дело заметно двигалось вперед.

Сам Борис трудился наравне с остальными. Он с ожесточением долбил киркой смерзшийся снежный пласт, когда к нему, слегка прихрамывая, подошел высокий худощавый человек в шинели и папахе:

— Узнаешь?

— Малинин!

Это был комиссар того отряда, которым Борис командовал под Псковом.

На фронте Малинин и Борис всегда обращались друг к другу на «вы», но сейчас им казалось, что они, конечно, всю жизнь были на «ты», — с такой силой вспыхнуло в них обоих воспоминание о последнем совместном бое. Борис вспомнил распахнутый полушубок, ушанку, свалившуюся со стриженой головы, серые удивленные глаза и едва удержался от слез.

— Ну, ну, — сказал Малинин таким же, как тогда, нежным и одновременно строгим голосом. — Вот и свиделись. А я только вчера прибыл. По ранению. Видишь, хромаю немножко... Гляжу — неужто Лавров? Командир!.. — Они опять обнялись. — Задал ты нам тогда тревоги. Да потом узнали, что жив, работаешь...

Он толкнул Бориса в грудь, словно испытывая, крепко ли стоит на ногах его бывший командир.

С радостной улыбкой глядя на худощавую фигуру Малинина, Борис вспомнил свой старый разговор с Клешневым.

Клешнев спросил у него, с кем из товарищей по роте он особенно сдружился. Тогда Борис не сумел ответить на этот вопрос...

— Я здесь токарем работал, — продолжал между тем Малинин. — Хозяином был один толстосум. Ну и сволочь! Драпанул с двумя своими сынами. А теперь мы с тобой тут хозяева, командир! Вместе отстояли, вместе и работать будем! — И он, взяв Бориса за плечи, с силой потряс его.

Прямо с завода Борис повел Малинина к себе. Они шли по узенькой набережной. Ледяная белизна Невы подступала здесь чуть ли не к самой трамвайной колее. Тротуар жался к простой деревянной ограде над крутым невысоким скатом.

По набережной промчался широкозадый тяжелый грузовик с хлебозавода. В открытых ящиках покачивались коричневые буханки. Вслед за ним прогромыхал еще один грузовик. Широкие веера соломы торчали у него из кузова.

— Скоро вся наша земля очистится от врагов, — говорил Малинин.—Вернутся ребята с фронтов, и такая жизнь пойдет... — Он взмахнул рукой. — Помирать не надо!..

Клешневы были дома.

— Очень, очень рад, — сказал Малинин, пожимая Клешневу руку и вглядываясь в него пристальными добрыми глазами. — Давно хотел познакомиться. А командир все такой же горячий, — показал он на Бориса. — С киркой управляется, куда там...

— Кто? Борис?

Клешнев с интересом посмотрел на Бориса.

— Горяч, очень горяч, — убежденно говорил Малинин. — Я его и в боях видал. Не удержишь. Первым всегда в атаке. Деньки были!.. — Он покачал головой. — Я тогда под его командой, можно сказать, боевое крещение принял...

В голосе его послышалось уваженье, и Борис вдруг понял, что в те дни он, Борис, казался Малинину опытным, обстрелянным командиром, на которого нужно было равняться в бою... Неужели это в самом деле было так?

— Ого! — воскликнул Малинин, увидев на столе у Бориса книги по технике. — Обучаешься? — Он прочитал несколько названий. — Да ведь это на инженера, — с уважением промолвил он. — Инженером будешь?

— Буду ли — не знаю, да хотелось бы, — с улыбкой ответил Борис.

— Легко дается?

— Я всегда любил математику.

— Ну, это хорошо. Это я одобряю. Пойду к тебе в цех, под твою команду.

Малинин, казалось, готов был хоть сейчас снова связать свою судьбу с судьбой Бориса.

— А вы питерский? — спросила Лиза.

Малинин весело взглянул на нее, на Клешнева, словно и они были его старыми друзьями.

— Питерский, — отозвался он, улыбаясь и поглядывая на Клешнева, на Лизу, на Бориса. — Значит, вместе будем, в одном цехе, — сказал он Борису. — Это ты хорошо придумал — быть инженером.

— Фома Григорьевич посоветовал.

Малинин кивнул головой:

— О вас, Фома Григорьевич, мне много раз приходилось слышать. Каширина помните? От него я про вас много узнал. — Малинин помолчал. — Погиб Каширин. Рядом дрались. Погиб. — Он опять помолчал. — Ну, да теперь будет время обо всем рассказать. Теперь все время — наше...

— Что ж это я, — вдруг спохватилась Лиза, — все слушаю да слушаю, а кто же вас кормить будет? — Она улыбнулась и вышла из комнаты.

Следом за ней вышел и Клешнев.

Малинин взглянул на Бориса и не столько спросил, сколько сказал утвердительно:

— Ты сейчас партийный.

— Нет, — ответил Борис, — но я заявление подал...

Возвращаясь как-то домой вместе с Борисом, Клешнев спросил его: «Почему ты в партию не подаешь?»

Борис ответил ему с той откровенностью, которая стала обычной в разговорах между ними. Это был в сущности не столько ответ, сколько подробный и честный рассказ обо всех ошибках его жизни. А вдруг он и впредь допустит какую-нибудь ошибку?

«Ошибешься — поправим, — заметил Клешнев. — Но, конечно, смотри сам».

И тогда Борис осмелел:

«Вы меня знаете, Фома Григорьевич. Вы бы дали мне рекомендацию?»

«Дал бы», — спокойно ответил Клешнев.

Выслушав Бориса, Малинин крепко пожал ему руку и обнял его.

— В добрый путь, — сказал он, и в голосе его снова послышалось знакомое Борису нежное и вместе с тем строгое выражение.

Когда он ушел, Клешнев сказал:

— Славный парень! — Затем помолчал, шагая по комнате и поглядывая на Бориса так, словно перед ним стоял не Борис, а какой-то другой человек. — Уважает тебя. Видел в бою и уважает. — Клешнев остановился, все так же глядя на Бориса. — Да и я тебя тоже видел. В Октябрьские дни видел. С Николаем Жуковым.

Он очень медленно выговаривал слова, и было в его голосе нечто такое, что шло от самого сердца и глубоко тронуло Бориса. Это была почти нежность, словно Клешнев только что восстановил в памяти всю жизнь этого молодого человека, заново оценил ее и одобрил.

Вдруг он спросил:

— А что тебе Надя писала?

— Ни одного письма от нее не было.

— Как так? С месяц назад было.

— Нет, я не получал.

— Странно, — удивился Клешнев. — Твоя мать приносила мне это письмо. Я читать не стал, но она говорила... — Он нахмурился, вспомнив свою последнюю встречу с Кларой Андреевной. Потом усмехнулся: — Боюсь, что твоя мать и на этот раз сумела тебя запутать.

— Надя приезжала... — начал Борис и вдруг замолчал. Только сейчас он понял, что Надя приехала тогда вслед за своим письмом, в котором она, может быть, писала ему нечто важное для них обоих... — Как бы мне узнать ее адрес? — добавил он и озабоченно посмотрел на Клешнева.

— Это в нашей власти, — улыбнувшись, отозвался Клешнев.

Глядя на Бориса, он думал о судьбе этого молодого человека, все-таки сумевшего выйти на единственно верный путь.

И Клешнев испытывал гордость при мысли о том, что он принадлежит к той великой армии, которая преобразует жизнь и людей.

XLVIII

Солнечным морозным утром Борис встретил Надю на вокзале. Опустив на перрон вещевой мешок, она стояла около одного из вагонов с маленьким саквояжиком в руках.

Надя сразу заговорила о том, что ей не хочется ехать на старую квартиру и что она решила остановиться у подруги на Васильевском острове. Борис подхватил ее вещевой мешок, они вышли на площадь перед вокзалом и долго говорили о том, как лучше добраться до Васильевского острова и где оставить вещи, если комната подруги окажется на замке. Ни о пропавшем письме Нади, ни о том письме, которое Борис написал ей после разговора с Клешневым, они даже не вспоминали.

Шагая рядом с Надей по Невскому, Борис то и дело поглядывал на нее. Она мало изменилась и все-таки казалась Борису какой-то новой, другой, совсем не похожей на прежнюю Надю.

Так они добрались до Дворцового моста и, спустившись на лед, направились к университету. Снежный речной простор окружал их.

В ослепительном сплаве льда и солнца дышалось особенно легко и радостно.

— Тебе не странно вспоминать себя в прошлом? — спросил Борис. — Мне очень странно. Иногда просто не верится, что я мог не понимать самых простых вещей.

Надя подумала.

— Жизнь изменилась, — сказала она. — Теперь понимать легче, чем когда ты был в казармах.

— Но жизнь изменилась не сама, — возразил Борис. — Люди изменили ее. Надя, подумай, какое это счастье менять жизнь к лучшему и самому становиться лучше вместе с ней. Ты меня понимаешь?

— Понимаю, — тихо ответила Надя и искоса посмотрела на Бориса.

Борис осторожно и нежно взял ее за локоть.

— Мы ведь с тобой старые-старые друзья, — промолвил он. — Верно? Мне столько надо тебе рассказать...

1926 год. Переработано в 1948 году

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Павел Громов. М. Л. Слонимский. Очерк творчества . . III

Штабс-капитан Ротченко 3
Чертово колесо 12
Копыто коня 20
Начальник станции 26
Четвертая ставка 38
Андрей Коробицын 46
Повесть о Левинэ 87
Лесник 165
Алеша Сапожков 196
На Урале 220
Стрела 240
Лавровы. Роман 315

МИХ. СЛОНИМСКИЙ

Избранные произведения, т. 1

Редактор *Р. С. Софронова*
Технический редактор *Л. П. Крючкина*
Корректор *В. Н. Вишнякова*

Подписано к печати 5/II 1958 г. Бумага 84×108¹/₃₂ – 18,5 печ. л. = 30,34 усл. печ. л. Уч.-изд. л. 30,88+9 вкл. = 31,27 л. Тираж 75 000 экз. Заказ № 2299. Цена 12 р. 10 к.

Гослитиздат. Ленинградское отделение
Ленинград, Невский пр., 28

Типография № 2 им. Евг. Соколовой УПП Ленсовнархоза.
Ленинград, Измайловский пр., 29